ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

КАМЕННЫЙ ПОЯС

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

КАМЕННЫЙ ПОЯС

В ТРЕХ КНИГАХ

●

КНИГА ВТОРАЯ

НАСЛЕДНИКИ

МИНСК
"ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА"
1988

ББК 84Р7
Ф33

Печатается по изданию:
Федоров Е. А. Каменный Пояс. В 3 кн. Кн. 2: Наследники.— М.; Л.: Худож. лит., 1964.— 553 с.

Федоров Е. А.

Ф33 Каменный Пояс: Роман в 3 кн. Кн. 2. Наследники.— Мн.: Выш. шк., 1988.— 526 с.
ISBN 5—339—00129—6.

«Наследники» — вторая книга трилогии русского советского писателя Е. А. Федорова «Каменный Пояс».

Подобно деду, тульскому оружейнику Никите Демидову, его внуки в стремлении расширить производство проявляют хозяйственную сметливость и напористость. Бесчеловечно эксплуатируя трудовой народ, они ради наживы совершают преступления, нравственно деградируют.

Не в силах терпеть нужду и произвол, рабочие и крепостные демидовских заводов под предводительством Е. Пугачева выступают на борьбу с угнетателями.

Ф $\frac{4702010200 — 084}{М 304(03)—88}$ БЗ 9—88

ББК 84Р7

ISBN 5—339—00129—6 (Кн. 2)
ISBN 5—339—00262—4

ЧАСТЬ 1

Глава первая

1

5 августа 1745 года на Каме, у села Яцкое Устье, в пути внезапно скончался основатель и грозный властелин многих уральских заводов Акинфий Никитич Демидов. Страх и волнение овладели его свитой. Первое, что пришло на ум: «Кто же теперь будет владеть столь огромными богатствами и править обширными заводами?» После Акинфия Демидова на самом деле оставалось несметное наследство: десятки заводов и рудников, из которых Невьянский и Нижне-Тагильский не имели себе равных в России, множество деревень и сел с крепостными крестьянами — всего тридцать тысяч душ. Много золота, платиновых слитков, драгоценных камней и денег хранилось по кладовым и надежным тайникам хозяина. В больших и малых городах: Москве и Санкт-Петербурге, Ярославле и Нижнем Новгороде, Казани и Тобольске, Твери и Екатеринбурге — везде стояли белокаменные демидовские палаты и склады. По многоводным русским рекам плыли бесконечные демидовские караваны, а на берегах возвышались пристани уральского заводчика. Не перечесть всех богатств, оставленных покойным Акинфием Никитичем Демидовым! «Кому же все это достанется? Перед кем своевременно склонить голову?»— тревожно думала челядь.

Ходили смутные слухи о том, что крутой и неугомонный хозяин в 1743 году уничтожил старое завещание и написал новое. После себя покойный оставил трех сыновей: Прокофия, Григория и Никиту. Все трое

были в разном возрасте, разных характеров и привычек. Акинфий Никитич был дважды женат; два старших его сына родились от первой жены, третий, Никита, был от второй супруги невьянского властелина — Евфимии Ивановны, ярославской дворянки, женщины с желчным характером. Насколько дерзко и смело вел себя Акинфий Никитич в заводских делах и с людьми даже высоких государственных рангов, настолько он был робок и слабодушен в отношениях с остроносенькой и немощной женой. Сынок Никита родился от нее 8 сентября 1724 года на берегу Чусовой, в пору путешествия жены заводчика на Урал. В память этого семейного события Акинфий Демидов воздвиг на высоком яру реки громоздкий каменный крест с пометой на нем о дне рождения сына. Теперь Никите шел двадцать первый год, а братья его были уже мужами в силе. Однако держались они при отце в тени: в заводские дела не вмешивались, жили неприметно, безмолвно. Сейчас они должны были воспрянуть духом и выплыть из небытия.

«Кто же из них станет хозяином?»— вот о чем думал главный демидовский приказчик Мосолов, сидя у тела почившего. Кряжистый хитроглазый старик тревожился не напрасно. Знал он, что Акинфий порвал старое завещание, а на кого новое переписал — это было тайной даже для него, умного и доходчивого проныры. Хотелось Ивану Перфильевичу Мосолову не ошибиться. Уже сейчас надо повести себя так, чтобы своими действиями и поведением не затронуть самолюбия будущего властелина.

Хотя Мосолову было не до покойника, он велел спешно обладить дубовую домовину. Тело хозяина обрядили в саван и уложили в крепкий гроб. Когда-то могучий и широкоплечий, Акинфий Никитич выглядел теперь в своем последнем прибежище хилым и старым, словно подменили его. Нос заострился, лицо стало тонким и восковым. Разглядывая этот неузнаваемый лик еще не так давно грозного властелина, приказчик сокрушенно думал: «Экий человек — и погас разом! Словно свечу потушили».

Августовское солнце поднялось высоко, жгло немилосердно. Воды Камы неслись привольно и тихо, в их прозрачной глубине отражались вековые кедры, высокие скалы. Струги, уткнувшись в берег, стояли неподвижно. Собирая мед с цветущих трав, жужжали пчелы. Синело небо, озолоченное солнцем. И когда из-за ель-

ника дохнул легкий речной ветерок, на склоненного Мосолова повеяло тленом. Приказчику стало не по себе, его замутило. Он с горечью снова подумал: «Скоро-то как! Был человек, тварь живая,— и не стало. Все суета и быстротечно».

Однако ж он не поддался тоске, встряхнулся и, оглянувшись, приказал:

— Накрыть домовину! На коня холопа — и в село: звать попов отпевать новопреставленного болярина Акинфия Никитича!

Он истово перекрестился и положил перед телом земной поклон.

— Прощай, хозяин!— В голосе приказчика прозвучала скорбь.

Не о покойном думал в эту минуту Мосолов, не его жалел, а горевал он о себе, о жизни: «Эх, как мимолетна она! И не размахнешься во всю ширь. Только разойдешься, думаешь — все впереди, а тут раз — и конец!»

Дубовую домовину закрыли крышкой.

Приказчик сошел со струга, ему подвели коня. Он взобрался на скакуна, махнул рукой:

— Пошел в Невьянск!

Все поняли: поскакал Мосолов к брату покойного, к пучеглазому Никите Никитичу Демидову. Он дядя сирот, ему и забота о наследстве.

В Невьянске, в демидовских хоромах, в железном сундуке хранился ларец, а в нем лежало завещание Акинфия.

«Как там сказано, так тому и быть!»— рассуждал Мосолов, погоняя и без того горячего коня: «В Невьянск! В Невьянск!»

В попутных заводских селах приказчик наказал священникам звонить в колокола и молиться об умершем хозяине.

Унылый редкий звон огласил горы и лесные трущобы, возвещая печальную весть. Но, узнав ее, крепостные демидовские мужики остались равнодушны. Знали они: ушел один хозяин — придет другой, а их судьба останется неизменной.

2

Тихим ранним утром Мосолов приближался к Невьянску. На востоке над горами пылал утренний пожар зари. Проснулись птицы, в лесах началась суетливая звериная жизнь.

На косогоре приказчик задержал коня, вздохнул полной грудью: «Осподи боже, сколь богатства кругом,— и кому это достанется?»

С холма открывались волнистые гребни гор, деревни, притаившиеся среди густых лесов, синие дымки тянулись к небу. Прямо у ног Мосолова распахнулась широкая зеленая долина, по которой, отливая серебром, лениво несла свои прохладные воды река Нейва. Птицы хлопотливой стаей тянулись на юг: отошел спасов день — клонило к осени. Только в тихих заводях кое-где плавали белые лебеди —«божья птица». Где-то вдали, в речном просторе, раздался резкий и громкий, словно металлический, крик ее. Приказчик умилился: «Ишь, богу замолилась лебедь!»

Из-за бугра вставала наклонная Невьянская башня, тянулись серые заплоты. Завод черным помелом дыма грязнил прозрачное небо. На сердце Ивана Перфильевича вновь с большой силой вспыхнула тревога. Ему представился парализованный брат покойного хозяина — Никита Никитич Демидов. Постнолицый, с закорюченным носом и зоркими глазами, он походил на старую хищную птицу. Старик быстро раздражался, был неимоверно сердит и в гневе страшен. Приказчик прикидывал, как полегче сообщить ему печальную весть. «Брякнешь с маху, враз его кондрашка хватит!»— подумал Мосолов и беспокойно заерзал в седле.

Было время, когда Иван Перфильевич любил поозоровать. Только давно отошло оно. Приказчику пошел седьмой десяток, и хотя его тело еще не согнулось под тяжестью времени, еще сохранилась сила, но былое проворство уплыло. Сейчас Мосолов походил на старого седого волка, умудренного большой жизнью, и брал он теперь не нахрапом, а хитростью.

Еще раз всадник окинул взором невьянские просторы, свистнул и тронулся под угорье к заводу...

Был час, когда старый Никита Никитич под открытым небом, на крыльце, совершал свой ранний лечебный завтрак. Обряженный в добротный бухарский халат, с гладко причесанными реденькими волосами на высохших височках, он сидел в кресле-возиле. Рыжий зеленоглазый мужик-хожалый, широкий в плечах, с толстой шеей, поил хозяина из рожка кобыльим молоком. Острый кадычок паралитика ходил челноком, узкие глазки сошлись в щелочки от удовольствия.

Заслышав конский топот, Демидов открыл глаза, судорожно отстранил мужика с рожком.

— Ты что не ко времени примчал?— закричал он приказчику.

Мосолов молодо соскочил с коня; медленным шагом, как побитая собака, он трусливо побрел к хозяину. Никита Никитич пронзительным взглядом смотрел на приказчика. Костыль в руке хозяина нетерпеливо выстукивал дробь.

— Что стряслось? Беда?— тревожно спросил старик.

Мосолов смахнул шапку, поклонился Демидову.

— Господь бог посетил нас, хозяин! — тихо сказал приказчик.

— Пожар?— от страха расширил глаза Никита.— Лес варнаки подожгли?

— Никак нет, хозяин. Свершилось положенное от бога.

— Коломенки с железом потопли?

— Никак нет. Акинфий Никитич изволил отойти...— хрипло выдавил Мосолов.

Наступила минута тягостной тишины. Рожок выпал из рук хожалого и с дребезжащим стуком покатился по ступеням крыльца. Старик сидел неподвижно с отвислой нижней челюстью.

«Никак и этот отходит?»— со страхом покосился на хозяина Мосолов. Но в эту минуту старик встрепенулся, губы его дрогнули, он поднял костлявую руку и перекрестился:

— Упокой, господи, его душу суетную... Духовника зови, племянников кличь. В горницу вези!— прикрикнул он на мужика. Тот послушно стал за возилом и плавно покатил его в хоромы...

К удивлению Мосолова, старик Никита Никитич Демидов проявил неожиданную расторопность. Он не отпустил от себя приказчика.

Мужик-хожалый привез хозяина в обширный мрачный кабинет с грузными каменными сводами.

— Теперь уйди!— приказал слуге Демидов.— А ты, Иван, останься.

Мосолов покорно склонил голову.

В узкое стрельчатое окно скользнул робкий луч солнца и словно золотым мечом рассек полумрак горницы. Против кресла, в котором сидел больной старик, на стене в черной дубовой раме висел портрет Никиты

Демидова-отца. Голый большой череп поблескивал на темном полотне портрета, курчавая смоляная борода спускалась до пояса, ироническая улыбка блуждала в густой бороде Демидова, властно глядевшего из рамы.

Никита-сын поднял глаза на портрет.

— Видишь?— указал он Мосолову.

Приказчик смутился: в него пронзительно впились жгучие глаза Никиты Демидова. Казалось, старый хозяин ожил и вот-вот заговорит насмешливо, с хрипотцой.

— Что молчишь?— стукнул об пол костылем Никита-сын.— Подойди к тятеньке, отодвинь в сторону, там — тайник.

Не спуская с портрета завороженных глаз, Мосолов неуверенно подошел и протянул дрожащие руки.

— Не бойся, не тяпнет!— подбодрил паралитик.

Приказчик взялся за дубовую раму, и она медленно, ровно отошла в сторону — будто посторонился хозяин, доверив секрет холопу. В стене устроен был тайник. Никита Никитич подал приказчику ключ, и тот открыл дверцу. В полутьме хранилища заиграли самоцветы. Одни отливали кровавым светом, другие сверкали голубизной, зелеными огоньками пылали изумруды... Теплыми огоньками мерцали и переливались топазы, рубины, сапфиры и бриллианты...

Казалось, в бархатном мраке качались фонарики, излучая ласковое тепло и радость. Самоцветы были сказочной стоимости. У Мосолова захватило дух, он не мог оторвать очарованный взор от сокровищ.

«Вот оно где богатство! Вот какому богу поклоняются!» Жадность пронзила все тело приказчика, словно огнем его прожгла. Окрик хозяина привел Мосолова в себя.

— Ну ты, не заглядывайся на чужое добро!— пригрозил паралитик.— Не тобою оно тут положено. Бери пакет да закрывай тайник!

Мосолов весь трепетал. Словно обжигаясь, он протянул руку к пакету. За своей спиной он чувствовал пронизывающий взгляд Никиты. Хозяин зорко следил за руками приказчика.

Пакет добыт, тайник задвинут. Никита-отец в дубовой черной раме вернулся на место сторожить семейное добро. Глаза его по-прежнему иронически смотрели на Мосолова, насмехаясь над ним. «Что, видел наше могу-

щество, да руки коротки. Сукин ты сын, пошто позарился на хозяйское добро?»

Чтобы укрыться от демидовских глаз, приказчик повернулся к портрету спиной и вручил паралитику пакет. Пять почерневших от времени сургучных печатей отягощали его. Никита Никитич повертел пакет в руках, злая улыбка змейкой скользнула на тонких губах.

— Вот тут судьба человеков!— задумчиво сказал он и посмотрел на Мосолова.

Оба старика — один сухой, немощный, с угасающим взором, а другой корявый и могучий еще, как старый дуб,— пристально смотрели друг другу в глаза. Взор Мосолова был темен, недобрые помыслы затаились в нем. Куда девалась прежняя песья покорность и угодливость! Об этом сердцем догадался хозяин и прикрикнул на Мосолова:

— Ну, ты забудь, что видел тут! Руки отрублю да псам скормлю в случае чего. Кличь племянников, пусть входят.

— Что ты? Что ты, хозяин! Побойся бога. Много годов служил верой и правдой, а тут такое подумал обо мне.

— Всякое бывает. Напоследок и на старуху проруха. Подле человека всегда бес вертится, на пагубу подбивает... Ну, ну, зови...

В горницу вошли духовник и три сына Акинфия Демидова, за ними неслышно юркнул слуга и вновь стал за возилом. Мосолов степенно стоял по правую руку хозяина. Он пристально поглядывал то на пакет, то на молодых Демидовых.

Старшему — Прокофию Акинфиевичу — шел тридцать пятый год. Был он среднего роста, узколиц, остронос, с тонкими губами. Глаза насмешливые и беспокойные. Мосолов пуще всего боялся этих злых, холодных глаз: читалось в них злорадство, брезгливость к людям, нездоровое любование чужим горем и страданием. Жил он на отшибе от отца, делами не занимался, чудородил, и чудородство его было злое, издевательское... Было что-то схожее у племянника с дядей: тот же садизм, жестокость, утонченные издевки, только второй — старик и прикован к креслу, а молодой безденежен, зато подвижен. «Не дай бог, ежели завещание да в его пользу!»— со смутным страхом покосился Мосолов на Прокофия.

Рядом с братом стоял тихий, словно пришибленный, средний молодой Демидов — Григорий. «Все Григории у Демидовых недоумки, но рабстяги»,— подумал Мосолов и вспомнил мать Григория — тулячку Дуньку, крепкую, здоровущую молодку, которую Никита Демидов выкупил из крепостной неволи и женил на ней Акинфия. «Не в матушку сынок, хоть и честен и трудяга. Этому же и богатство дать в руки, будет лежать втуне!»— с сожалением решил приказчик, и взгляд его перебежал на третьего сына Акинфия — на Никиту. Этот был круглолиц, барствен в движениях, глаза большие, темные. Одет не по-купецки, а модно: в панталонах в обтяжку, в бархатном фраке с золотыми пуговицами, в кружевах. Сдвинув густые брови, Никита внимательно разглядывал тяжелый пакет, который вертел в руках дядя. «Этот — хозяин!— определил его Мосолов.— Барство-то у него напускное, хотя сам и дворянской крови поросль. Хват! Деду, поди, под стать, только умом и размахом пожиже. Вот кому наследство в руки! Загремят заводы. Хоть на руку и лют, но хозяин!»

Между тем Никита Никитич Демидов поманил к себе духовника. Старенький священник в темной рясе смиренно подошел к заводчику и благословил его. Демидов вручил ему пакет.

— Отец Иоанн и вы, мои возлюбленные племянники,— торжественным голосом объявил дядя,— в сем пакете лежит духовное завещание вашего отца и благодетеля. В нем он изложил свою последнюю волю. Сказано во святом писании: «Чти отца твоего и матерь твою». Как повелел покойный, так тому и быть! Но одно разумейте, дети мои: плох тот сын, который не умножит богатств своего отца. Помолимся перед столь трудным и великим делом!

Священник стал читать молитву. Молодые Демидовы послушно вторили ему. Положив начал, они земно поклонились дяде и покорно отозвались:

— Как отцом повелено, так тому и быть!

— Аминь!— торжественно объявил дядя. Совершив крестное знамение, он сказал священнику:— Вскрой, отец, и огласи волю покойного.

В горнице наступила торжественная тишина. Волнуясь, священник неумело сломал печати и вскрыл пакет. Развернутый лист задрожал в его руках.

— «Во имя отца, и сына, и святого духа,— стал читать завещание духовник.— Находясь в полном здравии и в просветленном уме и пребывая перед лицом всемогущего бога, я, дворянин и кавалер многих орденов, Акинфий Никитич Демидов, владелец заводов...»

Священник раздельно по списку зачитал им названия многочисленных заводов, рудников, строений, пристаней. Покончив с этим, он взглянул на наследников и объявил им:

— «Завещаю все поименованное движимое и недвижимое имущество сыну моему Никите Акинфиевичу Демидову, а другим богоданным детям моим: Прокофию Акинфиевичу и Григорию Акинфиевичу — жалую по пяти тысяч рублей серебром. Тому быть, и по моей смерти привести во исполнение беспрекословно и без оттяжек...»

Голос священника дрогнул и погас. Лицо наследника Никиты Акинфиевича засияло, он подался к иерею, намереваясь взять завещание.

— Не трожь!— решительно сказал дядя.— Пусть хранится у меня. Вы хотя и великовозрастные, но опекуном при вас буду я, ибо старший из всех Демидовых.

Племянник Григорий стоял тихий и молчаливый. Он пожал плечами и застыл в скорбной позе обойденного.

Прокофий, как только отзвучали слова завещания, выскочил вперед. Красный, возбужденный — на его узком лбу заблестели капельки пота,— он выкрикнул в лицо дяде:

— Не быть сему! Не уступлю! Я старший сын, пошто обойден? Тут мачеха наворожила. Погоди, добуду правду!

Задыхаясь, он выбежал из горницы.

Мосолов посмотрел ему вслед, покрутил головой. «Эк, заело!»— подумал он. Однако Мосолова порадовало, что его ожидания сбылись. Жалковато было только Григория. «Да ништо, эта сиротинка не пропадет!»— облегченно вздохнул он и согнулся в три погибели перед счастливым наследником.

— Дозвольте поздравить вас, Никита Акинфиевич, со столь благополучным исходом дела...

Священник притих, потупил глаза в землю, стараясь избежать взгляда Григория.

Дядя, взглянув вслед растревоженному обидой Прокофию, вдруг тихо захихикал. Все его тощее, изношенное тело содрогалось в беззвучном дробном сме-

хе: старому кощею понравилась горячность племянника. В темных глазах паралитика вспыхнуло и заиграло злое озорство...

3

Прокофий собрался в дальнюю дорогу, в Санкт-Петербург. Он неожиданно явился к Мосолову, который благодушествовал за ужином: сидел за накрытым столом, жадно пожирая жирные пельмени. Стряпуха возилась на кухне над таганком. Демидов прикрыл дверь за собой на крючок и шагнул к столу. Приказчик испуганно вздрогнул, вскочил.

— Ты что? Для чего закрылся?— подозрительно оглядел он гостя.

Прокофий без приглашения подсел к столу, вытянул ноги. Его злые глаза буравили Мосолова. Тот неспокойно заерзал на скамье.

— Ну, борода, раскошеливайся!— сказал властно Демидов.

— Да что ты, батюшка, господь с тобой! Откель у меня деньги?— залебезил приказчик и, взглянув на образ, перекрестился.— Вот истин бог, ни алтына за душой!

— Ты не юли!— пригрозил Прокофий.— Гляди, от меня ни крестом, ни молитвой не оградишься. Слушай, живодер, покойный тятя совершил беззаконие...

Лицо Мосолова стало багровым:

— Побойся бога, Прокофий Акинфиевич: таким словом меня обзываешь и почившего батюшку не похристиански помянул...

— Ты не перебивай, когда хозяин говорит,— сдвинул брови Демидов.— Я свое возьму! Закон на моей стороне, но к закону надо скакать до Санкт-Петербурга, к царице-матушке! А как туда в столичный град явиться без денег, сам знаешь. Давай в долг! — рассвирепел вдруг гость.— Перед кем плутуешь? Ссуду подавай!

Мосолов стал крестить тучное чрево мелкими крестиками.

— Свят, свят, какие слова говоришь!

— Молчи, лысый черт! Не призывай бога, ворюга!— резким голосом выкрикнул Прокофий и цапнул Мосолова за бороду.— Кому сказки сказываешь? Кого обманываешь? Кто у деда хапал? Кто у батюшки крал?

Он сердито дернул приказчика за густую бороду. Мосолов поморщился, вскрикнул.

— Молчи!— пригрозил Демидов.— Голову оторву! Плох тот приказчик, который не хапает. Давай, дьявол, на дорогу, не то пожалеешь!

— Батюшка!— взвыл приказчик и, выбравшись из-за стола, брякнулся на колени.— Пощади, батюшка, ни алтына у меня...

— Убью, скаред!— рванулся вперед Демидов, и глаза его недобро сверкнули. Мосолов взглянул на злобное лицо молодого хозяина и ужаснулся, понял: не шутит тот.

— Сколько, батюшка?— прохрипел он.

— Тыщу червонцев.

— О-ох!— простонал Мосолов.— А расписочка? Процентов сколь?— заглянул в глаза хозяина Мосолов.

— С этого и надо было начинать,— сразу отошел Прокофий и посулил твердо:— Как ранее давал, так и теперь получишь!

Озираясь на Демидова, приказчик с опаской подошел к божнице. В ту же минуту стряпуха забарабанила в дверь:

— Пельмени еще подоспели, Перфильич!

— Погодь чуток,— отозвался хозяин и, оборотясь к Прокофию, залебезил:— Ты уж, батюшка, обо всем никому ни словечка. Чего только люди могут подумать, а ведь это я из любви к тебе последнее... Истин бог, последнее. Пошли тебе, господи, удачи...

Он полез в угол, отодвинул икону и добыл из тайника золото...

Спустя три дня Никита Никитич хватился племянника — его и след простыл.

— Проворен, чертушка!— похвалил он Прокофия.— Непременно помчал с жалобой в Санкт-Петербург. Теперь пойдет потеха!— нескрываемо радовался он предстоящим неприятностям главного наследника.

Мосолов мрачно глянул на хозяина и выдавил:

— Потеха потехой, а чернильной душе, ясной пуговице от сего прибыль. Пососут они демидовские денежки.

Никита сразу поугрюмел, радость его угасла, и он отозвался злым голосом:

— То верно, опять разор! И где только этот варнак раздобыл на дорогу?

— Ну, этот деньгу из-под земли выроет, а на своем поставит!— сказал Мосолов.— Вот узнает о братце Никита Акинфиевич, беда будет...

Однако в этом Мосолов ошибся. Узнав об отъезде брата, наследник улыбнулся и сказал:

— Видимо, надо и мне в Санкт-Петербург отбыть. Обновы нужны, да высмотреть, что там братец надумал.

Молодому хозяину заложили карету. Он барственно уселся в ней и, кивнув провожавшей дворне, крикнул, чтобы услышал Никита Никитич:

— Смотри у меня, слушать дядюшку! Пошел!

Кучер щелкнул бичом, серые кони рванули, и молодой владетель выехал из Невьянска.

Глава вторая

1

Поздней ночью Прокофий Акинфиевич приехал в Москву. Колеса грузного рыдвана гулко загрохотали по бревенчатой мостовой. Ямщик с заляпанным грязью лицом обернулся к заводчику:

— Вот и прибыли, сударь, в Белокаменную. Никак и рогатка!

Демидов высунулся в окно и присмотрелся. Кругом царствовали мрак и тишина.

«Хошь бы один фонарь на всю улицу,— с укоризной подумал Прокофий и усмехнулся:— Спит Москва-матушка праведным сном!»

Откуда-то из темноты неожиданно вынырнула длинная тень. В протянутой костлявой руке закачался тусклый слюдяной фонарь. Бледный, трепетный свет озарил сухое старческое лицо и реденькую седую бороду. В правой руке старец держал ржавую алебарду.

— Кто ты?— властно окрикнул его Демидов.

— Будошник я, батюшка! Отколь изволишь ехать, ваша милость, куда путь держишь и как величаетесь, сударь?..

Алебардщик суетился, топтался. Белесые глаза его часто моргали. Демидов вгляделся в пергаментное, сморщенное лицо старика и засмеялся.

— Какой же ты страж? Поди, семьдесят годов отбрякал на земле?

— Ой, что ты, батюшка! Все девяносто.

Улыбка исчезла с лица Прокофия Акинфиевича. Он пристально разглядывал старика, напоминавшего собой выходца с того света. Сухой, костистый, одетый в кафтан, он еле держался на ногах, и фонарь в его руках заметно дрожал.

— Пора тебе, кикимора, на покой!— насмешливо сказал Демидов.— Что ты среди ночи проезжих пугаешь?

— И то верно, батюшка!— незлобиво отозвался алебардщик.— Давно мне пора в домовину, все косточки гудят. Покою просят...

— Отворяй рогатку!— закричал Демидов.— Давай путь-дорогу!

— Изволь, батюшка!— Желтый глазок огонька качнулся и уплыл в тьму.

— Но-о!— заорал ямщик, и колымага вновь загрохотала по осклизлым бревнам, своим неприятным сотрясением переворачивая все внутренности путника...

Минули Маросейку и достигли Ильинских ворот. На китайгородских стенах перекликались сторожа. Унылый переклик их навевал тоску.

Демидову захотелось тепла, послушать шумный людской говор.

— Куда прикажешь, барин?— оборотясь, спросил ямщик.

— Вези вправо, к Тверской!— приказал Демидов.

— Неужто не в отцовский дом изволите?— удивленно спросил ямщик.

Прокофию Акинфиевичу представились заспанные лица московской дворни, давно необитаемые горницы, затхлость и, главное, мертвящая тишина, которая их наполняла, а душе после утомительной дороги хотелось поразвлечься. Он крикнул ямщику:

— Вези к Ивану Дмитриевичу, в Большую Московскую...

«Загулял хозяин, вожжа под хвост попала!»— сообразил возница и взмахнул кнутом. Колымага загремела под угорье...

Несмотря на полуночный час, трактир гудел разноголосьем, ревела музыка. В большом зале в бесшабашной песне надрывались цыгане. Дородный купчина приветливо встретил Демидова, отвел в верхнем этаже уютные покои. Разбитной слуга мигом разжег камин; веселый огонек, лаская, согревал утомленное тело. Уто-

лив голод, Прокофий Акинфиевич уселся в глубокое кресло перед камином и вытянул затекшие ноги. Снизу доносились веселые песни, взвизги цыганок, так и подмывало окунуться в бесшабашное удальство, но надо было беречь с таким трудом добытые на дорогу деньги. Впереди предстояло сутяжничество по разделу наследства. Впереди ждали крючкотворы...

Меж тем сон смыкал глаза.

Ловкий слуга уговорил Демидова разоблачиться. Устало добравшись до постели, он бросился в мягкие перины и, утонув в них, быстро уснул...

Как ни убеждал себя Прокофий Акинфиевич, что надо поскорее выбираться из Москвы, но соблазн встряхнуться после однообразной жизни на Каменном Поясе был силен. Несмотря на внутренний предостерегающий голос, он несколько раз спускался в залы шумного московского трактира, где третий день гуляли купцы. В одной из боковых комнат шла оживленная игра в карты. Большого труда стоило Демидову уйти от притягательного места. Он метался по обширному номеру, утешая себя будущим...

Неожиданно постучали в дверь.

— Войдите!— отозвался Прокофий и поднял глаза.

На пороге стоял высокий стройный ротмистр. Ласковые бараньи глаза уставились в Прокофия. Офицер, охорашиваясь, разглаживал пушистые темно-русые усы, приятная улыбка блуждала на его губах.

Подойдя к хозяину, ротмистр лихо звякнул шпорами и протянул руку:

— Разрешите представиться. Ротмистр Иван Антонович Медер!— отрекомендовался он.— Прошу извинить за беспокойство. Мы соседи. Который день я наблюдаю вашу скуку, и друзья мои просили вас к столу. Может, осчастливите?..

Учтивый тон офицера подкупал. Тихо звякая шпорами, ротмистр прошелся по комнате. Мягкий ковер заглушал его крадущиеся шаги. В номере не хватало света, толстые пыльные шторы не пропускали солнца. Лицо Прокофия выглядело бледным, глаза беспокойно бегали.

Офицер льстиво продолжал:

— Мы так много о вас наслышаны. Право, осчастливьте нашу милую компанию...

Он ласково взял Демидова под локоток и шутя потянул его:

— Ну идемте же, сударь...

Прокофий не устоял против соблазна и подумал: «И впрямь, отчего же не пойти и не повеселиться часок?»

Ротмистр провел Демидова в небольшую горницу, утопавшую в клубах дыма. За столом сидели изрядно подвыпившие офицеры, с ними двое статских. Один из них — согбенный старик с напудренной головой, в шитом разноцветными шелками атласном камзоле. Он сидел, опустив на грудь голову. Второй — высокий, костистый, с лошадиной челюстью и наглыми глазами — метал карты. Взгляд Прокофия Акинфиевича упал на длинные жадные руки банкомета. Они жили своей особой жизнью: необыкновенно подвижные пальцы напоминали липкие щупальца страшного морского животного. Они дрожали, сплетались, тянулись к золоту, лежавшему горкой на зеленом поле стола. Взор Демидова скользнул от этих червеобразных пальцев на запятнанный бархатный кафтан банкомета, рваные кружева и грязное жабо.

Банкомет выжидательно уставился в вошедшего Прокофия Акинфиевича.

— Прикажете карту? — бойко спросил он.

— Ах, сударь! — засуетился вдруг благообразный старичок, но тут же осекся под злым взглядом ротмистра.

— Садитесь, сударь! — пригласил ротмистр.

Не успел Демидов и глазом моргнуть, как перед ним мягко легли три карты. Он поставил десять червонцев...

— Ваша взяла! — послышался из клубов табачного дыма голос банкомета, и червонцы придвинулись к Прокофию. В сердце шевельнулась жадность. Демидов бережно сложил червонцы в столбик и вновь взял карту.

— Ваша взяла! — вновь раздался скрипучий голос банкомета, и опять золотые придвинулись к Прокофию.

— О, вам везет, сударь! — прохрипел густым басом ротмистр.— Счастливы в карты, несчастны в любви,— засмеялся он с хрипотцой, смех его походил на шипение старинных ржавых часов, собирающихся отбивать время.

— Ах, сударь!..— снова вздохнул старичок и осекся.

— Замолчи!— прикрикнул на него ротмистр.

Демидов не замечал ни многозначительных взглядов, ни вздохов старичка: он весь ушел в созерцание длинных пальцев банкомета. На указательном каплей крови дрожал рубин. Партнеры молча выкладывали золотые. У Демидова раздувались ноздри, дрожали руки. Весь он скрытно трепетал в страшном внутреннем напряжении. Глаза его сверкали. Необузданная страсть овладела им. Казалось, все тело, душа слились в одном ненасытном желании: золота! золота!..

Офицеры приумолкли, в комнате наступила тишина. Старичок поднял голову и потянулся к столу. Перед заводчиком лежала груда золота.

— Сударь, немедленно прекратите игру!— воскликнул старик, но сразу же притих.

— Молчать! Это нечестно!— заревел ротмистр.

— На все!— сказал Демидов и грудью навалился на край стола, готовясь принять новый поток золота. Банкомет, озабоченно наморщив лоб, крикнул:

— Дана!..

Это был лишь короткий миг. Казалось, кровь замерла в жилах, все напряглось в невероятном ожидании. Пальцы Демидова рванулись было вперед...

— Бита, сударь!— равнодушно закончил банкомет, и его зеленые глаза хищника сузились в щелочки.

Прокофий Акинфиевич утер капельки пота, выступившие на лбу. Словно ветер смахнул прочь золотой листопад...

Но жадность цепко держала Демидова. Он вынул туго набитый кошель и звенящей струей высыпал все дорожные деньги.

— Не везет в любви, зато повезет в картах!— бодрясь, сказал он.— На все...

Офицеры многозначительно переглянулись. Ротмистр воскликнул:

— Что вы делаете, сударь? Счастье повернулось к вам спиной. Ставьте семпелями...

Банкомет закусил зубами чубук, зажег трубку, пустил волнистый клуб дыма.

— На все!— повторил глухо банкомет и метнул...

Прокофий Акинфиевич не мог уследить за движениями его рук. Сердце сжалось. Глубокая тишина снова повисла в комнате. Старичок, не шевелясь, тянулся глазами к столу.

Демидов открыл карты, и все завертелось в его глазах.

— Бита, сударь,— спокойно сказал банкомет, безжалостной рукой он придвинул к себе червонцы.

— Ставьте, сударь, будем отыгрываться!— предложил ротмистр.

— Я все поставил!— упавшим голосом признался Прокофий Акинфиевич.— Разрешите в долг!

— О нет! Мы в долг не играем,— строго сказал ротмистр.— Желаете, сударь, испить бокал пунша? Осушите и идите спать!..

Офицер повернулся спиной к Демидову; звеня шпорами, он вышел из горницы.

— Все-с, сударь, игра окончена!— резким голосом проскрипел банкомет и обволокся синим табачным туманом.

— Ах, сударь, я говорил вам!— вздохнул старичок.— И я так же оказался несчастен...

Прокофий не слышал его. Он встал и, пошатываясь, побрел в коридор.

Пройдя в свой жарко натопленный номер, он, не раздеваясь, бросился на кровать. Но как ни старался он забыться, ворочался, зарывался в подушки,— беспокоила тревожная мысль: «Как же я без денег доберусь до Санкт-Петербурга?..»

Утром к нему в номер постучался хозяин трактира, учтивый седобородый купчина. Он поклонился постояльцу и, обежав зорким взглядом горницу, озабоченно спросил:

— Как спалось, господин хороший?

Пожелтевший, осунувшийся Демидов сидел на кровати, поджав ноги. Молчал.

— Неужто плохо?— строго посмотрел на него трактирщик. Отвернувшись к окну, он соболезнующе вздохнул:— Эх, сударь, впусте обеспокоились. Это всегда бывает после неосторожества. Рассчитаемся как-нибудь.

— Кто же мне даст в долг? Уж не ты ли, борода?— желчно спросил Прокофий.

— Что вы, помилуй бог!— истово перекрестился купчина.— Николи процентщиком не был, господин хороший!

Он помолчал, помялся. Осенний рассвет лениво заползал в комнату. И без того серое лицо постояльца теперь казалось землистым. Красногрудый снегирь, как

огонек, на мгновенье вспыхнул на подоконнике и отлетел.

— Холодить стало. К зиме...— поеживаясь, медлительно сказал купец и прошептал вдруг:— Тут старушка одна обретается. Она под расписочку выдаст. Желаете, выручу, сударь, позову?..

Прокофий встрепенулся, ожил. На душе стало веселее.

— Хошь черта зови, но выручай, борода!

— Сей минут!— услужливо отозвался купчина и поспешно вышел...

Старенькая подслеповатая процентщица неслышно переступила порог и выжидательно разглядывала Демидова.

— Ты что, кикимора? Откуда взялась? Ростовщица?— накинулся на нее Прокофий.

— Помилуй бог, батюшка, николи ростовщицей не была. Прослышала от Ивана Дмитриевича о твоем горюшке. Помочь собралась,— смиренно прошептала она. Ее хитрые глазки обшарили заводчика.

— Две тысячи червонцев надо, баушка! Дашь мне?— деловито спросил он.

— Ох, много! Ох, многоватенько, батюшка!— заохала старушонка.

— А может, найдешь, баушка?— не отступал Демидов.

— Милый ты мой, желанный, уж поищу... Может, и добуду...

Она низенько кланялась. В темном платье и платочке, старушонка походила на галку. От ветхого платьица, от всей старушки пахло смолкой, еле уловимой затхлостью. Глядя на ее немощную, сгорбленную, жалкую фигурку, Прокофий спросил:

— Сколь процента возьмешь?

Старушка построжала, подумала малость.

— Ох, и не знаю, сказать как! Не от меня ведется. Баш на баш, батюшка!— елейно отозвалась она.

— Это что же — рубль на рубль!— ахнул Демидов.

— Это уж как водится, батюшка! Она, копеечка, ныне дорога. Коли бежит по рукам — подружку ведет!

Прокофий Акинфиевич заметался по номеру. Ярость овладела им. Тряхнуть бы старую! Но он сдержался, сказал ей зло:

— Ты что же, старая хрычовка, обираешь меня?

— Что ты, миленький!— удивленно уставилась в него ростовщица.— Чего тебя обирать? Гол, поди, как сокол. Расписочку только и возьму. А придет ли к тебе наследство, один бог ведает...

«Ведьма!— мысленно выругался Демидов.— Все знает, все обдумала!»

Он кружил по комнате, закинув руки за спину, перебирая пальцами. Полы халата развевались. Старушонка тихонько уселась в креслице.

— Ну что ж, решай, сынок!

Прокофий Акинфиевич остановился перед ней, крикнул:

— Чего расселась, тащи деньги! Согласен!

— Вот и договорились, милый!— радостно отозвалась процентщица и заторопилась за обещанным...

На другой день, на заре, Демидов на тройке помчался к заставе. Задувал сиверко. Черная грязь обратилась в каменные глыбы, коляска подпрыгивала на мерзлых кочках.

— Гляди-кось, что за ночь сотворилось! Так за Тверью, чего доброго, зимушка настигнет,— обернулся к Прокофию ямщик и, блеснув крепкими зубами, выкрикнул:— Ой, гоже будет! Пошли, господи, санный путь! Эй вы, залетные!— Он взмахнул кнутом.

Золотые маковки московских церквей остались позади, когда у загородного тихого погоста тройка нагнала одинокие дроги с гробом. Над черной кущей голых берез с криком кружило воронье.

— Стой, стой!— закричал Демидов ямщику.

Бородатый возница на минуту сдержал разгоряченных коней.

— Эй, кого хоронят?— спросил Прокофий погребальщика.

— А кто его ведает!— скучающе отозвался мужичонка.— Сказывают, барин, какой-то помещичек профукался в картишки и кокнул себя.— Он поглубже надвинул треух на уши и свистнул соловому коньку.

— Пошел!— заорал Демидов.— Быстрее погоняй!..

Он вспомнил старичка в атласном камзоле у зеленого карточного поля, вздохнул и перекрестился: «Вот как оно бывает...»

В лицо ударил студеный ветер. Редкие нежные снежинки запорхали над полем. Вместе с унылым тихим звоном они плыли, мягко, бесшумно ложились на бурые пригорки, темные леса и убегающую в даль дорогу. На

полосатый верстовой столб взлетела ворона, стала назойливо каркать...

А Демидов, погружаясь в бесконечную дорожную дрему, обеспокоенно подумал про печальную встречу: «К добру или к худу это?..»

2

Прокофий Акинфиевич после тяжких дорожных мытарств наконец добрался до Санкт-Петербурга. Зимняя подмерзшая дорога была оживленна: тянулись обозы с продовольствием, скакали курьеры на тройках, шли артели бородатых мужиков с котомками за плечами, брели монахи. На почтовых дворах было тесно и шумно. Под невской столицей пошли нескончаемые болота, чахлый ельник, который оборвался вдруг на берегу реки Фонтанной. За ней в мокром сизом тумане простирался Санкт-Петербург. Берега реки были очищены, одеты деревом, ограждены перилами.

Кругом под топором поредели леса; вдоль дороги тянулись широкие вырубки.

— Для чего так сделано?— полюбопытствовал Демидов у будочников, оберегавших пестрый шлагбаум.

Седоусый страж, с алебардой на плече и медной бляхой на груди, хмуро поглядев на проезжего барина, ответил:

— Разбойники, сударь, одолели. Дабы ворам не было пристанища в тутошних лесах, наказано государыней валить ельник.

За Аничковым мостом высился кол, а на нем торчала полуистлевшая человеческая голова. Воронье с криком носилось над поживой. Заметив взгляд Демидова, будочник пояснил:

— То разбойник! На Невской першпективе чинил смертоубийства и грабежи. Ныне малость поубавились, сударь. Приказано расставить солдатские дозоры!— Он просмотрел подорожную Демидова и крикнул ямщику:— Ступай! Не задерживайся!

Колеса загремели по Аничкову мосту, ставленному на дубовых сваях. Впереди, за мостом, распахнулась Невская першпектива. С той поры, когда был заложен Санкт-Петербург, прошло почти полвека, однако город все еще поражал своими контрастами: то перед Прокофием Акинфиевичем вставали огромные каменные палаты с роскошными садами, богатыми въездами, обе-

регавшимися мраморными львами, то вдруг усадьбы сменялись диким и сырым лесом, пустырями, беспорядочно разбросанными хибарами. Однако Демидов по очертаниям площадей, улиц и строек убеждался в том, что среди топей и лесов вырастал прекрасный, величественный город.

По улицам под звуки флейт проходили гвардейские полки. Они возвращались с парада; шаг их был чеканен, строг; солдаты были на подбор — рослые, сильные молодцы, обряженные в зеленые мундиры и треуголки.

— Добры воины!— похвалил гвардейцев Демидов и с улыбкой подумал: «Вот кто ныне цариц нам ставит!..»

Кони домчали Прокофия Акинфиевича к старому дедовскому дому, возвышавшемуся над Мойкой-рекой. Никто не выбежал встретить Демидова, никто не распахнул перед ним двери. Слуги, толпившиеся в передней, встретили молодого хозяина холодно. В их принужденных поклонах сквозило равнодушие к нему. «Видать, прослышаны о завещании!— недовольно подумал он.— Вот носы и воротят!»

Не обращая внимания на холодность слуг, он по-хозяйски крикнул:

— Ну, что глядите? Живо у меня! Обогреть палаты да взбить постель. Устал с пути!..

Несколько дней Прокофий сидел, запершись в кабинете, писал письма и принимал разных людишек, интересовался вельможами, сенатом, порядками при дворе.

В один из пасмурных петербургских дней он велел заложить карету и отправился к государственному вице-канцлеру Михаилу Илларионовичу Воронцову. Решил Демидов самолично вручить ему челобитную на покойного батюшку:

«Учинил мой родитель между братьями разделение, которого от света не слыхано и во всех государствах того не имеется и что натуре противно. А именно, пожаловал мне только из движимого и недвижимого 5000 рублев и более ничего, не только чем пожаловать, но и посуду всю обобрал и в одних рубахах пустил...»

Михаил Илларионович Воронцов принял Демидова просто и участливо.

Камердинер провел Прокофия Акинфиевича в домашний кабинет государственного вице-канцлера.

В светлой угловой комнате о семи окнах, в большом глубоком кресле у столика с книгами сидел бодрый, мо-

ложавый вельможа — сухощавый, среднего роста, в светло-сером шелковом кафтане. На его спокойном лице блуждала лукавая улыбочка.

При входе Демидова вице-канцлер поднял голову и быстрыми глазами оглядел его.

— Рад, весьма рад случаю видеть у себя потомка столь славных родителей!— любезно встретил он гостя.— Много наслышан о заводах ваших...

Вице-канцлер говорил сочно, плавно, с чистым, красивым произношением.

Прокофий Акинфиевич низко поклонился Воронцову, волнуясь, почти закричал, резко и пронзительно:

— Обида заставила потревожить вашу светлость. Простите! Обойден я, сильно ущемлен братом. Судите сами, смогу ли я жить после сих несправедливостей, как того требует дворянская честь...

Он положил на столик челобитную. И пока вельможа пробегал ее глазами, настороженно следил за его лицом. Оно то темнело, и тогда на высоком, чистом лбу собирались частые тонкие морщинки, то светлело, и складочки убегали с крутого взлобья...

Но тут Демидова охватила тревога.

«Сухая ложка рот дерет. А вдруг, не видя для себя выгоды, он откажет в своем заступничестве! Что тогда?— опасливо подумал он.— Эх, была не была»,— решил он.

Только канцлер окончил читать просьбу, как Прокофий Акинфиевич пал на колени и протянул к нему руки.

— Погибаю!— возопил он.— Спасите, ваша светлость!.. Видит бог, по спасении моем не токмо молитвами возблагодарю...

Он не договорил — граф положил холеную руку на плечо просителя и сказал:

— Что ты, Демидов! Душой сочувствую тебе, обижен весьма ты! Сколь смогу и в моей власти будет, выручу! О сем деле доложу преславной государыне нашей Елизавете Петровне.

Вельможа вздохнул, с минуту глубокомысленно помолчал.

— Ах, Демидыч, жаль мне тебя!— задушевно, казалось, с большим сочувствием вымолвил он.— Надо, надо помочь...

— Ваша светлость!— от радости прослезился Демидов.— Век не забуду вашего внимания!

Вельможа ласково улыбнулся.

— Не бойся, Демидыч,— успокоил он гостя.— Вот увидишь, все переменится к лучшему.— Вице-канцлер устало прикрыл ладонью глаза и затих...

Граф Михаил Илларионович сдержал свое слово: через несколько дней Демидова позвали во дворец. Получив радостную весть, он галопом бегал по горницам, кукарекал, хватал за носы холопов и кричал на все хоромы:

— Годи, ленивцы, скоро я вас заставлю пятки лизать! К государыне-матушке зван: я вам всем и Никитушке-братцу покажу, кто такой Прокофий Демидов!..

Слуги заложили лучшую карету, впрягли добрых рысистых коней. На запятки взобрались гайдуки в синих ливреях. Впереди побежали скороходы. Стояло солнечное утро; над Невой, над городом нежно голубело небо. В прозрачном морозном воздухе звонко разносились окрики скороходов, бежавших впереди кареты:

— Пади! Пади!

Сидя в карете, Прокофий с наслаждением оглядывал город, прохожих. Ему льстило, что все с любопытством оглядываются на его барский выезд. После Каменного Пояса, где скуповатый отец так долго держал его в нужде, приятно было сознавать свою значительность.

Кони свернули влево, и перед Демидовым предстал Зимний дворец. Он был деревянный, но весьма обширен, украшен многими лепными украшениями, пышным подъездом, однако мало чем отличался от палат вельмож.

В приемном зале навстречу Демидову вышел вицеканцлер. На сей раз он был одет в мундир, с большой бриллиантовой звездой на груди. Тонкие ножки в черных шелковых чулках делали его похожим на журавля.

— Обождите, сударь,— тихо предупредил он.— Ее величество весьма занята государственными делами.

Скользя по паркету, вельможа неслышно исчез за высокой дверью. Демидов остался один в пустынном зале со множеством дверей. Справа в большие окна лучилось холодное солнце, а вдали, в нежной сиреневой дымке, сверкал тонкий золотой шпиль Петропавловского собора. Стены покоя были покрыты светлым штофом.

Прокофий прислушался: где-то за чуть прикрытой дверью, как ласковое журчание ручейка, слышались

негромкие голоса и заглушенный смех. У высокой двери в неподвижности застыл дежурный офицер. Минуты ожидания тянулись очень медленно. Демидов уже отчаялся в ожидании приема, но вот наконец массивная, отделанная бронзой дверь распахнулась, и вице-канцлер поманил Прокофия.

— Идем, сударь,— тихо позвал он.— Ее величество пресветлая государыня ждет тебя.

В уютной, обтянутой голубым шелком гостиной, у круглого золоченого стола сидело многочисленное общество придворных. Прямо против двери на хрупком стуле, откинувшись на спинку, от души смеялась круглолицая веселая красавица.

При входе Демидова смех сбежал с ее лица. Только большие выпуклые глаза все еще искрились радостью. У пухлого приятного рта темнела крохотная мушка, делавшая нежное, молочной белизны, лицо прекрасным и ласковым. Волнистые волосы крутыми локонами спадали на розовые плечи.

Демидов спохватился, сообразил: «Батюшки, да это сама государыня, защитница наша!»

В припадке верноподданнических чувств он упал перед царицей на колени, потянулся к маленькой руке, лежавшей на атласном платье:

— Дозволь, матушка-государыня, голубушка наша!

Императрица приветливо улыбнулась ему и протянула руку. Демидов подобострастно поцеловал ее. То, что она не горда и проста с ним, обрадовало Прокофия.

«Милостивая»,— с одобрением и надеждой подумал он, еще раз поцеловал теплую мягкую руку царицы и поднял на нее увлажнившиеся глаза.

— Здравствуй, Демидов!— обратилась она к нему певучим голосом. Ее выразительные глаза остановились на заводчике.— Вот ты какой!— слегка разочарованно сказала она.— Я и батюшку и деда твоего знавала...

— Государыня!— промолвил Демидов.— Оба они были верными слугами великого государя Петра Алексеевича...

— Знаю,— сказала она и слегка наклонила голову.— Знаю... Встань, Демидов...

Придворные с нескрываемым любопытством разглядывали хилого потомка Никиты Демидова. Елизавета улыбнулась и, оборотясь к вице-канцлеру, сказала:

— Благодари графа, осведомлена я, что при разделе наследства обойден ты. Неприлично дворянину и внуку Демидова пребывать в бедности. Михайло Ларионович!— Тут государыня взглянула на вельможу.— Угодно нам, чтоб сенат дело рассмотрел по справедливости, не обижая никого из сыновей покойного заводчика.

Прокофий готов был снова пасть к ногам царицы, но она капризно повела тонкими черными бровями:

— Не заискивай, не люблю сего. Верю, что будешь преданно служить мне, как служили твой батюшка и дед. А ныне оставайся, зову на маскарад...

Она улыбнулась и заговорила с придворными. Стоявший за ее креслом вице-канцлер указал глазами Демидову на дверь. «Аудиенция окончена. Скоро-то как!»— разочарованно подумал Прокофий и, откланявшись государыне, нехотя последовал за Воронцовым...

В приемной по-прежнему царила тишина. За большими окнами дворца ярко светило солнце; за широким простором Невы темнели приземистые бастионы, а среди них высоко вздымался сверкающий на солнце золотой шпиль Петропавловского собора.

3

Спустя месяц в Санкт-Петербург прибыл и Никита Акинфиевич Демидов. Не успела его коляска подкатить к отцовскому дому, как к ней подбежали слуги, бережно свели господина на землю и широко распахнули перед ним дверь.

Надутый, с гордо поднятой головой, молодой владелец прошел в переднюю, где в глубоком поклоне перед ним склонились холопы. Он и глазом не повел в ответ, проследовал через светлые залы, гостиные, зорко оглядывая убранство.

— Ох, и радость ныне у нас! Как светлого дня ждали вас, барин!— залебезил перед ним седенький сухонький дворецкий в белых нитяных перчатках. Он торопливо бежал впереди хозяина и угодливо распахивал одну дверь за другой.

— А где братец?— вдруг спросил Демидов.

Дворецкий виновато опустил глаза. «Ну, быть грозе!— испугался он.— Небось разнесет, что допустили

супротивника в дом. Опять же, как сказать, домик-то общий, отцовский...»

Склонясь перед хозяином, он смущенно ответил:

— Прокофий Акинфиевич изволил тут остановиться...

Никита насупился, но никак не отозвался.

С этого дня он жил с братом в одном доме, но оба тщательно избегали друг друга. При встречах они делали вид, что не замечают друг друга.

«Погоди, на своем поставлю!»— грозил Никита и по совету друзей отправился к наследнику престола, великому князю Петру Федоровичу.

«Через него-то и отведу все козни родимого братца!»— с ехидством думал он.

Наследник престола со своей супругой Екатериной Алексеевной жил в Петергофе. Гвардейский офицер Салтыков — красавец, кутила, был близок к наследнику, вместе с ним делил досуги — повез Никиту в загородный дворец.

На берегу Финского залива, в дворцовом парке, царило тревожное безмолвие. Свита наследника чинно бродила по аллеям. Салтыков выскочил из коляски и, нарушая тишину, закричал:

— Что за траур? Что вы все онемели?

— Тсс!— прижала палец к губам молоденькая фрейлина и, жеманно ответив на поклон Демидова, зашептала:— Великий князь весьма расстроен! Он сейчас не в духе, берегись попасть ему на глаза.

— Пустое! Мы его живо развеселим!— загремел гвардеец.

В ту же минуту в розовом павильоне распахнулась дверь, и на пороге появился бледный от гнева Петр Федорович. Никита со страхом взглянул на будущего императора.

Долговязый, с нескладным узким туловищем, он слегка покачивался, размахивая длинными руками.

— Кто здесь шумель?— резким голосом прокричал великий князь. Со сжатыми кулаками он готов был броситься на виновника беспокойства, но, узнав Салтыкова, сразу же отошел, повеселел:— А, это ты приехаль? Ошень кстати... А это кто?

— Демидов,— представил гостя гвардеец.

Толстые губы Петра Федоровича сложились в неприятную улыбку.

— Кто есть Демидоф?— спросил он.

— Заводчик. С Урала, приехал приложиться к ручке вашего высочества...

— Очень карошо.— Глаза наследника сощурились.— Весьма карошо...

Никита растерялся, услышав ломаную русскую речь из уст наследника. Ах, как хотелось ему попасть в знать, все время он об этом мечтал! Шутка ли встретиться с наследником российского престола! Какая будущность раскрывалась перед ним, уральским заводчиком! Но что-то в душе Демидова протестовало против неприятного немецкого говора Петра Федоровича. Длинное, узкое тело наследника было затянуто в зеленый прусский мундир. «Значит, верно то, что он почитал для себя за большую честь числиться лейтенантом на службе у прусского короля Фридриха Второго, нежели состоять великим князем и наследником российского трона?»— с чувством горечи подумал Демидов.

Но желание выйти в свет подавило в нем неприязненное чувство. И когда Петр Федорович взял его под руку и повел в павильон, он сразу же почувствовал себя счастливым и веселым.

Петр Федорович большими шагами подошел к столу и прикурил трубку, набитую крепким кнастером. Комната быстро наполнилась густым табачным дымом. Наследник поднес трубку и Демидову. Хотя Никита Акинфиевич и не курил, однако послушно принял ее и, поперхнувшись, стал пускать синие кольца.

Павильон постепенно наполнился приближенными. Гремя стульями, все уселись за стол и занялись карточной игрой.

Великий князь ставил один золотой за другим и проигрывал. Он хмурился.

Дым все гуще и гуще заволакивал комнату. Слуги приготовили пунш, и кругом заходила чаша. Петр Федорович, не брезгая, пил со всеми из одной чаши.

Гомон и шум становились сильнее,— хмель окончательно овладел собутыльниками цесаревича. Великий князь сидел, широко раскинув огромные ноги в ботфортах, его осоловелые глаза смыкались, голова клонилась на грудь.

За окнами погасал серенький день. Никита тихонько выбрался из павильона и побрел по аллее. Под ногами похрустывал мягкий снежок, со взморья задувала моряна, шумела в обнаженных липах; темными призраками они сторожили тропку. От проклятого вонючего

кнастера было горько во рту, кружилась голова. Демидов полной грудью вдыхал свежий воздух. Вдали, в конце аллеи, серой колеблющейся пеленой мелькнуло незамерзшее море. В лиловые тучи медленно погружалось солнце...

Когда Демидов вернулся в павильон, в густом дыму тускло горели свечи в канделябрах. Петр Федорович был совершенно пьян, неуклюже размахивал длинными руками и кричал:

— Король Фридрих велики зольдат!..

Завидя Никиту, он поманил его к себе:

— Демидоф, мой друг, я люблю тебя! Ты богатый купец...

Никита Акинфиевич почтительно поклонился:

— Премного благодарен, ваше высочество.

Он подошел к нему, но великий князь, опираясь о стол, поднялся и, шатаясь, пошел к дивану. Никита подсел рядом.

— Демидоф!— выкрикнул Петр Федорович, икнув.

Никита угодливо склонился к наследнику.

— Ты богат? Дашь денег?— настойчиво сказал Петр Федорович и дохнул винным перегаром в лицо Демидова.

— Будут деньги, ваше высочество. Завтра же доставлю сюда!— твердо посулил Никита.

— Тсс... Только никому... Молшок!— прошептал пьяно великий князь.

— Убей бог, никому!— искренне пообещал заводчик.

Бережно обнимая наследника за талию, Демидов уложил его на диван.

Погасли последние лиловые отблески заката. В аллеях сгустилась тьма. Сквозь чащу доносился отдаленный рокот моря. Петр Федорович ворочался и что-то бормотал во сне...

Демидов сидел подле и думал:

«Как же насолить братцу Прокопке? Ужо погоди, через великого князя подкопаюсь под тебя!»

Но подкопаться все-таки не довелось. Спустя несколько дней Никита добыл из кладовых отцовское золото, драгоценные камни и отвез их великому князю. Петр Федорович был в восторге. Он зазвал Демидова в кабинет и возложил на него красную анненскую ленту.

Тяжело сопя, он прищурился, любуясь сановитым видом Никиты Акинфиевича с лентой через плечо.

— О, чудесна кавалер из тебя получился!— воскликнул наследник.

Демидов с жаром облобызал его руки.

— Век не забуду, ваше высочество, столь высокой награды!— благодарно сказал он.

— Но ты, Демидоф, возложишь ее, когда тетушка-цариц не будет... Я, Петр Федорович, буду император!— Он выпятил грудь и важно надулся; бессмысленные глаза его подернулись серой пеленой.

И опять в Никите стали бороться два чувства: хотелось — ох, как хотелось,— пролезть в знать, и в то же время долговязый принц-немец внушал отвращение. «Неужто в такие руки попадет наше обширное и славное царство?»— сокрушенно подумал он и еще больше приуныл от мысли: «Хороша награда, коли носить ее нельзя!..»

Поздно ночью возвратился Никита Демидов из Петергофа и очень удивился, когда в одной из дальних комнат увидел яркий свет. Он вопросительно посмотрел на дворецкого.

— Ваш братец Григорий Акинфиевич изволили прибыть в столицу и теперь поджидают вас!

Тяжелыми шагами Никита прошел вперед и распахнул дверь. Под окном в кресле в глубоком раздумье сидел средний брат.

— Ты что тут?— недовольно спросил его Никита.

Григорий поднялся и пошел навстречу брату. Они облобызались.

— Прибыл по делу о наследстве,— сказал он.— Вызван сенатом для опроса!

— Ты что ж, заодно с Прокофием?— сердито спросил брат.

— Что ты, Никитушка!— обиделся Григорий.— Сам по себе. Боюсь, оба вы горячие и неприятностей наговорите друг другу.

Он выглядел простовато. Лицо было добродушно, бесхитростно; Никита успокоился.

— Послушай, братец!— тихо заговорил Григорий.— Нельзя ли по-хорошему разобраться? Судьи да сутяги разорят нас! И мне ведь пить-есть надо. Ты не обижайся. Не хочу я свар, давай мириться!

— С тобой — готов!— повеселев, сказал младший брат.— А с Прокофием — ни за что! Бесноват! Хитер! Лукав! Небось уж по Санкт-Петербургу наследил!

— А ты смирись, не разжигай себя,— посоветовал Григорий.

— Ты вот что мне лучше скажи, когда в сенат идешь?

— Это, братец, когда вызовут,— спокойно отозвался прибывший.

— Ох, милый ты мой, тогда жди с моря погоды!— насмешливо сказал Никита.— Действовать надо. Давай напишем просьбу на старшего!

Григорий отрицательно покачал головой.

— Ни на тебя, ни на него писать не стану!— твердо сказал он.— По чести, без свары будем делить имущество батюшки!

Никита прищурил глаза, подозрительно взглянул на брата и подумал: «Что он, дурачок, недоумок или лукавит?»

Григорий уселся в кресло и, показывая брату на обстановку, сказал с восхищением:

— Николи я в столицах не был и удивлен роскошеством батюшкина дома!

«Нет, не лукавит он,— решил Никита.— Простоват, вот и все!»

Совсем повеселев, он сказал брату:

— Раз нравится тут, ну и живи! Все братья здесь хозяева. Прости, мне надо отдохнуть. Устал весьма. У великого князя был!

— У великого князя!— в изумлении повторил Григорий.— Ишь куда забрался!..

Все дни Григорий проводил в осмотре Петербурга или сидел с дворовыми в вестибюле и слушал их побаски. Вел он себя просто, доступно, и это дворецкому не нравилось. Однажды он заметил молодому хозяину:

— Вы, батюшка, помене тары-бары-растабары с дворней разводите, уважение потеряете!

Григорий сердито засопел и вдруг властно сказал:

— Я не попугай и не петух в павлиньих перьях! А живу, как мне хочется, и тебя, старик, не спрошу!

Он несколько раз ходил к брату Прокофию, уговаривал его примириться с Никитой, но тот хмуро гнал его прочь.

4

Прокофий Демидов, узнав, что государыня передала дело о наследстве сенату, каждый день стал досаждать сенатским чиновникам. Они отмахивались от досужего просителя — не до того было! Суета в сенатской канцелярии поднималась очень рано. В девять часов утра Прокофий являлся в приемную, избирал удобное место и плотно усаживался, наблюдая своеобразную жизнь сената. Мимо него как тени шмыгали чиновники в потертых мундирах с папками под мышкой.

— Погоди ж, крапивное семя, добьюсь своего!— ворчал он и терпеливо высиживал в приемной весь день.

В один из дней Прокофия особенно одолевала скука. В длинных коридорах было пустынно, полутемно, пронизывала прохлада. Демидов, взглянув на служителя, встал с кресла и осторожненько заглянул в одну из дверей. В обширной палате с каменным сводом за длинными столами сидели писчики и, не переводя дыхания, строчили, издавая гусиными перьями сухой однообразный треск.

— Господи боже, до чего же скучно!— вздохнул Прокофий, тихонько прикрыл дверь и вернулся на прежнее место.

— Ты, батюшка, я вижу, который день высиживаешь тут, как наседка.— В белесых глазах отставного солдата мелькнуло сочувствие.

— Да, все поджидаю, когда решится мое дело!— простодушно сознался Демидов.

— Эх, сударь, да в уме ли ты!— воскликнул служитель.— Да когда ты этого дождешься? Не так легко тут добыть истину!

— А я их измором возьму, служивый!— решительно сказал Прокофий.

Служитель хлопнул по фалдам старенького мундирчика:

— Эх, батюшка, не по силе и терпению задумали дело! Да разве тут высидишь решение? У нас, сударь, дела лежат полста годов, а то и поболе! Оно и лучше, вылеживаются. Сказано: поспешишь — людей насмешишь! А тут, глядишь, полежит-полежит, тем временем спорщики помирятся, а то и помрут:

Демидов помрачнел. Он уже слышал про сенатские порядки, про неимоверную волокиту и лихоимство, ца-

рившие среди сенаторов. В Санкт-Петербурге много рассказывали о лисичкинском деле. В ту пору в сенате открыли целое отделение, состоявшее из обер-секретарей, секретарей, столоначальников и писцов; все они три года занимались составлением записки из лисичкинского дела, в котором имелось триста шестьдесят пять тысяч листов. Краткая записка, учиненная борзописцами, заключала в себе только десять тысяч листов.

Сутяжничество началось по доносу фискала Лисичкина о злоупотреблениях, имевших место в питейных откупах. Для разбора дела судьи вместе с обозом, груженым столь громоздким произведением канцеляристов, отправились на место происшествия.

После долгого пути обоз остановился в корчме, и ночью — случайно ли, а может, и по злому умыслу — вспыхнул пожар, и все дело, столь мудро и казуистично построенное, сгорело. Тем все и окончилось...

Вспомнив это, Прокофий Акинфиевич забеспокоился, но с горделивым видом сказал:

— Дело мое должно решиться по указу самой государыни!

Служитель построжал.

— Ее императорское величество матушка-царица наша о всех подданных заботится!— торжественным тоном изрек он.— Но то надо, милый, учесть: она, матушка, одна, а нас, холопов, много!

— Это верно!— согласился Прокофий.— Но как же тогда быть?

— А быть так: ждать свой черед! В сенате делов много, и каждый указ свое исполнение имеет. Подождешь, сударь, с годик-два, тогда, может быть, и подоспеет твоя пора!

Служитель отвернулся к окну, за которым над адмиралтейским садом кружилось воронье. Прокофий тихонько подошел к старику, тронул его за плечо:

— Скажи-ка, служивый, где та тропочка, по которой можно скорее прийти к развязке нашего узелка?

Служитель помедлил ответом, вынул табакерку, заправил в нос понюшку табаку, чихнул.

— С этого, сударь, и начинать надо было!— после раздумья сказал старик.— Перво-наперво эта тропочка начинается от сего места, а дальше она побежит к начальнику канцелярии...

Он замолчал и скромно опустил глаза.

— Ох, грехи наши тяжкие!— вздохнул старик.— Беда мне, сударь, с вами. Но что делать, такой добрый у меня характер...

— В долгу не останусь, ей-ей!— тихо посулил Демидов.— Научи только!

— А ты приходи завтра да захвати лепту на воспитание сирот. Их превосходительство — попечитель сиротского дома. Ах, господи, сколько хлопот у него! Ну, иди, иди с богом! Завтра приходи, там видно будет!

Прокофий потихоньку выбрался из приемной и заторопился домой...

На другой день Демидов явился в сенат и вручил седенькому служителю серебряный отцовский рубль.

— Допусти без доклада!— указал он на дверь кабинета.

Старичок попробовал рубль на зубок.

— Добр целковый!— восхищенно покрутил он головой.— Иди, что ж поделаешь...

Прокофий тихонько приоткрыл дверь и юркнул в кабинет. Учтиво склонился перед начальником. Высокий, с лицом, обрамленным седыми баками, тот сердито набросился на Демидова:

— Кто вы такой, сударь? Как сюда попали?

— Виноват, ваше превосходительство!— почтительно изогнулся Демидов.— Казните, но выслушайте!— Он быстро подошел к столу и выложил тугой мешочек.— Наслышан я, что вы изволите состоять попечителем сиротского дома. Как не порадеть о бедных малютках!

— Позвольте, кто вы?— удивленно посмотрел на посетителя чиновник.

— Ваше превосходительство, умилен, весьма умилен вашей опекой над несчастными. Во святом писании сказано... Ах, ваше превосходительство, льщу себя надеждой быть полезным государству российскому!

Прокофий осторожно придвинул мешочек к начальнику. В нем брякнул металл.

— Что сие?— смягчаясь, пристальным взором взглянул на приношение начальник канцелярии.

— Пожертвование, ваше превосходительство, на сиротский дом. Примите, сделайте вашего слугу счастливейшим на земле!

Чиновник поправил очки, вскинул голову, подумал. Вдруг его потухшие серые глаза приняли иной, веселый

оттенок. Он бережно взял тугой мешочек, взвесил его на ладошке.

— Неужто?— пронзительно посмотрел он на Демидова.

— Истин бог, золотые!— подтвердил Прокофий и улыбнулся.

— Голубчик вы мой!— вдруг протянул руки сенатский вершитель.— Выручили вы меня. В опасении был, испостились сироты... Благодарствую... Из каких краев, сударь?— совсем уже дружелюбно спросил Прокофия чиновник.

— Ваше высокопревосходительство, издалека я, с Каменного Пояса прибыл. Может, наслышаны о Демидовых? Обласкан ее императорским величеством и обнадежен!— вкрадчиво начал проситель.

— Знаю, знаю, вспомнил!— вдруг перебил чиновник.— О наследстве ищешь, сударь?

— Точно так!— поклонился Демидов.

— А коли так, *доложить* придется, сударь!— совершенно невозмутимо сказал сенатский и ловким движением руки столкнул тугой мешочек в ящик стола.

— Ваше превосходительство,— со слезами на глазах взмолился Прокофий,— истин бог, все сделаю, коли счастье повернется ко мне. Будет *доложено!* А сейчас я наг и нищ... Сжальтесь, ваше превосходительство!— Он не отводил глаз от горделивого лица сенатского чиновника. А в голову лезли злые мыслишки: «Хапуга! Мздоимец!»

И тут же, склонив голову, шепнул со всей страстью:

— Будет *доложено.* Попомните! Демидовы слов на ветер не роняют...

Через две недели трех братьев неожиданно вызвали в сенат. В ярко освещенном зале за длинным столом, крытым зеленым сукном, сидели важные сенаторы. Григорий при взгляде на них сильно оробел.

«Вельможи, истые вельможи!»— со страхом подумал он, оглянувшись на братьев.

Никита, нарядно одетый, в пышном парике, щедро осыпанном пудрой, чинно держался перед заседающими. Прокофий не мог устоять на месте: то дрыгал ногой, то прищуривался на сенаторов, а в глазах брызгал шальной смех.

Председательствовал сенатор Александр Бутурлин. Он медленно обвел братьев пристальным взглядом и протянул руку, указывая на кресла:

— Прошу садиться!

Сенаторы сидели строгие; холодные холеные лица их выглядели торжественно. Председательствующий развернул папку и стал медленно листать синеватые листы описи.

Он величаво поднял голову и объявил братьям:

— По соизволению ее императорского величества сенат рассмотрел жалобы на раздел имений покойного заводчика Акинфия Никитьевича Демидова. Отмечая ябеды братьев друг на друга, найдено, что самым справедливым будет удовлетворение нужд всей семьи.

Сенатор сделал передышку, посмотрел на Прокофия. Тот по-шальному подмигнул ему. Лицо Бутурлина построжало. Хмурясь, он сказал:

— Итак, мы порешили объявить вам волю монархини нашей, ибо сие разделение имущества утверждено ею!

«Скоро-то как!»— весело подумал Прокофий и толкнул в бок Григория: «Слушай!»

Между тем председательствующий провозгласил текст решения:

— «Первая часть наследства, в кою входят пять уральских заводов, Невьянская горная округа, пристань на Урале, вотчины и приписные в количестве девяти тысяч пятьсот семидесяти пяти душ мужского пола, а также семьдесят девять приказчиков и служителей, отходит к старшему из братьев Прокофию Акинфиевичу. Ему же передаются шесть домов со службами: в Москве, Казани, Чебоксарах, Ярославле, Кунгуре и Тюмени...»

Прокофий Демидов вдруг вскочил и закричал в лицо младшему брату Никите:

— Ага, моя взяла! Моя взяла!

— Помолчите, сударь!— пристрожил его Бутурлин.— Вы в сенате, а не в ином месте!

— Угу!— гукнул, как филин, Прокофий и замолчал.

— «Вторая часть наследства, Ревдинская, отдается среднему брату Григорию Акинфиевичу. Она состоит из трех заводов на Урале, соляных промыслов, кожевенного и медного заводов и пристани...»

Председательствующий подробно вычитал о передаваемых дворах, домах, пристанях, крепостных и при-

писиых людях и пытливо посмотрел иа Григория. Тот встал и поясио поклонился сенаторам.

— Благодарю за справедливость государыию нашу!

Никита откашлялся и вперил свой властиый взор в Бутурлина. Председательствующий кивиул ему:

— Теперь о вашей части! К вам отходят: «Заводы — Нижне-Тагильский, Черноисточиисий, Выйский, Висимо-Шайтанский, Лайские заводы, Сулемская пристань. Приписных и крепостных девять тысяч шестьсот душ мужского пола. Дома и строеиия...»

Сеиатор медлеиио, четко стал вычитывать перечень их. Никита стоял, высоко подняв голову, внимательно слушал. Ни один мускул не дрогнул на его породистом лице.

Когда закончили читать решение, он сдержанно поклонился и выговорил:

— Благодарствую за то, что прекратили тяжбу нашу. Пора приступить к работе на заводах, а свары мешали этому. Теперь только по-настоящему и хозяйствовать можно!

Прокофий дальше ие слушал иаставлеиий сеиата, вскочил и заторопился к выходу. Он бежал по прихожей, а сзади него семеиил служитель.

— Сударь! Сударь, на одну минутку!— взывал он.

— Какой я сударь? Я ныне заводчик Демидов. Мильоищик! Чего тебе надо, шишига?

— Ваша милость,— тихо прошептал служитель,— их превосходительство начальиик каицелярии просит вас...

— Зачем понадобился?— строго спросил заводчик.

— Знать не знаю, ведать ие ведаю!— искреиним тоном сказал отставной солдат.— Вы уж, ваша милость, сами доложитесь.

— Ну, нет!— не согласился Демидов.— С меня хватит! Хорош сей кумаиек будет и без «доклада»!

Он бойко затопал по камениым ступеиям лестиицы книзу, где у подъезда его поджидала карета...

5

Указом правительствующего сената все наследство Акиифия Никитича Демидова делилось поровну между тремя иаследииками покойного. Но еще приятнее Прокофию Акиифиевичу было то обстоятельство, что старинный, дедовский Невьянский завод отходил к нему.

Заняв огромную ссуду под наследство, заводчик решил удивить Санкт-Петербург, задать такой пир, чтобы слава о нем докатилась до государыни Елизаветы Петровны.

По всему городу были разосланы афиши, а в них Демидов оповещал население:

«В честь высочайшего дня тезоименитства ее императорского величества представляется от усердия благодарности от здешнего гражданина народный пир и увеселение в разных забавах с музыкой на Царицыном лугу и в Летнем саду сего месяца 25 дня, пополудни во втором часу, где представлены будут столы с яствами, угощение вином, пивом, медом и прочим, которое будет происходить для порядка по данным сигналам и ракетам:

1-е — к чарке вина,

2-е — к столам,

3-е — к рейнским винам, полпиву и прочему.

Потом угощены будут пуншем, разными народными фруктами и закусками; представлены будут разные забавы для увеселения, горы, качели, места, где на конях кататься, места для плясок; все ж сие будет происходить по порядку от определенных хозяином для потчевания особливых людей, кои должны довольствоваться всем, напоминая только тишину и благопристойность; ссоры и забиячества от приставленных военных людей допущены быть не могут, ибо оное торжество происходит от усердия к народу и от благодарности к правительству; следовательно, и желается только то, чтоб были довольны и веселы, чего ради со стороны хозяина просьбою напоминается хранить тихость и благочиние; в заключение всего представлена будет великолепная иллюминация».

В полдень Прокофий Демидов проследовал в золоченой карете, запряженной шестеркой гнедых, вдоль Невской першпективы и свернул к Царицыну лугу. Разодетый в бархат, шитый золотом и самоцветами, в пышной собольей шапке, он важно восседал на шелковых подушках. Впереди кареты, расчищая дорогу, бежали рослые скороходы в малиновых куртках. Форейторы — на убранных серебряной упряжью конях — и гайдуки на запятках красовались в новых пышных ливреях темно-синего сукна, обшитых галунами. На

шапках — радужные павлиньи перья. Весь роскошный выезд ослепительным блеском напоминал собою торжественное шествие восточного властелина. За экипажем бежала толпа, размахивая шапками, крича «ура». Все бездельники, дармоеды и любители всяких приключений устремились на Царицын луг, где каждого поджидало обильное возлияние и угощение.

Среди необозримого луга простирался чудовищных размеров полукруглый стол, уставленный самыми разнообразными яствами. Тут высились большие пирамиды, сложенные из ломтей свежего, пахучего хлеба с икрой, вяленой осетриной и другими приятными закусками. Между пирамидами алели горы только что сваренных раков; от них в холодном воздухе вился легкий парок, привлекавший своим тонким, дразнящим запахом всех изголодавшихся. Здесь же были расставлены в новеньких ведрах просоленные огурцы с запахом тмина, укропа; лежали целые гирлянды крупнорепчатого лука. Тут все было на потребу здоровому чреву! А чтоб елось всласть, в разных местах рядами стояли бочки с водкой, пивом, брагой, разными шипучими квасами.

Над всем высилось чудо-юдо — необъятных размеров кит, сделанный из картона. Кит этот был начинен мелкой сушеной рыбой и другими закусками. А пóкрыт он был золотой парчой и ярко сверкал на солнце.

Молодым весельчакам и старикам-бодрячкам предлагались разные игры и увеселения: ледяные горы, и качели, и карусели, и высокие-превысокие шесты, гладко оструганные и намыленные, а на верхушке каждого шеста лежал золотой и поджидал ловкача. Кто доберется — тому и награда!..

Весь огромный Царицын луг и прилегающие к нему улицы уже волновались шумным людским морем. Едва карета Демидова свернула на поле, как с треском взвилась ракета...

И тут долго сдерживаемый людской поток, словно бурные вешние воды, сокрушив плотину, ринулся к столам и бочонкам.

Хоть и кричали, звали людей к порядку демидовские хлебодары в белых передниках и виночерпии в кожаных — все было напрасно. Народ все сметал на своем пути; великий шум, как морской прибой, стоял над лугом и Летним садом. Мужики толкались, стремились к бочкам, выли бабы, затираемые в толпе...

Вокруг началось обжорство и пьянство. Виновник небывалого пира Прокофий Демидов размахивал собольей шапкой кричавшим питухам. Они с бою брали бочонки... Вино хлестало через край, растекалось по бородам, по сермягам.

— Ой, любо! Ой, пригоже! — подзадоривал питухов завороженный зрелищем необычного, повального пьянства Демидов и, войдя в раж, не утерпел, выскочил из кареты и побежал к бочкам. Взобравшись верхом на сорокаведерную, он скинул шапку и закричал:

— Подходи, веселые, пей из хозяйских рук!..

Его разом окружили сотни пьянчуг и стали пить хмельное из собольей шапки хозяина.

Не прошло и часа, как на площади шатались пьяные, повеселевшие, а вскоре начались и драки...

Только ранние зимние сумерки прекратили необычный пир. Понемногу опустел Царицын луг. С Невы задувал резкий морозный ветер, и становилось студено. Белая пурга волнисто устремилась на обширное поле, стала заметать и заносить тела упившихся до потери сознания людей...

Всю ночь и все утро в полицейские участки подвозили замерзших и опившихся; приходили побитые, со свороченными скулами жалобщики. На пустынных улицах, на городских окраинах находили убитых и ограбленных обывателей, возвращавшихся с демидовского пира...

Санкт-петербургский генерал-полицмейстер не смог умолчать о злосчастном событии, погубившем многие сотни людей, и доложил о сем государыне.

Елизавета Петровна молча выслушала доклад.

— А Демидов где?— спросила она.

— Ваше величество,— поклонился генерал-полицмейстер царице: — Дознано, еще ночью промчал градскую заставу и отбыл из столицы...

Черная мушка чуть-чуть задрожала над губой Елизаветы Петровны; глаза ее улыбались: по всему видно было, озорство Прокофия ее забавляло.

— Что же,— сказала она генералу,— коли съехал вовремя, так тому и быть! Удал и проворен, выходит, колесом ему путь-дорога!..

6

Возвращаясь из Санкт-Петербурга, Прокофий Акинфиевич на этот раз остановился в Москве в старом дедовском доме, на Басманной. Он шумно подкатил к ветхому, покосившемуся подъезду и выскочил из коляски. Прознавшая об удаче наследника дворня встретила его низкими поклонами и льстивыми восклицаниями. Демидов прошел в большой полупустынный зал. Печи были жарко натоплены; потрескивало, рассыхаясь, старинное дерево. Блестели полы, натертые воском. Хозяин вышел на середину покоя и захлопал в ладоши.

— Слушай, холопы, отныне я тут владыка!— провозгласил Демидов. Странной, вихляющей походкой он обошел дом, везде замечая непорядок. Но дворня терпеливо переносила все причуды нового хозяина.

Весь вечер Демидов привередничал; холопы сбились с ног, ублажая своего владыку.

Прознав о приезде и удаче Прокофия Демидова, наутро к нему спозаранку приплелась старушонка-процентщица. Заводчик сидел за столом, насыщаясь и благодушествуя. Старушка робко переступила порог.

— Батюшка ты мой, кормилец, премного обрадовалась весточке! Уж как рада, как рада!..

— Чему же ты рада, матушка? Небось дрожала за денежки?— с ехидцей прищурил глаза Демидов.

— Что ты, батюшка, вашему корню крепко верю. Я еще с дедом твоим была знакома. Разве позарятся Демидовы на мои гроши?— угодливо прошамкала старуха.

Завидя на столе поблескивающую в графинчике наливку, процентщица засияла.

— Может, пригубишь?— лукаво предложил Прокофий Акинфиевич.

Старушка подняла сморщенное лицо, вздохнула:

— Грешна, батюшка, ох, грешна, пригублю...

Демидов налил чарку полыновки, поднес бабке. Она, не моргнув, выпила и облизалась.

— Ох, и до чего хорошо! Спаси тя осподь, сынок! Ох, благодарствую, голубь...

Не давая передохнуть, хозяин налил вторую чару. Бабка и эту опорожнила залпом и повеселела.

— Ну вот, теперь и о деле можно говорить!— улыбнулся Демидов.

— И верно. Теперь оно куда как веселее. Милый ты мой, знаю, не обидишь старую.— Ростовщица по-собачьи заглядывала в глаза хозяину.

— Уж как условились! Получай должок с процентами.

— Слава тебе господи!— перекрестилась старуха.— Я так и знала. Пошли тебе всевышний счастья и доли.

В глазах Прокофия заиграли озорные огоньки:

— Только вот какая неудача вышла, матушка. Дело-то я выиграл и деньги-то все сполна получил. Но вот грех — деньги-то все медные. Все-все, до копеечки! Вот хочешь бери, хочешь, оставь на другой раз.

Гостья тревожно насторожилась:

— То есть как на другой раз? Нет, ты, милок, ноне мне выдай! Все едино — медные так медные!..

Она беспокойно заерзала в кресле. Тревожные мысли овладели ее скупым сердцем. «Сбежит, поди, молодец! Эк, сколько привалило, да в нехозяйские руки. Профукает по столицам!»

Потирая руки, веселый Прокофий встал и позвал старуху за собой:

— Коли так, идем в кладовушку. Отсчитывай и бери с собой! Да торопись, а то раздумаю...

Бабка засуетилась, поспешила за Демидовым. Он привел ее в кладовушку. Прямо на полу тускло поблескивали горы мелкой монеты.

— Считай сама! Мне недосуг. Считай по-честному...

У ростовщицы разбежались глаза. Перед ней были добротные тяжелые семишники старинной чеканки. Прокофий, улыбаясь, прикинул: «На две тысячи червонцев, поди, пять ломовиков надо...»

Старуха хлопотливо принялась за счет должка. Она старательно выгребала семишники и, отсчитывая их, складывала в аккуратные столбики. Делала она это с охотой, любуясь добротной чеканкой. Прошел час-другой, перед бабкой выросла горка монет. Но пока она всего-навсего насчитала сотни две рублей, а дело шло к полудню. Прокофий, ухмыляясь, расхаживал по чулану. И когда старушонка изрядно вспотела, он ненароком споткнулся и задел ногой выстроенные столбики монет. Семишники со звоном рассыпались...

— Ах ты, господи!— заохала старуха и дрожащими руками принялась снова отсчитывать...

В окошко чулана глядело веселое солнце, сильно пригревало; утомительный счет морил старуху. Хотелось есть. В глазах рябили семишники, семишники без конца... Руки дрожали. А тут в мысли лезли разные домашние дела, счет путался... Все мешалось...

— Ах, господи, какое несчастье!— вздыхала бабка; на глазах ее засверкали слезы. Она со страхом оглянулась на Демидова.

— Считай, считай, старая! — торопил он.— Мне некогда, коли не сочтешь до вечера — пиши пропало!..

— Кормилец ты мой, чую, со счету собьюсь...

Маленькая, согбенная, она жадными руками пересыпала с места на место медные семишники. Старухой овладело отчаяние. Натешившись вволю ее беспомощностью, Прокофий Акинфиевич сжалился над своей жертвой:

— А что, не дать ли тебе, матушка, золотом, а то, чай, медь-то неудобно нести?

— И то, родимый, золотом-то сподручнее!— согласилась обрадованная старуха.

Демидов подошел к ларцу и вынул тугой мешочек.

— Так и быть, бери последнее!

Он развязал мешочек и высыпал на стол золотой поток. Глаза старухи заискрились. Она вновь ожила. Протянув сухие скрюченные пальцы, процентщица заторопила его:

— Давай! Давай!..

Старуха не могла оторвать глаз от золота. Оно звенело, сверкало, притягивало к себе таинственной необоримой силой. Как жаркие, горячие угольки, сияющие золотые монетки жгли морщинистые руки. Она пересыпала их из ладошки в ладошку, наслаждаясь блеском и звоном.

«Эк, и жадина же, в могилу скоро, прости господи, а все не угомонится!»— сморщился заводчик.

Блеснув на золотом листопаде, луч солнца погас. Было далеко за полдень.

— Ну пора, старуха. Покончили, рассчитались. Уходи!— натешившись, заторопил ее Демидов.

Она еще раз бережно пересчитала золото, крепко увязала его в платочек, но не уходила, чего-то выжидала...

— Ты чего же?— удивленно посмотрел на нее Прокофий.— Аль забыла что, иль недовольна?

— Что ты, батюшка, уж как и довольна, как и довольна. Спасибо, кормилец!

— Тогда что же?

Цепким взором старуха окинула горки медных семишников и вдруг робко попросила:

— Дозволь, батюшка, их заодно... Все равно тебето ими некогда заниматься. Отдай, касатик!

— Да ты что ж, сдурела, старая? Ведь это денежки, а денежки счет любят!

Бабка кинулась хозяину в ноги.

— Милый ты мой, осчастливь старую!— Она залилась горькими слезами, словно потеряла дорогое...

Прокофий неожиданно для себя снова зажегся озорством.

— Слушай, матушка, так и быть, пусть по-твоему!— сказал он вдруг.— Только уговор такой: унесешь сама до вечера все семишники — твои, не унесешь — пиши пропало. Все заберу, и золото! Идет, что ли?

На своем веку ростовщица немало повидала денег: и золотых, и серебряных, и медных. Понимала она, какой непосильный груз предстоит ей перетащить на своих костлявых плечах, но жадность старухи оказалась сильнее благоразумия. Она торопливо извлекла из угла пыльный мешок и стала сгребать семишники. Демидов с любопытством наблюдал за старой. «Откуда только взялось такое проворство?»— думал он.

А старуха торопилась. Насыпав мешок, дрожа от натуги, она вскинула его на плечи и поплелась к воротам...

Шла шатаясь, тяжелый мешок из стороны в сторону бросал ее щуплое, сухое тело. Из окон, из дверей выглядывали любопытные холопы: «Что только еще надумал наш чудак?»

Несмотря на тяжесть, старуха осилила двор и вышла за ворота.

— Куда ж ты?— крикнул вслед Демидов. Но бабка и не отозвалась.

Она сволокла мешок с медяками домой, вернулась снова. Жадно загребая, насыпала побольше звенящих монет. Изнывая под тяжестью и хрипя, уволокла и второй мешок; прибежала за третьим.

— Бросай, старая: не успеешь, вишь — солнце совсем на березе повисло!— закричал Прокофий.

— Э, нет, батюшка, ты уж не жадничай! Уговор дороже денег!— отозвалась старуха.

Из жалости он помог ей вскинуть на плечи третий мешок с семишниками.

Старуха вошла в азарт: шустро и быстро заторопилась по двору. Досеменив до калитки, она неожиданно зацепилась за порожек и упала носом в землю.

— Эй, вставай, матушка!— сжалился над ней Демидов.— Бог с тобой, бери все. Сейчас мои холопы перетаскают...

Он смолк и в удивлении подошел к старухе.

— Холопы!— закричал он.— Помогите бабке...

Но помогать не пришлось. Старуха лежала недвижимо. Сбежавшиеся слуги повернули ее лицом кверху. В нем не было ни кровинки, ростовщица была бездыханна.

— Упокоилась, хозяин.— Слуги сняли шапки и набожно перекрестились.

Они осторожно приподняли ее, отнесли в сторону и положили на землю, скрестив ей на груди руки.

Неподвижная, умиротворенная, старушонка потухшими глазами удивленно смотрела в голубое небо. Глаза мертвой производили неприятное впечатление.

— Прикройте их!— приказал хозяин.

Холопы наскоро добыли из мешка два медных семишника и положили на глаза покойницы.

Демидов посмотрел на маленькое сухое тело старухи и с сокрушением подумал:

«Эк, жадность-то какая! Всю жизнь гналась за богатством, а, глядишь, двумя медными семишниками прикрыли глаза. Как мало понадобилось — всего две денежки!..»

Глава третья

1

Надвигалась ранняя уральская осень. Над синими горами, над густыми кедровниками пролетали стаи крикливых перелетных птиц. Густым багрянцем пламенела трепетная осина; с задумчивой березки упал золотой лист. Вода в заводских прудах остыла и стала прозрачной-прозрачной. В такую пору в Невьянск прискакал гонец с вестью и приказанием от нового владельца Прокофия Акинфиевича приготовиться к достойной встрече.

Одряхлевший дядя-паралитик Никита Никитич весь затрясся в веселом смехе.

— Молодчага! Демидовская кровь! Отбил-таки свое добро — отцовщину!— похвалил он племянника и закричал холопам:— Чару, да поуемистей, гоицу!

Прибывшему подиесли большой ковш хмельиого. Ои принял его из рук старого Демидова.

— За доброе здравие старых и молодых хозяев!— льстиво провозгласил вестник и, ие моргнув глазом, одним духом осушил ковш.

— Славный питух!— одобрил Никита.

Оживлеиный, веселый, он вызвал приказчика Мосолова и велел готовиться к пышиой встрече молодого иевьянского владельца.

Великие тревоги и хлопоты, как пожар, охватили дворню. Много дней в барских хоромах мыли окна, полы, крыльца, чистили люстры, выколачивали ковры. На кухне иеугомонно стучали ножи, шипели на раскаленных плитах огромиые противни с жареными гусями, дичью, поросятиной. Над дворами летал пух, кричала под ножом птица. На заводскую площадь выкатили медные пушки и уставили их дулом на запад. Дорогу иа многие версты усыпали изрубленным ельником; на пригорках расставили махальщиков, чтобы вовремя узиать о приближении молодого хозяина.

В яркий солнечиый день хожалый мужик Охломои вывез своего больного господина иа крыльцо. С высоты его Никита Никитич в иапряжеином ожидании вглядывался в убегающую вдаль дорогу. Обряжен был старик в вишневый бархатный халат с кружевами и мурмолку, расшитую золотом.

— Чуешь, иыне к нам прибудет новый хозяин?— оживляясь, обратился Демидов к хожалому.

— Чую, батюшка Никита Никитич!— покорио отозвался тот, склоняясь иад креслом-возилом.

— А то чуешь, что новый хозяин — продувной и шельмец?— допытывался паралитик.— Чего доброго, он сгонит иас со двора!

— Что вы, батюшка!— подобострастно отозвался Охломои.— Не допустит этого любезный Прокофий Акинфиевич. Притом, слава тебе господи, и вы в силе — телесной и денежной. У вас и своих заводишек хватит на полцарства!

— То верно! — стукнул посохом о половицу крыльца Никита и ястребом поглядел на мужика.— Хвала богу,

понастроил батюшка заводов и на мою долю. Но знай, холоп,— нет для меня краше завода Невьянского!

— Сударь-батюшка, а кому не красен наш Невьянск... Ой, никак машут? Едет! Едет!— заорал вдруг Охломон.

Демидов прищурился; солнце ударяло ему в лицо. Он взмахнул платочком, и в ту же секунду рявкнули медные пушки. На колокольне зазвонили колокола. Из хором выбежали слуги.

— Едет! Едет!— закричали на дозорной башне.

— Едет! Едет!— закричали на дороге, у ворот и во всех закоулках завода.

И на зов, как бурлящие ручейки, на площадь стали сбегаться работные женки, холопы. Все с напряжением глядели на пригорок, ждали появления экипажа.

Никита Никитич нетерпеливо постукивал посохом. Позади жарко дышал хожалый. С каждой минутой росло томительное напряжение. Вот на гребешке холма вырос всадник, задымилась пыль.

— Казак! Передовой казак!— закричали на площади.

В ответ на звоннице еще яростней забушевали колокола.

Еще раз ударили пушки, и эхо выстрелов раскатилось продолжительным ревом.

И, как бы по зову их, на холме возникло видение: высокая колымага, оранжево засверкавшая на полуденном солнце. Странные кони, запряженные цугом, повлекли ее вниз по скату. Впереди запряжки бежали скороходы, потные, в пестрых одеждах, и кричали:

— Пади, пади! Прочь с дороги!

Никита Никитич вытянул гусиную шею и зорко глядел на приближавшийся кортеж.

Палили из пушек, великий грохот катился по горам. Неистово звонили колокола.

— Но что это за кони? Что это за слуги? Уж не наваждение ли?— смущенно озирался старик Демидов на дворовых.

Работные, женки и ребятенки таращили глаза на невиданное зрелище. Спустившись с холма, вслед за скороходами на заводский двор вкатилась огромная тяжелая колымага, окрашенная в ярко-оранжевый цвет. Цуг состоял из диковинных коней: в корню были впряжены два крохотных конька, а два огромных битюга горой двигались в середине, с карликом-форейто-

ром на спине. Впереди бежали две кобылицы-карлицы, а форейторы восседали на них столь высокого роста, что длинные ноги их тащились по земле.

На запятках рыдвана неподвижно стояли два лакея в ливреях.

— Ох-хо-хо!— закряхтел Никита Никитич.— Что за оказия?

Ливреи лакеев были под стать упряжи: одна половина — бархатная, сияла золотыми галунами, другая — убогая, из самой грубой дерюги. Одна нога лакея в шелковом чулке и в лакированном башмаке, другая — в заскорузлой онуче и в стоптанном лапте.

Из-под колес рыдвана клубилась пыль. Кони, резвясь, мчались к дому.

Пыльные скороходы добежали до крыльца и, склонившись перед Никитой Никитичем в почтительном поклоне, сообщили:

— Их милость хозяин Прокофий Акинфиевич на завод прибыл...

И только успели они оповестить, как рыдван с шумом и грохотом, описав кривую, подкатил к хоромам. В последний раз рявкнули пушки и огласили громом окрестности. Наступила тишина. И тут по наказу Мосолова заводские мужики и женки истово закричали «ура»...

Ливрейные лакеи соскочили с запяток и, проворно распахнув дверцу рыдвана, подставили ступеньки, крытые бархатом. Под звон колоколов и крики дворовых из рыдвана медленно, величественно сошел Прокофий Акинфиевич Демидов. В кафтане из зеленого бархата, расшитом золотыми павлинами, в красных сафьяновых сапожках, он выглядел сказочным восточным принцем...

— Ах ты, шельмец! Ах ты, умора!— засиял Никита Никитич и залился тонким веселым смехом.— До чего додумался! Распотешил старика...

Он весь дрожал от возбуждения, лицо побагровело от смеха, глаза слезились. Схватившись за поручни кресла, Никита Демидов наклонился вперед, пожирая завистливым взором чудаковатого племянника.

Между тем новый невьянский владелец торжественно приблизился к дядюшке и бережно обнял его. Старик дружески похлопал племянника по спине.

— Ай, молодец! Ай, удалец! Но что сие значит?— показал он на странные одежды холопов.

— Дядюшка,— торжественно провозгласил Прокофий Акинфиевич,— прост я родом: вам известно, что мать моя и отец из простых, почтенных людей. Разумом и трудолюбием отца и деда нашего возвеличены мы до дворянства. Я не братец Никитушка и о том хочу всем напомнить: что с одного боку мы, Демидовы,— бархатники, а с другого — пахотники!

— Ох, любо!— возрадовался Никита Никитич.— Любо, что не возгордился! Добро и то, что высудил-таки наследство!

— Отныне и до века завод мой и пребудет в моем потомстве!— решительным голосом объявил владелец и взглянул на дядю. Веселый, возбужденный старик на мгновение заглянул в темные беспокойные глаза Прокофия. Остренький холодок прошел по спине паралитика: на него смотрели пустые, шалые глаза маньяка.

Вихляясь и приплясывая на ходу, прибывший невьянский владелец удалился в разубранные покои...

Смолк колокольный звон; все еще разглядывая диковинную упряжь и наряды челяди, на площади топтались заводские. Никита Никитич, помрачневший, потухший, прикрикнул на толпу:

— Ну, чего глаза лупите? Марш на работу!..

Он растерянно оглянулся на дверь и укоризненно покачал головой. Мелькнула и всего встревожила мысль о племяннике:

«Кто же он — умница или сумасшедший?»

2

Прокофий Акинфиевич решил обосноваться в Невьянске. Теперь он стал неузнаваем: из молчаливой, неприметной тени вдруг превратился в необузданного самодура. Исчезла прежняя приниженность; все низменное и болезненно-странное, что до поры до времени таилось в нем, разом ожило и охватило все существо демидовского наследника. Прокофий зажил беззаботно, в довольстве, все желания его исполнялись быстро и безотказно. В обширных, отменно обставленных покоях он жил как неограниченный властелин и предавался своим чудачествам.

Жена его Матрена Антиповна, больная, иссохшая женщина, лежала на огромной деревянной кровати, поставленной среди пустого и холодного покоя, из углов которого рано наползали сумерки. Постепенно и неза-

метно угасала ее жизнь. Страдальческими глазами она вгляделась в прибывшего из столицы мужа и умоляюще прошептала:

— Прокопушка, подойди сюда... Дай руку...

Под одеялом зашевелилось костлявое, изглоданное болезнью тело. Прокофий, приплясывая, подошел к постели. Наклонившись над больной, он холодным, бесстрастным голосом окликнул ее:

— Ку-ку! Ты еще жива?

— Прокопушка, побойся бога! Что ты мелешь?— жалобно промолвила она. Из-под густых длинных ресниц выкатились слезинки. Большие прекрасные глаза с укором смотрели на Демидова.

Ухмыляясь и кривя тонкие губы, он отпрянул от ложа жены и сказал весело:

— Живи! Живи!.. Я пошутковал малость...

Все дни несчастная женщина лежала забытой, в одиночестве. Кухонные стряпухи приносили еду и убирали постель. Брезгливо морщась, бабы отворачивались и торопились поскорее убраться из горницы.

Единственной радостью больной были голуби, которых приносил младшенький сынок Аммоска. Он пускал их в комнату матери и бросал им горсть зерен.

Голуби кружились по комнате, жадно пожирали корм и ворковали. На подоконниках, постели, стульях они оставляли свой помет, но женщина не замечала грязи, целыми днями молчаливо созерцая сытых сизокрылых птиц...

Сынки заводчика Акакий, Лев и Аммос, великовозрастные верзилы, без дела слонялись по усадьбе, жили своей обособленной жизнью, избегая батюшку. Но он таки добрался до них! В один из зимних дней Прокофий вызвал сыновей в мрачный дедовский кабинет. Они робко переступили порог и застыли в изумлении и страхе. Отец сидел на столе под портретом деда, по-портновски скрестив ноги. В белом колпаке, в замызганном халате, он горделиво поднял голову и, указывая глазами на портрет, спросил сыновей:

— Каков, похож на деда?

— Как прикажешь, батюшка...

Прокофий, презрительно взглянув на их бесцветные лица, вдруг вскочил и закричал истошным голосом:

— Марш, марш отсель подале, бездельники! В Гамбург, в неметчину марш!..

Невзирая на уговоры и слезы жены, он приказал Мосолову обрядить сыновей в дорогу, и, погрузив в обоз припасы, их повезли через всю необъятную Россию в далекую иноземщину...

В демидовском доме стало еще пустыннее и тише.

На ранней заре в хоромах первым пробуждался хозяин. Хилый, остроносый, он накидывал халат, шлепая ночными туфлями, пробирался в людскую и поднимал всех петушиным криком. Из кухни Прокофий спешил к жене и каждый раз терзал ее тем же вопросом:

— Ку-ку!.. Ты все еще жива, Матреша?

Отвернувшись к стене, притворившись спящей, она не отзывалась на обидный оклик...

Неожиданно в Невьянск приехал Григорий Акинфиевич. Откланявшись дяде Никите Никитичу и старшему брату, он побеседовал с ним, осмотрел завод. Всюду он проходил тихой тенью, ни во что не вмешиваясь, внимательно присматриваясь к плавке руды и литью чугуна. Был он небольшого роста, тщедушен, говорил медленно, не задираясь. После полудня попросил слугу втащить в комнату хозяйки корзину, неторопливо извлек из нее пахучие яблоки и выложил перед больной.

Матрена Антиповна обрадовалась, засияла вся. Она ласково следила за ним. Гость подошел к окну и распахнул створки. Свежий воздух ворвался в неуютную большую комнату.

— Ну, здравствуй, Антиповна!— поклонился Григорий жене брата.— Ты что ж, милая, залежалась? Надо на солнышко да в садик пройти. Скушай яблочко!— Он протянул ей румяный плод.

— Милый ты мой, дорогой!— благодарно прошептала она.— Спасибо, не забыл! Ни садик, ни ветерок не помогут мне. Да и кому я нужна больная? Вот бы скорее смерть пришла!

— Ну, ну, не греши перед господом! Успеем, все уберемся на погост. Ты вот что, борись с хворью, не поддавайся ей!

Приятно и успокаивающе звучала его речь. Большими радостными глазами смотрела она на гостя и расспрашивала про семью.

— Небось не до радостей, все заводы ставишь?— внимательно посмотрела больная на Григория.

— Все не захапаешь,— спокойно отозвался он.— Строю на Бисерти один, да и то измаялся. Вот на Волгу плавал, хорошо на реке. Дышится-то как, просторы!

Он с воодушевлением рассказывал ей о рыбалках, о волжских городах, о пристанях, заваленных плодами.

В комнате потеплело от нагретого за окном воздуха. Больной стало лучше от ласковых слов. Она благодарно пожала ему руку.

Григорий пробыл с ней до вечера и распрощался. Уезжая, он отозвал старшего брата в сторонку и укоризненно сказал:

— Послушай, Прокопушка, моего совета: переведи Антиповну в другую, светлую комнату. Зачахнет она у тебя, как слабое деревце!

Прокофий отмахнулся от просьбы.

— У меня и без нее хлопот много!— строго сказал он.

Григорий опечаленно опустил голову. Да, трудно было ладить с братцем!

Он не остался ночевать и с первыми звездами выехал из Невьянска.

Только дядя-паралитик быстро сошелся с племянником Прокофием Акинфиевичем. Занимал Никита Никитич по-прежнему полутемный кабинет отца. Здесь он отсиживался в зимние томительные вечера.

Глубокий снег укрыл хмурые уральские леса и каменистые горы. С востока, из сибирских степей, пришли лихие метели. В глухую ночь ветер завывал в трубе; по слуховым прозорам, скрытым в стенах, шел таинственный гул. Потрескивали сальные свечи, озаряя тусклым светом изношенные лица дяди и племянника. Они сидели друг против друга, состязаясь в выдумках.

С глухой зимней поры они пристрастились к петушиным боям. Неуклюжий, но сильный Охломон приносил отобранных петушиных бойцов. И начиналось кровавое состязание.

В круге, опоясанном холщовым барьерчиком, насмерть бились разозленные птицы. По горнице летал выщипанный пух, на чистые дубовые половицы стекали капли крови.

Склонившись над барьерчиком, сидели дядя и племянник и наслаждались зрелищем. Прокофий, сняв колпак, утирал им пот с узкого лица. Мягкие жидкие волосики прилипали к мокрым вискам. Змеиными глазами, не отрываясь, он смотрел на истерзанных птиц. Его тонкие злые губы вздрагивали, извивались в сла-

дострастной улыбке, когда удар был особенно меток и силен. Старый паралитик, восседая напротив, весь трепетал от напряжения при виде крови, яркой рубиновой росой сверкавшей на полу. С губ Никиты Никитича стекала тонкая липкая струйка слюны. Глаза его то вспыхивали, то угасали. Он дробно и возбужденно стучал посохом о половицы...

— Дядюшка!— не утерпел и вскрикнул однажды Прокофий.— Все сие весьма занятно. Но куда увлекательнее будет, ежели эту игру вести не впусте, на петушиную кровь. Сыграем, дядюшка, на заводишки!

Никита Никитич нахмурился.

— Э, нет, боюсь, милый!— отозвался он.

— Пошто, дядюшка?— лукаво прищурил глаза Прокофий.

— А вдруг я выиграю, мои петушки бойчее твоих, настервятнились. Тогда, поди, ведь удавишь меня?— невозмутимо сказал паралитик.

Племянник залился смехом безумца.

— Это верно, дядюшка!— цинично сознался он.— Хошь я и не жаден, а непременно удавлю!..

— Варнак! Замолчи, варнак!— стукнул костылем старик.— Такие мысли негоже вслух молвить!..

Молодой хозяин отстранился от всех дел. Заводом правил неутомимый Иван Перфильевич Мосолов. Все у него шло раз навсегда установленным порядком. По зимнему скрипучему пути с завода уходили нескончаемые обозы, груженные добрым полосовым железом, помеченным верным знаком —«Старый соболь». На речных пристанях склады были полны добра, ждавшего вешней сплавной поры. На рудниках изо дня в день неотрывно робили рудокопщики, добывая руду. Над прудом беспрерывно дымили домны. Все шло хорошо, ладно, но Мосолова одолевали мрачные мысли. Глядя на паралитика-дядю и племянника, он сокрушенно думал:

«Гляди, что с доброй тульской кровью получилось! От такого крепкого корневища, от могутного дуба, а какая гнилая поросль народилась!..»

Здоровый, жилистый, он брезгливо относился к новым хозяевам. Ворюга-приказчик хапал сейчас без зазрения совести. Но воровство казалось безрадостным: не было соблазнительного риска.

Однажды Прокофий увлек Мосолова на башню. Вдвоем они упивались простором, разглядывали простершееся внизу демидовское хозяйство: дымили до-

мы, из кузницы доносился звон металла, скрипели водяные колеса, а в черных приземистых корпусах шла полная трудового напряжения жизнь.

Над башней плыли курчавые облака; сиял весенний денек. В горах шумели дремучие боры, ближние рощи тронулись легкой свежей зеленью. В прудовой заросли, у теплого берега, урчали лягушки. Зацветала черемуха.

— Экая благость!— не утерпел Мосолов и украдкой посмотрел на хозяина.

Уставившись в зеркальную гладь пруда, Прокофий ехидно спросил приказчика:

— Поведай, много ли ты с дядей в этом пруду людишек загубил?

Мосолов побледнел, испуганно закрестился:

— Свят! Свят!.. Побойся бога, хозяин, разве такое могло случиться?

— У вас, милый, все могло быть тут! Сильные вы духом люди! А я что? Слабодушный горемыка!— Он испытующе посмотрел на приказчика.

Ивану Перфильевичу стало не по себе. Он подумал: «Что он — притворяется, чтобы выпытать грех, или впрямь безумец?..»

Однако сколько ни воровал Мосолов, жадность его не насыщалась. Однажды, набравшись смелости, он напомнил Прокофию Акинфиевичу о должке.

Хозяин вскипел, взъерошился.

— Ты что, очумел?— затопал он на приказчика.— Какой должок? Я чаю, давно расквитались мы!

По узкому лицу его побежали тени. Повысив голос, он закричал:

— Ты у деда воровал, злодей! У отца воровал! А ныне у меня хапаешь да еще должок спрашиваешь!

Он схватил Мосолова за плечи и вытолкал его за дверь.

Неделю ходил Иван Перфильевич унылый и потерянный. Все ночи напролет он ворочался без сна, кряхтел от досады и сокрушался о невозвращенных червонцах. В конце концов он решил пойти на хитрость.

С опечаленным видом приказчик вошел в горницу хозяина:

— Батюшка, Прокофий Акинфиевич, горе-то какое! Спасите меня. Одолжите деньжонок! Ежели откажете, в петлю полезай!..

— Милый ты мой, хороший, распотешить меня пришел!— засиял Прокофий, потирая от удовольствия су-

хие ручки.— Сделай милость, уважь хозяина! Потешь мою душу... Изволь веревочку, она крепенькая, вешайся, дружок, а я порадуюсь. Должок после этого непременно отдам твоим наследничкам!

Перехитрил молодой Демидов старого волка. Помрачнел Мосолов, глаза налились злобой. Ушел, понуро глядя в землю. Прокофию вдруг стало страшно. «Убьет, поди!»— обеспокоился он.

На другой день хозяин вызвал приказчика и вручил деньги:

— На, возьми! Только, гляди, помене хапай хозяйское!

Старик упал на колени и до земли поклонился Прокофию Акинфиевичу.

— Батюшка ты мой!— прослезился он.— Вот как благодарствую! Спас ты мою душу от греха!..

Он торопливо упрятал узелок с золотом за пазуху, а у самого руки дрожали.

— Видишь, какая у тебя подлая душонка,— укорил Мосолова хозяин:— Раз в жизни задумал сделать неслыханное дело — повеситься, да и то от трусости не посмел.

3

Не много времени прошло с тех пор, как Прокофий Акинфиевич стал владельцем Невьянского завода и поселился в нем. Хоть сытно и привольно тут ему жилось, однако он сильно заскучал. Смертельная тоска сжимала сердце. Кругом простирались леса, дебри, горы, и жили тут угрюмые работные люди, которые крепко ненавидели хозяев. Изо дня в день все совершалось однообразно, извечно установленным порядком.

Старый паралитик втянулся в эту жизнь и довольствовался малым. Плотно набив чрево, он часами неподвижно дремал в кресле в тихом кабинете. Мужские радости и тревоги давно оставили Никиту Никитича, одряхлевшее тело его жаждало покоя.

Иного искал Прокофий Акинфиевич. Каждый день он придумывал новые грубые развлечения, но тоска все глубже и глубже заглядывала в его пустые глаза.

— До чего ж скучно, господи!.. Где же счастье человеческое?— однажды спросил он у дядюшки.

Паралитик усмехнулся и сказал жарко:

— Кабы мне ходячие ноги, эх, и делов бы я наделал!

Прокофий покосился на старика и понимающе подумал: «Верно, наробил бы делов, пролил бы крови, причинил бы мук и страданий! Да болезнь, как на цепи, держит зверя!..»

Хожалый Охломон отличался крепким здоровьем, силой, и мысль о счастье у него сводилась к богатству.

— Мне бы денег поболе, вот зажил бы!— со страстью высказал он свое тайное и тут же поугрюмел, сжал скулы.— А где их взять? Вон люди и на больших дорогах находят счастье, а я тут в белокаменных хоромах заскорбел!

Хотя мрачноватые глаза мужика беспокойно бегали, уходили от взора собеседника, но Демидов понял его скрытное вожделение: «Этот рвется в разбойники! Гляди, чего доброго, ночи не спит, все думает, как бы дядюшку угомонить и пощупать его ладанки...»

Попик из заводской церкви просто присоветовал заводчику:

— Счастье, сыне, в добре! Не делай зла работным и возлюби ближнего своего!

Прокофий Акинфиевич поморщился:

— О ком заботишься, поп? О мужиках, да они созданы быть холопами господину. Работного человека бог опекает, а я о другом думаю. Моя душа жаждет счастья веселого!

На кухне хозяин приметил широкобедрую волоокую стряпуху.

Баба день-деньской топталась у печи, гремела ухватами, котлами. Ее круглое, налитое лицо зарей пылало перед челом раскаленной печки. Полные тугие руки молодки, с ямочками на круглых локтях, проворно мелькали. С засученными рукавами, она то месила крутое тесто, то бросалась к бурлящему варевом котлу, то быстро и ловко стучала большим кухонным ножом. И всякую работу она делала с песней.

Демидов подивился:

— Ишь, как распевает от зари до зари! Должно быть, ты, каурая, до краев счастлива?

Молодка оглянулась, блеснули ее огромные синие глаза. Из-под ресниц выкатились слезы. Она брякнулась хозяину в ноги и жарко пожаловалась ему:

— Ох, батюшка, горька, разнесчастна я! Третий годок вдовею!— Она зашмыгала носом.

Прокофий, хлопнув стряпуху по широкой спине, закричал:

— Погоди, милая, я тебе сосватаю доброго мужика!..

— Батюшка, ты мой, радошный!— в последний раз всхлипнула баба и, схватив руку хозяина, стала ее благодарно лобызать.

— Мало тебе для счастья требуется!— удивился Демидов.— Погоди, обретешь мужика — отведаешь кулака!

— А то как же!— спокойно отозвалась стряпуха.— После кулака и любовь-то слаще!..

Задумчивый ходил заводчик по закопченным низким цехам, где в полумраке двигались и работали измученные, вымотанные работой мастерки. Настораживаясь, хозяин втихомолку прислушивался к речам работных.

Между трудными делами работный мечтательно сказал:

— Вот поспать бы, поспать!..

Работный был сутул, сед, многие годы тяжелого труда измотали его. Не раз видел Демидов, как этого работягу качало ветром.

«Отработался и хлеб хозяйский, видно, зря жрет!»— прикидывал заводчик, полагая прогнать старика.

Но тут стоявший рядом с ним коренастый ладный молодец расправил плечи и, зевнув, пожелал со сладостью:

— Верно, поспать бы всласть. Век лежал бы на спине и ни о чем бы не думал!

— И не пошевелился бы?— неожиданно раздался насмешливый голос за его спиной.

Молодец вздрогнул, оглянулся. Перед ним стоял сам хозяин Прокофий Акинфиевич Демидов. По его тонким губам блуждала язвительная улыбочка.

«Вот напасть приспела! Что только будет?»— встревоженно подумал работный и опустил глаза перед заводчиком.

Но беды не случилось.

— Что ж молчишь?— стараясь казаться добродушным, спросил Демидов.— В самом деле, отлежал бы год и не пошевелился бы, а?

— Не пошевелился бы,— робко отозвался молодец.

— Слыхал, дедко?— подмигнул старику заводчик.

— Слыхал,— охрипшим голосом повторил старик, а сердце у самого замерло. Он угрюмо подумал: «Еще какую пакость удумал, нечистик?»

Хозяин совсем повеселел и крикнул добрым голосом:

— Ладно! Коли так — уговор ладим. Вылежишь год недвижим на спине — тысячу рублев жалую. Шелохнешься — двести плетей и опять к молоту! Согласен?

— Господи Иисусе!— перекрестился старик.— Вот счастье-то!..

Молодец не дал ему досказать, бросил наземь молот, расправил грудь и выдохнул:

— Согласен, хозяин!

С гор пришел синий вечер; затих пруд, над поникшими ветлами засеребрился ущербленный месяц. В заводском поселке приветливо замелькали огоньки. Ладного заводского богатыря в эту пору увели в демидовские хоромы. Там, посреди светлого зала, поставили великолепное ложе. И, накормив, молодца уложили в перины.

Усталой спиной парень прижался к мягким пуховикам и потонул, как в теплой пене; сытость сладостно разлилась по всему большому натруженному телу, дремучий сон смежил очи: богатырь отошел в блаженное забытье...

День и ночь беспробудно проспал молодец. Проснулся, за окном сияет солнечный свет, веточка березки, как шаловливая девушка, робко постучала в окно. Воробей, трепыхая крылышками, вспорхнул на подоконницу и озорно зачирикал: «Чир-вик! Чир-вик! Вставай, лежебока!»

— О-ох!— полной грудью вздохнул удалец и хотел изо всей мочи потянуться, размять притихшее здоровое тело, но вдруг вспомнил зарок...

Золотые стрелы солнца падали в окно, звенел голубой день, а в душу заползали сумерки. Неприятное томление коварно подкрадывалось к телу.

В просторной тишине заневоленный богатырь медленно, внимательно оглядел обширную палату. Окрашенная в синий цвет, она казалась морем, по которому под косыми лучами солнца, как на золотых парусах, неслышно и плавно неслось его суденышко — ложе.

В первый день это казалось забавным. Веселили атлас одеяла, белизна простынь и наволочек. Брызги света, дробясь в хрустальных подвесках люстры, искри-

лись всеми цветами радуги и казались звонкими вешними каплями, нависшими с подтаявшей кровли. Вот упадут, сверкнут и нежно прозвучат...

В полдень веселая разбитная молодка принесла лежебоке поесть. Пышным, горячим станом она склонилась над ним и стала кормить. В глазах ее плескался задорный, вызывающий смех.

— Что ж ты будешь делать со своими деньжищами, ежели подобру-поздорову убредешь отсюда?— сгорая от любопытства, спросила она.

Заглядывая в синие глаза женщины, он ласково шепнул ей:

— Женюсь! Ой, и до чего ты спела и хороша! Пойдешь за меня?— Он воровски протянул руку, намереваясь ущипнуть тугое тело.

— Брысь!— ударила она по руке и вся засияла счастьем.— Отчего ж не пойти! Пойду!

Красивая, разудалая, она сверкнула чистыми ровными зубами и, быстро собрав посуду, убежала в людскую...

«Сейчас бы только чуток пошевелиться, и все в порядке»,— подумал он и опасливо оглядел стены и потолок.

Тревожная, неприятная мысль всколыхнула его: «А что, ежели в незримый глазок следят-подглядывают — не ворохнусь ли? Тогда...»

Дальнейшее ясно представилось ему: Демидовы не любят шутить, а если и шутят, то игра их больнее и мучительнее простой издевки.

А между тем лукавый комариный голосок нашептывал на ухо: «Ну, шевельнись чуток! Ну, шевельнись!..»

Преодолевая соблазн, он постарался уснуть и опять без тревог и сновидений проспал ночь. Ему послышалось, как где-то за дверью скрипучий голос хозяина, Прокофия Акинфиевича, спросил кого-то:

— Лежит? И не шевельнулся?

— И не шелохнулся!— прозвучал грубый ответный голос.

«Эх-хе-хе! Выходит, незримо сторожат. Ух, ты!»— тяжко вздохнул парень и упал духом. Противное томление охватило молодое и сильное тело, жаждавшее движений и работы. За окном в этот день хмурилось небо, собиралось ненастье. На ветке березки застыл в неподвижности нахохлившийся воробей. Радужные

звонкие капельки на подвесках люстры погасли. Хрусталь был мутен и холоден...

Тоска подбиралась к самому сердцу, хотелось провыть волком. К счастью, в горницу вошла стряпуха в опрятном синем сарафане. Еще издали она улыбнулась ему. Любуясь ее крепким, здоровым телом, парень спросил:

— А как звать тебя?

— Настасьей!— певуче ответила она, и на его душе заиграла музыка.— Ныне кормежка сытнее... Хозяйского подбросила!— косясь на дверь, таинственно прошептала она.

— Настя!.. Настасья!— прошептал, в свою очередь, парень и опять потянул руку к ней.

— Не трожь!— перестала она улыбаться и сдвинула брови.— Не трожь! Терпи, потом порадую...

Голос ее, ласковый, материнский, бодрил его. Широко раскрыв глаза, он неподвижно лежал на спине, любовался румяным теплым лицом и горько жаловался:

— Такая ягодинка тут, а ты лежи, словно мощи!

Она зарделась, проворно собрала посуду и убежала из горницы...

Небо за окном нахмурилось. Заморосил дождь. По стеклу сбегали капли; нахохлившийся воробей исчез — улетел под крышу. А лукавый снова с большей силой стал шептать на ухо: «Ну, шевельнись чуток! Ну, шевельнись...»

«Да как же?— спросил он самого себя.— Обмишурюсь, поди! Ведь из незримой щелочки сторожат!»

Но бес соблазна не отставал, упрямо нашептывал: «Это почудилось. И никто не сторожит. И никого Прокофий Акинфиевич о сем не спрашивал!..»

Могучее тело без движений каменело, и омерзительней становилось на душе. Хорошо, что полил дождь. Под ненастье можно было вздремнуть...

На пятые сутки соблазн стал невыносим.

Теперь ни еда, ни покой, ни жаркая молодка не радовали.

Заневоленное, скованное страшным запретом тело каждой кровиночкой кричало:

«Вставай! Вставай!.. Разомнись!»

Он измученно закрывал глаза, думал о счастье быть богатым, о Насте, но каким блеклым теперь казалось это счастье!

Счастье было — двигаться, ходить под солнцем. Сколько радости раньше давало утреннее пробуждение! Как приятно крепко, до хруста в костях, потянуться и зевнуть до слез, захватив полной грудью свежий, пьянящий воздух!

Ночь ушла, пришло утро. В окно врывался золотой поток солнца; с поникших ветвей березки, сверкая, падали последние дождевые капли. И снова прилетел знакомый серко-воробей, закричал, зашумел, как драчливый мальчишка.

Еще не отошел сон, сознание еще витало в дреме, но тело нетерпеливо требовало пробуждения. Под напором могучего неустранимого инстинкта затрепетал каждый мускул. Молодец орлиным взмахом закинул руки, потянулся так, что заскрипело ложе. Протяжный, невыразимо сладостный зевок захватил все существо.

Ликуя и торжествуя, он перевернулся на бок и вдруг вспомнил об уговоре.

Словно совершив великий непростительный грех, парень спохватился, застыл в скорбной неподвижности, но было поздно... В этот миг распахнулись двери, через порог перешагнули Демидов и два дюжих холопа. Одетый в халат зеленого бархата, в мягких сафьяновых сапожках, хозяин, вихляясь, подошел к ложу. Его глаза горели злорадством.

— Ага! Не сдержался! Вот оно, счастьице!— ликовал он.— Хватай его, лежебоку! Хватай! В плети!..

Не успел молодец и глазом моргнуть, как его сволокли с постели и в одних портах и рубахе потащили на заводский двор. Там уже наготове стояли козлы, подле них поджидал кат с сыромятной плетью.

Никита Никитич восседал в кресле-возиле, упиваясь зрелищем.

Прокофий, с полубезумными глазами, топтался вокруг козел. Он кривлялся, потирал руки, хихикал:

— Вот оно, счастьице! Вот оно, родимое!..

Молодца опрокинули чревом на козлы, привязали и с широких бугристых плеч сорвали рубаху.

— Берегись, ожгу!— заорал кат и размашисто стегнул плетью.

Из-под ремня брызнула кровь.

— Раз!— стукнул посохом о землю паралитик и облизнулся.

— С проводкой! С проводкой!— закричал Прокофий и, приплясывая подле терзаемого тела, сладостным

шепотком зачастил:— Вот оно, счастьице! Вот оно, золотое!..

Старик Демидов сбросил колпак, ветер обдувал его желтую плешь; глаза его расширились; чуть-чуть дрожали и раздувались чувственные ноздри. Вслед за палачом он взмахом посоха отсчитывал удары:

— Двадцать пять! Двадцать шесть!..

Склонив лохматые головы, чумазые, поникшие, стояли работные, женки и дворня. Румяная Настасья, закрыв передником лицо, беззвучно плакала...

Заводской парень выдержал двести ударов. Его отвязали, стащили с козел и бросили под ноги старому Демидову. Паралитик заегозил в кресле.

— Ой, добро! Ой, хорошо отходили!— хвалил он ката, разглядывая иссеченную в лоскутья спину несчастного.

Слуга схватил ведро и окатил избитого студеной водой. Молодец очухался, вскочил на ноги. Шатаясь, неуверенно переставляя ноги, он протянул руки и пошел навстречу сияющему солнцу, жадно глотая чистый, живительный воздух.

— Ох!— радостно вздохнул парень.— Вырвался-таки! Вот оно, мое счастье!..

Прокофий стих вдруг; изумленно глядел он на работного.

— Гляди, каков человек!— крикнул племянник дяде.— Стой! Стой!..

Хозяин сам нагнал удальца, схватил его за руку.

— Молодец!— похвалил он парня.— Хоть тысячу прозевал, но похвал достоин... Настька, Настька, подь сюда!— позвал он.

Стряпуха, утерев слезы, боязливо подошла к хозяину.

— Люб парень?— в упор спросил молодку Демидов.

— Люб!— покорно отозвалась она.

— Ну, вот тебе и мужик!— весело отрезал Прокофий.— Пойдешь за него замуж?

У молодки вспыхнули глаза:

— Не шутишь, барин?

Демидов насмешливо улыбнулся:

— Кому он нужен, поротый! Где он себе женку отыщет?

— А за битого двух небитых дают!— смело отозвалась молодка и обратилась к избитому парню:— Ваня, возьмешь меня в женки?

Работный подошел к ней, взял за руку:

— Идем, Настенька! Идем, моя радость!

Глядя им вслед, старик работный, переживая неудачу своего молодого друга, разочарованно покачал головой:

— Эх-ма, было б счастья два! Одно загреб, а первое упустил. Я бы глазом не моргнул, а свое взял!

— Неужто не моргнул бы?— удивленно спросил Прокофий.

«Господи Иисусе!— суеверно оглядел его работный.— Никак опять подстерег на слове!»

Однако отступать было поздно; старик смело поглядел в лицо Демидову и сказал:

— Истин бог, и глазом не сморгну!

— Молодец, дедка!— похвалил хозяин.— Уговор сразу: я пальцем пугаю, а ты не сморгни. Выдержишь — жалую сто рублей. Сморгнешь — полста плетей. Становись!

Старик потуже перетянул ремень, разгладил жидкую бороденку и стал перед Демидовым столбом.

— Держись!— закричал хозяин.— Держись, глаза выколю!

Растопырив длинные костлявые пальцы, которые страшили своей необыкновенной подвижностью, он угрожал. Казалось, вот-вот пронзит глаза. Но старик неподвижно и бесстрашно стоял не моргая.

— Гляди, гляди, вот пес!— непонятной радостью трепетал Прокофий.

Никита Никитич взглянул на седого деда, замахнулся посохом и прохрипел зловеще:

— Пронжу!

Острие посоха задержалось у самого глаза. Старик не дрогнул.

— Сатана!— обругался паралитик и недовольно отвернулся.

Долго бесновался Демидов, но никакие страхи не покорили деда.

— Ух, сломил, черт!— устало выругался заводчик.— Откуда у такого старого да сила взялась?

— Эх, милый, укрепится духом человек, крепче камня станет. Ослабнет — слабее былинки!

— Бери сто рублей и уходи!

По приказу хозяина отсчитали сто рублей серебром и положили перед мастерком.

— Все твое! Загребай и иди, куда хочешь, в белый свет! За старостью ненадобен!

Старик хмуро поглядел на рублевики и сердито вымолвил:

— Не хочу твоих денег! Много слез из-за них пролито!

— Подумай, о чем говоришь!— сердито прикрикнул заводчик и поднял налитые злобой глаза.

Старый мастерко не испугался, не опустил глаз. Никите Никитичу стало не по себе от этого взгляда, он дернулся и замахал костлявой рукой:

— Уйди, уйди прочь!

Старик надел шапку, взял посошок и поклонился барину:

— Прощай, хозяин! Не мила тебе правда. Но ты запомни, что правда на огне не горит и в воде не тонет! И Мамай правды не съел, а барам подавно ее не укрыть!

Он поднял голову и побрел по дороге. И таким гордым и неподатливым показался этот старый человек, что Демидов не утерпел и сердито обронил:

— И откуда ныне такой народ строптивый пошел?..

4

Шумные забавы сменялись странными выходками, но скука, как верный пес, неотступно следовала за Прокофием. Хмурый ходил он по хоромам, не видя выхода своей тоске.

— Никак ты опять приуныл?— обеспокоился Никита Никитич.— Погоди, я тебя так распотешу, так встряхну, что на карачках от радости поползешь!— пообещал он.

По всем дорогам, деревенькам и монастырям Демидов распустил молву:

«Жалует хозяин всех калек, нищебродов, юродивых. Ладят бочари дубовую бочку под серебро. В духов день из той бочки будет заводчик одарять нищую братию. Кто первый поспешит и дойдет к радетелю на поклон, тому больше будет отпущено!»

Всколыхнула эта весть нищих, калек, горемычных попрошаек. Из дальних сел, из лесных монастырей —

отовсюду устремились люди в Невьянск на зов грозного Демидова.

Толпы людей, обездоленных господским произволом, покалеченных в огненной работе, голодных, сирых и бездомных, потянулись через каменистые шиханы, лесные дебри и реки. С каждым шагом росла и окрылялась сказка. Рассказывали странники:

— На высокой горе, на маковке, под синими небесами, под белехонькими облаками сидит в парче, в золотой шапке, усыпанной самоцветами, грозный Демидов-владыка. Сидит и горько плачет, кается перед господом за погубленные души, винится в неправоте своей, в блуде, в непотребстве, в алчности. И сказал господь ему: «Смирись, ненасытный человек, раздай свои богатства, останься наг, нищ и удались в мать-пустыньку!»

Послушал грозный Демидов господа, собрал он золото и серебро, лалы и яхонты, янтарь и жемчуг. В больших бочках уставил эти богатства на горе и поджидает божьих странников, скитальцев и горюнов, чтобы раздать им нечестно нажитое и уйти от мирского соблазна. Не знает он, сколько народу явится и кто дойдет до высокой горы, до маковки, только кто первым поклонится, тому ковшом отмерит он золото и самоцветы. Спешите, братия!..

Не все сбылось так, как донесла молва. В духов день в распахнутые ворота на заводскую площадь хлынула толпа нищебродов и увидела: на высоком крыльце, крытом ордынскими коврами, в золоченом кресле и впрямь сидит старый Демидов в дорогих одеждах и бархатной мурмолке. Рядом с ним — узколицый черноглазый племянник. Стоит подле них дубовый бочонок и полон-полнехонек серебра...

Прокофий Акинфиевич с омерзением и страхом глядел на скопище, затопившее площадь. Как черви в прахе, ползли безногие, бряцали веригами юродивые с безумными глазами, калеки напоказ выставляли свои страшные уродства и кровоточивые язвы, старушки-божедомки пререкались и назойливо лезли вперед.

Дядя Никита Никитич с любопытством разглядывал толпу.

Он протянул руку, унизанную перстнями, взял ковш. Как ветер прошумел — неясный гул покатился по площади. Все, что копошилось внизу у крыльца, потянулось вперед. Куда ни взглядывал заводчик — всюду

светились надеждой впалые, измученные глаза, настороженно следили за каждым движением. Еще не зазвучало серебро, а сотни костлявых, изъеденных болезнями рук, страшных в своей необыкновенной подвижности, уже тянулись к Демидову, дрожали, скрючивались. Кто-то в копошащейся груде тел молил:

— Пустите! Пустите! Я первый приполз...

Никита Демидов оглянулся: хожалый и телохранители стояли подле.

— Мосолов!— позвал заводчик приказчика.

— Тут я, сударь!— поклонился Иван Перфильевич.

— Следи отсюда и будь на страже. Знак дам!— многозначительно сказал хозяин.

Прокофий ожил: чуяло сердце — великую потеху затеял дядя. «Обошел старый выдумкой!» Взгляд его упал на Мосолова. Приказчик недовольно повел плечами; лицо его было строго и зло.

— Ты что?— обратился к нему заводчик.

— Боюсь, шибко боюсь, Прокофий Акинфиевич,— торопливо прошептал он.— Как бы беды не вышло.

Хозяин встрепенулся, горделиво вскинул голову:

— Никогда! Кто нам судья? Мы тут боги и цари, нам и судить!— сказал он вызывающе.— Давайте, дядюшка!..

Паралитик передал ковш племяннику. Подойдя к бочонку, Прокофий ковшом загреб серебро и опрокинул его обратно...

Протяжный стон пронесся по площади. Голодные глаза впились в сверкающую струю.

— Нам! Нам!— закричали все разом.

— Дай! Дай!— потянулись руки.

Но Демидов томил, дразнил звоном металла, блеском его. Он разжигал жадность людей. Старый паралитик одобрительно кивал утиной головкой.

— Потоми, потерзай эту погань!— шептал он.

— Батюшка, батюшка, осчастливь!— кричали нищеброды.

— Ишь ты!— ехидно усмехнулся Никита.— Не робили, а просят!

— Пощади, пожалей, родимый! Имей сердце!— вопили калеки.

Оборотясь к племяннику, Никита крикнул:

— А ну, Прокофий, сыпани в них!..

Тот, как сеятель, взмахнул наполненным ковшом: серебряные полтинники и рублевики, звеня, подпрыги-

вая, раскатились среди людей. Давя и топча друг друга, забыв о ранах и своих увечьях, убогие и калеки, старушонки, пропахшие ладаном, и убивающие плоть и соблазны юродивые — все, все бросились за сребрениками...

Прокофий вновь зачерпнул ковшом и взмахнул им над толпой. Вой и крики взвились к небесам; еще неистовее, безумнее заметались люди, удушаемые в тесноте.

Глядя на это, Никита Никитич ликовал:

— Прокопка, сыпани, сыпани им!..

Заводчик осыпал площадь серебряным дождем. Раскрасневшийся, возбужденный, он упивался зрелищем.

Слабые, чтобы уберечь добычу, монеты прятали за щеку. Нищебродки, навалившись телом на рублевик, кричали:

— Мое! Мое!

Калек давили, ломали им руки, пальцы, хватали за горло.

С выпученными, страшными глазами на ступеньки высокого крыльца к подножию Демидова всползал юродивый. Его лицо гноилось, смердило; грязные лохмотья волочились в прахе. Тяжелые железные вериги громыхали при движении. Протягивая длинную костлявую руку, он вопил:

— Мне кинь, мне!.. Замолю грехи твои!..

Никита схватил посох и огрел безумца.

— Прочь, звероликий!— закричал он. Но юродивый, издавая вой, лез дальше. Тогда заводчик взмахнул платком...

Из псарни на площадь ринулся десяток разъяренных волкодавов. Спасая добычу, себя, обезумевшие люди бросились врассыпную. Недавно распахнутые ворота теперь оказались на крепком запоре.

Страшные «зверовые» псы казаков, злые «тазы»— овчарки киргизов, мужицкие сторожухи по свисту демидовских егерей кинулись на людей. Они со всего стремительного бега бросались на человека, опрокидывая своей тяжестью, и мертвой хваткой рвали за горло...

— Вот так потеха!— завертелся в кресле паралитик.— Вот так радость!— Он не утерпел, наклонился вперед и закричал псам, науськивая их:— Ату! Ату скверназцев!..

Одиночки, сбитые с ног, добирались до крыльца, всползали на ступени и умоляюще протягивали руки.

— Спаси!.. Спаси!..

Никита Никитич весь дрожал от сладостного беззвучного смеха. Глаза его были хмельные.

Дотянувшись до верхней ступеньки, юродивый пал под тяжестью разъяренного волкодава. Пес рвал его лохмотья, тело. Несчастный протягивал руки, кричал исступленно:

— Будь проклят ты!.. Проклят!..

В пустых глазах Прокофия вспыхнул огонек:

— Вот это потеха! Вот это выдумка!..

Но в эту страшную минуту на площадь выбежал высокий бородатый детина с бичом в руках. Он зычно закричал псам:

— Злодей! Лысый! Ратай,— все ко мне!

Рыча, злые псы оставили несчастных, только серый волкодав продолжал терзать поверженного.

Детина ринулся к парадному крыльцу. Не добежав до него, он с огромной силой взмахнул длинным ременным бичом и гневно закричал псу:

— Геть, кровожадина!

Вслед за этим в ясном воздухе прозвучал сочный свист, и узкий ремень хлестко опоясал пса. Волкодав взвыл от боли и покатился по песку.

Ощерив белые крепкие зубы, широкоплечий молодец еще раз за разом щелкнул бичом. Утихомиренные зверюги, трусливо поджав хвосты, сразу присмирели и не сводили настороженных глаз с гневного псаря.

Он закричал на всю площадь:

— Живей убирайтесь, бездомники! Расходитесь, перехожие!

Кто-то широко распахнул ворота, и люди торопливо стали убираться с площади...

— Мосолов!— истошно закричал паралитик.— Люди!

Приказчик напролом шел навстречу детине. Он сразу узнал его: только с месяц назад этот русоголовый бравый мужик прибежал с Покровского — графа Шувалова — медного завода и поступил псарем к Демидову. Звали удальца Хлопушей. Сейчас он крепко сжимал в жилистых руках уручину бича — козью ножку, а толстый круглый ремень змеей вился подле его ног. Детина не опустил упрямых глаз под грозным взглядом приказчика.

— Хлопуша!— прохрипел Иван Перфильевич — и осекся.

— Прочь с дороги!— резко выкрикнул он Мосолову и статной походкой, не сгибаясь, прошел вперед, к паралитику.

— Ты кто? Ты кто?— заикаясь, в страхе залепетал тот и оглянулся. Прокофия за креслом не было, струсил и сбежал.

Бородач поднял открытое, волевое лицо.

— Не узнал, барин? Пришел усовестить тебя, хватит терзать народ!— просто и смело ответил он.

Демидов ехидно усмехнулся.

— Усовестить! Пошел прочь отсюда, бродяга! Не мешай потехе! Мосолов!— застучал костылем в половицу крыльца Никита Никитич.

— Не смей трогать несчастных!— сильным голосом угрожающе вымолвил мужик и сжал уручину бича. На руках детины вздулись жилы.— Тронешь, как взмахну наотмашь, так разом твою лысую башку, как сырое яйцо, расхлещу!

— Как ты смеешь!— перехваченным от страха голосом выкрикнул паралитик.

— Все смею!— хладнокровно ответил мужик, и его жгучие глаза пронзили хилого демидовского наследника.— Раз на такое пошел, пеняй на себя! Мстить будешь, в цепи закуешь? За меня красного петуха пустят, и тогда своих костей не соберешь, хозяин!

Паралитик в испуге замахал рукой:

— Уйди, уйди!

Но грозный человек не уходил, шевелил плетью. Псы виновато растянулись у его ног.

— Увезите меня, увезите!— завопил Никита Никитич, и перепуганные за жизнь хозяина слуги потащили возило в покои.

На площадь той порой со всего завода сбежались работные: кто с ломом, кто с молотом, кто с кайлой. Возбужденные и озлобленные, они кричали:

— Веди нас, удалой! Терпения больше не стало!

Детина высоко поднял голову и сказал работным:

— Погодите, придет день, и ударит над барином гроза с громом и молнией!

Он торопливо пошел через всю площадь. Ветер развевал его густую русую бороду. Позади детины плелись унылые псы. Никто из демидовских полицейщиков и егерей не посмел задержать дерзкого мужика.

Ночью Хлопуша оседлал лучшего каракового бегуна и умчал в горы...

Все осталось сокрытым, как оставались доселе тайными все злодеяния Демидовых. И кто вступится за нищебродов, побирух и бездомных бедных людей, серой хмарой бродящих по российским дорогам? Ворон, когда летит через демидовские владения, и тот замедляет полет. Кто знает, почему: то ли чует добычу — мертвое тело, то ли сам страшится и слабеет от страха при виде человеческой скорби?

Тоска и пустота все равно не покидали Прокофия Демидова.

В один из дней по обыкновению своему заглянул он в покой своей забытой жены Матрены Антиповны. Просунув острый носик в полуоткрытую дверь, он с холодным равнодушием окликнул больную:

— Ку-ку! Ты жива еще, Матреша?

Она не отозвалась: лежала неподвижной.

— Что молчишь?— рассердился Прокофий и переступил порог.

Звенящая тишина наполняла комнату; в углах сгущались тени; в узких стрельчатых окнах догорал закат. Прижав перст к губам, Демидов неслышно, на цыпочках подошел к постели, думая напугать жену внезапным окриком. Он склонился над ложем...

Тусклые, мертвые глаза уставились на него. Лицо было восковое, сморщенное.

Чужая, незнакомая женщина лежала перед ним. Прокофий вышел из горницы и тихо прикрыл за собой дверь...

Через неделю, захватив с собою дочь Настеньку, он уехал в Москву, передав управление заводами дяде, Никите Никитичу Демидову.

Глава четвертая

1

Высокие густые травы зацвели в уральских долинах, в лесах и на взлобках гор. Тихо стало в лесных дебрях: сидели в гнездовьях птицы, жировал зверь, отгулявшийся в брачной поре. Палило высокое солнце, накалялись от жара каменные россыпи, а внизу, у рек и горных озер, освежала прохлада. Ночами над Камнем

вставало и трепетало в темном небе зарево: на десятки верст горели леса, подожженные башкирами. На Казанской тропе толпа удалых людей напала на русскую деревеньку, разбила, разграбила ее дотла. Увели башкиры русских женщин в недоступные горы, а дома подожгли. Из деревеньки пламя перебросилось в лес и загуляло на просторе.

Никита Акинфиевич Демидов возвращался из Санкт-Петербурга в Тагил — в родовое демидовское гнездо. Был он хмур, зол на брата. Глядя на зарево в небе, он грозил башкирам:

— Погодите, я вас успокою! Я укрощу вашу буйную кровь!

В дороге он ко всему по-хозяйски приглядывался, все высматривал.

— Эх, сколько лесов и земли простирается тут, не зная прилежных рук!— сокрушенно вздыхал заводчик.

Позади остались сенатские ненавистники, отменившие духовное завещание отца. В Москве, в наследственном доме, он поселил занемогшую жену. Ссылаясь на слабость, она отказалась ехать на Каменный Пояс.

Ехал Никита Акинфиевич в карете, а позади тянулся обоз. Везли холопы столичные покупки хозяина: богатые наряды, всякие диковинки и, что было внове, ящики с книгами. Ехали в обозе повара, иноземные мастерки, русские умельцы лить отменные пушки. В особом возке ехала девка — полячка с золотыми косами. Тайно от жены вез ее Демидов в свои горные владения.

После многих дней беспокойного пути поздним вечером перед хозяином встали крепкие заплоты Тагильского завода. Ущербная луна огромным красным рогом медленно выплыла из-за леса и, то прячась, то ныряя в синюю глубину неба, неверным светом осветила заводские строения и широкие приземистые домны; над ними искры золотыми пчелами стремились в тьму; багровело небо. Залаяли сторожевые псы, где-то далеко-далеко на лесной опушке им ответил протяжный и унылый волчий вой.

Распахнулись ворота, карета въехала в ограду. Потянулись низкие бревенчатые избы, крытые дерном. Узкие крохотные оконца в них, затянутые воловьими пузырями, светились изнутри. В прорубы над дверью тянулись дымы. После тяжелой работы хозяева топили

печи. В домишках гомонил народ, покашливал от едкого дыма.

Вот серебристой скатертью среди копоти и темных кустов развернулся обширный-преобширный пруд, а у самой лунной дорожки встал белокаменный дворец.

— Приехали!— крикнул Никита и распахнул дверцу кареты.

Перед ним неуклюже склонился приказчик Яшка Широков — старый поджарый кержак с искоса глядевшими желтыми глазами и черной бородой клином.

— Здравствуй, батюшка, здравствуй... заждались мы. Давно поджидали господина нашего!— неожиданно слащавым голоском заговорил он. В жалованном предлинном кафтане до земли, расшитом серебряными галунами, туго подпоясанный синим шелковым кушаком, он скорее походил на столичного ямщика, чем на правителя огромного завода.

Барский дом светился яркими огнями. Было чисто, просторно. На широкой мраморной лестнице постланы мягкие ковры. В прихожей к высоким потолкам тянулись темно-зеленые олеандры. В бронзовых канделябрах потрескивали восковые свечи. И тут же на скамьях сидели ливрейные лакеи — бравые, рослые молодцы, бесшумно вскочившие при появлении хозяина. Они бросились навстречу Демидову.

Все было так, как в хорошем столичном доме. Никита Акинфиевич с удовлетворением оглядывался и отходил сердцем: «Недурно батюшка с дедом тут обставились!»

И впрямь, Тагильский завод, ставленный позже Невьянского, когда первые Демидовы вошли в силу, был обширнее, значительнее, а палаты хозяйские на славу роскошны.

Приказчик неслышными шагами нагнал хозяина в кабинете и, слегка смущаясь, спросил:

— А куда ее... барыньку золотокосую, прикажете?

— Посели экономку в светелке, там, где тихие переходы! Да смотри за ней, в случае чего бороду вырву!— строго сказал Демидов. Подняв властные глаза на приказчика, он сказал:— Ныне покажешь книги и планы!

Не терпелось молодому заводчику, хотелось поскорее обозреть свое новое хозяйство...

Помывшись с дороги в баньке, Никита Акинфиевич весь день просидел в отцовском кабинете, знакомясь

с планами и книгами. Перед ним развернулись обширные владения: леса, шахты, курени и прославленный на весь мир своим железом Тагильский завод.

Демидов отодвинул книги и сказал радостно:

— Что ж, есть где размахнуться! Не беднее братца будем!

— Может, ваша милость оглядит все на месте?— осторожно спросил приказчик.

Хозяин покачал головой.

— Не приспело еще время. Дай дух отведу. Мыслю отгулять на воле. На что же тогда богатство дано в руки, коли не испытать радость? После потехи и за работу возьмусь!..

Дородный, с крупным породистым лицом, в пышном волнистом парике, он походил на знатного вельможу. Глядя на его толстые, мясистые губы, Яков Широков невольно подумал: «Сластолюбец!»

2

При отце, покойном Акинфии Никитиче, сыну доводилось туго. Батюшка скупился на денежные выдачи. Между тем Никита был на возрасте, женат на дворянке, и самому Акинфию льстило, когда сын держался с достоинством, одевался по-барски, в бархат, носил кружева и парик.

«Этот пролезет в знать!»— глядя на сына, мечтал тульский кузнец.

Сдержанный, хитрый, Никита ластился к отцу и добился того, что стал любимым сыном. В чаянии наследства сынок жил степенно, держался благонравно. И вот сейчас, почувствовав волю и богатство в своих руках, он решил расквитаться за долгий пост и воздержание.

Яшка Широков сбился с ног, устраивая потехи для господина и девки с золотыми косами. Она была статная и гибкая; без умолку щебетала. Сумрачный кержак, постник и аскет, до беспамятства любивший только завод и деньги, опасался женщин. Но горячая, вертлявая полька волновала и его своей красотой. «Хороша блудница!»— втайне залюбовался он девкой.

Юлька — так звали экономку — крепко полонила хозяина. Все дни он проводил у нее в светелке. Неистовый, громкоголосый, он становился при полячке покорным, садился у ее ног и часами не сводил глаз с молочно-матового лица красавицы.

В Иванову ночь по наказу хозяина на ближних горах и на островах жгли костры. На елань[1] среди густых елей согнали девок. Сам хозяин, полураздетый и хмельной, восседал у костра подле полячки, одетой в тонкую, прозрачную тунику.

Девки плясали у костра, водили хороводы... А в полночь хозяин и Юлька убрели в темный лес искать колдовской цвет папоротника. Так весело для барина проходили многие дни.

Теперь по озеру часто плавали разукрашенные лодки, в воде отражались огни иллюминации. На острове играла роговая музыка. Ее нежные звуки в безветрие далеко разносились по окрестиостям.

Юлька придумывала все новые и новые развлечения. Приказчик Яшка Широков, почуяв свободу, хозяйничал себе в пользу — исподтишка, осторожно тащил что попадалось под руку и тайно переправлял в раскольиичьи скиты. Никита Акинфиевич в своем упоении Юлькой ни о чем не думал.

Полячка любила коней, и хозяин завел тройку вороных. Их привели издалека, из ордынских степей. Конюхом отобрал Никита парня из крепостных — Митьку Перстня. Бежал холопишка от помещика из России, пристал к разбойничьей шайке на Каме, колобродил, да прискучило все и пустился отыскивать вольные земли. Проник вместе с другими бегуиами на Камень, а тут демидовские дозоры захватили и приставили к работе. Перстень был легок на ногу, охотиик — зимой отыскивал медвежьи берлоги и один на один ходил на зверя с рогатиной. Небольшого роста, проворный, с маленькими глазами, сверкавшими из-под густых нависших бровей, он и сам походил на лесного хозяина. Никто лучше его не мог объезжать коней; он-то и обхаживал тройку вороных бегунов.

Он запрягал ее в нарядиую упряжь, украшенную серебряным набором, пристегивал валдайские колокольчики и, в красной атласной рубашке, в кучерской шапочке набекрень, садился на облучок.

— Во весь дух, Митенька!— просила Юлька, усаживаясь в легкую колясочку рядом с Никитой.

Перстень умел потешить красавицу,— он и сам любил бешеную скачку. Выехав на дорогу, Митька посвистом горячил коней.

---

[1] Лесную поляну.

Заслышав знакомый призыв, коренник Игрень-конь, высокий длинноголовый скакун с тонкими сильными ногами, мгновенно оживал, раздувал влажные трепетные ноздри и входил в азарт. Легко и плавно он брал с места, все больше и больше с каждой минутой ускоряя свой бег. Играя, он легко выкидывал тонкие крепкие ноги и мчал, склоняя набок косматую голову и кося злыми фиолетовыми глазами. Пристяжные рвались в стороны и, потряхивая гривами, стлались над дорогой.

Разливались-звенели колокольчики...

Полячка, сбросив кашемировую шаль, сияя золотой головкой, вскакивала с сиденья, кричала:

— Быстрее, Митенька!

Ухватившись за плечо ямщика, она колотила его маленьким крепким кулаком в спину:

— Горячи, Митенька!

Перстень рявкал на весь лес, ярил коней. Желтая пена клочьями падала из горячей пасти Игрень-коня. В ушах свистел ветер, рвал и расхлестывал Юлькины косы. С развевающимися пышными волосами, раскрасневшись, она кричала:

— Ах, добже! Ах, добже!..

Оборотясь к Никите, она скалила острые, беличьи зубки:

— Пане! Пане, что жмуришься?

От быстрой езды у Демидова кружилась голова. Он крепко держался за сиденье и, разглядывая подружку, восхищенно думал: «И до чего ж хороша девка!»

Так они могли мчаться до тех пор, пока не унималась горячая кровь Юльки. Тогда Перстень сдерживал коней, разудалый звон бубенцов переходил на мелодичный, и хозяева мало-помалу приходили в себя.

В один из дней тройка вороных вынесла хозяев на простор.

Стоял тихий предвечерний час, когда сиреневые дали казались прозрачными. Раскаленное солнце медленно погружалось в зеленый океан лесов. Затихали птицы, угасал шум. На дорогу ложились лиловые тени. Только неугомонный красноголовый поползень где-то выстукивал под зеленым навесом хвои.

Натянув вожжи, Перстень гнал коней.

Казалось, не кони мчались, а кружила, уходила изпод звонких копыт накатанная дорога, бежали мимо лес, кусты, мелькали падуны-ручьи, сверкали озера.

Солнце погрузилось в бор, и разом вспыхнули и озарились багровым пожаром стволы сосен. Чудилось пылал весь лес, охваченный алым пламенем.

Юлька завороженно смотрела на игру вечерних красок.

— Как дивно, пане!— ластилась она к Никите. Огромный, румяный от зари, он могуче обнимал ее худенькие плечи.

Кто-то темный, лохматый перебежал дорогу.

«Медведь!»— догадался Демидов, и в этот миг кони рванулись вперед. Изо всех сил натянул Митька вожжи, закричал любимому Игрень-коню:

— Тишь-ко! Тишь-ко!..

Но встревоженный коренник, закусив удила, как вихрь мчался вперед. Жарко дыша, вздрагивая всем телом, сбившись с плавного ритма, из стороны в сторону кидались пристяжные.

Коляска подпрыгивала, кренилась от ударов об узловатые корневища. Кони мчались в раскаленный пожар зари.

Впереди мелькнул Аликин-камень, за ним в пропасть низвергался падун-ручей. Здесь дорога круто сворачивала влево. Но черные демоны-кони ничего не хотели знать — неслись к бездне...

— Пан, пан, мы пропали!— по-детски плаксиво закричала Юлька.— Ратуйте, люди добрые!..

Румянец сошел с ее лица, полячка побледнела; беспомощно и жалко дрожала, коричневая родинка над вздернутой пухлой губой. Демидов схватил ее за руки и, заглядывая в перепуганное лицо, спросил насмешливо:

— Ага, умирать-то страшно?

Она вырвала руку и стала креститься всей ладошкой:

— Иезус-Мария... Оборони, боже...

Аликин-камень грозно вставал на пути все выше и выше.

«Или о скалы разнесет башку, или вниз сверзнет?»— хладнокровно прикидывал Демидов.

Он крепко ухватился за ремни, чтобы не выпасть, и тянул Юльку к себе.

— Ну, замолчи!.. Ну, замолчи, дура!..

— Стой!.. Стой!..— исступленно закричал Перстень и, оборотясь к Демидову, предупредил:— Держись, хозяин!..

Неумолимо близилась бездна; с каждым мгновением нарастал необузданный рев горного потока. Секунда, другая — и гибель...

Все замерли. Казалось, кровь остановила свой бег.

Но что это?

Из кустов на дорогу выбежал высокий проворный человек. Он неустрашимо кинулся навстречу взбешенным коням.

«Пропал человек!» — безнадежно подумал Никита и закрыл глаза.

Но чернобородый лохматый молодец на бегу схватил за гриву коренника и повис на удилах...

И как ни отряхивался головой Игрень-конь, не сбросил дерзкого и неумолимого удальца.

Пробежав еще десяток шагов, Игрень вдруг одумался, умерил бег и стал стихать. За ним одумались пристяжные. Черномазый бродяга что-то выкрикивал, ворчал. И они, чувствуя властную силу, присмирели.

Вороные сдержались на краю бездны.

Демидов с изумлением и восторгом смотрел на цыганистого жилистого молодца, стоявшего на дороге. Черная волнистая борода буйной порослью охватила все его лицо; она взвихрилась, и в синеватой черни ее весело сверкали белые зубы.

— С тебя доводится, барин! — простодушно сказал он заводчику и придвинулся к коляске.

Всплеснув руками, Юлька с криком бросилась к нему на грудь и, внезапно охватив шею, крепко поцеловала бродягу в губы.

— Ух, ты! Вкусно-то как! — прокряхтел он и огладил бороду.

— Отколь ты, леший, брался? — ревниво накинулся на него Митька Перстень.

— Где был, там нет, где ходил, там след! — насмешливо отозвался цыган.

— Кто ты? — спросил Демидов, заглядывая в его бесстыжие глаза.

— Беглый! — нисколько не смущаясь, нагло ответил бродяга.

— Откуда сбег? — дивясь наглому признанию, спросил Никита.

— С Алтая сбег. Бергал [1] я! — расправил широкую грудь черноглазый.

[1] На Алтае в те времена рудокопов называли бергалами.

— Так ты и с горным делом знаком?— удивленно спросил Демидов.— Как звать?

— Ванька Селезень. Заводское дело ведомо мне, да с хозяевами не поладил. Вольных хлебов ищу!— отозвался он и потупился под горячим взглядом Юльки.

— Н-да!— в раздумье промычал Демидов.— Вот что, беглый, где тебе счастье искать? Приходи на завод — работу дам! Полюбился ты мне, ухарь! Удальцов я люблю.

— Что ж?— охотно отозвался бродяга.— Спешить некуда, женка и малые детки не ждут. Приду к тебе, хозяин... Бывай здорова, барынька!— поклонился он Юльке, сошел с дороги в лес и был таков...

— Силен цыганище!— сплюнул вслед Перстень.— Такие люди с хода свою судьбу хапают...

Демидов промолчал. Тройка свернула влево, экипаж тихо покатился вниз, к зеленой елани.

Над понизью, над кустами уже тянулись сырые космы тумана; темнело. За темным бором догорала вечерняя заря...

3

На другой день утром явился бродяга Иван Селезень, и Демидов сказал ему:

— Служи верно и честно мне и никому боле! Запомни и прими для себя: я тебе буду царь и бог. Коли будешь предан, выведу в доверенные люди, приказчиком сделаю. Отныне ты останешься при мне.

Бродяга поклонился, посулил:

— Буду служить тебе честно и верно. Хватка у меня, хозяин, такая: коли по нраву человек — положу за него душу!

— Любо!— похвалил Демидов.

Яшке Широкову, главному управителю Тагильского завода, пришелец не понравился. Сухой, мрачноватый кержак не любил шумных и жизнерадостных людей, сторонился их.

«Беспокойный больно! По всему видать — разбойник с большой дороги. Гулял с кистенем да на Демидова напоролся, а тот слюни и распустил»,— раздумывал он.

Отпустив Селезня, хозяин зазвал приказчика Яшку к себе в кабинет. Кержак долго стоял у порога, ожидая приказаний.

Тяжело ступая, Никита Акинфиевич долго ходил из угла в угол. Наконец он остановился перед приказчиком.

— Ну, как дела, Яков?— глухо спросил он.

— Известны: орудует заводишко, льем железо,— пожал плечами Широков.

— Отныне я за дело берусь, буду тут за главного!— твердым голосом сказал Демидов.— Хватит, отгулялся! Ныне за работу! Без хозяина — дом сирота, а заводу и вовсе погибель!

— Оно так!— послушно согласился приказчик.

Никита продолжал:

— Чтобы дело робить, надо знать. А познать ремесло можно опять же делом. Теперь давай мне одежду попроще и веди в литейную. Приставь там к умельцу, дабы всему обучил. Буду за работного пока!..

Приказчик удивленно разглядывал хозяина.

«Уж, чего доброго, не шутит ли? Несбыточное мелет. Может, с пьяных глаз умопомрачение приключилось?»

Но это было не так. Никита Акинфиевич переоделся в рабочую одежду и пошел в литейную. Юлька на целые дни осталась одна. Притихшая, она бродила по демидовскому дворцу; в сердце закрадывалось сомнение: «Неужели так быстро разлюбил веселый пан?»

Демидов от темна до темна проводил в литейной. Приказчик приставил к нему доброго старинного мастерка Голубка. В предавние годы этот мастерко выехал из Тулы, где славился знатным литьем. Никита Демидов, дед, в свое время заметил отменного пушкаря и сманил его на Каменный Пояс. Сейчас Голубок был глубокий старик. Он сгорбился, стал седенький, сухой; только зрение не изменило ему. По-прежнему без очков он хорошо различал все оттенки пламени и по цвету определял, когда бить в домне летку и выпускать расплавленный металл.

Старик преданно любил свое суровое и вместе с тем тонкое мастерство. О нем он говорил тепло, задушевно. Дни и ночи хлопотал у литья.

Демидов, просто одетый, сказал ему:

— Ну, дедко, пришел к тебе учиться!

Старик строго, испытующе поглядел на хозяина, ответил:

— Коли не шутковать вздумал, становись, Акинфич, но то запомни: дело наше мудрое, сурьезное, терпение — ох, какое терпение надо, чтобы постичь его!

— Выдюжаю. Я терпелив, дедко!— улыбиулся Никита.

Уловив легкость в улыбке, Голубок иахмурился:

— Погоди хвалиться. Это еще терпится. Поглядим, как руки и глаза твои покажут!

Мастерко толково поясиял, показывал все, ио иетерпеливый ученик часто упускал кой-где мелочишку. Потом эта мелочишка оказывалась самой важиой — от нее зависел успех. Разглядывая сделанное Никитой, дедко иедовольно поджимал губы:

— Плохой доводчик ты, Акиифич! Мало сробить, надо до тонкости, до синь-блеска довести металл-то...

— Доведу!— увереиио отозвался Демидов.

— Опять похвальба!— сердился старик.— Сробь, сдай, а тогда и хвались! А работенка твоя плохая. Скажем, ие гожа. Будь я Демидовым, гиал бы прочь тебя от домны!

Самолюбивому, гордому Никите трудно было сдержаться, чтобы не пугнуть мастерка. Впрочем, старик был ие из пугливых. Когда учеиик портил дело, ои ие сдерживался и кричал в сердцах:

— Что робишь, сатаиа! Кто позволил тебе разор чиинить? Губишь металл-то! Прочь, кобылка!..

В заводе иерадивых и неумелых учеииков обидио кликали «зеленой кобылкой».

Демидов гоготал иад ершистым дедом.

— А ты не гогочи!— грозил мастерко.— Гляди, по рукам хвачу; иу, что опять робишь?..

Демидов был упрям: долго трудился ои под иачалом строгого мастерка и дошел до умельства.

Когда Никита выдал первое литье, Голубок радовался как дитя. Он бойким кочетом носился вокруг домны, распустив бороденку.

Глядя иа огиеииую лаву, воскликнул:

— Удалась иа славу! Только пушки лить! Ай да кобылка! Дай я тебя расцелую!

Мастерко бросился обиимать Никиту, ио тот повериулся к нему спиной и позвал:

— Ну что ж, идем за мной!..

Он повел дедку в хоромы, и там Юлька вынесла на расписном подносе чару хмельиого. Мастерко смахиул шапчонку.

— Вот спасибочко, угодил, Акинфич,— прижмурился ои от удовольствия.— Из таких рук одна радость испить.

Юлька с улыбкой посмотрела на веселого старичка.

— Вот видишь, дедко, все у меня есть и все удается!— похвастался Никита.— Не роблю я, а каким царством обладаю!

Голубок выпил, поморщился и смело ответил хозяину:

— Годи хвастаться-то! Все у тебя есть: и заводы, и домны, и экие палаты, и красавица-раскрасавица, дай ей, господи, здоровья! С заводами все же, хозяин, всяко бывает. А вот мое мастерство всегда при мне будет. Вот и выходит, я сильнее тебя, барин!

Демидов побагровел. Слова мастерка задели его за живое.

— Это почему же? Что-то недомыслю твоих слов!— сказал он.

— Поднеси еще чару,— попросил старик,— поведаю тебе одно тайное предание.

Ему вновь налили хмельное. Осушив чару, Голубок утер седенькие усы и тихим, размеренным голосом повел рассказ:

— От дедов слышал преданье, а они от прадедов дознались про это. В незапамятные годы русские люди достигли Каменного Пояса и впервые спустились в шахту. И тут свершилось страшное, батюшка. Семь дней и семь ночей непрестанно хлестал огненный дождь. Поднялась буря и погнала из рек и морей сокрушительные валы. И воды смывали верхушки гор и уносили в океаны. Сотрясалось все небесное и земное: помрачилось солнце, скрылся золотой месяц. На все навалилась тьма непроглядная, и от того стало на сердце тошно...

Мастерко перевел дух, взглянул на Демидова и со вздохом продолжал:

— Прост человек, а все же догадался, что неспроста хляби разверзлись и мрак пал на горы. Кому охота идти навстречу своему горю-злосчастью? Отказались холопы спускаться под землю и робить на радость другим. Но сильны хозяева и плетями приневолили людей лезть в кромешную тьму, в недра земные. День и ночь, батюшка, мозолистые руки не знали покоя — все робили и робили. Нет беспросветнее труда под землей, когда гонят тебя без оглядки, без жалости. Подземелья, глубокие и сырые, узкие, что кротовины, губили людей дешевой смертью: то глыба сорвется на трудягу — и прости-прощай тогда свет белый, то вода

залъет, то еще какая другая беда настигнет. Все, милый, к одному концу, к одной напасти... И вот в такой поре среди рудокопщиков появился Аким-богатырь. Эх, и человечище: плечист, молодецкой ухватки и своего брата в беде не оставит! И стал он робить, как все кабальные. Известна барская хватка: упустил — плетями засекут, живьем сгноят, вроде как у нас...

Заводчика покоробило, он поморщился и сердито перебил Голубка:

— Ты, старый брехун, полегче! Не больно мути словами...

— Э, милый, так сказка сказывается, так песня поется. Из нее слова не выкинешь!— спокойно ответил старик и, не смущаясь, продолжал дальше:— Раз ночью гнал Аким тачку с рудой, а впереди, откуда ни возьмись, навстречу огромный черный бык: рога — дуги, глаза — фонари... Уперся бык в тачку с рудой. Попробуй сдвинь такую силищу! У Акима сердце сжалось, растерялся спервоначалу. Еле опомнился. «Страшен ты действительно,— говорит ему.— Но не из пужливых я, потому что вспоил-вскормил меня простой народ и силы мне свои передал. Оттого в руках моих и в сердце могущества куда больше твоего». И как двинет тут Аким тачку с рудой, бык и взреветь не успел, разом очутился под колесами и там рассыпался на мелкие искорки, и сразу светло и легко стало на душе...

Заводчик пытливо посмотрел на мастерка.

— Не пойму, что к чему?— невинно спросил он, но дедко по глазам хозяина понял — лукавит он. А все же осмелел и сказал Демидову:

— Как не понять тут. Разумей: во всяком противстве главное — иметь надо разум да молодецкую ухватку, и поборешь тогда любого супостата, хоть и страшен он...

— Но кто ж сей черный бык?— упрямо спросил хозяин.

— А тут уж и мне не сказано и про вас не говорено!— на сей раз уклонился мастерко.

Не по душе пришелся Демидову тайный сказ, нахмурился он, поднялся с кресла.

— Ну, иди с богом, дедко, отблагодарю после,— пообещал он литейщику.

На том и разошлись.

Через неделю, когда Голубок хлопотал у домны, его сманили в каменную амбарушку, там повалили и отхлестали ремнями.

Стегал его Ивашка Селезень — цыганистый бродяга, обревший вдруг силу на заводе. Из распахнутого ворота рубахи варнака лезла густая потная шерсть. И весь он был волосатый, сильный. Оскалив зубы, он бил и приговаривал:

— Смирись, батька! Покорись, хлопотун!..

Отстегав, старика поставили на ноги. Селезень крикнул:

— Вали, дедко, да боле не попадайся под мою руку! В другой раз отяжелеет она, не сдюжаешь!

Голубок поправил портки, поклонился бродяге и незлобиво спросил:

— Милый ты мой, а скажи, за что отстегали меня, по какой нужде?

Селезень откинул ремень и пояснил:

— Первое, стегали тебя за тайный сказ. Умен Никита Акинфиевич и рассудил, что к чему. Так и сказал: «Не свалить работному Акиму барина — черного быка». Учти это, старик, и прикуси язык! А второе — побили тебя, чтобы не возгордился. Хошь ты и хозяина учил, а свое место знай...

Мастерко Голубок опять поклонился:

— Спасибо, милый, за науку! Век не забуду сего денька!

— На том будь здоров!— засмеялся Селезень и вытолкал старика из амбарушки.

Глава пятая

1

Прошло только полвека с той поры, когда первые Демидовы и другие заводчики появились на Каменном Поясе, но слава уральского железа далеко перешагнула пределы отечества. Еще не так давно Швеция славилась своим железом и была главным поставщиком его в Англию, а сейчас Россия заняла первое место в снабжении Англии металлами. Демидовские заводы широко развернули «заморский отпуск». К зиме 1745 года очередной демидовский караван стал на зимовку в Твери. На сорока семи судах нагружено было

триста двадцать три тысячи пятьсот сорок пять пудов железа, из которого большая часть предназначалась для Англии. В декабре того же года Никита Акинфиевич заключил с английским купцом Вульфом договор, по которому обязался поставить двести тысяч пудов полосового железа, и если «более в оном караване явится все без остатку... Кроме его, Вульфа, оное железо никому не продавать».

Все больше и больше требовалось железа за границу. Заморские купцы охотно брали добротное демидовское железо. Англичане Аткинс, Ригель и Люзбери заключили с Никитой Акинфиевичем контракт, чтобы ему, «Демидову, на своих собственных заводах под клеймом соболя и поставленных пяти литер CCNAD[1] десять разных сортов железа по разным договорным ценам доставить по семьдесят пять тысяч пудов в год». А кроме них, проживающие в Санкт-Петербурге представители английских фирм Томсон, Питерс, Бонир и другие тоже требовали железо с маркой «Старый соболь».

Миллионы пудов русского железа уплывали за море. Не было на свете страны, которая могла бы поспорить с Россией в выплавке чугуна: Франция, Пруссия, Бельгия, Англия и даже Швеция далеко остались позади. День и ночь работали демидовские заводы, горы чугуна и железа по вешней воде сплавом шли с Каменного Пояса к балтийским портам. Спрос расширялся, и это радовало и беспокоило Никиту Акинфиевича. Унаследовал он от деда, тульского оружейника, кипучесть натуры, большую хозяйственную сметливость и широкий размах в деле. Подобно деду, в своем стремлении расширить производство он не щадил крепостных и приписных крестьян и всех, кто попадал в его цепкие сети. Потомок весь удался в деда: тянуло его строить, жадно прибирать к рукам богатейший край, изобильный рудами, пушниной, лесами и плодородными землями.

Требования на железо «Старый соболь» заставили его заняться строительством новых заводов. Но где их ставить? Взоры заводчика обратились на южноуральские горы.

Там на юг грядами тянулись каменистые хребты, шумели первобытные леса, в понизях расстилались обильные пастбища. В этом краю кочевали простодушные башкиры.

---

[1] Статский советник Никита Акинфиевич Демидов.

По примеру деда в 1755 году Никита Акинфиевич в сопровождении приказчика Ивана Селезня отправился в глухие башкирские горы.

В своих странствованиях по скалам, падям и лесным уремам набрел Демидов на благодатный уголок. Среди живописных увалов раскинулись многочисленные привольные озера, окруженные могучими лесами, склонившими густые кроны к зеркалу прозрачных вод.

Всадники поднялись на небольшой, сглаженный временем курган, который высился над синими озерами. Бесчисленные сурковые норы темнели в песчаном береге, попискивали среди камней полевые мыши. По скату цветистым ковром пестрел бело-красноватый степной зверобой. Остатки каменных стен высились в голубом небе. В расселинах руин, в быльняке шумел ветер. Когда-то, в давние-предавние времена, мимо древнего городища в этих местах пролегала великая ордынская дорога. Ею на запад шли воинственные народы — гунны, за ними — монголы; по этой дороге пробирались на Русь сибирские татары пограбить мирных поселян. И казалось Никите: не бор шумит, а раздается гул и гомон идущих набегом диких кочующих орд.

Демидов скинул шапку, утер обильный пот на широком лбу.

— Ну и приволье!— восхищенно сказал он.— Какой простор! Быть бы ястребом да кружить мне тут над всей этой благостью!

Цепко сидя в седле, Селезень покосился на хозяина. «Чего тут! Демидовы похлеще ястреба будут»,— озорно подумал он, а вслух одобряюще сказал:

— Эко место! Металл — рядом, воды — океан, лесов для домны — прорва. Вот и ставь, хозяин, тут завод!

— Это верно. Добрый твой глаз!— похвалил приказчика Демидов.— Быть здесь заводу. А другой за озером обладим...

— Как, разом два?— удивился Селезень.

Никите Акинфиевичу исполнилось всего тридцать лет. Широкоплечий, крепкий, в полной силе человек. Упрямые, волевые глаза,— даже Селезень не мог выдержать их испытующего, пристального взгляда.

«Силен и размашист»,— внутренне похвалил он Демидова и, подумав, спросил:

— А народищу где возьмем на стройку, хозяин?

— Хо!— ухмыльиулся Никита.— Было бы болото, а чертн найдутся. А мужнкн на что? То разумей, Иваи, Снбнрь лежнт иетронутой, а народ там жильиый, крепкокостый. Вот н работягн нам!..

«И все-то ои знает н ко всему уже примернлся, ведуи!»— подумал Селезень.

— Поехалн!— закрнчал Ннкнта.— Надо к вечеру за озера выбраться!— Он тронул повод, кореиастый серый коиь стал спускаться с кургаиа.

Демидов молодецкн сндел в казачьем седле. На загорелом брнтом лице появнлась самодовольиая улыбка.

— Отныне землн и воды тут мон!— сказал ои похозяйски уверенно.

Хоть землн осмотренные и не были узакоиеиы, ио Селезеиь всей душой повернл в хозяйское слово. Выглядел Демндов как победнтель, покоривший обшнриые земли...

К закату Ннкита Акннфиевнч н Селезень прнбылн в затеряииое в горах сельцо Кыштым. Не отдохнув, не покормнв коней, они взобралнсь на высокую гору Егозу. Весь край лежал как на ладоин: кругом шнхаиы, озера, леса — размахнись, сила! На малом простраистве насчитал Никита свыше сотии озер. Какое разиообразне нх: были тут глубокие и холодиые, светлые и прозрачные, мелкне н теплые, мутные н тинистые. А вон — зарастающие озера-болота!

Долго любовался очарованный заводчнк нетронутым краем. Алчиый к богатству, ои решнл ие откладывать дела.

— Вот местечко и для другого завода!— решительио сказал Демидов и повел рукой.— Вот оно где, мое новое царство!

— Но под горой сельцо, хозяни, и хлебопашцы там,— заикнулся было приказчик.

— Это добро!— отозвался Демидов.— На первой поре работные людншки будут. Какие это землепашцы? Кто нм дозволнл тут землю поганнть? То самовольщнки, беглые с Руси. Погоди, вот мы нх прнберем к рукам!..

Косые лучи заходящего солица ложнлнсь иа долнны н леса. В предвечерней тишние виезапио вздрогиул густой упругнй воздух — торжествениый благовест огласил крохотиые инвы и застывшие леса, поиесся иад зеркалом вод. Демндов встрепенулся, прислушался.

— Никак и храм божий устроили, ишь ты!— удивился он.— Стало быть, и попик тут есть! То добро, легче с мужиками будет сговориться, да и церковь не надо ставить. Тронулись, Иван!

Они спустились с горы, добрались до сельца. Старая бабка вынесла им из хибары берестяной корец с квасом да горбушку хлеба.

— Ешьте, родные,— предложила она им.— Откуда путь держите, православные?

Демидов промолчал, уминая горбушку.

— Ты, баушка, скажи, как звать-то тебя?— спросил приказчик.

— Звать-то Оленой, милок!— словоохотливо отозвалась старушка.— Восьмой десяток пошел, кормилец. Не работница ныне стала...

— А где людишки?— прожевывая кусок, спросил Демидов.

— В храме божьем, милок. Ноне день субботний.

— Пахоты чьи?— деловито допытывался Демидов.

— Божьи, батюшка,— поклонилась бабка.— Наезжают башкирцы, мужики одаривают их кой-когда, вот и все тут! И какие это пашни — скудость одна. К пресвятому покрову в закромах — ни зернышка...

— Ладно, спасибо на том, баушка,— поклонился Селезень.

Бабка покосилась на его черную бородищу, укрыла ладошкой незлобивую улыбку.

— Из цыган, должно быть?— спросила она.— Не сердись, сынок, и цыгане народ добрый.

Демидов встал с завалинки, потянулся.

— Где поповское жило?— спросил он старуху.

— Вон крайний двор!

Держа на поводу коней, Демидов и Селезень побрели к дому священника. Там у плетня они привязали их и зашли в дом. В опрятной горнице пахло вымытым полом, свежими травами, набросанными на широкую скамью.

— Эй, кто тут есть?— закричал Демидов. На его зов никто не откликнулся.

— Должно быть, все на моленье ушли,— разглядывая избу, сказал Селезень.— Скромненько попик проживает. Ох, как скромненько!— вздохнул он.

Никита улегся на скамью. Приятная усталость сковала члены, ароматом дышали травы; за тусклым оконцем, как красный уголек, погасала вечерняя заря.

Демидовым незаметно овладел сон. Селезеиь распахнул иастежь дверь и уселся иа порог. Как сыч, неподвижио, иеслышно оберегал хозяиа...

Заводчик проснулся, когда в нзбе загудел голос священиика. Не выдавая своего пробуждеиня, ои полуоткрыл глаза н незаметно иаблюдал за ннм. Иерей был высок, жнлнст, молод лицом и статеи. В длииной холщовой рясе, которая болталась иа нем, как на колу, он походнл на жнлнстого, костистого бурсака. Русые волосы косицами падали ему иа плечн, не шлн к его остроносому подвижному лицу. Поп расхажнвал по горнице н размниал длинные ручищи.

«Снлен человек!»— подумал Демндов н открыл глаза. Молодой священник смутился:

— Умаялись, подн, с дорогн. Не обессудьте, сударь, подать к столу нечего. По-вдовьи живу. Сам по дворам хозяйским мытарюсь: ныне деиь у одиого, завтра у другого...

Никита без обнняков спросил у попа:

— Беглый ведь? Что за сельцо, чьн землн?

У священннка потемиели глаза, ои опустил руки.

— Ставлеиый, а не беглый я,— тнхо отозвался ои.— Народом рукоположеи. Земли у башкнр арендованы.

Несмотря иа рослость и могучесть, священиик держался тихо. Демидов живо определнл, чем можно тут брать. Он по-хозяйски подиял голову н сказал решнтельно:

— Было так, а ныне землн мон! И леса эти, н озера, и достатки с людишкамн — все откупнл я. Слыхал?

Селезеиь недоумеиио поглядел иа хозяина: «Для чего эта ложь?»

Никнта, не смущаясь, продолжал:

— Ты, беглый поп, ие ерепенься. Почему так худо живешь? Ряса холщовая, лицо постное, средн дворов, как побируха, шатаешься. Негоже так! Служи мие — жизни возрадуешься!— Демидов порылся в кошеле и выложил иа стол золотой.— Бери задаток н служн верио!

Священиинк вскнпел от обиды.

— Прочь, проклятое!— решительиым движением смахиул ои золотой иа землю.— Не купншь меия, хоть и бедеи я!

— Как звать?— иастойчиво спросил заводчик.

— Савва,— отозвался священник и взволнованно заходил по избе.— А ты, купец, оставь нас.

— Ты очумел, попик, куда гонишь нас на ночь глядя!— нахмурился Демидов и переглянулся с приказчиком.— Да знаешь ли, кто я?— уставился он в священника.

— Не дано мне знать всех проезжих,— раздраженно отозвался тот.

Заводчик встал и вплотную подошел к священнику. Положив на плечи ему руки, он резко сказал:

— Ты, поп, покорись! Против меня ни тебе, ни сельцу не устоять. Будет на озере завод!

— Так ты Демидов!— изумленно воскликнул поп.— Неужто тебе наши крохи понадобились?

— Ага, признал, кто я такой!— радостно вырвалось у Никиты.— Суди теперь сам, что тут будет!

Священник охнул, тяжело опустился на скамью. Склонив на грудь голову, он глухо, с великой горечью посетовал:

— Трудно будет нам теперь... Горько! Сам Демид пожаловал...

2

На землю легла лютая зима. К этой поре Демидов объехал башкирских тарханов и глухие улусы. Места лежали богатые, а народ пребывал в бедности: не виднелось на пастбищах конских табунов и овечьих отар. Жаловались башкиры:

— Зимой гололедь одолела, все табуны пали от бескормицы!

Никита весело хмыкал:

— То верно, собак по улусам больше, чем коней. По кобыленке на три башкирские семьи.

Заводчик обещал башкирам:

— Отдайте земли, кои у озер полегли, каждому старику будет ежегодно отпущено по красному кафтану, а молодцу по доброму коню. А в праздник вам, слышь-ко, будет выдано каждому мяса невпроворот. Ешь — не хочу! А ныне какие вы тут жители? Мясо-то у вас в коей поре бывает...

Приказчик Селезень неотлучно находился при хозяине. Он поддакивал Демидову.

— Что за жизнь: тут все рыба да рыба — у нас будет и говядина!..

Два дня Демидов улещивал тархана: угощением и посулами уломал его. Купчую крепость с башкирами заводчик учинил по всей законности российской и обычаям кочевников. Времечко Никите Акинфиевичу выпало для этого удачное.

Башкир согнали в понизь. Из-за гор рвался злой ветер. Выл буран, и башкиры зябли на стуже. Одежка на кочевниках надета — одна рвань, ветром насквозь пронизывало. Стоят башкиры и зубами стучат: скорее бы со схода уйти!

Демидов знал, чем допечь кочевников.

— Студено, баешь?— ухмылялся он, похлопывая меховыми рукавицами.— Душа вымерзнет так, а ты живей клади тамгу [1] да в кош бреди, пока жив.

В теплой собольей шубе, в оленьих унтах, заводчик неуклюже топтался среди народа и поторапливал:

— Живей, живей, чумазые! Ух, какой холод!

Башкиры клали тамгу и отходили...

Отмахнул Демидов за один присест большой кус: по купчей крепости несведущие в делах башкиры уступили ему огромные пространства в шестьсот тысяч десятин за двести пятьдесят рублей ассигнациями. Отошли к цепкому заводчику богатые леса, многочисленные горные озера, изобильные рыбой и водоплавающей птицей.

— Вот и свершилось, как я желал!— не удержался и похвастал Никита приказчику, когда разбрелись башкиры.

— То еще не все, хозяин!— усомнился в простоте сделки Селезень.— Купчую эту надо в палате заверить, а как вдруг да жалоба!

— Ну ты, оборотень, не каркай!— рассердился Демидов.— Завидуешь, верно, моей силе да проворству.

— Завидую!— чистосердечно признался приказчик.

И в самом деле одумались башкиры. Кто подучил их, никто не знал об этом. Видели в одном улусе попа, отца Савву. Дознался о том Демидов и сам наехал к нему.

— Пошто башкирцев смущаешь, беглый поп? Гляди, худо будет!— пригрозил заводчик.

Священник кротко поглядел на разгневанного Никиту Акинфиевича.

---

[1] Рукоприкладный зиак, который ставилн башкиры вместо подписи.

— По-вашему, уговорить басурмана принять Христову веру — возмущение?— не злобясь, спросил священник.

— Не юли предо мною!— разошелся Демидов, весь наливаясь кровью.— Сквозь землю вижу, что мыслишь ты!

— А коли видишь, действуй!— смело сказал Савва.

— Ты вот мне еще слово брякни, не почту твой сан, плетью отхрястаю!— распалился гневом заводчик.

— Попробуй!— угрюмо отозвался поп, и глаза его забегали по избе.

Сметил Никита припасенные дрова у печки, а подле них топор. Злые поповские глаза, как палящий огонек, пробежали по нему. Заводчик мгновенно отрезвел и отступил от Саввы.

«Колючий поп!— похвалил он про себя священника.— Такого батю не худо и к себе примануть!»

В Кыштыме-сельце буянила вьюжистая зима. Избенки заметало сугробами, дороги и тропки пропали до вешних дней. Жил Никита Акинфиевич в Тагиле, в больших белокаменных хоромах, окруженный довольством, а думал о горной пустыне среди озер: «Задымят, непременно задымят здесь мои заводишки!»

Хоть Тагильский завод безраздельно отошел к Никите, но ему хотелось, по примеру отца, свои отстроить. «Тагильский ставлен дедом. Эка невидаль — проживать на готовом! Я ж не братец Прокофий!» — непримиримо рассуждал он о невьянском владельце.

В один из пригожих зимних дней он зазвал Селезня и настрого приказал ему:

— Возьми тыщу рублев, садись на бегунка и мчи в Екатеринбурх, в Горную палату! Дознался я — будет закрепление купчей, да спешат туда бездорожьем башкирцы сорвать мое дело.

Приказчик стоял переминаясь. Демидов посулил:

— Ныне кладу тебе великое испытание: домчишь прежде их, заверишь купчую,— будешь главным на Кыштымском заводе.

— Будет так, как приказал, хозяин! Сейчас скакать?

— Сию минуту!— властно сказал заводчик, открыл железную укладку, добыл кожаный кошель и бросил приказчику:— На, бери, да торопись!

Демидовский слуга вихрем выбежал из хором, ворвался в конюшню и оседлал лохматого башкирского коня.

— Пошли-понесли!— весело закричал Селезень и огрел плетью скакуна.

За околицей бесилась метель, меркнул зимний день. Над заснеженным ельником показался тусклый серпик месяца. Бывалому конокраду метель не метель, ночь не страшна! Одна думка овладела им и погоняла: опередить башкирцев...

И леса позади, и волчий вой стих, а метель, как укрощенный пес, легла покорно у ног и лижет пятки. Домчался с доверенностью хозяина Селезень в Екатеринбург, в Горную палату.

— Верши наше дело, батюшка!— поклонился он горному начальнику.

— Что так не терпится твоему владыке?— лукаво улыбнулся чиновник и, встретясь глазами с пристальным взглядом приказчика, понял — будет нажива.

Сдерживая волнение, Селезень тихо подсунул под бумаги кошель и учтиво поведал:

— Их благородие Никита Акинфиевич отбывает в Санкт-Петербург, а мне наказано по зимнему пути лес рубить да камень для стройки припасти.

— Уважительно,— кивнул чиновник и склонился над бумагами.

Селезень вышел в переднюю и сунул в руку служивого солдата гривну.

— Стань тут у двери, коли башкирцы припрут — не пущай!— попросил он.

Меж тем перо чиновника бегло порхало по бумаге. Купчая уже дописывалась, когда до чутких ушей приказчика долетело тихое покашливание, робкое пререкание.

«Доперли, чумазые! Солдата уламывают»,— с тревогой подумал Селезень и устремился к горному начальнику:

— Ваша милость, торопись, хошь с огрехами, зачернить бумагу да печать приставь!

Он весь дрожал от нетерпения, юлил у стола, вертел головой, стремясь хоть этим подзадорить и без того быструю руку чиновника. Между тем шум в передней усилился. Башкиры, выйдя из терпения, оттащили сторожа и приотворили дверь. Бойкий ходок, просунув в нее руку с бумагой, закричал:

— Бачка! Бачка, мы тут...

— Ох, идол!— рассвирепел солдат, собрал свои силы и всем телом налег на дверь, прекрепко прижав руку с жалобой.— Ну куда ты прешь, ордынская твоя рожа? Ну чего тебе требуется тут? Уйди!

В эту мииуту чииовник размахнулся пером и сделал жирный росчерк. Без передышки он взял печать и приставил к написанной бумаге.

— Ну, сударь,— торжественно провозгласил ои,— можно поздравить Никиту Акинфиевича Демидова — купчая завершена!

— Ух!— шумио выдохиул Селезень и присел на стульчик.— Сразу камень с души свалился. Спасли вы меия, ваша милость.

Тут с великим шумом башкиры наконец прорвались в присутствие. Они пали перед чииовииком на колени и возопили:

— Обмаиули иас, бачка, обманули!

Башкирский старшина протяиул жалобу:

— Просим не писать за Демидовым земля.

Чиновник оправил парик, сложил иа животике пухлые руки и, прихорашиваясь, вкрадчивым, сладким голосом сказал:

— Опоздали, голубчики вы мои, опоздали! Сожалею, ио сделка узакоиена. И что это вы на колени пали, не икона и не идол я. Вставайте, почтеииые...

Башкиры онемели. Нехотя они подиялись с пола, перемииались, ие зиали, что делать. Старшина их подошел к столу; вдруг он резким движеиием провел ладошкой по своему горлу.

— Что наделал, начальник?— закричал ои.— Зарезал иас так! Где закон, иачальник?

Чииовиик улыбнулся и с иевозмутимым видом ответил:

— Закон где? Закон иа ясиой пуговице в сенате!

Давясь смехом, приказчик прысиул в горсть, ио, встретив укоряющий взгляд горного чиновиика, сейчас же смолк...

Демидов остался весьма доволен Селезием.

— Быть тебе главным в Кыштыме!— Глаза хозяина внимательно обшарили своего доверениого.— Все отдал?— спросил он.

— Все,— не моргнув глазом, ответил Селезеиь.

— Зря! Добрый работяга и стащит и хозяина не обидит!— засмеялся Никита.— А сейчас на радостях в баньку...

Банька на этот раз налажена была необычно. Приказал Демидов полы вымыть шампанским, а пару поддавать коньяком.

— Какой разор!— ахнул тагильский управитель Яшка Широков.— Дед ваш покойный, кто ноги мылом натирал, ругал того: «Разорители!» А вы изволите заморское вино хлестать на каменку.

— Молчать!— загремел Никита.— Дед был прижимало, а я дворянин. Ступай и делай что велят.

Никита наслаждался банным теплом. Нежился на полках под мягким веником, вздыхал и шептал блаженно:

— Дух-то какой, больно хорош!..

Селезень услужливо вертелся подле хозяина, намыливал его да парил. Одевая Никиту в предбаннике, приказчик вдруг захохотал.

— Ну что, как черт в бучиле, загрохотал?— удивленно уставился в него хозяин.

— Да как же! Ловко-то мы башкирцев обтяпали!— с довольным видом ощерился холоп.— А не грех это?

— Ну, вот еще что надумал!— отозвался Никита.— На том свет стоит: обманом да неправдой купец царствует!— цинично закончил он и, взяв жбан холодного квасу, стал жадно пить.

Глава шестая

1

Первые русские поселенцы появились в Зауралье в семнадцатом веке. Перевалив Каменный Пояс, через нехоженые дремучие леса предприимчивые, сметливые искатели выбрались на широкую сибирскую долину, где среди дубрав, на берегах рек понастроили острожки, селения и монастырские обители. Так возник Далматовский монастырь, возведенный усердием охочих людей над красивой излучиной на левом берегу Исети.

Четко выделяясь на голубом фоне неба, и поныне грозно высятся на высоком юру величавые зубчатые стены каменного кремля, закопченные дымом башни и бастионы.

По глухим горным тропам, по еле приметным лесным дорогам шла сюда бродячая Русь: завсегдатаи монастырей, скитальцы-странники, бездомная голытьба — гулящие люди, беглые холопы. Окрест монастыря по долинам рек появились слободки и деревеньки. Край простирался тут привольный, плодородный, но жилось по соседству с Ордой беспокойно и хлопотливо. Избенки были отстроены из осинника, корявой ели, наскоро покрыты соломой, а то и дерном. Маленькие, слепенькие окошечки затянуты пузырем, кой-где слюдой. Люди тут жили тесно, скученно, но сытно и вольно. В скором времени у слободки над Исетью отстроили острожек Шадринск, для обережения его от бродячих орд обнесли деревянным тыном, рогатками и окопали глубоким рвом. За Шадринском возник Маслянский острожек. Вокруг новых городков опять выросли села и деревни, населенные свободными землепашцами. Жили тут мужики, не зная кабалы, отбиваясь от набегов Орды и рачительно распахивая тучные земли.

Задумав строить Кыштымский завод, Никита Акинфиевич Демидов и обратил свои взоры на этот нетронутый край. В зиму 1756 года тагильский заводчик съездил в Санкт-Петербург, добился свидания с царицей и своими прожектами увлек ее. В 1757 году, по указу правительствующего сената, приписано было к новым демидовским заводам еще семь тысяч душ государственных крестьян, никогда не знавших барского ярма и живших по отдаленным селам Зауралья. В числе других сибирских сел к Кыштымскому заводу приписали и Маслянский острожек с прилегающими к нему селами и деревнями. По сенатскому указу предполагалось, что приписные должны были отработать лишь подушную подать — рубль семь гривен в год. Еще петровским указом была определена поденная плата приписным мужикам за их работу: пешему рабочему за долгий летний день — полгривны, конному — гривенник.

В день Еремея-запрягальника, в страдную пору, когда ленивая соха и та в поле, в Маслянский острог приехали приказный и демидовский приказчик с нарядчиками. В прилегающие села и деревеньки полетели гонцы с повесткой прибыть всем мужикам и выслушать сенатский указ.

После обедни староста согнал крестьян к мирской избе, и приказный объявил им:

— Ну, радуйтесь, ребятушки, больше подать царице платить не будете! За вас Демидов заплатит. А вы должны, братцы, свои подати на демидовском заводе отработать. К заводу, во облегчение вам, и приписываетесь вы, ребятушки!

Не успел приказиый рта закрыть, заголосили бабы, иедовольиые крестьяие закричали:

— Это еще чего захотели: мы землепашцы, привыкли около землицы ходить! Нам заводская работа несподручна. Не пойдем на завод!..

Рядом с приказным стоял демидовский приказчик Селезеиь. Этот крепко скроенный мужик, одетый в сукониый кафтан, в добрых козловых сапогах, по-хозяйски рассматривал крестьян. «Ничего, народ сильиый, могутиый,— прищурениыми глазами оценивал он приписываемых.— Свежую силу обрел наш Никита Акиифиевич!»

Приказчик нагло шарил взором: нравилось ему, что мужики обряжены были по-сибирски — в крепкие яловичные сапоги, в кафтаиы, скроенные из домашнего сукиа. «Это не расейские бегуны в лапоточках да в холщовых портках».

Заслышав гул иедовольства в толпе и бабий плач, Селезеиь нахмурился:

— Ну, чего взвыли, будто иа каторгу собрались! Эка невидаль отработать рубль семь гривен!

— Подати мы и без того исправио казие правим, а в холопы не пойдем! Как же так, братцы? В ярмо нас хотят запрячь.

— Не быть тому! Не пойдем на завод, пахота ждет!— закричали в ироде.

Селезень вытяиул шею и пристальио разглядывал толпу. Среди волиующегося иарода он заметил кореиастого парня с веселыми глазами. Ткнув в него пальцем, приказчик крикнул:

— Эй, малый, поди сюда! Больно ты шебаршишь!

Пареиь ие струсил, ие опустил глаз под угрозой. Ои протолкался в круг, сдержанно поклонился.

— Ты что ж, милый, народ мутишь? Как звать?— вкрадчиво спросил Селезеиь.

Улыбка сошла с лица парня, он степенно отозвался:

— Зовут меия Иваном, а по роду Грязнов. А то, что селяне кричат,— справедливо. Суди сам, коренные пахари мы, к заводской работе несвычны.

— Верио баит парень!— загудели в толпе.

— Цыц! — топнул ногой приказчик, и глаза его гневно вспыхнули.— Сам знаю о том, но завод надо ставить, а кто против этого, тот против царицы-матушки.

— Да нешто мы против государыни идем?— высунулся из народа сутулый старик. Опершись на костыль, он сумрачно разглядывал демидовского приказчика.— Да ты не горячись! Мы на своей земле стоим. За нами мир, а ты сам кто? Что коришь нас и обзываешь возмутителями? От века свой хлеб едим.— Жилистые руки задрожали, он огладил седую бороду.— И ты, приказный, много воли ему даешь!— обратился он к чиновнику.

— Мое дело маленькое: прочел вам указ свыше, да и в сторону!— увильнул приказный.— Не послушаетесь, что прописано, солдат нашлют! Глядишь, дороже обойдется!— По его губам прошла ядовитая ухмылочка.

Демидовский приказчик снова обрел осанку, уверенность.

— Завтра на заре собирайтесь в путь да хлеба поболе берите, чать свои харчи будут. Вот и весь мой сказ... А тебя, голубь, примечу,— повел он глазами в сторону Ивана.— На словах остер, посмотрим, как в деле будешь!

— Теперь, братцы, по домам торопитесь, сборы чтоб короткие!— предложил приказный, вместе с Селезнем прошел среди раздавшегося народа и скрылся в мирской избе.

Грязнов скинул гречушник, встряхнул головой.

— Ну и пес! Ну и варнак!— бросил он вслед приказчику.

Кручинясь о внезапном горе, крестьяне стайками выбирались из острожка и расходились по дорогам. Над обогретыми вешними полями звенели жаворонки, над мочажинами дымком вились комариные толкунчики: земля ждала пахаря.

А пахарь так и не пришел.

В страдную пору демидовские нарядчики оторвали крестьян от пахоты и обозом погнали за многие версты к приписному заводу. С тяжелым сердцем шли мужики сибирским простором, шли через привольные сочные луга и плодородные земли. Ссыхалась пашня под вешним солнцем, ждала хозяина, а хозяин, проклиная долю, тащился на чужую работу.

Голодные, истомленные, приписные крестьяне после долгого пути наконец добрались до завода.

Тут и началась демидовская каторга...

2

Широко размахнулся Никита Акинфиевич на новой земле. Среди гор он одновременно строил два завода: Кыштымский и Каслинский. Огромный богатый край подмял под себя Демидов, закрепил его за собой межеванием, а на лесных перепутьях и дорогах выставил заставы. Башкиры навечно лишились не только земель, но и права лесовать в родных борах, щипать хмель и опускать невод в озера, по берегам которых испокон веков кочевали их отцы. Как только отшумели талые воды и подсохли дороги, прибыли они к Демидову за обещанным. Почтенные старики мечтали о красных кафтанах, а оголодавшие за зиму ждали угощения. Никита Акинфиевич сам встретил кочевников и провел их в обширные кладовые. Там на стенах висели красные халаты, любой из них просился на плечи. Башкиры обрадовались, кинулись к одежде, стали примерять, прикидывать, который покрасивее.

— Добры, добры, бачка, кафтаны!— хвалили их старики и прищелкивали языками.

— Отменные халаты!— Никита, взяв из рук кочевника одежду, тряхнул ею перед глазами. Как пламень, вспыхнул, заиграл красный цвет. Башкиры от восхищения прижмурили глаза. А Демидов продолжал нахваливать:— Гляди, как жар горят! И в цене сходны: по шесть рублей халат.

Старик-башкирин протянул руку за подарком.

— Э, нет!— не согласился Демидов и повесил халат на стенку.— Эта одежда только за наличные.

Ахнуть башкиры не успели, как кафтаны уплыли из рук: демидовские приказчики быстро поотнимали их и попрятали в сундуки.

— Ну как, по душе, что ли, товар? По рукам, хозяин?— ухмыльнулся Никита.

Башкиры подняли крик:

— Посулено нам отпустить по красному кафтану, так надо слово держать!

— Верно, от своих слов не отрекаюсь,— подтвердил Демидов.— Но того я не сулил, что кафтаны задарма. Где это видано, чтоб свое добро зря кидать? Хочешь,

бери, мил-дружок, но рублишки на прилавок клади. Небось за свою землицу отхватили с меня двести пятьдесят ассигнациями. Шутка!

Башкирский старец, приблизясь к заводчику, поднял к небу глаза:

— Там — аллах! Побойся, бачка, бога, покарает за обиду!

Никита положил руку на плечо старика:

— Дряхл ты, батюшка, а то я сказал бы словечко... Что аллах? Господь бог не построит завода. В таком деле нужны людишки да рублишки. Берешь, что ли, кафтаны?

Приказчик Селезень лукаво усмехался в бороду: своей купецкой хваткой Никита Акинфиевич отменно потешал холопов. Башкиры выли от обиды, плевались, а приказчики скалили зубы.

Понурив головы, кочевники выбрались из кладовой и побрели по берегу озера. Все родное здесь стало теперь чужим, неприветливым. На башкирской земле прочно вырастал завод. В горах взрывали скалы и камень, везли к озеру, где работные мужики возводили прочные стены. В окрестных кыштымских лесах звенели пилы, гремели топоры. В скалах ломали породу, громко о камень била кирка: грохот и шум стояли над землей и лесами.

Перелетная птица — косяки гусей и уток — пролетала мимо, не садясь на озеро.

— Шайтан пришел сюда!— сплюнул старик и махнул своим рукой:— Айда в горы!

Никита засмеялся вслед башкирам.

— Не уйдут, и в горах не укроются, разыщу да в шахту спущу работать! Дай срок окрепнуть, доберусь и до вас...

Кругом кипела работа: ставились первые домны. Клали из дикого камня, скрепляя белой огнеупорной глиной, облицовывали внутри горным камнем, который привозился издалека, от Точильной горы. Тяжелый труд достался демидовским работникам, согнанным на стройку со всей Руси. Демидовские нарядчики заманили многих из тульских оружейных заводов, где имелись умелые мастерки железного литья. Сманивали они умельцев из Москвы богатыми посулами. Из разоренных раскольничьих скитов с реки Керженца, из ветлужских лесов бежали сюда старообрядцы в поисках матери-пустыни. Оседали они в Уральских горах по

древним скитам, а отсюда попадали к Демидову и работали горщиками.

Оглядывая просторы, Никита восхищался:

— Эх ты, край мой, край привольный! Одна беда: мало человеку отпущено топать по земле, коротка жизнь. Торопиться надо, людишек сюда побольше...

В этот час раздумья поднялся хозяин на курган и, всматриваясь вдаль, заметил на окоеме густые клубы пыли.

— Никак наши приписные из Маслянского острожка идут!— обрадованно вскричал Селезень.

— Слава тебе господи!— перекрестился Никита.— Дождались наконец прибытка в силе. Ну, теперь тряхнем леса и горы!..

3

Длинный обоз, сопровождаемый потными, грязными мужиками, втягивался на заводскую площадку и становился табором. Сибирским крестьянам все тут было в диковинку. Завод был полон дыма и огня. Над домной то и дело вздымались длинные языки пламени. К вершине ее вел крутой земляной накат, крытый бревнами. По накату исхудалый конь, выкатив глаза от натуги, тянул вверх груженную углем телегу. Длинный, отощавший возница, одетый в рваные порты и рубаху, стегал коня ременным бичом, несчастное животное выбивалось из сил.

На вершине домны возок с углем уже поджидали рабочие-засыпки, обутые в лапти с деревянной подошвой. Они торопливо пересыпали подвезенный уголь в тачки и везли его к железной заслонке, закрывавшей жерло домны. От пересыпки угля поднималось черное облако пыли. Потные чумазые работные, как черти, суетились наверху. Вдруг доменный мастер крикнул им что-то, и тогда широкоплечий мужик длинной кочергой сдвинул заслонку. Из жерла домны взметнулись языки пламени, и все, как в преисподней, окуталось зеленым едким дымом.

— Охти, как страшенно!— покосился на домну Ивашка.

— Засыпай калошу! Айда, жарь!— заревел наверху мастер, и на его окрик к огнедышащему пеклу ринулись чумазые с тачками и опрокинули уголь.

— Видал?— окликнул Ивашку заводской мужичонка.— Вот оно, чудо-юдо! Утроба ненасытная, чтоб ее прорвало!

— Преисподняя тут! Эстоль грому и жару!

— Это что!— словоохотливо отозвался мужичонка.— Эта утроба по два десятка телег угля да по десятку руды за раз жрет. Погоди, сибирский, тут горя хватите!.. Ой, никак главный демон прет!— Заводской ссутулился и юркнул в людскую толчею.

По стану среди приписных проталкивался Селезень.

— А ну, подходи, поглядим, что за людишки!— Он неторопливо снял шапку, вынул лист.— Петр Фляжкин!

Стоявший с Ивашкой козлинобородый мужичонка вздрогнул, выбрался вперед, глаза его беспокойно заморгали.

— Я есть Петр Фляжкин,— тихим голосом отозвался он.

Приказчик окинул его недовольным взглядом, поморщился.

— Был Петр, ныне ты просто Фляжка!— громко отрезал Селезень.— Пойдешь в углежоги!.. Как тебя кличут?— спросил он следующего.

Мужик поднял голову, ответил степенно:

— Яков Плотников.

— Пригож!— оглядел его плечи Селезень.— К домне ставлю! Будешь к огненной работе приучаться... А ты?— перевел он взор на третьего.

— Алексей Колотилов,— спешно отозвался дородный бородач.

— Хорош! На курени жигарем шлю!— расторопно бросил приказчик, и вдруг глаза его заискрились:— А, кого вижу!— слащавым голосом окрикнул он Ивашку.— Выходи сюда, милок!

Широкий, плотный парень плечом проложил дорогу к Селезню. Большие серые глаза его уставились на приказчика. Тронутое золотым пушком лицо парня сияло добродушием.

— Я тут!— бесстрашно отозвался крепыш.

— Вижу!— одернул его Селезень; насупился:— Иван Грязной, тебе в куренях кабанщиком быть! Смотри у меня, язык на цепи держи: с вами сказ короток!.. Следующий!

До полудня приказчик сбивал рабочие артели жигарей, определял им уроки. В таборе дымили костры, кипело в котлах хлебово, которое варили сибирские му-

жики. Урчали отощавшие в дороге животы. Но утолить голод не пришлось. В полдень приказчик привел двух стригалей и оповестил народ:

— Подходи, стричь будут!

— Да это что за напасть?— загудели в таборе.

— Тут тебе не деревнюха, не своеволье, делай, что сказывают!— по-хозяйски прикрикнул Селезень; поскрипывая новыми сапогами, он пошел по табору.— Я тут старшой!— кричал приказчик.— Перед Демидовым я в ответе! Стриги, ребята, вполголовы, бегать не будут!

Стригали большими овечьими ножницами стригли крестьянские головы, оставляя правую половину нетронутой.

— Так, подходяще!— одобрил стригалей приказчик.— Вот эта сторона, ошуюю,— бесовская, ее стриги по-каторжному! Эта, одесную,— божья, ее не тронь! Ну как, варнаки, ловко обчекрыжили? Теперь не сбежишь в Сибирь!

— Мы не каторжные, мы вольные землепашцы,— мрачно отозвался мужик, намеченный к работе у домны.

— И не то и не другое вы!— охотно согласился приказчик.— Ныне вы демидовские, приписные. Запомни это, Яшка Плотник!

Мужик не отозвался. Сверкнув белками глаз, он угрюмо зашагал вслед за другими...

На горке высились новые хозяйские хоромы. Никита Акинфиевич стоял у распахнутого окна и хмурился. Выждав, когда разойдутся приписные, он окрикнул приказчика.

— Ты что наробил, супостат?— строго спросил его Демидов.— Зачем каторжный постриг учинил над людишками? Тут не каторга!

— Ха!— ухмыльнулся в бороду Селезень.— Каторга не каторга, а так вернее, хозяин. Пусть чувствуют силу варнаки!

Заводчик обвел взором леса и горы, вздохнул:

— Хлопот сколько приспело! Завтра гони всех на работу да отряди к ним добрых нарядчиков, мастерков, доглядчиков, чтобы работали спешно, радели о хозяйском деле.

Приказчик снял колпак, низко поклонился Демидову:

— Все будет исполнено!

4

Всю зиму лесорубы валили лес, пилили саженные бревна и складывали в поленницы. Летом, когда дерево подсохло, началось жжение угля. Жигари плотно складывали бревна в кучи, оставляя в середине трубу. «Кабан» покрывался тонким слоем дерна, засыпался землей и зажигался с трубы. Для куренных мастеров начиналась горячая пора: надо было доглядеть, чтобы нигде наружу не прорывался огонь, иначе беда — уголь сгорит. При летнем зное работному человеку приходилось все время находиться при «кабане». Тление древесины продолжалось много дней. Судя по дыму, кабанщик знал, когда гасить поленницу и разгружать уголь. Выжженный уголь подолгу лежал в куренях. С открытием санного пути его грузили в большие черные короба и отвозили на завод.

Тяжелая, изнуряющая работа была в куренях. Грязнов с однодеревенцами попал на эту лесную каторгу. Приказчик Селезень привел рабочую артель на делянку и пригрозил:

— Старайся, хлопотуны, угодить хозяину! Работу буду принимать по всей строгости. Худо сработаешь, потом наплачешься! А это вам куренной мастер: слушать его и угождать.

Рядом с приказчиком стоял горбатенький человечишка с длинными жилистыми руками. Злые глаза его буравили приписных. Губы его были влажны, мастерко поминутно облизывал их.

«Словно удавленник, зенки вылупил»,— подумал Иван и сплюнул от брезгливости.

Горбун сердито посмотрел в сторону парня.

В лесу темной хмарой гудели комары: надоедливый гнус терзал тело. Неподалеку простиралось болото, от него тянуло прелью, грибным духом.

Приписные в тот же день обладили шалаши и принялись за работу. Куренной мастерко неслышной походкой пробирался среди рабочих и ко всему настороженно прислушивался.

— Кормов-то много вывезли из Сибири?— допытывался он и, когда мужики уходили в лес, шарил по котомкам. В полдень он примазывался к работягам и вместе с ними брел к артельному котлу. Расталкивая их, он первым принимался за трапезу. Ел мастерко неопрятно, торопливо.

Мужики сооруднлн ему шалаш на берегу болота, за большнм мшистым пием. Ночью над болотом стлался гиблый тумаи, по утрам от ветра он наползал иа вырубки. И вместе с иим иа раиией заре из шалаша выползал мастерко н взбнрался на зеленый пень. Тогда по лесу раздавался его урчащнй крнк:

— Варриаки, вставай!.. На рработу порраа!..

В эту мннуту горбун с зеленым, нстощениым лнцом походил на страшиое лесное чудовище, которое, сидя на пие, пучнло глаза, раздувалось и урчало на все болото.

Грязнов плевался:

— Заурчал леший в бучиле! Жаба!..

— И впрямь жаба!— соглашалнсь мужнкн.

После побудки мастерко падал иа колеии, нстово крестнлся и клал поклоны на восток.

— Гляди, богу молится иечистик!— уднвлялнсь углежогн.

— Ошиблись, братцы! Разве ие видишь, водяиому клаияется. Беса тешит варнак!

Крестясь иа восток, куреиной, повериув голову, одновременно крнчал через плечо работным:

— Прроворрней, каторржиые!..

На каждый день мастерко Жаба задавал тяжелый урок. Снбнрякн покорио трудились; от изиуряющей работы иа руках выступал солеиый пот, грязиые холсты стояли коробом, одиако, иесмотря иа усердне, работные не выполнялн уроков. На душе было хмуро. Кругом беспросветиая тайга, лесная земля дышала тленом, древесные раскорякн изодрали одежду, нсцарапалн тело. Мужики иадрывались в иепоснльиой работе, а Жаба еще грозил плетью...

К Ильииу дию на лесиых порубках былн выложены «кабаны», н прнпнсные во главе с кабаищнком Ивашкой разожглн нх. Работа стала еще горше. От едкого дыма, копоти и смрада, которые беспрестаиио вздымались от тлеющих под дериом дров, у жигарей разболелись глаза, тяжелым и неровным стало дыханне, у многнх в грудн появнлась боль, снльиое сердцебиеиие.

Чертушки! Духи из преисподией!— горько шутнл Ивашка, но от этнх шуток и самому стаиовилось тяжело иа сердце.

Никогда парень до того ие работал жнгарем, н все казалось трудиым н незиакомым. «Кабаиы» часто задыхались, гасли. Днем н ночью Грязиов не сводил глаз с горевшей кучн. По соседству с ннм вознлся Петр

Фляжкин — тщедушный мужичонка. Выбиваясь из последних сил, он приготовил «кабан» и запалил его. Огонь то потрескивал в темной куче, выпуская из щели синий дымок, то угасал. И тогда мужичонка взбирался на верх кучи и раскапывал пошире трубу. Дерн под ним разъезжался, Фляжку охватывало дымом. Глаза бедняги слезились, он задыхался.

— Негоже так, Петр, того и гляди в огонь угодишь!— предупредил его Иван.

— А что робить, коли тление гаснет?

Не спавший много ночей углежог сидел, раскачиваясь, не сводя сонных глаз с дымка над «кабаном».

Умаянные мужики улеглись спать, и тут среди ночи произошла беда. В полночь дремавший Фляжкин вдруг открыл глаза и заметил — гаснет «кабан», не дымит сизый дымок.

«Ну, пропал,— ужаснулся он.— Запорет Жаба! Осподи, что же делать?» — в страхе подумал углежог и кинулся к куче. Он проворно взобрался на вершину, руками разгреб дерн и стал выбрасывать поленья, уширяя трубу. Взыграло пламя, разом охватило жигаря, он оступился и со страшным криком упал в огонь.

— Братцы, мужик сгиб!— заорал Ивашка и бросился на помощь. Но жадное пламя уже охватило корчившееся тело...

Набежали мужики, раскидали дымящиеся бревна, извлекли бездыханного Петра Фляжку. По лесу потянуло гарью. Налетел ветер, вздул тлеющие поленья и ярким светом озарил вырубку. Угрюмые жигари стояли над останками односельца.

— Эх, ты, горе-то какое, ни за что сгиб человек!— потемнел Ивашка, и внутри его все забушевало.

Разъяренный убытками, горбун накинулся на жигарей с бранью.

— Это кто же дозволил разор хозяину чинить? Под плети, варнаки!— заорал Жаба.

— Ты что ж, не видишь, душа христианская отошла?— сердито перебил кабанщик.

Мужики подняли останки, понесли на елань.

— Бросай где попало! Сам бог покарал нерадивого,— размахивая плетью, кричал горбун.

— Ну и мохнатик, много ль его есть, а злости прорва. Придавить — и в болото!— возмутился Грязнов, и вся кровь бросилась ему в лицо.

— Отыдь, Жаба! — крикнул кабанщик и схватил кол.

Мастерко не струсил, псом накинулся на приписного. Быть бы тут жестокому бою, но жигари разняли их и развели.

— Погоди, я еще напомню тебе это! — пригрозил куренной.

Днем томила жара, ночью пронизывала сырость, лезли с болота туманы.

Измученные за долгий летний день, жигари с заходом солнца наскоро утоляли голод и валились на отдых. Сон их был тяжел и беспокоен; как морок, он туманил их сознание. В тяжелом полузабытьи они ворочались, скрипели зубами, ругались.

В эту ночь Ивашка лежал с открытыми глазами и прислушивался к неумолчному лесному шуму. В просветы леса виднелось звездное небо, манило оно простором, но с болота наползали седые космы тумана, клубились и закрывали все. Грязнову казалось, будто лезет из трясин леший и тянет за собой лохматые одежды. Над зыбунами пронзительно заухал филин, и над лесом, над топью прокатился его лешачий хохот. По спине приписного пробежал мороз.

— Фу ты! Пес тебя возьми! — Парень испуганно глянул в темь.

Наутро, не выдержав тяготы, стосковавшись по семье, сбежал дородный богатырь Алексей Колотилов. Недалеко ушел горюн, демидовские заставы перехватили беглого. Приказчик Селезень с заводскими стражниками пригнал Алеху в курень. Тут его раздели донага и прикрутили к лесине. Тучи комаров налетели на живое тело, жалили, наливались кровью.

Стражники намочили в ржавой воде сыромятные ремни и немилосердно отстегали его.

5

Ивашка Грязнов затаил жгучую ненависть к мастерку. По его вине погибал добрый мужик Алексей Колотилов. После отъезда стражников горбун схватил палку и стал добивать истерзанного. Коваными каблуками он изломал ему грудь. Теперь Алеха лежал у костра и сплевывал кровь. Жигари из жалости ходили за ним. Но всем было понятно: не встать больше Алехе на ноги — угасал мужик.

Все нутро горело у Ивашки. Последние дни бродил он как в тумане. Скрипучий голос мастерка бередил его душу. Незримо крадучись, ходил работный следом за своим ненавистным врагом. Подолгу, затаясь, просиживал он в кустах, подстерегая Жабу. Не раз ночью кабанщик подбирался к его землянке, настораживаясь, прислушивался к шорохам; из логова горбуна доносился лишь звучный храп.

«Спит, кровосос! Нешто войти и разом порешить мучителя?»— думал он и весь дрожал от темной мысли.

С болота обдавало гнилой сыростью, туман неслышно тянул серые мокрые лапы. Кабанщику становилось страшно.

Истомленный душевной борьбой, он медленно отступал от землянки куренного. Глухой полночью на лесосеке кричал зверь, ухал филин на болоте, а Грязнов не спал, лежал, разметавшись на земле, широко раскрыв глаза.

«Так пошто я хожу следом, ежели не поднимается рука на гада?»— спрашивал он себя.

Между тем урочное время подошло к исходу. Отощавшие, измотанные непосильной работой, сибирские приписные пережгли все заготовленные поленницы. Однако долгожданная радость не пришла в курень. Жигарей донельзя истомил голод, вся припасенная домашнина давно иссякла, мужикам приходилось подмешивать к мучице толченую кору, добавлять мягкую глину и этим подпеченным месивом набивать чрево. Не брезгали жигари и палыми конями. От тягот и голода в лесном курене возникли хворости, больные маялись животами. А впереди предстоял дальний путь. «Кто знает, придется ли дотянуть ноги до родного погоста?»— с тревогой думали приписные.

А мастерко Жаба шмыгал по куреню, по-своему озабоченный.

— Погоди, варнаки, радоваться, работенка ведь не сдадена!— каркал он.— Может, ни я, ни старшой еще не примем ее. Это как нам поглянется!

Однажды, как всегда, после ужина горбун подошел к кострищу и подсел к старикам. Речи его внезапно изменились: на сей раз он не грозился, а шутками и прибаутками напрашивался на мзду.

— Это верно, что туго вам в лесу доводилось, братцы!— елейным голосом затянул он.— Но то помните,

что за битого двух небитых дают. Первая указка, слышь-ко, кулак, а не ласка...

Лето клонилось к ущербу, призадумался лес. Птицы покинули гнездовья, летали стаями — приучались к дальнему пути. Тосковали мужики: «Ушли из дома на Еремея-запрягальника, как там обошлись с пахотой? Знать, осиротевшим лежит поле!» Эти думки как ножом полосовали сердце. Угрюмые и несловоохотливые, сидели они у огня. Поверху шебаршил гулевой ветер, слетал вниз и упругим крылом бил в костер. От огня сыпались искры, взметались жаркие языки пламени. Под кустом, освещенный огнем, лежал исхудалый Алексей Колотилов, руки его вытянулись, высохли. Задыхаясь от кашля, он тянулся к теплу. Большие страдальческие глаза укоряюще смотрели на Жабу.

— Через тебя гибну!— пожаловался он.

Горбун не отозвался, залебезил перед стариками:

— Эх, горюны вы мои, горюны, о чем призадумались? По дорожке, поди, стосковались, а то забыли, что не подмажешь колеса, не поедешь...

Мастерко прижмурил наглые глаза, усмехнулся.

— А где ее взять, подмазку?— отозвался старик-жигарь, задумчиво глядя в огонь.

— Денежка — молитва, что острая бритва, все грехи сбривает!— гнул свое горбун.

— Уйди!— крикнул Алеха, и на губах его показалась кровавая пена.— Уйди, дьявол, мало тебе наших мук!— Глаза истерзанного лесоруба зло уставились на ненавистного мастерка.

— Ой ли!— не сдался, ехидно ухмыльнулся горбун.— Кто там еще голос подает? Грех в мех, а сам наверх! То разумей, халдей, захочешь добра, посей серебра...

— Ты вот что!— поднялся из-за костра седобородый степенный жигарь.— Впрямь уйди от греха подале! У всех уже на сердце великая смута накипела...

Он не докончил, глаза его зловеще вспыхнули. Чтобы скрыть свое волнение, он отвернулся и пошел прочь. Пораженный страстной ненавистью, горбун отшатнулся.

— Ну и народ! Ироды!— покрутил он головой.— До чего жадные, по алтыну с рыла им жалко. Ишь как!..— Он юркнул на тропку, укрытую молодыми елями, и засеменил к себе в землянку.

На другой день приехал Селезень с дозорным. На нем была новая поддевка и шапка с малиновым верхом. Налетевший ветерок парусом раздувал его черную бороду. Шел приказчик чуть подавшись вперед животом, за ним топал низкорослый щербатый дозорщик. Словно из-под земли перед ними вырос мастерко и засеменил рядом.

— Ну как, покончили жигари с работенкой?— весело спросил его Селезень.

Приблизясь к приказчику, Жаба что-то зашептал ему. Мужики стояли тихие, молчаливые. Селезень окинул их пытливым взглядом.

— Не тяни, показывай работу. Кто тут у вас за артельного?— спросил он.

Вперед вышел степенный старик и поклонился приказчику.

— Нет у нас артельного, побили его, батюшка, теперь исходит хворью. Один тут и есть за старшого. Он, батюшка!— Приписной показал на мастерка.

— Добро!— обронил Селезень и бодро зашагал вдоль угольных куч.

Кругом простиралась лесная вырубка да мелкие изломанные кусты. У ручья в молодой поросли паслись кони, стояли телеги.

— В дорогу, стало быть, собрались,— усмехнулся приказчик.— А с мастерком разочлись? Кто за вас первый хлопотун тут? Мастерко!— по-хозяйски сказал Селезень.— Кто за вас передо мной в ответе? Мастерко!

Лохматые, оборванные приписные с обнаженными головами тянулись за приказчиком.

— Так, батюшка, мы свое отробили! Вот и уголек выложили,— засуетился старик.

— Уголек выложили!— подделываясь под тон, сказал приказчик и схватил саженку.— Добро, ой добро, хлопотуны-работнички! Сейчас прикинем, сколь сробили... А это что? Пошто уголь сырой?— вгляделся он в кучи.

— Так мы гасили. Просохнет ноне!— встревожились мужики.— Так и должно быть!

— Сам знаю!— вдруг остервенился приказчик.— Кто вам дозволил? Как на завод ставить эту грязь?— Он ткнул ногой в кучу.— Сказывай, варнаки!

Селезень выхватил из рук мастерка плеть, темнои тучей надвинулся на жигарей. За спинами их притаился Грязнов. Кипел он, но сдерживал себя. Плечи парня за

лето раздались вширь, лицо окаймляла золотистая бородка. В больших серых глазах погас озорной огонек.

«Покричит, полютует кровосос да угомонится, а там и домой двинем!»— успокаивал себя кабанщик.

Но не тут-то было: Селезень топнул ногой и закричал мастерку:

— Работа не доделана, зря меня встревожили! Кучи не так выложены, притом маломерки. Уголь мокрый, не просушен. Сечь варнаков! Ложить брюхом на пень и сечь! До той поры сечь будем, пока брюхом пня до земли не загладят! Слыхали, варнаки?— Он свистнул плетью. Однако накинуться на мужиков не посмел, круто повернулся и заторопился к бегункам. Мастерко остался на порубке. Уезжая, приказчик крикнул:

— В поучение пусть корчуют пни! Ныне оборуженных пришлю, порядок тут навести!— Он натянул вожжи и огрел плетью коня. По елани загремели колеса; Селезень умчался в Кыштым.

Встревоженные, растерянные приписные вечером собрались у костра: «Как тут быть? И без корчеванья в могилу ложись и умирай!» Над лесом навалилась тьма, неуемно гудел ельник. Опустив головы, хмурые сидели жигари в глубоком раздумье. Костер то вспыхивал, то мерк. Раскаленные угли подергивались синевой.

— Что же делать нам, братцы?— вымолвил, окинув всех взором, старик.

Никто не отозвался. Молчал лес, потрескивал огонь. Среди наступившей тишины, оттуда, где всегда лежал Алеха, раздался голос:

— Бежать, братцы, надо!

Жигари оглянулись на говорившего. По желтому, истомленному лицу Алехи ползли слезы.

— Богом заклинаю вас, братцы, не покидайте меня тут...

Он поник головой и, замолчав, опустился на лесное ложе.

— Пустое он мелет! Ну куда вам уходить? Аль удумали быть битыми?— раздался вдруг тихий вкрадчивый голос. Из кустов показалась косматая голова мастерка, злые глаза его пристально разглядывали мужиков.— Ну куда вы убежите?— нагло переспросил он.— Кругом дозоры. Я вам сказывал, что будет, а вы не послухали, ась?— Он ящеркой выбрался из кустов и отряхнулся.

— Оборотень!— с презрением крикнул Алеха.— По кустам, кикимора, ползаешь, подслушиваешь!

В эту минуту шумно раздвинулись кусты, из них вышел Ивашка и жилистыми руками сгреб Жабу.

— Ты чего тут, зверюга?— Парень смертной хваткой прижал мастерка к себе.

— Братики, ратуйте!— заверещал горбун.

— Молчи, поганец!— Сильным махом кабанщик поднял его над головой и кинул в костер.— Гибни, тварь!

С треском взметнулись золотоперые искры. Над лесом взвился дикий вой. К темному небу поднялся яркий пламень; охваченный огнем и гарью, из него выкатился воющий клубок и помчался к болоту.

— Утонет, окаяныш! Что ты наделал, парень!— укоряюще посмотрели односельцы на Грязнова.

— Туда ему и дорога!— переводя дыхание, отозвался Ивашка и заторопил народ:— Живо, братцы, собирайтесь в дорогу! Уходить надо!..

6

В непроглядную темень по глухой лесной дороге тронулся мужицкий обоз из демидовского куреня. Торопились приписные уйти от напасти. Еле тащились истомленные кони. Как ни скрытно уходили жигари, однако на реке Кыштымке у брода встретила их демидовская вооруженная ватага. Крестьяне двигались мрачные, решительные, держа наготове топоры и дреколье. Заводские дозорщики полегли за рекой и перегородили дорогу. То ли они устрашились грозной мужицкой силы, то ли от Демидова приказ был дан не дразнить первых сибирских приписных, но только они вступили с ними в затяжные переговоры. Сами же той порой послали гонца с вестью в Кыштым.

— Куда побегли, родимые?— закричал из-за реки чубатый казак, старшой дозора.— Вертайтесь лучше, пока всех не постреляли!

— А у нас топоры и дубье, только суньтесь!— откликнулся Грязнов.

— Демидов сюда драгун пришлет, порубят вас!— грозил казак.

— Лучше смерть, чем демидовская каторга,— огрызался Ивашка.— Сторонись, лапотники, дай дорогу!

— Чалдоны! Пимокаты!— надрывался чубатый.

— Чалдоны, да ядрены!— не унывая, кричал кабанщик.— А ты кто? Отец твой онуча, мать тряпица, а ты что за птица?

Над лесом поднялось солнце, засверкали росистые травы. Над рекой растаял легкий туман. Демидовская стража поглядывала в сторону завода, ждала вестей. Приписные раскинулись табором у реки. Исхудалый, остроносый Алеха лежал на возу и задумчиво смотрел в синюю даль. Над головой раскинулся безоблачный простор; по земле пробежал теплый ветер, покружил над рекой, взрябил воду и пронесся дальше...

«Кабы домой, на родную Исеть!»— с тоской подумал Алеха и поглядел на дорогу. Там в клубах пыли скакал всадник.

— Братцы, из Кыштыма мчит!— крикнул Алеха.

Мужики повскакали на возы. У всех была одна думка: «Что-то теперь будет?»

Затаив дыхание, они следили за быстрым конником. Вскочили и дозорщики, нетерпеливо поджидая своего.

Спорым, широким махом несся башкирский конь. Проворный всадник с разгона молодецки осадил коня на крутом яру. Скинув с мокрого лба шапку, он закричал мужикам:

— Братцы, жалует вас Никита Акинфиевич дорогой! Просит только в обереженье покоя выслать старшого. А как вышлете, тогда идите с богом, мы не помеха!

В крестьянском таборе шумной волной прокатилось оживление. Алеха умиленно поглядел на вестника, глубоко вздохнул:

— Слава те господи, доберусь до родных мест!— Он обежал табор глазами, обронил:— Кого ж слать к Демидову, как не Ивашку, смел, упрям и умен он!

Всем по душе пришлась эта мысль. Хоть и жалко было парня, но степенные бородатые сибиряки поклонились Грязнову:

— Знаем, что просим тебя на горесть, не верим мы заводчику, но как быть, если беда за горло хватает? Пострадай за мир, парень!

Тяжело было землякам расставаться с проворным и смелым парнем, но тянулось сердце к родному дому, к милому полю, к привычной голубой речонке. Понял Ивашка, что творится у приписных на душе, вздохнул и поклонился миру:

— Быть по-вашему, отцы! Один-одинешенек живу я, как трава при дороге, никто по мне не заплачет. Не забудьте и вы меня в случае беды!

Приписные сняли шапки и долго глядели, как он переходил вброд речонку, как отдался демидовским холопам. Те усадили его на коня и повезли в Кыштым.

Демидов сдержал слово: за уходящими приписными не было погони. Позади лежала густая темень, ненавистный завод, и оттуда все глуше и глуше доносился сторожевой собачий лай.

Связанного кабанщика заводские приказчики приволокли к Демидову. Парень был высок, силен. Оглядывая его решительное лицо, золотистую бороду, Никита, нахмурив черные брови, спросил:

— Это ты поднял народ?

— Я!— бесстрашно ответил Ивашка.

— Храбрый больно!— недобро усмехнулся хозяин.— До сей поры рогом землю роешь!

— Пошто сверх положенного срока пахарей держишь? Свои нивы осиротели, поджидают трудяг!— Парень не опустил смелых глаз перед Демидовым.

Никита взглядом подозвал Селезня.

— Сего молодца убрать на шахту!— указал он на Ивашку.— В силе холоп, только руду ему и ломать!

— Не смеешь!— рванулся к заводчику Грязнов, но крепкие руки приказчиков удержали его.

Хозяин уперся в бока.

— Демидовы все смеют,— сказал он холодно.— Отвести его на рудник!

На другой день побитый, притихший Ивашка попал в шахту.

Глава седьмая

1

Люди прокляли это место: кругом взгромоздились голые скалы, в каменистых трещинах нашли себе приют лишь плакучие березки да горькие осины. Под угрюмой скалой — нора, по ней каждый день, ссутулясь, пробирались рудокопы к своим забоям. Среди нависших красно-бурых глыб кажется Ивашке, что его навеки схоронили живьем глубоко в черную бездну и ему никогда-никогда не выбраться из нее. Трепетный свет лу-

чины слабо освещает уголок каменной гробницы; неровные стены, изъеденные бугры, по которым неслышно сочится подземная вода. Кабальному стало страшно, в тоске сжалось сердце.

— Гляди, как вода камень точит!— сказал он старику рудокопщику.— Отколь только она взялась тут?

— Это мать сыра-земля по нас плачется. Томимся мы тут на работе непосильной, голодуем, холодуем, она, сердешная, и жалится. За нас ей скорбно. Слезы точит она, точит...

Горщик смолк, пристаиваясь в забое. На мгновение наступила гнетущая тишина, в густой тьме, отмечая вечность, одна за другой со звоном монотонно падали капли в невидимую лужицу. Старик положил рядом кайлу и спросил Ивашку:

— Ты, парень, видать, впервые под землей? Ничего, привыкай, ко всему привыкай: к горю, к кручине, к слезам земным! Бывает, что и людей заливает тут... Как звать-то?

— Иваном.

— Хорошее имечко. А меня кличут Данилкой. Чуешь, парень?

— Чую,— отозвался Ивашка, согнулся и полез в забой.

Весь день он ожесточенно бил кайлой в кремнистую породу, бил неотступно, упрямо, словно хотел пробить себе дорогу из могилы. Скинул намокшую от едкого пота рубаху. Но и жаркая работа и глухой стук кайлы не могли отвлечь его от мрачных дум. Слишком грозен и душен мрак. Крохотный глазок огня сиротливо томился среди каменных громад, предвещая беду. Железными острыми изломами поблескивала растущая груда руды. Кто-то черный, невидимый, с хриплым дыханием бросал ее в тачку и отвозил. Время тянулось медленно. «И когда наступит конец этому проклятому колдовству? И выберусь ли когда-нибудь на волю?»— думал Ивашка

Усталость как яд разливалась в натруженных членах, в крови Оцепенение леденило тело. Изломанный, ослабевший забойщик к концу дня выбрался из шахты. Он бросил наземь кайлу и упал на траву. Грудь не вмещала хлынувшего могучего потока свежего воздуха: рудокопщик задышал часто-часто, закружилась голова, а глаза не могли оторваться и наглядеться на мир, на

заходящее солнце, на широкую зеленую понизь, на которой стрижи с веселым писком чертили вечернее небо.

— Ну, вставай, парень, пора!— раздался над ним знакомый голос старого горщика.

Черные, угрюмые, рудокопы тронулись друг за дружкой к поселку. Ивашка пошел следом. Впереди и позади кабальных шли рудничные мастерки.

В темнеющем небе зажглись первые звезды. Над казармой редкими витками тянулся дымок — готовили ужин. Где-то поблизости в чахлых кустах в сумеречной тишине прозвучало ботало, одинокая буренка неторопливо брела к человеческому жилью.

— Эх, и жизнь горькая!— вырвалось у старика Данилки, и плечи его опустились еще ниже...

День за днем потянулась маята подневольного рудокопщика Ивашки Грязнова. И каждый раз перед спуском под землю тоскливое чувство сжимало сердце горщика; из черного зева шахты всегда тянуло леденящим холодом. В эту темную сырую пропасть нехотя уходили люди. Ивашка огрубел, мускулы стали словно литыми; в лицо въелась порода, только бородка гуще закурчавилась да на лбу пролегли глубокие морщинки от дум.

Ночами в тесной рабочей казарме в спертом воздухе рудокопы на короткое время забывались в тревожном сне. Многие бредили, и во сне не покидали их муки, тяжелый кашель колыхал грудь.

Ивашка приглядывался к горщику Данилке. Благообразен, терпелив старик. Он, как пень, оброс мохом, могучими узловатыми руками вцепился в землю.

— Откуда ты?— полюбопытствовал молодой рудокоп.

— С Расеи беглый. Убийца, свою женку порешил и сюда на Камень хорониться прибег. Вот и ухоронился в демидовской могиле. Горюном стал!— охотно поделился с Ивашкой старик. Речь его была спокойна, незлобива, а глаза ясные, как небо в закат.

— За что ж ты ее?— помолчав, спросил парень.

— Бабу? За измену, не стерпело сердце, пролил кровь внапрасне!

И то дивно было Ивашке, что, неся расплату за кровь женки, никогда Данилка не клял женщин, не ронял про них грязных слов.

— Женщина велика сердцем, а мужик перед ней слабодушен. Каждого человека мать родила. Разве

можно хаять родную мать? Неуместно, парень, дурное слово про родимую плесть... Бывает и так — добрая баба и телесной силой мужика превышает... Скажу тебе один сказ...

Старик приподнялся на жестком ложе.

— Уральскую бабу не возьмешь ни силой, ни страхом. Ее вода не берет и зверь обходит. На Камне баба прошла великое горе и стала крепкой, особых статей человек. Когда-либо слышал про камскую Фелисату? Нет? Эх, жалость! Великая атаманша была, слухом наполнила горы...

Горщик примолк, нахмурился, приводя в порядок мысли, и продолжал свою быль.

— Давным-давно на лесном Усолье жил один поп, было то назад лет сто, а может, и поболе. Женился этот поп на своей работнице, из Орла-городка пошла она к нему в услужение. Девка была кремень, красивая, глазастая, а силы такой, что раз переоделась парнем да на бой с солеварами вышла. Тогда в Усолье по праздникам кулачные бои бывали. Пристала она к партии, которая послабей, и всех покрушила. Увидел это поп и прилип, женился на ней. Человеку все мало, бес его на ссору толкает, часто поп забижал женку. Только терпела-терпела Фелисата, да размахнулась и ушибла попика, угомонила навек. Ну, похоронили попа с честью, хотели было Фелисату взять — не далась: кто с такой силищей справится? Тут стрельцов пригнали, сонную забрали, посадили... Что ты думаешь? Она, слышь-ко, в ту же ночь высадила ворота в остроге, сама ушла и всех колодников за собой увела. Вот тебе и баба!..

Данилка закопошился в своем тряпье, на стене качнулась его огромная лохматая тень. В оконный проруб заглянула робкая звездочка. Ивашка торопил:

— А дале что?

— Потерпи, дай помыслить.— И снова зажурчала неторопливая речь горщика:— В ту пору на Каме у самого Усолья стояла большая строгановская ладья. Села Фелисата с колодниками в ладью, отвезла их в Орел-городок и отпустила на все четыре стороны. «Идите, братцы, промышляйте гулящим делом. Кладу вам завет: воевод и купцов хоть в Каме топите, а мужика не трогать! А кто мужика тронет, того не помилую!..» Сказала и ушла. А в Орле-городке подманила она двух сестер своих, девки могутные, в красе орлицы, пере-

рядились парнями, раздобыли доброго оружия и стали по всей Каме-реке плавать... А где, слышь-ко, узнает, что есть сильная баба или отважная девка, сейчас Фелисата к себе сманит. Так и собрала она большую да грозную шайку, баб с полсотни у ней было. Нашли они себе пещеры потайные, изукрасили персидскими коврами да дорогой утварью и положили промежду себя зарок, чтобы добычу делить поровну и в стан свой мужиков не пускать, жить без соблазну. Э, вон как!.. Что-то бок ломит, недужится мне,— вздохнул старик и заворочался в своем логове.

Огонек в каганце то вспыхивал, то погасал. Робкая звездочка заметно отошла от оконного проруба. Ивашка сидел на жестких нарах, повесив голову.

— Ну что загорюнился, бедун? Слушай дале!— ободряюще сказал горщик и продолжал свою бывальщину:— А в той поре, слышь-ко, из Сибири караван с царским золотом по Каме шел. Проведала о нем Фелисата и на легких стругах кинулась по следу. Под Оханском нагнала, перебила всех стрельцов, что с караваном шли. Из Оханска поспешила царским слугам помощь, Фелисата помощь отогнала, а оханского воеводу на берегу повесила. Забрала награбленное и ушла в свои потайные пещеры... Пять годков бушевала Фелисата, ни купцу, ни царскому приставу ходу на Каме не было. Ежели кого начальство либо хозяева обижали, сейчас к ней шли. Она уж разбирала спор по всей правде. Одного князя как-то за обиду крестьянскую высекла розгами, а кунгурского купца — так того вверх ногами повесила. В Сарапуле вершил всем воевода один, ладился поймать ее. Все своим служакам, приказной строке, похвалялся: «Настигну да запру ее в клетку железную!»

Прослышала Фелисата похвальбишку воеводы и сама средь темной ночи наехала к нему: «Ну, запирай, говорит, посмотрю я, как ты с бабой один на один совладаешь».

А у воеводы от страха язык отнялся. Только потому, слышь-ко, она его и помиловала. Раз узнала она, что на Чусовой появился лихой разбойник и себя за ее выдает. А разбойник-злодей этот больно простой народ обижал. Не стерпело ретивое, послала она к нему свою подручную: «Ой, уймись, лих человек, пока сердце мое злобой не зашлось». А подручная-то на беду была, слышь-ко, красавица писаная, пышная да синеокая. Разбойник не

пожалел — обидел девку. Тут и поднялась сама Фелисата, повела за собой бабью вольницу и вызвала его на открытый бой. На Чусовой они и дрались. Два дня крепко бились, вода заалела от крови; на третий день одолела она злодея. Тогда собрала на берегу всех крестьянишек, кому разбойник обиду нанес, велела принести на широкий луг большой чугунный котел, связала поганца и живьем сварила его в том котле. И стали все ее бояться и уважать... И я там, слышь-ко, у ней был, мед пил, по усам текло и в рот перепало!— неожиданно оборвал свою байку старик и улыбнулся глазами.— Чур, меня ко сну клонит, старые кости гудят...

— Стой, погоди!— схватил за руку горщика Ивашка.— Не увиливай, скажи, что стало с Фелисатой-девкой?

— Что, хороша баба?— ухмыльнулся Данилка и огладил бороду.— Людская молва сказывает, под старость покаялась девка, в Беловодье ушла, там монастырь поставила и сама игуменьей стала. Другие гуторят, на Волгу ушла, Кама тесной ей показалась. А кто знает, что с ней? Может, и сейчас жива, такие могутные, слышь-ко, по многу веков живут... Ага!— кивнул старик.— Ишь ты, сверчок заиграл!..

Он улегся, укрылся тряпьем и быстро отошел ко сну, а Ивашка все сидел, думал, на сердце его кипела неуемная ненависть к Демидовым, искала выхода. Огонек мигнул и угас, в подполице заскреблась мышь, а думки, как тучки, бежали одна за другой, тревожили сердце. Полночь. На заводе ударили в чугунное било. Звук, как тяжелый камень, упал во тьму, и от края до края ее побежали круги... За оконным прорубом задернулся синий полог неба. Из темных углов казармы вылезли неясные тени. Горщик отвалился на спину и уснул...

2

Горюн Данилка занемог, старость да каторжная работа сломили крепкую, неподатливую кость. Горщик слег, не вышел на работу. Приказчик Селезень доложил о том Никите Акинфиевичу. Демидов нахмурился, сам наехал в рабочий закуток. Горщиков выстроил в ряд. Хозяин пытливо оглядел их.

— Притащить Данилку!

Два досмотрщика приволокли старика. Горщик опустился перед хозяином на колени.

— Почему на работу не вышел?— грозно спросил Никита.

Старик покорно склонил голову, прошептал запекшимися от жара губами:

— Хворь одолела, хозяин. Из сил выбился, видно остатние отошли... Ох, смертушка...

— Не притворяйся, старый оборотень!— прикрикнул заводчик.— Ката сюда!

Данилка прошептал:

— Бога побойся, хозяин! Хвор я и немощен...— Глаза старика были печальны, вид — скорбный.

Демидов не отозвался. Заложив руки за спину, он не спеша прошелся перед фронтом работных.

— Построить улицей, да по вице каждому!— кивнул Никита Селезню.

Ивашка стиснул зубы, однако вместе с горщиками построился в «улицу». Во двор въехала телега, нагруженная доверху лозняком. Рядом с ней шествовал заводский кат — плечистый варнак с дикими глазами. В недавнюю пору привез его Демидов из отцовской вотчины — Тагила.

«Пусть привыкают к демидовским обычаям,— рассудил Никита Акинфиевич.— Холоп да беглый только боя и страшатся!»

Глядя на ката, молодой горщик весь затрепетал. Рудокоп, сосед по забою, незаметно сжал Ивашке руку, шепнул:

— Ты, парень, не трепещи. Обвыкай! Против силы не супротивься. А будешь идти поперек — ребра поломают!— Он угрюмо поглядел на Ивашку, на его чумазом лице блеснули белки глаз.

— Не буду я бить!— тихо, но решительно отозвался молодой горщик.— Пусть лучше убьют, а псом не буду!

— Ну и убьют. А ты тише!..— предупредил рудокопщик.

Кат схватил Данилку за шиворот и одним махом сорвал ветхую, рваную рубаху; он легко вскинул старика себе на плечи и подошел к хозяину.

Рудокопам дали по лозе. Селезень, вручая вицу, поучал:

— Бей наотмашь от всей силы! Недобитое сам примешь на свою спину.

— Начииай!— нетерпеливо крикнул Никита и захлопал в ладоши:— Раз-два... раз-два...

Медлеиио ступая, кат пошел по живой улице. Угрюмо опустив глаза, горщики друг за дружкой наотмашь опускали вицы иа костлявую спииу старика. Она мгиовенно очертилась белыми рубцами; они бухли, наливались кровью.

Старый Даиилка незлобиво крикиул товарищам:

— Умираю, братки, не выдержу!..

Никто ие отозвался. Безмолвствовал и Грязнов. Только сердце его гулко билось в тишине, словно рвалось иа волю. Чем ближе размереиный шаг ката, тем сильнее стучит сердце.

Рядом послышалось сопение, медлеиный шаг ката оборвался подле Ивашки. Кат злобно гляиул горщику в лицо:

— Ну, что не бьешь? Не задерживай!

— Не буду! Пошто над стариком издеваетесь?— истошно закричал парень и бросил вицу под ноги кату.

Полуобиаженный старик с поникшей головой вдруг ожил и простоиал:

— Бей, Иванушка! Мне все едино, а тебя жаль...

На лбу у молодого горщика выступил пот. Не помия себя, он рваиулся вперед, но тут дюжие приказчики схватили его за руки.

— Пусти, пусти!— кричал Ивашка.— Все равио ие дамся!

Демидов подошел к нему и, не повышая голоса, сказал:

— Не дашься, супостат? Петухом запоешь! Двести всыпать!..

Схваченный, зажатый в сильных руках, горщик задыхался от переполнявшей его злобы к хозяииу. Он рвался из крепких рук; сильный горщик тяиул за собой приказчиков...

Между тем стоиы старика становились все глуше и глуше. Когда кат вернулся тем же медлеиным, степеиым шагом обратно по живой улице, Даиилка лежал иа его спиие — иеподвижный, молчаливый.

Палач положил тело у ног заводчика.

— Никак не выдюжил!— удивился тот.— Отошел, ишь ты!— покрутил головой Никита и перекрестился:— Прости, господи, его тяжкое ослушание... А парня проучить хлеще. Я из него вольный дух вышибу...

Ивашку вскинули на спину ката и повязали руки-ноги. Дюжие приказчики придерживали его.

Не от боли — от жгучей обиды зашлось сердце горщика: свои работные хлещут. Он вспомнил былые Данилкины наказы. «Тут, братик, слышь-ко, за каждую провинность бьют,— поучал старик.— Ежели доведется тебе, распусти тогда тело. Пусть дряблится, как кисель...»

Провели раз по живой улице — Ивашка помнил все. Второй пошли — вокруг заволоклось туманом. В третий — парень обомлел. Бесчувственного, его бросили на истоптанную землю.

— Водой отлить!— скомандовал Демидов.— Этот еще молод, оберечь надо, для шахты надобен...

Приказчики отлили Ивашку, привели в чувство. Никита пригрозил рудокопщикам:

— Вот куда болезнь влечет! У меня чтобы хвори не было!

Горщик Грязнов после боя на третий день поднялся и по приказу Селезня спустился в шахту. К телесной боли прибавилась и душевная. Узнал рудокопщик: замученного Данилку кат сволок за ноги в перелесок и зарыл без домовины, без креста в землю.

— Ровно пса!— сокрушался Ивашка.

В темные ночи тайком он сладил восьмиконечный крест и водрузил его на могиле друга. Горщик поклонился праху Данилки и затаил еще пущую злобу на хозяина.

3

Однажды к Ивашке в забои перевели рослого парня.

— Робь, да сторожко!— предупредил его он.

Парень молча бил породу. Ни слов, ни песен у обоих не находилось. Так прошла неделя, горщик стал привыкать к молчаливому парню... И тут стряслась напасть: тюкнул сосед в породу — под кайлой зашумело, оторвалась грузная глыба и осела рядом с горщиком, чуть не придавила его. Обозленный Ивашка поднялся, крепко зажал в руке кайлу, подполз к неосторожному рудокопу.

— Ты что ж, удумал захоронить меня тут?— В его голосе кипело раздражение. Он подобрался к рудной осыпи. Из-за нее высунулась лохматая голова, на густо вымазанном землей лице блеснули большие глаза.

— Ахти, грех какой!— тонко выкрикнул парень.

— Эй, берегись, ожгу!— сердито закричал Ивашка и сгреб парня за грудь. Кровь ударила в лицо горщика. «Девка!— ахнул рудокоп и присел на глыбу.— Как же так?» Он во все глаза с изумлением глядел на молодку. Как только он не заметил раньше! Лицо у молодки круглое, волосы светлые, перемазанные рудой, плечи широкие. Крупна и красива девка.

— Да как ты тут появилась? Уж не оборотень ли?— нахмурился горщик.

— Ну что я теперь делать буду? Куда укроюсь?— загорюнилась девка, и по ее щекам покатились крупные слезы.

Ивашка присел рядом с ней, заглянул в ее большие глаза, угадал тревогу. Сердце его отошло. Он положил ей на плечо руку и задушевно сказал:

— Ты, девка, не бойся! Поведай, кто ты? Уж не Фелисата ли?

Рудокоп впился взором в сероглазую и вдруг поверил в сказку: «Уж не про нее ли сказывал старый горщик Данилка?»

— Нет, не Фелисата. Аниска я!

— Так!— тяжко вздохнул горщик, но волнение не покидало его.— Что за горе-беда загнали тебя под землю, в темь кромешную?

— Ох, не спрашивай про мое горюшко!— Девка притихла, утерла слезы.— Известно, бабья доля! Сирота я, а дядья житья не давали, понуждали замуж за старого. Порешила я лучше живой в могилу, чем со слюнявым век вековать!

Как червоточинка, в сердце Ивашки просочилась внезапная ревность.

— Аль дружка заимела?— волнуясь, спросил он.

— Ой, что ты! Никого в целом свете!— с жаром отозвалась она и придвинулась ближе.— Христом молю тебя, не губи меня! Никто тут не догадывается, кто я!

— Не бойсь!— уверенно сказал Ивашка.— В обиду не дам и про все смолчу.

Огонек погас, и они долго сидели во мраке, вспоминая зеленый лес, поля и вольную жизнь.

С этой поры у них началась тайная дружба, работали они в забое вдвоем спорко. Нередко после работы они вылезали на-гора́ и ложились на камни, любуясь лесами, понизью, среди которой прихотливо вилась Кыштымка. От дневного жара камень был еще теплый,

и воздух ласкал лицо. За дальними озерами в тайгу погружалось солнце, небо пылало пожаром. Устремив взор в безбрежную даль, они жадно дышали и не могли надышаться живительным запахом полевых трав и цветов. Никто не мог бы и помыслить, как жарко бились их сердца.

По-иному теперь смотрела в проруб окна темно-синяя ночь. Знакомая яркая звездочка в обычный час проплывала мимо, струилась голубым светом, проникала до самого дна человеческой души. И лес стал иным, дышал ароматом в окно.

Через каждые полчаса у заводских ворот караульщик отбивал время в чугунную доску, и теперь Ивашка ждал с нетерпением часа, чтобы побыть вместе с Аниской.

Над землей пролетел знойный июль, среди хмурого леса на елани пышным ковром цвели мятлик, медуника, багульник, звери хлопотливо бродили с выводками. Над долинами струился золотистый свет. Все радовалось жизни; радость, скупая и робкая, проникала даже под землю. Аниска часто вздыхала и задумывалась.

Кайла глубже врезалась в землю, а капели звучали чаще, обильнее. Тяжелые пласты сочились спорким дождем. Под ногами хлюпала стылая вода. Горщики копали отводы, но вода не спадала. Она накапливалась в глубоких выбоинах, журчала по стенам шахты, часто низвергалась потоком из невидимой щели.

Аниска в тревоге говорила горщику:

— А как да хлынет в шахту, сгибнем тогда?

— Я тож чую, что идет беда!— согласился Ивашка и, припав плечом к девке, зашептал жарко:— Быть потопу, но нам это на пользу надо оборотить. Как хлынет, суматоха будет, тогда мы и уйдем в горы, слышь-ко, Аниска...

— Милый ты мой!— жарко прошептала она, и, сами того не ожидая, оба крепко обнялись.

Когда оторвался Ивашка от радостной ласки, улыбнулся:

— Их, зелено! Даже в могилке, слышь-ко, любить можно крепко.

Аниска укрыла лицо рукавом, только большие чистые глаза горели, как огоньки...

4

В один из дней невидимые коварные воды промыли ход и с шумом устремились в шахту. Злобясь на тесноту и темь, воды яростно кидались на стены и развороченные пласты, швыряли на пути людей, губили их, заливая и перерезая дорогу к спасению.

Страшные крики огласили земные недра:

— Братцы, ратуйте! Погибаем!..

Теряя рассудок, рудокопщики мчались по темным норам, а буйная кипень настигала их. Схватившись за руки, Ивашка и Аниска устремились к выходу. Они первыми выбрались из проклятой топи. К шахтам бежали встревоженные люди, выли бабы.

Горщик с подругой укрылись за камнями, проползли в кусты и там просидели дотемна. Над заводом беспрерывно били в колокол, суетились люди. Из шахты выбрались отдельные горщики, многие тут же пали на землю. В ушах Аниски все еще стоял зловещий шум воды, полные предсмертной тоски крики людей. Она прижалась к любимому:

— Ой, как страшно, Иванушка!

Он бережно обнял ее:

— Страшно, а думать о том некогда. Надо выбиться нам в горы, Аниска. Люди подумают — утопли, и сыска не будет...

— С тобой хоть на край света!

С гор шли вечерние тучи, угасал закат, и над землей сгустились серые тени. Близилась ночь. За плотиной, за черными рощами вспыхнул огонек в хоромах Демидова.

Когда тьма окутала горы, завод, поселок, Ивашка встал, потянулся и сказал девке:

— Ты поджидай, я скоро вернусь!

Аниска осталась одна; каждый хруст ветки, внезапный шорох тревожили ее. От озер плыла прохлада. Лось — семизвездье — золотыми копытцами взбирался в синеву неба. Может, и часа не прошло,— в густой тьме в Кыштыме вспыхнуло и зацвело жаркими цветами пламя.

«Пожар!»— испуганно подумала Аниска, и страх охватил ее.

Во мраке зловеще поплыли тяжелые удары набата. По тому, в какой стороне прыгали и бесновались остренькие красные язычки пламени, Аниска догадалась — горят демидовские хоромы.

«Что с ним? Не приключилось бы напасти!»— с тревогой подумала она об Иванушке.

На каменистой тропе, бегущей от завода, послышался невнятный конский топот. Он нарастал с каждым мгновением. Всадник скакал в горы, близко зацокали подковы.

«Гонец мчит с завода!»— догадалась Аниска и припала за куст.

Стук копыт оборвался рядом, всадник свистнул, и по кустам прошелестел еле слышный зов:

— Аниска!..

Она выбралась на тропу, горщик подхватил ее и усадил позади. Девка прижалась к широкой его спине, обняла его крепче и затихла.

Заглушая топот, в лесу шумел ветер. Крепким смолистым духом дышала тайга. Вверху среди звезд по темно-синему небу катился золотой месяц. А внизу, на глухой тропке, в неизвестность уходили беглецы...

Днем среди скал, где в тишине зеленых мхов бормотал падун-ручей, они сделали привал.

Солнце кружило над лесом, звенела мошкара. Надо было угадать, куда держать путь.

Они были голодны, но полны счастья.

— Ушли от демидовской каторги. Утроба пусть немного потоскует, зато воля!..— радовался Ивашка.

Не знал, не гадал он, что за ними следят зоркие глаза. Где-то вдали несколько раз болезненно-скорбным криком прокричал кулик, над мхами с глухим шумом пронеслась утиная стайка...

Среди леса внезапно раздался пронзительный свист, загикали десятки могучих глоток. От конского топота задрожала земля, проснулся тихий лес... На Ивашку кинулись скуластые молодцы и стали вязать руки.

«Башкирцы!»— ожгла догадка беглого.

Рядом, под развесистой сосной, остервенело, как волчица, отбивалась Аниска. Скуластый богатырь старался схватить ее. «Эх, разбойники!»— закипела у беглого кровь. Завидя подругу в беде, он рванулся и раскидал нападавших.

— Мухамет! Мухамет!— закричали башкиры.

Ивашка ударом кулака свалил косоглазого крепыша, проворно подобрал выпавшую из его рук кривую сабельку. Злые разгоряченные лица окружали его, градом сыпались удары, но, припав спиной к лесине, горщик кру-

шил врагов. Оставив Аниску, удальцы кинулись на Ивашку.

— Беги! На коня!— закричал он ей, но в этот миг меткий удар сабельки обрушился на его голову.

— Эх!..— успел только промолвить горщик, и земля закружилась под ним. В голове беглого зашумело, невыносимая боль сдавила темя и отозвалась во всем теле. Он сделал два шага к своему противнику, но почувствовал, что силы оставляют его. Теплая струя крови застлала глаза. Он упал.

И не слышал Ивашка, как башкиры сволокли его под большой выворотень и бросили на сырую обнаженную землю. В разорванной рубахе, с медным староверческим крестом на орошенной кровью груди, лежал горщик, раскинув руки...

5

Когда Ивашка очнулся и пришел в себя, он увидел, что лежит на куче хвороста. Страшная боль терзала тело.

Вспомнив все, беглец застонал. Под ветром шумел лес, в просветы виднелось синее небо. Изнывая от боли, со стоном парень приполз к ручью и припал лицом к студеной воде.

Кругом безмолвие. Только неизвестно откуда залетевший ворон-ведун сидел на сухом суку и зловеще каркал.

«Сбегла или башкиры пленили?»— подумал горщик про Аниску и опять потерял сознание.

На ранней заре беглый открыл глаза. Он лежал на пригорке; кругом неторопливо, заливая кусты и кочки, расползались холодные пряди тумана. Вершины сосен, озолоченные восходом, раскачивались над этими зыбкими белесыми волнами. И вдруг, словно из пучины, показалась страшная взлохмаченная голова. Седые растрепанные космы ее сливались с туманом, серое морщинистое лицо, запавший рот. Горщик задрожал. «Нечистое место!»— со страхом подумал он и мысленно стал ограждать себя молитвой.

С дальних гор сорвался холодный ветер, взволновал туман и погнал прочь.

Страшный призрак вновь окунулся с головой в белесую муть. Ивашка облегченно вздохнул: «Слава тебе господи, отогнал!»

Но в эту самую минуту из уходящего тумана выбрела маленькая сгорбленная старушонка с подслеповатыми глазами. Она шла, опираясь на клюшку, бормоча что-то под нос.

«Ведьма!»— решил Ивашка. Откуда только и сила взялась! Крестясь и отползая прочь, он закричал:

— Уйди! Уйди!..

Старуха вздрогнула, огляделась и заметила беглого. Нисколько не страшась его, она подошла к пригорку. Подол ее платья был подоткнут, а в нем виднелись травы. Ноги старухи были босы. Она степенно оправила волосы, засунув их под платок.

— Кто ты?— спросила старуха горщика и, нагнувшись, оглядела его.— Ай-ай, горюшко какое!..

На горщика глядели добрые старушечьи глаза. Он притих, прошептал чуть слышно:

— Беглый я, демидовский. Отхожу тут... Аль по мою душу пришла?— опять охватило его сомнение.

Старуха внимательно осмотрела раненую голову Ивашки.

— Не бойся, милый! Не тужи!.. Оленка я, христианская душа. Кабы не пришла, сгиб бы ты, а теперь жить будешь...

Непрестанно бормоча, она просеменила к ручью, принесла воды, омыла раны.

— Ты не вертись, собирайся с силушкой! Тут балаганчик есть, косцы откосились, сена много. Доберешься?

— Нет, не добраться мне, баушка,— поник головой Ивашка.

— А ты потужись! Надо добраться, там и укроешься, а я тебе травками, травками всю хворь облегчу...

Речь ее звучала усыпляюще-размеренно, как глухое бормотание падун-ручья.

Она схватила его под мышки и поволокла. Беглый, облегчая ей усилия, цеплялся руками, двигал ногами и полз вперед...

В шалаше среди сухой елани было тепло, приятно. Беглый зарылся в сено. Старуха подала ему горбушку хлеба. Он жадно съел и запил водой.

— А теперь, сынок, спи, набирайся сил. Я приду!— говорила старуха.

Олена сдержала свое слово: пришла и на другой и на третий день. Она принесла навар из лесных трав,

омыла рану, перевязала чистой тряпицей и накормила беглого.

— Терпи, милый, не сдавайся. Выбирайся из хвори! — бормотала она и творила молитву.

Боли утихли, взор горщика стал ясен, разумен...

Старехонька Олена, а лесными травами выходила беглого. В скором времени он поднялся. Бродил по лесу травленым зверем, неслышно, крадучись. Однажды набрел на глубокое голубое озеро. У тихих вод встали изумрудные сосны с медными корнями, раскиданными по теплому песку. Сосны глядели в озеро, а там в глуби отражались другие, опрокинутые. И так сладостно-тихо было созерцать эту тишину. Долгие часы горщик сидел над озером, поджидая Аниску.

Но девка не шла; как звезда, мелькнула в жизни и упала далеко.

Ночью над заброшенным балаганом катился месяц, струясь зеленоватым светом, а на елань выбрался волк; сев на задние лапы, он поднял кверху острую морду и протяжно-тоскливо завыл на луну...

«Уходить надо!» — решил Ивашка. На другой день горщик поклонился бабке Олене, обнял ее, как мать. У старой потекли слезы. Утирая их, она присоветовала:

— Беги на восход, все по ручью, выйдешь на речку, иди по ней день-два, увидишь ты горы, дремучий лес. Тут и быть пустыньке, скитам. Там нашей древлей веры людишки и укроют тебя...

Он взял от Олены узелок и ушел в тайгу. Темный ельник скрыл его, а старуха все стояла и глядела добрыми глазами в ту сторону, где исчез беглый...

Глава восьмая

1

Стоял жаркий летний день: по синему небу лениво плыли пухлые облака, от безветрия по земле стлался густой растопленный воздух, духота томила живую тварь. Псы у демидовских хором лежали, вывалив из пасти горячие языки, и часто дышали. Истомленный жарой пестрый петух безотрывно пил из колоды нагретую воду, куры копались в песке. Только одни счастливые утки, блаженствуя, крякали на прудовом просторе. Никита Никитич Демидов по обычаю отдыхал в кресле-

возиле. Охломои отвез хозяина в полутемиый прохладиый кабиирт и удалился в людскую.

Глубокий покой безраздельио овладевал людьми. В камеииых хоромах стояла прохлада, и от нее сои был еще крепче и сладостиее. Только одии Иваи Перфильевич Мосолов, старший демидовский приказчик, мужествеиио воздерживался от послеобедеиного сиа. С той поры, когда Акинфий Никитич отошел в вечность, помрачиел старый туляк. Задумчивый ходил ои в эти часы по заводу, амбарам и дворам, зорко доглядывая за всеми.

«По хозяииу тоскует, пес!»— с иеиавистью втихомолку шушукались о нем рабочие.

— Вериый раб!— хвалил Мосолова Никита Никитич и ставил его в пример:— Так должеи жить человек, оберегая покой и добро своего радетеля!

Жалея доброго слугу, Демидов-дядя говорил приказчику:

— Пошто слоияешься? Сосни часок. Годы твои, поди, гиетут тело.

— Гиетут,— признался Мосолов.— Но хотя и стар стал, чрева мои огрузли, а от покоя и вовсе заплывут салом. А я не хочу умирать. Сухощавый долее живет.

— Это верно!— подтверждал паралитик.— Я хотя и хворый, но долго протяиу. Жилист!

— Еще иемало годков протяиешь, хозяии,— льстил старику приказчик.— Демидовская кость крепкая. Жилист ты, Никита Никитич, верио. Вот оио что!

Старику нравилась похвала приказчика, он становился доступиее и, вопреки принятому обычаю, ие злился, если Мосолов после обеда на мииутку-другую заходил в полутемный хозяйский кабинет.

Никто не знал истиииых дум, подлиииой кручины старого приказчика. Не догадывался и паралитик, почему так тяиуло к иему Мосолова в иеурочиое время. Но и сам демидовский подручный в бессоииые тревожиые иочи боялся призиаться себе в своих помыслах, лукавил даже перед собой. С той поры, как он увидел сверкающие огоньки в бархатиой тьме тайничка, Мосолов потерял покой и сон. «Жадеи человек, ой, как жадеи!— укорял он себя.— И куда оио, это проклятое богатство, если уже пошел восьмой десяток? И как буду ответ держать перед лицом господа, который в иедолге позовет отсель в царствие иебесиое?»

Однако напрасно лукавил перед собой Иван Перфильевич. Понимал он, что все это отговорки. Причина была в том, что недоступен тайник. Слишком чуток сон паралитика, спит он и настороженным ухом слышит малейший шорох, улавливает чужое дыхание. А ключи носит на цепочке вместе с нагрудным крестом. Крепко сторожит свое богатство кощей бессмертный, куда как крепко!..

Только занесет ногу приказчик через порог кабинета, а Никита Никитич мгновенно открывает совиные глаза и подозрительно смотрит на него.

— Не спишь, Перфильевич?— полусонно спросит он.

— Не спится, хозяин,— тихо откликнется Мосолов.

«А если задушить его в сей час, кто дознается?»— шептал лукавый старому. «Подумай, старче,— убеждал он себя,— вот ты понапрасну пять годков прождал, а смерть не идет к нему; глядишь, тем временем тайничок опростают другие».

У Мосолова дрожали руки. А лукавый все шептал: «Чей Невьянск? Прокофия Акинфиевича. Умрет дядя, только ему и доступ к тайничку. И никому боле! Этот обчистит...»

Сегодня, когда все уснули сладким сном, Мосолов переступил порог хозяйского кабинета. Гнетущая тишина наполняла его; казалось, она сочится с тяжелых каменных сводов. Мосолов удивился молчанию, поднял голову. На него глядели широко раскрытые остекленевшие глаза хозяина.

Никита Никитич сидел в кресле тихо, неподвижно.

— Не спишь, хозяин?— еле сдерживая себя от радостной догадки, хрипло спросил Мосолов.

Демидов не откликнулся. Приказчик опасливо оглянулся, собрался с духом и тихонько подошел к креслу-возилу. Паралитик не моргнул глазом.

— Батюшка!— Мосолов схватил руку Демидова.

Рука была ледяной, твердой. Опущенная, она со стуком упала на поручень кресла.

— Отошел!— задрожал всем телом Иван Перфильевич и разом ожил:— Во имя отца, и сына, и святого духа! Отошел, отцы...

Он толкнул хозяина в грудь, покойный качнул головой и вновь замер отупевшим болваном.

— Вправду отошел!— Радость волной захлестнула Мосолова, он еще раз оглянулся на дверь и проворно

запустил руку за ворот покойника. Ловким движением вытащил цепочку с ключиком. Чуть слышно звякнуло, но Мосолову показалось — зазвонили колокола. Он прикусил губы, застыл в ожидании. Но никто не вошел, никто не прошумел. Из коридора доносился далекий богатырский храп.

«Слава тебе господи, сон-то у дворовых крепок!» — успокоился приказчик, подошел к двери и закрыл ее на засов. Быстро и проворно он отодвинул портрет Никиты Демидова-отца. Пронзительные цыганские глаза грозно глядели на приказчика.

— Грозишь, скаред! — Мосолов отступил в сторону, стараясь уйти от взора владыки. Ему было страшновато: казалось, Демидов готовится выпрыгнуть из рамы; вот очнется он да и съездит Мосолова костылем по голове. И тогда по хоромам раскатится его зык: «Люди, сюда! Хватай вора!..»

Приказчик кинулся к тайничку, отпер его. Словно волшебством он выпустил из ночной тьмы чудесную жар-птицу: искрометным огнем засверкали перед ним драгоценные камни. Кроваво пылали рубины, зеленым морем переливались изумруды, благородные самоцветы...

— Мать моя! — задохнулся от жадности Мосолов и дрожащими руками стал торопливо сгребать богатство...

Он тщательно, по-хозяйски, обшарил тайничок и, не найдя ничего больше, закрыл его и подвинул портрет на старое место.

Покойник сидел с выпученными глазами. Он больше не пугал Мосолова. Ощущая богатство, свою ловкость и проворство, приказчик на этот раз смело подошел к паралитику, накинул ему на шею цепочку с ключиком и опустил ее за воротник.

— Ну, теперь стереги! — осмелев, прошептал он и направился к двери...

В эту минуту позади него прогудел хрипатый голос:

— Стой, ворюга!

Мосолов обмер, по спине побежал резкий холодок. Перед ним стоял потемневший Охломон. Мужик занес руки над приказчиком.

— Или даешь толику, или сейчас скличу людей! — Он протянул цепкие корявые пальцы к шапке, наполненной самоцветами.

Мосолов хотел отбить руку, но, взглянув в лицо Охломона, понял все и покорился.

— Возьми, только оставь и мне долю...

Охломон сгреб горсть драгоценных камней и, завернув тряпицей, упрятал в карман. Заметя в шапке крупный самоцвет, пылавший заревом, он цапнул его, и не успел Мосолов перехватить самоцвет, как Охломон раскрыл рот и проглотил камень.

— Ништо, и это не уйдет!— скривив лицо, пошутковал он и отступил к порогу.— Ну, а теперь беги. Пора!— Он открыл дверь и вытолкал Мосолова в коридор.

Когда стряпуха истошно закричала на все хоромы: «Ратуйте, смертушка!» — Охломон лежал на своем обычном месте и спал крепким сном. Его растолкали, так как боялись без мужика войти к остывшему барину.

— Господи-спасе!— перекрестился Охломон.— Никак и впрямь хозяин отошел?..

Комната наполнилась холопами, хожалками, стряпухами. Паралитик сидел холодный, тихий. Кругом все было нерушимо, тихо, и старый владетель хором Никита Антуфьевич по-прежнему поглядывал из рамы и буравил людей колючими глазами.

— Куда же я теперь без моего господина?— упал перед креслом Охломон и предался неутешному отчаянию.

Из-за плеч дворовых выглядывало круглое потное лицо Мосолова. Старый приказчик на этот раз не совался вперед. Разглядывая Охломона, он хмурился. «Неповоротлив, лешак, а каких дел наделал! Ну и хитер, домовой...» Ему вдруг стало ясно, почему нежданно-негаданно отошел Никита Никитич Демидов. Мосолов склонил голову и с опаской подумал: «Ну и народец мы тут наплодили, не приведи бог!»

2

После смерти Никиты Никитича в Невьянске ничего не изменилось. Племянники скромно похоронили дядю на заводском кладбище, на могиле его воздвигнули громоздкий каменный монумент,— на том и кончилось. Владелец Невьянска Прокофий примчался на Каменный Пояс, уже когда дядя мирно почивал на погосте. Хозяин обошел завод, свои обширные покои, вздохнул:

— Ну, кто теперь будет пребывать в этих светлицах? Уж не ты ли, дедушка?— Он повернулся к портре-

ту Никиты-деда и, к удивлению сопровождавших его, вдруг сунул вперед кукиш:— Накось, выкуси!..

Вихляясь, он прошел в стряпную, там шлепнул вальяжную бабу-повариху Феклу и закричал на все хоромы:

— Попов сюда! Окропить мой дом от всякой скверны!

— Что ты, батюшка?— зарумянилась баба и степенно поклонилась.— Нешто так можно обходиться с мужней бабой!

— Молчи, кобылица!— пригрозил Прокофий.— В упряжку хочешь?

— Ахти, господи!— обомлела стряпуха.

Не давая женщине опомниться, он схватил ее за жирный подбородок и рявкнул:

— Разевай пасть!

Стряпуха покорно ощерилась.

— Добра еще кобылица — остры зубы!— похвалил Демидов.— А где твой мужик?

— Тут, батюшка Прокофий Акинфиевич,— откликнулся из угла худобородый мужичонка в зипунишке.

— Экая слякоть и такую бабу себе спроворил!— ухмыльнулся Прокофий.— Ну, рядись с бабой в сбрую! Желаю в такой упряжке на погост ехать!

— Батюшка!— ахнула стряпуха и обронила на таганок ковш с водой.

— Рядись конями! Жалую за то каждому по ста рублев!

— Велики деньги!— вскричала женка.— Но и за богатство позориться не стану!

— Как, ты, мужицкая жила, барина своего не хочешь потешить?— побагровел Демидов и заорал:— Засеку!

— Батюшка ты наш, да за что сечь надумал! Пощади!— бросилась в ноги стряпуха.

— Не трону! Впрягайся в кибитку. Ну, живей, живей, саврасы!— заторопил их хозяин.

Худобородый мужичонка вспыхнул, стал ершистым.

— Я тебе, барин, не жеребец, а моя женка не кобылица!— гневно выкрикнул он, и глаза его потемнели.

— О, о!— захрипел в изумлении Демидов. Выпученными глазами он удивленно разглядывал крепостного.

— Ты что сказал, леший!— приходя в себя, зашипел Прокофий и темной тучей надвинулся на мужичонку. Мастерко не испугался, не отвел гневных глаз.

— Не трожь нашей чести, хозяин!— закричал он.— Мы хоть бедные и подневольные, а русские люди, и не след тебе нас позорить!— с гордостью закончил он.

— Ты что мелешь, сатана?— взбесился Демидов.— О какой чести речь идет? Да разве есть честь у холопа?

— Есть!— твердо ответил мастерко.— Ее и за деньги не купишь! Не трожь, отойди, а не то не ручаюсь за себя!— пригрозил он, и глаза его забегали в поисках дубинки.

«Чего доброго, очумелый схватит топор да по башке!»— струсил Прокофий.

Стоя на пороге, он пригрозил:

— Погоди, я тебе честь выпишу на мягком месте! Эй, кто там? Слуги!

Толпой набежали дворовые. Указывая им на мужичонку, Демидов закричал:

— На конюшню поганого да закатить ему двести плетей по чести!

Глаза его злобно сверкнули. Стряпуха в этот миг вцепилась в своего мужа.

— Не дам бить! Не дам истязать! Он у меня золотой человек!— заголосила она.

— Ты брось, баба!— прикрикнул на нее Прокофий.— А то и тебя отстегаю за милую душу! Прочь ее!

Холопы, вывернув мастерку руки назад, повели его на конюшню, а следом за ними устремился и Демидов.

Только растянули ершистого мужичонку на колоде и замахнулись плетями, как в распахнутые ворота нежданно торопливо вошел священник — высокий костистый детина в долгополой мятой рясе.

— Стой, что вы делаете, господин!— бросился он к заводчику.— Да это самый лучший колесник на Камне!

— Бей в чертово колесо!— не слушая попа, закричал Демидов.

Но священник не отступил. Он загородил собою мужичонку и сказал с жаром:

— На тысячи верст кругом на его колесах и руду и уголь возят! Золотые руки, поберечь надо!

Вдруг глаза Прокофия стали шалыми. Вихляясь, он приблизился к попику и с ядовитой улыбкой предложил:

— Заступа? А коли так, сам ложись за него!

Плюясь и ругаясь, хозяин трижды обошел вокруг обескураженного священнослужителя и снова предложил:

— Ну, что раздумываешь? Скидавай портки и ложись!

— Ваша милость, вы предлагаете несуразное!— поклонился хозяину священник.— Увольте труженика от наказания. Сами потом не пожалеете!

— А, не можешь за него плети принять?— вскрикнул Прокофий.— А сто рублей хочешь в кису?

— Ваша милость, поберегите достояние ваше для неимущих!

— Триста хочешь?— перебил Демидов.

— Напрасно испытуете, сударь,— снова поклонился священник.— А сего отменного умельца отпустите! Умен, золотые руки, не скот он!

— Пятьсот, батя! Крайняя цена. Ложись за него! Эгей!..

Священник вспыхнул, невольно сжал кулаки. Мужики понимали, кипит попик. Но и пятьсот рублей — неслыханные деньги! Холопы закричали иерею:

— Батюшка, за пятьсот можно стерпеть! Выдюжаете!

Оскорбленный иерей овладел собой, тряхнул головой.

— Что за словеса непотребные!— воскликнул он.— На меня сан возложен, честью человека не торгую, хоть сир и убог я.— Он решительно подошел к Прокофию:— И вас, сударь, покорно прошу не смущать малых сих.— Он протянул сильную, но дрожащую от волнения руку и хотел отвести заводчика в сторону. Такая неожиданная настойчивость попика привела хозяина в ярость. Он проворно выхватил у конюха плеть и стал хлестать священника.

— Не учи меня, кутейник! Не суйся, попович!— приговаривал Демидов.

Холопы застыли в страхе. Боязнь перед хозяином парализовала их. Прокофий, забыв о мастерке, отхлестал попа плетью и довольный вернулся в хоромы. Утолив голод и отдохнув после обеда, он долго бродил по кабинету. Сумерки крались в окна. Прокофий вздохнул.

«До чего настойчив он!»— с огорчением вспомнил о священнике и велел позвать его.

За окиом потухала заря, ее красые отблески меркли иа каменных стенах мрачного кабннета. Прокофий одиноко сидел в глубоком кресле, когда приглашеиный переступил порог н смущенно остаиовнлся у двери.

— Проходи, батюшка,— ласково прнгласил его Демидов.

— Благодарствую,— мягким голосом отозвался священник и поклонился хозяину.

Заводчнк заставнл гостя сесть в кресло. Своим пристальным взглядом ои прнвел его в большое смущенне. Накоиец Демидов прервал молчаиие и спросил иерея:

— Это вас, батюшка, мой покойиый дядя Нннкта Ннкитич заставил повеичать мертвяка с девкой?

Священиик печально склоиил голову, глухо отозвался:

— Что вы, благодетель иаш! Нннколи того не было... Одни поклепы иа моего предшествеииика. Стар и убог ои был, вот и обнжали его...

Демндов снова замолчал; тнхо барабаннл длиниымн пальцамн о поручнн кресла. Иерей терпеливо выжндал. Лицо его было скорбио. Священнннк иезаметно, ио тщательио подобрал под рясу истоптаииые, рваные сапоги. Во всей одежде молодого сельского попнка проглядывала иескрываемая бедиость. Прокофнй удивленно разглядывал иерея, думал: «Экнй человек, сам иищ, а горд!»

Ои подиял голову и в упор спросил гостя:

— Плохо живете, батюшка? Сколько ребяток имеете?

— Ничего жнву,— сдержанно ответнл священиик.— Бывает и того хуже. Вдовый я, детьмн господь не благословнл.

— Отчего ж бедно живешь? — ие отступал Демндов.— За требы с иародишка ведь получаешь?

— Народишко иищ, что с иего взять? Грех однн!— все тем же сдержаниым тоиом ответил иерей.

Прокофий встал, прошелся по гориице. Став против священиика, ои снова заговорнл мягко н тнхо:

— Перед вамн я согрешил, батюшка: обидел иыне вас.

— Бог простит, а я уж о том забыл.

«Экнй покориый!— морщась, подумал Демидов.— Не к добру сие покорство».

Повысив голос, заводчик сказал иерею:

— А все же я виновен перед вами, батюшка, в своем необузданстве, а посему плачусь обещанным. Вот возьмите! Тут все полтысячи.

Демидов протянул священнику пачку ассигнаций.

— Это за что же? Сохрани господь взять сие!— испуганно отстранил руку с деньгами попик.— Дозвольте, ваша милость, узнать, за какие прегрешения изволите так поступать со мною?

Прокофий беспричинно рассердился:

— Уходи, поп! Не могу видеть тебя. Не могу! Бери, сколь хошь, но покинь мой завод.

Иерей пожал плечами:

— Куда же я пойду?

— Куда хочешь, только покинь нас!

Видя, что разговор с Демидовым покончен, попик поклонился и ушел...

В полдень, когда палил зной, Прокофий видел, как из церковного домишки вышел молодой иерей и зашагал вдоль проезжей дороги. На нем была надета та же старенькая холщовая ряса, шел он босой, перекинув через плечо палку с подвешенными на ней худыми сапожонками.

Священник несколько раз оглядывался на церковь и каждый раз осенял себя крестным знамением. У ворот заводских домишек стояли работные женки и молча утирали слезы.

Демидов велел холопу нагнать попа и повелеть ему забрать с собой все имущество, для чего предложил коня и телегу. Однако вспотевший от быстрого бега посланец вскоре вернулся и поведал хозяину:

— Сказывает отец Савва, все имущество при нем. Из живности был один кот, так и того пожаловал вдове. А куда он ушел, так и не дознался. Сказал поп: «Иду куда очи глядят».

Демидов отвернулся от холопа и побрел в хоромы. На душе стало спокойно. Утихомиренный хозяин подумал: «Может, то моя совесть была! Свидимся ли вновь с тобой, неспокойный поп?»

3

Иван Перфильевич Мосолов, главный приказчик на Невьянском заводе, предстал с просьбой перед Прокофием Акинфиевичем:

— Отпусти ты меня, батюшка, иа покой. Одряхлел ноне. Стар стал, и ие доходят мои руки до больших дел.

Своим тихим, вкрадчивым голосом и подобострастием старик внушал подозрение. Демидов недоверчиво оглядел кряжистую, еще крепкую фигуру приказчика, его седую, ио густую бороду. Круглое загорелое лицо Мосолова выглядело молодо. «Дуб на юру!»— мысленно определил заводчик и усмехнулся.

— Это ты стар? Да ты еще молодых в пот вгоиишь!

— Что ты, хозяин, хворости меия совсем одолели! Пора и о душе подумать.— Приказчик иапустил иа себя скорбь.

— Ты вот что, чахоточный,— испытующе уставился в него Прокофий,— ты передо миой не лукавь, скажи по чистоте, где задумал строить свой заводишко?

— Отец родиой, да разве ж я смею об этом думать? Да где мои капиталы?— юлил Мосолов, прикидываясь простачком.

Хозяин иасмешливо смотрел ему в лицо; в глазах Демидова играли шальные огоньки.

— Ты брось из себя мощи строить. Зиаю такого бобра!— засмеялся заводчик.

Приказчик замолчал, перемииался с иоги иа иогу, желчь разливалась в ием, так и подмывало схватиться с Прокофием. «Мал волчок, а зубы точит. Я ли себе ие хозяин?»— с досадой думал он.

Демидов ие унимался.

— Хорошо, я отпущу тебя с миром, только ответствуй мне по совести,— глаза хозяииа пытливо прищурились,— сколько иахапал у батюшки? Мильеи будет?

— Господи Иисусе!— взвыл Мосолов и перекрестился.— Честеи я, всю жизнь был таков. И когда ты, батюшка, бросишь худые шутки шутковать?

— Я ие шучу!— серьезио отозвался заводчик.— Я твою хватку зиаю. Все мы одним миром мазаиы. Что глаза разбежались? Ходить подле воды да ие замочиться!

Старый приказчик сейчас иапомииал матерого волка: хитрил, ио прикидывался овцой. Но и Демидов ие спускал с него глаз, насквозь видел все; длинные пальцы Прокофия Акинфиевича сплетались и расплетались. Мосолов схватился за воротник рубахи, рваиул его,— ему стало душно; иа рыхлом лице выступил пот.

— Ну, хозяин, довел-таки!— прохрипел ои.

— Ты думаешь, твоя душа потемки? А я ее, как торбу с овсом, наизнанку выверну!— ухмылялся Демидов.— Скажи, где место облюбовал для заводишка?

— Удалюсь в скит, в пустыньку!— на своем стоял Мосолов. Он собрался с духом, крепче замкнулся в себе, решил измором взять Демидова. Как ни прощупывал его хозяин, приказчик на все находил ответ. Так они долго терзали друг друга. Прокофий не смог сломить старого туляка.

— Черт с тобой, уходи, раз надумал покинуть нас!— сдался наконец Демидов.— Иди, неблагодарный! Разве тебе худо тут было?

— Так у меня детки есть, сударь. Надо мне и о них подумать,— более искренним тоном признался Мосолов.

— Кого же после тебя оставить тут за старшого?— покоряясь, спросил совета Прокофий.

— Серебрякова вместо меня ставь,— твердо сказал Мосолов.

— Да в уме ли ты! Ведь это стоялый конь, и мозгов у него ни-ни.

— Серебрякова!— решительно повторил приказчик.— Под стать он тут! Ума у него палата. С виду простоват, а хитрости неимоверной мужик. Цепок! Ставь его, батюшка!

Иван Перфильевич вновь обрел силу и, глядя в глаза хозяину, уверенно сказал:

— За все благодеяния, которые я видел от деда твоего и батюшки, совет даю — Серебрякова.

— Ин ладно, быть по-твоему!— согласился Демидов.— А теперь жалуй со мной чару испить. Знаю, что затеял ты, старый ворон. Ну да ладно, будем жить по-соседски!

— Истинно так!— согласился Мосолов и совсем повеселел.

4

В феврале 1754 года по санному пути наехал Иван Перфильевич Мосолов в Сыгранскую волость Башкирии. Поразился он приволью, богатому месту, своей удаче. Перед ним простирался гористый край с неисчерпаемыми залежами руд. Текли тут многоводные пустынные реки, в кондовых лесах как океан гудели смолистые со-

сны, озера изобиловали рыбой. Кочевали среди Уреньгинских гор редкие кибитки башкир-вотчинников.

Иван Мосолов, который изрядно понаторел в демидовских плутнях, по примеру своих хозяев обладил дело приступом: одарил тархана бусами, гребнями, топорами, подпоил башкирцев и заключил с ними купчую на плодородные земли. По этой купчей отмерили туляку огромные пространства с лесными угодьями, с покосами, с реками и рудными местами. Отхватил Иван Перфильевич в один присест великий кус — двести тысяч десятин, а уплатил за них башкирцам-вотчинникам всего-навсего двадцать рублей.

После выгодной сделки Мосолов пустился по старой, проторенной дороге в далекий Санкт-Петербург. Знал он тропки, натоптанные большим уральским хозяином Никитою Демидовым. Где правдою, а где подачками дошел до сената и добыл приписную грамоту, по которой к новому заводу прикреплялись тысячи крестьянских рук. Возвращался из столицы на ставший родным Каменный Пояс старик Мосолов веселым и бодрым от счастья. Мерещился ему в мыслях среди необозримых глухих лесов и гор свой обширный завод.

«Хозяин! Сам хозяин!— восхищался собой бывший приказчик.— Вот тебе и новое гнездо облажу...»

Минуя Москву, Мосолов заторопился на восток.

Среди величавых и суровых Уреньгинских гор он облюбовал глубокую долину полноводной реки Ай. Над долиной вздыбился могучий Косотур, словно кабан, одетый густой щетиной леса. Рядом ущелье пересекал кремнистый шихан. «И если в том месте поставить плотину,— рассуждал Мосолов,— быть тут обильным водам! Здесь и место заводу!»— решил он.

Летом согнал он на купленные земли приписных и кабальных людей, и они принялись за тяжелый труд. С великими усилиями среди гор, в пади реки Ай, они срубили бревенчатый острог. Реку перегородили плотиной, а подле соорудили завод для литья мортир и ядер. Завод на горе назвали Косотурским.

Мосолов был жесток и управителя себе подобрал под стать. Степан Моисеев — Мосейка, заводской приказчик — отличался жестокосердием и невиданной скупостью. За каторжную работу кормил работных гнилым толокном и тухлым мясом, зато щедро наказывал батогами и плетьми.

Изо всех сил тянулся Иван Перфильевич добывать железо и ставить его дешевле Демидовых.

«Дед да батька разумели толк в рудах и в плавке, а сынок Прокофка — пустоцвет. Ему ли равняться со мной?— раскидывал умом Мосолов.— Вот еще немного поднажму и достигну своего!»

Охотясь по горам со своими егерями, наехал на Косотур Никита Акинфиевич. С высокой горы он оглядел завод и крепко обругал бывшего приказчика:

— Эх, и сукин сын, какое место из-под носа урвал!..

— Слава богу, поднаторел сей лиходей у вашего батюшки,— с завистью оглядывая мосоловское богатство, отозвался Селезень.

Никита Акинфиевич не пожелал спуститься с гор и посетить Мосолова. «Не к лицу водить соседство со своим холопом»,— подумал он и с многочисленной свитой повернул прочь от Косотура.

Между тем в глубокой долине Ая от темна до темна кипела напряженная жизнь. Еще звезды не гасли и на земле лежала темень, а «будинка» бегал под окнами и стучал:

— На работу! На работу!

Нарядчики не давали спуску ни старому, ни малому. Замешкавшихся били. Опоздала хозяйка покормить ребят, несет молоко для горемычных,—«будинка» хвать ее палкой по рукам за нерадивость. Горшок — вдребезги, молоко выхлестнулось, женские руки в синяках. Так и оставались детки на весь день голодными. Женки работали наравне с мужиками: в шахтах и на домнице. Ребят брали с собой на работу. Немало детишек попадало в беду. Вертится подле домны, любуется малышка синими огоньками — от жара рубашонка и вспыхнет, разом займется. Крик, слезы, голосит мать. Поздно, не помочь беде: как мотылек, дитя погибло на огне.

Молодые бабы в лесных куренях усердно жгли уголь. Мосейка спуску не давал: недоглядит молодка, сгорит уголь в «кабане»— немедленно следовала кара. Провинившейся женке надевали на шею хомут и водили по улицам...

Неумолимо подбиралась к Мосолову старость. Тело его подсохло, сивая, когда-то густая борода поредела и отливала желтизной. Серыми ненасытными глазами сыча вглядывался он в окружающих.

Понимал Иван Перфильевич, что доживает последние годы, и оттого жадно хватал от жизни сомнительные радости.

С гор к хозяину наезжал дряблый башкир, привозил Мосолову тайные настойки из лесных трав. Молодил ими кровь старик. Под старость Иваном Перфильевичем овладели страсти, быстро в последнем пламени отгорала его потухающая кровь. Казалось, он стремился наверстать упущенное.

Когда хозяин ходил по заводскому поселку, работные женки разбегались и прятались.

— Остерегитесь, кощей идет!..

Мосолов шел по улице степенным шагом, заложив жилистые руки за спину. Бесстыжие глаза его шарили по окнам.

Следом за ним, чуть поодаль, следовал Мосейка.

Заводчик выслеживал невест. Всех девушек на выданье записывали в книги и подыскивали им женихов. Иван Перфильевич сам входил в это дело. Самой хорошей девке давал самого плохого парня, а хорошему, бравому парню — плохую девку. Жених с невестой до последнего часа не видели друг друга. Только в церкви под венцом и встречались.

Мосолова обуревала зависть к чужому счастью. С каким-то непонятным наслаждением он гасил человеческую радость у своих работных, отнимая у них самое дорогое. Худой и жилистый, как озлобленный зверь, он бродил среди людей и терзал их своими причудами. Завидя девушку, он весь дрожал от ревнивой мысли.

— А, красуешься! Молодца поджидаешь?— вкрадчиво допытывался он.— Погоди, я сам тебе женишка подыщу!

И он действительно находил своей кабальной жениха — самого плохого, никудышного мужика.

Обезумевший старик не щадил ни одной семьи. Он ходил по домам и сам намечал невест среди заводских девушек. Лучших забирал к себе в покои.

Видя непомерную любовь хозяина к женскому полу, Мосейка предостерегал.

— Поберегись, Иван Перфильевич, сердце-то твое с продухом! Неровен час — остановится.

— Кхе!— издавал хрипящий звук Мосолов.— Ништо, сдюжаю!..

Старик не унимался. Этим летом из Калуги пригнали «непослушников». Мосолов ходил среди них, отбирал покрепче в шахты.

— Калуцкое тесто жидко больно!— морщился он, ощупывая людей и даже заглядывая в рот.

— Помилуй, хозяин, мы ведь не кони!— обижались мужики.

— То-то не кони: конь и болящий тащит воз, а ты отлеживаться вздумаешь!— сердито огрызался Мосолов.

Среди ватаги сдороженных «непослушников» приметил хозяин смуглую девку с карими глазами. Ресницы ее были густы и тенисты, и оттого взор, как уголек, то вспыхивал, то гас зарницей. Подле девки вертелся белокурый парень-калужанин.

— Отойди!— оттолкнул Мосолов парня от девки.— Что ластишься к красуле? Не для тебя господом сотворена! Как звать-то?— уставился он на пригожую.

— Оксана,— отозвалась она, потупив глаза.

Босые крепкие ноги ее блестели смуглым здоровым загаром. Стан девки привлекал взор силой и гибкостью.

— Знатна!— похвалил ее Мосолов и подморгнул Мосейке.

Хозяин подошел к парню, оглядел его, словно лошадь. Ощупал мускулы.

— Силен, крепок! Что робил досель?— спросил он.

— Плоты на реках гонял. За кормчего состоял!— с гордостью ответил калужанин.

— То к часу подоспело! Коломенки на днях поплывут, будешь ты на них за потесного!— по-хозяйски определил Мосолов и опять вернулся к девке:

— В стряпухи беру тебя.

На закате в хибару к калужанину пришел приказчик. Оглядевшись, заметил в углу парня и Оксану. «Опять вместе сошлись, шишиги! Небось снюхались!»— недовольно подумал он и сказал мужику:

— Ряди девку в хоромы!

— А ей и тут добро!— отозвался калужанин.

— А там еще добрей буде!— перебил мужика Мосейка.— Запомни, сказ у нас короток, а дело и того короче!

— Гляди, как бы не раскаяться после!— вытянулся во весь рост парень и головой коснулся матицы.— Не ходи, Оксана!

Как ни противился калужанин, забрали девку к Мосолову. Ошалел старый хрыч, закрылся в своем доме, как в крепости...

Калужанин в той поре по Чусовой на струге плыл. Торопил мосоловский приказчик караван по вешней воде доставить до Твери. Под тяжкой железной кладью коломенки грузно осели в воду.

Тяжко на душе парня. Глядя на резвую струю, он то лихие песни пел, то угрюмо отмалчивался. Никто не знал, что у него на душе.

Лихо пронеслись мимо первого камня-бойца. Коломенки, словно ножом по кромке, махнули по краю бездны и миновали страшное место.

Глядя на беснование струи у скал, парень подумал: «Ну, погоди, хозяин, отблагодарю тебя за обиду!»

И только подумал, как шум и кипень снова с большой силой понеслись навстречу. Вдали в дымке серебристых брызг показался камень «Разбойник».

«Вот когда приспела пора!»— решил калужанин и незаметно для глаза шевельнул потесью.

И разом зашумело, как на великой мельнице, затрещали лесины, загрохотало железо. Коломенка грудью ударилась о скалу и, захлебнувшись, стала погружаться в кипучий бурун...

Неделю спустя о несчастье на Чусовой доложили Мосолову. Ссутулился, потемнел он и все спрашивал:

— А калужанин выплыл?

— Неведомо, хозяин!

— Ах, стервец, набедокурил, разорил и от плетей ушел. Да как он смел!

И добра очень жаль Мосолову, но горше всего то, что калужанин ушел от расправы. Утоп ли парень или сбежал в синие леса, ему было безразлично. Главное, безнаказанно погибло хозяйское добро.

«И Демидовы порадуются, это к выгоде им! Мое сгибло, а их железо вверх в цене потянет! Эх!»— хмуро подумал Иван Перфильевич.

Мрачный и расстроенный, заводчик ходил по Косотуру. Верный холоп Мосейка — и тот боялся подступиться к Мосолову. Вскоре и совсем слег от неудачи хозяин.

Недолго он пролежал в постели. В одно утро в доме вдруг необычно захлопали двери, засуетились и запричитали бабы.

Мосейка вошел в спаленку хозяина и попятился. Высоко задрав бороду, Мосолов лежал с выпученными глазами. В углу жались стряпухи и плакали.

— Нишкни!— очухался и сердито топнул Мосейка.— Что тут приключилось?

— Умер хозяин!

Легко ступая на цыпочках, приказчик подошел к хозяину и заглянул в остекленевшие глаза.

— Выходит, не сдюжало сердце от обиды!— прошептал он и покачал головой.— Эх, Иван Перфильевич, разве мало коломенок на Чусовой гибнет в полую воду! Пожалковал одного струга!..

Три дня спустя похоронили Мосолова на новом погосте под Косотуром. Могильщик, утаптывая могилу, угрюмо обронил:

— Злой хватки жил человек и сгиб от злости, что не довелось расправу над крепостным учинить. Хват и смел парень, жизни своей не пощадил, а отблагодарил хозяина за крестьянские муки. Э-эх!..

Глава девятая

1

Время было военное: в эти годы Россия вела победоносную войну с Пруссией. День и ночь уральские заводы отливали пушки, мортиры, ядра, ковали для отечественной конницы булатные клинки. Отлитые умельцами-мастерками на Каменном Поясе пушки громили врага в Пруссии. Русские войска, предводительствуемые фельдмаршалом Петром Семеновичем Салтыковым, 1 августа 1759 года в решительной битве под Кунерсдорфом разгромили пруссаков. Король Фридрих II едва спасся бегством. Сорок гусаров — телохранителей короля были почти все изрублены казаками; король ускакал: в трусливом беге он потерял свою шляпу с султаном. Казаки подобрали ее и доставили русскому генералу.

В ночном убежище, в разгромленной казаками деревушке Этшер, в хибарке без окон и дверей, при свете огарка король писал своему брату в Берлин:

«Наши потери очень значительны: от армии в 48 000 человек у меня вряд ли осталось 3000. Все бежит, и у меня нет больше власти над войском. В Берли-

не хорошо сделают, если подумают о своей безопасности. Жестокое несчастье, я его не переживу! Последствия битвы будут хуже, чем сама битва; у меня больше нет никаких средств, и скажу без утайки, я считаю все потерянным. Я не переживу погибели моего отечества. Прощай навсегда».

В сентябре 1760 года русские взяли Берлин.

Все говорило об окончательном и непоправимом поражении Пруссии. Весь мир с удивлением приглядывался к России:

«Что за страна?!.»

Между тем в Санкт-Петербурге назревали события, которые должны были изменить многое.

Царствующая императрица Елизавета Петровна давно уже чувствовала себя усталой и больной. Придворные интриги, чрезмерные излишества, неумеренность в еде и напитках преждевременно состарили эту еще не так давно красивую, цветущую женщину. Лейбмедик Фукс приходил в отчаяние от нескрываемого пристрастия Елизаветы Петровны к тяжелой и обильной пище. Царица любила щи, буженину, кулебяку, гречневую кашу, от чего стан императрицы грузнел, расплывался; давала о себе знать изрядная одышка. Бессонные ночи, пристрастие к сладким винам ускорили развитие болезни.

В конце 1761 года страдания Елизаветы усилились: на ногах открылись незаживающие раны, они кровоточили, с каждым днем учащались истерические припадки. Но до последних дней императрица веселилась на придворных балах и продолжала невоздержную жизнь.

В сумрачный осенний день октября ее настигла внезапная слабость. Теперь поневоле она целые дни проводила в опочивальне. Здесь в редкие часы душевного оживления больная императрица принимала министров, выслушивала их доклады, отдавала распоряжения. В спальню Елизаветы допускались только редкие избранники. Но и тут она не отказалась от старых привычек: окружила себя болтливыми по-сорочьи шутихами. Нередко перед царицей выступал со своими ариями знаменитый итальянский тенор Компаньи или потешал ее своими легкомысленными остротами комик из императорской труппы.

Будучи больной, императрица не могла все же оставить своих привычек. В продолжение многих часов, ле-

жа в постели, оиа рассматривала разиые ткаии, любовалась их цветом, узором. В эти минуты в ией с прежией силой вспыхивало былое кокетство, и тогда из обшириых гардеробиых, где висели тысячи разиообразиых иарядов, ей приносили пышиые платья, драгоцениости, и оиа с упоеиием разглядывала их. Горестиый вздох вырывался из груди при одиом воспоминаиии о былых диях...

В последиие месяцы приковаииая к постели царица жила под вечиым страхом пожаров. Ей беспрестанно казалось, что огоиь охватывает деревяиное здаиие дворца и оиа сгорает живой в бушующем пламени. Теперь, в эти дни миимого выздоровлеиия, Елизавета торопила Растрелли с окоичаиием постройки Зимнего дворца. Но архитектор требовал деиег, а казиа была пуста. Императрица выразила желаиие, чтобы хоть большая церковь во дворце была готова к весие, а также чтобы приготовили для иее пять-шесть покоев: сделали в иих паркеты, позолотили лепиые потолки, украсили стеиы.

Растрелли приияпся за работу...

Увы! Все оказалось напрасиым. 12 декабря императрице вновь стало весьма плохо, открылось сильное кровохарканье. Придвориые врачи, собравшись на коисилиум, были подавлены тяжелым положеиием больиой и пустили ей кровь. Это приеесло царице облегчеиие. На радостях Елизавета повелела освободить из тюрем большое число арестаитов.

В иадеждах иа улучшеиие здоровья прошло десять дией, и вдруг снова у императрицы иачалось сильиое кровотечеиие горлом. Час от часу стаиовилось все хуже. Было очевидио: царица доживает последиие минуты.

Вскоре иачалась долгая, мучительиая агоиия, и только иа исходе другого дия Елизавета Петровна скончалась...

На российский престол вступил иаследник Петр Федорович. Новый император иемедлеиио послал курьера к прусскому королю Фридриху, извещая его о своем дружествениом расположеиии. Вслед за тем по указу царя русские прекратили воеииые действия и спешио оставили Пруссию.

2

Летом 1762 года два мужика из села Покровского, приписанного еще при царе Петре Алексеевиче к Нижне-Тагильскому заводу, по торговым делам пришли в Невьянск и тут, толкаясь на базаре, наткнулись на бродягу подьячего. Хитроглазый козлобородый ярыжка, насквозь провонявший чесноком и водкой, заманил крестьянишек в кабак и там за штоф хмельного одарил их копией указа государя Петра Федоровича.

Указом этим, помеченным 29 марта 1762 года, повелевалось:

«Всем фабрикантам и заводчикам... отныне к их фабрикам и заводам деревень с землями и без земель покупать не дозволять, а довольствоваться им вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми...»

С драгоценной грамотой вестники поторопились в родное село. Вечером, когда с полей вернулись мужики и женки, ударил набат. Встревоженные поселяне сбежались на площадь. Прибрел священник церкви Покрова, его заставили огласить грамоту.

После жарких споров и криков сход признал, что, по смыслу царского указа, им можно «отбыть от заводских работ». «Но как тут быть? Как узаконить сие?»— раздумывали крестьяне, и порешили они отправить выборных к верхотурскому воеводе и просить его записать их за Богоявленским монастырем. В подкрепление своей просьбы они снарядили обоз с приношениями. Со всего сельца собрали мед, сало, холсты и золотишко и поехали по стародавней глухой дороге в Верхотурье.

Заглох рубленый древний русский городишко, отшумела в нем былая бойкая торговая жизнь, закрылась таможня, окрестные подвластные воеводе крестьянишки отошли под заводскую руку. Заводчики обрели невиданную силу: они закабалили мужиков, заставили их работать на себя, нерадивых сами судили и наказывали, весь торг шел через заводчиков, их приказчики выжимали из крестьян последнюю силу и достатки, сами наголо стригли приписных, оставляя им пост и молитву да загробную жизнь. Воевода же и носа не смел сунуть в приписные села. Заводчики, как коршуны, зорко стерегли свою добычу.

Захирел, оскудел воевода, в забвение отошло былое привольное и сытное кормление. Не до соболей и не до

медов было воеводе, только-только свести концы с концами. Толстая воеводиха стала ныне костиста, желчна и все дни с раннего утра корила супруга, что заел ее жизнь. Но и сам воевода не цвел: изрядно отощал, кафтаны пообносились, лари с добром опустели, отошли в прошлое пирования и величания. Никто не чтил по доброй старинке воеводу. Вот и живи тут!

И вдруг в счастливый день наехали челобитчики из Покровского села и прибыли не впусте, а навезли дары воеводе. Воспрянул он духом, приосанился. Дары принял, над крестьянишками для прилику поломался — без того нельзя: почитание забудется. Сверил воевода копию указа с подлинным — бродяжка-подьячий оказался дотошным: все было списано буква в буквочку. Знал воевода, что царский указ дан был императором Петром Третьим, чтобы успокоить начавшиеся волнения среди приписных крестьян, но вскоре потерял силу. Однако об этом он промолчал. Не повестил челобитчиков он и о другом: умер к той поре от «геморроидальной колики» несколько месяцев процарствовавший государь Петр Федорович, и на престол вступила его супруга императрица Екатерина Алексеевна. Знал понаторевший в делах воевода: чем больше мути, тем богаче пожива. И сильно — ой, как сильно — хотелось досадить ему Демидовым, не ломавшим перед ним шапки, обходившим его во всем!

Но и то ведал воевода, что хитры и мстительны Демидовы, и потому он решил вести дело осторожно, тихо. Так, глядишь, и дело затянется, и заводчики притихнут, и он обойден не будет!

Воевода принял от крестьян челобитную и посулил дать ей законный ход. Но, осторожности ради, дабы приписные не прельстились на возмутительство, присоветовал им до разбора жалобы ехать на завод и приступить к работе...

Ходоки вернулись на село с радостной вестью: указ царский оказался верен, и обещал воевода заступу перед заводчиками. «Выходит, не вправе Демидовы понуждать к отработке»,— рассудили приписные, и указ о запрещении заводчикам покупать к их заводам деревни обмыслили как дарование воли. А обмыслив так, покровские крестьяне наотрез отказались перед приказчиками Нижне-Тагильского завода робить на хозяина, побросали лесные курени, шахты, домницы и вернулись по домам.

Новая беда иастигала Никиту Акиифиевича Демидова. Только-только улеглось возмутительство приписиых присетских селений. После иемалой смуты Маслянский острожек, ставший оплотом восставших, был взят, и приписиые крутыми мерами были приведеиы к покорству. Ныне же виовь поднималось грозиое движение.

В сентябре примчался иарочный с Ревдинского завода с недобрыми вестями: и там бежали с работы приписные крестьяне Аятской слободы, отданные заводу Никиты Демидова еще царем Петром Алексеевичем. Накоиец прекратили работу слободы, приписаииые к Верх-Исетским заводам. Волнеиие постепеиио разрасталось и в разное время охватило миогие заводы, села и слободы. Началось восстаиие среди приписиых Вознесеиского и Камского заводов, лежавших в глубиие Башкирии. Крестьяне, приписаииые к Возиесенскому заводу, побросали работу и, приделав к шестам иожи и копья, бежали.

Брожеиие среди приписиых достигло Соликамских и Чердыиских волостей. Измученные непосильной трудовой тяготой, соликамцы и чердынцы кричали заводским нарядчикам:

— Подати мы платить будем, а в заводские работы ие идем!..

Всюду, даже в Казаиской провииции, широкой волиой подиималось могучее народное движение. Среди заводских мастерков — ковалей, литейщиков, домеищиков, рудокопщиков, жигарей — было миого потомков пришлых и беглых людей, осевших иа КамеиIом Поясе. Деды и отцы пребывали иа работе в демидовских заводах, ио виуки их ие считали себя кабальиыми, крепостными. И в дни, когда кругом пошла шаткость, оии потребовали у заводчиков уравиять их с приписиыми. Хотели эти люди хорошей доли: отработав подушный оклад, за труд оии ждали справедливой оплаты.

Демидовские приказчики доводили о иих хозяииу: «Мастеровые и работиые люди ие чувствуют того, что они вечно узакоиеиные и что об них высочайшими указами повелено в работу употреблять равио как крепостных купленных».

Горные правители и заводчики теряли голову. Строгие указы следовали одии за другим; по дорогам продвигались воинские комаиды, оии заиимали заводы и чинили расправы...

3

Только что вступившая на престол императрица Екатерина Алексеевна поручила усмирение приписных крестьян генерал-квартирмейстеру князю Вяземскому. Перед тем он только что вернулся из-под Вязьмы, где, не щадя ни старого, ни малого, подавил восстание крепостных князя Долгорукова. Жестоко и решительно он расправился с плохо вооруженными крестьянами. Своими стремительными действиями и крутым нравом князь Вяземский пришелся весьма кстати молодой императрице, искавшей среди дворянства преданных людей. Генерал-квартирмейстер был жестокий крепостник и черствый сердцем человек. Благоденствие дворянства он ставил превыше всего. Худощавый, с продолговатым лицом и большими серыми глазами, он походил на стареющего, злого и жадного хищника.

6 декабря 1762 года императрица приняла князя Вяземского, милостиво обошлась с ним и вручила ему особую инструкцию о расследовании волнений на Урале.

Прежде всего вменялось генералу заставить всех приписных немедленно приступить к работе. Если крестьяне тотчас не примутся за работу и будут противиться, то «огнем, мечом и всем тем, что только от вооруженной руки произойти может», привести их к послушанию.

При приведении приписных к покорности поручалось князю деликатно, потихоньку разведать, не было ли среди сельского духовенства таких священнослужителей, которые подстрекали народ к возмущению; не было ли также среди народа ходящих по рукам тайно письменных подложных указов, кто их сочинитель и распространитель. Виновных в сем вменялось генералу наказывать безотлагательно, без всякой пощады и по своему усмотрению ссылать в вечную каторжную работу.

Беседа длилась долго. Князь Вяземский обнадежен был милостивыми обещаниями. Даже донесения царица разрешила присылать непосредственно ей...

Императрица держалась осторожно и советовала князю отличать тех крестьян, которые были введены в заблуждение самими заводчиками или их приказчиками.

Получив наказ царицы, князь Вяземский немедленно отправился в дальний путь — в Казаиь, где, собрав нужиые сведеиия, должен был начать объезд заводов Камеииого Пояса.

Стояли жестокие декабрьские морозы. Закутавшись в теплую дорожиую шубу, киязь в сопровождении одного секретаря, в кибитке, запряженной тройкой, скакал на восток. Мелькали утонувшие в глубоких снегах деревушки. Встречные мужики в рваных зипунах и лаптях при виде лихой тройки испугаиио уступали дорогу; во всем чувствовалось уныние, приниженность, проглядывала безысходная нужда. Даже во встречных уездиых городишках видиа была та же убогость.

Ни бедных деревушек с жалкими куриыми избами, ни убожества российских городов — ничего этого ие хотел видеть торопившийся на восток генерал-квартирмейстер.

В начале февраля кияжеская тройка примчалась иа прикамский Ижевский завод графа Шувалова. Всех отказавшихся от работы генерал наказал сурово, устрашающе. Всю зиму ловили беглых, не щадили ни старых, ни малых. Князь Вяземский побывал на заводах Гороблагодатских казеиных, Гурьева и Турчанииова. В теплой собольей шубе, на сытых смениых конях, он иеутомимо двигался иа север и в коице марта, словио погоияемый ветром, примчался в Соликамск. Маленький бревеичатый городок с древиими старорусскими церквушками встал перед ним, как Китеж-град. Князь умилился иетроиутой старине, диковииным церквушкам, древнего письма икоиам и хлебосольству заводчиков. Казалось, сюда — в лесистый, засыпанный снегами, отрезаниый в летиюю пору болотами край — забилась в поисках спасеиия древняя, кондовая Русь.

Приписные чердынских и соликамских волостей по осени успокоились и работали на заводах. Но и тут генерал выслал воииские команды для наказаиия провиниых и приведения всех в безусловную покорность. Нерадивым и сердобольиым начальникам комаид ие давал спуску. Всю зиму свирепствовал киязь, перепорол тысячи людей, сотии сослал на каторгу.

Меж тем иадвигалась весиа. Подули теплые ветры, зашумели вешиие воды. На север потянулись перелетные птицы. Вяземский переждал половодье и с первой дорогой пустился в новый объезд заводов.

В начале июля он двинулся на Кыштым.

4

Никита Акинфиевич давно поджидал знатного гостя. Для князя обладили новые хоромы. Широкие окна глядели на пруд. За ним простирались синие горы, зеленые леса. Подле, как чистые босоногие юницы, шумели белоствольные березки, разодетые нежной свежей листвой. В хоромах было уютно, чисто, стены обиты штофом, горницы обставлены диковинной витой мебелью. Мягкие бухарские ковры заглушали шаги. На кухне отменные повара готовились усладить князя своей стряпней. Для постельничьих услуг отобрали красивых девок, и сам Никита Акинфиевич учил их деликатному обхождению и услужливости. Приказчикам были выданы жалованные кафтаны, длинные до пят, обшитые серебряным позументом. Иван Селезень обрядился в синюю тонкого аглицкого сукна поддевку и гамбургские сапоги со скрипом. Черная цыганская борода была расчесана и развевалась парусом, когда он носился по заводу. Похватанных в Маслянском острожке и сибирских слободах возмутителей держали в колодках, в подземном заточении, а пощаженные приписные отбывали маяту по лесам да рудникам.

Из самого Екатеринбурга впереди князя мчали демидовские дозорные. Знал Никита Акинфиевич, когда нагрянет санкт-петербургский генерал.

В жаркий полдень на сибирской дороге показалась тройка. Величавый, дородный Демидов, с лентой через плечо, на крыльце поджидал князя. Со ступенек через весь заводский двор бежала устланная коврами дорожка. Когда тройка остановилась у подъезда, Демидов сошел вниз и предупредительно встретил гостя. Оба учтиво и церемонно раскланялись. Хозяин повел генерал-квартирмейстера в столовую палату, где поджидал накрытый стол.

Князь был удивлен роскошью, окружавшей его. Золото и хрусталь искрились на столе. В зале зеленели широколиственные пальмы, редкие китайские вазы тешили взор. Но более всего поразил санкт-петербургского вельможу роскошный демидовский обед. Вышколенные холопы бесшумно прислуживали за столом, подавая самые изысканные блюда и вина.

«Вот-те и мужик во дворянстве!— с любопытством разглядывал Демидова князь.— Отцы щи лаптями хлебали, а внук в светском этикете толк разумеет».

Взор князя привлекла анненская лента. Он и сам не имел столь высокой награды и потому среди любезностей, любопытствуя, спросил:

— Позвольте узнать, сударь, когда и кем ваши заслуги отмечены высоким кавалерственным званием?— По устам Вяземского блуждала лукавая улыбка.

Демидов расправил плечи, сияя перстнями, бережно огладил ленту.

— Сия награда возложена на меня покойным его величеством императором Петром Федоровичем!— со сдержанным достоинством сказал он.

Князь смущенно опустил глаза, с минуту тянул пламенеющее в хрустальном бокале вино, потом отставил его и с хитринкой спросил хозяина:

— А ведомы ли вам, сударь, указы ее величества государыни императрицы относительно наград покойного государя?

Никита Акинфиевич слегка побледнел и, чтобы скрыть волнение, провозгласил:

— Выпьем во здравие нашей пресветлой матушки-царицы!

Высокий, широкоплечий, он встал, торжественно поднял бокал над головой:

— Виват!

— Виват!— вскричал, поднимаясь, князь.

В душе Никита Акинфиевич был возмущен: «Кто смеет Демидовым в их вотчинах делать попреки и посрамления, да еще при холопах? Добро, что князь — гость, а другому несдобровать бы!» Однако Демидов замкнулся в себе и на все щекотливые вопросы отвечал уклончиво.

За окнами простиралось голубое небо. Листва на деревьях была бурая, сухая, опаленная копотью. Завод дышал ровно, ритмично. Прислушиваясь к шуму водяных машин, хозяин предложил гостю:

— Позвольте потешить вас роговым оркестром.

— Как! В сих отдаленных местах роговая музыка?— поразился князь.

Демидов сделал знак холопу, тот подошел к двери и распахнул ее. Генерал-квартирмейстер не верил глазам: вошли музыканты, разодетые в полукафтаны зеленого цвета, отделанные золотым позументом, в треугольных шляпах с плюмажем из белых перьев.

— Батюшки!— поразился князь и насторожил ухо, когда раздались нежные, приятные звуки. Музыканты

не сводили напряженных глаз с развернутых нот, которые держали мальчонки, одетые под казачков.

Гость упивался музыкой и отхлебывал малыми глотками пахучий аликант.

— Не хуже оркестра графа Нарышкина!

— Может, песенников позвать, ваше сиятельство?— спросил польщенный вниманием Демидов.

— Девок красивых!— лукаво смеясь, попросил князь.

— Будет!— отозвался Никита Акинфиевич и захлопал в ладоши.

Шумно вбежали в цветных сарафанах песенницы. Они стали в полукруг и чистыми, ласковыми голосами начали величание...

Князь охмелел. Он разглядывал девок и от удовольствия крутил головой:

— Хороши певуньи!..

Породистое, крупное лицо Демидова сияло от удовольствия. Поглядывая на захмелевшего генерал-квартирмейстера, он удовлетворенно думал: «Ништо, и этого зверя приручим!»

Спустился благостный июльский вечер. Синий полог неба потемнел. А из барских хором все еще лилась роговая музыка да слышались задушевные песни демидовских холопок...

5

На другой день князь пожелал осмотреть литейную.

В темном закопченном цехе, как тени, бесшумно двигались горновые. Чумазые, обросшие, они напряженно смотрели на домну — поблескивали только белки. Впереди, с ломом в руке, стоял хмурый, с опаленными бровями и бородой старик горновой.

Князь с тайной тревогой взирал на молчаливых работных; их угрюмые лица не предвещали ничего хорошего. Вяземский уловил тяжелый взгляд одного из рабочих, и ему стало не по себе.

«Такого и плетью и каторгой не сломишь!»— подумал он и вспомнил всех работных, с которыми ему довелось встречаться. Эти люди были особой статьи. Замученные на непосильной работе, всегда голодные, они не сдавались даже под плетью. Только лютая злоба росла и кипела в их груди. Они были по-своему горды, презрительно отворачивались от барских подачек.

Как только в «доменном дворе» появился князь Вяземский в старом мундирчике и без парика — предостерег Демидов, как бы от искры не вспыхнули локоны,— все притаилось. Хозяин зорко оглядел литейную, поманил к себе мастера Голубка — старейшего литейщика.

— Как, готово к пуску?— спросил его Никита Акинфиевич.

— Готово, батюшка, вас только и поджидаем,— поклонился старик.

В земляном полу шли канавки, тут же темнели вдавленные в землю формы для ядер. От домны струился нестерпимый зной. Слышно было, как там, за кирпичной кладкой, все клокотало, бурлило, словно в чреве чудовищного животного, готового испепелить своим жаром все окружающее. Свежим пятном на домне выделялась летка, замазанная огнеупорной глиной.

Мастерко голосисто закричал:

— Э-гей! Начинай!

Хмурый горновой широко размахнулся ломом и со всей силой ударил в летку. На месте удара глина мгновенно засияла светло-оранжевыми бликами. Горновой, торопясь, наращивая силу, раз за разом ударял в летку. Глина порозовела и вдруг вспыхнула алым пожаром.

Старик ударил в последний раз и, бросив лом, отбежал прочь. Демидов, ухватив князя за рукав, крикнул:

— Поостерегитесь!

Из пролома вырвался сноп сокрушительного слепящего огня, вслед за ним хлынула струя тяжелого пламени. Гневно урча, разбрасывая мириады ярких звезд, раскаленный чугун поплыл из летки и устремился в канавку. Мастерко Голубок, ловко направляя струю, наполнял формы. Стреляя огненными брызгами, взрываясь там, куда попала влага, лава покорялась маленькому, тщедушному старичку, который, как волшебник среди адского зноя, снопа искр, невозмутимо делал свое мудреное дело.

Прошло немного времени, и расплавленный металл разлился по формам, слепящий отсвет перешел в багровый, и чугун, все еще поблескивая звездами, стал подергиваться сизой пленкой. Чад густым облаком плавал над формами.

Князь Вяземский, ошеломленный виденным, ослепленный багровым заревом, закрыв лицо руками, с досадой процедил:

— Поганое ремесло! Идем отсель, задыхаюсь от газов...

Демидов повел его на свежий воздух. На дворе сияло июльское солнце. У плотины в тростнике крякали утки. С гор понизью проструился свежий ветерок, обдал лица. Генерал вздохнул полной грудью и сказал Демидову:

— Вот так пекло!

Из-под навеса выбежал мастерко: он добрался до бадейки с водой, склонился и стал жадно пить. По его истощенному лицу струился грязный пот, и мокрая желтая бороденка походила на изжеванную мочалку.

Князь подошел к нему и, стараясь быть добродушным, крикнул:

— Дедушко, давно ты тут?

Старик оторвался от бадейки, утер бороденку, прищурился на генерала.

— Годков сорок проворю у домны. Поробил на своем веку!— весело отозвался он.

Поражаясь его неунывающему виду, князь осторожно спросил:

— А заработок-то велик?

— Все тут!— показал мастерко на прожженную рубаху и порты, покрытые старым кожаным фартуком.— Пятак на день!

Демидов взял князя под руку и, показывая в синее небо, сказал:

— Глядите, ваше сиятельство, утята летят. Охоты у нас ноне знатные!

Вяземский не отозвался, угрюмо о чем-то задумался...

Однако на этом он не угомонился. На третий день пожелал побывать в шахте. Как ни отговаривал его Никита Акинфиевич, он настоял на своем.

6

Князь и Демидов обрядились в рабочую одежду; приказчик Селезень провел их к лазу. Хозяин полез первым: под его тяжелыми сапогами заскрипели тонкие перекладины лестницы.

Внизу темиела молчаливая бездиа; по стенкам предательски сочилась вода. Вверху шевелилось чериое грузиое тело приказчика. Вяземский спросил:

— Глубоко тут?

Сиизу раздался иасмешливый голос Никиты:

— Вериая могила! Коли сорвешься — пропал. Может, вериетесь, ваше сиятельство?

Вместо ответа киязь заворчал иа Селезия:

— Побережливей! Не толкии меия...

Приказчик затаил дыхание, выждал, когда геиерал опустится иияже. А бездие ие было коица. Слабый огонек в лампе глядел тусклым глазком и ие отгоиял тьмы. По стороиам звучала капель, ноги скользили по слизи.

«Нет, глупо решил. И к чему самому лезть в пасть демону?»— укорял себя князь. Но любопытство и желание иаписать обо всем государыие заставляли его терпеливо переиосить страх и иевзгоды...

Накоиец-то удалось перевести дух. Темная иора бежала куда-то в сторону, и там раздавался стук. Киязь прислушался...

— То горщики руду ломают,— поясиил Демидов.— Склоните голову, ваше сиятельство, а то иеровеи час ушибетесь...

Мимо проскрипело колесо, иевидимый черный человек гнал перед собой тяжелую тачку. Вяземский поднял лампу; из-под косматых, взъерошениых волос иа иего глядели дикие глаза...

— Вправо бери!— вдруг раздался во мраке голос.

— Что так?— спросил Демидов.

Невидимый человек узиал хозяиид по голосу.

— Тут потоплеиие ноие свершилось!— сказал ои хмуро.

— Цыц!— прикрикиул иа иего Никита.

Тяжело дыша, каталь погиал тачку в иеведомую даль. Киязь, поеживаясь, схватил Демидова за руку:

— Не могу идти дале, сударь! У меия колики и в голове шум...

Страшней и тяжелее казалась киязю обратная дорога. Когда вверху показалось белесое, мутное пятно, генерал вздохнул:

— Хвала всевышнему, кажись выбираемся!

Ои готов был смеяться, радоваться солнцу, как малый ребенок. Зелеиая веточка, сломаииая и кем-то оброненная, казалась милой и приветливой. Князь поднял ее и прижал к губам.

— Как ароматна!

— Тополь всегда так духмян!— угодливо улыбнулся приказчик; вдруг взор омрачился. Он заегозил, хотел под локоток отвести князя в сторону, но было поздно. Тот все увидел.

Под тенистой березой на земле лежали два неподвижных мокрых тела. Грязные бородатые лица при ярком блеске солнца казались иссиня-черными.

— Что с ними?— тревожно спросил князь у рудокопов, горестно склонивших головы над телами.

— В шахте придавило,— глухо отозвались работные, опасливо косясь на Демидова.

— Как же так? Почему сие приключилось?— не унимаясь, спросил Вяземский.

— Крепежного леса не дали,— отозвались горщики.

«Как некстати все! Как некстати!»— с досадой подумал Никита. Жилы на его блестящем лбу вздулись, шея и щеки стали пунцовыми: он пришел в ярость. Хриплым голосом он прикрикнул на рабочих:

— Зачем на самой дороге положили? Тут не погост!

Работные не шелохнулись, молчали.

7

Князь Вяземский немедленно приступил к следствию. Писец каждый день принимал жалобы. Жаловались все: литейщики, горщики, жигари, работные женки. Жаловались на горькие обиды: мастерки, подмастерья, приказчики, нарядчики, конторские писчики требовали взяток. Куренные мастера при обмере угля отнимали последние рублики, сбереженные артелью на обратную дорогу, не гнушались и пятаками. Плотинные взимали по гривеннику, «чтоб хворый при работе не был». Без вынуждаемой взятки ни жить, ни работать, ни умирать нельзя было. Пуще всех и усердней всех хапал Селезень. Он обложил приписных поборами: с одного — рыба, с другого — овца, с третьего — четыре воза сена; брал все: солод, масло, конопляное семя, муку, хмель, бахилы, колеса, шерсть, коней...

Князь прошел в избу, где приступил к допросу. Сидел он в кресле, в красном углу, под киотами. На нем надет парадный мундир, пышный напудренный парик, лицо чисто выбрито. Пальцы, зажавшие подлокотники, сверкали перстнями. Серыми пронзительными глазами он пытливо разглядывал допрашиваемых. Большая

толпа мужиков, пригнанных из демидовского тюремка, смиренно ожидала в людской избе. Бородатые, потные, с неотмываемой сажей на лице, приписные жигари тихо переговаривались.

Генерал опрашивал по выбору; выкликал писец. Первым допустили артельного старика из Маслянского острожка. Привели его скованного, с дубовой колодкой на шее. Крестьянин от слабости шатался, пытался опуститься на землю. Но заводский стражник закричал на него:

— Не видишь, что ли? Стой! Перед тобой их сиятельство.

Вяземский тихо спросил:

— Сибирский?

— Точно так!— откликнулся тот.

— Пахарь?

По запекшимся губам крестьянина прошла печальная улыбка.

— Какой я ноне пахарь! Был, да весь вышел. В кабалу угодил!— Он пытливо посмотрел на генерала. Вяземский молчал. Крестьянин продолжал с болью:— Выбился из силы. Из-за неуправки брал у Демида хлебушко, одежду, алтыны, все в книжицу писчик заносил, а ноне уж из долгов не выбраться. Чем больше робишь, тем кабальнее...

Тихий голос князя перешел в строгий окрик:

— Но как смел ты поднять руку на ее величество, всемилостивейшую государыню нашу?

— Батюшка-князь, да нешто кто творил такое злодейство? Суди сам, батюшка, невмоготу стало терпеть муку. Положено царями-государями отработать подать на заводах, а что сробили с нами Демидовы?..

Крестьянин держался с достоинством. Каждое слово он выговаривал веско, неторопливо. Князь невольно вслушивался в его речь.

— Где есть предел горести нашей! — вскрикнул крестьянин и повалился на колени.— Князь-батюшка, доведи до царицы-матушки, что́ сробили с нами! Слышько, полютовал тут Ивашка Селезень как! Бабу Федосью, посельницу нашу, за отказ робить на рыбной тоне в даровую на него, приказчика, посек, надел ей две колодки и заковал в железо. И даже этого показалось ему мало. Женку повесили вверх ногами и стегали смоляными веревками.

— Не может того быть в российском государстве!— резко оборвал речь мужика Вяземский.

— Истин бог, батюшка. Подниму икону и поклянусь!— истово перекрестился крестьянин; большие натруженные руки его задрожали.— Мы и то понимаем: не может того быть в нашем царстве. А еще, князь-батюшка, за припоздание Луку нашего Ивашка Селезень перед конторой батогами немилосердно сек, а ныне в каземате в кандалах держит...

Генерал-квартирмейстер терпеливо слушал и кивал в такт головой. Он видел, что мужик прав: Демидов заставлял приписных трудиться сверх отработка подати. Мысленно прикидывал князь, сколько же дней приписные отдавали заводчику.

Выходило много, очень много! Каждый приписной должен был заработать четыре рублика восемьдесят четыре копеечки, а плата, положенная за работу приписному еще покойным царем Петром Алексеевичем, была: летом пешему — пятак, конному — гривенник, а зимой гораздо менее. Выходит, крестьянину маяться в заводчине сто двадцать два дня; дорога же в счет не шла. А приходить на завод было назначено три раза в году. Иным доводилось идти обозом на приписной завод за четыреста — пятьсот верст, и выходило — отдавай заводчику до трехсот дней, а остальные денечки, и то непогодливые, осенние, оставались на домашнюю работу крестьянина.

— Батюшка ты наш, ну как тут жить?— взмолился старик.— Оскудели совсем...

— Будет!— хлопнул ладошкой по столу князь.— За свое супротивство воле пресветлой нашей государыни Екатерины Алексеевны, за порушение закона, что есть тягчайший проступок,— сто плетей!

— Батюшка, да пожалей старость!— вскричал старик и упал в ноги, но рогатки не дали согнуть истертую шею. Глаза приписного застлались слезой.

— Прочь!— резким голосом крикнул князь и, указывая перстом на дверь, приказал стражнику:— Увести!

Подталкивая крестьянина в спину, стражник выпроводил его из допросной.

В горницу ввели высокого, жилистого священника в изношенной домотканой рясе и тонкого бледного юнца. Князь посмотрел на писца. Канцелярист оторвался от записи и громко объявил:

— То главные подстрекатели, ваше сиятельство: поп Савва и Андрейка Воробышкин. Рукой сего мальца писаны многие челобитные маслянских мужиков.

— Ага!— качнул головой князь.

Отец Савва и юнец чинно стояли перед столом грозного судьи. Поп держался тихо, смиренно, изредка покашливал, прикрывая рот большой жилистой ладошкой. Он ждал, когда заговорит Вяземский, но тот медлил, исподлобья разглядывая попа.

— Ты что же духовный сан позоришь? По какому праву на молитве поминаешь о здравии блаженной памяти покойного царя Петра Федоровича?— неприязненно спросил князь.

— Ваша светлость, во всей строгости я блюду чин апостольской церкви. О здравии покойного монарха поминал на ектениях, поскольку о манифесте неведомо было.

— Врешь, поп!— вскричал князь.— Все ты знал, все ты ведал! Мужиков к бунту подстрекал. Кто сего мальца учил пашквили на заводчика писать? Ты?

— То не пашквили, а челобитье. Нет сил молчать, что тут только делается!— возвысил голос священник.

— Молчи, поп!— вскочил генерал и заходил по горнице.

— Ваше сиятельство, выслушайте нас!— настаивал священник.

— И слушать не буду! Не быть тебе отныне попом! После снятия сана будешь бит батожьем, как отступник. А мальца в острог. Рано сей вороненок когти кажет. Пиши!— гневно крикнул князь писцу и стал диктовать приговор...

Поп, шатаясь, вышел из допросной. За ним, опустив голову, побрел молчаливый, онемелый от страха Андрейка Воробышкин...

Года два назад в Маслянский острог прибрел безобидный попик отец Савва и поселился у горемычной вдовицы Кондратьевны. Приблудный иерей был вдов, нищ, но с душой, открытой для крестьянских печалей. Прилепился он сердцем к сыну вдовицы — Андрейке Воробышкину. Отроку шел пятнадцатый годок; был он тонок, как былинка, светлоглаз и до всего доходчив. Отец Савва обучил понятливого отрока письму, чтению и счету. Попик сам сладил парнишке скрипицу из ели.

Словно солнцем озарился отрок, открылся в нем дар большой и чудесной силы. Многими часами он выстаи-

вал среди избы и, прижимая к остренькому подбородку скрипицу, играл душевное.

— Многое отпущено твоему сироте, мать!— ласково сказал вдове иерей и посоветовал:— В светлый час господь бог одарил его разум, да не зароет он талант впусте...

А вот ныне все отошло. Горько, сумеречно стало на душе Андрейки. Меж тем в допросной свирепствовал князь.

Жигари притихли. Спрос был короткий, за дверью то и дело раздавалось:

— Сто плетей!

— Двести!..

— На каторгу!..

Сидевший позади князя управитель завода склонил голову и просяще прошептал князю:

— Смилуйтесь! Секите, но от каторги упасите, в людишках у нас недостача, ваше сиятельство!..

Ревизор, не поворачивая головы, перебил его резко:

— Сам знаю! Разумей: покой государственный и почитание законов превыше всего!

Допрос все продолжался, а на заводской площади тем временем установили козлы для порки. Из осиротелых изб сбежался народ, выли женки; заводские мужики, потупив мрачные глаза, молчали.

В полдень князь вышел из допросной, его окружили заводские казаки.

Расторопные нарядчики притащили кресло, разостлали багровый ковер. Вяземский опустился в кресло и внимательно оглядел народ. Все затихли.

Два сутулых цепких ката схватили старика артельного, дерзко сорвали кафтан, спустили портки и положили наказуемого животом на козлы. Тощее тело засинело, покрылось пупырышками. Князь взмахнул рукой:

— Секи!..

— Батюшка!— взвыл артельный.— Пошто позоришь мои седины? Тут внуки мои...

Печальнику не дали говорить, каты помочили вицы и стали стегать его... Старик закусил руку, засопел носом. Выпученными глазами он смотрел на дальние горы, но горькая слеза застилала взор. Гремучим морем шумел окрестный ельник, роптал. Только заводские притихли, прислушивались. «Молчит, не стонет. И то сказать, обвыкший!»— думали они.

Жигарь выдюжил, поднялся, сам подтянул портки и накинул на плечи кафтанишко.

Князь Вяземский поманил его пальцем к себе. Шатаясь, старик дошел до ковра и склонил голову.

— Доскажи, любезный, что не успел!— вкрадчиво предложил князь.

— Коли будешь, батюшка, слухать, изволь,— смело отозвался крестьянин. — Посекли меня, ваша светлость, посечешь других, всех переберешь, а от сего худо будет!

— Как ты сказал, холоп?— подскочил князь.

— Коня, батюшка, хоть и бьют, но кормят и в попас пускают, а нам плети да угрозы, а хлебушка нет и роздыха не бывает. Ты по селу да по избам походил бы да к житьишку присмотрелся к нашему, а после судил...

— Так, так, холоп!— отозвался генерал и тихим, елейным голосом обронил катам:— Добавить полста!

— Батюшка!— взмолился старик, но его вновь проворно раздели и повергли на козлы.

И на сей раз наказуемый смолчал, но когда его высекли и вновь облачили, он отошел, пошатнулся и упал. Его подобрали заводские и поволокли в ближнюю избу...

— Очередного!— крикнул князь, и каты послушно взялись за вицы.

Всех сурово и устрашающе наказал генерал. Однако слово старого жигаря добралось и до жестокого княжеского сердца. Проснувшись среди ночи, Вяземский вдруг вспомнил добрый совет приписного: «Ты по селу да по избам походил бы да к житьишку присмотрелся к нашему...»

Утром, обрядившись в легкий кафтан, князь в сопровождении казаков и писца обошел курные заводские избенки, низкие, закопченные, крытые берестой, дерном. Сыро, убого было в них, воздух кислый от мокрой одежонки, развешанной для просушки. По земляному полу табунками елозили голопузые ползунки-детишки.

— Много-то как!— подивился князь.

— Еще поболе того на погост каждогодно волокут! Те, что живут,— отборыши, крепкожильцы, заводские кремешки!— невесело усмехнулся работный на дивование генерала.

На столе лежал хлебушко, а ребята голосили:

— Мамка, дай корочку!

Но баба не сжалилась над ними, берегла каравай.

— Ты что же не кормишь их?— набросился генерал.

— Батюшка, разве им напасешься, ползункам. Хлебушка-то недостаток,— скорбно отозвалась женка. Лицо ее было истощенное, желтая иссохшаяся кожа обтягивала острые скулы.

Князь подошел к столу, отломил корочку и положил в рот. Пожевав, он сморщился и брезгливо выплюнул изо рта серую кашицу.

— Черт знает что!

— Верно, батюшка, какой это хлебушко!— горестно покручинилась баба, и на глаза выкатились слезинки.— В треть только ржаной муки тут, а остальное кора. Толкем, и все тут! Совсем отощали; животишки подвело и старым и малым. Вот оно как!..

Не отозвавшись на жалобу, генерал повернулся и, сердито сопя, поторопился выбраться на свежий воздух.

8

Попика, не дожидаясь отписки из консистории, публично били батожьем. Артельного старика осудили на каторгу, а прочих отхлестали лозой. Мальца Андрейку Воробышкина уготовили в острог, в город Екатеринбург, но тут из сибирского острожка в Кыштым приплелась вдовица Кондратьевна. В узелке бережно, как образок, она принесла скрипицу и бросилась в ноги Демидову:

— Пожалей ты меня, старую! Уж коли сына в острог, то и меня схорони с ним! Упроси, батюшка, князя.

Опрятная, степенная старушка неожиданно тронула сердце Никиты. Он покосился на узелок и спросил:

— А это что? Приношение мне?

— Бедная я, батюшка, одно и было богатство — сынок. А то — его скрипица. Одарен он господом, ой, как душу трогает сей скрипицей!

«Что ж, испробуем мальца!— подумал Никита.— Коли правда, нам ко двору гож будет!»

По приказу князя Андрейку привели в демидовские хоромы. Санкт-петербургский вельможа сидел в голубой гостиной. Окна и двери были распахнуты настежь, вечерний воздух вливался в горницу, колебал пламя восковых свечей в золоченых шандалах. Прямо из двери виднелся темный пруд, над ним мерцали звезды.

Легкий туман нежной пеленой тянулся над сонными водами.

Воробышкин настроил скрипицу и заиграл.

Желчный князь угомонился, насмешливый огонек погас в его очах; строгое, злое лицо понемногу обмякло, и тихая, благостная грусть озарила его. Закрыв лицо ладошкой, Вяземский сидел не шелохнувшись, вслушивался в нежные звуки. Демидов развалился в кресле, сытый, широкий, изумленно разглядывая парнишку. В углу у порога, как мышка, притихла вдовица. Она во все глаза смотрела на свое родное чадо, и невольно слезы катились из ее блеклых глаз. Боясь перевести дыхание, она уголком платка тихонько утирала их.

— Ваша светлость,— наклонился к генерал-квартирмейстеру Демидов,— помилуйте его и освободите! Отойдет он ко мне, а я пошлю его в иноземщину. Отменный музыкант будет...

Князь улыбнулся, учтиво согласился:

— Пусть будет по-вашему, сударь.

— Слыхала, бабка?— вскричал Демидов.— Беру твоего сынка за чудный дар. Собирайся, голубица. Поедешь ты с обозом на Москву. Там птичницей будешь, а сынок полетит дальше...

— Батюшка ты наш!— упала в ноги старуха.— Век буду бога молить за тебя. Благодари, сынок...

Бережно прижав скрипицу, Андрейка угловато склонился. А взор его блуждал далеко...

Туман над прудом поднялся выше, закрыл звезды. Холопы прикрыли окна и двери. Потрескивали свечи в шандалах; от огоньков и дыхания в гостиной стало душно...

9

В докладе императрице о причинах волнений на Каменном Поясе князь Вяземский сообщал:

«Сии заводские работы, сделавшись приписным крестьянам большой тягостью, оставили в них навсегда негодование, какое инако и отвратиться не может, как только тогда, когда положена будет за заводские работы плата сравнительная с выгодами, от земли ими получаемыми...

К сему управители заводские накладывали на них несносные, сверх определенных, работы, утесняли взятками и мучили побоями».

Слишком ясны и неопровержимы были улики крестьян на злодеяния приказчиков, однако князь вовсе не хотел поощрять приписных.

«Упаси бог, чего доброго, возомнят после сего о вольностях!»— тревожно подумал он.

Наказывал он лихоимцев и притеснителей — приказчиков, нарядчиков, мастерков и писчиков — весьма осторожно. Многим спускал вины, одного в раскаяние понудил месяц копать землю, другому запретил надзор за рабочими.

Дошла очередь и до главного кыштымского приказчика Селезня. Очень много поступило на него жалоб, и все преступления его были въяве. Великая гроза надвигалась на жестокого и жадного демидовского слугу.

Но тут Никита Акинфиевич вступился за своего холопа.

Князь давно приметил услужливого, хлопотливого приказчика. Как лиса на охоте, тихо и осторожно он пробирался по заводу. Перед хозяином льстил, увивался. Все желания ревизора выполнял по одному взгляду. Но большие черные глаза его никогда не смотрели прямо на человека, они убегали от чужого взора, а на губах цыганистого приказчика играла угодливая улыбочка.

«Плут! Несомненный хапуга и кнутобоец!»— думал о нем Вяземский, но обходительность Селезня подкупала, и генерал-квартирмейстер решил дело свести на нет.

Обвиняли приписные Маслянского острожка приказчика в том, что от его жестокого наказания батогами умер односельчанин Панин.

Ревизор на жалобе пометил:

«После того как Панин был бит батогами, он работал четыре дня и почил на третий день по приезде домой. Явствует: не батоги, а воля божия смерть уготовала ему». Приписного Меньшикова Селезень посек конской плетью, и через три недели тот умер.

«Умереть ему от тех побоев не можно»,— начертал на челобитной князь.

Однако, как ни благоволил князь к демидовскому приказчику, многое нельзя было утаить и свалить на волю божию. К тому же санкт-петербургскому ревизору хотелось показаться беспристрастным. Он вызвал Селезня и со всей строгостью опросил его.

Чинный, притихший приказчик стоял перед столом и переминался с ноги на ногу.

Глаза его были скорбны, елейным голосом винился он перед генералом.

— То верно, обстриг я сибирским мужикам по-каторжному головы. Но как же иначе, ваше сиятельство, когда они побегли с завода?— склонив голову, тихо говорил он.

— А тех посек за что, которые канавы рыли?— насупившись, спрашивал Вяземский.

— Ваше сиятельство, уроки не выполняли!— искренним тоном возмутился приказчик.— А как же после сего доставить было ядра и пушки, коли водного пути не предвиделось? В заботе о государственном хозяин наш убивался. Не стерпело мое сердце нерадивости крестьянишек, вот и посек. Винюсь, как перед Христом богом!

Он брякнулся перед столом на колени, стукнулся лбом о землю.

«Юлит, бес!»— брезгливо поморщился Вяземский и встал из-за стола.

Приказчик не поднимался с колен, умильно смотрел на допросчика. Князь прищурился и спросил тихо:

— А мзду брал?

Трудно было уйти от пронзительного взгляда Вяземского, да и как тут сплутуешь.

— Ваше сиятельство, один бог безгрешен! Виновен перед людьми!— просяще глядел он на князя.

— Тяжкие вины значатся за тобой,— строго сказал Вяземский.— Хоть то шло от усердия твоего пред хозяином, но должен ты понести кару!— Он вздохнул и задумался.

В горнице стало тихо, только писец усердно чиркал гусиным пером.

Приказчик замер, глаза его трусливо забегали,— походил он на подлого, наблудившего пса, униженно скулящего.

— Истин бог, исправлюсь и вам порадею!— слезно просил он.

Наконец князь ткнул пальцем в писчика и сказал:

— Пиши! За то, что бил батогами и остриг власы на полголовы крестьянишкам, посадить на неделю под караул на хлеб и воду!

— Батюшка!— радостно вскрикнул приказчик.— Вот суд праведный!— Он подполз на коленях к Вяземскому и стал лобызать ему руку.

— Погоди, не все!— отошел к столу князь и продиктовал писчику:— Вменить Селезневу поклясться, что вперед таких наглых ругательств крестьянам чинить не будет.

— Батюшка родной!— прослезился приказчик.— Век буду бога молить!..

— То разумей, холоп!— пригрозил генерал.— Батоги надобны, да в меру. Надо держать раба в струне, но перехлестывать поберегись. В другой раз не спущу!

Писчик с хитринкой поглядел на Селезня. Приказчик встал, оправился, глаза его весело заблестели. Князь поглядел на него, улыбнулся.

— Ну, иди, иди, шельмец!..

Князь Вяземский не успел разобрать толком жалоб приписных крестьян и покарать их за непокорство заводчикам, как был отозван в Санкт-Петербург. 4 января 1763 года он сдал все дела Бибикову, который и завершил «умиротворение» края, за что был пожалован государыней чином секунд-майора Измайловского полка.

Князь Вяземский прибыл в столицу и был милостиво принят государыней. За рачительность, проявленную им в делах по усмирению волнений среди крестьян и работных Каменного Пояса, Екатерина Алексеевна назначила его генерал-прокурором сената.

Вступая в должность, он обошел все помещения сената и задумчиво остановился в зале общего собрания сенаторов. Взор его привлекла нагая статуя Истины. Вновь назначенный генерал-прокурор сената сказал сопровождающему его экзекутору:

— Вели, братец, ее несколько прикрыть!

ЧАСТЬ 2

Глава первая

1

Вокруг Кыштыма во всю неоглядную ширь раскинулись дремучие темные леса. Словно густой косматой овчиной, ими одеты окрестные горы и пади быстрых рек. В ущельях среди скал и у падунов горные ручьи наворотили бурелому, колоднику, лесин. Всюду, как паучьи лапы, топырятся корневища: ни проходу, ни проезду. В понизях шумят густые заросли малинника и молодой черемухи. Куда ни взгляни, в горах глухие места, нетронутые дебри, и в них простор зверю. Теплой весной, когда край пробуждается от долгого зимнего сна, в берлогах просыпаются медведи. Они выбираются из належенных мест, катаются по земле, чешутся, долгими часами ерзают по земле, по корневищам, ревут. В горах разносится их могучий рев и пугает путника.

Весна принесла всему живому радость и ликование: в реках и в озерах нерестовала рыба, птицы хлопотливо вили гнезда, зверь томился и метался в брачной поре. Дороги на Кыштымский завод обычно были безопасны: ходили работные, бабы в одиночку, в ягодники с песнями пробирались девичьи ватажки.

Но в лето 1770 года в Кыштымские края пришли невиданные напасти. По ночам в горах пылали огни: горел подожженный варнаками лес. Днем тучи едкого сизого дыма закрывали солнце. Из Сибири дули крепкие сухие ветры, раздували лесные пожары. От них воздух был раскален, как в печи; от жара трескалась земля, а в Кыштыме на деревьях коробился лист. Вихрь

вздувал пламя, кружил и высоко бросал к багровому небу горящие лапы елей. Ненасытный огонь крушил вековые лесины, непроходимую чащу, сжигал все живое и радостное. Реки и топи не были преградой бушующему огню. Только тихие лесные озера оставались невозмутимыми, и огонь, припав к влаге, погашал свою ярость.

Зверю и птице не было спасенья от разъяренной стихии. День и ночь по горным тропам кочевали звери. Стайками бежали пугливые зайцы, мелькали среди лесин убегающие от огненной напасти лисицы, с завыванием уходили волки; их вой был страшен, леденил кровь. Ломая буреломы, сокрушая поросль, шли напролом медведи. Спасаясь от огня, дикие звери бесстрашно двигались мимо человеческого жилья. Вместе с едким дымом над Кыштымом пролетали косяки диких гусей, лебедей — стаи встревоженных птиц.

Над заводом тянулись дымы лесной гари, трудно было дышать. Заводские женки, выйдя на улицу, подолгу смотрели на зарево и проливали слезы.

— Может, то конец свету?..

А птицы все дни летели, и зверь все шел, не боясь ни человека, ни заводского шума.

Лесной пожар выгнал из лесных дебрей медведицу с медвежонком. Огонь прижал их к краю скалы. Поднятая на звере шерсть дымилась. Казалось, еще минута — и она вспыхнет. Нестерпимый зной струился над скалой. Прикрыв лапищами огромную голову, медведица ревом потрясла окрестности. К пестунье с испугом прижимался пушистый медвежонок и подвывал ей. Лесное огнище то притихало, то, набрав силу, взмывало кверху, и тогда с треском взлетали пылающие головни и тучи пепла. Из Кыштыма к скалам набежал народ: было страшно, в диковинку видеть зверя в беде... А огонь безжалостно подбирался все ближе и ближе. Медведице жара стала невмочь: она сгребла лапами детеныша и вместе с ним бросилась со скалы.

Зверь ударился о камень и мешком недвижимо растянулся подле тропки. Разбился насмерть. Медвежонок кувыркнулся в кусты, прошумел, зашибся и заскулил. Работные с любопытством обступили зверей. С опаской они поглядывали на медведицу. Тут набежал хваткий и проворный демидовский конюх Митька Перстень.

— Не трожь!— закричал он.— Зверь господский!

— Пошто так? Из лесу ведь прибрел!— загалдели кругом.

Перстень бесстрашно растолкал народ:

— Расходись! Дай простор...

Он оглядел медведицу, понимающе ощупал густую бурую шерсть.

— Добра!— похвалил он шкуру и подобрался к медвежонку. Звереныш пытался увильнуть, но Митька проворно сгреб его и прижал к широкой груди. Почуяв ласку, медвежонок лизнул холопа в лицо.

— Ишь леший!— заухмылялся Перстень.— Ласковый зверь! То-то обрадуется хозяин.

Он, бережно прижав к себе медвежонка, поволок его к Демидову.

Никите Акинфиевичу по душе пришелся лесной забавник: он преумильно вылакал молоко из ведерка, съел ржаной каравай. Сытый, игривый, он валялся у ног хозяина и довольно ворчал.

По наказу заводчика в саду, за крепким острокольем, вкопали дубовый столб, к нему приковали цепь. Днем звереныш гулял на воле, а ночью его сажали на цепь. Медвежонок быстро приручился и стал забавен. Он ластился к людям. Много жрал, лазил по деревьям, забирался в хоромы. Но больше всех по душе ему пришелся конюх Митька. Медвежонок бегал за холопом, пытался забраться в конюшни. Но кони, почуяв звериный запах, пугливо ржали и бились. Конюх выпроваживал своего лохматого дружка.

Сидя на цепи под звездным небом, звереныш скулил. Тосковал по лесным дебрям. Митька сквозь сон прислушивался к жалобам своего любимца.

2

Лесные пожары затихали. Хотя по утрам солнце еще крылось в сизом дыму, но воздух был чище, дышалось легче. От реки шла прохлада, она оживила людей. Повеселел и Демидов. Он расхаживал по хоромам и прикидывал, сколько леса пожрал пламень.

В это утро, как всегда, Никита распахнул окно в сад. Птичий щебет ворвался в горницу, повеяло свежестью. На высоких травах сверкала роса, омытые ею деревья блестели, тихо шумели под утренним солнцем. В саду у столба сладко дремал медвежонок.

— Хозяин, ваша милость!— вдруг раздалось под окном.

Заводчик выглянул в окно. На тропке стоял босоногий конюх. Он скинул шапку и поклонился Демидову. Митька опустил глаза, мялся.

— Ну, что у тебя? Говори!— подбодрил заводчик.

— Не знаю, как и приступить, что и сказать!— смущенно промолвил конюх.

— Худое что стряслось?— насупился Никита.

— Зачем худое!— И вдруг, тряхнув головой, Митька разом выпалил:— Жениться я хочу!

— Что ж, дело хорошее,— рассудил хозяин и улыбнулся.— А девку облюбовал?

— Ага,— признался Митька.

— Это кто же?

— Катеринка, дочь Пимена,— поклонился снова конюх.— Сделай, хозяин, божескую милость...

— Ладно,— кивнул Демидов.— Приводи на смотрины девку. Подойдет ко двору — возьмем!

Митька повалился в ноги хозяину.

— На век, на всю жизнь до гроба буду предан тебе, Никита Акинфиевич!

Перстень привел к Демидову свою зазнобу. Хороша была девка. Высокая, стройная, с крепкой грудью. Хозяин не мог оторвать взора от синих глаз красавицы.

— Ты чья будешь?— ласково спросил Демидов.

— Крепостного холопа Пимена дочка,— степенно поклонилась девушка.

— Как звать?

— Катеринкой,— отозвалась она и в смущении опустила глаза в землю.

— Добра девка!— похвалил Демидов и вдруг злобно набросился на Митьку:— Это что же ты удумал, бессовестный? Наилучший кус из-под носа хозяина оттяпать решил... А ну, повернись, Катеринка!— Хозяин взял девку за руку.

Молодая кержачка стояла ни жива ни мертва.

— Повернись!— прикрикнул хозяин так, что она испуганно вздрогнула и закрыла лицо руками.

— Ой, стыдобушка!— прошептала Катерина.

— Ты, хозяин, не очень оглядывай!— недовольно нахмурился Перстень.

Демидов не отозвался; он повернул девку к свету и, не отрывая глаз, обшарил все тугое, как спелый колос, молодое тело.

— Добра!— похвалил снова и сказал:— Ты, девка, отныне о замужестве перестань думать. Выкинь из башки! Другая жизнь тебе уготована!

Из глаз Катеринки брызнули слезы.

— Батюшка!— кинулась она в ноги хозяину и завопила:— Не губи меня, несчастную!

Она схватила Митьку за руку и потянула книзу. Перстень нехотя опустился на колени рядом с Катеринкой.

— Смилуйся, Никита Акинфиевич,— поклонился он Демидову,— не разбивай нашей жизни. Сговор полюбовный был, и по душам мы друг другу. Да и обещал ты...

— Как смеешь дерзить?— вскипел гневом заводчик.— На кого голос возвысил, червь? Уйди прочь, нечего тебе тут делать! Уйди, не то холопы вытурят!

Конюх поднялся с колен. Шатаясь, он отступил к порогу. Глаза его потемнели.

— Неладное затеял, хозяин!— сурово, укоряюще сказал он.— Пошто порушил доброе слово?

— Уйди!— крикнул Никита, сорвал со стены плеть и замахнулся на холопа. Перстень втянул голову в плечи и сумрачно вышел из горницы...

— Ну вот!— облегченно вздохнул Демидов и подошел к девке. Любуясь ею, он сказал вкрадчиво:— Суди, ласковая, что за жизнь предстоит за холопом? Мука и скука. Работа без радости да сопливых ребятенков орава. Ноне по-иному заживешь: перейдешь в сии хоромы. Вставай, люба!— Он поднял девку с колен и пытался обнять.

Катеринка оттолкнула хозяина и устремилась к двери.

— Не уйдешь, все равно добуду!— спокойно крикнул вдогонку Никита.

Не помня себя, девка выбежала из демидовских хором. Румянец на ее щеках сменился бледностью. Добежав до заводского пруда, она забилась в густой ивняк и залилась горькими слезами.

Никита Демидов вызвал доменщика Пимена. Когда старик робко переступил порог, хозяин недовольно сказал ему:

— Ты что ж, сивый пес, золото от меня хоронил?

Кержак почтительно поклонился заводчику:

— Николи не таил медного гроша от тебя, Никита Акинфиевич. И батюшка твой чтил меня, холопа, за честность.

— Не о том речь повел, старый!— перебил работного Демидов.— Дочку почему таил?

Старик насторожился, глаза его омрачились тревогой...

— Дочка — дар божий,— уклончиво повел речь кержак.— Шила в мешке не утаишь, девку под замок не упрячешь. Вся она, сиротина, тут перед людьми.

— Не юли, Пимен!— резко сдвинул брови Никита.— Стар становишься. Кто пригреет тебя, когда силы уйдут?

— Это верно, под старость жизнь — не сладость,— согласился старик.— Старость — не радость, не вешние воды...

— Вот что, словоблуд, сколько за девку хочешь?— прищурил глаза Демидов.

— Не пойму, что к чему? Все мы твои, хозяин-батюшка. Крепостные.— Кержак задумчиво огладил бороду и закончил с достоинством:— Все мы работаем на тебя, Никита Акинфиевич, по-честному.

— Это верно,— согласился заводчик.— Сейчас о другом речь: шли дочку ко мне в услужение. Я в долгу не останусь, отплачу...

Старик поугрюмел, молчал.

— Ну, что примолк?— Хозяин положил руку на его плечо.

— Катеринка — дите не продажное! — решительно отрезал кержак.— Хошь в шахту бери, хошь на черный двор, а в барские хоромы не под стать залетать моей синичке. Не будет того, Никита Акинфиевич!

— Ан будет!— вспылил Демидов.

— По своей воле не допущу. Разве в землю уложишь меня! — Пимен распрямился.

— Ноне девку возьму, вот и весь мой сказ! Хотел я по душам с тобой поладить, не вышло. Ступай прочь!

Хозяин грудью напирал на доменщика. Взволнованный кержак отступил к порогу. Переступив его, он накинул гречушник на лысую голову и сокрушенно вымолвил:

— Осподи, до какой напасти дожил!

Лицо старика сразу осунулось, отяжелели ноги. «Что же теперь делать?»— раздумывал он и, желая подбодрить себя, выкрикнул:

— Не дам! Не возьмешь! Людей подниму!..

Однако ничего не мог поделать Пимен. Спустя три дня, когда Катеринка, изгибаясь камышинкой под коромыслом, шла от родника, ее настигли демидовские вершники. Молодцы вышибли ведра, расплескали воду, схватили девку и перекинули в седло. Ускакали они с добычей в демидовский городок. Так и не дождался Пимен своей дочери...

Два дня протомилась Катеринка в светлице: ей дали вволю выплакаться. Толстая, рыхлая демидовская холопка бабушка Федосьевна принесла ей наряды, умыла девку, расчесала косы.

— Сущая царевна!— изумленно всплеснула она руками, дивясь строгой красоте Катеринки.

Ворчливая баба-яга неотступно вертелась подле пленницы. Она хвалила хозяина, уговаривая кержачку:

— Ты не супротивься, милая. Хозяин наш добрый, и по доброте его жизнь твоя пойдет в радостях...

Катеринка обошла и оглядела хоромы. Везде крепкие запоры, дубовые двери, всюду сторожат зоркие холопы. А кругом синие горы и непроходимые леса. Куда уйдешь?

Угадав ее мысли, Федосьевна сказала:

— Не думай, красавица, о другом. Рука демидовская простерлась далеко, не добежать тебе до краю ее. И то рассуди: не кощей он, а могучий муж.

Ночью не приходил сон. Катеринке казалось, что стоит она перед черным бездонным омутом и нет ей спасения. Одна дорога — закрыть глаза и кинуться в бездну...

А когда стали смыкаться глаза и пропели ранние петухи, хозяин пришел, уселся у постели и долго любовался ею. Как заколдованная, лежала Катеринка, затаив дыхание. Под его властным взглядом цепенело тело, сон туманил голову...

Она не слышала, как Демидов наклонился и стал стягивать с ног сапоги...

3

Мрачным и молчаливым ходил Митька Перстень. При встречах с хозяином опускал глаза. В свободные минутки конюх забирался в сад и ярил медвежонка. Звереныш заметно вырос, входил в силу. В звере про-

снулась злоба к людям. Одного конюха только и признавал он. Обнимая своего друга, Перстень жаловался:

— Отнял, слышь-ко, мое счастье хозяин, испил мою кровь!

Крепостной не мог остудить в себе жара. Темная, свирепая ненависть к Демидову поднималась со дна его души, ему стоило больших усилий казаться спокойным. Лежа на сеновале, зарывшись в душистые шелестящие травы, он смотрел в узкие прозоры на звезды и думал о горькой судьбе работных.

«Что за народ?— недовольно думал он.— Порознь каждый клянет свою жизнь, а все вместе молчат, гнут перед хозяином спину. А если б подняться да замахнуться... Эх! И где тот человек, который осветит потемки наши?»

Он мысленно перебирал работных и решал про себя: «Нет, не тот человек!..»

Босой и взъерошенный, Пимен в грозу пришел к барскому дому. Холопы не пустили его в хоромы. Старик в рубище стоял под проливным дождем и жадно смотрел на окна.

Вскоре Пимен «посадил козла» в домну. Все ахнули: домна выбыла из строя. При допросе кержак, не таясь, повинился:

— В отместку за дочку хотел Демидову досадить...

Он нисколько не раскаивался в своей вине. Демидов решил отменно наказать виновника. Никто не знал, что надумал хозяин: он только приказал Пимену искупить грех примерной работой и прилежанием. Если же он, холоп, помеху будет творить хозяйскому делу, тогда спуску не давать и проучить его по-демидовски.

Пимена приставили с конем работать на плотине.

По Маукскому тракту, вдали от Кыштымского завода, разлилось широкое и привольное озеро Кириты. Дороги были длинные, тянулись вокруг озера. Тяжелые груженые обозы скрипели в объезд зеркальных вод. Долго надо было ехать из Кыштыма на Уфалей, в Маук, в Ураим.

Демидов рукой пересек озеро и повелел:

— Быть тут плотине, быть тут и пути!

Великий труд возложил заводчик на приписных крестьян. Глубокие воды выпало им плотинить. Демидовские приказчики согнали крестьян с лошадьми. Закипела работа. Народ песок возит, озеро бутит камнем, плотину насыпает.

Тут и Пимену место нашли. Человек он опальный, зорок за ним дозор. Старик перетрудился, из сил выбился, а тут и хворости одолели. Ждать, однако, некогда, торопит хозяин с плотиной. Скоро уж и работе конец. Озеро разделили, осталось немного песку насыпать...

Дождались своего часа дозорщики, укараулили Пимена. По хворости он не выехал на работу. День прошел, два — нет старика. Объявили его в бегах.

Начался розыск, но тут на третий день Пимен сам на работе появился. При нем лошадь, тележка поскрипывает, нагруженная песком. Работает, хлопочет мужик над плотиной.

Солнце на полдень. Видит Пимен — по плотине шествует приказчик Селезень. Крепостной шапчонку долой, хоть и стонет сердце,— поклонился. Приказчик и глазом не моргнул, проследовал мимо. Пимен свалил песок с тележки и опять уехал. А Селезень походил среди работных, отобрал народ посильнее да попроворнее, отвел их в сторонку.

— Над Пименом хозяйский суд свершился. Порешил Демидов за то, что он в бега ушел, закопать его живьем в плотину. Понятно?..

Мужики молчали, только головы ниже опустили, а приказчик присоветовал:

— Как вечер подойдет, привезет Пимен последнюю тележку с песком, наказано вам столкнуть его в ров и песочком присыпать.

Ушел приказчик, а пятеро грабарей остались. «Как тут быть? Что делать? Демидовской воле перечить — значит, самим в могилу живьем лечь. Разве может холоп устоять против заводчика?»

Стоят пять грабарей, думу думают. Подле их лошади, тележки с песком. Достояли они в раздумье до вечера. День меркнуть стал. За день-то Пимен не один раз песок привозил да в канаву сваливал.

Потянуло прохладой. Потускнело озерное серебро, солнышко краешком коснулось лесного окоема. Только тонкие гибкие стеблинки камыша стояли светлыми, перешептывались перед сном. Работные на ночлег потянулись.

Все вокруг опустело. От усердия Пимен запоздал: в сумерки привез последнюю тележку, ухватился за грядку, понатужился и опрокинул песок в ров. Тут пя-

теро бородатых молча кинулись на него, столкнули его туда, где густой камыш...

А сверху тело песком засыпали. Сначала свои пять тележек от песка опростали, а потом лопатами добавили.

Пропал Пимен, как в омут канул. Сказала Федосьевна Катеринке: ушел старик от демидовского гнева в кержацкие скиты и там замаливает ноне свои грехи.

Не знала Катеринка, что пошел с той поры в народе слух: тлеет старый работяга под песком на дне Кириты-озера. С тех времен плотина через озеро и зовется Пименовой плотиной...

Глава вторая

1

Было время, когда Никита Акинфиевич был полон любви к Юльке. В те дни, куда бы ни ехал хозяин, он часами думал о горячем взгляде Юльки, от которого волновалась кровь. Ее расширенные трепетавшие ноздри, красный чувственный рот заставляли забывать мир и заводские дела. Ревность бушевала в нем. Нередко он возвращался с полдороги в Кыштым, чтобы нагрянуть ненароком.

Он заставал Юльку одиноко бродившей по хоромам. Экономка радовалась его возвращению. Пыльного и потного, она ласково обнимала его.

Сильный, широкоплечий хозяин, держа в объятиях Юльку, пьянел от страсти. Хмельной, горячий, он бессвязно бормотал:

— Отрава ты моя, отрава...

Стояли темные июльские ночи, на черном бархате неба сверкали мириады звезд. Все вокруг было насыщено живительной теплотой и негой. Лежа у ног Юльки, Никита взывал:

— Проси чего хочешь! Желай.

Зеленые глаза Юльки сузились в искрометные щелочки, и она, приблизив разгоряченное лицо, прошептала:

— Брось жену!

Он не любил свою малокровную, бесстрастную Александру Евтихиевну, но шепот Юльки отрезвил его. Оттолкнув экономку, он закричал:

— Ты что, сдурела?

Она, как хорек, оскалила острые зубы и пригрозила:

— Пожалеешь, когда уйду к другому!

Самовластный, опаленный ревностью, он закричал:

— Плетей хочешь? Тут я твой царь и бог: никуда ты из моих хором не сбежишь, каждый шаг твой стерегут мои холопы и псы.

Пылая гневом, Юлька топнула:

— Уйду!

— Попробуй! На цепь посажу!— прогремел на все хоромы голос разбушевавшегося Никиты.— В каменную подполицу запросилась?

В темных глазах Демидова мелькнуло злорадство, его большие холеные руки дрожали. Он налился яростью и в эти минуты сильно походил на деда. Окрик хозяина привел Юльку в себя. Она смолкла, испугалась, угрозы Никиты напомнили ей каменные глухие подвалы, в которые сажали на цепь непокорных людей. В долгие зимние ночи, когда Никита Акинфиевич уезжал в Санкт-Петербург и экономка оставалась одна, ей чудился стон в подполицах, страх сжимал ей сердце...

Бледная, потерянная, она в помятом платье зарылась в пуховики, плечи ее вздрагивали от слез.

Теперь Демидов больше не приходил к ней. Шагал мимо, не видя и не чувствуя ее. Козьи глаза Юльки потухли, кожа стала дряблой, шершавой. Когда-то бойкая, сейчас Юлька выглядела мрачной, жалкой и часто запиралась в антресолях и подолгу оставалась одна. Догадывался Демидов: в минуты уединения Юлька тянет хмельное. Случалось, забытая подруга ловила хозяина в полутемных переходах и со слезами умоляла вернуться. Ее сиплый голос был полон страсти. Никита терял волю от ее жаркого шепота. Преодолевая наваждение, он отталкивал ее:

— Уйди, остуда!

Рассудок и заботы брали верх над греховными помыслами, и Демидов подолгу избегал Юльку.

В эти дни Никита энергично занимался заводскими делами. Но и среди них ловил себя на мысли: «Дед и батюшка почитались простыми людьми, с них и спрос был невелик. А ноне времена пошли иные: дворянин должен ведать и то и другое, свободно держать себя в большом обществе, легко говорить о всякой всячине, порхать думками с одного предмета на другой. Заско-

руз я тут, омедвежился! Как после сего в столицу казать глаза! Пора и за веком вослед поспешить!»

Любил Никита читать книги. Чтобы утолить свою жажду, он написал в санкт-петербургскую контору срочио отыскать и выслать новейшие и умные киги, «кои дают знаиие о жизни и о том, что в столицах делается».

Петербургская контора ие замедлила и вскоре выслала ему ящик киг. Весь деиь Никита с трепетом перебирал фолиаиты в сафьяиовых переплетах, перелистывал их и читал. Среди доставлеиных киг имелись: «Римская история», «Невиииое упражиеиие», комедия «Недоверчивый», «Повесть о княжие Жеваине, королеве мексиканской», «Побочный сын короля Наваррского», «Нравоучительиые басии Федора Эмииа», «Горестная любовь маркиза де Толедо».

Рядом с этими киигами иаходились и серьезиые труды, среди которых Демидов иашел «Сокращеиие естественного права», «Житие славиых в древиости мужей», «Государь и министр», «Проповеди Феофановы», «Волтеровы разговоры».

Сильио обрадовался Никита, когда из груды книг извлек знамеиитый сатирический журиал «Всякая всячина», который редактировала не кто ииая, как сама императрица Екатерииа Алексеевиа.

Киги бережно расставили в шкафу, и Никита Акиифиевич подолгу засиживался над томиками в своем обшириом кабинете. Напрасио рвалась к нему Юлька, Демидов охладел к ией и сейчас мечтал о друтом. Ои готовился к поездке в Саикт-Петербург, а между делом вспомииал Катюшу и, покореиный ее чистотой, уходил в ее горенку, чтобы на время отвлечься от книг и заводских дел...

Кержачка была робка и стыдлива. Оиа терпеливо сиосила ласки хозяина. В глазах девушки, как в голубом роднике, часто блестели слезы. Ходила оиа неслышно, легкая и плавная, как белая лебедь. В хоромах не слышалось ее голоса, дворовые редко видели подругу хозяина. Мир Катеринки сузился. Бабка Федосьевиа пыталась забавлять ее байками, но девушка хмуро сдвигала брови и уходила в спаленку. Никто ие зиал, как горевало ее сердце. Не ведала Федосьевна, что Катюша подолгу тайно разглядывала из окоица своей горенки далекие сииие горы, обшириый сад. Случалось ей видеть подле медвежонка своего Митю. Лицо кержачки

тогда вспыхивало стыдом, н она с сокрушеннем отходнла от окиа. Прошлое ушло невозвратимо.

Однажды оиа броснлась Ннкнте в иоги и, обливаясь слезамн, стала проснть:

— Отпустн ты меня на волю, Ннкнта Акинфиевнч!

— На волю?— уднвнлся хозянн.— Скоро больно захотелось! Демндовы доброго не уступят никому. Ужлн Мнтька Перстеиь лучше меия?

Катернлка не проронила словечка, оиа молча опустнла рукн и отошла от Демндова.

2

Скрывая ревиость н злобу, Юлька ластнлась к кержачке. Она проникала к ней в гореику, без умолку щебетала, расхвалнвая ее красоту. Катерника доверилась ей, Юлька расплетала и расчесывала косы соперницы. Пышные густые волосы нниспадали иа пол. Экоиомка зарывалась лицом в темиые прядн н восхищалась нми:

— Какне косы! Иезус-Марня, до чего ж шелковнсты!..

Голос Юлькн дрожал от завнстн, глаза темнелн.

Ннкто не знал, сколько мучнтельиых бессоииых иочей провела Юлька в мыслях о мести. В одиу из темиых ночей оиа сбегала к знахарке Олене. Пожаловалась на остывшую любовь хозянна.

В ветхой хнбарке Олены Юльку охватил суеверный страх. Все было так, как в старой русской сказке. Закопченные стекла, духота от запаха душистых трав, развешаииых под иизкнм потолком, на печи горят зелеиым огоньком кошачьи глаза. Завидев Юльку, чериый кот изогнулся дугой и фыркнул.

— Иезус-Мария!— дрожа от страха, прошептала полька.

На припечке красиым язычком огонь лизал медный котелок. Склоннвшись над иим, старуха шептала таииственные слова. Кровавый отблеск пламеии играл на ее морщиииостом лице.

Юлька пуглнво суиула в шершавую ладошку ведуньн золотой. Та жадио схватнла его и спрятала за щеку.

— Достань, слышь-ко, его чулки!— посоветовала оиа.— Я отстнраю и наговорю ту воду.

Старуха подошла к припечку, порылась в золе и добыла три серых зернышка.

— Держи, крепко держи!— зашамкала оиа.— Одио, слышь-ко, брось против хозяйских хором, другое — ему под ноги, когда будет ехать, а третье в рубаху пусти, когда тешиться придет...

Не помогли ии заговор, ни три зериа зиахарки: Катериика целиком овладела помыслами Демидова. Строгая и молчаливая, оиа проходила по саду, а ои шел следом за ней, ссутулясь, покорно склонив голову.

Юлька все это видела, притаившись в кустах малиииика. Сердце ее сгорало от ревиости. «Недотрогой прикидывается,— шипела она.— А сама, пся крев, завлекает тем...»

И тут ей пришла простая мысль: «Отравить надо иеиавистиицу!» Она поимала: пойдет миого всяких толков среди людей, ио все будут молчать. Народ зиает демидовские замашки и все свалит иа Никиту. Скажут: «Наскучила любовиица, вот и коиец ей!»

Темиой иочью Юлька сиова побежала к ведуиье Олеие. Над горами горели редкие звезды, сторож у дальних складов пробил полиочь. Тяжелые звуки, как ядра, падали в тьму и расплывались. Влажиый лопушиик хватал за ноги, высокая густая полынь обдавала росой. Полночиая тишииа, затеряииый огоиек в глухом овраге иавевали страх. Резким криком потрясая тьму, в чаще закричала сова. У Юльки подкосились иоги. Непрестаиио озираясь и крестясь, оиа добежала до хибарки и распахиула дверь. Старуха еще ие спала. Оиа сидела перед огоиьком и, как ящерка, грелась. Чериый кот, мурлыкая, терся у ее ног.

— Бабушка!— врываясь, крикнула Юлька.

Олеиа повериула морщиииистое лицо, и что-то жалкое, иапомииающее улыбку, мелькиуло иа ее ввалившихся губах.

— Поджидала я тебя, зиала, что придешь,— просто отозвалась бабушка.

У Юльки стучали зубы.

— Успокойся, милая!— Бабка протяиула руку и поматериски погладила ее спииу. Волиуясь и торопясь, Юлька рассказала о своем горе:

— Не отходит хозяйское сердце, прилипло к холопке. А что в ней хорошего, бабушка? Корова она! Толста и румяиа, вот и все.

— Видать, ей ворожит кто посильиее моего,— с печалью отозвалась старуха.

— Ой, помоги, родимая!— прижалась к ней Юлька и умоляюще прошептала:— Дай отравы!

Старуха усмехнулась:

— Что удумала, аль жизнь надоела? Эх, красавица ты моя, ягодинка, сама того не знаешь, что за радость светлая младость! Взгляни на себя, ты ровно яблонька в цвету...

— Я жизнь люблю, бабушка. Ой, как люблю!— раскраснелась от возбуждения Юлька.— И милее всего он моему сердцу. Отравить надо, бабушка, ее... разлучницу...

— Что ты, окстись!— отшатнулась старуха.— Аль не ведаешь, что это смертный грех?— Олена укоряюще поглядела на Юльку.

— Пусть грех, пусть окаянство, не могу боле терпеть. Ой, не могу! Дай отравы, бабушка. Дай, родненькая!— ластилась к старухе Юлька. Она вынула из платочка золотой, и он, как огонек, засверкал на смуглой женской ладошке.

— Ой, горит жарынька! Уголек ясный!— впилась в золото знахарка, лицо ее по-ястребиному вытянулось. Скрюченные дрожащие руки жадно потянулись к червонцу.— В грех вводишь, красавица.

Юлька быстро зажала золото в кулачке.

— Дашь, что ли, отравы?— настойчиво спросила она.

Старуха закряхтела, встала и потянулась к укладке, стоявшей в углу. Она долго рылась там, вынула ладанку и подала ее гостье.

— Вот насыпешь щепотку сего зелья в питие или в ятсво — и конец,— морщась, сказала она.— А если уж и после того будет жива твоя соперница — значит, вековать ей долго. Сам господь бог за нее. Тогда отступись!

Юлька молча разглядывала ладанку. Лицо ее зарумянилось. Она тряхнула головой и вышла из хибарки...

3

Юлька боялась одного: узнает Никита о ее делах — убьет. Она решила сманить Митьку Перстня на преступление. Конюх по-старому служил барину, но было заметно — стал задумчив и печален. В саду он обладил большую клетку и усадил в нее подросшего зверя. Годовалый медвежонок сильно баловал, и баловство это

беспоконло хозянна. Зверь ожесточился, рвался из темнницы, ио запоры были крепкн. Перстень только н отводил душу в забаве с мохнатым другом. Ои выпускал его на волю, гонял по саду, схватывался бороться. Незаметио ои ярнл Мншку, и зверюга свирепо кндался иа людей. Одиого Митьку только и слушался он. Конюх с горя напнвался пьяным н забнвался в медвежью клетку. Там два горюиа засыпали в обиимку.

Перстень танл в своем сердце снльную тоску по Катеринке. Эта тоска вспыхивала то буйством, то ревностью. Блнзкне Ннкнты Акнифиевнча советовали:

— Гляди, поопасись, любезный! Варнак разум теряет.

— Ннщто,— улыбнулся Демндов, в серых глазах его вспыхиуло озорство.— Не боюсь я варнака, одно словцо зиаю. Разом обомлеет, ежели иа хозяина руку подинмет.

Одиажды в жаркнй полдеиь заводчик пожаловал в конюшию. Все было чисто, в порядке. В прохладных стойлах отдыхалн сытые вычнщеииые коин, размереиио хрупалн овес.

Хозяии прошел в обшнрное стойло, где стоял его любнмый вороиой Игреиь-коиь. Легким ржанием скакуи приветствовал Демидова. Ннкита с удовольствнем поласкал бархатистую кожу коия.

В ту же мннуту в яслях зашумело сухое сено, нз вороха трав высунулась лохматая голова, зелеиые кошачьн глаза впились в Демидова.

— Мнтька!— прнзнал хозяни конюха н успоконлся.— Ты что ж дрыхиешь?

— Натруднлся больно, иевмоготу было,— отозвался конюх н проворио выбрался нз яслей. Ои стряхнул с одежды былинки и мрачио уставился в Никиту Акиифневнча...

Хозяин встретнл вызов упрямым взглядом.

— Ты что ж, все еще в обиде?— с еле уловнмой иасмешкой спросил ои.

— Молчи о том, хозяии!— глухо отозвался Перстень, н глаза его сузнлнсь.

— А бес, поди, шепчет иа ухо, ась?— лукаво ухмыльнулся Демндов, ие спуская глаз с холопа.

— Шепчет,— прнзиался Митька.— В такую пору ухожу в медвежью клеть. Уволь, хозяни, от места прн себе. Богом заклннаю, уволь!

— Почему?— уднвился Никита.

— Суди сам: хожу тут и все вижу. Сохну я, неровен час... Всякое бывает, хозяин...

— Ничего не будет. Запомни, холоп: в своей жизни и корысти я, Демидов, волен, и никто больше. Слышал?

Никита Акинфиевич повернулся и ровным, размеренным шагом пошел из конюшни. В полутьме хлева остался одинокий Перстень; он скрипнул зубами.

В тот же день, словно по делу, прибежала на конюшню проворная похудевшая Юлька. Она, как сорока, носилась от стойла к стойлу, без умолку щебетала и восхищалась конями. Между делом, будто невзначай, двинув конюха плечом, заглянула ему в глаза.

— Прозевал кралю?— задорно улыбнулась она.

Митька угрюмо промолчал.

— Ну, что сопишь? Язык присох, что ли?

— Ты вот что: уйди! Не вводи в грех!— простонал конюх.

— Дурак!— отрезала Юлька.— Стоящий мужик разве уступит свою кохану? Убьет, а не отдаст пану в наложницы!— Экономка брезгливо поджала губы.

— Не мути мою душу!— отвернулся от нее Перстень, но она не унялась, схватила его за рукав и зашептала жарко:

— Понесла она от хозяина. И рада тому, поет, гулена. Ох, и любит же она его! Ох, и любит...

— Убью!— поднял кулак Митька, глаза его потемнели.

Но Юлька и тут не угомонилась, она вся подалась к нему, играя глазами, протянула руку:

— На, возьми... Отравить гадину надо.

— Что это?

— Бери.— Юлька сунула ладанку.— Отрава тут.

— Ах ты, гадина!— Не помня себя, Митька хлестнул экономку по лицу. Она взвизгнула, но тут же опомнилась и торопливо выбежала из конюшни.

— Убью!— орал конюх.— Изничтожу!

Голос его дрожал гневом. От крика встрепенулись и зафыркали в стойлах кони. Прижимая руки к сердцу, Юлька опасливо оглянулась на конюшню и стремглав бросилась прочь...

4

В начале августа Никита Демидов отбыл в Казань. Вечером перед дорогой хозяин вымылся в бане и, утомившись, рано завалился спать. Катеринка эту ночь

простояла на молитве, радовалось сердце: впервые не пришел хозяин.

«Пусть хоть в шахту, на черную работу, но душе покой!— облегченно думала она.— Лучше кабала, чем позор и попреки заводских женок!..»

Утром Никита Акинфиевич вызвал к себе экономку и пообещал:

— Отбываю ноне, сударушка! Запомни зарок: ежели одна волосинка спадет с Катюшиной головы, шкуру с тебя спущу!

Молчаливая Юлька безвольно опустила руки. Скорбно смотрела на Демидова. Не было в нем ни жалости, ни страсти, сидел перед ней чужой, суровый человек с жестоким неподвижным лицом. Взор хозяина выжидающе впился в Юльку, и в эту минуту она уловила в нем что-то общее с портретом деда, Никиты Антуфьевича. Руки хозяина были сухи и жилисты, крепко уцепился он ими за ручки массивного кресла, весь подался вперед и, как орел, стережет добычу.

Она ушла обиженная. А следом за ней Никита вызвал к себе приказчика.

— Ты вот что, слушай,— властно сказал хозяин.— В доме остаются две бабы. Оберегай их от порухи другими да гляди, как бы сами не перегрызлись. Вот и весь сказ. А теперь коней мне!..

В сенях подкованными сапожищами затопали холопы. Никита покинул горницу и вышел на крыльцо в ожидании экипажа.

А в эту пору в своей горенке горько плакала Юлька; невыносимо жалко ей было себя. Но сквозь слезы и жалость к себе в сердце ее проснулось ожесточение. «Теперь погоди! Покрасовалась!..»— гневно думала она о Катюше...

В обширных хоромах после отъезда Демидова стало пустынно. От шагов по горницам катился гул. По ночам зловеще трещало сухое дерево — рассыхалась старинная мебель. В подполице скреблись мыши. Покинутые наложницы, как тени, одиноко бродили по опустевшему дому. Хитроглазая Федосьевна зорко приглядывала за ними.

В каменном доме всегда было сумрачно, а над горами голубело небо. Отходили золотые августовские дни. Близилась осень.

В саду еще было тепло и отрадно. Ночи стояли лунные, призрачные, а днем шуршал листопад, последней

красой отцветали цветы. Федосьевна подолгу грела на солнышке свои старые кости.

— Едет осень на рыжей кобыле — загляденье!— восторгалась она августовскими красными днями.— Уздечки у ней серебряные — паучьи тенета, колокольцы — журавушки в небе. Осподи, до чего ж хорошо!

Юлька не слушала старуху, бродила по дому босая, нечесаная.

— Опустилась краля!— недовольно качала головой Федосьевна.

Катюша выходила в сад. Под березкой, среди кустов, стояла одинокая скамья. Девушка забиралась сюда и затихала в благостном одиночестве. Невдалеке журчал ручей, шелестела листва, и над горами голубело небо. Здесь, в забытом углу, отходило горе, и, подолгу разглядывая даль, девушка задумчиво грустила.

Так сидела она под березкой в теплый осенний день. Желтые листья с легким шорохом падали к ее ногам. Она полузакрыла глаза; сквозь густые ресницы золотым сиянием проходил светлый день. Мнилось Катюше, что она одна-одинешенька во всем мире. Кажется ей, что плывет она в утлой ладье среди голубого сияния, и легко-легко стало на душе...

Очнулась она от злого урчанья. Подняла голову и обомлела. Поднявшись на дыбы, перед ней стоял медведище. Глаза у зверя злые, колючие. Медведь заревел, поднял лапы...

Когда на крик сбежалась дворня, зверь, повергнув на землю, мял Катюшу.

Вилами, дрекольем мужики отогнали зверя и заперли в клетку. Катюшу отнесли в хоромы. Истерзанная, с неузнаваемым лицом лежала она на белых простынях. Ничего не осталось от прежней красоты Катюши. Обмывая раны, Федосьевна качала головой:

— Отцвела-отпела свою песенку, горемычная! Кому ты теперь такая нужна?

Юлька выбралась из своей светелки и пришла погоревать над подругой, но бабка зло прикрикнула на беспутную:

— Уйди, окаянница, уйди прочь!

Экономка пробовала слезами утихомирить бабку, но разве обманешь старое сердце? Федосьевна схватила клюшку и заревела:

— Прочь, варначка! Твоих рук дело. Скличу приказчика — худо будет.

Юлька притихла, трусливо убралась из горницы.

Катюша лежала молчаливая, неподвижная, только сердце ее не угасло, билось...

С гор подули ветры, из-за шиханов выплыли черные неприглядные тучи, пошли осенние докучливые дожди. На холодную влажную землю упал последний золотой лист. Ночью в трубе выл беспризорный гулена-ветер, навевая тоску. Демидовский дом потонул во мраке, тяжелое горе притаилось в нем.

В оголенном саду в клетке скулил скучавший зверь. Митька не приходил больше к клетке, не тешил дружка. Медведю было сыро, холодно, стервенело его сердце...

5

Между прочими делами кыштымский управитель сообщил хозяину:

«А еще малая беда приключилась: медведище искромсал девке Катерине лицо. К чему приставить теперь эту холопку — воля ваша».

Никита Демидов отписал:

«Дабы та девка меж двор не шаталась, найти ей вдовца и выдать ее по нужде замуж. Хозяйству от сего буде прибыль».

В зимний мясоед изувеченную Катюшу выдали замуж за вдовца. По селу издавна шатался непутевый человечишка Ермилка-горщик, буян и пьяница. Ему-то кыштымский управитель и сосватал Катюшу.

Незадолго до венца Митька Перстень встретил изувеченную Катерину у колодца. Хоть и страшно выглядело изуродованное лицо, но парень не отшатнулся от горемычной. Большие ясные глаза Катюши теплым светом озаряли лицо. Заныло сердце Перстня, потянуло к ней. Она ласковым взглядом улыбнулась ему, но тут же померкла, затуманилась.

Конюх сказал ей:

— Не кручинься, Катюша. Я все так же... Ежели бы ты захотела...

Он не досказал своей мысли, она решительно повела головой:

— Не надо, не говори так! Кому я теперь нужна?

Лицо ее не выражало ни мук, ни печали. Она примирилась со своим горем.

— Слышал?— спросила Катюша.— Хозяин меня за Ермилку отдает.

Митька взял ее за руку:

— Уйдем отсюда!

— Не терзай меня,— тихо отозвалась она.— Некуда мне уходить! От себя не укроешься. Каждому человеку свое счастье на роду написано...

Кони жадно пили воду из колодца. Игрень-конь поднял гривастую голову, заржал. С его мягких губ брызнули серебристые капли. Перстень с любовью посмотрел на скакуна.

— Ускачем на этом дьяволе!..

Из-под ресниц Катюши выкатились слезинки, она торопливо утерла их.

— Скачи один за своим счастьем!— отчужденно сказала она, повернулась и тихо побрела по тропинке.

— Катюша!— в последний раз окликнул ее Перстень.— Помни, в беде кличь меня!

— Спасибо на добром слове,— чуть слышно проговорила Катюша и ускорила шаг...

В полях навеяло глубокие переметы-сугробы, ели в лесах гнулись под тяжестью снега. Птица жалась к человеческому жилью, запах дыма привлекал лесное зверье. Кыштым спал в зимних просторах.

Катюше мнилось: одета земля саваном, помертвела, не прошелестит больше лес, не пропоет веселая птица. Шла свадебная гульба, а горемыка ушла в себя, не слышала ни песен, ни похвальбы пьяного Ермилки, с которым люди судили век вековать. По наказу хозяина заводской управитель шумно справлял свадьбу. Священник возложил венцы на пьяного горщика и Катюшу. Был этот венец для нее мученическим...

На другой день свахи подняли молодых и содрали с Катеринки сорочку. Сбежалась вся мужняя родня и любопытные соседки. На молодайку надели тяжелый хомут и в одной нательной рубахе повели невестку на позорище.

Впереди всех на улицу выбежала худая злющая свекровь и забила уполовником в котел.

— Порушена! Порушена!— исступленно закричали охмелевшие свахи и загремели в сковороды.

Позади всех, шатаясь, чванливо вышагивал уже подвыпивший спозаранку Ермилка. Бороденка у него всклокочена, сам грязен, гречушник набекрень, и пьяненькие глаза веселы и озорны. В руках у мужа кнут, которым он то и дело грозил жене.

— Пошла, пошла, гулящая!— закричал он вдруг на жену.

Кругом гудела толпа, возбужденная и расстроенная горем и слезами Катеринки. Посреди дороги встал Митька Перстень.

— Стой, миряне!— закричал он.— Одумайтесь, что вы робите? Пошто измываетесь над горемычной?

— Ты кто такой?— накинулся на него с кнутом Ермилка.— Откуда такой защитник моей бабе выискался? Прочь с дороги!

Но никто не двинулся с места. Женки в толпе сердито закричали:

— Не допустим обиды над Катюшей! Не по своей вине такое вышло! Барин приневолил, да еще батьку Пимена порешил. Она и так жизнью обижена. Не дозволим!

Гром в сковороды смолк, но Ермилка все еще куражился: размахивал кнутом и нацеливался огреть молодую жену. Из толпы вышел литейщик Голубок, вырвал у пьянчужки кнут и огрел его.

— Ты это что же?— взревел Ермилка.

— А коли у самого нет разума и совести, так я научу тебя!— построжал старик.

— Поучи, поучи его, дядя!— одобрительно закричали кругом.

Но Голубок больше не тронул Ермилку, растолкал свах со сковородами, сердито оттолкнул свекровь и крикнул женкам:

— Айда, помогите!

С Катюши живо стащили тяжелый хомут, прикрыли ее платком и приласкали:

— Успокойся, родная, не допустим тронуть!

— Я муж, что хочу, то и делаю!— снова осмелел Ермилка.

Голубок сумрачно поглядел на него и посулил:

— Только тронь сиротину, всем миром с тебя штаны спустим и крепко проучим! Бери женку за руку, веди с миром в дом. Что было, то быльем поросло!

Но Катюша отшатнулась от Ермилки:

— Не люб он мне! Ой, не люб! Лучше в гроб, чем опять с ним!

Трепещущая, она вырвалась из рук и убежала к овинам. Посреди дороги стоял Перстень и, тяжело опустив голову, думал:

«Увести к себе мир не дозволит. Повенчана с другим, а с ним ей не житье. Ох, и тяжко!»

6

Катерину разыскали в предбаннике с веревкой на шее. Молодая женщина сидела в уголке и тихо пела. Слегка раскачиваясь, она, как ручеек, наполняла баньку своим чистым, серебристым голосом.

Женки заглянули в глаза несчастной и отшатнулись. Поняли они: со стыда и горя молодка навек лишилась ума-разума.

Издавна среди народа повелось, что никто не смеет поднять руку на несчастного человека. Женки дали дорогу безумной. Оборванная, страшная, с протянутыми руками она вышла из бани.

В логах разливались вешние ручьи. Посинели далекие шиханы, повеселел лес. В горы пробиралась несмелая запоздалая весна. Под звонкую капель по озолоченной солнцем дорожке Катюша шла и шла к шумному горному лесу.

Женки долго задумчиво глядели ей вслед, потом все разом поклонились:

— Прости нас, окаянных! За горестью по слепоте своей не разглядели твоего злосчастья, тяжело согрешили... Не помогли вовремя в беде!

Весной вернулся Никита Акинфиевич из Казани. После осмотра завода он вспомнил о Катюше.

— Где она? Как живется бабе?

— Загубил Ермилка молодую,— скорбно доложил хозяину приказчик.— Нет ноне Катеринки, бродит по тутошним местам Медвежий огрызок.

Демидов задумался, но ненадолго. Как легчайшее облачко, быстро промелькнула и отлетела его грусть. Хозяин встрепенулся, поднял глаза и приказал приказчику.

— Отсчитать Ермилке сто плетей! Такую бабу загубил, варнак!..

На деревьях вскрылись клейкие почки, и прошумела первая гроза в горах. Перстень вызвался отвезти хозяина на соседний рудник. Он запряг в бегунки резвого коня и взобрался на облучок.

Игрень-конь легко взял и резко понесся по веселой дороге. Демидов сидел молча, погруженный в свои думы. Мчались лесом, чащобами, пересекали говорливые

ручьи, миновали укрытые водяной пылью горные падуны. В кустах, в кедровниках гомонили птицы, хлопотали над гнездовьем.

Кругом буйно шумела жизнь. Мчались мимо заброшенных шахт, одиноких заимок...

Знал Перстень одну заброшенную шахту, залитую полой водой, укрытую лесной глухоманью.

К ней подкатил ямщик, лихо осадил коня и соскочил с облучка.

— Ну, хозяин, молись, пришел твой конец! — сказал Перстень и выхватил из-за голенища охотничий нож.— Было время, мочалил ты мою душу, опоганил самое дорогое.

— Брось!— сумрачно отозвался Демидов.— Не до шуток ноне мне.

— Какие шутки!— угрюмо перебил Митька.— Настала пора поквитаться с тобой за Катюшу.— Лицо конюха потемнело, он надвигался медленно, неумолимо...

Демидов насторожился. Среди наступившей зловещей тишины раздался его суровый голос:

— А помолиться-то дашь?

— Крестись, поторапливайся, хозяин!— Перстень весь насторожился, ждал момента.

Никита взмахнул рукой — над Митькой вздымилось легкое зеленое облачко.

— Хотя ты и кержак, а табаку понюхай! Добрый тютюн! Крепкий!..

Перстень взвыл от едкой боли в глазах и прикрыл их ладошками; нож выпал из рук в дорожную пыль. Проворный Никита подхватил его.

— Ну, так оно лучше, без убийства,— спокойно сказал он.— Ты что ж думал, что хозяин — простофиля, ротозей? Так тебе и подставит свою глотку под разбойный нож? Насквозь вижу, лиходей, что носишь ты в своем сердце.

Перстень задыхался от гнева на себя: «Как прозевал я эту сатану?»

— Знал мои умыслы, а пошто взял меня за кучера?— огрызнулся он.

— А потешить себя хотел,— насмешливо отозвался Демидов.— Жизнь в сих краях — что опресноки. Позоровать захотелось... Ну, поворачивайся, леший!— Хозяин деловито вытащил из тарантаса веревку, схватил Перстня за руки и прикрутил их назад.— Теперь сядем рядком да потолкуем ладком. Так, что ли?

Он усадил конюха рядом с собой, взял вожжи, свистнул и как ни в чем не бывало продолжал путь...

Перстня бросили в кыштымский застенок, хотели пытать, но когда хватились, в темнице лежали перепиленные железа да темнел подкоп. Лихого парня и след простыл.

— Ничего,— успокоил себя Демидов.— И в горах бегуна поймают, не унесешь кости, поганец!— пригрозил он.

На этом хозяин и покончил. Торопился он в дальнюю дорогу, некогда было думать о провинившемся холопе.

7

Из Ревды в Кыштым внезапно прискакал гонец с печальной вестью: скончался братец Григорий Акинфиевич. Хотя особой любви Никита и не питал к брату, но все же сильно опечалился, подумал о себе. «Гляди, как коварна смерть, ты думаешь, строишь планы, размахнулся, а она вдруг тебя жих острой косой!» Угрюмый и молчаливый, он отправился на похороны. Григорий жил неслышно, вел дела скромно и старался держаться в сторонке от братьев. И сейчас, лежа в гробу, он казался маленьким и жалким. Демидов истово помолился и долго вглядывался в ставшие незнакомыми черты брата.

— Эх, рано убрался! Сорока шести годочков не было!— со вздохом сказал он и постарался успокоить вдову:

— Ты, Настасья Павловна, не убивайся, все там будем!

Вдова, хилая, полубольная женщина, припала к гробу и не сводила глаз с дорогого лица. Жаркие слезы катились по ее щекам.

— Если бы ты, Никитушка, знал, какой он добрый человек был для семьи!

Никита Акинфиевич недовольно нахмурился.

«Сама еле-еле душу в теле носит, а гляди, сколько ребят поторопилась нарожать!»— осуждающе подумал он, оглядывая вдову.

У гроба брата его обуревали и страх перед смертью и жадность. Ему казалось, что его будто обкрадывают.

— Где хоронить будете?— спросил он.

— Наказал Гришенька отвезти его в Тулу и положить рядом с дедом,— скорбно ответила Анастасия Павловна.

— Похвально!— одобрил Никита.— Ну что ж, царствие ему небесное!

Тело брата Григория отвезли в Тулу и похоронили в церкви Рождества Христова. И Никита Акинфиевич больше ни разу не вспомнил о брате.

Прошло несколько лет, и страх перед смертью снова всколыхнул его. На завод с эстафетой пришло письмо из Санкт-Петербурга. Писала жена Александра Евтихиевна о своей тоске и печаловалась ему:

«Внезапно стала худеть, к тому сильно наскучил невский город. Прошу вас, мой благонравный муж, оставить свои заводы и вернуться к нам. Кто знает, свидимся ли? Тревожит мое сердце болезнь, и сны все нехорошие снятся».

Демидов неделю торопливо объезжал заводы и рудники, проверял дела. Опытным глазом подметил заводчик: работа идет налаженно, споро. «Можно ехать!»— решил он.

Вернувшись в Кыштым, он вызвал к себе приказчика.

— Завтра еду в Санкт-Петербург,— оповестил он его.— Наказываю: позаботься о нашей пользе. Помни, за лихоимство и злое попустительство, за ленивость шкуру спущу! Суди так, будто еду я надолго и ты заступил мое место. Людей держи строго!

Приказчик, молча выслушав хозяина, поклонился.

— Можешь положиться на меня, Никита Акинфиевич. Как пес, оберегу твое добро, благодетель.— Голос его звучал уверенно, вел он себя спокойно, неторопливо.

Глядя на своего управителя, Демидов удовлетворенно подумал: «Этот не выдаст. В крепких руках будет мое хозяйство...»

Перед отъездом Никита забрался в светелку к Юльке. Среди ласк Юлька робко попросила:

— Возьми меня с собой!

Демидов усмехнулся:

— Это что же, еду к женке и тебя прихвати? Да ты знаешь, кто ты?

— Я вольная. Не смеешь со мною так!— вспыхнула гневом полька. Покорность с ее лица как ветром сдуло.— Не возьмешь — сама уйду!

Лицо девки вспыхнуло, жарко загорелись глаза, и в гневе своем она стала хороша. Демидов невольно загляделся на экономку. Осиливая истому, он сердито засопел:

— Никуда ты не уйдешь! Отсюда только одна дорога — на погост!

Юлька упала на колени, простерла руки, по щекам ее катились слезы.

Демидов овладел собой, быстро поднялся, отбросил с дороги Юльку и вышел на порог. У крыльца поджидала тройка.

Надолго уехал Никита Акинфиевич из родных краев. Все понемногу забылось. Затерялся в лесах след беглого Перстня.

Только жизнь Катюши протекала на людских глазах. Народная молва не лежит на месте. Сказывали горщики: после того как девка лишилась ума-разума, бродила она по горам, все искала себе пристанища. Блуждала она по шахтам да по лесу, страшная, волосы нечесаны, одежонка ветхая.

Горщикам было жалко ее. Они кормили горемычную, согревали в балаганах. За уродство и страшный лик так и осталось за ней прозвище Медвежий огрызок.

Искатели золота просили несчастную:

— Ты бы, Медвежий огрызок, показала какую богатимую делянку. Знаешь, где клад лежит, высмотрела, поди, ходючи по горам.

Раз случилось такое: набрела Катюша на артель старателей, облюбовала среди них молоденького чернявого парнишку.

— Красив больно ты, и счастье тебе пусть идет!— сказала она, отошла от балагана шага на два, топнула ногой.

— Здесь клад!— Улыбнулась и ушла, как туман растаяла.

Горщики засмеялись, пошутковали над молоденьким:

— Вот и приданое девка принесла!

Паренек не смутился, принялся за дело, тут же и пробу взял.

С первого ковша намылось двенадцать золотников. К вечеру мужики взяли много золота. Стали тут искать Катюшу, а ее и след простыл.

После долгих и хлопотливых поисков отыскалась она в глухомани, в пещерке, в больших камнях. Усадили горемычную на конька и с почестью повезли на рудник.

Но недолго ей, голубушке, жить довелось. Старатели ехали в субботу домой на банное мытье — увидели, лежит на дороге бедная, закоченела уже, и снегом ее занесло.

Всем селом хоронили Катюшу, и немало тут слез пролито было над покойницей.

Снова на Урал-горы пришла весна, омыла дороги, леса, шиханы. Прошумели грозы, но не смыли они в родной памяти думку о загубленной жизни горемычной девушки.

Глава третья

1

В ту пору, когда братец Никита, следуя примеру деда и отца, поспешно возводил и расширял заводы на Каменном Поясе, Прокофий Акинфиевич, покинув родные края и покуролесив в Санкт-Петербурге, решил окончательно обосноваться в Москве, которая сохраняла прелесть для Демидова потому, что многое здесь было связано с прошлым его рода. Отсюда дед Никита Антуфьев повел завоевание Каменного Пояса, тут в Кремле он встречался с великим государем Петром Алексеевичем.

Но была и еще одна причина, почему Прокофий Акинфиевич покинул Санкт-Петербург и переселился в Москву.

В Москве, вдали от двора, Демидов мог жить на широкую ногу, ничем не стесняясь, и здесь на просторе предаваться своим причудам и дурачествам.

Первопрестольная сама во всем была своеобразна: не знала золотой середины. Исстари повелось тут: уж если любить, так любить без памяти, если жертвовать, так сотни тысяч,— во всем чуялся русский безудержный размах, удальство.

С петровских времен мало чем изменилась Белокаменная. Не один раз она выгорала и возводила на пепелище свои деревянные строения. За исключением Кремля и златоглавых церквей, город на всем своем

обширном пространстве поражал контрастами. Здесь роскошь уживалась с крайней нищетой и убожеством. Бок о бок с дворцами лепились лачуги, рядом с вельможей, едущим в богато раззолоченной карете, по улице брел оборванный, отвратительный юродивый. Но дворяне и помещики жили тут привольно и роскошно. Дома их располагались среди садов, все здесь напоминало усадьбу, наполненную дворней: учителя, мамки, няньки, дядьки, псари, конюхи, скороходы, арапы для выездов. Особенно оживлялась Москва зимой, когда съезжались из ближних и дальних захолустий зажиточные помещики и предавались безудержному веселью...

По разделу наследства достался Прокофию Акинфиевичу обширный запущенный дом на Басманной, близ Разгуляя. Как ни старались холопы привести его в порядок, однако из всех углов веяло запустением, заброшенностью. После Санкт-Петербурга обширный угрюмый дом наводил тоску. Прокофий подолгу бродил по горницам, под ногами поскрипывали старые истлевшие половицы. Ночами старинная рассыхающаяся мебель издавала грустный треск, и тогда казалось, что во мраке кто-то тяжко ступает. Прокофию становилось страшно. Часто среди ночи он пробуждался от мрачных дум.

Самолюбивый, избалованный владетель огромного состояния искал почета, известности. Червь неудовлетворенной гордости, красование собой, стремление всюду быть первым, затмить своими богатствами всех и вся не давали ему покоя.

Однако недолго скорбел Прокофий Акинфиевич. Вскоре вновь загорелся и, словно торопясь наверстать утерянное время, жадно взялся за устройство жизни на новом месте.

Ранним утром конюхи подводили к крыльцу стройного серого жеребца, и Прокофий легко взбирался на него. В сопровождении слуги он объезжал первопрестольную, отыскивая приятный уголок. Увы, в самой древней столице не находилось места, которым прельстился бы Демидов! Улицы были грязны, зачастую среди луж с наслаждением купались хрюкающие свиньи, тут же кувыркались и плавали утки. Нередко всадники заезжали в тупички — до того запутаны были узкие кривые улочки и переулки. Дома, которые высились на пригорках, разделяли иногда целые пустоши или обширные сады и огороды. Часто хоромы знатных

людей таились под кущами вековых деревьев. Тут простирались луга, пруды, сады, огороды. Казалось, барин-помещик целиком перенес сюда из российских просторов свою далекую усадьбу. Урочище Садовники тонуло в море яркой зелени. Прокофию Акинфиевичу было в диво: пред стенами векового Кремля колыхались нетронутые дубравы и сады. Легкий ветер приносил сладкий запах цветов и трав. Яблони, вишни, груши, заросли густого малинника потоками зелени заливали обширные пространства и тянулись к далеким лугам и синим перелескам. Из лесов нередко сюда захаживал непрошенный гость — лакомый до плодов медведь.

После долгих блужданий облюбовал Демидов подле Донского монастыря, у самой реки Москвы, живописный уголок, где и решил обосноваться. Место было привольное, удобное, и Прокофий Акинфиевич не долго рядился с владельцами. Он купил его и принялся за дело. Задумал Демидов построить над рекой дворец и развести чудесный сад. На верху пологого склона, сбегающего к Москве-реке, архитектор Ухтомский заложил дивное каменное палаццо. Сотни каменщиков трудились над возведением стен и колонн. По неровному скату берега копошились грабари, землекопы, плотники. Они разравнивали землю, ладили обширные террасы, а на них строили каменные оранжереи. Внизу копали огромный пруд.

Охломон — доверенный Прокофия Акинфиевича — зорко приглядывал за работными, чтобы они не ленились, клали камень в стены плотно, крепко, чтобы землю копали глубоко: тогда растревоженная земля пробудится для плодоношения.

Из заморских стран сюда везли редкие деревья, цветы, доставляли диковинных животных и птиц...

Два года прошли в кипучей напряженной работе, и над Москвой-рекой в лучах жаркого солнца засверкал белокаменный со стройной колоннадой дворец. От него сбегали к реке широкие уступы чудесного сада. Крашенные белой краской каменные оранжереи чередовались с небольшими газонами. По газонам зеленели редкие кустарники, пестрели цветы сказочных окрасок и тонких ароматов. В прозрачном пруду плавали стаи черных и белых лебедей, уток, гусей.

Настал день, когда Прокофий Акинфиевич, одетый в просторный синий бархатный кафтан и в бархатной шапочке, с серебряной лейкой в руке обходил газоны

с любимыми драгоценными деревцами и сам поливал их. Приглашенный прославленный художник Левицкий написал на холсте Демидова за любимым занятием.

Академик Петр Симон Паллас, возвращаясь из дальних странствований, остановился в Москве в демидовском дворце и был очарован ботаническим садом Прокофия Акинфиевича.

Часто в утренние часы сиживал он у окна своей светлицы, помещенной в третьем этаже, и любовался купами деревьев и пышными газонами. В синем полосатом шлафроке и ночном колпаке, он поеживался от утреннего холодка, но не мог оторвать глаз от чудесного зрелища. Перед ним синели дали. Москва-река еще клубилась белесым туманом, но верхушки высоких тополей уже были освещены всходившим солнцем. Каждую минуту все преображалось: ярким изумрудным цветом окрашивались приречные луга, морской волной набегал на берег гибкий, волнующийся от ветерка ивняк; молочно-белой пеной сияли цветущие яблони; среди темно-синих угрюмых кедров и пихт под утренним солнцем вдруг вспыхивали и зацветали всеми нежными тонами радуги нарядные газоны...

Положив на ладошку свое худенькое старушечье лицо, академик улыбался детской улыбкой.

«Ах, что за сад устроил этот вельможа!»— восхищенно думал он.

В благодарность за гостеприимство и влечение хозяина к познанию природы ученый Паллас составил подробный каталог растениям, находящимся в саду Прокофия Акинфиевича Демидова...

2

Больших затрат стоило Демидову сооружение дворца и ботанического сада, однако он не унывал. Управители заводов и приказчики исправно выколачивали доходы, заставляли работных трудиться до последнего издыхания. Дни и ночи маялись трудяги в тяжкой каторге. Спали где придется, питались скудно, оттого тощали и, рано измотав силы, уходили на погост. Демидов жил далеко, в Москве, чудил там, да ничего и не разумел в горном и заводском деле; приказчики об этом ведали и кругом обводили хозяина. Управители заводов крали без зазрения совести, прижимали работных, грабили их, заводских женок посылали на свои покосы, пажити,

на озера, там они косили, жали, ловили неводом рыбу. Среди них особо отличался приказчик Невьянского завода Серебряков. Выведенные из терпения заводские люди написали слезницу хозяину и с ней послали ходока, смышленого рудокопщика Степку.

В рваной одежонке, босой, лесными тропами, обманув демидовскую стражу, Степка сбежал с Каменного Пояса и божьим странничком, побираясь, добрел до Москвы.

Крепки заплоты и замки вокруг демидовского дворца, свирепы дворовые псы, охраняющие хозяйское добро, сильны и лукавы сторожа, но ловкий, широкоплечий Степка подстерег час и перемахнул через тын, когда Прокофий Акинфиевич бродил со своей леечкой среди любимых цветов.

Рудокопщик пал на колени, подполз к хозяину, держа над головой челобитную.

— Откуда, варнак?— испуганно разглядывал Демидов беглого.

— Из Невьянска пришел, мир послал!— повинился рудокопщик.

— Неужто пешим допер?— удивился хозяин.

— А то как же! Милостивец наш, вычитай ты нашу просьбу!

Прокофий Акинфиевич принял бумагу, продолжая со вниманием разглядывать скуластого черномазого крепыша. «Силен, чертушка! А как вдруг да ножом пырнет в бок?»— покосился на кабального хозяин и отодвинулся. Вдруг глаза Демидова озорно засветились, он поставил на грядку леечку и, упершись в бока, закричал на весь сад:

— Охломон, пес, где запропастился? Поди-ка сюда!..

На окрик из зеленой гущи проворно выскочил рослый телохранитель Прокофия.

— Ты что ж, так оберегаешь хозяина?— осердился Демидов.— Гляди, что делается: варнак через тын перемахнул и ножом хозяина полоснуть задумал!

— Батюшка!— взмолился Степка.

— Молчи!— притопнул хозяин.— Не перебивай! Охломон, круши подлого!

Засучив рукава рубахи, набычась, холоп с кулаками пошел на челобитчика.

— Ах ты, сукин кот-перекот!— закричал Демидов беглому.— Бейся на кулачки! Осилишь, зачту твою слезницу!

— Осподи благослови!— сжал кулаки Степка и пошел на противника.

— Ой, так его! Ой, бей рыжего в сусало!— размахивая руками, подзадоривал Прокофий беглого.

Охломон охал, отступал на грядки.

— Ты куда ж, черт! Это кто пятится!— азартно закричал хозяин.— Бей супостата!..

Степка крепким плечом заходил на противника и, укараулив короткий миг, словно кувалдой бил его наотмашь в грудь.

— Ах, подлец-преподлец, ловко бьешь!— топтался Демидов подле рудокопщика в совершенном восторге.— Еще разик, еще ударь плута-пса! Накорми шельмеца пирогами, спать уложи!..

Из-за купав тополей брызнуло солнце. На пруду загоготали жировавшие гуси. Закрякал зеленый селезень в камыше. На широкий лопух упала рубиновая капля; Охломон быстро схватился ладошкой за лицо:

— Кровь!

Демидов зачмокал губами, черные глазки заискрились:

— Бей, молодец! Добивай!

Два дюжих бойца схватились в поясной хватке. В огромном усилии напряглись тела...

И вдруг Степка схватил налитое железное тело Охломона, подбросил его и со всей силой швырнул на землю.

— Вот шельмец! Вот удалец!— не скрываясь, обрадовался Прокофий Акинфиевич.— Жалую тебя, зачту слезницу... Эй, холопы!— закричал он.— Отлить сего плута.

На крик набежали слуги, притащили из родника студеной воды и окатили обомлевшего Охломона. Хватаясь за кусты, он встал и, пошатываясь, пошел к людской. Глаза его были опущены: стыдно было телохранителю глядеть в очи своему хозяину. А Демидов захохотал зло:

— Что, угораздило тебя на сей раз? Знатно кулачьем отпотчевали!..

Хозяин сдержал свое слово: в тот же день он прочел челобитную невьянских работных:

«Июля в пятый день 1768 году. Челобитная работных людей Невьянских заводов господину Прокофею Акинфиевичу Демидову в город Москву.

Житьишко наше стало невыносимым. Приказчики твои худче лютого волка. Отощали мы и в разор совершенный пришли. Мрем мы от непосильной работы на господина и приказчика. Принуждает он нас робить на доходы его. А еще мрем мы от дыму. От угольных куреней и дымного угару воздух на заводах стоит смертоносный, от коего воздуху работные люди мрут беспрестанно, так что и хоронить не доспеваем. Пуще же всего вгоняют в разор вашей милости заводские приказчики и бесперечь чинят всякое над нами беззаконие: денег не платят, припасы укрывают для себя, грабят, нам же не выдают на масло. Оттого народ голодает и с заводов бежит. Остаточные же люди весьма в болезнях обретаются. И как ваша милость тех приказчиков не уберет, могут заводы совсем без народа остаться и в конечное захудание прийти...»

Засим шли кресты, закорючки и неразборчивые подписи, начертанные уставной грамотой и титлами...

Прокофий Акинфиевич вскипел на приказчиков: не худо воров и плутов проучить! Вся кровь ходуном ходила в нем.

Бегая по горнице, он кричал:

— Ах, плуты! Ах, архибестии! Батогами сукиных детей!..

Рассерженный, он велел схватить Степку и отходить его лозами.

— Помилуй, батюшка, за что?— снимая посконные штаны, вопрошал челобитчик.

Демидов нахохлился, помрачнел.

— Как за что? — воскликнул он.— Первое: почему хозяину неприятную весть принес, растревожил его сердце. За то двадцать пять розог! Дале, за то, что побил моего холопишку,— благодарствую. В науку ему, дабы не возгордился. Да и чую грех за его душой, потому премного рад, что помял ему бока. Но и то не забудь, раб лукавый: кто дозволил тебе работу покинуть и с Каменного Пояса сюда на Москву бегать? За побег — полста розог! А еще в сердце моем накипело, расходилась от всего кровь, а как утишить ее? Для успокоения хозяина, для потешения его души кто будет служить? Ты! И за то тебе полста розог. Ложись и не

перечь перед господином своим. Будешь перечить, еще добавлю!..

Под нравоучительную речь хозяина Степку отстегали лозами и отпустили с миром на Каменный Пояс. Следом за ним Прокофий Акинфиевич послал невьянским приказчикам письмо, а в нем грозил им:

«Вы, архибестии, смело-отчаянные, двухголовые и сущие клятвопреступники и ослушники, Блинов и Серебряков, за все генерально дурности и неправды ваши и не такие уж вам плети достанутся, как писал, подтверждал с караванными, но гораздо не в пример. Божусь вам богом, более! Ведомо мне, что работных людей зорите, припасы утаиваете, вентиляции же воздушной нигде не строите. А потому и денежного превеликого штрафу, сверх крепких плетей, не минуете, верно и переверно, двухголовые архибестии и смело-отчаянные, наглые, хищные волки. Да и сверх того, божусь вам самим богом, будете вы, каналии Блинов и Серебряков, в золе валяться! А чтобы по куреням и всюду для прочих дел еженедельно вам якобы нельзя ездить, то цыц и перецыц! Не токмо думать, но и мыслить сего вам, архибестиям, страшиться, ибо ничего, хоть бабку свою пойте, в резон нимало не приму. И чинить в самой точности, как я подтверждал неоднократно, и ездить точно и переточно вам, архибестиям, по куреням и всюду, и вентиляции наладить незамедлительно,— а то как лягушек раздавлю. А на сие писать мне. *Прокофей Демидов*».

3

Сад над Москвой-рекой становился тенистей, все ярче расцветали цветы. Тщеславие не давало покоя Прокофию Акинфиевичу; чтобы о нем говорили, славили его, он широко распахнул двери своего сада для московских бар.

Толпами устремились прелестницы Белокаменной под сень зеленых густолиственных купав.

Один строгий запрет положил Демидов: не трогать и не рвать с газонов редких цветов. Красавицы разгуливали по аллеям. Все цвета — от самых ярких до мягко-нежных — переплетались в рисунке, похожем на гигантский пушистый ковер. Казалось, все растения — от маленькой скромной резеды до одуряющих своим запахом анемонов — старались превзойти друг друга в аро-

матах. Среди раскаленных камней возвышались мексиканские кактусы, колючие и странно уродливые. И рядом — мясистый целительный столетник, только раз в жизни цветущий и потом умирающий.

Среди газонов и клумб белели статуи из теплого розового мрамора. На зеркальных гранитных цоколях стояли и грелись под солнцем изваяния Геркулеса, Париса, Адониса, величественного гневного Зевса и лукавого Вакха.

Московские прелестницы, наслаждаясь ароматами, блуждали среди цветов. Забыв обо всем на свете, влекомые яркими красками — извечным соблазном слабого пола,— они втайне срывали редкие растения.

Из своего оконца видел Демидов, как женщины, прикрываясь от голландца-садовника веерами и зонтами, срывали цветы. Он хмурился и бесился. Напустить бы на модниц своих зверовых псов, разорвали бы они вечных искусительниц, но тогда померкнут слава и величие Демидовых! Он ходил по покою и терзался мыслию, как наказать дерзких прелестниц...

В один из летних дней они вновь пришли, бродили по аллеям среди газонов, а неподвижные Адонисы, Парисы, сатиры сторожили их. Вновь соблазн овладел женщинами.

— Ах, что за расчудесный жар-цветок!— вскрикнула одна жеманница и протянула руку. Пылающий огнем цвет столетника манил к себе.

Над прелестницей в шелковом роброне, склоняясь, стоял на пьедестале мраморный Парис. Красавица, сверкнув перстнем, схватилась за стебелек цветка...

И вдруг над розовым ухом прелестного создания раздался грубый окрик:

— Не трожь, барынька: хозяином не велено!

Жеманница со страхом оглянулась, обронила цветок:

— Ах!..

Перед ней в первородном виде стоял мускулистый Парис.

— Ты, ты...— отступая назад, прошептала красавица.— Живой!

И пустилась бежать вдоль аллеи.

Глава четвертая

1

Никита Акинфиевич Демидов, прибыв в Санкт-Петербург, в свой родовой дом, где проживала жена, почувствовал себя вдруг неповоротливым и взволнованным. После Урала все выглядело иначе, и трудно было сразу найти необходимый тон. Несмотря на ранний час петербургского утра, дом сверкал огнями и гудел от многочисленной прислуги. Только что закончился разъезд гостей. Рослые, отменно выдрессированные слуги, разодетые в кафтаны, скользили тенями по широкому приемному залу. Они были полны подобострастия, однако Демидов уловил в их глазах затаенную насмешку и даже некоторую брезгливость к его простому дорожному костюму.

Хозяин сбросил с плеч дорожный волчий тулуп и, топая сапогами, устремился в гостиную. Там на тонконогом кресле, крытом голубым шелком, в полудремотном состоянии сидел неизвестный петиметр[1]. Он был обряжен во фрак вишневого цвета, отделанный тонкими кружевными манжетами. Петиметр сидел, закинув тонкую ногу на ногу и вращая лорнет. Шелковые чулки, башмаки с цветными каблуками и большими пряжками завершали наряд петиметра. Напудренный, донельзя исхудалый щеголь вскинул лорнет и презрительно посмотрел на Демидова.

«Какой галант!» — сердито подумал Никита Акинфиевич и, в свою очередь, высокомерно оглядел вычурно разодетого франта. В нем всколыхнулась и заговорила кровь его деда. Однако он сдержался в своем порыве и широким шагом подошел к петиметру:

— Здравствуйте, сударь! Кого изволите тут поджидать?

— Ах, но вы кто сам? — брезгливо шевельнув губами, вскрикнул франт. Он закинул голову и с важностью сказал: — В каком гербовнике записаны, сударь?

— Винюсь! — кривляясь, отозвался Никита и в тон петиметру: — В гербовнике записан не в том месте, в коем вы, сударь!

— Ах, ах, что же, кем допущен сюда! — возмутился петиметр. — Смешно, весьма смешно! Я в дистракции

[1] Великосветский щеголь.

и дезеспере, аманта моя сделала мне инфиделите, а я пурсюр против ривала своего буду реваншироваться!

— Ах, ах!— в свою очередь вздохнул Никита и закатил под лоб глаза.— Пудреван, молдаван, майне фрау кам домой, а я через забор, плетень нах Петерсбурх!— понес и он несусветицу.

— Сударь, вы образованны!— вскричал франт.

— Угу!— гукнул в ответ Демидов.— Их спацирен ин Париж, Берлин, Рим...

— Ах, и я был в заграницах!— вздохнул молодой человек и засмотрелся на отполированные ногти.— Для просвещения разума и переема светских манир!

Буйное озорство вдруг охватило Демидова. Он закусил удила.

— Вот и вижу, сударь: уехали вы из родных краев поросенком, а вернулись совершенною свиньей!

— Что! Что!— закричал петиметр и задрыгал тощими ножками.— Убрать, убрать сего аршинника!

— Это чего ж ты разорался в чужом доме? Ну, ты!— Никитой овладела злость.— Отколь сей дохлый кочет взялся?

Однако слуги не бежали на крик взволнованного петиметра, они почтительно стояли в отдалении. Между тем петиметр, как петушок, накинулся на Демидова. Он дрыгал тощими ляжками, его маленькое личико пылало гневом. Франт обежал Никиту кругом, фыркая и шаркая ножками, словно выбирая место для нападения.

Демидову изрядно надоела эта канитель. Он размашисто шагнул вперед и сгреб петиметра за шиворот. Фрак франта затрещал по швам, петиметр взвыл.

Могучий Никита, крепко держа легонького противника, вышвырнул его в распахнутые двери. Обронив лорнет, франт загремел по лестнице.

— Ну!— крикнул Демидов слугам.— Что рты раззявили? Подмести горницы, чтоб его духа тут не было! Живо!

Слуги бросились в прихожую. Оттуда все еще раздавался тонкий надоедливый писк выставленного франта. Демидов покосился на дверь, но вдруг махнул рукой, рассмеялся раскатистым смехом и устремился в спальню жены.

В широком алькове, обложенная взбитыми подушками, окруженная тонким облаком кружев, возлежала жена его Александра Евтихиевна. Тонкое, нежное лицо супруги было бледно, под глазами темнели синие круги.

Длинные худые руки лежали поверх лебяжьего одеяла. Подле алькова суетился старичок в опрятном паричке, с большими очками на носу.

Демидов шагнул вперед, и в ту же минуту жена его открыла утомленные глаза.

— Никитушка!— улыбнулась она и протянула руку для поцелуя.

Никита бережно взял маленькую холеную руку жены, поднес к губам.

— Здравствуй... А это что за образина ходит тут?— не утерпел он и кивнул в сторону старичка.

— Мосье Жомини. Чудесный лекарь!— расслабленно отозвалась жена.

Демидов расправил плечи, огляделся. Старичок учтиво поклонился хозяину и торопливо отступил к двери.

Александра Евтихиевна подняла голову и кивнула лекарю:

— До завтра, мой друг!

Когда за лекарем закрылась дверь, Демидов уселся на кровать, обнял жену и стал целовать ее. По лицу Александры Евтихиевны побежала ласковая улыбка. Прижимаясь к широкой груди мужа, она прошептала:

— Медведище мой дорогой!

Он соскочил с кровати, сбросил кафтан и стал разуваться.

Жена лукаво посмотрела на него.

— Вы что надумали?

— Как что?— удивился Никита.— После дороги пора костям дать отдых.

— Никитушка!— жалобно взмолилась жена.— Никитушка!— капризно повысила она голос.— Неужто вы решили меня на посмешище выставить перед светом? Разве не ведомо вам, что по санкт-петербургскому этикету муж и супруга повинны жить на разных половинах?

Никита Акинфиевич сопел, продолжал разоблачаться. Он распахнул рубаху, поскреб широкую грудь и, вспомнив петиметра, захохотал:

— Это какой такой петушишка в гостиной изволил прохлаждаться?

Жена вдруг смолкла и опустила глаза.

— Что молчишь? Может, зазнобу завела тут?— строго спросил Демидов, ревнивым взглядом окинув жену.

Смущаясь, она призналась:

— Ах, это Пьер... «Болванчик» мой...

— Ни болванчиков, ни болванов не потерплю в доме!

— Ах, Никитушка, как вы огрубели на заводах! Ведомо ли вам, милый, что свет стал таков и каждая примерная дама имеет своего «болванчика», а то и двух...

— Хоть и так! Но, гляди, я не потерплю подмены!— В нем заговорила жгучая ревность. Никита потемнел, уселся на край кровати и пристально посмотрел на жену.— Это что ж, он тут поджидал своего часа, а?

Голос мужа был грозен. Александра Евтихиевна всем своим существом почувствовала: быть буре. Трепеща от страха, она худеньким плечом прижалась к мужу, заглянула ему в глаза. Взгляд ее был светел, чист.

— Как тебе не стыдно, Никитушка? Разве сей «болванчик» человек? Дух один! Но так положено иметь; он тут и трется в гостиной, а дальше ни-ни! Ему лестно, а свет и впрямь думает...

— Ну, так знай!— широко вздохнув грудью, сказал Демидов.— Я сего «болванчика» сгреб и выкинул на улицу!

— Ах, Никитушка, что ж ты наделал? Сколь шума будет!..

— Пес с ним, я тут хозяин!— зевнул Никита и, занеся ноги на кровать, нырнул под одеяло.

Огонек погас; предутренний лунный свет голубой дорожкой струился по горнице. Никита протянул руки и прижал к себе жену.

Ласкаясь к нему, довольная, счастливая, она прошептала:

— Хорошо, что ты приехал, Никитушка!

2

После пребывания на Каменном Поясе Никите Акинфиевичу резко бросилась в глаза та большая перемена, которая за последние годы произошла в нравах и жизни столичного общества. Повсюду умножились роскошь и сластолюбие. Дома, даже невеликих вельмож, отличались великолепным убранством, обставлялись английской или французской замысловатой мебелью. Хоромы кишели многочисленной прислугой в ливреях, обшитых золотыми и серебряными позументами. В передней знатных вельмож всегда суетились

стаи челядинцев, разодетых егерями, гусарами, диковинными скороходами. Многие дворяне имели свои хоры музыкантов, песенников, актеров, танцоров.

Всюду давались открытые балы и обеды, которые поражали обилием редких, изысканных кушаний. Побывав в доме графа Головина, Демидов был изумлен и подавлен величественностью трапезы. На столах блестело столько золота, серебра и хрусталя, что на богатства эти можно было поставить на Камне новый завод. Что всего удивительнее было для Никиты: каждое кушанье готовил отдельный повар. Он же, обряженный в белоснежный фартук и колпак, подавал свое блюдо к столу. Сам большой чревоугодник, Никита Акинфиевич, несмотря на потуги, сдался на пятнадцатом блюде, а их предстояло еще более двадцати. Огрузневший, пресыщенный, он глазами пожирал все новые и новые блюда, подаваемые к столу, и с сожалением вздыхал.

Повар в барском доме почитался за первого человека и получал отменное содержание. Известно было, что повар государыни за свои кулинарные способности имел бригадирский чин и большое жалованье.

Но еще более разительная роскошь отмечалась в одеждах.

На приемах все знатные люди блистали парчой, бархат украшался золотым и серебряным шитьем, на шелках сверкали драгоценные камни. Великосветские петиметры скорее походили на дам, чем на особ мужского пола,— так они были нарумянены, напудрены и тонули в шелках и кружевах.

Демидов, имевший в Санкт-Петербурге отменную конюшню, пытался затмить столичное дворянство своим выездом — роскошными каретами и кровными конями. Увы, и здесь невозможно было показать себя! Никогда выезды вельмож не были так причудливы и великолепны, как ныне, в царствование Екатерины Алексеевны. Секретарь императрицы Александр Андреевич Безбородко имел золоченую восьмистекольную карету, а у Нарышкина была карета вся в зеркальных стеклах, причем даже колеса были хитро выложены зеркальными стеклами. На запятках кареты стояли гайдуки, поражая народ своею величественностью и роскошью одеяния. Они были в голубых развевающихся епанчах, в высоких головных уборах, изукрашенных серебряными бляхами, а по ветру трепетали длинные волнистые перья. Перед каретою обычно бе-

жали два осанистых скорохода с булавами и в башмаках с пряжками.

Среди этой изысканной роскоши Никита чувствовал себя неповоротливым и неуклюжим. Живя на Каменном Поясе, он отстал от великосветских тонкостей и сейчас сильно огорчался этим. Особенно изумился он вольности в нравах. Давая волю своим необузданным плотским чувствам, он все же втайне считал, что преступает нравственный закон. Каково было его удивление, когда все совершенные им прелюбодеяния показались ему здесь, в Санкт-Петербурге, простым и грубым развлечением!

Александра Евтихиевна была права, когда предостерегала мужа, что постоянная и искренняя любовь супругов почитается делом неприличным. Каждая великосветская дама не обходилась без «болванчика», а то и нескольких. Доброприличный дворянин имел метрессу, что было признаком хорошего тона. Волокитство, измена супружескому долгу не считались грехом.

Женщины отличались легкомыслием и бесстыдством. В журнале «Трутень» Демидов прочел однажды:

«Для наполнения порожних мест по положенному у одной престарелой кокетки о любовниках штату потребно поставить молодых, пригожих и достаточных дворян и мещан до двенадцати человек; кто пожелает к поставке оных подрядиться или и сами желающие заступить те убылые места, могут явиться у помянутой кокетки, где и кондиции им показаны будут».

По приезде в Санкт-Петербург для Демидова вскоре же начались неприятности. Александра Евтихиевна все дни бродила по дому сумрачной. Никита успокаивал жену:

— Скоро, скоро, Сашенька, поедем в Спа, излечим твои хворости!

— Ах, не то, Никитушка!— с опечаленным видом отозвалась она.— Огорчает меня горячность твоей натуры. Некстати ты изгнал моего «болванчика». Что скажут про нас в свете?

— Ну что ж!— невозмутимо отозвался Никита.— Пусть полощут языки, а нам от сего не убыток.

Александра Евтихиевна опустила голову, ресницы ее заморгали.

«Никак реветь собралась? Беда с бабами!»— опасаясь женских слез, насторожился Никита. Но жена сдержалась и тихо сказала:

— Не о том я горюю, Никитушка, а что уронил ты дворянское достоинство! Ведь нельзя же нам против света идти...

Вода по капельке камень долбит. Слабая, немощная Александра Евтихиевна в конце концов сломила мужа. Омраченный и злой, Никита Акинфиевич поехал к петиметру.

Изрядно пригревало мартовское солнце, с крыш звонко падала капель. На свежем воздухе Демидов понемногу пришел в себя, успокоился. Вот и дом, в котором проживает неприятный знакомец. Выйдя из коляски, Никита Акинфиевич, величественный и горделивый, вошел в приемную, где в безделье пребывала многочисленная челядь. «Болванчик» Александры Евтихиевны еще почивал.

Еле сдерживая гнев, Демидов выждал, когда петиметр пробудился.

Узнав от камердинера о прибытии высокого гостя, хозяин засуетился, закричал:

— Прошу, прошу... Мы мужчины, проходите сюда! Я так и знал, ваше благородство... ваша честь...

Вертлявый, тощий человечишка в халатике трещал, как сорока, не давая вымолвить гостю и слова.

Сопя, Никита Акинфиевич вошел в будуар петиметра. Тонкий, истощенный франтик изливался в извинениях. Остроносенький, изможденный до предела, он был противен крепкому и сильному Демидову. Вздохнув, Никита Акинфиевич грузно опустился в кресло.

— Тронут вашим великодушием, и объяснения между нами ни к чему!— продолжал изъясняться петиметр.— Рад быть вашим другом. Но прошу извинения, я не готов в путь. Коли изволите обождать...

Он суетился, прыгал, как канарейка в раззолоченной клетке. Комната, в которой находились гость и хозяин, очень походила на будуар кокотки. На хрупких столиках перед зеркалами стояли пудреницы, хрустальные графинчики с духами, баночки с притираниями. Воздух тошнотворно припахивал духами, пудрой.

«Болванчик» меж тем уселся перед зеркалом и стал натирать лицо какой-то мазью, после чего завивался, пудрился, кропил себя духами...

Завитой, насурмленный, с остреньким личиком, вертящийся перед зеркалом, он весьма напоминал комнат-

ного песика-шпица, стоящего на задних лапках. Демидову стоило большого труда сдержать себя.

Время от времени петиметр отрывался от своих занятий и предупредительно спрашивал Демидова:

— Я, кажется, вас задерживаю? Ах, простите, сударь...

— Обожду,— отзывался Демидов, а злоба, как горячий пар, копилась и клокотала в нем. «Эх, покрушить ребра этому паршивцу!»

Он глубоко вздохнул. Приходилось терпеть. Чего только не сделаешь в угоду этикету!

А франт к тому же поучал гостя.

— Моя наука,— учтиво обращаясь к Никите Акинфиевичу, пояснял он,— состоит в том, чтобы уметь одеваться со вкусом, чесать волосы по моде, воздыхать кстати, хохотать громко, сидеть разбросанну, иметь приятный вид, пленяющую походку и быть совсем развязну...

— То-то я и вижу, господин хороший,— хмуро отозвался Демидов.

— Поверьте, сударь, оттого велик мой успех у женщин!— не унимался франт.

— Хватит, милок!— поднялся с кресла гость.— Пора ехать.

Глаза Демидова вспыхнули недобрым огнем. «Болванчик» спохватился и, вспомнив, кто перед ним, заторопился окончить туалет...

С этого дня между супругами водворились мир и покой. Франт допоздна сидел в гостиной, заезжал перед выездом Демидовых на бал, присылал Александре Евтихиевне цветы,— тем и кончались его хлопоты.

Александра Евтихиевна вполне оценила терпение мужа, была ласкова, покорна с ним. И, оставаясь наедине, уговаривала:

— Ты учись, Никитушка, учись, как надо себя держать в большом свете. Он ведь настоящий дворянин.

Терпеть все же было тяжело. Каждый раз при виде хилого нарумяненного «болванчика», увивавшегося подле Александры Евтихиевны, Демидов наливался яростью. «Разорву дохлого кочета!»— грозился он в помыслах, но, встретив укоряющий взгляд жены, становился кротким.

Иногда ему становилось не по себе. После Урала в тягость были шум, бальная суетня, приемы, визиты.

Он отворачивался от гостей и, стараясь быть незамеченным, отходил в темный угол, под сень лавров.

В эту минуту в нем поднималось недовольство против пустого безделья.

«Что бы сказал дед Никита Антуфьев, кабы увидел это?»— думал он.

Ему казалось, что высокий чернобородый тульский кузнец дед Никита, слегка ссутулясь и поблескивая голым черепом, идет через анфиладу освещенных комнат и недовольно постукивает костылем...

3

Перед отправлением в заморские земли Никита Акинфиевич с супругой были приняты государыней. Демидов с трепетом готовился к этому торжественному дню. Много хлопот причинили сборы, изучение придворного этикета. В день приема Никита вырядился в камзол алого бархата, в такие же панталоны, а сверх этого плечи покрыл тугой кафтан из золотистой французской парчи. На ноги хозяина слуги надели шелковые чулки, туфли с высокими красными каблуками и большими золотыми пряжками. Густо напудренный парик с косой, кружевные брюссельские манжеты, такое же жабо и лорнет на широкой ленте дополняли его великолепный наряд.

Дворецкий и камердинер внимательно оглядели господина. Демидов выглядел величественно, поражал дородностью своей высокой, статной фигуры и строгим породистым лицом барина.

Хозяин долго любовался собою в зеркало: то расшаркивался перед своим отражением и делал приятную улыбку, то замирал в горделивом и холодном спокойствии. Наконец, отвесив последний учтивый поклон своему отображению в зеркале, он протянул руки, и следивший за каждым его движением камердинер мгновенно подал ему табакерку, осыпанную бриллиантами, и длинную трость с золотым набалдашником.

Никита поморщился — страсть не любил он табаконюхов. Ни дед, ни отец не жаловали пахучего зелья. Но что поделаешь, если сама государыня Екатерина Алексеевна подвержена сей слабости? По уверению придворных, она часто нюхает особый табак, культивируемый для нее в Царском Селе, но никогда не носит при

себе табакерки: они расположены на виду по всем комнатам дворца.

Дворецкий и камердинер распахнули двери и пропустили хозяина в парадный зал, где поджидала ослепительно наряженная Александра Евтихиевна.

Вышколенный дворецкий засеменил впереди хозяев по длинной анфиладе высоких покоев. Выбежав на подъезд, слуга крикнул:

— Карету!

Малый прием по обычаю состоялся в Эрмитаже. В залах, куда ожидалась государыня, собралось немногочисленное придворное общество. Демидов понял: он удостоен особой чести провести вечер в интимном кругу императрицы.

В залах носился непринужденный легкий говорок, иногда вспышкой огонька вырывался веселый смех. Хотя съехалось не более трех десятков избранных, но Демидова ослепили роскошь и блеск придворных нарядов, изобилие драгоценных камней. Поражали изысканностью французские костюмы; весьма оживленные и жеманные дамы были одеты в роброны с небольшими фижмами, с длинными висячими рукавами и короткими шлейфами. На головах придворных прелестниц возвышались, подобно парусникам, высокие прически, усыпанные алмазами и слегка припудренные. Все были нарумянены.

Среди гостей встретились Никите Акинфиевичу знакомые персоны. Вот оживленно беседует с любимицей государыни Дашковой граф Строганов, представительный и блистательный вельможа, демидовский сосед по Уралу, владелец обширных соляных варниц. Завидя Демидова, Строганов любезно раскланялся с ним и подвел его к Дашковой. Подошел и второй демидовский сосед по заводам, граф Михайло Александрович Шувалов. Он был весь в лентах и кавалериях и держался величественно. Ох, немало свар и пререканий выходило между демидовскими и шуваловскими заводами, но вельможа и словом не заикнулся об Урале! Он целиком ушел в светские разговоры.

Никита держался напряженно. Глаза его разбегались; мимо прошли рослые блестящие гвардейские офицеры; неподалеку среди группы иностранцев о чем-то весьма оживленно беседовал французский посланник...

Демидов облегченно вздохнул, когда разговор стал общим и он, пользуясь оживлением гостей, смог незаметно удалиться. Никита прошел в соседнюю комнату, за которой простирался освещенный зимний сад. Он был поражен цветущими клумбами, щебетанием птиц, особенно многоголосием порхающих тут канареек.

Как ни приятно было среди этого благоухающего царства, Никита Акинфиевич, все еще не свыкшийся со свободой поведения в Эрмитаже, вернулся в покои. Навстречу ему бросился сияющий Нарышкин.

— Слышу, грохочет! Что такое? А это горы Уральские идут!— пошутил он.

Вдруг в толпе придворных прошло оживление. В ярко освещенный зал вступила государыня Екатерина Алексеевна. Ее сопровождали два камер-пажа; справа, немного позади, шествовал красавец в форме кавалергарда, князь Григорий Орлов.

Все почтительно склонили головы.

Государыня на секунду остановилась при входе, приветливо окинув общество своими молодыми блестящими глазами, милостиво перебросилась ободряющими словами с близстоящими и некоторым позволила приложиться к ручке.

Демидов не спускал очарованных глаз с Екатерины. На ней было светло-зеленое шелковое платье с длинными рукавами, с коротким шлейфом, корсаж из золотой парчи; волосы высоко взбиты и слегка присыпаны пудрой, головной убор унизан крупными бриллиантами.

— Ваше величество,— громко сказал обер-шталмейстер.— Дозвольте представить! Уральский заводчик Демидов, достойный внук своего деда, столь весьма любимого великим государем Петром Алексеевичем...

При упоминании о царе Петре Екатерина приветливо посмотрела на Демидова и протянула ему руку.

Никита Акинфиевич с упоением поцеловал ее.

— Рада, весьма рада, что не забыл меня!— Тут лицо царицы внезапно нахмурилось, и она сказала:— Но почему вижу тебя без жалованных наград?

Никита с минуту колебался, но, вдруг осмелев, поклонился государыне:

— Ваше величество, их нет у меня... Видать, не дорос я до деда...

Царица благосклонно улыбнулась.

— Но уральские пушки и по сю пору отменно бьют врагов нашей отчизны и утверждают русскую славу. Не так ли, Александр Андреевич?

— Истинно так, ваше величество!— всем широким лицом улыбаясь, отозвался Безбородко.

— Слышишь, Демидов, что сказано здесь? Возвращаю тебе жалованную в давнее время анненскую ленту, а чтоб обиды на меня не таил за причиненное огорчение, жалую статским советником.

— Матушка государыня!— кинулся на колени перед царицей Никита.

— Встань!— милостиво сказала Екатерина.— Наслышана о твоих делах и потому отпускаю тебя в иноземные страны...

Она величественно прошествовала дальше.

В зале заиграли скрипки. Сияющий Никита не сводил глаз с государыни, которая села впереди, рядом с князем Орловым.

Екатерина была равнодушна к музыке, ее ухо не улавливало переходов и самых возвышенных мест. Она искоса поглядывала на придворных и, заслышав их шумные одобрения, хлопала в ладоши...

Концерт продолжался недолго. Вскоре все с шумом удалились в большой зал и, к удивлению Никиты, начались игры сразу в разных концах зала. Сама государыня пожелала играть в веревочку.

Может, увеселения эти продолжались бы долго, но, видимо, государыня устала, и обер-шталмейстер объявил:

— Прошу отменных игроков в карты проследовать за мной...

Как ни старался и ни хитрил Никита, но ему не удалось засесть за карточный стол государыни. Там устроились только близкие партнеры царицы. «Эх, не те времена, кои были в дни батюшки! Не гонится царица за демидовскими рубликами!»

Было уже поздно, когда государыня поднялась из-за стола. В соседних залах все еще шли шумные игры, все еще носился среди придворных и гостей шустрый и разговорчивый Лев Нарышкин, но одна за другой гасли люстры...

Демидов с Александрой Евтихиевной отбыли домой.

Город тонул в мраке, только на Невском горели редкие фонари. Их желтый тусклый свет озарял падающие хлопья снега...

Когда среди мелькания снежинок на Мойке встал мрачный дедовский дворец, Никита вздохнул и тяжело вылез из кареты. Родное гнездо показалось ему пустынным и грубоватым.

4

Никита Демидов основательно готовился в дальнюю дорогу. Закупались дорогие материи, шились платья модных французских покроев, легкие накидки, дорожные шубки для Александры Евтихиевны, атласные и бархатные камзолы для Никиты. В каретных рядах лучшие мастера ладили уместительные экипажи на дубовых колесных станах и упругих рессорах. Экипажи покрывались черным блестящим лаком, сверкали хрусталем и новенькими гербами дворян рода Демидовых. Владетельным князем намеревался Никита Акинфиевич въехать в заморские земли.

Подобно знатной персоне, хотелось Демидову описать для потомства, какие земли он посетит и, главное, с какими блистательными особами встретится. Но где найти умного и толкового человека, который смог бы вести столь важный журнал путешествий? В надежде хозяин пристально приглядывался к своей дворне. Увы, грамотеев среди нее не находилось!

Но тут Никите неожиданно выпала большая удача. В одно серенькое мартовское утро в кабинет неслышно вошел старый дворецкий и учтиво доложил:

— Он дожидается, сударь.

— Кто это он?— удивленно спросил Демидов.

— Заграничный! Вчера прибыл и все пытается попасть на глаза вашей милости,— отозвался старик.

— Немец, что ли?— спросил хозяин.

— Что вы! Наш, русский! Андрейка Воробышкин. Аль забыли, посылали в заморские земли? Ноне вернулся.

— Андрейка Воробышкин! Как кстати! Будет помощник в языках. Во французском смыслю, а в итальянском плох. Зови!— радостно вскрикнул Никита.

— Он тут, сударь!— Дворецкий вышел и пропустил в кабинет высокого худого молодца.

Прибывший сдержанно поклонился Демидову, смущенно остановясь у порога.

— Так!— крякнул Никита и величественно развалился в кресле.— А ну-ка, подойди поближе сюда. Какой ты стал?

Хозяин бесцеремонно рассматривал Андрейку. Молодец был чрезмерно худ. Одежонка на нем была сильно поношена, незавидна. Узкие плисовые штаны, нитяные чулки, черный бархатный камзол — все было убого. Походил Андрейка на дворового небогатого барина.

— Так!— опять вздохнул Никита.— Вид неважен, а привечаешь хозяина худо. Барину не хочешь поклониться, заграничный? Чему учился, молодец?

Андрейка улыбнулся, переступил с ноги на ногу.

— Пребывал во Флоренции, а обучался скрипичной музыке,— сказал он.

Никита поморщился.

— Ну к чему нам сия музыка! Ныне мне толковый писец надобен! В иноземных языках толк разумеешь?— строго спросил Демидов.

— Разумею, сударь,— уверенно отозвался заграничный.

— То нам кстати. Ныне переобряжайся и выедешь с нами в неметчину, а там и далее.

— Смилуйтесь, сударь!— пробормотал Воробышкин.— Дозвольте, ваша милость, хотя бы съездить матушку повидать!

— Матушка твоя обождет, холоп, а ехать нам неотложно. Отправишься с нами!— Голос Демидова звучал сердито. Хозяин нахмурился, понял Андрейка — неумолим он.

Длинные пальцы крепостного задрожали, он взглянул на них и робко предложил:

— Может, сударь, послушаете мою скрипицу?

— Эка невидаль! Я не девка красная, меня песней не тронешь. Ступай да делай, как наказал тебе!— Демидов глазами указал на дверь.

Воробышкин втянул голову в плечи и тихо вышел из кабинета. За ним бесшумно закрылась тяжелая дубовая дверь. Из прихожей вынырнул дворецкий.

— Ну как, чем похвастаешь?— недружелюбно спросил он Андрейку.

— Писцом берет и ехать велит с ним,— хмуро отозвался крепостной; на серых глазах его блеснули слезы. Глядя на опечаленного парня, старик закричал:

— Да ты что, одурел? Радоваться надо! Экая честь привалила, а он... Ух, ты!— укоризненно покрутил головой дворецкий.

Андрейка торопливо пробежал большие холодные комнаты барского дома. Пустынно и неуютно показа-

лось ему в них. Длинные анфилады высоких, обширных покоев, отделанных мрамором, лионским темным бархатом, заставленные старинной позолоченной мебелью, потемневшие портреты первых Демидовых, лепные потолки с нарисованными амурами и розовыми богинями — все было тяжеловесно, хмуро и не радовало души. В огромные окна смотрел серенький петербургский день.

«Неужто придется ехать снова, не повидав матушки?»— с горестью думал Андрейка.

Добредя до людской, он повалился на скамейку, закрыл глаза и предался горю.

— Ты что же? Хотя бы поел, гляди, и без того еле душа в теле!— предложила сердобольная стряпуха.

Андрейка не отозвался. Всю дорогу в Санкт-Петербург он думал о Каменном Поясе. Хоть и угрюм и дик край, а тянуло, сильно тянуло на родную землю.

— Ты не печалься, не кручинься, парень. Глядишь, обойдется, обляжется все,— уговаривала его стряпуха.

— Не могу, не могу, тетушка!— закричал Андрейка.— Отойди от меня, не береди мою душу...

— Ишь ты, скажи, какой горячий да неугомонный!— вспылила стряпуха.— Гляди, парень, Демидовы — люди строгие, что хотят, то сробят. Вот оно как!

Крепостной схватил плохонький дорожный плащ и бросился вон из людской...

Он долго бродил по холодному, туманному городу. На одной из грязных узких улочек в полуподвале неприветливого кирпичного дома раздавались шум, визг женщин и чья-то игра на скрипке. Но как играли! Режущие, неприятные звуки коробили слух. Крепостной несмело шагнул к двери и открыл ее. В неприютном подвале было серо, шумно, крикливо, под тяжелыми сводами плавали густые синие клубы трубочного дыма. С темных каменных сводов капала вода. В сизом дыму вдали виднелась стойка, за которой стоял рыжий толстый целовальник, зорко оглядывая кабак.

Среди пьяных крикливых питухов и гулящих баб стоял жалкий, оборванный нищий и что-то жалостливое, беспомощное пиликал на скрипице. Никто не слушал игру бедного старика. По лицу его катился обильный пот, глаза глубоко запали, резкие морщины избороздили лицо несчастного.

Андрейка подошел к стойке и кивнул старику:

— Отец, подойди сюда!

Нищий подошел.

— Выпьешь, отец?— предложил ему парень.

— Вот спасибо, кормилец, вот спасибо!— Нищий жадно потянулся к чарке.

Андрейка выпил с ним и попросил:

— Дозволь сыграть на твоей скрипице!

— Разумеешь толк в сем деле?— недоверчиво спросил старик.

— Сам рассудишь!— просто отозвался Андрейка, взял из его рук скрипку и стал настраивать.

Никто не обратил внимания на плохо одетого парня, не то обедневшего чиновника, не то дворового из барского дома. Никто не прислушивался к дрожанию струн.

Андрейка вскинул к подбородку инструмент и заиграл. Вначале робкие и нежные звуки разлились, как весенний поток, и постепенно наполнили своим звучанием подвал. Об одном думал крепостной: о своем горе, о заневоленной жизни. Об этом горе и пела скрипка в его руках.

Шумевший кабак понемногу стал стихать, и все повернулись к чудесному музыканту. А он — высокий, бледный, с разгоревшимся лицом, с блеснувшими слезинками на серых глазах — вдохновенно водил смычком. Хмельные несчастные питухи утирали слезы: об их горе играл музыкант.

— Кто ты, парень?— шатаясь, подошел и спросил его горький пьяница.

— Крепостной! Заграничный!— отозвался Андрейка и, отложив скрипку, со страстью и болью рассказал о своей судьбе.

— Пей, брат! Оно хмельное, ой, как хмельное! От него все горе трын-трава!— потянулись к нему руки с вином.

— Вино доброе!— похвалился толстомордый целовальник.— Вино царское! А царица у нас добрая, милостивая, скотов даже милует, пташек жалеет,— егозливо приговаривал целовальник, нацеживая кружки хмельного.

Андрейка присел к столу, выпил. Широкоплечий пьяный детина облапил его.

— Айда с нами, парень, на большую дорогу!— весело предложил он.— У барина не будет тебе радости. Замордует, загубит твой дар.

В голосе его вдруг прозвучала необычная нежность, он прижал Андрейку к груди.

Крепостной зарумянился и тихо промолвил:

— Неужто правды не добьюсь? А ежели я царице брошусь в ноги?

— Пустое, парень. Это Ермилка-кабатчик брешет. То верно, царица собак да пташек жалеет, из своих рук кормит, а нашего брата мужика кто гнетет? Пей, парень, да дело разумей!

До полуночи колобродил Андрейка с питухами. Явился в демидовские хоромы сильно хмелен. У ворот, накрывшись полушубком, музыканта поджидала сердобольная стряпуха.

— Ты где ж это шатался?— с сожалением спросила она.

Воробышкин не ответил. Глаза его были мутны и грустны. Он догадался, что женщине стало жалко его. Схватив его за руку, она зашептала:

— За ворота вышла встретить, а то барин прознает — несдобровать тебе!

Она, крадучись, провела парня в людскую и уложила в постель.

Андрейка схватил ее горячую руку, прижал к груди.

— Ну что мне, родимая, делать?— тепло, по-сыновьи спросил он.

Стряпуха присела на постель.

— Ах, Андрейка!— жарко вздохнула она.— Жалко мне тебя, покалеченный ты человек. Глаза твои прозрели и видят дале нашего, а душа твоя на веревочке у барина...

Она скинула со своих плеч полушубок и укрыла музыканта.

— Спи, господь с тобой!— тихо сказала стряпуха и отошла в свой угол.

Глава пятая

1

17 марта 1771 года в три часа пополудни Демидовы выехали из Санкт-Петербурга. В сопровождении свиты, в состав которой входил и Андрейка Воробышкин, пустились они в дальнюю дорогу. Ехал Никита Акинфиевич как владетельный князь, в блестящем экипаже,

с форейторами и гайдуками. За хозяйским экипажем тянулся обоз с поварами, камердинерами. В попутных городках снимались лучшие гостиницы, где Демидовы отдыхали и устраивали пышные приемы.

После шумной столицы Курляндия показалась Никите Акинфиевичу унылой и бедной. Встречались деревеньки латышей, и среди них нередко на холме вставал серый угрюмый замок. Как коршун, он стерег окрестные поля и долины, тщательно возделанные крестьянами.

Чувствовалось приближение ранней весны. С запада дули теплые, влажные ветры, с пригорков сбегали первые ручейки талой воды; дороги потемнели. Минувшая зима была малоснежна, на обнаженных холмах, на взрытой пашне с важностью расхаживали грачи.

Андрейка Воробышкин, сидя рядом с кучером на высоких козлах, обозревал туманные белесые дали. В маленьком ларчике, хранимом под сидением, лежал начатый «Журнал путешествия Никиты Акинфиевича Демидова». Записывал в него Андрейка не то, что ему хотелось. Демидов настрого приказал заносить в журнал о своих свиданиях с иноземными князьями, герцогами, вельможами; все остальное не трогало его.

Через две недели пути перед взором путешественников предстала Митава.

Тихий город небольшого достатка.

Хозяин Никита Акинфиевич и супруга его Александра Евтихиевна были в восторге, что здесь поджидал их вестник от курляндской герцогини с просьбой пожаловать к обеду в загородный замок...

Писец сопровождал хозяина до замка. Все было обычно, скудно. И замок — каменная мшистая махина — уже осыпался; тщетно скрываемое запустение чувствовалось на каждом шагу. Обед, данный герцогиней гостям, не походил на хлебосольное, шумное пиршество российских вельмож: блюда были скромны, безвкусны. Однако Никита Акинфиевич был в восторге и вечером сам продиктовал Андрейке запись в «Журнал путешествий».

«И чему радуется?— раздумывал Воробышкин.— Подумаешь, велика честь, захудалая герцогиня приняла! Одни уральские заводы чего стоят, и сколько тысяч подданных робят на Демидова!..»

Стояли теплые апрельские дни. И чем дальше продвигался на запад пышный поезд Демидова, тем быстрее отходила назад зима. Путешественники достигли

Либавы, где серое море пахнуло в лицо свежим соленым ветром. Пенистые просторы его оживлялись криком чаек, круживших над гребнями волн.

За Либавой промелькнули Паланген, Мемель. От него ехали гафом — длинной песчаной косой — на Кенигсберг, куда прибыли в середине апреля на закате. В этом обширном старинном городе, обнесенном земляным валом и бастионами, русские путешественники прожили неделю.

Демидовы объехали десятки немецких городков. Люди в городках жили размеренно, без особых треволнений. Но во всем проглядывали скудость и скупость. Таким оказался и Берлин, куда путешественники прибыли первого мая в полдень. Прямо с дороги весь демидовский обоз был проведен для осмотра в пакгауз, где хозяева вынуждены были оставить свой блестящий экипаж и сундуки в ожидании чиновников. Был воскресный день, и потому в пакгаузе стояла мертвая тишина, никто не работал. Никита Акинфиевич с супругой проследовали в гостиницу «Город Париж», где и расположились на отдых.

Андрейка тут увидел памятник хваленому прусскому королю. Против дворца на мосту высилась конная статуя Фридриха с прикованными по углам цоколя пленными невольниками.

«Вот о чем мечтал сей пруссак!— с досадой подумал Воробышкин.— Какую судьбину он прочил русским!..»

Берлин был скучен. Хотя Демидовы и чванились приглашениями знатных вельмож, но в душе тяготились чопорностью, господствовавшей на балах.

«Словно аршин проглотили!»— морщился Никита Акинфиевич, глядя на равнодушные лица немцев.

В позднюю пору, когда по русскому обычаю наступал веселый и шумный час изобильного ужина с возлияниями, тут в домах разносили хлеб с маслом, тонкие ломтики холодного мяса и поили лимонадом.

Демидова воротило от такой пищи. Но немецкие полковницы и майорши как саранча набрасывались на даровое угощение.

«Словно кумушки на поминках в посадской семье»,— с негодованием подумал Никита.

Невесело протекали и гулянья на берлинских проспектах и бульварах. В походке и в обращении сквозило чинопочитание. Все горожане гуляли с таким видом, будто возвращались с похорон или выполняли предпи-

сание лекаря. Вышагивали молча, будто перессорились или переговорили всё.

На воинском плацу часто шли парады. Демидовых удостоили приглашением. Александра Евтихиевна, сказавшись больной, уклонилась от чести. Поехал Никита Акинфиевич в сопровождении немецкого генерала.

«Похвастать своим воинством удумали!»— сообразил Демидов.

Под редкий барабанный бой перед королем проходили шеренги прусских солдат. Что-то старое, знакомое мелькнуло перед Никитой. Он вспомнил: такими оловянными солдатиками он игрывал в детстве. Все они походили один на другого, двигались как складные. Все были в старинных зеленых мундирах. Камзолы длинны, сукно толсто, ноги у шагавших тонки, закидывались не сгибаясь.

А король — долговязый и жилистый — сидел на рыжем спокойном коне и взмахами трости отсчитывал шаги проходивших шеренг...

Возвратясь в отель, Демидов заторопил слуг:

— В дорогу! В дорогу!

2

После посещения скучнейшего Берлина целое лето больная Александра Евтихиевна принимала целебные ванны в Спа. Здесь же проводили свой летний отдых немецкие принцессы. Демидова была в восторге от своих знакомств. Тщеславие этой женщины не имело границ. Андрейка Воробышкин заносил в журнал имена всех титулованных особ, с которыми Демидовым довелось увидеться. Многие из принцесс были нищие по сравнению с уральским заводчиком. Никита Акинфиевич и сам не уступал жене в тщеславии. В письмах, которые хозяин диктовал писцу и рассылал по знакомым в Россию, то и дело сообщалось: «Нынче имели счастие обедать у курфюрстины», «Вчера встречались на куртаге с его сиятельством князем...»

Андрейка, склонившись над столом, тщательно перечислял все титулы и звания. Не раз приходилось ему убеждаться, сколь тупы и необразованны были все эти титулованные особы.

После Спа Никита Акинфиевич посетил другие немецкие города и весной отбыл в Париж.

На бульварах цвели каштаны. На Елисейских Полях цветочницы — черноглазые и вертлявые девы — продавали фиалки...

Все вечера Демидовы проводили в гуляниях, чаще всего в Пале-Рояле. В этом прекрасном саду каждый вечер давались концерты, исполнявшиеся лучшими музыкантами. Театральные певцы, прогуливаясь по аллеям, для собственного своего удовольствия по ночам распевали арии и песни...

Александра Евтихиевна меж тем сильно грузнела. И как старательно ни затягивали корсет, но округлость живота давала себя знать. Демидов, оставляя жену дома, в сопровождении Андрейки бродил по набережной реки Сены, где по закуткам, меж больших домов, теснились лавчонки букинистов. О них Воробышкин записал в журнал:

«Здесь есть столь снисходительные книгопродавцы, что за две копейки продают астрономию в маленькой книжке, называемой календарь; сочинение сие весьма полезно. В их книгохранительницах имеются сочинения, сходствующие со вкусом покупщиков. Есть в них писанные о законе, а несравненно более разрушающие оный; одно сочинение поучает высочайшим добродетелям, а другое гнуснейшим порокам; сие вперяет в сердце благочестие, а то срамнейшую роскошь; первые читаются весьма мало, понеже народ развратился; другие ж продаются весьма дорогою ценою и с великой тайностью, ибо царствует еще во Франции такое благоустроение, которое, сказывают, может осудить на галеру книгопродавца, примеченного в такой торговле...»

Вместе с Александрой Евтихиевной Никита Акинфиевич посетил Версаль, Лувр, Сен-Сирский монастырь, были на обеде у дофина.

Меж тем близилась золотая осень. Александра Евтихиевна вдруг почувствовала боль. Немедленно пригласили врачей.

Вскоре Андрейка Воробышкин записал о большом и долгожданном событии в семье Демидовых:

«В середу, в пять часов и десять минут, разрешилась благополучно от бремени Александра Евтихиевна, и даровал бог к их утешению и всегдашнему желанию дочь, нареченную Екатериной, которую крестили в воскресенье 30-го числа в 5 часов за полдень в том же доме, где мы стояли, при смотрении многих французов, любопытствующих видеть образ совершения сего таинства...»

3

В Париж приехал пенсионер Санкт-Петербургской Академии художеств русский скульптор Федот Иванович Шубин. Много лет он пребывал в Италии, постигая мастерство великих художников древности. Незадолго перед этим Шубин лепил бюсты братьев Орловых, фаворитов императрицы Екатерины. Все отменные знатоки и ценители искусства поражались чудесному мастерству русского мастера — тонкости, изяществу линий и очертаний, передававших самое характерное в изображаемом лице.

Узнав о приезде художника, Александра Евтихиевна воскликнула:

— Ах, Никитушка, непременно и нам надо заказать свои бюсты, подобно Орловым! Сейчас же езжай и отыщи сего художника!

Никита Акинфиевич невольно залюбовался женой. После родов она выглядела цветущей, счастливой матерью. Лицо ее округлилось, здоровый румянец играл на щеках. Александра Евтихиевна капризно повторила:

— Торопись, Никитушка, пока не прозевали!

Демидов охотно покорился жене. Он отыскал Федота Шубина в Монмартрском квартале, в кабачке художников. Подвал, куда спустился Никита, тонул в клубах синего табачного дыма; несмотря на солнечный день, здесь было полутемно, тускло горели огни. Кругом шумели. В углу за столом за скромным завтраком сидел широкоплечий крепыш с круглым русским лицом.

— Это и есть мосье Шубин!— указал на него трактирщик.

Демидов подошел к художнику. Тот, не суетясь, сохраняя достоинство, встал, поклонился заводчику. Никита Акинфиевич снял шляпу, уселся за стол. Быстрым внимательным взглядом он оценил положение Шубина.

«Эге, батенька, видать, не сладко живется!»— подумал он и неторопливо изложил свою просьбу...

С крутых плеч художника сползал изрядно поношенный плащ, жабо было помято, не первой свежести. Большими жилистыми руками он медленно раз-

резал мясо. Было что-то степенно-крестьянское в его тяжелых, угловатых движениях.

Большие умные глаза Шубина пытливо смотрели на Демидова, который изложил ему свою просьбу...

— Ну как?— спросил Никита Акинфиевич.

— Хорошо, я согласен!— просто отозвался Шубин.— Когда можно будет начать?

— Хоть завтра. Я пришлю экипаж за вами,— предложил Никита Акинфиевич.

— Это лишнее. Я и так приду!— опять коротко, поделовому отозвался художник.

Он был несловоохотлив и мешковат. Посидев с минуту в молчании, Демидов откланялся.

В тот же вечер между ним и супругой состоялся спор.

— Он должен жить здесь, в отеле!— настаивала Александра Евтихиевна.

Никита ходил из угла в угол, хмурился.

— Но тогда мы должны сажать его за свой стол!— раздраженно промолвил он.

— Так что же, Никитушка, посадим его за свой стол,— спокойно отозвалась она.

— Но Шубин — не дворянин. Он мужицкой кости!— настаивал на своем Демидов.

— Он же художник, академик Флорентийской академии, Никитушка! И раз граф Орлов не гнушался им, так и нам поступать должно!— воскликнула Александра Евтихиевна и, подойдя к мужу, капризно надула губы.— Ну, примирись и поцелуй свою женку...

Никита Акинфиевич вздохнул, молча обнял жену.

В большом светлом зале Федот Иванович Шубин стал трудиться над мрамором. Александра Евтихиевна сидела подле окна, вся освещенная. На улице с каштанов опадали темные листья, синело небо. Золотой луч прорвался сквозь редеющую листву, упал в окно и скользнул по завитку волос, воспламенил нежное розовое ушко натуры. Скульптор с упоением работал над мрамором. Послушный резцу, под его рукой он превращался в нежную округлость щек, завиток локона, в небрежно брошенную складку платья и ажурный рисунок кружев.

Изредка пристально вглядываясь в Александру Евтихиевну, он рассказывал ей о древностях Италии. Глаза художника загорались, его угрюмая неуклюжесть исчезала, перед Демидовой стоял милый, веселый

собеседник. Избалованная, капризная женщина, слушая его рассказы, не замечала усталости, вызванной длительным позированием.

Когда все укладывались спать, Андрейка спускался с мансарды, где ютился он, и тихо пробирался в большой зал. Потоки зеленоватого лунного света вливались через высокие зеркальные окна; стояла тишина. В призрачном сиянии с пьедестала таинственно улыбалось нежное лицо ласковой женщины. Протягивая руки, Андрейка касался мрамора; он был тепел, казалось пульсировал. Тогда, отойдя к окну, притаившись в складках портьеры, Воробышкин долго смотрел на склоненное лицо женщины и вздыхал:

— Дивно-то как!

Крадучись, он возвращался в мансарду, зажигал свечу и осторожно извлекал скрипку. Играть ночью в отеле было запрещено. Нежно дотронувшись до струн, он извлекал еле уловимый грустный звук...

Глава шестая

1

Демидов поставил на ребро новенький золотой луидор и, показывая на него веселыми глазами, сказал Шубину.

— Се есть господь бог повсюду на земле, а тут особо! Надумал я, сударь, по вашему совету повидать землю, изобильную красотами. Прошу вас сопутствовать нам в Италию. Экипажи и слуги будут готовы к сроку!

Все исполнилось по слову Демидова. Парижские мастера ко времени изготовили новые экипажи. Никита пригласил лекаря Берлила — старого и почтенного господина и его супругу — строгую даму в седых буклях, уговорил их переехать в его жилище и взять на попечение двухмесячную дочь.

4 декабря, после полудня, отправились Демидовы в Италию. Париж постепенно уходил в туман, сизой дымкой окутавший пригороды, окрестные поля и рощи.

Понемногу туман рассеялся; в густом осеннем увядании, в лучах скудного солнца развернулись волнистые поля с крохотными бедными деревушками. Жалкие деревянные хижины имели удручающий вид. Поселяне были грязны, нищи. Латаный плащ, стоптан-

ные башмаки и шляпа с истертыми полями — вот весь наряд крестьянина. На холмистых пастбищах все еще бродили стада, охраняемые угрюмыми пастухами, одетыми в лохмотья, и тощими злыми псами.

В оголенной дубраве приютилась маленькая тихая деревенька Эссоне.

Сидевшая рядом Александра Евтихиевна схватила мужа за руку.

— Никитушка, вели остановиться! Какой приятный уголок! Завтра неподалеку от сих мест королевская охота,— умоляюще посмотрела она на Демидова.

— То верно!— согласился Никита и велел кучеру свернуть в деревушку...

В хижине, чтобы обогреть путников, в очаге горела последняя вязанка хвороста. Изо всех углов лезла бедность. На деревянной кровати лежала охапка сухой травы, служившая подстилкой. Невысокая преждевременно состарившаяся женщина прислуживала Демидовым

А где твой муж?— допытывался по-французски Никита.

Поселянка озабоченно отозвалась:

· Охраняет виноградник от порчи. На охоту наехало много господ и будут с псиными сворами метаться по полям. Им, сударь, потеха, а бедному человеку убыток.

– Неужто не возместят потери?— с притворным удивлением спросил Никита поселянку.

Крестьянка тяжело вздохнула и покорно скрестила синеватые жилистые руки на животе. Во всей скорбной позе проглядывала удрученность. Андрейка, раскладывавший пледы хозяевам, взглянул на Демидова и подумал:

«А сам что делаешь со своими приписными!»

Огонек в очаге приветливо потрескивал, за окном свистел осенний ветер. Ранние пепельные сумерки заползали в хижину. Хорошо было сейчас сидеть у камелька и слушать незлобивые жалобы старухи...

Утром путешественники поехали в королевский охотничий парк. Темные влажные деревья раскачивали оголенными ветвями, обдавая путников холодными каплями росы. Из-за высоких холмов встало солнце. На лесных тропах и по холмам то и дело проносились стада быстроногих оленей. Золотой сетью пролегли в парке дорожки, усыпанные свежим песком. Всюду встреча-

лись экипажи, линейки, всадники. Парижане торопились на королевскую охоту. На обширной лужайке было оживленно, как на парижской площади. Здесь щебетали, стараясь обратить на себя внимание, разодетые дамы. На поляне толпилось придворное общество. Король с принцами мчался по парку, гнал оленя — могучего и красивого зверя. Все видели, как по горным тропам мелькал его конь огнистой масти. Король трубил в охотничий рог, несясь следом за своими псами, которые взлетали по крутизнам холмов, перепрыгивали через гремучие ручьи и ныряли в лес. Там разносился треск сухого валежника под копытами оленя, терзаемого для бегу псами... Все трепетало вокруг в ожидании: звуки охоты нарастали и приближались к западне, где были натянуты крепкие густые сети.

Экипаж Демидова остановился в стороне под темным развесистым буком. Никита с нетерпением прислушивался к звуку охотничьего рога и лаю псов. Александра Евтихиевна с завистью разглядывала наряды придворных дам.

Солнце брызнуло на вершину бука и заиграло миллионами разноцветных огоньков в нависших капельках росы, и в эту минуту, как вихрь пламени, на поляну вынесся прекрасный тонконогий олень. Огромным прыжком он устремился вперед и угодил в расставленные сети. Он мотнул чудесными ветвистыми рогами и окончательно запутался в силках. Почти в ту же пору из чащи выскочили лохматые злые псы и бросились терзать пленника. Жалобный стон пронесся над поляной. Большие влажные глаза зверя умоляюще смотрели на людей. Человечьи слезы вдруг блеснули на этих страдальческих глазах.

Шубин схватил Демидова за руку:

— Уедемте отсюда, Никита Акинфиевич!

— Нет, нет!— отвернулся от него Демидов. Ноздри его раздувались, он с нескрываемым удовольствием смотрел на страдания зверя, терзаемого псами. Он не мог оторвать глаз от зрелища. Даже всегда меланхоличная Александра Евтихиевна вдруг оживилась, вспыхнула румянцем.

— Смотрите! Смотрите!— крикнула она художнику.

Тотчас из лесу показался всадник и на быстром скаку со страшной силой одним ударом ножа свалил оленя. Орошая яркой кровью сухие листья, зверь затрепетал в последних смертных судорогах. Король

спрыгнул на землю и, подбежав к добыче, стал рассекать лезвием еще трепещущее тело. Яростные псы грызлись из-за дымящейся крови...

— Какое отвратительное зрелище!— с сокрушением сказал художник и, морщась, отвернулся.

Его никто не слышал. Все шумно аплодировали королю, а он, как победитель, поддерживаемый егерями, снова взобрался в седло и, не глядя на добычу, проследовал по дороге к Фонтенебло. За ним тронулись экипажи придворных и блестящая кавалькада всадников.

Солнце поднялось над вершинами буков, прорвалось на землю, разукрасило золотом осенний палый лист и зажгло дрожавшие на травинках рубиновые капельки крови.

Демидов сказал Шубину:

— Ничего вы не смыслите в охоте, сударь!

— Но это была не охота, Никита Акинфиевич,— тихо отозвался художник.— Так мясники терзают зверя...

Никита нахмурился и замолчал.

Так, безмолвные, они проехали через Фонтенебло и тронулись по дороге к Турину.

Навстречу из лесу вышли два королевских стражника в зеленых куртках. С мушкетами наперевес они гнали перед собой грязного, оборванного крестьянина с завязанными за спиной руками.

— Поймали разбойника!— закричал Демидов, показывая на пленника.— Эй, много погубил душ?— окликнул он стражников.

Один из них почтительно отозвался:

— Он сотворил худшее, мсье: он сбил с пути королевского оленя.

Крестьянин поднял глаза на Демидова и спросил:

— Разве нельзя гнать скотину со своего поля? Олень потоптал мне весь виноградник.

— Видите, сударь, этот наглец не понимает, что натворил!— улыбаясь, сказал стражник и заторопил пленника:— Ну, пошел, пошел!..

Вдали замелькали огоньки селения; пора было подумать о покое.

2

Покинув в середине декабря Лион, Демидовы прибыли в городок Пон-де-Бонвуазен, лежащий на границе Франции. За мостом простиралось Савойское герцогст-

во. С каждым шагом страиа стаиовилась суровее и живописиее. Вдали все выше и круче подиимались Альпы, играющие иа солице ледяиыми вершииами. Днем в сиием иебе громоздились скалы, серебряиые нити потоков низвергались с гор, иад которыми скользили белые клочья облаков. Ночью при мерцаиии ярких звезд темиые громады казались великаиами, иавсегда преградившими дорогу.

И в самом деле — неподалеку от Эшели скалы перерезали дорогу. Высокие отвесиые кручи спускались в пропасть, и чудилось, что здесь конец пути. Но в темиом камие был выдолблеи тоиель, в сыром мраке которого путиики ехали в иапряжениом молчаиии. Казалось, экипажи двигаются в громадиом склепе, и как радостио было виовь появлеиие холодиого зимнего солица...

Дорога углублялась все дальше и дальше в горы. Путешествеиники ехали графством Мориен. Аидрейка сидел рядом с кучером иа высоких козлах, пытливо вглядываясь во все окружающее. Шкатулка с «Журналом путешествий» была упрятаиа в ящик под сиденьем. Миогое ие успел заиести туда демидовский летописец: дии были полиы дорожных хлопот, а вечером быстро иадвигались сумерки, и от усталости иеодолимо клонило ко сиу. В дороге иадо было все запечатлеть, все запомнить, о чем говорили Демидовы.

Сегодня особеиио утомительиой казалась дорога. С гор дул неприятиый холодный ветер, и мокрые ветви придорожных деревьев, раскачиваясь, обдавали Андрейку и кучера влагой; платье и без того было сыро от влажиого воздуха. За спииой в карете полудремали господа, а на сердце Аидрейки лежала тоска. Кругом простирались иевеселые зимние поля, горы, и иа склонах их лепились такие же унылые деревеньки, как и в родиом приуральском крае. Бедность и здесь была уделом селяииииа...

Начался подъем в скалы. Высокие кремнистые утесы сжимали дорогу, и над головой синела только узеиькая полоска иеба. Но вот тропа незаметио выползла иа карииз, повисший иад пропастью. У Аидрейки захватило дух. За его спииой раздался встревожеиный вскрик Алексаидры Евтихиевиы:

— Никитушка, мы погибием!.. Никитушка...

Кручи стремительно падали в бездоииые пропасти, а с другой стороиы убегали в иедосягаемую высь. Вии-

зу, в страшной глуби, виднелись ели; точно мелкий тростник, они колебались под горным ветром.

Медленное движение экипажа, который содрогался на каждом камне, вид постоянно черневшей под ногами пропасти были нестерпимы. Все с облегчением вздохнули, когда миновали пропасти и впереди возникли отроги горы Монсинис, у подножия которой расположился крохотный городок Ланебург.

— Ну, слава богу, заночуем тут!— обрадовался Никита Акинфиевич.

В маленькой гостинице, в которой остановились русские путешественники, было чисто и опрятно. В камине, сложенном из камня-дикаря, ярко пылал огонь. Подвижной, учтивый хозяин-француз угощал гостей. Шубин, знавший местные края, возился с носильщиками. Он отобрал дюжину суровых и сильных навалисцев; им предстояло перенести Александру Евтихиевну на носилках через гору Монсинис. Возчики и носильщики разбирали экипаж, чтобы ранним утром отправить его на лошаках в горы. Долго не унимались крики и возня на крохотном мощеном дворике гостиницы...

Трактирщик ввел в комнату высокого красивого старика.

— Вот, сударь, и проводник вам! Это Луиджи, он лучше всех знает перевалы и горные тропы. Синьора может быть спокойна, доверившись Луиджи,— учтиво поклонился он Александре Евтихиевне.

Рослый загорелый старик с благородным лицом, в свою очередь, склонил голову. Его черные блестящие глаза озарились приветливым огоньком. Седая пушистая борода патриарха спускалась до пояса. Шубин впился в проводника.

— Смотрите, господа, сколь он схож с богом Саваофом!— восторженно воскликнул он.

Александра Евтихиевна не могла оторвать глаз от красавца старика.

— Откуда ты?— спросила она.

— Вот с этих гор, синьора. Здесь я родился, любил и умру!

3

Утром при перевале через гору Монсинис бушевала метель, холодный свирепый ветер кидал в лицо тучи колючего снега. Лошади, нагруженные тяжелой кладью,

цепко двигались по кручам. Рядом простиралась бездна. Один неверный шаг животного грозил смертельной опасностью. Воздух становился холоднее. Дорога, зигзагами огибая горы, вилась все выше и выше. С крутой скалы низвергался в пропасть гремучий водопад. Вдали сквозь белую дымку метели сверкал на солнце, точно вороненая сталь, исполинский ледник.

Навалисцы бережно несли Александру Евтихиевну на носилках. Чтобы не видеть страшных бездн и укрыться от студеного ветра, она укуталась теплым пледом и была недвижима. При каждом толчке ее сердце замирало.

Впереди каравана шел красавец Луиджи. Движения его были смелы, уверенны. За ним двигались, покачиваясь на ходу, носилки с Александрой Евтихиевной, дальше выступали послушные лошадки с кладью, а за ними верхом ехали путешественники.

Когда достигли плоскогорья, Никита сошел с лошади, перевел дух. Он с удивлением рассматривал проводника и, не утерпев, через Шубина спросил его:

— Почему на склоне лет ты не возьмешься за более спокойный труд, чем проклятое ремесло проводника?

— Эх, господин мой,— ответил Луиджи,— это единственное, чем я могу заниматься. У меня имеется земли ровно столько, чтобы сложить в нее свои кости, когда я умру. Вот эти скалы, которые вы видите, они кормят навалисца. Что поделаешь, если судьба нас заставляет каждый день играть с жизнью и смертью?

После короткого привала караван тронулся в путь. Из-за туч выглянуло солнце. Тропа круто сбежала вниз. Путники приблизились к селению.

В Навалисе было тихо, уныло. Кругом высились кручи. На крохотной площадке темнела часовня, выстроенная из дикого камня. Над долиной звучал печальный звон колокола. Под горным солнцем на кручах блестели снега.

В маленькой часовне отпевали бедняка, лежавшего в грубом деревянном гробу. На крохотной голой паперти, усыпанной гравием, было пустынно, молчаливо. Только чей-то одинокий пес, припав на последнюю ступень каменного крылечка, уныло глядел в землю.

Демидов и Шубин вошли под мрачные каменные своды. За ними неслышно последовал Андрейка. Худощавый пастор в белоснежном облачении, протягивая вверх руки, говорил последнее напутствие. Никита

Акинфиевич поторопился на воздух. Тут же появился проводник Луиджи. Ои отогиал от храма собаку и ожидал господ.

— Кого это хоронят?— спросил художник.

— Замерзшего бедняка. Эх, сударь, не каждый имеет теплую одежду и кусок хлеба,— с печалью отозвался навалисец.— Бедняк поднимается в горы, надеясь на хорошую погоду, но все обманчиво, часто его настигают стужа и метель. Вот, сударь, каково счастье бедняка.

Между тем носильщики виовь собрали экипаж. Демидов расплатился с Луиджи. Старик низко поклоиился Александре Евтихиевне и пожелал всем доброго пути.

Упругим шагом он пошел по тропке и вскоре скрылся за скалами.

— Чудесный старик!— ие утерпев, бросил ему вслед Шубин.

Коляска была готова в путь. Путиики уселись, Аидрейка взгромоздился на свое место, и кони тронулись...

Миновав Тюрень, выбрались к Пьемонту. Отсюда начиналась Ломбардская долииа.

4

После холодных скалистых Альп с их зимиими грозными метелями путешественники сразу оказались под ярким синим иебом, среди зелеии и цветов. Экипажи двигались по сказочиой цветущей долине, которая казалась иарочно убраниой природою ради великого праздника. Вся Ломбардия походила на прекрасный сад в майскую цветущую пору. Кругом зеленели иеоглядиые поля маиса, чередуясь с виноградниками и тутовыми рощами. Теплый ветерок пробегал по яркой сочной зелеии, колебал пестрые чашечки цветов, иаполняя воздух ароматом.

Аидрейка повеселел. Перед иим распахиулся знакомый край. Сколько лет он прожил в этой страие и сроднился с ее простым иародом! Хотя голодно было, но дышалось легче вдали от хозяев.

По дорогам встречались толпы смуглых, загорелых работииков, проходивших с песией, которая под этим приветливым иебом сама рвалась из души.

Демидов ие утерпел, хлопиул Шубина по колеиу:

— Что скажешь? Ну и край!

На его крупном лице выступили мелкие капельки пота. Солнце пригревало. Над Александрой Евтихиевной, ехавшей позади, раскрыли зонт.

На придорожной скамье уселись две молодые итальянки. Они несли огромную корзину, наполненную зеленью, и решили отдохнуть. Здоровые смуглые красавицы, одетые в старые пестрые платья, в широких соломенных шляпах, раскачиваясь в такт, распевали дуэт. Их жгучие лукавые глаза насмешливо взглянули на Демидова.

— Ох, добры! Ох, добры!..— прошептал он и плутовато оглянулся назад.

В стороне от дороги в густой зелени мелькали белоснежные виллы, и часто среди холмов в живописных уголках вставали монастыри. Едва позванивая маленькими колокольчиками, бродили овцы. Порой они сливались в узкую белоснежную полосу и, теснясь, устремлялись в ущелье; издалека казалось — там, в каменистых берегах, колеблется и плещет водопад серебристого руна.

Солнце поднялось к полудню. Нагретый воздух заструился над долиной, и вся она, затопленная светом, казалась волшебным маревом. Ветерок принес запах фиалок. Над полями кружились пестрые бабочки, похожие на порхающие цветы. Никита Акинфиевич велел остановить экипаж и, указывая Андрейке на крестьянский домик, приказал:

— Должно быть, там есть молоко. Сбегай-ка, малый, да притащи жбан!

Писец соскочил с козел и побежал к хижине.

На пороге стоял бородатый черноглазый крестьянин и удивленно смотрел на Андрейку.

— Это молоко?— спросил писец и потянулся к жбану.

— Молоко,— ответил сухо поселянин.

— Продайте мне его, мой - хозяин очень хочет пить,— попросил Андрейка.— Я заплачу вам, сколько хотите.

— Не могу. Если б твой господин умирал, я и то не мог бы уступить ему ни глотка!

Андрейка смущенно вернулся к экипажу.

— Как!— вскричал Демидов.— Он не знает, кто у него просит! Клич сюда упрямца!

Когда босой морщинистый поселянин предстал перед ним, Никита Акинфиевич спросил:

— Пошто не продаешь, дурень, молоко? Я золотой отдам за кувшин!

Шубин перевел речь заводчика и выжидательно смотрел на крестьянина.

— Синьор,— почтительно склонился он перед художником,— даже за золотой я не могу продать ему кувшина молока.

— Почему?— удивился художник.

— Потому, что все молоко изо всех селений принадлежит синьору Висконти. Он каждое утро отбирает его у нас. Если он узнает, что я продал каплю молока проезжим, то потянет меня в суд.

К экипажу подбежали слабые, худые малыши и пугливо рассматривали проезжих. Указывая на них, старый крестьянин сказал:

— Вот мои дети, синьоры. Они тоже редко видят молоко, даже в самые большие праздники.

— Лежебоки!— закричал Демидов.— Гляди, сколь кругом богачества, а они голодают. Да тут даже ленивый мужик сыт будет!

Кони тронулись, снова побежали изумрудные поля и платановые рощи, а на душе Андрейки было тоскливо. «Как все сие схоже с жизнью нашего мужика,— с тоской подумал он и оглянулся.— Кругом благость, а труженик голоден!..»

Глава седьмая

1

В Милане и во Флоренции Демидовы посещали соборы, картинные галереи, библиотеки, театры. Каждый день Андрейка со всей тщательностью заносил в дневник, что видели его хозяева, с какими князьями и герцогами они встретились и что приобрели из предметов искусства. Никита изо всех сил старался показать себя меценатом, большим знатоком искусства, но в душе не ощущал ни волнения, ни трепета, с каким обычно люди, понимающие замыслы великих художников, рассматривают их творения. Ни совершенство форм, ни самое мастерство не интересовали Демидова. Привлекали его редкости, и он стремился обладать ими. Все это отлично видел и чувствовал Шубин, вместе с Демидовым посещавший галереи...

Перед путешественниками раскрывалась Италия: старые деревни с живописными домами, дубовые и лавровые рощи, виноградники — все, казалось, сулило богатство, но поселянин, шагавший по тучным полям, был нищ и голоден. По дорогам встречались толпы упитанных монахов, которые стремились в Рим иа праздник. Они были наглы и развязны с поселянами и сладкоречивы с теми, от которых ожидали подачки.

Поздним январским вечером дилижанс, грохоча колесами по каменной мостовой, въехал в Рим. Андрейка с волнением приглядывался к вечному городу. Синеватые сумерки скрадывали очертания города. Дома и колоннады тонули во мраке, и только над головой простиралось густое синее небо с первыми мерцающими звездами. На площадях неумолкаемо журчали фонтаны. Огни были редки; подобно светлячкам, оии мелькали в глубине ночи. И вдруг впереди из призрачной тьмы выплыл тяжелый черный купол собора. Показался золотой серпик молодого месяца, и в его трепетном сиянии купол стал темиее и, как мрачный корабль, поплыл вправо по зеленой дымке безбрежного неба. Казалось, что дилижаис стоит иа месте; Аидрейка ие мог оторвать восхищенных глаз от сказочного зрелища.

Демидовы устроились в лучшем отеле. Писцу была отведена тесная комнатка под крышей. Расположившись в ней, он распахнул окно. Сверкающая ночь стояла над Римом. Андрейка задумался. На далеком родном севере — суровая зима, трещали морозы, а здесь иочь была тепла, ласкова и на синем бархате неба сверкали крупные звезды.

Крепостной вздохнул.

— Россия, Россия, матушка иаша!— сказал он вслух.

— Что, соскучился?— виезапно раздался за спиной голос Шубина.

Аидрейка обернулся, лицо его было смущенное; юиоша опустил глаза. Художиик устало опустился иа стул.

— Это верно!— сказал ои со вздохом.— Нет в мире краше нашего Архаигельского края, Аидрейка! Выезжали мы с батькой на рыбный промысел в Студеное море. Льды, морозы и кипучая пучиiа — суровость и величие кругом! И вдруг среди иепроглядной тьмы разыграются сполохи — полиочиое сияние. Слыхал о ием?

Андрейка с любопытством слушал художника.

В тиши ночи они долго беседовали о родине.

— А у нас на Урале,— говорил Андрейка,— горы высоченные, богатств непочатый край. И кругом горе! Человек скован неволей. Барин тебе судья и хозяин!

Перед его взором предстал родной край, мать, работные. Вечная кабала!

— Что бы вышло, Федот Иванович, если бы наш народ не на барина работал, не из-под плети, а на себя!

— Россия возвеличилась бы над всеми народами! Не насилием, гнусностью и грабежом, а своим свободолюбием, мудростью и братской любовью к другим!.. Но пока это будет... Ох, милый, пока солнце взойдет, роса очи выест!— опечаленно закончил Шубин...

На востоке порозовела заря, и они нехотя разошлись...

Утром снова сверкало густое синее небо; жаркий воздух наполнял комнату, когда Андрейка проснулся. За окном, внизу на площади, шумели фонтаны. В церквах звонили колокола, мелодичный звон наполнял город. На улице отчаянно кричали погонщики мулов, звонко спорили молодые итальянки.

Андрейка сбежал с мансарды вниз, где экипаж давно поджидал Демидовых. Он проворно взобрался на козлы и уселся рядом с кучером.

Демидовы и Шубин вышли из отеля и уселись в экипаж. Кучер щелкнул бичом, кони тронулись. При дневном свете Рим был грязен. Толпы народа шумели на улицах. Город раскинулся на холмах, и линии домов резко выделялись на эмалевом фоне неба. Кривые улочки были наполнены жалкими лавчонками, полуразвалившимися домишками, где толкались оборванные бедняки, а в кучах мусора рылись бездомные собаки.

Наконец экипаж выбрался из темных вонючих переулков и покатился среди холмов и руин. Казалось, что все рухнуло и вековая пыль погребла под собою древний вечный город. За века древний римский Форум покрылся плотным слоем мусора и земли, точно старое деревенское пастбище, утоптанное быками; зеленые кусты цепкими корневищами охватили камень. А вдали по холмам бродили стада овец. Одинокий загорелый пастух в жалкой хламиде стоял, опершись на длинный посох, и лениво следил за отарой.

Шубин показал раскопки. И то, что было поднято из тьмы забвения, поражало неповторимой красотой. Извлеченные из толщи мусора разноцветные мраморы, колонны, жертвенники, изваяния богов, бронза, базилики — все приводило в трепет. Молчаливый, упоенный величием прошлого, художник ходил среди колонн, капителей, обломков.

Никита Акинфиевич хозяйственно шагал по руинам и ощупывал каждый камень. Если бы облачить его в тогу, то казалось бы — по каменистому хаосу расхаживает пришелец из далеких веков, римлянин времен Калигулы. Осанистый, со строгим профилем, Никита, как Цезарь, проходил по древнему Форуму. Андрейка с суеверным страхом взирал на хозяина.

«Этот поумнее Нерона будет,— думал писец.— Тот только жег да разрушал, а этот своего добра не упустит. Купец!»

В Колизее, чудовищном по своим гигантским размерам, Шубин привел их на место, с которого раскрывалась вся величественная панорама арены древнего цирка. Затаив дыхание, Андрейка стоял за спиной Демидова и смотрел на арену, заваленную обрушившимися арками и камнем. И перед глазами его в заходящем солнце встала страшная картина. Ему послышался гул огромной человеческой толпы, рев зверей, вопли жертв, стоны истерзанных и гром рукоплесканий. Через века пронесся запах крови; чудилось и сейчас еще, что арена пропитана ручьями жаркой крови... Отсюда свозили на скрипучих колесницах истерзанные трупы, для того чтобы сбросить их в огромные мрачные катакомбы, которые и сейчас простираются на окраинах вечного города.

Из-под ног Александры Евтихиевны выпорхнул дикий голубь; она вскрикнула и побледнела.

— Никитушка!

Звук ее голоса в гигантской пустоте цирка показался жалким. Две горлинки, расхаживая по каменному карнизу, мирно ворковали. Демидов, расставив ноги, стоял над уходящей вниз овальной воронкой и рассуждал:

— Эк, каменья сколько ушло тут: не один заводище сгрохать можно!

— Никитушка, и не надоест тебе!— капризно перебила его жена.

— Хоть бы одним глазком поглядеть, как тут зверье расправлялось,— внезапно перевел он разговор.— Ну что, как гусак, тянешь шею?— закричал он на Андрейку.— Отгуляло зверье, а то непременно свергил бы тебя вниз, поглядел, как ты управился бы!— засмеялся он, довольный своей выдумкой.

Художник снял шляпу, легкий ветер шевельнул его кудрявые волосы. Он отер пот и сказал Демидову:

— Страшные вещи вы говорите, Никита Акинфиевич!

— Кому страшно, а мне по душе сия потеха!

Они стали спускаться с каменной стены. Из-за угла вынырнул и пересек тропку рыжий толстый капуцин.

Никита усмехнулся:

— Господи, и тут поп, нигде от них не укроешься! Не люблю этих попрошаек.

Снова коляска катилась среди загородных рощ. Водопады, лавры, оливковые рощи — все сливалось в непрерывный поток, которым римская щедрая земля удивляла иноземца.

— Экий благостный край!— вздыхал Демидов.— И солнце, и тепло, и плодов земных не счесть, а смерть и тут не покидает человека...

Руины наводили Никиту Акинфиевича на мрачные размышления; он с горечью сказал художнику:

— Неужто и после нас так будет: останутся лишь прах да обломки?

— Это будет еще хорошо! Боюсь, что после нас, Никита Акинфиевич, ни праха, ни обломков не останется!— улыбаясь, отозвался Шубин.

2

Подошла масленица. 20 февраля, в ту пору, когда в России еще не кончились морозы, здесь, в Риме, на Корсо, шумели густой листвой платаны. С многочисленных балконов спускались богатые ковры. До полудня на улицах было пустынно. В полдень в Капитолии прозвучал колокол. Как вешний бурный поток, тысячные толпы народа устремились под открытое небо.

— Ты ныне не надобен будешь! Обойдемся без твоей помощи,— сказал Андрейке Демидов.— Брысь, окаянный!

Писец выбежал на шумящую улицу. Его сразу увлек людской поток. Женщины в нарядных платьях с маска-

ми на лицах, тонкие, стройные девушки и юноши, одетые в карнавальные наряды, заполняли площади и бульвары. Паяцы, пейзане и пастушки, капуцины, домино водили хороводы, плясали и пели, а среди этого шумного потока выбивали частый такт барабанщики на маленьких трескони. Под платанами потешались люди над выходками Пульчинеля, выскочившего из-за пестрого занавеса кукольного театра. С балконов и из распахнутых окон в толпу бросали конфеты из муки, орехи...

Андрейка вместе с толпой устремился на уличное ристалище коней без всадников.

Высокий детина в пестром балахоне, в маске прошел среди человеческого потока,оглушая барабаном. Тут же неподалеку за натянутой толстой веревкой стояли отменные кони. Андрейка с восхищением любовался скакунами. Но тут заиграли трубы, разом упала веревка, и лошади галопом ринулись вдоль людского коридора, сами расчищая себе дорогу. Тут только заметил Андрейка, что к спинам коней были привязаны шарики, утыканные медными иголками. От бега они кололи и терзали тело, кони от этого пуще ярились. Среди шумной, возбужденной толпы они пронеслись, как вихрь, на далекую площадь, где их задержали крепкие барьеры...

Следом за конями хлынула толпа, и все завертелось в пестром говорливом водовороте.

Андрейка давно уже заметил среди толпы стройную Коломбину в маске. Ее лицо пылало от восторга. Юноша следил за каждым ее движением. Какая-то необъяснимая сила тянула его к ней.

Когда шумный карнавальный поток устремился вдоль улицы, он, ловко лавируя, пробрался к девушке, схватил ее за руку и потянулся к маске. Коломбина увернулась и погрозила пальцем; из-под черного шелка насмешливо сверкнули глаза. Андрейка сгорал от нетерпения, его потянуло на дерзость. Словно предчувствуя это, Коломбина звонко рассмеялась и проворно скрылась в шумной и пестрой толпе.

И тогда началась погоня. Разодетые карнавальщики весело уступали Коломбине дорогу, стараясь удержать преследователя на расстоянии. Каждый неловкий жест юноши сопровождался дружным незлобивым смехом. Это еще больше разжигало Андрейку. «Чего она бежит, чего испугалась, ведь я ничего плохого не сде-

лаю ей!— с досадой думал он.— Или у ней есть кавалер и потому она недотрога?»— вспыхнула в нем неожиданная ревность. Но нет, глаза Коломбины горели неподдельным испугом, когда он нагонял ее, и наполнялись торжеством, когда на пути Андрейки в веселом смехе возникали и кружились хороводы. В веселой беззаботной толпе, как светлые огоньки, мелькали жгучие подбадривающие взгляды: юные девушки сочувствовали Андрейке и сулили успех. Но в эту минуту коляска, разубранная цветами, окруженная ликующей толпой, разъединила его и Коломбину. И не слышал Андрейка, как в коляске раздались знакомые голоса. Приподнявшись на сиденье, Демидов закричал:

— Глядите, никак наш холоп за девкой увивается!

Сидевший рядом с Александрой Евтихиевной Шубин сдвинул брови.

— Прошу, оставьте его на сей день, Никита Акинфиевич. Ведь ноне карнавал, и здесь это в большом обычае!— с жаром вступился он за юношу.

— Но ведь он русский, а она итальянка!— не унимался Демидов.

— Никитушка, какой ты!— с досадой и смехом успокоила его жена.— Ведь пора тебе знать: любовь над всеми властна.

Коляска все так же медленно двигалась среди праздничной, ликующей толпы. Тут вертелись и кружились домино, шуты в пестрой одежде, черти, арапы, молодые стройные женщины, окутанные газом. Развевались короткие и длинные цветные юбки, усеянные блестками. Привлекали взор юные пажи в бархатных камзольчиках, отороченных белым мехом. Из-под полумаски блестели лукавые зовущие глаза.

— Эх, хороши итальянки!— восторженно отозвался Демидов.

Грузный, с оплывшим лицом, он с завистью вглядывался в молодое пенящееся веселье. «Эх, махнуть бы из кареты и броситься в потеху!— взволнованно подумал он и с тоской поглядел на располневшую жену.— Никак опять в положении?»— догадался заводчик и принял величественный, неприступный вид скучающего вельможи.

Андрейка между тем неугомонно вертелся в народе; толпа больше не подзадоривала его, шумный людской водоворот кружил в другом месте. Он поднял глаза поверх толпы. Перед ним колыхалось море голов, и в эту

секунду, на одно только мгновение, он уловил лукавый взгляд — Коломбина исчезла в кривой улочке. Андрейка знал эти хитро переплетенные коридоры: здесь обитала римская беднота. Не раздумывая, юноша кинулся в улочку. Завернув с разбегу за угол низенького домика, он отшатнулся и словно в ослеплении зажмурил глаза. Грудь с грудью Андрейка столкнулся с ней. Глазастая, стройная девушка без маски стояла перед ним и смущенно улыбалась. Смуглое лицо ее сияло нескрываемым счастьем. Прижав к груди руку, переводя торопливое дыхание, она радостно вскрикнула:

— Андрейка!

Смотря прямо в девичьи глаза, Андрейка узнал ее:

— Кончетта, вот где встретились опять!

Юноша робко взял ее за руку. Девушка не противилась.

— Коломбина!— наклоняясь к смуглому плечу ее, шепнул он.

— Нет, теперь я не Коломбина!— серьезно отозвалась она.— Коломбина я была только на этот день. Помнишь, как было раньше? Но почему ты вернулся к нам?— вдруг спохватившись, спросила она.

Юноша в смущении опустил голову:

— Хозяин-барин вернул. Я ведь писец у одного знатного иностранца!— признался он смело, и сразу стало легко на душе.

— О, это хорошо!— всплеснула руками девушка.— Значит, ты по-прежнему думаешь обо мне?

— Еще бы!— загорелся счастьем Андрейка и потянулся к ней.

Она погрозила пальцем:

— Нет, нет, не теперь.

— Идем к тебе, Кончетта!

— Что ж, идем!— Она непринужденно схватила его за руку и повлекла за собой.

Они миновали ряд длинных узких переулков. Все глуше становились места, но зато все чаще встречались огромные пустыри, поросшие травой и молодыми деревьями. В глубине одной из улочек девушка остановилась. Перед лачугой, скрывая ее, стоял тенистый широкий платан. Кончетта постучала в дверь. Андрейка тревожно взглянул на итальянку.

— Ты не бойся ее!— шепнула девушка.— Это моя тетка. Она злая, но будет рада, она ищет женихов мне, хочет, чтобы я скорее покинула дом...

Дверь приоткрылась, выглянула растрепанная голова седовласой женщины. Глаза ее на сером мясистом лице сверкнули злостью. Кончетта мышкой юркнула в приоткрытую дверь. Завидя юношу, старуха уперлась в бока, но лицо ее расплылось в предупредительную улыбку.

— Синьор! Синьор!..— затараторила она и, заслышав за своей спиной стук легких шагов Кончетты, быстро оглянулась. На лице ее мгновенно вспыхнула ярость.— Ах, синьор, Кончетта такая шалунья,— снова улыбнулась женщина и сделала реверанс.— Я прошу синьора войти!

Андрейка учтиво поклонился старухе и, пройдя вслед за ней в крохотный дворик, увидел на скамейке Кончетту.

— Я прачка, простая прачка, но я желаю добра ей! — вдруг всхлипнула старуха.— Вы сами видите, синьор, как я ее держу... Опять ты, негодница, бегала на карнавал!..

— В этом нет ничего худого,— вступился Андрейка за свою подругу.

— Конечно, конечно! Сама была молода и очень красива. Красивее ее... Но, синьор, она заставила меня страдать...

Андрейка учтиво стоял перед женщиной, мял в руках шляпу. Эта сдержанность и внимание пришлось по душе старухе. Она растаяла и зашептала:

— Она взяла чужое платье. Я тут стираю... Ах, боже мой, какая может быть неприятность, если синьора Патуцци узнает!

Девушка раскраснелась, она глазами умоляла пощадить, но старуха не унималась. Она плакала, утирая грязным передником слезы.

— Я тоже была молода, горяча!..— со вздохом повторяла она после каждой фразы.

Кончетта вскочила со скамьи и ласково выпроводила ее. Беспрестанно целуя старуху в щеки, она в тон ей повторяла:

— О, тетя была красива, очень красива...

Бедность проглядывала из всех щелей этого домика, но двор был очарователен. Солнце золотыми вечерними бликами трепетало на зеленой листве. Широкий прощальный луч его упал к ногам девушки. Она загляделась на это золотое пятно. Птицы возились в чаще.

Андрейка осторожно взял руку девушки. Она не отняла. Вглядываясь в нежное девичье лицо, в черный, чуть приметный пушок на ее верхней губе, он вздохнул. Она вскинула на него свои большие лучистые глаза:

— Тебе скучно со мной?

— Нет, нет!— Андрейка покачал головой и приблизился к ней. Ему хотелось многое рассказать о себе, признаться во всем. Но, встретив встревоженный взгляд девушки, раздумал, взял ее руку, прижал к своему сердцу.

— Ты слышишь, с сегодняшнего дня оно бьется только для тебя!— сказал он просто.

— О!..— восторженно воскликнула Кончетта: радость сверкнула в ее глазах.

Больше они не находили слов для своей внезапно вспыхнувшей любви. Золотые блики на листве платана тускнели и гасли; птицы угомонились. Потухла и золотистая пыльца, которая кружилась в солнечном луче. Андрейка сказал:

— Я так и знал, большое приходит сразу. Завтра я снова вернусь к тебе и сыграю на скрипке.

Условившись о встрече, Андрейка ушел и долго блуждал по запутанным, кривым переулкам. Над городом простерлась ночь. В лачугах кое-где светились огоньки. А когда он вышел на Корсо, в тени застывших платанов бродили одинокие фигуры. В окнах особняков горели люстры: там продолжалось карнавальное веселье...

Демидовых не было дома. Андрейка тихо прошел в свою мансарду и, не зажигая света, распахнул окно. Волна свежего, живительного воздуха обдала его. Он достал из потертого футляра свою старенькую скрипку и заиграл...

Из-за высоких крыш выкатился месяц, зеленоватый свет заструился над крышами. Притихший огромный вечный город спал внизу. Скрипка пела и ликовала в безмолвной тишине...

Глубокой ночью к нему в каморку поднялся Шубин. Писец сидел у стола, закрыв лицо руками, сладко улыбаясь.

— Что с тобой, дорогой мой?

— Я влюблен, Федот Иванович!— восторженно сказал Андрейка.

— А-а!— кивнул Шубин.— Старая, вечная история... Сегодня, брат, в Риме не один ты влюблен...

Горькие складки легли возле его губ. Взор помрачнел. Он замолчал, долго смотрел в распахнутое окно на бегущие прозрачные облака, осеребренные по краям луной. Потом встряхнулся и задушевно, как бы в раздумье, сказал:

— Не тому удивляюсь я, Андрейка, что ты влюбился. Это человеку потребно. Но при твоей жизни — это грозит мукой, брат...

— Пусть! Но я люблю ее!— с горячностью вырвалось у юноши.

— Кто же она, твоя чародейка?— улыбаясь, спросил художник.— Уж не та ли, за которой ты ныне по площади гонялся?

Андрейка в изумлении открыл рот:

— Вы подглядели?

— Не я,— перебил его Шубин.— Никита Акинфиевич увидел. Гляди, будет беда... Ах, Андрейка, Андрейка, пропащий ты человек! Но ничего, это пройдет, все пройдет!— вздохнул он.— Ночь-то какая, а?.. А у нас в России тоже, поди, весна в дверь стучит... Ну, Андрейка, спи и мечтай о своем ангеле...

Он ласково потрепал юношу по плечу и, бормоча себе под нос, ушел...

Утром Никита Акинфиевич, просматривая журнал, к своему неудовольствию нашел строки:

«Молодые девицы римские отличаются отменной красотой и добродетельностью...»

— Ну, это ты, брат, того, перехватил! Что касается красоты, то верно подмечено, а о добродетелях помолчим для прилику... Ты, я вижу, каждое кумеканье заносишь, а журнал сей не для потехи. Надлежит наиподробнейше вносить в летопись, с кем из высоких людей мы имели встречу, с кем свою трапезу разделили. Разумеешь, раб?— Топая башмаками, Демидов грузно прошелся по комнате и пригрозил:— Эка жалость, не на Москве мы, а то отослал бы я тебя на съезжую, там бы отпороли за нерадивость!

У Андрейки от обиды задергались губы, но он склонил голову и промолчал.

3

Демидовы представлялись его святеишеству папе римскому. Столь важное событие надлежало отметить в летописи путешествия, однако Никита Акинфиевич не

пожелал, чтобы Андрейка сопутствовал им на аудиенцию. Писцу вменялось описать встречу со слов хозяина.

— Не можно того позволить, чтобы холоп лицезрел высокую особу!— поморщившись, сказал он.— Сие будет для папы весьма оскорбительно.

Андрейке было досадно, но то, что он на целый день был свободен, его обрадовало. Не теряя драгоценного времени, он отправился к девушке. Его приняли радушно. Кончетта с песней носилась по дворику, развешивая мокрое белье. Рукава голубенького платьица были засучены, маленькие загорелые руки проворно двигались. Ни минуты не знала она покоя: прыгала, распевала, глаза ее светились счастьем.

Андрейка подошел к старой итальянке, нежно обнял и по-сыновьи поцеловал. Прачка прослезилась:

— Идите, идите, погуляйте!

В этот день они отправились по древней Аппиевой дороге. Вокруг было много солнца, теплый воздух ласкал их лица. Какая-то птичка, вспорхнув с темнозеленого кипариса, взвилась и со щебетаньем растворилась в голубизне неба. Андрейка вздохнул полной грудью. Кончетта, склонив голову, шла рядом, опираясь на его руку. По обеим сторонам Аппиевой дороги виднелись древние языческие памятники.

Влюбленные дышали теплом, солнце пригревало землю, и чем ближе подходили они к городу, тем возбужденнее горячилась кровь. На тропе было пустынно, Андрейка украдкой оглянулся, сильным движением обнял и крепко прижал к сердцу Кончетту:

— Ох, и мила ты мне!

Она вскрикнула и обвила его шею смуглыми руками.

— Андрейка, мой хороший Андрейка!— лепетала она, и в эту минуту он забыл обо всем на свете...

Усталые и счастливые, они вернулись в лачугу под платаном. Старуха поджидала их на пороге. Склонив седую голову, она дремала. Вечернее солнце посылало последние лучи на землю. Наступило время «Ave Maria», когда с минуты на минуту раздастся вечерний звон колоколов церквей старого Рима. Все точно замерло. Воздух, напоенный теплом, застыл в неподвижности. Они подходили к гостеприимной двери, когда тишина дрогнула и над городом понеслись торжественные и грустные зовы ангелюса — звон сотни колоколов.

Старая прачка вздрогнула, очнулась от сна и, склонившись на одно колено, стала повторять слова молитвы.

— Ave Maria...— шептали ее сухие, бескровные губы. Жилистые большие руки скрестились на груди. Женщина взглянула на девушку, и та послушно рядом с ней опустилась на колени. Андрейка снял шляпу и молчаливо, благоговейно созерцал тускнеющее небо...

Хозяйка зажгла восковую свечу и прилепила на подоконнике. Андрейка подошел к старухе и, садясь рядом с ней на пороге, смущаясь, сказал:

— Матушка, мне надо с вами серьезно поговорить. Я люблю Кончетту... Я думаю просить ее стать моей женой...

Старуха всплеснула руками, обняла его. Утирая обильные слезы, она шептала:

— Я так и знала! Я знала, что вы порядочный человек, синьор!

Она не спросила его ни о звании, ни о ремесле. «Не все ли равно для бедного человека, кто он? Было бы доброе сердце и крепкие руки! А счастье придет вместе с любовью!»— думала она и утирала передником слезы.

4

Вечером бедный малый во всем признался Федоту Ивановичу Шубину.

— Ты с ума сошел, Андрейка!— вскричал художник.— Рассуди сам, что принесешь ты своей избраннице? Одно горе и унижение. Ты холоп, а она вольная. Так неужели ты хочешь ввергнуть в рабство предмет своей любви?

Слова Федота Ивановича были жестоки. Андрейка сказал:

— Слезно молю вас, сударь, упросите Никиту Акинфиевича отпустить меня на волю!..

— И того не легче! Да разве Никита Акинфиевич поступится своей выгодой? Полно, рехнулся ты, парень! Один братский совет тебе: беги из Рима, отпросись у хозяина наперед выехать.

— Нет, Федот Иванович,— грустно покачал головой Андрейка.— Что будет, а не оставлю Кончетту.

Всю ночь не мог уснуть Андрейка от душевных страданий. Что будет с его возлюбленной в крепостном рабстве? Ему становилось страшно и больно. Утром,

исхудалый и бледный, при вызове к хозяину кинулся ему в ноги:

— Разрешите, Никита Акинфиевич! Жениться задумал я...

— Жениться? Ишь ты! Сколь годов тебе?

— Двадцать пять.

— В самой поре жених. Что ж, найдем девку! Вот доберемся до России и схлопочем бабу.

— Да я не о том, хозяин. Наглядел я тут... одну...

— Иноземку, что ли? Черномазую? Ах, коршун тебя задери, что удумал! Только ведай: возьмешь ту девку — навек обратишь ее в мою холопку. Жениться даю свое соизволение, но помни, что я сказал.

Помолчав, Демидов продолжал:

— И еще одна указка моя. Девка непременно должна перейти в нашу веру.

Голос хозяина звучал властно, он бесцеремонно разглядывал Андрейку и, не утерпев, сказал:

— Гляжу я на тебя, разумен ты, а хил. И чем ты припал на сердце той девке? Бабы ведь любят крепких да тороватых. Ну, ну, ладно, не серчай! Слово хозяйское к добру...

Спустя неделю Кончетту окрестили в русской церкви. Восприемниками от купели были Александра Евтихиевна и Федот Иванович Шубин.

Молодая итальянка, нареченная при таинстве крещения Анной, переселилась в дом Демидовых. Через три дня их обвенчали.

Старая прачка поклонилась Никите Акинфиевичу и, схватив его руку, раболепно поцеловала ее:

— Синьор, синьор, осчастливьте мою девочку!

— Ну, чего расквакалась!— грубо оборвал ее Никита.— У меня в труде праведном заживет. Хуже не будет! Тут, глядишь, побродяжкой скиталась...

Седая работница не знала чужого языка, вздохнула и благодарно взглянула на Демидова.

Глава восьмая

1

В мае 1773 года Демидовы вместе с Шубиным вернулись в Париж. Вновь окунулись они в бесконечные увеселения: посещали театры, гулянья, народные зрелища.

Александра Евтихиевна получала настойчивые приглашения из Англии. Демидовы решили посетить Великобританию. Никита Акинфиевич пригласил доктора Пуасонье, которому и поручил оберегать в морском пути вновь отяжелевшую супругу.

Снова оставив маленькое дитя на руках лекаря Берлила и его почтенной сожительницы, поутру 18 мая Демидовы двинулись в Англию.

Туманный Лондон произвел на них гнетущее впечатление. Чопорность, необщительность англичан раздражали Демидовых. Никто ими особенно не занимался, никого их богатство не удивляло здесь. Никиту Акинфиевича это сильно уязвило.

Среди всех этих беспокойств с Александрой Евтихиевной приключился болезненный припадок. Доктор, осмотрев больную и находя необходимым покой беременной, уложил ее в постель.

2

Целый месяц томился Демидов, пока возможно стало отправиться в обратный путь. Через Дувр и Кале, после семидневного странствия, вернулись в Париж...

Демидовы собирались возвращаться в Россию. Они целые дни разъезжали по городу, отдавая прощальные визиты и принимая у себя гостей. Из парижских магазинов то и дело присылали закупленные вещи. Чего только тут не было! Огромные фолианты в кожаных переплетах, картины в дорогих богатых рамах, изящные статуэтки, часы, мебель, математические инструменты, шелка, бархат, атлас. Хозяин озабоченно ходил среди груд раскиданного по комнатам добра, отбирая, что взять с собою, а что отправить в Россию морем. То и дело приходили парижские торговцы, вкрадчиво заводя беседы о расчетах. Никита Акинфиевич торговался за каждую копеечку.

Андрейка долгие часы записывал расходы Демидова, вел реестр приобретенного и с тревогой думал о предстоящем возвращении домой. Федот Иванович появлялся редко: хозяевам было не до него. Шубин молча разглядывал вещи, покачивал головой.

— Сколь человеческих душ стоит сей паникадил?— с мрачным волнением спрашивал он. В его словах сквозила нескрываемая горечь. Подолгу стоял он перед статуями и вздыхал. «И все заграбастал хозяин!» —

с грустью думал он о своей работе. Стараясь не смотреть на Андрейку, Шубин говорил ему:

— Беден, все продал Демидову. У нас издавна говорится: нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет. Ах, Андрейка, для чего все это, кому нужны наши таланты?— Художник закрыл глаза рукою и уселся на ящик.

— Ничего, ничего, пройдет это!— немного погодя сказал он Андрейке.— У меня это бывает, когда вспомню о родных краях...

С еще большей печалью Федот Иванович смотрел в глаза Аннушки.

«Как-то она, голубушка, приживется у нас в России?»— тревожно думал Шубин. Угадывая его мысли, она, прижимаясь к мужу, храбрилась:

— Я не боюсь мороза,— и обращала глаза на Андрейку:— Куда он — туда и я!

Россия представлялась ей заваленной снегами, жестокие морозы там леденили людей, а по улицам городов, занесенных сугробами, бродили медведи.

«Эх, голубка!— думал, глядя на нее, художник.— Правда, Россия не Италия, и морозы там бывают жестокие, но не они страшны. Есть кое-что пострашнее!»

Демидовых не было дома. Федот Иванович поднялся в мансарду к Андрейке. Там, усевшись в старенькое потертое кресло, он сказал друзьям:

— И все ж таки небось рады. В Россию!..

В его голосе прозвучали ласка и печаль. Он говорил о России тепло, как о родной матери.

— У нас в Холмогорах зима стала. Эх, прокатиться бы, братец, на санях! Ну, ничего, и я скоро домой!..

Он глянул на демидовского писца, и сердце его встрепенулось. Чутьем догадался Федот Иванович, о чем затосковал Андрейка. В глазах его притаилась большая скорбь. Чтобы хоть на минуту погасить тревогу, он попросил:

— Сыграй, брат, в последний раз под чужим небом!

Андрей послушно взял скрипку и заиграл.

Над Парижем бежали темные, грузные тучи, дождь стучал в окно. Большие капли скользили по стеклу. В каморке было сыро и неуютно. Аннушка сидела, поджав под себя ноги. Она, не спуская глаз, любовалась Андрейкой. Лицо его сияло вдохновением. Забыв обо всем в мире, скрипач играл одну за другою то веселые,

то грустиые пьесы. А когда скрипка зазвучала веселым итальянским мотивом, молодая женщина ие утерпела. Она вспыхнула, оживилась, словно ее пригрело родное солнце. Аннушка запела.

Дождь барабанил в стекла, августовские сумерки иеслышно заползали в маленькое окно. Закрыв глаза, Федот Иванович видел солиечную Италию, шумный карнавал. Он вспомнил, как веселая черноглазая девушка убегала от Андрейки, ныряя, как в волнах, в пестрой толпе масок.

— Экий талаит ты, братец! За душу хватает!..

Неожиданио в комиате стало тихо. Капли дождя монотонно стучали в окио. Скрипка затихла, и среди внезапно иаступившей тишины вдруг раздалось чье-то легкое горестное всхлипыванье. Изумлеииый Шубии открыл глаза.

Склоиив головку иа грудь, Аииушка горько плакала. Слезы безудержно катились по ее смуглому лицу. Вся ее малеиькая и тоикая фигурка скорбио поиикла. Федот Иванович встал и тихо подошел к ией. Ои ничего не сказал в утешеиие... Протянув руку, Шубии по-отцовски гладил ее головку. Андрейка, опустив руки, стоял посреди комнатки. Последний торжествующий звук угас в нежиом тельце скрипки, и оиа, умолкиув, еще дрожала в длиииых и тонких Андрейкииых руках...

3

30 августа Демидовы выехали из Парижа. Положение Александры Евтихиевиы заставляло торопиться. Стан ее заметно округлился, и было очевидно, что оиа дохаживает последиие дии. Никита Акиифиевич с тревогой поглядывал иа жеиу.

Впереди троиулась коляска с дочкой Катериикой, кормилицей и ияиьками. Тут же была и притихшая Аннушка. За первым экипажем двигалась коляска хозяев, за ними ехали слуги. На заставе Демидовы учтиво, но холодио простились с Шубииым. Выбравшись иа шоссе, кони резво побежали среди зелеиой равииины. Аннушка оглянулась. На бугорке, словио в тумане, видиелся силуэт художиика, размахивавшего шляпой. В смертельиой тоске сжалось сердце. По щекам Аинушки потекли слезы, оиа выхватила из-за корсажа платок и помахала им.

Меж тем Париж стал тускнеть, отходить в туман. Поскрипывая, тянулись бесконечные возы с сочной огородной зеленью, встречались кареты. Постепенно все закрывалось холмами и рощами. Стоял золотистый августовский день, в полях легко дышалось. Овладевшая сердцем Аннушки грусть понемногу отходила, рассеивалась.

Андрейка только на привалах и ночлегах встречался с женой. Каждый раз он тревожно вглядывался в ее лицо. Но она по-дорожному была оживлена. С увлечением рассказывала мужу о виденном за день. По холмам Франции все еще тянулись виноградники, все так же синело небо, каким оно бывает осенью в родной Италии. Над полями носились стайки скворцов. Своей хлопотливостью они веселили Аннушку. Беря Андрейку за руку, она успокаивала его:

— Ты видишь, я не скучаю...

Андрейка молчал. И эту молчаливость она принимала за наступившее охлаждение.

— Ты уже не любишь свою женку?— тормошила она его, пытливо заглядывая в глаза.

— Ах, не то!— вздыхал он.— Я думаю о другом...

— О чем же? Ты все еще боишься за меня?

Губы Андрейки кривились в горькой усмешке. Ему хотелось рассказать ей всю правду, которой она еще не знает. Демидов пока сдержан, он даже бывает ласков с женой своего раба.

«Но что запоет он в России? Там он полный хозяин над нашей жизнью и смертью»,— со страхом думал крепостной, и, видя на лице жены счастье, он решил: «Нет, не стоит омрачать его!»

За всю дорогу он ни разу не притронулся к своей скрипке. Он оберегал ее в пути от непогод, подолгу разглядывал на ночлегах, оставшись один. Но играть не играл, боясь хозяина. Демидов, довольный путешествием, выказывал нескрываемую радость. Она выражалась по-разному и заставляла Андрейку трепетать. Никита Акинфиевич подолгу засматривался на сияющую молодостью итальянку и, не таясь, говорил своему писцу:

— Ну, что с такой бабой связался? Прельстительна больно! Не понять тебе в таком деле вкуса!

В глазах Демидова в эту минуту вспыхивали недобрые огоньки. Андрейка сдерживался, но темнел. Хозя-

ин, не замечая гнева своего крепостного, продолжал спокойным, ровным голосом:

— Вот приедем в Россию, тебя конюхом сделаю, а ее в дворню возьмем...

— Никита Акинфиевич, что хотите делайте со мной, а жену мою пожалейте!— униженно просил он.

— Ишь ты! Холоп, а женку по-настоящему любчт!— улыбался Демидов.— Ну, там увидим!..

На остановках хозяин подходил к карете, где нянюшки покоили дочь. Он брал на руки ребенка, поднимал его. Растревоженная Катеринка кричала. Отец счастливо гаркал, чтобы слышали окружающие:

— Горласта девица! Крепкий, видать, корень демидовский!

Он поднимал дочь лицом к солнцу и был вне себя от радости, когда замечал, что она довольно щурится от света.

Стояла благодатная осень. По проселкам встречались толпы загорелых жниц. Скрипели возы. На закатах над дорогой часто вилась легкая золотистая пыль — брело сытое стадо. В вечернем воздухе далеко разносился легкий свист бича: темноглазый проворный пастух забавлялся своим мастерством. Все было так, как бывает на родине, в России, в теплые летние дни. Демидов неожиданно кричал Андрейке:

— Знатно быть пастухом! Ты подумай, холоп...

Дум и без того было много. Когда ехали долгими, бесконечными полями Франции, Андрейка часто утешал себя мыслью:

«А что, если убечь?..»

Но чем дальше уходила дорога на восток, тем мрачнее и безнадежнее становилось на душе крепостного. Понимал он: не сбежать ему, никуда не укрыться от Демидова. Да и что он будет делать с Аннушкой? Человек дешев и здесь, за рубежом. По деревням он немало встречал людей, которые жадно смотрели на проезжих, ожидая подачки. По глазам их догадывался Андрейка — голодные люди. В деревушке на постоялом дворе пожилой седоватый крестьянин со вздохом пил сидр.

— О чем вздыхаешь?— спросил Демидов поселянина.— Радоваться надо! Урожай какой послал господь.

Поселянин с печалью посмотрел на проезжего вельможу. Большие жилистые руки его лежали на столе,

отдыхали от тяжелого труда. Глядя на загорелые, перепачканные землей руки, Никита Акинфиевич недовольно подумал: «На этом столе не будем кушать...»

Крестьянин медленно, спокойно допил сидр, прожевал кусок черного хлеба и только тогда отозвался на слова Демидова:

— Это верно, когда хорошо вскопаешь землю, она не скупится на урожай. Но что крестьянину от него достается? Ах, сударь, земли здесь арендуют! После аренды нам остается мало, очень мало!— покачал он головой и снова взялся за сидр.

Серое в морщинках лицо его дышало безразличием Он даже не встал, разговаривая с Демидовым. Хозяин трактира учтиво поклонился гостю:

— Прошу извинить. У нас народ груб и невежлив. С той поры как в Париже появились недовольные королевскими порядками, народ не чтит господ...

Он провел приезжих в чистую горницу и, склонившись в раболепном поклоне, выжидал приказа...

Нянюшки — бойкие парижанки — презрительно оглядывали мешковатую, грубую фигуру крестьянина. Он был бос, и черные загорелые ноги пыльны. Еле скрывая отвращение, одна из нянюшек, упершись в бока, сказала:

— Расселся тут! Не мешал бы чистым людям отдохнуть...

— Что ж, милая, я могу и уйти. Я сделал свое дело, немного подкрепился, а теперь пора и за работу. Меня и впрямь ждет пашня! Прощайте...

Проходили дни. В конце сентября путешественники достигли Дрездена. Мать владетельного курфюрста, с которою Демидовы познакомились во время пребывания в Аахене, узнав о прибытии гостей, прислала за ними заложенную цугом карету и со всей свитой встретила Демидовых в большом светлом зале своего старинного замка. Никита Акинфиевич расхаживал по обширным покоям, восторгался прочностью и незыблемостью вещей.

— Полюбуйся, на века строено!— хвалил он.

Не нравилось ему, что хозяева держались слишком чопорно, иной раз весьма некстати хвалились своими предками, древними князьями. Демидов обеспокоенно думал: «Не дознались бы, что дед наш был черномазый кузнец». Сейчас он до горечи завидовал родовитой знати.

В одии из дней Никита Акинфиевич, дозиавшись о Фрейбергских серебряных рудииках, иадумал посетить их. Андрейка сопровождал хозяина иа рудиики. Мать курфюрста долго отговаривала Демидова от этой затеи, ио он не уступил. Хотелось ему позиакомиться с немецким гориым делом. Хозяйка отпустила с иим офицера, строго иаказав оберегать Демидова.

В жаркий полдень прибыли иа рудники. Все было обычное: горы отработаиной породы высились иа обшириом пространстве. У холма грохотала промывальиая и точильная фабрика. Офицер привел Демидова в домик, весьма загрязиеиный; отсюда иачииался спуск в подземелье. Аидрейка и офицер обрядили Никиту Акинфиевича в одежду рудокопа. Тут же находился и гориый надзиратель — сухой тонкогубый иемец. Он толково и неторопливо объяснил Демидову, как держать себя при спуске в шахту. Никите Акиифиевичу и Андрейке дали по небольшому фонарю с зажженными свечами. Фонари повесили на грудь, чтобы руки были свободны.

— Прошу,— сказал немецкий офицер, подведя гостей к шахте, из темной пасти которой торчала лестница.

Первым в преисподнюю полез Аидрейка. За иим, сопя и кряхтя, держась за канат, стал спускаться Демидов.

Под иогами было скользко, свет от фонарика плохо разгоиял тьму. По стенам текла вода. Прислушиваясь к шумному дыхаиию хозяина, Аидрейка с боязиью думал: «Как бы ие оборвался, боров! Увлечет вииз, и света белого ие взвидишь!»

Лестиицы шли одиа за другою, а коица ие было. Казалось, пасть бездоииа и в безмолвии коварно поджидает свою жертву. Демидов вздохиул и сказал громко:

— Пропади оио пропадом! Дальше ие полезу!..

Они остановились на площадочке. Тут сбоку шел ход, в котором гремели кирки. Согнувшись, Демидов подался вперед и увидел, как человек, извиваясь червем, моиотонно бил кайлой в породу. Другой — черномазый истомленный горщик — сгребал обломки твердой руды и отвозил их к бадье. Сырость и дым от свечей, как туман в угарной бане, душили. Заводчик, раскрыв рот, дышал жадно, с хрипом.

— Уйдем отсюда!— недовольно сказал Демидов.— В преисподней сатаны и то получше будет!

— Что ты, хозяин, и у нас так же!— смело подхватил Андрейка.

— Молчи, черт! Гляди — посеку!— прикрикнул Никита Акинфиевич.

Опять выбрались к лестнице и полезли вверх. Под тяжестью скрипели лестничные поперечины. Демидов молча сплевывал в тьму, зеленые зрачки его светились по-кошачьи. Андрейка был рад, когда выбрались на дневной свет. Поспешно скинув горняцкое платье, они вместе с хозяином возвращались во Фрейберг...

На другой день, откланявшись семье курфюрста, Демидовы проследовали в Дрезден.

— Домой! Домой!— торопила Александра Евтихиевна мужа.

Глядя на округлый стан ее, Демидов и сам понимал — надо спешить в Санкт-Петербург...

Глава девятая

1

Стояла глубокая осень; волоча серые отсыревшие космы, над полями бесконечной вереницей плыли тяжелые тучи. Моросило. Под колесами экипажей хлюпала грязь, брызги ее при каждом толчке на рытвине обдавали пассажиров, коней и экипажи. Задувал холодный ветер. Стаи ворон, кружившиеся над мокрым ржанищем, своим карканьем еще сильнее подчеркивали и без того унылую пору. Кончились усыпанные битыми камешками дорожки, пошли неприглядные грязные проселки с топями и проломанными мостами. То и дело колеса застревали в глубоких засасывающих трясинах. Ямщики и прибегавшие на зов крестьяне из окрестных деревень с криками и руганью вытягивали экипажи из грязи. Нередко от засасывающего дорожного месива ломались ступицы, оглобли и даже железные оси.

Александра Евтихиевна лежала, обложенная подушками, укрытая пледами. Усталая, с землистым цветом лица, она всю дорогу дремала. Аннушка сидела в экипаже напротив. С любопытством она разглядывала незнакомые мокрые поля, оголенные перелески и ветхие придорожные деревушки. На лесных дорогах

было теплее. В чащах под колесами шуршал палый лист. Лесные дали были подернуты синей дымкой испарений; на голых сучьях, протянувшихся через дорогу, блестели ожерелья крупной росы.

Однажды из дымчато-серых кустов на дорогу выбежал зайчишка, присев, навострив уши, слушал приближающийся шум экипажей.

— Смотрите! Смотрите!— закричала Аннушка, и лицо ее осветилось восторгом.

— Русак! Ату его!— загораясь охотничьим задором, заорал в соседнем экипаже Никита Акинфиевич.— Живей ружье мне!

Но крики и шум, произведенные путниками, вспугнули зайчишку, он прыгнул с дороги и скрылся в чаще. Только на росистой бурой траве остался его темный след.

Александра Евтихиевна открыла глаза и, оглядевшись, капризно упрекнула мужа:

— Ах, Никитушка, ты кричишь, как егерь!

Долго Демидов не мог угомониться.

Переехав границу, завидя русские поля и перелески, охваченные осенним багрянцем, он почувствовал себя дома. Его так и подмывало выпрыгнуть из экипажа, вскочить на коня и с борзыми броситься по чернотропу. На жалобу жены он весело отозвался:

— Эх, милая, борзых нет... А ты дремли, почивай, скоро Нарва...

Сидя на козлах рядом с кучером, Андрейка беспокойно оглядывался на жену. «Как она? Поди, затоскует. Вот она, началась наша осень!» — с тревогой думал он.

Но Аннушка не унывала. Среди этих серых, унылых полей, мокрых перелесков, придавленных черными громадами осенних туч, она не чувствовала себя одинокой. Рядом был Андрейка. Однако ей не нравились угрюмые, суровые лица встречных поселян, понуро бредущих по дорогам. Казалось, они ссутулились под тяжестью горя...

— Вот и Нарва, милые!— снова закричал Демидов и завозился в экипаже.

Посвежело. Из-за дюн сильнее задул ветер. Показывая кнутовищем вдаль, кучер сказал:

— Там море...

Он не докончил своей речи: экипаж, в котором находилась Александра Евтихиевна, вдруг вздрогнул

и остановился. Напрасно кучер нахлестывал бичом, изо всех сил рвались и тянулись дымившиеся от испарины кони,— экипаж увязал все глубже и глубже. Кучер спрыгнул прямо в лужу и, повозившись, сокрушенно объявил:

— Колесо сломалось, господа хорошие.

Демидов не утерпел, соскочил в грязь. Топая крепкими башмаками по жирной хляби, он загудел:

— Приехали! Эх, черти, провели дорожку где! Зови народ!..

Со взморья вместе с ветром и изморозью быстро надвигались сумерки. Где-то в пади затрепетал заманчивый огонек. Андрейка и второй кучер соскочили с козел. Только женщины оставались в экипажах среди грязи и наплывшего тумана. Демидов сердито закричал ямщику:

— Поторопись, вишь настигает ночь!

В потемневших полях стало тихо, тоскливо. Аннушка присмирела, пугливо озиралась. Александра Евтихиевна нисколько не отзывалась на окружающую суетню. Укрывшись теплым одеялом, она не шевелилась и думала о предстоящих родах.

Медленно тянулось время. Аннушке казалось, что прошла целая вечность. Из низин, как призраки, наползали серые космы тумана и, клубясь, заволакивали все. Манящий огонек, только что мерцавший в низине, беспомощно растаял. Туман подступил к экипажам и охватил их холодными влажными крыльями. Где-то рядом на пригорке топал по грязи Никита Акинфиевич и вслух ругал ямщиков.

Неожиданно в стороне возник и расплылся в тумане, как желток, мутный свет. Загомонили голоса, под чьими-то ногами зачавкала грязь.

— Наконец-то! Живей, люди!— окрикнул прибывших Никита.

Вместе с ямщиками пришли кряжистые бородатые крестьяне, одетые в сермяги. Закопченные лица мужиков выглядели дико и сурово.

— Ковали пришли, ваша светлость,— сказал Демидову ямщик.— Тут недалече кузница и домишки. Советуют перенести их милость в избу, пока обладят колеса...

Кузнецы подошли к Александре Евтихиевне и, поклонившись горе подушек, сдержанно сказали:

— Дозвольте, сударыня, на ручках донесем.

Она открыла глаза и, испуганно озираясь на мужа, жалобно простонала:

— Ах, Никитушка, утопят они меня в грязи! А как наша девочка?..

— Не бойтесь, сударыня. Мы сильнущие! Донесем и дите ваше обережем.

Никита изумленно спросил их:

— Кто же вы и отколь хорошо знаете по-русски?

— Да мы ж свои, псковские!— весело отозвались кузнецы.— Наши прадеды отвоевали эту отцовщину. Тут мы от века сидим, в этих краях...

Они бережно подняли на руки укутанную Александру Евтихиевну и потихоньку понесли ее вслед за колеблющимся фонарем.

Бородатый кузнец, притаив дыхание, взял ребенка. Проснувшаяся от тревоги девочка голосисто заревела. Рядом в тумане колыхнулась огромная тень Демидова.

— Кричи, кричи, демидовская силушка!— добродушно бросил Никита.

Три дня путешественникам пришлось прожить в деревушке, ставленной псковичами на берегу Наровы. Тут все дышало родным, русским. Бревенчатые избенки, скрипучий журавлик над колодцем, баньки, выстроенные в ряд у реки, даже горьковатый дымок своим запахом напоминал родное...

— Эх, и крепка Русь!— шумно дыша, сказал Демидов.

Он стоял на берегу, а перед ним широкой стальной полосой текла Нарова. Неподалеку от него по обеим сторонам реки на высоких ярах высились грозные крепости: по правую — ливонская, прекрасно уцелевшая, хотя и отстроенная полтысячи лет тому назад; на левом — пограничная русская крепость Иван-город. По углам ее вырисовывались круглые каменные башни.

Тут же на берегу Наровы русские бородатые рыбаки, обветренные и широкоплечие, развешивали мережи. Завидя барина, они поклонились. Один из них — старик — приветливо спросил:

— Издалека, сударь? Небось из заморских краев возвращаетесь?

— Угадал, земляк!— словоохотливо отозвался Демидов. Хотя он был в дорожном бархатном кафтане и в парике, однако лицо выдавало в нем своего, русского. Подойдя поближе, рыбак пристально вгляделся в него. Наконец не выдержал и спросил:

— А что, батюшка, скоро погоним баронов с нашей земельки?

— А почему так?— насупил брови Никита.— Немцы ведь умный народ.

— И наш народ не лыком шит,— с достоинством отозвался старик.— Только суди сам, сударь, кругом расселись бароны, и житья от них нам нетути...

В голосе рыбака прозвучала вековечная ненависть к угнетателям. Он помолчал, огладил бороду и в раздумье сказал:

— Деды наши умные были: знали, кто наш ворог, потому и теснили его...

Андрейка и Аннушка зашли в кузницу, в которой чинили экипажи. Бородатые кузнецы, перемазанные сажей, ковали железные пластины для ободьев. Разглядывая демидовского писца, они исподтишка ухмылялись в бороду.

— Ишь ты, сам щуплый, а какую кралю подхватил! Ты кто ж, барин?— спросил один из них Андрейку.

Поникнув головой, писец ответил:

— Нет, крепостной я, а женка — итальянка.

— Что ж, выходит, в неволю везешь?— угрюмо продолжал кузнец.

— В неволю,— признался Андрейка.

— Так,— тяжело вздохнул мужик и с сердцем ударил по наковальне.

Веселое пламя вспыхнуло в горне, заплясало, только лица кузнецов пуще поугрюмели. Андрейка переглянулся с женой, и оба не спеша вышли из кузницы.

— Горюн парень!— со вздохом сказал вслед кузнец.

2

В самую полночь по непролазной грязи Демидовы прибыли в село Чирковицы, находившееся в восьмидесяти верстах от Санкт-Петербурга. Имение принадлежало Петру Ивановичу Меллисино — знатному екатерининскому вельможе. К удивлению Никиты Акинфиевича, обширные барские хоромы были наглухо заколочены, в усадьбе, потонувшей в непроглядной тьме, стояла мертвая тишина, даже псы не залаяли при появлении экипажей. На громкие окрики и стук из калитки вышел ветхий старичок. Подняв перед собой тусклый фонарь, он с нескрываемым любопытством оглядел

прибывших господ. Ежась от холода под порывами пронзительного осеннего ветра, он дребезжащим голосом спросил:

— Кто вы и что нужно вам тут, добрые люди?

Демидов выступил вперед и властно сказал слуге:

— Как видишь, нас застала в пути ночь. Пойди и доложи господину, что просим гостеприимства.

— Эх, сударь!— прошамкал старик.— Да никого тут и нет! Все покинули это гнездо. Один тут я, и где приютить — неведомо. Хоромы велики, а приюту и нет. Все рушится, господин мой. Да и покормить нечем... Езжайте, милые, к почтмейстеру: хоть и тесно, а все под крышей...

Проблуждав по сельцу, путешественники выехали наконец к почтовой станции, где и остановились. Большая станционная комната, хотя и содержалась в чистоте и опрятности, но поражала своим необжитым видом и холодом.

Александра Евтихиевна зябко куталась в пледы и жалобно поглядывала на мужа. Приближались роды, и Демидов, встревоженный и злой, наступал на почтмейстера. Сухощавый долговязый немец учтиво выслушал жалобы Никиты Акинфиевича и безнадежно пожал плечами.

— Это лучшее, что найдете здесь, сударь,— сухо ответил немец.

— Едем дале!— закричал слугам Никита, но Александра Евтихиевна болезненно сморщилась и умоляюще сказала:

— Никитушка, побойся бога! Разве ты не видишь, в каком я положении?

Ночь тянулась медленно. Александра Евтихиевна сидела в кресле, уставившись в трепетное пламя свечей. Казалось, она прислушивалась к жизни, которая теплилась внутри ее тела. Аннушка в соседней комнате укачивала девочку, согревая ее посиневшие ручонки своим дыханием. Андрейка, раскинув на лавке теплые одеяла, предложил Никите Акинфиевичу:

— Укладывайтесь, сударь.

Александра Евтихиевна шевельнулась и простонала:

— Ах, Никитушка, не спи, сядь подле меня! Я боюсь, это скоро наступит...

Ннкнта уселся иа скрнпучнй стул н, раскннув ногн, задремал. Почтмейстер тнхоиько удалился в свою каморку.

За стеиами, во дворе, выл ветер, переругивалнсь ямщики, а в холодной комнате потрескнвалн свечи; неприятное полусоииое оцепеиеиие овладело людьми.

Ночь тяиулась бескоиечио...

Серый скупой рассвет стал заползать в настужеииую гориицу, когда Ннкита Акиифиевнч был разбужен громкими стонамн жены. Он открыл глаза и был поражен тем, что пронсходило. Отвалнвшнсь на спиину, Александра Евтнхиевна протяжио стоиала. Подле иее вознлась Аннушка. Лнцо у нее было оробевшее, жалкое. Аидрейкн н слуг в гориице ие было. Только сухой почтмейстер стоял у дверн, спокойно вглядываясь в происходящее.

Ннкнта быстро подиялся н наклоинлся над женой.

— Ой, умнраю,— страдающе прошептала пересохшими губами Александра Евтихиевна.

Демндов быстро оглядел гориицу и крикиул Аннушке:

— Немедля сыскать иа селе бабку!

Почтмейстер учтиво поклоиился Демндову и сказал:

— Не извольте, господии, беспоконться. Я предвидел это, н бабка уже здесь, н если дозволнте...

Не дождавшнсь ответа, он распахиул дверь в свою каморку н позвал:

— Нникитншна!

Демндов недоверчиво разглядывал уже немолодую подвижиую женщииу, неслышно вошедшую в гориицу. «Да иешто простая баба сможет?»— хотел он было запротестовать, ио строгнй взгляд иемца остаиовнл его.

— Здравствуйте, батюшка,— неторопливо поклоинлась бабка Ннкнте. Голос у иее оказался певучим и ласковым, круглое русское лицо ее прнветлнво светилось. Она неторопливо подошла к Александре Евтихневне н заглянула ей в глаза.

— Не бойся, касатка, все будет хорошо. Глядишь, бог прннесет счастья!— спокойио сказала она н огляиулась на мужчии.— Уж ие обессудьте, тут дело бабье...

Простая русская баба почувствовала себя здесь полиовластиой хозяйкой и ие спеша прниялась за дело. Почтмейстер н Демидов переглянулнсь н, покорясь ей, вышлн в тесиую с тусклым окоицем каморочку. Ннкита

сел на кровать и опустил голову на грудь. В душе его нарастали тревога и нетерпение. Схватив немца за рукав, он теребил его, жарко упрашивая:

— Озолочу, ежели добудешь умельца лекаря и хоромы теплые разыщешь!

Сохраняя невозмутимый вид, немец сухо сказал:

— Где добыть здесь лекаря? Да и поздно. Никакие богатства не смогут изменить положения, сударь. Остается терпеть и ждать.

Легко сказать — терпеть и ждать, когда стоны за стеной становились все громче и громче. За оконцем с низкого неба то моросил мелкий дождик, то мокрыми хлопьями валил снег. Среди сырости на дворе пылал костер, вокруг которого толпились слуги и ямщики. Андрейка о чем-то горячо им рассказывал. Над костром висел черный чугун, над ним вился густой пар...

— Девонька, воду шибчей!— раздался за перегородкой хозяйский окрик бабки.

Из горницы выбежала Аннушка, бросилась во двор к черному чугуну...

Все шло удивительно налаженно, без суетни. Размеренный воркующий говорок бабки действовал как-то успокаивающе. Через комнатку пронесли горячую воду, чистые простыни и полотенца. Слышно было, как бабка ласково уговаривала роженицу:

— А ты не стесняйся, кричи, родная, кричи! Понатужься!..

Демидов морщился, словно от зубной боли. Ему казалось, за перегородкой и без того сильно стонали. Большой и сильный человек, он вдруг почувствовал себя слабым, растерянным.

Итальянка робко вошла в каморку и притаилась, смущенная, в уголке.

Почтмейстер положил свою сухую синеватую руку на плечо Демидова:

— Это неизбежно, сударь.

В эту пору в станционном домике раздался душераздирающий крик. Даже ямщики у костра повскакали.

— Ух, неужто беда?— тревожно спросил Никита, но вдруг сразу все смолкло, наступила блаженная тишина, и вслед за тем раздался веселый крик новорожденного существа.

Почтмейстер весело блеснул глазами, кивнул в сторону двери, прошептал:

— Слышите?

Аннушка схватилась рукой за сердце и, не спуская глаз, следила за Демидовым. Он вскочил, но волнение его не унималось, а нарастало. Заметно дрожали его большие руки. Нетерпеливо топчась у перегородки, он прислушивался:

«Кто же, сын или дочка?»

Никто не торопился впускать Никиту Акинфиевича в большую горницу; слышно было, как ласково разговаривала бабка, но поди разберись, с кем!..

Наконец в десятом часу бабка распахнула дверку и переступила порог. Лицо женщины сияло. Поклонившись Демидову, она сказала:

— Ну, батюшка, господь послал тебе сына!

— Неужто?— успел только сказать Никита, и всем его большим, могучим телом овладела необузданная радость.

— Ты чуешь, кого принимала? Князя Демидова. Богатырь будет! На!..— Он положил на ладошку бабки золотой.

— Богатырь, богатырь, батюшка!— охотно подхватила бабка.— Пройди-ка, посмотри дите.

3

Десять дней больной пришлось прожить в станционной горнице. Снег растаял, вновь вернулась осень.

Наконец из Санкт-Петербурга прибыл долгожданный доктор. Больная окрепла, и можно было продолжать так неожиданно прерванное путешествие. Все снова уложили в возки.

22 ноября 1773 года Демидовы возвратились в Санкт-Петербург. Андрейка под диктовку Никиты Акинфиевича записал в «Журнал путешествий»:

«При крещении новорожденного восприемниками сделали честь быть его сиятельство граф Алексей Григорьевич Орлов и ее сиятельство графиня Елизавета Ивановна Орлова ж; окончив тем счастливо свое путешествие по иностранным государствам, привезли в отечество, к великому удовольствию Никиты Акинфиевича, дочь и сына».

Последний по представлению отца, по примеру прочих дворян, находясь еще в пеленках, был записан капралом в лейб-гвардии Преображенский полк, полковником которого числилась государыня.

В большом демидовском доме, строенном еще дедом, вновь закипела жизнь. Андрейка и Аннушка поселились вместе с дворней. Еще задолго до света для обоих начиналась трудовая жизнь.

После долгого странствования все в Петербурге Андрейке казалось серым и холодным, еще горше стала жизнь в барском доме. «Как-то там старуха-мать,— с затаенной грустью думал Андрейка.— Что она скажет, когда увидит Аннушку?»

От дворовых дознался он, что мать с обозом добралась с Каменного Пояса до Москвы, и Демидов записал ее в холопки. Ныне старая Кондратьевна работала птичницей на барском дворе.

4

В один из мартовских дней Демидова пригласили во дворец. Он обрадовался и с утра стал обряжаться к приему. Портной и камердинер долго подбирали атласный кафтан и сорочки. Погон для анненской ленты, пуговицы на камзоле, эфес на шпаге и пряжки на башмаках — все было осыпано бриллиантами.

Демидов добрых полчаса вертелся перед зеркалом, оглядывая себя с ног до головы, и восхищался собою. Величественный, в высоком волнистом парике, сияющий, он вошел на половину к Александре Евтихиевне.

— Глянь-ко, Сашенька, как ныне я выгляжу?— похвастался он перед женой.

Она ничуть не изумилась. Улыбнувшись мужу усталой улыбкой, супруга сказала:

— Сверканья много; ты бы, Никитушка, камней поубавил.

— Что ты! Что ты!— замахал на нее Демидов.— Разве же то допустимо? Чем Демидовы хуже Шуваловых? Затмить я их хочу.

Государыня приняла Никиту Акинфиевича в маленьком рабочем кабинете. С трепетом переступил Никита порог и низко склонил голову. Екатерина сидела за письменным столом, одетая в платье лилового шелка; никаких украшений на царице не было.

— Здравствуй, Демидов.— Государыня легким наклонением головы приветствовала Никиту и милостиво протянула ему руку. Заводчик еще раз почтительно склонился и поцеловал полную белую руку государыни.

На одну секунду он почувствовал, что эта рука отвечает ему легким пожатием.

Подняв глаза на государыню, Никита оробело заметил: у нее не хватало переднего зуба, оттого голос был несколько шепеляв. Окна кабинета выходили на Неву, и серый свет мартовского неуютного дня заползал в них, кладя на все свой холодный отпечаток.

— Звала я тебя, Демидов, по делу!— Государыня снова пристально поглядела на Никиту и, как бы колеблясь, продолжала:— Известно тебе, сколь в большие убытки входим мы, ведя войну с турками? А меж тем нам потребно все больше и больше пушек и ядер...

Никита затаив дыхание слушал; государыня встала и подошла к огромному окну. Не глядя на Демидова, она сказала:

— Демидыч, можешь ли ты в долг поставлять государству сии припасы?

Никита на мгновение прикрыл глаза: ласковое обращение к нему государыни окончательно пленило его. Заводчик низко поклонился:

— Могу, государыня, год либо полтора!

Царица сразу оживилась и льстиво сказала:

— Я так и знала, что ты выручишь меня.

— Мы все служим тебе, матушка, и отчизне нашей.

Он улыбнулся, но в улыбке проскользнула горечь. Государыня протянула ему руку и ласково добавила:

— Спасибо тебе, Демидыч, за услугу. Прошу со мною откушать...

В два часа Демидова вместе с другими пригласили к царскому столу в бриллиантовую комнату. Тут были и Безбородко, и граф Шувалов, и Дашкова, граф Строганов. Стол был круглый. Кушанья уже стояли на столе и были покрыты крышками. Все с нетерпением ждали выхода государыни. Никита зорко наблюдал за придворными,— как бы не ошибиться в чем. Между тем шепот смолк. И совершенно неожиданно распахнулись двери; высокий, представительный камердинер государыни Зотов, встав на пороге, закричал:

— Крышки!

Застывшие у стола лакеи в белых перчатках мгновенно сняли с блюд крышки, и беловатый парок взвился над столом.

Шелестя платьем, в бриллиантовую вступила государыня. Позади нее семенили калмычонок и две левретки.

Все чинно расселись, Демидову отвели место против государыни. На стол поставили четыре золотые чаши, а перед царицей простой горшок русских щей. Горшок был глиняный, покрытый золотой крышкой и обернутый белоснежной салфеткой. Царица сама изволила разливать щи. Это пришлось Демидову по душе. Разливала она осторожно, по-хозяйски, как делают в деревне рачительные бабы.

«Добра хозяюшка!» — похвалил про себя Никита и приналег на щи.

За столом лилась непринужденная беседа. Дородный Безбородко рассказывал о своих певчих. Однако величавый Шувалов стремился уколоть князя:

— Помилуйте, что хор без музыки? Если бы послушали мой оркестр!..

Демидов хмурил брови, не зная, как бы заговорить. И вдруг государыня, улыбнувшись, спросила Никиту:

— Что же ты молчишь, Демидов? Чем похвастаешься?

Все взоры устремились на Никиту, он пыхтел, краснел, не находя слов. Лукаво подмигнув заводчику, Шувалов добродушно сказал во всеуслышание:

— У него особый оркестр, государыня-матушка, у него пушечки да ядра, вот и вся музыка!

Никиту взмыло; поглядев хмуро на вельможу, он не утерпел:

— У меня один музыкант многих оркестров стоит, граф...

Всем было известно, что оркестр Шувалова славился на весь Санкт-Петербург. Однако граф нисколько не обиделся дерзкой выходке Демидова. Он улыбнулся и попросил:

— Надеюсь, вы не откажете мне в удовольствии послушать сего музыканта...

Государыня милостиво улыбнулась Демидову и погрозила ему пальцем:

— Смотри, Демидыч, не осрамись.

За столом все весело рассмеялись, довольные благополучным разрешением спора.

5

Граф Шувалов не забыл о похвальбе Никиты Демидова за столом государыни. Делать было нечего, пришлось Никите устроить большой званый вечер.

Неделю убирали обширные демидовские хоромы, натирали паркет, выбивали ковры. Обеспокоенный Никита вызвал к себе Андрейку и строго спросил его:

— Скажи мне, холопья твоя душа, сможешь ли потешить графа? Да так, чтобы у него от зависти в горле заперхало!

— Смогу,— уверенно отвечал крепостной музыкант.— Сыграю я для вас, сударь, нежно и сердечно, как то дозволит час вдохновенья. Но одного прошу, сударь, дать мне минутку на раздумье, как и что играть...

— Раздумывай да разучивай, смотри не посрами хозяина.

В званый день набережная Мойки была полна экипажами. Вся петербургская знать съехалась в гости к Никите. Втайне надеялся Никита: вот-вот невзначай пожалует сама государыня.

Однако минута проходила за минутой, а надежды не сбывались. Хозяин пригласил гостей в ярко освещенный зал, где со скрипкой в руке уже поджидал их Андрейка.

Гости шумно расселись в креслах. Демидов глянул в сторону Андрейки и взмахнул рукой.

В большом двусветном зале наступила глубокая тишина. Сверху с золоченых люстр лились потоки спокойного теплого света. Искрясь и дробясь в хрустальных подвесках, огоньки играли всеми цветами радуги. Аннушка притаилась за колоннадой на хорах. Со страхом она смотрела вниз на блестящее общество и на своего Андрейку — стройного, изящного, сейчас очень похожего на маэстро.

Опустив руки, он с бледным лицом стоял посреди зала. Прошла минута, и когда утихли последние шорохи шелка, Андрейка поднял голову, и легкая певучая скрипка вспорхнула ему на грудь. Он нежно прижал ее к подбородку и чуть заметно провел по струнам смычком. Словно дуновение ветерка пронеслось по залу, родились нежные чарующие звуки.

Аннушка прижалась к колонне и не в силах была оторвать глаз от Андрейки. Он весь горел, одухотворенно сиял, что-то большое и властное поднималось в его душе. И люди, которые сидели в зале,— старые и молодые, седовласые, сверкающие звездами, пресытившиеся вельможи, молодые легкомысленные юнцы и нежные, хрупкие девушки с розами на низко обнаженной груди,— все с упоением смотрели на Андрейку, наслаждались музыкой, словно пили чудесный не-

ктар. Пела, радовалась, смеялась молодостью скрипка в руках Андрейки.

Крепостной играл одну пьесу за другой. Никто не шевельнулся, словно все унеслись в другой мир. Граф Шувалов, искушенный жизнью, человек большой властности и обширного ума и потому позволявший себе все, не утерпел и громко вздохнул.

Вместе со вздохом вырвалось одно только слово:

— Кудесник!

Крепостной играл долго и вдохновенно. Казалось, он колдовал: неслыханную, дерзновенную власть он получил над людьми.

Никита Акинфиевич, в атласном голубом кафтане, в черных шелковых чулках, туго обтягивавших толстые крепкие икры, в пышном парике, величественный и грозный, опустив на грудь голову, тихо вздыхал. Исподлобья он оглядывал гостей, а сам трепетал при мысли: «Каково играет, шельмец!»

Каждый ушел в свою мечту. Одряхлевшая графиня, голову которой сотрясал тик, не сводила блеклых глаз с Андрейки, а он, волшебник, водил ее по саду давным-давно угасшей юности, воскрешая в памяти то, что уже покрылось тленом и забвением. Молодая фрейлина, сияющая красотой и бриллиантами, подле которой восхищенно застыл красавец кавалергард, туго затянутый в лосины, упивалась нежными звуками, певшими о неувядающей любви. В каждой душе Андрейка поднимал надежды и светлую радость.

Он играл, и все готовы были слушать бесконечно, но силы не безбрежны,— скрипач стал уставать и, закончив пьесу, склонил голову.

Легкий гул одобрения прошел среди гостей. Задвигали стульями, зашаркали, зашелестели платьями. Прижав к сердцу скрипку, музыкант обвел взглядом зал, поднял глаза кверху и встретился с восхищенным взглядом Аннушки.

Александра Евтихиевна наклонилась к мужу и прошептала ему что-то, указывая глазами на крепостного. Никита Акинфиевич подозвал к себе Андрейку и сказал:

— Повтори все...

С лица крепостного катился пот. Счастливое выражение на лице Андрейки угасло, он побледнел и, нежно лаская скрипку, прошептал:

— Освободите. Не могу больше...

— Играй!— жестко приказал Демидов.

Крепостной покорно вышел на середину зала и снова заиграл.

Мечтательно полузакрыв глаза, Аннушка забыла обо всем на свете. Она мысленно унеслась в родную Италию. Среди волнующих звуков нежданно раздался один резкий, неприятный, словно кто внезапно хлестнул бичом,— лопнула струна. Резко оборвалась игра, с запозданием тонко простонали хрустальные подвески люстры.

С бьющимся сердцем Аннушка наклонилась и увидела бледного мужа с трясущимися руками. Перед ним стоял налившийся густой кровью Демидов и шипел:

— Ты нарочно это подстроил! Так поди ж, миленький, поди за мной...

Осунувшийся, волоча отяжелевшие ноги, Андрейка пошел вслед за хозяином. Позади зашумели, готовясь к танцам. Граф Шувалов, прищурив серые глаза, мечтательно вздохнул и сказал на весь зал:

— Несомненный талант, господа! Великий талант...

В кабинете Никита Акинфиевич сам написал записку и вручил Андрейке.

— Отнесешь на съезжую!— властно сказал он.— Там тебя высекут розгами.

— За что?— хрипло выдавил скрипач.— За что, сударь? Не по моей вине не выдержала струна.

— Высекут за то, чтобы не возвеличивался!— сказал Демидов.— За то, чтобы слушал господина своего. Ну, иди! А скрипицу дай сюда.

Он взял инструмент из рук крепостного и положил его на стол.

Шатаясь, Андрейка вышел из кабинета.

— Как смеет подлая душа такие тонкие чувства разуметь и бередить благородное сердце!— проворчал вслед хозяин.

Словно отбрасывая что-то грязное, он отряхнул руки, оглядел себя в зеркало и с благодушной улыбкой вышел в зал...

С хор лились звуки невидимого оркестра; легкие молодые пары уже скользили по блестящему паркету. Холодный равнодушный свет падал сверху на обнаженные напудренные женские плечи и на позолоту мундиров...

Над Петербургом стоял густой молочный туман. Андрейка возвращался из части. На Неве было непрог-

лядно темно. Мартовская ночь была сыра, беззвездна. Задувала моряна. Ветер трепал полы кафтана, забирался под одежду.

Крепостной музыкант проходил по тропке, бегущей через торосистый лед, и горестно думал: «Рядом омут, броситься — и все кончено...»

Но внезапная мысль притупила боль. «А жена, а матушка? Что будет с ними?»— подумал он.

Жгучий стыд охватил все существо Андрейки. При каждом шаге запоздалого прохожего он вздрагивал. Ему казалось, что все знают о его позоре.

Поздно прибрел он домой. Ни с кем не перемолвился словом.

В своем уголке, отведенном в людской, Андрейка сел за стол, склонил голову на руки. Было страшно взглянуть в глаза Аннушке.

Бледная, дрожащая, она неслышно подошла к мужу, склонилась над ним и прошептала:

— Как он смел?

Андрейка горько усмехнулся.

— Он все смеет... Демидов — барин, а мы рабы. Пойми: *рабы!*— страдальчески выкрикнул Андрейка.— Ах, на какое горе я привез тебя, Аннушка!

Итальянка прижалась к плечу мужа и, сдерживая слезы обиды и оскорбления, молча заглядывала ему в глаза...

6

Внезапно в Санкт-Петербурге прекратились балы. В Зимний дворец поминутно скакали курьеры. Государыня Екатерина Алексеевна не появлялась на больших выходах. Во дворце, в маленьком рабочем кабинете царицы, каждый день происходили совещания. С Урала дошли неприятные вести. Беглый казак Емельян Пугачев поднял мятеж, осадил Оренбург; восстание, подобно огнедышащей лаве, грозило разлиться по всей стране.

Демидов притих, стал подозрителен. В неурочное время он вставал с постели и, наскоро накинув халат, в мягких туфлях неслышно обходил свои хоромы. Среди ночи хозяин неожиданно появлялся в людской и прислушивался к сонному дыханию дворовых.

Приуныла и Александра Евтихиевна. С недоверием она смотрела на Аннушку. Не переносила укоряющего

взгляда своей камеристки. С той поры, когда Андрейку выпороли розгами, Демидовой казалось, что итальянка замышляет против нее дурное. Она жаловалась мужу:

— Убери ее, Никитушка, подальше! Глаза у ней злые, волчицей на меня смотрит.

С Каменного Пояса приказчик Селезень прислал страшную весть: на заводах подымались работные, покидали работу и, озлобленные, уходили в пугачевские отряды.

После долгого раздумья Никита Акинфиевич решил оставить семью в Санкт-Петербурге, а самому тронуться в Москву. Пора было подумать и о делах! Заводы оставались без хозяина.

Глава десятая

1

В апреле Никита Демидов в сопровождении Андрейки и его жены отправился в Москву. Дорога была веселой: солнце золотыми потоками заливало землю. Леса оделись свежей листвой, над лесными проселками шумели белоствольные березки. В лугах раскинулась цветистая пестрядь, хлопотливо гудели пчелы, над нивами распевали невидимые жаворонки. На обсохшую пашню выехал пахарь. Степенно вышагивал он за тяжелой сохой, а следом за ним ложилась черная жирная полоска земли. Демидов щурился от яркого света, подолгу всматривался в поля; над ними волнисто струился нагретый воздух. Завидя при дороге пахаря, Андрейка приветливо крикнул ему:

— Бог на помощь!

— Спасибо, родимый!— отозвался мужик.

Андрейка с уважением подумал о труде крестьянина:

«Вот кто хлебушком Русь кормит! Эх, горе-то какое: один с сошкой, а семеро с ложкой! Баре и тут пристали к мужицкому телу...»

Дорога пролегала через плотину; в пруде широко разлилась вешняя вода. По зеркальной глади с кряканьем плавали утиные стайки. У плотины в зеленых вербах виднелась ветхая, крытая соломой мельница. Огромное мшистое колесо медленно ворочалось, разбрасывая каскады сверкающих брызг.

На плотине бегали ребята. Завидев экипаж, они снялись озорной воробьиной стаей и бросились к деревенской поскотине, где предупредительно распахнули перед проезжими скрипучие ворота в поле...

Аннушка ехала в возке позади демидовского экипажа. За долгую петербургскую зиму ее тонкое личико вытянулось, побледнело, но большие глаза по-прежнему горели ясным светом. Все окружающее приводило ее в изумление и восторг. Зеленые леса и нежно-голубое небо, даже бредущий за сохой пахарь — все чем-то напоминало весну в родной Италии.

Когда на шестые сутки утомительного пути вдали вспыхнули золотые главы московских соборов, Никита снял шляпу и неистово перекрестился. Андрейка соскочил с облучка и, подбежав к возку, в котором ехала жена, крикнул Аннушке:

— Гляди, вон она, наша Белокаменная!

Над полями в густом, упругом воздухе навстречу поплыл величавый благовест. Из дальних и ближних окрестных сел, пыля босыми ногами, с котомками за плечами, в первопрестольную тащились толпы потных, усталых богомольцев. Завидя барскую карету, они долго провожали ее пристальными взглядами. На унылых, изъеденных нуждой лицах не было радости, хотя кругом в природе все ликовало.

Аннушка, вздохнув, обронила:

— Бедные так же, как и у нас, идут просить радости, а ее нигде нет для обездоленного человека!

Андрейка вспомнил порку, опустил голову.

— Это верно, Аннушка! Ну погоди, может придет и для нас радость!— сказал он и многозначительно посмотрел ей в глаза.

Издали Москва показалась Аннушке волшебным городом: так жарко на полуденном солнце, среди весенней зелени блестели маковки многочисленных церквей. В широкой извилистой долине синела спокойная река, плавно неся свои раздольные воды к подернутому сиреневой дымкой далекому окоему. Уже начались обширные загородные сады, охваченные могучим цветением. Ветвистые яблони стояли, укрытые бледно-розовой пеной цветов, издававших тонкий и нежный аромат, от которого у Аннушки слегка кружилась голова. При малейшем дыхании ветерка с грушевых и вишневых садов, как снежинки в метелицу, слетали белые лепестки, устилая дорогу.

Кругом простирался необозримый зеленый простор, но сам город по мере приближения к нему тускнел и словно угасал. Пошли кривые немощеные улицы, огороженные обветшалыми плетнями и заборами, которые прерывались домишками, крытыми тесом, лубком, а то и соломой. По старым крышам изумрудно зеленели мхи. Избушка с надвинутой соломенной крышей походила на ветхую старушонку, сгорбившуюся и подслеповатую. Встречались дома, рубленные из крупного смолистого леса, крытые шатром. Высокие дубовые ворота при них были с двускатной кровелькой, под которой сиял врезанный медный восьмиконечный крест.

— Раскольничьи домы!— сказал Андрейка жене, но она не поняла, с удивлением разглядывала молчаливые, угрюмые дома. Только собачий лай на дворах да оскаленная песья морда в подворотне свидетельствовали о том, что здесь живут люди...

Заборы вдруг прерывались, шли пустыри, а за ними снова тянулись барские усадьбы с высокими дворцами, белеющими колоннадами. И все это величие тонуло в тенистых липовых кущах или среди бесконечных оранжерей и огородов.

Улицы, переплетаясь с переулками, круто сворачивали то вправо, то влево. Зачастую в глухом переулке из-за рощи смиренно выглядывала бирюзовая маковка крохотной церквушки. На широкой Покровке показались каменные строения. На Разгуляе толпилось много праздничного народа, мелькали сарафаны, кумачовые рубахи, синяя домашняя пестрядина.

Путешественники незаметно подъехали к Басманной, где среди зелени и прудов раскинулась родовая демидовская усадьба. От каменных ворот навстречу уже бежала дворня. Демидов встрепенулся и крикнул ямщику:

— Ну-ка, шевели!

Кучер взмахнул бичом, и кони, поднимая тучи пыли, вихрем влетели в обширный зазеленевший двор.

— Андрейка!— раздался радостный крик.

По двору бежала старая мать. Задыхаясь и плача, Кондратьевна спешила к сыну. Андрейка не утерпел, кинулся к ней, схватил старую в объятия и крепко прижал к груди. По морщинистым щекам матери катились слезы.

— Дитятко мое!— нежно припадая к нему, шептала старуха и ласкала его голову, словно ребенка.— Слава богу, довелось-таки свидеться, сынок мой...

Мать оглядывала его заморский потертый наряд, бедный, но опрятный, заглядывала ему в глаза и не могла насмотреться: так вырос, так красив стал сын.

Аннушка сердцем догадалась, что это мать Андрейки. Старушечья ласка тронула ее до слез. Наконец, освободившись от объятий, Андрейка смущенно оглянулся на Аннушку и сказал старухе:

— Матушка, это моя женка...

Кондратьевна на мгновение онемела, потом ласково улыбнулась. Пораженная красотой итальянки, она, все еще не доверяя сыну, молча оглядела женщину. Заметя на белой шее Аннушки крестик, она всхлипнула:

— Христианка... Невестушка...

Не сдерживаясь больше, она прижала молодую женщину к своей груди.

Демидов тяжело вышел из коляски. Недовольно посмотрев в сторону Андрейки, крикнул дворовым:

— Устал я, отдохнуть надо... К вечеру истопить баньку!

Он скрылся в прохладных хоромах.

На дворе все сияло под солнцем. С крыши слетел белоснежный голубь и стал пить из лужицы, сверкавшей у колодезя...

Кондратьевна увела дорогих гостей в маленький тихий флигелек, укрытый густыми зарослями малинника. Тут неподалеку за оградой на жердях кричали диковинные павлины.

— Это мои птенчики,— ласково сказала Кондратьевна, и вокруг глаз легли сухие мелкие морщинки, отчего лицо ее стало еще приветливее и добрей.

За птичником шел старый тенистый сад. Склоненные вязы опускали свою серебристую листву в зеркальные пруды.

В затишье водных просторов плавали лебеди, а в тени на темной воде чуть-чуть колебались белые хрупкие чашечки лилий...

И когда в синем ночном небе засверкали крупные чистые звезды, в старом саду стало тихо, легкая призрачная дымка тумана поплыла над застывшими прудами и шелестящими древними вязами. Утих птичник. В домике на тесовом столике затеплилась восковая свечечка.

— Приберегла на смертный день,— с легкой грустью сказала старушка и улыбнулась.— А сейчас не до смертного часа: жить хочу, чтобы внучат понянчить...

Лицо Аннушки залил румянец. Андрейка подсел поближе к жене.

Пламя свечи слегка колебалось, делая лица зыбкими. Морщинки Кондратьевны казались глубже. Дрожащей рукой мать нежно гладила молодую женщину.

Андрейка все расспрашивал о родном Камне, о Москве.

Склонившись над столом, птичница вздохнула и таинственным голосом поведала:

— Принесли люди с родимой сторонки диковинные вести, сынок. Опять на Камне помутился народ. Сказывают, появился в горах царь Петр Федорович. Идет он против заводчиков и дворян. И на Москве, слышь-ко, среди дворовых и черного люда такая молва есть. Только кто тот человек — царь или не царь? Сказывали, что беглый...

— А хошь и беглый, лишь бы народу волю дал!— со страстью вымолвил Андрейка.

— Ты, сынок, тишь-ко!— испуганно оглянулась Кондратьевна.— И чего ты мелешь? А как же мы будем жить-то без господ... Барин, гляди, тебя в люди вывел...

Андрейка скрипнул зубами. Помолчал и зло бросил:

— В люди... Покалечил только... Ух, кабы!..

Он не договорил, встретив тихий, примиряющий взгляд Аннушки, и понурил голову.

2

Демидов отослал Андрейку на Оку принимать струги с железом. Писец бережно укутал в черный шелк скрипку и уложил ее в ящик. Он долго стоял над ним, с грустью о чем-то думая. Рядом с ним стояла Аннушка, тихая и бледная. Она беззвучно плакала. Безмолвные слезы крупными жаркими каплями выкатывались изпод густых ресниц, тихо струились по смуглому лицу.

— Я боюсь одна! Так боюсь!..— шептала она в горестном порыве.

— А ты не бойся, Аннушка!— успокаивал ее муж.— С тобой остается матушка. Она тебя так любит...

— Ах, Андрейка...— с тяжелым вздохом сказала Аннушка и запнулась.

Он взглянул на ее слегка располневший стан, и горячее отцовское чувство нахлынуло на него. Он нежно обнял жену и сказал:

— Берегись, Аннушка...

Они расстались. Провожая его до заставы, она долго стояла у полосатого шлагбаума и смотрела в ту сторону, где над дорогой расплывались последние клубы поднятой пыли...

Опечаленная и задумчивая вернулась Аннушка в демидовскую усадьбу. Старуха-мать хлопотливо ухаживала за ней, уговаривала:

— Ты не горюй, Аннушка! И я была молодкой, в такой поре бабе страшно без сокола.

Как юркая мышка, Кондратьевна шмыгала по своему дому. Она всегда была тиха и аккуратна. Укладываясь спать, старуха подолгу выстаивала на коленях перед образами, истово молилась и клала земные поклоны.

— Помолись и ты, Аннушка! Бог внемлет твоей молитве и пошлет вам с Андрейкой счастье!

Аннушка опускалась на колени рядом с ней. Она не знала русских молитв. Молилась по-своему, но строгие лики святых, нарисованные на старинных иконах, пугали ее своею суровостью. Нет, молитва не облегчала душу! Забвение приносила только работа. От утренней зари до темна хлопотала Аннушка по хозяйству. Бегала на пруд, стирала барское тонкое белье, толкала перед собой тачку, наполненную теплой землей. В саду она рассаживала цветы, помогая садовнику — седому загорелому старичку с добрым морщинистым лицом.

Каждое утро он ласково встречал ее. Поднимая выгоревшую от солнца шляпу, размахивая ею, он еще издали кричал:

— С добрым утром, Аннушка! Хлопотунья моя...

Поливая посаженные ею цветы, он говорил:

— Хороши! Рука у тебя, Аннушка, легкая, счастливая.

Усталая после дневной хлопотливой работы, она возвращалась в низенький флигелек, в котором жила со старухой. Прежде чем улечься в постель, Аннушка раскрывала футляр, доставала оттуда скрипку, распутывала черный шелк и осторожно дотрагивалась до струн. Среди спокойной вечерней тишины они издавали нежный звук. Казалось, не струны звучали, а шептал издалека Андрейка:

— Не бойся, Аннушка...

Словно дитя, она снова нежно кутала в шелк худенькие плечики скрипки и укладывала ее в мягкое ложе.

Каждый день она то незаметно скользила по саду, то забегала к старухе на птичий двор, остерегаясь попасться на глаза хозяину. Его тяжелый взгляд преследовал молодую женщину всюду. Смущаясь до слез, она отступала перед ним и в тревоге убегала прочь...

Но разве уйдешь от вездесущего Демидова? В теплые майские дни хозяин выходил в сад одетый налегке, с распахнутой на груди рубашкой.

Усевшись на скамью, Демидов часами наблюдал, как холопы работали в саду и в огороде. Работники трудились у прудов, очищая дно от ила. Крепостные девки возили песок. Среди них была и Аннушка. Молодая итальянка, крепкая, тронутая золотым загаром, давно волновала его. Ее полусклоненная головка, протянутые вперед руки, которыми она толкала тележку, и обнаженные ноги были невыразимо грациозны, все ее тело было точно пронизано светом. Волнение охватывало Демидова, когда она проходила мимо. Он не мог оторвать глаз от молодой женщины, спокойно и легко работавшей. Руки ее огрубели от тяжелого труда, лицо стало темным от загара,— чистотой и здоровьем веяло от всей ее фигурки.

Завидев хозяина, итальянка смущенно опустила голову и заторопилась с тележкой. В своем смущении она стала еще краше и привлекательней. Демидов оглянулся на окна барского дома и сказал ей строго:

— Стой!

Холопы, работавшие у пруда, подстерегали каждое движение хозяина. Не смущаясь этим, он вскочил со скамьи и загородил ей дорогу:

— Погоди! Что слышно от Андрейки?

Аннушка остановила тележку и в большом смущении опустила руки. На щеках ее вспыхнул румянец. Черные мохнатые ресницы встрепенулись в страхе, и быстрый испуганный взгляд обжег Никиту.

Густые, могучие вязы, раскачиваясь, бросали зыбкую тень на дорожку.

Громадный, отяжелевший вдруг Демидов, заикаясь, зашептал страстные слова:

— Ты... ты... моя хорошая...

Демидов был дороден, мускулист. Он стоял перед ней без парика, огненно-золотой луч солнца падал на его выпуклый сверкающий лоб.

— Скажи... Ну скажи слово... Что молчишь?— продолжал он страстно шептать и, протянув руки, стал приближаться к молодой женщине.

— Сударь, что вы делаете?— в страхе крикнула Аннушка.— Пустите, сударь!

На ее больших влажных глазах засверкали слезы обиды. Но душой и телом Демидова овладела похоть. Он сказал ей:

— Приходи ко мне... Нужно поговорить...

Она оставила тележку и, пугливо озираясь, убежала прочь.

Весь дрожа от возбуждения, Никита долго стоял на дорожке. Придя в себя, он окинул сад хозяйским взглядом и самодовольно усмехнулся.

У пруда, все так же не разгибая спины, как черви, в иле копались холопы. Босоногие девки окольными дорожками таскали песок; ничего не видя, они проходили с застывшими, холодными лицами...

Аннушка прибежала в низенький флигелек. Густая прохлада и покой наполняли его. Она упала на постель и залилась горькими слезами...

Над Москвой, над садом давно опустилась ночь. Яркие звезды низко плыли над темными деревьями. На дворе прозвенел цепью сторожевой пес, а Никита не мог уснуть. Ходил из угла в угол и думал об итальянке. «Хороша, хороша, бестия!»— покряхтывая, вспоминал он о встрече.

Он медленно двигался по кабинету вдоль шкафов, в которых тусклой позолотой поблескивали корешки книг. Взор его упал на Гомера. И он вспомнил строфы, заученные им давным-давно, в юности.

«Там была большая пещера, в которой жила нимфа с великолепными волосами,— в такт своим шагам повторял Никита строфы.— Сильный огонь горел в очаге, и запах кедра и лимонного дерева, сгоравших в нем, распространялся далеко по острову. Распевая прекрасным своим голосом там внутри, она осматривала полотно или ткала его золотым челноком. Вокруг пещеры стоял зеленеющий лес, ольха, черный тополь, душистый кипарис, а в лесу вили себе гнезда птицы с длинными

крыльями, чайки, коршуны, вороны с продолговатыми клювами и все береговые птицы, охотящиеся в море. Вокруг пещеры расстилалась молодая виноградная лоза, вся цветущая гроздьями. Возле били четыре ключа неподалеку друг от друга, вода их бурлила, и каждый извивался по-своему. Кругом цвели мягкие луга дикого сельдерея и фиалок. Бог, который пришел бы сюда, был бы изумлен и радовался бы в сердце своем...»

Демидов расчувствовался от декламации. Когда смолк, долго, не мигая, смотрел на трепетное пламя свечи. Потом погасил огонек и распахнул окно.

Одна за другой гасли звезды, из-за густых садов выплывала черная туча. Послышались отдаленные глухие раскаты грома, сверкнула зеленоватая молния. Ни один листик не шевелился на деревьях. Никита прислушался к тишине и сказал громко:

— Идет гроза... А все-таки ты будешь моей, холопка!..

3

Ни слезы, ни мольбы старухи Кондратьевны не помогли: Аннушку переселили в дом и приставили к опочивальне хозяина. Она взбивала пуховики, расстилала хрустящие холодные простыни. В темном платье, затянутая и укрытая до подбородка, гладко причесанная, с плотно сжатыми губами, она походила на монашку. Слуги укоризненно качали головами:

— Худое затеял хозяин! Не такая молодка, не дастся. Как бы беды не вышло...

Демидов ходил присмиревший. Может быть, и он ощущал в своей душе страх перед холодным, угрюмым взглядом молодой женщины. Но каждый день он, улучив минутку, спрашивал ее об одном:

— Никак все еще думаешь об Андрейке? Дался тебе этот холоп!..

Она молчала.

Каждое утро Кондратьевна с тревогой приходила в барскую людскую узнать про молодую сноху. Ее глаза с печалью вопрошали дворовых. Старый дворецкий, сдвинув брови, шептал птичнице:

— Строга! Блюдет себя бабонька...

Но с тех пор как Аннушка попала в барский дом, в ее глазах не было прежней радости,— словно погасла она. Поймав где-нибудь в укромном уголке Кондрать-

евну, невестка крепко прижималась к ней и, вся трепеща, шептала:

— Ах, как тяжело, матушка!

Старушка нежно гладила ее похудевшие плечи, успокаивала:

— Потерпи, милая! Глядишь, обойдется... Увидит, в каком ты положении...

Крепостная крестьянка все еще верила в доброту своего барина. Она вспомнила восстание работных на Урале, своего Андрейку и пощаду, которую выпросил для него хозяин.

«Ведь пожалел мальчонку! Есть же у него сердце».

В теплые ясные дни Аннушка иногда, между делом, выбегала в сад.

Старичок садовник словно поджидал ее. Заметив итальянку, он учтиво кланялся:

— С добрым утром, Аннушка! Пройди-ка, взгляни на цветики, какие большие выросли...

Лицо его по-прежнему излучало отцовскую ласку. Он понимал, по краю какой черной бездны ходит Аннушка...

В июньскую ночь, когда Аннушка сладко спала, ее неожиданно разбудил яркий, режущий свет. Она с испугом открыла глаза.

Посреди горницы стоял Никита Акинфиевич со свечой в руке.

Прижав к груди смятое одеяло, Аннушка вскочила на постели и, прислонившись к стене, с ужасом глядела на Демидова.

Никита погасил свечу...

Белым скользящим облачком мелькнула она среди ночи и неслышно выбежала в дверь.

В саду шумел ветер, ерошил листву. В доме стояла глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Никита, посапывая, в потемках пробрался на свою половину. Поминутно натыкаясь на мебель, он зло и громко ругался...

Утром в кабинет к хозяину вбежала перепуганная насмерть дворовая девка. Вся дрожа, она бросилась ему в ноги:

— Беда, хозяин!.. Ай, беда!..

Демидов отбросил ее ногой, перешагнул и вышел на веранду, освещенную солнцем. На дорожке, еще мокрой от росы, стоял, удрученно понурив голову, старичок садовник. При виде хозяина он снял шляпу, склонил голову.

— Утопла наша хлопотунья!— с горестью сказал он и закрыл ладонями глаза...

Ветер гулял в листве, весело распевали птицы, сверкала роса, а от пруда доносились громкие, возбужденные голоса дворовых.

Никита потупился, ноги его налились свинцом. Он отвернулся и, неуклюже ступая, отправился в свой кабинет...

Позади раздался истошный крик глубокой боли: старая Кондратьевна рвала на себе волосы.

Дворовые, опустив головы, молча смотрели на ее страшное горе...

4

Обеспокоенный случившимся, Демидов обыскал светелку Аннушки. Под узенькой девичьей кроватью он увидел небольшой сундучок. Обшарив его, хозяин нашел грамоту, написанную рукой Андрейки. Никита стал читать ее. С первых же строк его охватила ярость. Налившись кровью, он вглядился в бумагу и захрипел:

— Вот оно как!

«Братья мои, дворовые и крепостные люди!— читал он.— Всем и всему свету известно, сколь много и невинно мы страдаем от господ. Мы такожды созданы по образу и подобию божию, но царицей и дворянами презираемы хуже скотов. Добрый хозяин и о скоте радеет, а нас же телесно истязают, мордуют и шельмуют. Мы робим на господ, а нас секут и предают бесчестию. Подобно жестокому волку Демидову, дворяне заставляют нас через силу робить, а награда плети, батоги, калечения. Раны наши точатся червием. А еще горше достается нашим женам и сестрам.

Дознались мы, что в краях наших, на Камне, восстал светлый царь-батюшка и несет он волю всем кабальным и холопам. Идет он с большим войском на Москву. Зовет он нас, верных людей, не щадить дворянского семени.

Братья мои, доколе мы будем страдать в великой нужде?..»

Демидов не дочитал, вскочил и затопал башмаками. По хоромам покатился гул.

— Воры тут! Воры!— заревел он.

Заводчик бегал по дому, браня дворовых. Каждому он пытливо заглядывал в глаза, стараясь угадать его мысли.

«Уж и этот не вор ли? Тож, поди, поджидает на Москву Емельку!»— с лютостью думал он.

Велел подать экипаж и немедленно отбыл к московскому полицмейстеру Архарову. По Москве и без того ходили смутные слухи о беглом царе. На базарах и постоялых дворах среди народа бродили шатучие люди и подбивали к смуте.

Хотя среди рынков и на Красной площади толкались тайные соглядатаи и шпыни, но всех смутьянов не переловишь.

Вести, привезенные Демидовым, еще сильнее взволновали Архарова.

В тот же день он подверг допросу демидовских дворовых и дознался, что писец Андрейка Воробышкин не раз рассказывал холопам какие-то байки о господах...

Никита Акинфиевич зашагал из угла в угол, хватался за голову. Всегда уверенный в своей силе, Демидов вдруг притих. Он трусовато ходил по дому, а часто и съезжал неизвестно куда. Лето стояло в полном разгаре, а с Камня вести шли все тревожнее и тревожнее. Приказчик Селезень прислал хозяину весточку: погорел Кыштымский завод. Только-только отбили Челябу от пугачевцев, но пожар не угасал и перекинулся уже на правобережье Волги. И жди теперь последней беды...

5

Андрейку Воробышкина схватили на Оке, на демидовских стругах. Ничего не зная о гибели жены, он и не помышлял о побеге. Его заковали в кандалы и повезли в московский острог. Смутно он догадывался, отчего стряслось неладное. «Неужто пес Демидов дознался о грамотках?— думал он.— Эх, опростоволосился, недоглядел!»

Везли Андрейку в тарантасе два бравых солдата. Всю дорогу они покрикивали на Андрейку:

— Ну!.. Куда?!. .

И только когда подъехали к Москве-реке, один из них зло взглянул на Воробышкина и сказал:

— Ну, парень, не сносить тебе башки!..

В пригородной деревушке солдаты пережидали, пока погаснет заря, и тогда тронулись в путь. По темной, затихшей Москве они доставили его в острог...

Тут начался розыск. Демидовского писца передали в Тайную канцелярию.

Андрейку пытали. Покрытый синяками, ссадинами, ранами,— по щекам струилась кровь, глаза заволакивались опухолью,— он стоял перед обер-прокурором.

Показывая грамоту, его спрашивали:

— Ты писал сие?

Андрейка держался стойко, не опуская головы.

— Сие писано мною! Много у меня на душе накопилось огня против барства. Сколько бед и мук они причинили народу!

— Ну-ну, ты, холоп, придержи язык за зубами. Опять бит будешь!— пригрозил обер-прокурор и настаивал на своем:

— Кто в сем деле помощники были?— Глаза чиновника выжидательно впились в арестанта. Лицо обер-прокурора было сухое и злое, нос крючковат, и походил он на хищную птицу, готовую терзать живое тело.

Воробышкин не испугался угроз, упрямо ответил:

— Один писал и сообщников не имел!

— Врешь!— завопил обер-прокурор.— Сказывай, где укрылись сотоварищи?

— А сотоварищи,— насмешливо ответил Андрейка,— весь народ, все простолюдины. Что, всех не перевешать?..

— Скинуть со злодея порты и рубаху!— закричал допросчик.

Воробышкина повалили и стали раздевать. Он забился в руках заплечных.

— Все равно не сломаете... Придет и на вас кара!..— сопротивляясь, кричал он.— Ударит молния и все дворянство спалит. Народ...

Ему не дали договорить, заткнули рот, и два здоровенных тюремщика навалились на исхудалое тело...

Неведомо какими тайными путями дозналась Кондратьевна о заключении сына. Потемневшая от горя, шаркая слабыми ногами, она добралась до Демидова.

Он сидел в глубоком кресле. Осанистый, в бархатном малиновом камзоле, в кружевном жабо, казался недоступным вельможей. Старуха упала ему в ноги.

— Батюшка, пощади!— взмолилась она.

Никита нахмурился, долго неприязненным взглядом всматривался в крепостную. Слезы неудержимо текли из ее поблеклых глаз, высохшие руки дрожали. Вся она была немощная, разбитая.

— Батюшка, один он у меня! За что же такая напасть?— горячечно прошептала она и потянулась к руке хозяина. Словно ожегшись, Демидов отдернул руку и закричал:

— Уйди, уйди прочь!..

Холопка охватила его ноги:

— Милостивец...

Но он не слушал, вскочил и закричал люто:

— Вон, вон, старая сука! Аль я не щадил его? Сколь волка ни корми, а он все в лес смотрит...

— Пожалей мою старость!— ползая в прахе, вопила старуха.

— Дурную траву с поля долой!— безжалостно сказал Никита и вышел из горницы...

Много дней Кондратьевна сидела на камне перед острогом, поджидая счастливой минуты. По субботним дням колодников выводили на сворах и цепях в город просить милостыню, но Андрейки между ними не было. Однако старуха все еще надеялась: вот-вот откроются ворота и поведут ее сына, она увидит его...

Часовой у острожных ворот гнал ее прочь.

— Проходи, проходи, старая, не полагается тут быть!— сердито ворчал он.

Но она не уходила. Черная от сжигающего горя, маленькая, сухая, как осенний стебелек, тяжело опустив на колени узловатые руки, она часами неподвижно сидела на камне и умоляюще смотрела на солдата...

Шли дни. Она каждое утро с зарей приходила к острогу и бродила тут как тень. Вместе с сумерками меркла и ее жалкая крохотная фигурка. Кто знает, может быть, она всю ночь напролет бродила здесь, перед каменными острожными стенами, ожидая для себя чуда?

Старуха долго стояла перед темными воротами острога и, украдкой утирая слезы, все еще на что-то надеялась. Караульный, строго поглядывая в ее сторону, время от времени покрикивал:

— Ступай, ступай, матка! Ничего хорошего не дождешься ты!..

Старый солдат с прокуренными желтеющими усами только с виду был строг. Он давно знал старуху и ее большое горе. Вышагивая перед воротами, он на пово-

роте брался за седой ус и, хмурясь, сердобольно думал: «Ну что поделаешь с горемычной?..»

Сердце служивого не выдержало, и однажды он тихо молвил на ходу:

— Тут суд короток... Успокоили...

И на самом деле: распахнулись ворота, и, гремя по каменной мостовой, из них выкатились дроги, на которых белел грубо сколоченный тесовый гроб. Солдат с соболезнованием посмотрел на старуху и тут же схватился за ус. Глаза служивого потемнели, он еще больше поугрюмел.

Старушка бросилась навстречу возку. В прозрачном теплом воздухе страдальчески прозвучал крик:

— Родимый ты мой!..

Все, что имела она на белом свете, ее надежда и радость, единственный сын, еще так недавно согревавший ее бесприютную старость,— все это теперь лежало перед ней в грубом некрашеном ящике.

Возница — профос [1] из инвалидной команды — хлестнул кнутовищем по ребрам исхудалой клячи. Она затопала, перешла на неуверенную рысь. Тяжелые колеса загрохотали громче, гроб, как утлый челн, сильнее закачался на дрогах.

Немощная, хилая старушка, вся высохшая и скрюченная от недугов и беспрестанной работы, бросилась вслед за дрогами. Но где ей было успеть за возницей! Поминутно спотыкаясь и падая, она наконец свалилась среди дороги.

Раздавленная большим горем, старая мать лежала в придорожной пыли и с мольбой протягивала руки.

А впереди, вздрагивая и подпрыгивая, уходили погребальные дроги — уходило дорогое, последнее счастье крепостной женщины.

---

[1] Полицейский служитель.

ЧАСТЬ 3

Глава первая

1

Воевода Исетской провинции [1] статскнй советник Алексей Петрович Веревкин был в крайне расстроенных чувствах. Неумытый, в одном белье, он слонялся по горнице из угла в угол и охрипшим басом рычал на всю избу:

— Ироды! Хапугн! Дерут да выжимают без зазрения совести, а того не ведают, что погибель себе готовят... О-ох...

На полу валялся пыльный парик, воевода отбросил его ногой в угол и присел к столу. Воевода склонил голову на ладонь и задумался: «Как ноне быть?..»

Поутру нз Кыштымского завода прискакал на взмыленной лошади демидовский приказчик Иван Селезень и, еще не соскочнв с коня, завопил на весь двор: «Беда на хозяев идет!» Еле привели его в рассудок. Онто и привез с собой манифест.

В нем значилось:

«Самодержавного императора Петра Федоровича всероссийского и прочая, и прочая, и прочая.

Дан сей именной указ в горные заводы, железодействующие и медеплавильные и всякие — мое именное повеление. Как деды и отцы вашн служнлн предкам моим, так и вы послужите мне, великому государю, верно и неизменно до капли крови н исполните мое повеление. Исправьте вы мне, великому государю, мортн-

[1] По тогдашнему администратнвному деленню Южного Урала Челябинск был центром провинцнального управления под названнем Исетского.

ры, гаубицы и единороги с картечью и в скором поспешании ко мне представьте. А за то будете жалованы бородою, древним крестом, и молитвою, и вечной вольностью, и свободой, землей, травами, и морями, и денежным жалованьем. И повеление мое исполняйте со усердием, а за оное приобрести можете себе монаршую милость...

А дворян в своих поместьях и вотчинах, супротивников нашей власти, и возмутителей империи, и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, как они чинили с вами, крестьянами. А по истреблении злодеев дворян и горных заводчиков всякий может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до окончания века продолжаться будет.

Великий государь всероссийский *Петр*».

Прочтя указ, Алексей Петрович онемел от ужаса.

— Не может того быть! Государь Петр Федорович добрый десяток годков почил в бозе. Кто сие смел? Чей это возмутительный лист?— в гневе закричал он.

Иван Селезень выложил все начистоту.

— Митька Перстень, заводский человечишка, в недавнее время сбег от Демидовых. Ноне пойман на сельце с тем прельстительным указом. Баит сей мужичонка: идет на дворян да заводчиков кара великая. В степях объявился царь, и все заводские мужичонки помутились от радости. Батюшка, спаси наш заводишко от смуты!— взмолился приказчик.

И без того расстроенный, воевода выпроводил его из горницы и закрылся наедине.

Огорченный, растерянный, он думал горькую думу.

Не знал воевода, что предпринять. Большая гроза надвигалась на вверенный ему край. Подумать только! В те дни, когда именитые владельцы пребывали в заморских странах и веселились в Санкт-Петербурге, здесь, на Урале, кипела страдная пора. Шла война с Турцией, а для этого требовались артиллерия и припасы к ней. Как в былые дни, уральские заводы день и ночь лили пушки, ядра, ковали стальные клинки для русской конницы. Приписные крестьяне и работные не видели ни отдыха, ни радости. В жизни и смерти мужика был волен заводчик. Он сек плетьми, наказывал батогами, надевал оковы. Девушкам заводчики запрещали выходить за любимых, отдавали замуж по своему хотению.

От кабалы, тягот, от горькой жизни люди в одиночку и ватагами уходили на Дон, в Дикое Поле, верстались там казаками, тысячи людей убегали в непроходимые леса, жили в болотистых камышах по рекам Иргизу и Яику. И хотя воевода рассылал в помощь заводчикам особые команды для поимки беглых, но что могли поделать старые инвалидные солдаты, если кругом бушевало разгневанное народное море.

Час расплаты грянул. В степных хуторах Яика внезапно объявился неведомый человек и назвался именем покойного государя. Кто он? Беглый или заворуй, не все ли равно, но то, что холопы к нему приклонились,— вот что страшно и сулит большие беды.

Сказывали воеводе сыскные людишки, что человек сей — беглый казак с Дона. Читал он будто манифест казачишкам на Толкачевых хуторах. А на этот манифест станичники да голытьба ответили ему так:

— Мы все слышали твою правду и служить готовы. Веди нас, государь, куда тебе угодно, мы поможем!

Мнимый царь тотчас приказал развернуть знамена с нашитыми на них восьмиконечными крестами. И, прикрепив те знамена к копьям и сев на коней, казаки двинулись к яицкому городку. Впереди всех ехали знаменосцы, за ними вожак их со своими близкими, а далее шел приставший народ...

Воевода думал, что все это байка для устрашения, а ноне вот как оно обернулось. Он схватился за голову, простонал:

— Эх, большую силу на себя накликали! Управимся ли?

Надо было готовиться к отпору. Велел воевода немедля заложить бричку, проворно обрядился и поехал обозревать вверенную ему столицу Исетской провинции. Морозов еще не было, грязь на улицах стояла несусветная. Колеса тонули по ступицу, мундир и лик воеводы порядком-таки забрызгало жижей.

Город тянулся по Миассу, обнесен был кругом земляным валом и деревянным заплотом, по углам — брусяные башни. Воевода забрался на вал, ощупал заплот. Остроколье в нем прогнило.

— Упаси и помилуй господи,— вздохнул воевода.— Ставили сей тын в давние-предавние веки, кажись — при построении города.

С той поры провинциальная канцелярия [1] ежегодно списывала на ремонт заплота немалые деньги, но куда они шли — воевода, человек непамятливый, не любил о том говорить.

С земляного вала воевода увидел весь городок: каменный угрюмый острог, градскую ратушу[2], государев дом провинциальной канцелярии, два божьих храма, вознесших златые главы над Миассом, четыре царских кружала, гарнизонную караульню, почтовый дом, воеводскую избу...

У ворот воеводской избы да у одного царского кружала стояло по фонарю, они освещались конопляным маслом.

Воевода ухмыльнулся и зло подумал: «Освещаются! Как бы не так. Профос Федотка пожирает все масло с гречневой кашей».

Алексей Петрович вспомнил, что за этот непорядок Федотку раза два на комендантском плацу высекли, а потом воевода рукой махнул: «Пес с ним, пусть жрет в три брюха! Добрый человек по ночам дома сидит, а вору не к чему дорогу освещать...»

Оглядев с земляного вала город, заплоты, воевода поехал в гарнизонную караульню. В ней сидело на нарах с десяток солдат.

Иной латал кафтан, иной набивал подметки на прохудившиеся сапоги. Капрал с сивыми прокуренными усами чистил медные пуговицы и запевал солдатскую песню. Инвалиды подхватывали:

Горшей тебя, полынушка,
Служба царская,
Наша солдатская, царя белого,
Петра Первого.
Со дня-то нам до вечера, солдатушкам,
Ружья чистити,
С полуночи солдатушкам
Головы чесать,
Головы чесать, букли пудрить...

Солдаты не сразу заметили воеводу. Он поморщился: в нос ударило кислой капустой, редькой. Воевода не утерпел, чихнул и выругался:

— Густо больно!

---

[1] Управление, которое ведало административными делами провинции.

[2] Учреждение, ведавшее делами городского самоуправления в XVIII и в первой половине XIX века в России.

Дородный, крепкий солдат сумрачно поглядел на воеводу, усмехнулся:

— От солдатской пищи ладаном не запахнешь...

Старый капрал засуетился было, но воевода махнул рукой.

— Отставить!— Он отвернулся и вышел из караульни.— Воинство!— недовольно проворчал он, садясь в бричку. За ним рявкнули солдатские голоса:

Головы чесать, букли пудрить.
На белом свету во поход идти.
Во поход идти, во строю стоять...

— Песенники!.. В канцелярию вези!— крикнул воевода кучеру, и бричка, подскакивая и ныряя в рытвины, покатилась по унылой улице.

В провинциальной канцелярии он потребовал от воеводского товарища Свербеева донесение, «коликое число находится в провинциальном городе Челябе разного звания военных, штатских и прочих людей».

Коллежский асессор Свербеев, в кургузом мундире, в напудренном парике, чинный и важный, постучал крышкой табакерки и, нюхнув, положил перед воеводой лист.

Всего с посадскими людишками, чувашами, казаками и «прочими» числилось в Челябе семь-восемь сотен душ мужского пола. Из воинских званий по команде значилось: один секунд-майор, один поручик, да четыре капрала в летах преклонных, да цирюльник, да барабанщик. Рядовых тридцать да рекрутов двести шесть.

Воевода тяжко вздохнул, насупился. По его недоброму лицу коллежский асессор догадался: будет разнос. Он подобострастно изогнулся перед воеводой и стал по-песьи глядеть в глаза.

— Подлинно воинских чинов не велико число,— коллежский асессор для вежливого обхождения кашлянул в ладошку,— но дозвольте, ваша милость, учесть отставных, кои на покое живут. Вот смею доложить вам...— Свербеев поднял руку и стал загибать сухие пальцы:

— Отставных капитанов — два, поручиков — один, прапорщиков — два, сержантов...

— Отставить!— захрипел воевода, хлопнув ладонью по столу.

Писчики провинциальной канцелярии пригнулись и старательно заскребли гусиными перьями. Щеки у воеводы задрожали:

— Писать наказ!

Повелел воевода разослать по Исетской провинции строгий наказ: собрать тысячу триста крестьян и под командою выбранных в слободах отставных солдат безотлагательно прислать в Челябу. Наистрожайше было наказано, чтобы люди те вооружены были кто чем мог и провианту для себя приберегли на две недели.

Эту армию воевода наименовал «временным казачеством» и ждал от нее немалой пользы против супостатов.

Спустя неделю воевода Алексей Петрович Веревкин делал смотр сему «временному казачеству».

Воевода обходил фрунт войска, выстроенного на военном плацу, и его бросало то в жар, то в холод. Что это были за люди? Воевода впился глазами в седого скрюченного мужика:

— Сколько годов?

Мужик осклабился, приложил руку к уху:

— Семьдесят!

Рядом с мужиком стояло совсем дитя. Воевода даже о летах не справился, махнул рукой. Но пройдя шагов пять, увидел десяток таких же малолеток. Не стерпев обиды, Алексей Петрович, подойдя, спросил одного:

— Давно мамка тебя от титьки отняла?

— Так точно, ваше степенство!— улыбаясь во весь рот, гаркнул малолеток.

Воевода сел в дрожки и в злом настроении поехал в воеводскую канцелярию. «Дураки, дураки, кого обмануть думают! Себя!— рассуждал в сердцах воевода.— В пугачевском манифесте так и прописано: казнить нещадно дворян, бар, купчин да заводчиков, а они, шишиги, рубят сук, на коем сидят!»

Неспокойство воеводы нарастало. Дошли слухи, что посулы Пугачева пожаловать раскольников крестом, усами, бородой, крепостных — освобождением из рабского состояния возымели действие. Начался бунт в волостях Кубеляцкой, Телевской, Кувакайской, Каратабысской и в других местах...

Воевода горько думал о том (о себе, конечно, не помышлял), что взяточничество до такой степени всосалось в кровь и плоть государева служилого человека,

что какое бы то ни было высокое лицо без взятки ничего не сделает.

Воевода признался себе со страхом: кругом произвол, казнокрадство, взяточничество, попирают закон и справедливость. Но с кого пример брать, ежели известно, что сенат — и тот не кладет охулки на руку...

Меж тем гроза надвигалась. Казачьи степи озарились пламенем пожарищ яицких крепостей. Пока она шла стороной, но ждали: вот-вот захватит и Челябу.

2

Число приверженцев Пугачева, особенно среди башкирского населения, с каждым днем увеличивалось. По селениям появились отряды восставших. Башкиры жгли почтовые дворы, во многих местах до смерти побили около ста человек разного чиновного и дворянского звания. Неподалеку от Челябы на рудниках и заводах работные люди бросали работу, вооружались и уходили в пугачевские отряды. Вскоре в Челябе стало известно о неудаче первого столкновения сибирских войск с отрядами Пугачева. Нужно было принимать срочные меры к обороне города.

Челябинские купцы перепугались, то и дело тревожили воеводу: и денег сулили и провианту, требовали оградить их от расправы. Именитые из них поставили лошадок на откорм, собирали и увязывали домашнюю рухлядь и готовились в дорогу. Но куда? Дороги-то неспокойные стали.

— Как же быть с войском?— тревожился воевода.

Секунд-майор Иван Заворотков посоветовал ему изменить приказ. Воевода послушался. Сборную команду из присланных старцев, малолетков и болящих распустили по домам: зря только хлеб жрали. Настрого было наказано явиться в Челябу одному из семи человек здоровых и взрослых. Остальные шесть человек должны были обеспечить седьмого пристойною одеждою, конем с прибором, фуражом и провиантом и давать рубль пятьдесят копеек в месяц жалованья. В казаки приказано было брать только из семейств многорабочих, где было более пяти душ, а из семей малосильных не брать ни души и не назначать в войско, в видах сохранения их хозяйств и домашнего быта.

По дорогам к Челябе потянулись податные людишки в незавидной одежонке, в лаптях; шли они нехотя, во-

оруженные кто туркой[1], кто сабелькой нлн копьем, а то н просто дрекольем.

Воевода, не мешкая, из рекрутов последнего набора сколотил роту. Каждодневно нх водилн на плац-парад и обучали воннским артнкулам. Челябннскне купцы раскошелнлись: собралн деньгн, нанялн охрану н вооружнли ее ружьямн и пикамн.

Градская ратуша, опасаясь нападения пугачевцев, обратнлась с воззваннем к посадскнм н цеховым жнтелям: «О готовности к защите города темн, у кого какне ружья есть». Как тут не взмолншь, когда у торговых людей в гостином дворе скопилось товаров тысяч на полтораста рублей. Шутка ли сказать! Да и воеводе не спалось: денежной казны в Челябе от выколоченных податей да царских поборов было пятьдесят тысяч рублей, да заготовленная для провннцнн соль, да вино в провнантском магазнне.

На деле, однако, оказалось, что ратных людей набралось немного, да и те былн мало пригодны к воинскому делу. Не было и офнцеров для обучення рекрутов. Прнтом выясннлась нехватка в оружнн: кончнлся ружейный порох, да и пушечный был на нсходе. А тут ударнлн злющне декабрьскне морозы, войско в плохой одежонке роптало.

Меж тем волнення в Исетской провинцнн усилнвались. Башкнрскне повстанцы производилн нападення на редуты н крепостн. Не однн раз налетали они на Уйскую крепость н побнли там немало воннского народу. В одну морозную ночь в Челябу прискакал нз Саткннского завода купца Лугиннна прнказчнк Монсеев. У него была выдрана половнна рыжей бороды, скулы подбнты, левый глаз гораздо подпух. Четыре тысячи заводскнх работных людей восстали, повязалн прнказчнка н смотрнтелей н сталн поджндать подхода к заводу пугачевского атамана.

Час от часу становилось жарче. Посланный в разведку в Кундравннское сержант Кирьянов с командой поспешно ретировался оттуда.

До воеводы дошли слухи, что командующий войсками на снбнрской пограничной линни генерал Деколонг собнрается выступить с войском протнв пугачевских отрядов.

---

[1] Коротким широкодульным дробовиком.

Воевода воспрянул духом; в коице декабря 1773 года он обратился к генералу за помощью. Одиовременно с этим он иаписал слезное донесение сибирскому губернатору Денису Ивановичу Чичериму с просьбой прислать пороху и мушкетов для вооружения надежных жителей, а ежели можио, то и выслать сильную воинскую команду.

3

Престарелый командующий сибирской пограничиой линией геиерал Деколоиг иа донесения воеводы Веревкина отмалчивался. Сибирский губернатор Чичерии прислал из Тобольска в Челябу просимые порох и ружья. Кроме того, правитель Сибири отдал наказ об отправке в Челябу рекрутской роты тобольского батальоиа. Роту повел в поход подпоручик Федор Пушкарев. При роте шла полевая артиллерия для установки на ореибургскую оборонительную линию. Мало того — Денис Иванович Чичерии послал на помощь особую комаиду под начальством секунд-майора Фадеева.

От утешительных вестей воевода повеселел. Завалившись в сани, в теплой меховой дохе, он ежедневно разъезжал по Челябе и личио иаводил порядки. Купечество ревиостно служило молебны и с иетерпением ждало прихода из Тобольска ратных людей.

Тем временем для подкрепления духа и обороны Челябы воевода пустился иа иеслыханное своеволие и задержал в Челябе проходившую артиллерийскую полевую команду. Было это весьма кстати: до воеводы дошла весть, что шестьсот повстаицев при двух пушках осадили Белорецкие заводы. За последние дни участились иападеиия и башкирских отрядов иа правительственные и частиые заводы.

Но самое страшиое было: работный народ повсюду встречал повстанцев с радушием и давал им людей, коией, провиаит и оружие.

В эту самую пору, когда в Челябе шли приготовлеиия к встрече иеприятеля, тобольский секунд-майор Фадеев с комаидой подходил к городу. Переночевав в подгородиой деревушке, в пяти верстах от Челябы, утром солдаты в боевом порядке выступили в путь, ио за околицей в балке их встретили башкиры. Секуидмайор был стар, опытеи в военных оказиях; он не растерялся, быстро иапал на врага.

Однако башкиры, не смущаясь, кинулись в рукопашную.

Не успел канонир подскочить к пушчонке, как ему мигом снесли голову, тяжело ранили подпоручика, прапорщика и двух рядовых. Секунд-майор Фадеев с командой еле спасся, преследуемый башкирами до самой Челябы.

Кольцо вокруг города смыкалось.

На другой день после этого события капрал Онуфриев задержал на посадье неизвестного роду-племени человека с подметным письмом Пугачева. В том прельстительном письме обещаны были народу отеческие вольности, земля, вода и казачество.

Неизвестного человека отвели в застенок и пытали. Сам воевода был при том и допрашивал. Под плетью схваченный показал, что в Челябу прибыли четыре крестьянина с письмами от самого Пугачева и что он — заводской человек из Кыштымского завода. А где другие люди с такими письмами, он не ведает, видел их всего один раз в царском кружале, да и то под пьяным мороком был...

Вечером того же дня воевода ехал мимо собора; там на площади галдели десятка два казаков, и среди них выделялся плечистый бородатый казак Михаил Уржумцев.

У казака глаза горели недобрым огнем, он махал кулаком и кричал:

— Скоро и мы почнем спущать барские шкуры!

Глава вторая

1

Город Шадринск за многие годы изрядно отстроился, завелись обильные торжки. Со всех окрестных сел шли сюда обозы с крестьянским добром. Продавали сибирские мужики жито, сало, шерсть, мед, всякую живность. Купцы понастроили в городке торговые подворья и каменные палаты. Осенью подле острожка, на привольном берегу Исети, кипела Михайловская ярмарка. В городке стоял великий шум и гам: спорили-кричали до хрипоты купчишки, ревели пригнанные на продажу стада, блеяли овцы, гоготали гуси. На торжке, словно с цепи сорвалось, пировало-гуляло сибирское

купечество; немало было перепито-переедено купеческой утробой. Гуртами ездили купцы в мыльни и до упаду с похмелья парились, после чего пили ведрами квас.

В эту самую пору, когда шла купецкая гульба, на торжке творилось невиданное: мужики собирались табунами, таинственно шушукались. Пора бы домой, но они не расходились, толпились подле старого слепца и слушали его старинные песни.

Среди народа толкался приехавший с дальней лесной заимки Иван Грязнов. Высокий, широкоплечий мужик с густой темно-русой бородой совсем не походил на беглого демидовского работягу. Был сейчас беглый в большой силе, крепок и умен — прожитое горе всему научит. Много лет он укрывался среди сибирских кержаков, работал на хозяев, от которых выдачи не бывало. Шли годы, Ивашка раздался в плечах, обрел силу, но в душе все еще тлела тоска по Аниске: «Что с ней? Куда девалась она?» В глубине души таил надежду на лучшее, но когда оно придет?..

На торжке Грязнов внезапно обрел радость. Стоя на возу у ворот острожка, монастырский дьячок Прокуда прочитал мужикам уведомление Исетской провинциальной канцелярии. Дьячок был остронос, уныл, осенний ветер трепал его ветхий подрясник. Скинув скуфейку с головы, он нараспев внятно читал:

— «Ноне в степи появился вор и обманщик, донской казак Емелька Пугачев, беззаконно и богохульно принявший на себе имя в бозе почившего императора Петра Третьего...»

Ивашка просиял от вести: «Вот оно, пришло долгожданное!» Беглый нажал могучим плечом и протискался ближе. Между тем дьячок продолжал читать:

— «Не менее ста тысяч человек своими очами видели, что он, блаженной памяти государь император Петр Федорович, в начале нюля помянутого года от приключившихся ему болезненных припадков отыде от сего временного в вечное блаженство и погребен в Невском монастыре, при множестве помянутых зрителей, в том числе и здешних Исетской провинции присутствующих, при должностях своих. Следовательно, сие и не может быть сверх натуры, чтобы до конечного и праведного суда божия и воскресения мертвых мог бы кто-либо через одиннадцать лет из мертвых воскреснуть, а потому

озиачеиный вор и разбойиик казак Пугачев подлинно ложный и самозванец...»

Словно ветерок прошел по толпе — заволиовались мужики. Дьячок пригладил волосы, иадел скуфейку и слез с воза. Обступившие его крестьяне жадио допытывались:

— Скажи, дьяче, может, это и в самом деле царь? Может, вместо иего и впрямь кого другого в гроб положили?

Лица у мужиков были тревожиые, хитрые, чуялось — таят они что-то про себя. Дьячок прикрикиул иа иих:

— Не драиы, что ли? Сказаио, кто таков объявился!

Беглый протискался к дьячку, схватил его за руку:

— Ну, отче, обрадовал ты мое сердце.

— Пошто так?— уставился иа иего монашек.— Велика радость, подумаешь! Смута идет по земле, а ты возликовал. Эх, непутевый!

— Не о том я, дьяче!— ласково отозвался Ивашка.— Тут кружало рядом, может уста твои примут пития веселого. Ась?— Беглый лукаво прищурил глаза.

Дьячок замахал руками:

— Отыди, сомутитель! Сан мой хоть мал, ио от скверны опасусь.— Оглядевшись, ои тихонько, будто в раздумье, добавил:— Чрево мое грешиое ноет. Для укрощения демоиа, може, и хлестиуть ему в пасть полштофа?

Ивашка схватил его за рукав и поволок в кабак...

Хотелось ему узнать от дьячка большее, ио, как ии юлил он подле иего, тот пил хмельиое и ни словом больше не обмолвился о смуте. Опростав в кружале два штофа, дьячок уставился бараиьими глазами в милостивца и захихикал.

— Ты, человече, много заработать хошь!— погрозил ои перстом Ивашке.— Гориое иачальство тыщу рублев отвалит тому, кто приведет Пугача в колодках.

— А хошь бы и так!— сдерживаясь, сказал Грязнов.— Но где же иапасть на его след?

Дьячок утер редеиькую бородеику и подмигиул хмельно.

— Тебе скажу, мужик ты, видать, добрый, ие скряжиый. Слушай!— Дьячок пододвииулся к Ивашке и, обдавая его виниым перегаром, зашептал пьяио:

— Ты, христолюбец, к Челябе ступай, а может, и дале! Вот тебе и след. А поймаешь Пугача — тыщу пополам...

Беглый сжал кулаки, хотел было хрястнуть по лисьей морде дьячка, ио удержался и, иапялив иа голову треух, шагиул к двери.

На площади все еще суетились мужики. Солнце клоиилось к закату. У дороги, подле воза, сидел слепец и протяжио пел. Вокруг иего толпился иарод. Ивашка пробрался к старцу, прислушался.

Старец нараспев тяиул:

— «Как иыие имя иаше властью всевышией десиицы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим имеииым указом...»

— О чем ои? — шепотком спросил Ивашка у соседа. Тот, ие повериув головы к нему, дерзко отозвался:

— Не мешай! Манифест царя-батюшки оглашает иароду.

Беглый притих, вслушиваясь; старец распевал тягуче:

— «Как прежде были дворяие в своих поместьях и вотчииах, оиых противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьяи ловить, казиить, вешать...»

Слепец иасторожил ухо и вдруг без перехода запел:

Как во славном было городе Казани,
На широком на татарском баз-зар-ре...

Мужики крикиули ему:

— Ништо! Оглашай дале манифест. Отошел соглядатай...

Слепец встряхиулся и перешел на речитатив:

— «Поступать с дворянами так, как они чииили с вами, крестьянами. Истребивши противииков и злодеев дворян, всякий да восчувствует тишииу и спокойиую жизнь до скончаиия века. И подписал сию весточку-манифест царь-батюшка Петр Федорович!» — Старик закончил пение и встал во весь исполинский рост.

Седой, с бородищей по пояс, опираясь на посох, он медлеино пошел среди народа. Через плечо у него была перекинута холщовая сума. Слепец протянул большую руку и затяиул:

— Люди добрые, подайте Христа ради на пропитаиие...

Он пробирался среди возов и мужиков, горделиво

неся голову. Ветер трепал его седые длинные волосы и бороду. Народ почтительно расступался перед этим желанным вестником. Крестьяне охотно подавали ему, и он, кланяясь милостивцам, спокойно благодарил их:

— Спаси вас бог, люди добрые... Спаси вас бог...

Ивашка положил в ладошку старца алтын и поклонился ему в пояс:

— Благодарствую, просветил ты мою душу...

В небе зажглись первые робкие звезды. Беглый продрог и пошел в умет. Там хозяин за медную деньгу отвел ему место на нарах.

2

За окном, затянутым пузырем, глухая темная ночь. У печки в светце потрескивает лучина. Стряпуха-полуночница неугомонно шаркает рогачами-ухватами, передвигает чугуны, загодя готовит приезжим варево. Где-то в темном углу пиликает сверчок. Не спится Ивашке, теснятся думы и не дают покоя.

«Только бы добраться к нему, тогда всем заводчикам можно напомнить старое»,— думает беглый и не смыкает глаз.

Рядом с ним на полатях ворочается и тяжко вздыхает седоусый инвалид. Лицо у него обветренное, строгое. Подле лежит отстегнутая деревянная нога.

Прокричали петухи-полуночники. Седоусый приподнялся на полатях, набил табаком трубочку и, кряхтя, сполз вниз. Подпрыгивая на одной ноге, как подбитый грач, он подошел к печи, добыл уголек, перебрасывая его с ладошки на ладошку, полюбовался сиянием и неторопливо разжег трубочку. Потянуло едкой махоркой. Лицо инвалида сладостно прижмурилось от глубокой затяжки.

Тихонько, чтобы не разбудить Ивашку, он снова забрался на полати и, сидя, продолжал дымить.

Беглый заворочался.

— Не спишь, сосед?— ласково спросил седоусый и спокойно поглядел на Грязнова.

Ивашка приподнялся и посмотрел на инвалида. Было что-то привлекательное, близкое в прижмуренных серых глазах инвалида и в тепло освещенном трубочкой щетинистом лице.

— Не спится,— отозвался Грязнов и вдруг спросил:— Откуда шагаешь, дядя? Из каких будете?

— Шагаю не издалека, а куда — не ведаю, дорожка сама поведет. А кто такой? Отставной солдат-бомбардир. Зовут зовуткой, а величают уткой!— улыбнулся он своей шутке и тут же поправился:— Федор Волков, вчистую выписан. За ногу да храбрость медаль получил. Да, было дело, пруссакам жару задавали. Русский немцу задаст перцу! Теперь за ненадобностью нищ и сир!— Он пронзительно посмотрел на Ивашку.

— Ну, и я такой же горемыка!— отозвался Грязнов.

— Выходит, два сапога — пара. Гляди, и обрел я родную душу! Видел тебя, парень, днем, прицелился и так подумал: «Потянул журавель к своей станице!» Теперь все к солнышку торопятся!— загадочно сказал солдат.

— Правда светлее солнца. Я ее отыскиваю!— сдержанно ответил Грязнов.

— Вижу, днем сметил, как подле слепца вертелся да выслушивал письмо,— прямо отрезал бомбардир.

— Ну!— удивился беглый.

— Вот те и ну! Журавель летает высоко, да видит далеко. Мнится мне Кунерсдорф и знакомый казак. Если это он, то не клади волку руку в пасть. Оттяпает!— Солдат пыхнул трубочкой и вдруг положил руку на плечо Грязнова.— Насквозь вижу, удалец, куда торопишься. Бери с собой, может сгожусь. Ты с бородой, да я сам с усам. Только свистни, а я и сам смыслю! Так уж ведется: у русского солдата на все ответ есть!

Глаза бомбардира доверчиво смотрели на Ивашку. Беглый улыбнулся:

— Выходит, одного поля ягодка!

— Жить вместе и умереть вместе! Идем вдвоем к нему!

Стряпуха сердито взглянула на полати и промолвила:

— Сами не дрыхнете и другим не даете!

Беглый и солдат придвинулись друг к другу, пошептались и вскоре заснули крепким сном.

На заре их разбудил хозяин:

— Вставайте, светает. Уходи, прохожие! Днем тут ярыжки ходят, прицепятся, беды с вами не оберись!

Ивашка умылся студеной водой, туго опоясал кушаком полушубок, взял посошок и сказал солдату:

— Ну, пошагали, служивый!

— Пошагали, милок. Куй железо, пока горячо!

— Куда поперлись, мужики?— спросил хозяин умета.

— В дальний путь, за добрым делом!— весело отозвался Грязнов.— Может, коли вернемся, так вспомним о тебе.

— В счастливый час!— нахмурясь, отозвался бородатый уметчик и проворчал недружелюбно:— Никак в пугачевское воинство побрели...

Сибирские ветры принесли холод, застыли лужи, под ногами хрустели тонкие льдинки. Легкий ветер обжигал морозом лицо. Беглый и солдат шли бойко. Постукивая деревяшкой, бомбардир торопил:

— В Челябу! В Челябу!

Верилось им, что там они узнают про Пугачева, и эта вера веселила беглого. В попутных зауральских селах разлилось неспокойное крестьянское море. Спутники прошагали через Камышенную, Верхнюю Течу и Песчаное — везде они встречали шаткость, всюду поднимались мужики. Несмотря на зиму, по дорогам тянулись колесные обозы: побросав заводы, возвращались с работы приписные крестьяне. Ехали они веселые, дерзкие. Многие из них, не скрываясь, кричали:

— Хватит с нас каторги! Отработали свое! Будет, поцарствовал над нами Демидов!

Подняв лукавые глаза, солдат с задором спросил приписного:

— С чего так разорался? Кто дал такую волю?

Бородатый широкоплечий мужик изумленно посмотрел на бомбардира.

— Ты что, не ведаешь, что в уральских краях появился батюшка государь Петр Федорович! А кто указ в давни годы писал? У нас под божницей по сию пору храним!

— Не припомню что-то!— слукавил солдат.

— Коротка память!— насмешливо сказал приписной.— А писано было всем фабрикантам и заводчикам довольствоваться вольными наемными по паспортам за договорную плату! Слыхал? А еще говорено было, что ни фабрикантам, ни заводчикам деревень с землями и без земель не дозволять покупать! Каково? Да не признал эту грамоту князь Вяземский, а вот она!

— Умная грамота!— согласился бомбардир.— И никто такую не мог написать, как сам царь Петр Федорович! Ай да ладно! Ай да весело!

— Теперь всю барскую Расею на слом возьмем!—

закричали мужики.— За землю и вечные вольности поднимается народ!

— Правильно делает!— одобрил Ивашка, но тут же нахмурился.— Только напрасно вы к дому потянули, надо бы на помощь к Петру Федоровичу поспешить.

— Погоди, не терпится на хозяйство взглянуть!

Приписные, переговариваясь, поехали вдаль по заснеженной дороге...

По степным тропкам, на далеких курганах подолгу маячили одинокие всадники.

— Башкиры!— догадался Грязнов.— К царю мужицкому тянут.

Все же вместе с бомбардиром они постарались побыстрее укрыться в кусты от степных кочевников. «Орда! Неровен час, в полон уведут»,— тревожно подумал беглый и переждал терпеливо, когда исчезнут всадники.

До Челябы простирались просторы, далеко-предалеко синели горы. На звенящую от заморозков землю порошил крепкий хрустящий снежок. Ветры принесли со студеной стороны пухлую снеговую тучу; отвислым сизым брюхом она волочилась по ельникам, по холмам и обильно засыпала все снегом. Ветерок подвывал, тянул понизу серебристой белой пылью, а на вершинах поземка вскидывалась кверху и кружила бураном.

Кругом простиралась белая застывшая равнина, снега убелили серые грязные деревнюхи, ельники, горки. Только извилистая Исеть еще не застыла и шла черная, как вар; по ней лебяжьей стаей плыли первые льдинки.

На последнем ночлеге перед Челябой, в попутном селе, ночью разгулялась метель. Густо падал снег, ветер рвал и метал его; словно белогривые кони, быстро двигались сугробы, дымясь под вихрем.

Путники забились в избу, сладко дремалось на полатях, и сквозь дрему, усталость до сознания едва-едва дошли тяжелые медные звуки.

— Что стряслось?— поднял голову Ивашка и уставился в хозяина, темноглазого мужика.— Никак набат?

Хозяин покачал головой:

— Нет, то буран идет. Упаси бог какой! Звонят в колокола, путь заблудившим указуют.

— А много людей ныне по степи бродит?— спросил солдат.

— Кто знает, всяко бывает,— уклончиво отозвался мужик.

Преодолевая сон, беглый в упор спросил хозяина:

— А где теперь Пугачу быть?

Мужик помрачнел, искоса глянул на Ивашку.

— Кому Пугач, а кому царь-батюшка!— после раздумья холодно проронил он.— Народ валом валит, а куда — не слыхано.

Крестьянин укрылся шубой и затих на полатях. За темным оконцем голодным псом выла метель. Ивашка смежил глаза и крепко уснул, а солдат все ворочался и дымил махоркой.

Утром на другой день Грязнов с отставным бомбардиром пришли в Челябу. Маленький деревянный городок был полон движения и суеты. Кержаки-плотники, крепкие бородатые мужики, подновляли заплоты на крепостном валу. В чистом морозном воздухе далеко и гулко разносился стук острых топоров, добро пахло смолистым деревом, щепой. На улицах ладили новые рогатки. Уминая выпавший снег, к комендантскому плацу прошла воинская команда. Вел ее старый, но бравый капрал, обряженный в изрядно поношенную шинелишку и в порыжевшую треуголку. Пристегнутая сбоку сабелька раскачивалась в такт его бодрой походке. Закинув суровое лицо, капрал лихо запевал:

Во строю стоять, на ружье держать,
Пристояли резвы ножевьки...

Седоусые служивые, вращая белками глаз, топая в ногу, дружно подхватили песню. Бомбардир опытным глазом окинул команду и одобрил:

— Старые, но добрые вояки!

По дороге то и дело проезжали верховые, покрикивали на мещан. Народ неохотно уступал им дорогу. В церкви на Заречье шла ранняя обедня, тускло горели свечи в притворе, тощий пономарь в засаленной рясе усердно звонил в большой колокол. Медный тяжелый звон плыл над крепостью. Над зеленой главкой церкви с криком носились распуганные галки.

Путники свернули на торжок, который кипел у Миасса-реки. Тут стояла людская толчея: кричали бабы-торговки, предлагая свой немудрый товар: белые шаньги, горячую рубленую требуху, мороженое молоко. Над большим котлом, установленным на таганке, под которым пылали раскаленные угольки, вился густой

пар. Румяная толстая баба пронзительно кричала на весь торжок:

— А вот пельмени!.. Добрые пельмени!..

В лицо Ивашки пахнуло теплым, приятным духом варева. Он улыбнулся солдату:

— А что, Федор, хороши пельмени?

— Хороши!— подтвердил солдат.— Эй, милая, клади по сотне!

Торговка проворно наполнила чашки горячими пельменями, и друзья принялись есть.

Солдат ел неторопливо и ко всему прислушивался. А кругом гомонила базарная толпа. Среди нее верхами толкались башкиры, обряженные в теплые кафтаны, в рысьи малахаи. Внимание беглого привлек крепкогрудый черноглазый казак в черном окладе бороды. Рядом с ним стоял степенный молодой хорунжий. Они о чем-то горячо говорили толпе, густо обступившей их. Над площадью расплывался гул голосов.

— Пошто новые заплоты робят?— выкрикнул из толпы зычный голос.

— Царя-батюшку не хотят пустить в городок!— ехидно отозвался другой голосок.

— Какой царь? То казак Пугач!— зло отозвался третий.

Черноглазый казак сердито сдвинул брови:

— Молчи, остуда! Будешь брехать — пожалеешь!

Ивашка пригляделся к вопрошавшему дерзкому мужичонке; одет он был в сермягу, сам лохматый. Гречушник набекрень. Глаза мужичонки неспокойно бегали.

— А где-то сей царь? Пошто по степи бегает?— снова поднял он лукавый голос.— Пошто этот царь в Челябу не шествует? Воевода его, поди, с колокольным звоном повстречает, ась?

Солдат исподлобья разглядывал мужика. «Сыщик! Окаянец!»— раззлобился он и толкнул Ивашку в бок:

— А ну, поглядим, что за птица?

Рядом стоявший казак сверкнул глазами и закричал мужику:

— Ты кто такой?

— Известно кто, сыскной! Знакомая рожа!— опознал мужика другой станичник.

Лохматенький заегозил, сжался пугливо и поглубже нырнул в народ. Но Ивашка не утерпел, бросился за ним в толпу и сгреб его за ворот.

— Тут он, братцы, доносчик проклятый! Бей супостата!— заорал он и огрел пойманного кулаком.

Толпа всколыхнулась, десятки рук потянулись к сыщику. Он взвыл, голос его тонко-дребезжаще вырвался из многоголосья:

— Ратуйте, убивают!..

Тут и казак помог: набежал, схватил доносчика за грудь.

— Тряси его душу!— одобрительно закричал он беглому.

Словно шалый бес овладел людьми: они рвали, топтали пойманного. Истерзанный, окровавленный, он бился в предсмертных судорогах на истоптанном снегу, пока не затих.

«Убили!»— очухался от запальчивости Ивашка и, потупив глаза, неловко отвернулся и виновато пошел прочь. За ним заковылял солдат.

Поодиночке, вразброд, опустив глаза в землю, мужики расходились с торжка.

С тяжелым сердцем Грязнов с бомбардиром вошли в кабак. В избе с почерневшими стенами было сумеречно, свет скудно пробивался сквозь слюдяные оконца. За прилавком стоял тощий хитроглазый целовальник в пестрой рубахе и зорко приглядывал за питухами. За его спиной на полках поблескивали штофы. Гам, нестройные голоса наполняли избу. За столами шумели казаки, мастерки, подвыпившие гулебщики. В дальнем темном углу поднялся плечистый бородач и поманил остановившегося в раздумье среди избы Грязнова. Беглый сразу признал в нем знакомого казака-заводилу.

«Ага, успел унести ноги в кабак»,— обрадовался он и шагнул в угол. Там, прижавшись к стене, сидел хорунжий. Крепкий, ладный, он поднял на Ивашку веселые серые глаза:

— Кулачный боец! Ловко оборудовал шпыня!

Казак предложил по-свойски:

— Садись! Не знаем твоего роду-племени, но видать, из приверженных! Жалуй и ты, добрый человек!— пригласил он и солдата.

На столе стоял штоф, рядом лежала теплая ржаная краюха.

Беглый и бомбардир присели.

— Как звать?— в упор спросил черноглазый казак.

Ивашка опустил глаза и нехотя отозвался:

— Прохожие мы. С сибирской стороны!

Солдат строго вставил свое слово:

— Не спеши языком, спеши делом!— Он ласково посмотрел на зеленый штоф и придвинулся к нему.

Хорунжий ободряюще посмотрел на старика и улыбнулся.

— Ну что ж, земляк, прополощи горло, а потом речь потянется!— Он налил чару и поднес солдату. Тот не дремал, проворно опрокинул ее и, утерев усы, крякнул от удовольствия. Выпил и Грязнов.

— Хватай, ребята, по другой!— предложил казак.

Опростали по второй.

— Люблю проворных!— одобрил казак и огладил свою курчавую бороду.

— Куда бредете, сибирские?— пытливо посмотрел хорунжий на Ивашку и его спутника.

Хмельное тепло побежало по жилам, сильно приободрило беглого. Хотелось признаться, но тут седоусый бомбардир откликнулся за двоих.

— Говорил бы много, да сосед у порога!— выразительно посмотрел он на казаков.

Хорунжий подмигнул:

— Понятно! Все туда бредут! Летает орел над степью: вчера в яицких степях кружил, а ныне к нам в горы ждем! Ежели не сам, то птенцы его появятся.

В избе пеленой колебался синий табачный дым. Казак посмотрел в сизую тьму и процедил:

— Солдатушки тут гуляют! Время ноне такое. А ваши сибирские мужики как?— вдруг спросил он Грязнова.

Ивашка насторожился и ответил тихо:

— Шли дорогами, и всюду народ о каком-то царе баил! Какой-такой царь — и невдомек.

Казак оглянулся по сторонам и серьезным тоном тихо обмолвился:

— На духу будто сказано, разумей про себя!

Он осторожно сунул Ивашке измятый лист и прошептал:

— Сейчас упрячь, это тайное государево письмо!

— Ой, спасибо, братец!— потянулся беглый к казаку.

— Ну, сибирский, давай за побратимство выпьем. Ставь штоф!— предложил тот.

Ивашка извлек алтыны, пробрался к целовальнику.

— Добро!— кивнул хорунжий.— Выпьем...

Хмельиое разгорячило кровь. Казак повеселел, полез к Ивашке целоваться:

— Побратимы будем. Звать Михайлом Уржумцевым, а тот — Наум Невзоров. Чуешь?

— Братцы!— умилился беглый.— Поведайте, братцы, куда мне путь держать. Где дорога?..

Хорунжий сгреб Грязнова за плечи, привлек к себе.

— Идите, сибирские, отсель в Чесиоковку,— жарко зашептал он.— Край дальиий. Сквозь горы пройдете, крепости минуете. И сидит там в Чесноковке птеиец его, бей ему челом! Он войско собирает...

— Братцы,— обрадовался беглый,— выпьем, что ли, еще?

Хорунжий повел глазами.

— Будет!— иаотрез отказался он.— Иди! Путь ваш трудиый. Отоспись...

Шумно было в кабаке. Хмельиые питухи куражились. Кто песию визгливо тянул, кто горько плакал: вино бередило душевиые раны. В табачном густом тумане мелькали потиые лица, взлохмачеиные бороды, блестели хмельиые глаза. Бреичала посуда, покрикивал бойкий целовальиик. Ивашка и солдат выбирались из кабака. Из сизой мглы кто-то протянул чару. Беглый хотел отпихнуть ее, ио, подняв глаза, встретился с горячим, призывиым взглядом.

Лохматый мужик, ухмыляясь, сказал беглому:

— Пей, сродиик! Гуляй! Попал в нашу стаю, так лай ие лай, а хвостом виляй!

Ивашка выпил чару, крикиул:

— Спасибо, братцы! Погуляем еще!

Сизый тумаи закружил волиой, ухмыляющаяся рожа мужика исчезла в нем.

Распахнув дверь, вместе с теплым облаком Ивашка выкатился из кабака и, сопровождаемый бомбардиром, веселый пошел вдоль улицы.

3

На торжке сибирские обрели пару бойких башкирских коией и пустились в горы. Вскоре степь, перевеяииая буранами, осталась позади. Впереди встал синеватый Урал-Камеиь. Дорога втяиулась в дремучий, хмурый лес. Все тесиее и тесиее сжимали ее могучие сосны, вековые кедры, густые разлапистые ели. День стоял сумрачный, к елаиям жалось низкое небо. Лишь стук

дятла да изредка бормотанье падуна тревожили эту лесную глушь.

Пофыркивая, резво бежали башкирские кони, не страшась ни лесной хмури, ни крутых скал. Дорога петлей обходила шиханы, то ныряла в таежную чащу, то выбегала к низинам, на болота. Кони осторожно ступали по полусгнившим бревенчатым сланям, от тяжести их по обеим сторонам гати упруго качалась незамерзающая трясина.

А горы становились все выше и выше. На кремнистых увалах Сыростана открылись Уреньгинские горы. На высоких сопках белым дымом кружился и кипел в бешеном вое буран.

Дорога вновь нырнула в чащобу, опять простерлась тишина. Всю дорогу солдат рассказывал про любезные ему пушки, называя их ласковыми именами.

— Пушка — она солдатская спасительница!— восторженно говорил бомбардир.— Хотя наводчик и первая персона, но и она матушка-красавица главная. Без нее — никуда. Бывало, ловко садаешь по врагу, гул идет, а там, глядишь, и побегут супостаты — жарко доводится им от меткого огня! Ну как тут не порадоваться. Обнимешь ее, медную голубушку, поцелуешь: «Мать ты наша, солдатская помощница в бою!»

— Неужто так любишь свое дело?— спросил Ивашка.

— А как его не любить, потому оно самое что ни есть главное для солдата! До смерти будешь предан ему.

Лицо старого бомбардира потеплело, глаза засверкали. Солдат покрутил седой ус, вздохнул:

— Вот бы к *нему* добраться! *Он,* брат, понимает в орудиях толк. Старый воин. Да и как орудие не любить и не беречь! Оно что милая у служивого!— с лаской заговорил солдат о пушке.

Вдруг конек под ним словно споткнулся, зафыркал. Запрядал ушами и конь Грязнова.

— Зверь, поди!— сказал Ивашка и ухватился за рогатину.

Тревога оказалась напрасной: спал зимним сном лес, спали под выворотнями в теплых берлогах медведи, только изредка блуждающим огоньком среди заснеженных лесин мелькнет золотой хвост убегающей от всадника лисицы.

Чуть слышно хрустнул сухой сучок, и на скале, на-

висшей над тропой, как призрак встал сухой седенький старичок в черном азяме. Не успел Ивашка и окликнуть его, как он исчез. И снова мертвящая тишина, и снова спокойно бежит конек. «То раскольничий старец,— догадался солдат.— Знать, близок потайной скит. Вот она, лесная глушь! Будто спит, а под спудом идет своя недремлющая, невидимая суета...»

После долгого непрестанного бега коняги вынесли на свежие вырубки. Лесной ветерок пахнул в лицо гарью. «Жигари близко»,— сообразил беглый.

И верно, скакун примчался в курень углежогов. Подле тропки темнели угольные ямы. Последний сиреневый дымок, выдыхаясь, тянул к вырубкам. Ямы были пусты, обширны. Среди землянок и балаганов на малой слани толпились крикливые чумазые жигари. Завидев проезжих, они мигом окружили их.

— Мир на стану!— крикнул Грязнов и сбросил косматую папаху.

— Спасибо на добром слове!— добродушно отозвались пожогщики.— Куда путь держите, добрые люди, и что слыхано?

По тому, как были они одеты, по их поведению понял Грязнов: бросили мужики работу и собрались в неведомую путь-дорогу.

— А где куренной?— сурово спросил он.

— Убег, ирод!— поугрюмели мужики.— А вы от хозяина, что ли, посланы?

— Ага, от хозяина, да не от Демидова, а от царя-батюшки Петра Федоровича! Бросай работу, братцы!— крикнул он жигарям.

— Эгей, чумазые!— закричал бородатый углежог.— Слыхали, братцы? И впрямь волюшка вышла!

Жигари протягивали приезжим кто последнюю краюшку хлеба, кто сухарь. Мужики наперебой предлагали:

— Дай коню роздых, упрел небось. Путь немалый.

— Едем мы, братцы, к атаману, присланы от царя-батюшки народ в воинство верстать.

— Куда вы, туда и мы! Ко времени подоспели!

Люди весь вечер не отходили от прибывших. Костер жарко грел возбужденные лица. Огонь то взмывал кверху, выше ельника, и осыпал табор искрами, то притухал под свежей охапкой хвороста. Но синие быстрые языки огня жадно лизали сушняк и вскоре вновь вздымались пламенем. Озаренные светом костра, черные от

несмываемой сажи трудяги-жигари слушали дивную весть.

Спал заваленный снегами лес, молчали угрюмые горы, только месяц золотым кольцом катился от шихана к шихану, нырял в облака и, блестя, играя, вновь выбегал на простор. Искрились и горели самоцветами пушистые снега; зеленый свет струился с неба. А лесные братья-жигари не думали спать. Раскрыв рты, жадно ловили слова беглого.

Ивашка извлек из-за пазухи заветный лист, развернул его. И, делая вид, что он грамотей, по памяти читал мужикам:

— «И будете вы жалованы крестом, бородою, реками, землей, травами и морями, и денежным жалованьем, и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечной вольностью...»

— И вечной вольностью!— как молитву, в один голос дружно повторили работные.

Старый обдымленный жигарь истово перекрестился и сказал вслух:

— Слава те господи, дождались светлого дня! Пойдем, братцы, на добрую жизнь.

В костре стрельнул уголек, золотой пчелкой искорка унеслась в темь. Солдат оглядел повеселевшие лица жигарей и сказал им:

— А что, братцы, вольность дело хорошее, да сама по себе она не придет сюда в лес-чащобы. Давай артелью к царю-батюшке двинемся. Ноне на слом будет брать дворян да заводчиков.

— А что ж, мы-то всей душой! Ведите нас!— заговорили жигари.

С гор подул ветер-полуночник, по лесинам, потрескивая, пощелкивая, пробирался неугомонный морозище. Жигари нехотя разбрелись по землянкам и балаганам. Там они забылись в тяжелом, тревожном сне. Впритык среди согретых тел улеглись после маятной дороги беглый и солдат. Сон сразу сморил их. Только у костра топтались терпеливые башкирские кони, неторопливо хрустя сухим сеном...

На заре старый жигарь взбудил лесных братков, и Грязнов повел их в Чесноковку.

Три сотни крепких, кряжистых мужиков, закопченных, чумазых, вытянулись ватажкой на глухой лесной дороге. Шли они вооруженные топорами, дубинами, рогатинами. Шагали молча: лесная хмурь да тяжелая

каторга отучили от песни. И оттого грознее, суровее казалось шествие. Из-за облака блеснуло солнце, сверкнуло на острых топорах.

Чудилось, будто из-за темного леса занялась черная страшная туча и заблистала молниями. Вот-вот ударит гром и разыграется буря.

Дорога тянулась через горные кряжи, то поднималась к перевалам, то спускалась к долинам. Многим из жигарей была знакома эта древняя гулевая дорожка. Пролегла она из России, пересекла Уральские кремнистые хребты и ушла в глубь необъятной Сибири.

В глубоких падях лежали притихшие заводы, не дымили домны, простиралось над ними чистое белесое небо, а вокруг — пушистые снега. По скатам гор виднелись заводские селения.

Во вторую ночь пути в небе вспыхнуло и постепенно погасло зарево. Лишь облака, плывшие над каменным хаосом гор, нежно порозовели от еще тлевшего внизу пожарища.

— Ну, теперь свои близко!— полной грудью вздохнул Грязнов.

Задолго до подхода к Чесноковке ватага жигарей почувствовала близость пугачевского стана. По торным дорогам и тропам тянулись толпы заводчины, они, как первые вешние струйки с гор, вливались в работную ватажку. На пути стали встречаться конники.

К полудню ватажка выбралась из чащоб, разом расступились горы, распахнулся лес, из туч брызнуло солнце, и яркое сверкание озарило укрытую снегами широкую понизь. Среди наметенных сугробов тонуло обширное селение. К сумрачному небу вились дымки. Ветер донес запах жилья, собачий лай. Жигари прибавили шагу.

Сидя на коне, Ивашка издалека заметил неладное.

Впереди расстилалось поле; в полуверсте от сельской поскотины двое пеших наскочили на проезжего конника и сволокли его в снег.

— Никак тати?— показал вдаль бомбардир и стегнул конька.

Два дюжих казака, не стесняясь набежавших конников, вытряхнули поверженного пленника из добротного полушубка.

— Да что вы, братцы?— взмолился проезжий.— Да я ж тут свой!..

— Попина в свои лезет! Скидывай пимы!— озоровали казаки.

— Да ведь тут разбой! Непорядок это!— не стерпел бомбардир и гаркнул на все поле:— Стой, окаянные! Что вы робите?

— Отстань, пес,— огрызнулся станичник.— Не видишь, что ли, попа облегчаем... Скидывай, долгогривый, пимы!— накинулся он на поверженного, но и рук не успел протянуть, как Грязнов огрел его плетью.

— Расходись, остуды!— злобясь, закричал Ивашка.— Это что же удумали? Под носом у атамана свой народ обижаете? Брысь, окаянные!

Завидев бегущих на подмогу жигарей, казачишки подались прочь.

Грязнов соскочил с коня и шагнул в сугроб. Из снега поднялся долговязый жилистый поп. Беглый вытаращил глаза: разом вспомнил тайгу, Кыштым...

— Савва!.. Отец Савва!

— Я самый и есть!— добродушно отозвался поп.— Но кто же ты? Что-то не упомню тебя.

— Я беглый демидовский. Из лесных куреней. Может, и вспомнишь Ивашку Грязнова.

— Не помню. Мало ли у Демидова работных, но чую, добрый ты человек!— искренним тоном отозвался Савва.

Набежавшие жигари с удивлением разглядывали священника, одетого по-крестьянски. Он поднял и отряхнул от снега отбитый полушубок и облачился в него. Ивашка взобрался на коня и крикнул своим молодцам:

— Братки, это бунташный поп! Нужный он человек!.. А я, батюшка, из Сибири к хозяину еду и народ привел. Хочется нам хоть одним глазком глянуть на него и перемолвиться словцом о деле.

Священник подтянулся, окинул ватажника проницательным взглядом.

— Его величество государь Петр Федорович далече пребывает от сих мест. А дела тут вершит его сиятельство граф Чернышев,— твердо ответил иерей.

— Ой ли? Сказывали, тут атаман Зарубин проживает!— разочарованно отозвался Ивашка.

— Молчи!— пригрозил поп.— Вороги его сиятельство кличут Чикой, а нам доподлинно ведомо, что он граф. Веди богатырей! Ко времени подоспели, молодцы!

— Это мы и без тебя, батя, ведаем!— нахмурился солдат.— Дело у нас военное, и команду знаем. Веди!

Ивашка в сопровождении священника повел углежогов в село.

После лесной тишины жигарей поразило многолюдье. Они с удивлением разглядывали село. На улице суетился народ, скакали конные. В домах было шумно. Из окошек и ворот выглядывали любопытные бабы, малые ребята. Сбежавшиеся станичники, в свою очередь, глазели на черных от копоти, оборванных людей.

— Что за черти? Откуда только и взялись!

Но заводчина встретила своих радостно и приветствовала криками, размахивала ушанками.

Грязнов, подбоченясь, выступал на коне впереди своей ватаги. Рядом с ним ехал бомбардир. Ему было лестно и любопытно. Кругом словно в котле кипело. Дворы и проулки были запружены санями, подле галдели люди. На площади перед церковью горели костры: заводчина готовила пищу. Селение походило на великое торжище. Кого только тут не было! Казалось, сюда сбежались со всего Урал-Камня, съехались со степного Яика, собрались даже с дальних лесных углов Башкирии. Больше всего было здесь уральской заводчины. Из многих горных заводов можно было встретить людей: из Белорецка, из Сатки, из Косотура, Миньяра... Их нетрудно было узнать по землистым лицам, по жилистым корявым рукам, опаленным у домен бородам, по сутулости, полученной в результате тяжелого непрерывного труда. Немало встречалось тут и приписных мужиков, беглых, крепостных; они узнавались по убогой крестьянской одежде — рваным зипунам, дерюжным сермягам и лаптям...

Суетились у котлов ордынцы: косоглазые киргизы в верблюжьих бешметах и малахаях. Варили конину скуластые башкиры в остроконечных рысьих шапках. Бродили по улице лихие яицкие казаки — сильные и драчливые станичники, одетые в добрую казацкую справу. Собралась беглая голытьба, гулящие люди, сибирские варнаки и все через край хлебнувшие соленого горя, прошедшие огонь и воду, испытавшие барский гнет, плети, железа, кабалу и тяжелую царскую рекрутчину. Ныне все эти люди шумным потоком устремились в Чесноковку, где становились под знамена Пугачева, верстались казаками. Они прибывали каждый день, увеличивая пугачевское войско.

Ивашка с любопытством разглядывал воинство, и в сердце его крепла уверенность в правоте затеянного

дела. «Сермяжная Русь поднялась ноне! Как после этого устоять барам!»

Отец Савва указал на высокий дом:

— Туда веди жигарей. Там сам батюшка граф пребывает.

— Погоди чуток, милый!— тихонько сказал солдат и глазами поманил Грязнова в сторонку. Они отъехали, и бомбардир просительно посмотрел на беглого:

— Родной ты мой, связали мы жизнь нашу одной веревочкой. Ни тебе, ни мне назад ходу нет. Пойдем сейчас к этому самому графу, чую, свой он человек. Вот и скажи ты ему про меня, что я не приблудный сын, а бомбардир, русский солдат. Глаз у меня верный; фрунт держать учен и другим воинским премудростям обучен. Незадарма шпицрутенами секли не раз... Буду верой и правдой служить, но пусть оставят при тебе!

— Добро!— охотно согласился Грязнов.— Быть тебе, Федор, моим военным советчиком и первым бомбардиром.

— Уж не бойся, не подведу!— твердо пообещал солдат.

— Верю, и потому будет так, как просишь!

Они повернули коней к высокому дому. Проехали мостик, переброшенный через незамерзающий ручей, и очутились у строений.

У забора топтались привязанные кони, гомонили толпившиеся казаки. Перед домом стояли две виселицы. Беглый в страхе отвел глаза, по сердцу побежал неприятный холодок.

— Ништо, это только в первый раз страшенно зреть, а после обвыкнется,— угадывая его мысли, успокоил отец Савва.— По чиноположению своему я многих грешных тут напутствую в дальний и необратимый путь. Освобождаю мир от скорпионов. Айда за мною!— вскричал поп и взошел на крыльцо.

В горнице шумно толпились казаки. Они бесцеремонно разглядывали пришедших.

— А куда этот на деревяшке прет?— с насмешкой спросили они.

— Ты не смейся. Без ноги, да с головой!— не смутился бомбардир, отряхнул снег у порога и шагнул следом за Грязновым в избу.

За столом сидел кряжистый бородатый детина в казачьем чекмене. Отец Савва тихонько толкнул Грязнова и поклонился атаману:

— Ваше сиятельство, еще ватага к нам прибыла!

Серыми пронзительными глазами Чика уставился в беглого.

— Кто такие?— строго спросил он.

— Демидовские жигари, пришли под высокую руку государя,— с достоинством поклонился Ивашка.

— Добро! Ко времени подоспели! Садись, молодцы, гостями будете,— радушно пригласил атаман. Казаки потеснились, дали прибывшим место.

Бабы-стряпухи подали на стол миски, полные горячих жирных пельменей. Появились и штофы с вином, поднялся говорок. Атаман налил чары, одну, большую, пододвинул Грязнову.

— Во здравие государя!— поднял чару Чика и поклонился гостям:— Начнем с богом!

Казаки дружно осушили чары. Не отстал и беглый.

— Эк, по всему видать, и ты добрый питух!— весело прищурил глаза атаман.— Это добро. Кто чару пьет, тот и в драке лих... Э, да ты еще не казак!— Он схватил Ивашку за волосы и засмеялся.

Беглый смутился. Сидевший рядом с ним атаман дружески хлопнул его по плечу.

— Ничо, не горюй, друг! Враз в казаки поверстаем!— Он пошарил в углу, достал ножницы.— Нагнись!

Беглый покорно склонил голову. Атаман проворно подстриг его под кружок.

— Ну вот, и казак ныне!— весело произнес Чика.— А теперь выпьем за поверстанного!

— Ваше сиятельство!— вдруг возопил солдат.— А меня что же обошли!

— Да куда тебе на деревянной ноге!— отмахнулся Чика.

Солдат потемнел, просительно посмотрел на Грязнова. Беглый понял и весело сказал атаману:

— То не простой человек. Он первый бомбардир.

— Бомбардир!— изумленно вскричал Чика и уставился в солдата.— Да что ж ты промолчал. Пушкари да бомбардиры у батюшки царя Петра Федоровича ныне первые люди! Верстай и его в казаки!— предложил атаман, и солдату Волкову тоже подстригли волосы под кружок.

В избе стало шумно, гомонили все. Потные от жара бабы-стряпухи проворно меняли миски с пельменями да подставляли штофы. Распахнув чекмень, Чика разглаживал бороду да подбадривал атаманов:

— Послужим, братцы, верой и правдой батюшке государю! Побьем всех ворогов! На слом возьмем!

— На слом! На слом! — подхватили атаманы.

Грязнов и бомбардир неделю пробыли в Чесноковке, и каждый день атаман приглашал их к обеду. Пугачевский полковник кормил гостей изобильно. С раннего утра множество поселян из ближних и дальних слобод приходили на поклон к Чике, и каждый приносил ему дар: кто гуся, а кто поросенка. В амбаре стояли бочки с вином. Казаки потихоньку пили хмельное, но атамана побаивались.

Народ любил его за справедливость и заботу о простых людях. Приказано было всем атаманам и старостам народ в обиду не давать, наборы среди жителей производить равномерно, а женкам и детям ратных людей, пребывающих в походе, отпускать провиант из казенных и мирских магазинов.

В каждом селении и заводе был поставлен свой атаман или староста. Они рассылали разъезды, держали на дорогах заставы и зорко следили за каждым проезжающим.

Всех своевольцев и грабителей атаман нещадно карал батогами. Шли к нему попы, он встречал их почтительно и склонял на свою сторону. Многие из них среди народа восхваляли «государя-батюшку». Из Осы приехал с поклоном воевода, привез пушку, бочку пороха и два воза медных денег. Чика принял дары, приказал воеводе по-казачьи остричь волосы:

— Будь ты отныне казак, а не воевода! Полно тебе мирскую кровь-то сосать!..

Каждый день в Чесноковку подходили новые и новые толпы повстанцев, атаман верстал их в казаки.

Меж тем из-под Красноуфимска прискакал гонец с радостным сообщением: Салават Юлаев со своими башкирами занял городок. Атаман задумался, дерзкие мысли пришли ему в голову: решил он захватить Кунгур да Челябу. Поручил он табынскому казаку Ивану Кузнецову принять начальство над башкирами и вести их в пермскую землю. Тут и Грязнову выпало счастье: вызвал его атаман, долго вглядывался в него пытливо, наконец сказал:

— Вижу, верный ты человек! Сослужи государю-батюшке службу: веди свое воинство на Челябу, преклони ее к нашему делу!

Грязнов не утерпел, подошел к атамаиу, обиялся с ним.

Не мешкая, Ивашка с бомбардиром подияли свое воинство в поход. За околицей мела пурга, выл злобиый сиверко. Но демидовские жигари, ие страшась ии мороза, ни ветра, бодро тронулись по сибирской дороге иа Челябу.

Глава третья

1

В Челябу из слободы Куидравиинской прискакал купецкий сыи Аиуфриев и иасказал разиых страхов. От иего узиали, что пугачевские войска заняли крепости Чебаркульскую и Верхиеуральскую.

Купецкий сыи заготовлял овес для торговлишки, когда пугачевцы подошли к слободе Кундравиинской. Населеиие, разодевшись во все праздиичное, толпой вышло им навстречу. Слободской поп приказал ударить в колокола и собрал причт, чтобы подиять иконы и хоругви для встречи атамана Грязнова.

Из-за горы показались пугачевские войска. Впереди ехал сам Грязиов — кряжистый, русобородый. На нем расстегиутая крытая шуба, под ией бешмет, обут атамаи в сапоги, иа голове шапка-чепаи, опушеииая лисицей. За иим шли четыреста бойцов с семью чугунными пушками.

Бомбардир Волков любовно оглядывал их, прислушивался и время от времени покрикивал команде:

— Поглядывай за голубушками!

Поравнявшись с толпой слобожан, пугачевский атаман крикиул:

— Здорово, детушки!

Толпа дрогнула и закричала «ура».

По занятии Кундравинской повстанцы разбили царев кабак, атаман забрал в свою войсковую казну деиьги из коиторы и пожег все бумаги: кабальные и долговые записи. Вечером куидравинцы присягали «императору Петру Третьему».

Ночью спрятавшийся от расправы под стог сена купецкий сыиок Ануфриев вылез и, побросав заготовлениые возы с кулями овса, сбежал в Челябу...

2

На другой день в Челябу прибыла рота тобольского батальона и с нею полевая артиллерия под начальством подпоручика Федора Пушкарева.

Челябинский бургомистр встретил войска хлебом-солью. Роту на постой разместили на посадье, а орудия полевой артиллерии установили на площади против воеводского дома. Алексей Петрович вызвал к себе подпоручика Пушкарева, расспрашивал его о драгоценном здоровье Дениса Ивановича Чичерина.

Тем временем, пока шла официальная беседа, толпа казаков собралась возле расставленных орудий и с любопытством разглядывала их. Старый канонир стал отгонять их прочь.

Высокий, с окладистой бородой казак Михаил Уржумцев толкнул плечом канонира и крикнул:

— Сторонись, дай я покажу, как палят!..

Он проворно бросился к пушке и быстро повернул ее на город. Часовые накинулись на зачинщика, но бывший тут же хорунжий Наум Невзоров закричал:

— Казаки, пора действовать!

Казаки мигом окружили орудия и повязали часовых. Солдаты тобольской роты со страху разбежались кто куда.

Восставшие повернули пушки на город, приставили к ним своих часовых с зажженными фитилями, грозя в щепы разнести Челябу. Толпа устремилась к воеводскому дому. Два воеводских холопа выскочили из сеней со старыми мушкетами и дали залп, но казаки стащили их за полы с крыльца и обезоружили.

Воевода выглянул в окно и ахнул. От страха он упал на четвереньки и пополз под кровать. Ворвавшиеся в горницу казаки извлекли его оттуда за ноги и потащили в казачью войсковую избу. Он упирался, но казаки били его прикладами и орали:

— Иди, черт, мы еще с тобой поговорим!

Подпоручик Пушкарев, услышав шум и крики у воеводской канцелярии, быстро сообразил, в чем дело. Он бросился на посадье. Угрозами он собрал полсотни штыков и внезапно окружил оставленных у пушек часовых-повстанцев. Овладев орудиями, подпоручик быстро навел их на возмутителей и, выстроив в команду, со штыками наперевес пошел к войсковой избе.

Восставшие заволновались и стали разбегаться. Казак Михаил Уржумцев, размахивая дрекольем, кричал:

— Куда? Куда, остуды, да мы их!..

Но его из-за крика не услыхали. Только хорунжий Невзоров с горсткой вооруженных казаков отчаянно отбивался, но тут к Пушкареву подоспели артиллерийские офицеры и купеческие сынки, и хорунжий Невзоров с горсткой людей, отстреливаясь, отступил.

Воеводу немедленно освободили. Господа офицеры, рекруты, купецкая дружина и даже канцелярские служители весь день ловили по городу и на посадье мятежников. Задержали шестьдесят три повстанца. Казак Михаил Уржумцев, отрезанный от своих, убегал через площадь к воеводскому дому. Он забежал во двор, размахнулся, метил прыгнуть через дубовый тын, но, пораненный и очень ослабевший, не смог. Тогда, не мешкая, он бросился в раскрытые ворота сеновала и стал зарываться в сено. Тут его и схватили.

Вечером того же дня, по указу воеводы, избитого казака Михаила Уржумцева привели в воеводскую канцелярию и подвергли строгому допросу.

Отхаркиваясь кровью, казак на вопросы огрызался. Держал он себя дерзко.

Уржумцев показал, что он, как и все казаки, ненавидит воеводу и прочих душителей народа, что он ходил с челобитьем к батюшке императору Петру Третьему, от которого в Челябу с указом выслано четыре человека. Где эти люди, он, Уржумцев, не знает, а хоть бы и знал — все равно не сказал бы!

Казака снова истязали, но, избитый до полусмерти, он не сдавался.

— Все равно хорунжий Наумка Невзоров с казаками придет! Воеводу, дворян и купцов передушит и Челябой завладеет!..

Как ни мучили казака, он стоял на своем.

После долгих, нестерпимых пыток через семнадцать часов храбрый казак Михаил Уржумцев умер.

3

Бежавший после неудачного восстания хорунжий Наум Невзоров объехал пригородные селения и, поднимая казаков, собрал отряд в сто шестьдесят сабель. В ночь на 7 января Невзоров с отрядом подошел к Че-

лябе. Отличаясь необыкновенной храбростью, он лично подъезжал к самым пикетам, расставленным Пушкаревым. Сажен за десять Невзоров перекликался с караульными:

— Бросай ружья, пускай в город! Идет государева сила в сорок тысяч!..

Караульные отвечали:

— Уходи, стрелять будем!..

Перекликаясь, хорунжий все ближе и ближе пододвигал свой отряд. Заметив это, Пушкарев выставил на валу два орудия и спешно подвел тобольскую роту. Хорунжий Невзоров повернул свой отряд и в ту же ночь отправился в Кундравинскую.

Пугачевский атаман Грязнов принял старого приятеля Невзорова радушно и велел накормить отряд. Дав небольшой отдых людям, он со своими войсками и с отрядом Невзорова под утро двинулся к Челябе.

Утром 8 января пикеты, охранявшие подходы к городу, обнаружили, что Челяба обложена пугачевцами.

Штаб Грязнова поместился в двух верстах от Челябы, в деревне Маткиной.

В тот же день в воеводскую канцелярию явился крестьянин Воскресенского завода Микеров и объявил, что прислан к товарищу исетского воеводы Василию Ивановичу Свербееву от самого Грязнова.

Свербеев тотчас принял посланца. Микеров вручил ему воззвание атамана. Однако товарищ воеводы не удовлетворился этим, велел немедля в своем присутствии обыскать гонца. Мужика разоблачили, сняли с него пимы и в них нашли грамоту ко всем «жителям и всякого звания людям».

Свербеев прочел обе бумаги, поморщился и велел мужика отправить в подвал.

Под вечер Свербееву донесли, что хотя грязновского человека и упрятали, однако посадским людям и прочим известно то, что написано в грамоте пугачевского посланца.

9 января воевода проснулся от пальбы из пушек. Атаман Грязнов, не получив от Свербеева ответа на свое послание, открыл по Челябе огонь из пяти пушек. По пригоркам разъезжали повстанцы, цепочка пеших башкир спускалась в долину. Из Челябы загремело восемнадцать орудий, стремясь отогнать противника...

Четвертый день лежал избитый воевода в постели. Ныли спина, ноги, под глазами темнели синяки. Воево-

да приказал регистратору заготовить пакет с копией манифеста государыни от 29 ноября 1773 года, а когда пакет с печатями был готов, вызвал к себе дворового Перфильку.

— Ну, холоп,— строго, ио вместе с тем и милостиво обратился к иему воевода,— пришла пора, сослужи царице-матушке службу...

От пушечиой пальбы дрожала воеводская изба. Перфилька при каждом залпе крестился. Воевода ие спускал глаз с дворового человека:

— Оседлают тебе доброго коня, отвезешь пакет тому злодею, что из пушек палит.

— Государь ты мой, батюшко,— нежданно-негадаиио бухиулся в иоги Перфилька.— Мие эстоль годков перемахнуло, и конь добрый, почитай, разнесет меия, и очи мои слабые — стеряю пакет... Батюшко мой, ежели послать кого помоложе...

На лбу воеводы иадулись жилы. Ои спустил иоги с постели, строго прикрикиул:

— Наказываю ехать тебе! Никому боле! Слышишь ты, сыч?

Обрядили Перфильку в овчииный тулуп, иапялили иа иоги теплые пимы и усадили иа матерую казачью кобылицу. Солдаты вывели всадника за крепостные ворота, капрал хлопиул кобылицу по крупу, и оиа поиеслась.

Кругом грохотали пушки.

«Осподи, осподи, вот когда коиец!.. Не чаял, ие гадал»,— испуганно думал старик.

Только ои спустился в овраг, как его окружили башкиры.

Старик соскочил и стал обнимать их, лез целоваться:

— Слава те осподи, ие убили! Жив, целехоиек! Веди к вашему енералу!..

Старика привели в деревню Маткииу и доложили атамаиу, что из Челябы прибыл переговорщик.

Атаман сидел в горнице за столом в красиом углу, острижен по-казацки, бородка русая, глаза голубые, веселые, смеются.

— Ну как, старче, добрался? Не растресся дорогой? Может, чарку выпьешь?

Совсем растерялся старик, одиако с дороги хватить бы иеплохо.

— Премного благодарен,— поклонился Перфилька атаману.

Тот мигнул хозяйке, она проворно полезла в ставец, достала оттуда штоф зелья, налила чарку. Огонь побежал по стариковским жилам... «Вот так енерал, сразу видать доброго человека!»— подумал Перфилька и попросил ласково:

— А нельзя ли, хозяюшка, вторую?

Атаман между тем вскрыл пакет, приказал прочитать манифест царицы и густо покраснел:

— Вот как!..

Дело шло к вечеру. Пушки замолчали, пугачевцы отступили на ночлег к деревне Маткиной. Атаман все еще сидел в той самой горнице и диктовал попу Савве ответ челябинскому воеводе. Он был зол, быстр на слова, и гусиное перо в руках писаря трещало от спешки.

Атаман предлагал воеводе сдаться и для этого прислать из Челябы нарочных из знатных персон, обещая отпустить их обратно.

Ответ был готов, вызвали Перфильку. Сытно поевший, захмелевший, он, притопывая, подошел к столу и, заглядывая атаману в глаза, умильно попросил:

— Ваше енеральское степенство, нельзя ли мне, холопу, при ваших солдатах остаться?

— Что, аль хозяйка по душе пришлась?— улыбнулся атаман.

— Всё: и баба и то, что холопьев людями тут почитают! Дозвольте...

— Нет, старче, отвези раньше депешу воеводе...

Усадили Перфильку опять на кобылу и погнали к Челябе. У крепостных ворот из-за оснеженного омета выскочили люди в бараньих шапках и стащили Перфильку с коня:

— Хватит, филин, доехал, а нам конь в самый раз!..

— Злодеи, ворюги!— плевался Перфилька.— Ну и пес с вами, коли так, я все равно пешком к енералу вернусь...

4

Не получив ответа от воеводы, атаман Грязнов с пятью тысячами повстанцев при восьми орудиях повел решительное наступление на Челябу. Пять часов длилась пальба из пушек. Наскоро сколоченные отряды не привыкли к маневрированию. Грязнов на мохнатой

башкирской лошади появлялся в разных местах, подбадривая воинство криками, но полевая артиллерия из Челябы без умолку слала ядра, разгоняя нападающих. Однако за все время у повстанцев были убиты только две лошади, народ же оставался цел и невредим.

Хорунжий Невзоров несколько раз добирался до стен Челябы.

— Сдавайтесь!— кричал он.— А то поздно будет! Царь-батюшка шлет помощь!

Его отгоняли ружейным огнем. Дважды раненный, неустрашимый хорунжий продолжал подъезжать под стены и сманивать солдат.

Рекруты, засевшие у заплота, восхищались хорунжим:

— Храбер, бес!

— Видать, за правду на рожон лезет!

— А то с чего бы!

Подпоручик Пушкарев заметил, что рекруты палили свинцом не по хорунжему, а в небо.

«Добрый солдат, эх, жаль, куда подался!..»— с досадой подумал он о хорунжем, но тут вспомнил присягу и закричал:

— Бей изменника!

Коллежский асессор Свербеев вертелся тут же у градских ворот. Он подошел к подпоручику Пушкареву и, потирая руки, предложил:

— А что, ежели обманом заманут соколика?

— Я человек военный, обманом не действую!— сухо ответил подпоручик, круто повернулся и пошел вдоль заплота.

Свербеев развел руками и с укоризной покачал головой.

— Подумаешь, какие нежности, а ежели вас, господин подпоручик, вздернут на пеньковой веревочке? Ась?..

Он подошел к капралу и уговорил его отворить крепостные ворота.

Когда хорунжий Невзоров вновь подъехал и стал убеждать часовых пропустить его, ворота вдруг заскрипели и распахнулись.

— За мной!— крикнул хорунжий.— Айдате!

И проскочил в крепость...

Но в то же мгновение ворота за конником быстро захлопнулись. Часовые бросились к хорунжему, стащили его с коня и связали...

К вечеру пальба опять смолкла. Пугачевцы отошли от Челябы. Хорунжего Невзорова доставили в острог, и Свербеев наказал учинить над ним строгий розыск. Под жестоким битьем плетьми хорунжий скрипел зубами, разум его помутнел, но он ни единым словом не обмолвился. Так и погиб в застенке.

Ночью 11 января атаману Грязнову донесли, что на Челябу с юга, со степей, двигается отряд генерала Деколонга. К утру пугачевские войска отошли к деревне Шерстневой, где командиры устроили совещание. Осторожный атаман решил до выяснения сил генерала Деколонга отступить к Чебаркульской крепости.

13 января генерал Деколонг с двумя легкими полевыми командами [1] подошел к Челябе. Версты за три от крепости его встретили небольшие конные ватажки башкир. Они быстро передвигались с места на место и недружно отстреливались.

Сибирский губернатор Чичерин уведомил генерала, что в Челябу прибудут орудия, предназначенные для оренбургской линии. Деколонг, не подозревая, что в Челябе осадное положение, проник в город с десятою и одиннадцатою легкими полевыми командами, с тем чтобы присоединить к себе орудия и учинить поиск над мятежниками.

За воротами крепости генерала Деколонга встретил воевода Веревкин. Старики облобызались.

— Сам господь бог послал Челябе спасение,— воскликнул воевода и прослезился.

5

Чебаркульская крепость была занята пугачевскими отрядами 5 января 1774 года. Духовенство и население крепости встретили пугачевцев крестным ходом с поднесением хлеба и соли. 6 января в крепости, на реке Миассе, состоялось крещенское водосвятие. Провозглашали многолетие государю Петру Федоровичу.

В крепости пугачевскими отрядами был забран порох и пять пушек.

В то время когда генерал Деколонг строил проекты дальнейших поисков пугачевцев, атаман Грязнов произвел переформирование отрядов, усиленно обучал их

[1] Полевая команда в те времена состояла из пятисот человек пехоты, конницы и артиллерийских служителей.

пешему и конному строю, стрельбе из ружей и пушек. Конные башкиры то и дело привозили свежие новости из-под Челябы. Окрестные деревни ждут не дождутся повстанцев, а генерал Деколонг засел за челябинские стены и вылазок не делает.

В конце января атаман Грязнов с армией в четыре тысячи человек выступил из Чебаркуля по челябинской дороге.

30 января утром высыпавшие на вал жители Челябы увидели на ближайших холмах скопление конных и пеших пугачевцев. По дорогам, ведущим в Челябу, рыскали небольшие партии и останавливали идущие в город подводы с грузом и провиантом. В город были пропущены только крестьянские подводы, да и те без груза.

На другой день капрал из роты подпоручика Пушкарева поймал из высланного пугачевцами дозора крестьянина Калину Гряткина. Калину тотчас препроводили в воеводскую канцелярию. Допрос учиняли товарищ воеводы Свербеев и сам его превосходительство генерал Деколонг. Глядя волком из-под мохнатых нависших бровей, мужик долго запирался. Только под битьем плетьми он показал, что к Челябе подошел с воинством сам атаман Грязнов, жительство атаман имеет в деревне Першиной.

Штаб атамана Грязнова действительно остановился в шести верстах от Челябы, в деревне Першиной. Каждый день в избу, в которой жил атаман, прибывали крестьянские депутации, просили принять их под его покровительство.

Приходили депутаты из Карачельского форпоста, из села Воскресенского, слободы Куртамышской и прочих окрестных с Челябой селений. Атаман принимал их, сидя в красном углу в чистой горнице. На нем был нарядный суконный бешмет, яловичные сапоги. Русая борода расчесана. Был он доходчив и приятен в разговоре. Депутатов обласкал, допытывался об их жизни и просил выслать на помощь казаков.

Вечером 31 января сотники собрались в избу к атаману для неотложных дел. За окнами на выгоне мела колкая пурга. За стеной, под поветью, ржала кобылица, лошади мерно хрупали овес. На улице под ногами прохожих скрипел снег. В горнице на столе стоял каганец с салом, слабое пламя то вспыхивало, то меркло. Печь была раскалена, в избе стояла духота и спертый от че-

ловеческого дыхания и пота воздух. На полатях, опустив вниз головы, лежали полуголые ребятишки и разглядывали сотников и безногого бомбардира.

Сотники оживленно и горячо спорили с атаманом.

Высокий, осповатый, с серьгой в ухе сотник, покрывая голоса товарищей, кричал:

— Не любо, не могу, как баба, сидеть тут на хуторах! Пусти, атаман, на Челябу!

— Ты погодь, погодь!— перебил Грязнов.— Эва, какие горячие объявились! Перво-наперво округ отрезать надо, чтобы ни туда, ни сюда... Поприедят все, тогда...

— Чего годить?— выкрикнул строптивый сотник, и глаза его засверкали.

— А ежели его самого в поле выманута, не лучше ль будет так?— оглядел атаман сотников.

— Вернее верного!— поддержал бомбардир.— Чего зря силу класть. Надо по крепости сначала ядрышками, огоньком их выкурить да заплоты порушить! Приспеет пора, тогда и на слом! Горячиться тут нечего. Не силой дерутся, а умением,— сказал он строго.— Атаман справедливо говорит, и слушать его надо! Умей быть солдатом! Не правда ли, братцы?

— И то верно!— раздались голоса.

— Правильно, Федор, не гонкой волка бьют — уловкой!

— А вот...

Атаман не докончил: хлопнула дверь, и в сенях завозились.

— Стой, пес, куда прешь? Стой!— закричали часовые.

Шум за дверью усиливался. Атаман и сотники повернули головы.

— Эй, кто там?— крикнул атаман.— Впусти!

Он схватился за рукоять сабли. Дверь распахнулась: в морозном облаке в горницу ввалился человек в зипунишке, повязанный бабьим пуховым платком. Лицо красно от мороза, по краям платка бахрома инея.

— Перфилька!— опознал атаман.— Никак с вестями от воеводы?

Старик потопал пимами, стряхивая с них снег, подул на озябшие руки.

— Чертушки твои не хотели пустить! Заморозили!— пожаловался он.

Сотники разглядывали старика. Он неразборчиво что-то бормотал, поглядывая на атамана; по глазам Грязнов догадался, что Перфилька имеет сообщить важное.

— Сказывай, что препоручил воевода?— настойчиво повторил атаман.

Старик поднял голову, с минуту пристально смотрел на мигающий огонек в каганце, потом сказал деловитым тоном:

— Завтра утром ждите сюда...

— Кого?— в один голос спросили сотники.

— Генерал на Першину попрет! Поняли?

— Не врешь?— Атаман вплотную подошел к старику и впился взглядом в его глаза.

— Истин бог, правда!— улыбнулся Перфилька беззубым ртом и добавил:— Я ему боле не слуга, он мне не хозяин. Не хочу быть холуем. Хочу вольной жизни...

Утром 1 февраля ворота Челябинской крепости распахнулись; из нее с развернутыми знаменами, с барабанным боем выступила армия Деколонга. В бой шли полевые команды и артиллерия. На полдороге к Першиной с холма спускалась башкирская конница. Солдаты встретили ее недружным залпом, однако башкиры повернули и ускакали за холм.

Деколонг установил артиллерию, развернул колонны и повел в гору.

— Погоди, супостаты, я сейчас вас малость попужаю!— вглядываясь вдаль, посулил бомбардир Волков. Он схватился за прицельные стерженьки на лафете и стал наводить орудие.

Набранные из заводских работных пушкари с серьезными лицами внимательно следили за действиями своего командира. Кто-кто, а они хорошо понимали, что пушки не последней силой являются в бою.

— Гляди, братцы!— выкрикнул Волков, проворно приложил тлеющий фитиль к затравке и быстро отскочил. Пушка горласто рявкнула. Облако дыма окутало бомбардира. Когда рассеялся дым, все увидели, как забегали-засуетились в одной из наступающих колонн.

— Ага, угостила матушка!— радостно выкрикнул солдат и скомандовал:— А ну, по местам. Слушать мою команду!

Минуту спустя дали огласились ревом орудий: то там, то здесь падали с грохотом ядра и рвались среди колонн, внося смятение.

Деколонг изумился:

— Мужики, а огнем донимают, будто заправские артиллеристы!

Однако генералу вскоре пришлось еще более изумиться. Навстречу его войскам спускалась крестьянская пехота. Шла она нестройно, но уверенно. Было что-то новое и грозное в тяжелом шаге этой новоявленной пехоты.

Генерал не ожидал такой встречи. С ближайшего холма он наблюдал, как солдаты, приостанавливаясь на ходу, с колена неуверенно и нестройно обстреливали противника.

Ряды сомкнулись, и нельзя было теперь разобрать, где свои и где чужие. Кто-то кричал «ура», но кто — неизвестно.

У Деколонга упало настроение. Он с тревогой поглядывал то на Челябу, то на сани с медвежьей полстью, которые поджидали его за холмом...

Подпоручик Пушкарев со своей ротой обошел левый фланг пугачевцев и бросился к орудиям.

— Ребятушки, не сдавай!— закричал бомбардир и с банником в руке бросился к офицеру. Подпоручик еле увернулся от страшного удара. Началась рукопашная. Бились прикладами, кулаками. Размахивая банником, бомбардир орал: «Бей супостатов! Не щади!» Он молотил направо и налево, и под его сильными ударами ложились головы.

В эти минуты быстрая конница пробивалась вперед. Башкиры, сверкая саблями, поднятыми над головами, с ножами в зубах мчали на солдат.

— Ал-ла! Ал-ла!— разносилось по снежному полю.

С холма Деколонгу было видно, как расстроились солдатские ряды и многие стали убегать к городу.

— Стой! Стой, сукины дети!— закричал генерал, но его голос затерялся среди общего шума битвы.

Подпоручик Пушкарев много раз бросался в атаку, стремясь захватить пугачевскую артиллерию. В пылу рукопашной он взял у одного солдата ружье и устремился к свалке. Остервенелый, не помня себя, он добрался до бомбардира и прикладом саданул его по голове. Старик охнул и тяжко опустился в снег.

— Бей!— кричал подпоручик.

Увидя падение бомбардира, пушкари не струсили, а озлобились сильнее. И прошло немного времени, как они опрокинули роту Пушкарева и погнали ее прочь.

Проворный канонир подскочил к орудию и послал вслед убегающим изрядный заряд картечи...

Бомбардир Волков открыл глаза, и постепенно сознание вернулось к нему. Придя в себя, он огляделся.

— Братцы, целы ли мортирки?— окрикнул бомбардир пушкарей.

— Целы!

— Ну, пошли им бог удачи! Коли целы — все в порядке!— Он, шатаясь, встал и прошел к орудию. Ласково оглядывая его, он прошептал:

— Милая моя, разве ж мы отдадим тебя супостату!..

Пугачевцы дрались свирепо. И хотя к вечеру полевые команды заняли высоту и захватили сотни две пленных крестьян, генерал уныло опустил голову. Ему подали сани, он молча уселся в них, плотно укрывшись медвежьей полстью, и, сопровождаемый конниками, поехал к занятой высоте. Поднявшись на нее с подпоручиком Пушкаревым, он осмотрелся вокруг. До деревни Першиной оставалось рукой подать.

Но на холме у Першиной снова загремели пушки и зашевелилась пехота. Слева по льду неслась башкирская конница.

Подпоручик посмотрел на генерала:

— Прикажите, ваше превосходительство...

Генерал встревожился. Он пристально посмотрел в сторону Першиной:

— На сегодня хватит... Да, да... Поверните к Челябе...

Он, кряхтя, сел в сани и поехал в крепость. Команды с песнями возвращались в город, гоня впереди себя пленных мужиков.

Стан атамана Грязнова как был, так и остался в деревне Першиной. Сидя на лохматой башкирской лошадке, Грязнов наблюдал за отбитой высотой. Он видел, как генерал вылез из саней и подошел к орудиям. Его сопровождали офицеры.

Рядом в новом дубленом полушубке топтался Перфилька.

— Вон наш вояка! Вон он!— кричал старик, указывая Грязнову на далекие фигурки на холме.

Когда генерал сошел с холма, сел в сани и помчался к Челябе, Перфилька засмеялся презрительно:

— Что, струсил?.. Кто теперича подштанники генералу отмывать будет? Чать, все холопы разбежались...

Атаман улыбнулся, повернул коня и поехал вдоль фронта.

Генерал не спал всю ночь. Только сейчас он понял, что Челяба почти окружена. Два последних дня в город не доставляли провианта.

6

Утром генерал вызвал к себе бургомистра Боровинского и Свербеева.

Лицо у генерала от бессонницы посерело, глаза потухли. Он держал в руках письмо.

— Вот!— генерал перевел взгляд на пакет.— Вот что мною получено от полковника господина Бибикова. Тамошняя окрестность и сам Екатеринбург от злодейских покушений весьма опасен...

Бургомистр переглянулся со Свербеевым.

— Позвольте, ваше превосходительство,— деликатно напомнил Свербеев.— Екатеринбург, надо полагать, обеспечен воинской силой. Меж тем Челяба...

— Ах,— перебил Свербеева генерал и поморщился,— знаю, что Челяба... но военная коллегия и главнокомандующий войсками озабочены защитой главнейших екатеринбургских заводов. Да-с, господа...

Бургомистр и товарищ воеводы поникли головами: поняли, что Челяба будет оставлена...

7 февраля отряды Деколонга и полевые команды покинули Челябу. По зимнему сибирскому тракту на многие версты растянулись обозы. Ехали со своим скарбом купцы и прочие жители города. Под охраной выезжали возки Исетской воеводской канцелярии. Впереди всех в колымаге, зарывшись в подушки и шубы, ехал воевода. Поодаль, в колымаге же, ехали воеводские дамы. Тобольская рота подпоручика Пушкарева держалась вблизи воеводских возков. За ротой шло более тысячи «временного казачества», шли рекруты, шли отставные офицеры.

Стояла суровая зима, дороги перемело сугробами, под полозьями скрипел морозный снег. С полуночной стороны дул леденящий ветер. Над обозами кружилось воронье.

Генерал Деколонг ехал, окруженный конниками, впереди своего войска.

Возле форпоста Карачельского, деревень Сухоборской и Зайковой на отступающих напали пугачевские

отряды. Еле отбились. Деколонг, пройдя полдня по тракту, свернул на торные дороги и пошел обходным путем, избегая врага.

Глава четвертая

1

Старший приказчик Кыштымского завода Иван Селезень, пробираясь на лесные курени, наткнулся на ватажку вооруженных башкир и еле унес ноги. Выручил его добрый конь, оставивший ватажку далеко позади. Башкиры осыпали демидовского приказчика стрелами.

Без передышки, единым махом домчал Селезень до Кыштыма и тотчас приказал крепить заплоты, усилил караулы. Ночью на далеком лесном окоеме занялось багровое зарево.По всем приметам, горели демидовские курени. Оно так и вышло. На ранней заре в завод прибежали углежоги и принесли недобрую весть: башкиры великим скопищем напали на курени, развалили поленницы, пожгли их и разогнали жигарей, а куренного повесили на крепком сосновом суку. Башкирский удалец, тот самый, который привел ватажку, распахнул свой бешмет, выдернул из штанов очкур, подъехал на коне к дереву и сделал петлю. Испробовал ее: крепка ли? Потом проворно соскочил с коня и наказал куренному лезть в седло. Куренной охотно вспрыгнул в седло, думал убежать. Да не тут-то было! Башкиры крепко ухватили коня за повод, а старшой проворно накинул петлю демидовскому уставщику и крикнул:

— Ай-яй, давай!..

Конь захрапел, взметнулся прочь, и повисший куренной забился в последней смертной судороге.

— У, нехристи, что творят! Погоди, скличем из Челябы ратных людей, враз угомоним разбойников!— пригрозил Селезень.

Но в полдень примчался новый демидовский приказчик из дальней деревни и со страхом рассказал:

— Поднялась вся Башкир-орда, вместе с пугачами идет на заводы, будет рушить их, а русских гнать из лесов и с земель. А кто не убежит — баб в полон, а мужикам — смерть! И ведет башкир батырь Салават Юлай, безмерной храбрости человек.

От этой вести помрачнел приказчик, погнал гонца

в Челябу. Тем времением иежданно-негадаиио в завод прибыли два всадника. Впереди ехал казак иа чериом коне. Лихо подбочеиившись, он важно восседал в седле. Одет был конник в добрый синий чекмень, в косматой шапке с алым верхом. Позади казака иа соловой кобыле трусил ие то мужик, ие то баба в иагольиом тулупе.

«Это еще кого бог послал в такую годииу?»— недовольно подумал приказчик и с любопытством вгляделся в приезжих.

— Батюшки-светы! — взвыл Селезень: призиал он в удалом казаке беглого Митьку Перстия, а в его сотоварище попа Савву.— Эй, расстрига-поп, зачем пожаловал? А ты, варнак, по каидалам заскучал?

Митька Перстеиь и ухом ие повел, держа путь прямо к домнам, где хлопотали работные.

Чуя беду, приказчик бросился ему иаперерез, хватил вороиого за повод. Что было силы он закричал стражиикам, стоявшим у заплота:

— Что зенки лупите? Залетели вороги в западию! Вяжи их!

Демидовские стражиики бросились к вершиикам.

— Прочь с дороги!— закричал иа иих Перстеиь.— Не видишь, что ли? Мы послаицы царя Петра Федоровича, везем сюда государев маиифест.

— Вишь ты, что за послаицы такие от покойиого царя! Воры это, вяжи их!— заорал приказчик и, схватив Перстня за полу, потащил его с коня.

Сытые мордастые стражиики иакииулись на конников, с боем стащили их, мигом обезоружили.

— Ну-ка, в подтюремок сих послаицев!— иасмехаясь, подбодрил стражииков Селезеиь.— Пусть там очухаются да призиают, кто оии!

Стражники силком увлекли Перстия и отца Савву к подтюремку и втолкиули их в узилище. Загремел запор.

— Вот и все. Отгулялись!— вздохиул поп.— Неужто погибать иам от руки сего супостата?

— Рано запечаловался, поп! Повремеии!— отозвался Перстень.— Ложись на земельку, кулак под голову да подреми.

Оба прилегли рядышком, обогревая друг друга дыхаиием, и, утомлеииые дальией дорогой, забылись в тяжкой полудреме.

Над горами засиием вечер. С низкого пухлого иеба припорашивал мягкий сиежок. Мокрая вороиа переле-

тела через тын, важно шагая, наследила на пороше тонкий узор и, взмахнув крылом, улетела прочь. Ничем не нарушимая тишина простерлась кругом. Только в полутемных каменных цехах, утонувших в сугробах, редко и глухо ударял молот.

И откуда только прознал мастерко Голубок про незваных гостей? Он тихонько пробрался к набатному колоколу и стал изо всей силы звонить. Мгновенно проснулись снежные просторы, отозвались лиловые дали, в литейных всполошились работные.

Из конторы выскочил взбешенный Селезень и накинулся на Голубка:

— Ты что, сдурел, старый филин? Пошто булгачишь народ? Прочь отсюда!

Мастерко, не выпуская веревки, закричал приказчику:

— Беги, ирод, пока можно! Это ты сдурел, демидовский пес, а я ведаю, что роблю!

Лихо сдвинув треух на затылок, дедка сердито пригрозил:

— Пошто царских посланцев похватал и в подтюремок заточил? Аль жизнь надоела?

Он громче ударил в колокол. В ответ на всполох встревоженно загудело эхо в горах, зашумели леса, призывно, по-волчьи, завыли злые тазы — сторожевые псы.

Со всех концов посада бежали работные, их женки, малые любопытные ребята. Кто с ломом, кто с кувалдой, кто с топором и просто с дрекольем — все неслись к площади...

Взглянув на бегущую толпу, приказчик ужаснулся, почуял беду. «Бегут от башкирцев обороняться, а прознают истину, возьмутся и за мою душу»,— с трепетом подумал он, опасливо огляделся и побежал прочь от мастерка.

Сыпался, кружил зыбкой пеленой густой снег. В его мути, как в колдовском тумане, исчез, словно растаял, демидовский приказчик.

А мастерко все звонил, звонил, сзывая народ. Когда на площади затемнело от сермяг, полушубков, азямов, дедка скинул треух, поклонился миру:

— Детушки, прибыли ныне к нам на заводишко царские посланцы и привезли золотую грамоту о великих вольностях, а злыдень Селезень похватал их и заточил. За мной, ребятушки!

Размахивая руками, мастерко увлек толпу к демидовскому тюремку.

— Сбивай замки, детушки! Тут-ко, слышь, царские посланцы!

Под ударами лома гулко загремели сокрушаемые запоры...

2

Ни тьма, ни метелица не остановили народного гнева. Ненависть, которая годами копилась и назревала в людях, теперь с буйной силой вырвалась, загудела пожаром. Всю ночь в Кыштыме бушевали работные и приписные жигари. Посреди двора пылала смоляная бочка, озаряя багровым отсветом лохматые бороды, возбужденные, перемазанные сажей лица горновых, литейщиков, углежогов. Взобравшись на бревнышко, отец Савва при неверном свете пламени неторопливо читал пугачевский манифест. Мужики обнажили головы, в глубоком молчании слушали его.

— Браты, люб ли вам царский манифест? Готовы ли вы служить его величеству государю Петру Федоровичу?— громко спросил Митька Перстень.

Вся площадь дружно отозвалась:

— Любо нам! Рады служить царю-батюшке! Веди нас на Демидова!

Над прудом громадой темнели хозяйские хоромы. Густой мрак окутал их, не светились в этот день огоньки в узких стрельчатых окнах.

— Огня, братцы! На Демида!— одной могучей грудью заревела толпа и, колыхаясь, двинулась к белокаменным палатам.

Впереди всех торопился черномазый жигарь с ломом в руке. Добежав до двери, он хрястнул по ней, открыл дорогу.

— За мной, браты!..

Зазвенели стекла — колом крушили оконницы; с топотом толпа вбежала на широкое каменное крыльцо, под напором ее с грохотом рухнули двери. И разом в палатах засветились огни, стало шумно, буйно.

Лохматый коваль, вбежавший первым в хоромы, изумленно вытаращил глаза.

— Эх, и жизнь тут! Ух, и красота!— замахнулся он и с разбегу саданул молотом по сиявшему зеркалу.

Сверкнули брызги. А коваль, охмелевший от буйства, перебегал с места на место, крушил столы, крытые алым шелком кресла, посудники — все, что подвертывалось под руку. Он бил наотмашь:

— Ой, любо, браты! Ой, гоже!..

— Пошто рушишь, варнак?— налетел на расходившегося коваля мастерко Голубок.— То больших трудов стоит! Уберечь надо: глядишь, теперь сгодится...

Кругом кричала и буйствовала еще не так давно терпеливая и многострадальная заводчина, захмелевшая теперь от сладости мести.

— Уйди!— угрожая Голубку, закричал коваль.— Уйди, пока сердце не зашлось! Дай отвести душу. Пусть тут хошь алмазно все, распотрошу вконец! Все тут нашей кровью и муками добыто...

Дедко поймал взгляд работного, махнул рукой и поторопился поскорее убраться прочь. Ненасытная ярость горела в глазах коваля — видать, круто доводилось ему от Демидова. А кругом него неистовствовали те, кто выплавлял чугун, отливал ядра, пушки, рубил лес, жег уголь, копал руду, плотничал,— вся заводчина носилась тут и крушила что попадалось под руку. Рвали ковры, вдребезги били хрустальные люстры, дробили рамы, пороли перины, подушки — из распахнутых окон пускали лебяжий пух.

Били, крушили, топтали, приговаривали:

— Ни нам, ни Демидову!.. Ой, жги!

Яркий пламень осветил хоромы, потянуло густым едким дымом и разом занялось. Словно кто могучий одним широким махом развернул в небе алый полог: огненные вихри, осыпая людей искрами, рванулись в кромешную тьму. Кругом посветлело. Веселое пламя заплясало по кровле. Из мрака выступили заплоты, сторожевая башня над заводскими воротами, прикыштымские леса и горные громады.

А по задворью, по сараям, по тайным закуткам шарили неугомонные люди, разбитные заводские женки: искали злыдня-приказчика, но Селезня и след простыл.

Хмурые плотинные мужики углядели в укромной светелке золотоголовую Юльку, схватили ее и выволокли на площадь. Сотни рук потянулись к девке, рвали платье. Яростно закричали женки:

— На тын гулящую! На слезах наших раздобрела, демидовская кобылица!

— Катеринку загубила!

— Мы пот проливали, ребятенки без молока мерли, груди у нас от голодухи отощали, а она в пуховиках отсыпалась!

Юлька вскрикнула, закрыла лицо руками:

— Иезус-Мария...

Куда она ни устремляла взор, всюду ее встречали колючие, злые глаза, гневные лица. Живое человеческое кольцо все теснее сжималось вокруг. Простоволосая, оборванная, она, шатаясь, шла, куда ее вели.

— На ворота ее!— голосили женки.

В багровом отсвете пожара четко темнели заводские ворота. Кто-то расторопный уже ладил петлю. Толстая веревка, как змея, кольцом извивалась под ветром.

— Иди, иди!..— все сильнее толкали Юльку.— Иди, краля!

Вот и ворота. Бледная, истерзанная, молодка упала на колени, залилась слезами.

— Давай, что ли!— закричал невидимый человек с вышки, и тут снова десятки рук потянулись к Юльке...

Но в ту минуту, когда она в ожидании конца закрыла глаза, толпа покорно раздалась в стороны: под воротами вырос коренастый Перстень.

— Стой! Не трожь, братцы, то моя добыча!— заслонил он грудью подружку Демидова.

— Молись, блудница!— резко крикнул кто-то в толпе.

— Не сметь! Не сметь!— закричала она и вцепилась в бороду Перстню.— Одумайтесь, что вы делаете? Наедет пан и с вас живых кожу сдерет!

— Ну, на это руки коротки!— перебил ее дерзкий голос.— Ишь вцепилась, как оса, в волосы!

— Хамы! Хамы!— закричала Юлька, рванулась, но твердая рука Перстня удержала ее.

— Ты загубила мою жизнь, искалечила мою невесту. Ты как дурная трава среди поля. Пора!— Он схватил полячку за руку, поднял с колен и потащил за собой.

Работные расступились, дали им дорогу к яру. Кому, как не ему, Перстню, казнить поганую девку за поруганную любовь?

3

Стоя на крылечке храма, отец Савва приводил работных к присяге. В длинных жилистых руках он держал образок и говорил каждому подходившему:

— Клянись именем господа бога верно и по гроб жизни служить государю нашему, всероссийскому императору Петру Федоровичу!

Подходивший вторил скороговоркой словам попа, трижды крестился и прикладывался к темному лику Спаса.

Никто сгоряча не заметил: в суматохе поп не разглядел и держал Спаса вниз головой. Только мастерко Голубок, положив истово крестное знамение, ахнул:

— Владычица святая, да как же так?

Придвинувшись к отцу Савве, мастерко дернул его за подрясник.

— Батюшка, гляди, никак господь бог перекувырнулся!— прошептал он попику.

Савва, не смущаясь, перевернул образ.

— При такой кутерьме и у господа голова закружится,— пробасил поп и позвал:— Подходи к присяге!

Принявшие присягу шли к Перстню. Годных и сильных мужиков он верстал в казачье войско. Каждому поверстанному давал кому ружье, кому самопал, кому пику.

В заводской конторе вскрыли сундуки, выгребли рублевики и сдали на общую пользу. Долговые книги свалили на площади и сожгли при всем народе.

— Отныне расквитались с Демидом. Был груз тяжкий, немало через него пролито крови под плетью, ныне только угольки и пепел!— сказал Перстень.

В горах и на дорогах легли глубокие снега, завыли метели, но край, как никогда, ожил. По ночам в небе вставали зарева пожарищ, горели заводы и русские селения. По дорогам рыскали башкирские конники; настигая возмутителей, проходили екатерининские солдаты, давая битвы полковникам Пугачева. Кыштым лежал среди гор, с минуты на минуту готовился к бою.

В эту пору в Кыштым прискакал гонец от самого царя Петра Федоровича. Под ним гарцевал добрый белый конь. На всаднике надет красный казацкий чекмень и высокая казацкая же шапка. Но что за диво, лицо прибывшего завешено сеткой из конского волоса. За плечами конника ружье, за поясом пистолеты, в руках плеть. Осанка у всадника горделивая.

Митька тревожно разглядывал гонца.

— Кто же ты в самом деле?— пытливо спросил он.— Николи ранее тебя на заводе у нас не видели.

И лицо ты свое укрыл. Чем докажешь, что ты и есть посланец от государя Петра Федоровича?

Гонец не обиделся.

— Эх, Митрий, Митрий, трудно меня ныне узнать!— послышался из-под сетки знакомый голос.— Состарился я, да к этому царицыны слуги-дворяне да тюремщики вот что со мной сробили!— Он легким движением поднял сетку.

У человека оказались рваные ноздри, но глаза и лицо знакомые.

«Вроде как бы с каторги сбег!— подумал Перстень и силился вспомнить:— Где же я его видел?»

Так и не мог узнать он конника.

— Был я малость после шуваловского завода на послуге у Демидова, да сбег после того, как Прокофий с дядькой-паралитиком травили людей...

— Хлопуша!— вдруг радостно вскрикнул Перстень.

— Он самый! А что послан сюда из Берды, есть грамотка...

Он соскочил с коня и обнялся с Митькой.

— Ну, милый человек, государю пушки надобны. Кто у тебя может их отлить? И сколько можно наготовить припасов к ним — ядер?

— Будут и пушки и ядра! Спасибо, что примчал, иаучишь нас уму-разуму!

— Веди на завод, показывай!— попросил Хлопуша и, сопровождаемый толпой работных, пошел к литейным...

Тут и вспомнили о старом умельце-пушкаре. Призвали Голубка в контору и предложили лить пушки.

— Дождался-таки времечка! Во всей силе, братцы, покажу вам мастерство. Порадую царя-батюшку!— обрадовался старик.

Мастерку дали подсобных, и он с усердием принялся за работу...

Хлопуша между тем не дремал, он обучал поверстанных в казаки строю, стрельбе и рукопашному бою. Проворен был и не знал усталости этот широкоплечий человек с проседью в темной бороде. Только поздно иочью, расставив охрану на дорогах, ведущих к заводу, успокаивался неугомонный Хлопуша.

В один из хмурых дней из белесой мглы появилась башкирская конница. Она на рысях подошла к заводу, старший постучал в ворота. Навстречу им из ворот на белом коне выехал Хлопуша.

— Кто посмел тревожить государев завод?— сурово спросил он.

Башкиры закричали по-своему. Хлопуша спокойно выслушал, улыбиулся и сказал в ответ по-башкирски:

— Вы, ребятушки, ие пугайте сабельками своих! Ныие не Демидовы хозяева иа заводе! Завод льет пушки и ядра царю Петру Федоровичу да его младшему брату Салавату! Гляди, ие трогать заводчиины и крестьяи, ие то государь шибко осерчает!

Башкиры присмирели. Старший из иих вдруг улыбнулся:

— Ой, хорошо делаешь! Шибко хорошо! Пушечка надо, скоро иадо!

— Ну вот видишь!— согласился Хлопуша.— Милости просим иа отдых.

Коиники въехали иа обшириый заводской двор, передохиули и без шума поскакали по своим делам...

Незаметио подоспела пора, и мастерко Голубок отлил две пушки. Их отшлифовали, обладили и установили на дубовые лафеты. Хотели сразу отправить, ио дедка воспротивился:

— Нет, милые, иадо ране опробовать, а то вдруг да порвет ядром, что тогда?

— Старик говорит верио!— согласился Хлопуша и предложил Перстню:— Айда поглядим иа пушкарское умельство!

Пушки вытащили иа пригорок, а в лощине за версту устаиовили щит из бревен. Мастерко сам пристроил пушки к стрельбе, зарядил их.

Кругом иа пригорке, иа заводской башенке и у ворот толпились заводские, криками подбодряли старика:

— Пали-громи, пушкарь!

Голубок зажег фитиль. В этот миг Хлопуша махнул шапкой...

Грянул выстрел. По горам покатился гул. Описав кривую, ядро с грохотом ударило в щит и разиесло его в щепы. По горам, по долам раздалось раскатистое «ура». Перстень подбежал к мастерку, обнял его и расцеловал.

— Ну и ведуи! Ну и умелец!— похвалил ои Голубка.

— Да, брат, руки у тебя золотые!— не сдержался, сказал Хлопуша. Ои порылся в кисете, добыл серебряиый рубль и протянул старику:— Бери за службу вериую!

Голубок подбросил рублевик на ладошке.

— Целковый — деньги не малые! Но не дорога копейка, дорога честь!— весело отозвался он.— Скажи царю-батюшке Петру Федоровичу, что мы, работные люди, с охоткой робим для того, чтобы скорее порушить дворян да заводчиков! За нами дело не станет!

Старик обрадованно суетился у пушек и все еще не мог угомониться.

— Вот когда подошел счастливый час. Ах, пушечки, мои милушечки!— ласково гладил холодный металл дула мастерко.— И-их, голубушки, свое показали-таки!

Пушки погрузили на сани и под охраной отправили на юг, к далекой Берде. Собрался в дорогу и Хлопуша. Допоздна они сидели с Перстнем в светелке, и пугачевский полковник учил заводского:

— Ты зри в оба! Кругом кипит кипнем. Надо до последнего держать завод в своих руках. Лей пушки, ядра! Без них не побить врага. Слушай Голубка, добрый пушкарь! Вижу, не подведет! Управится тут с делами, присылай его на Авзянский завод.

Утром на зорьке Перстень провожал к лесной дороге Хлопушу и все изумлялся:

— Да как же ты один не боишься! Кругом враги!

— Волков бояться — в лес не ходить! Леса да глухие углы я получше их знаю! Не поймать воробью сокола!

Они обнялись и расстались. Долго-долго стоял на перепутье Перстень, глядя в ту сторону, где постепенно исчезала фигура конника...

Глава пятая

1

Легко одетый приказчик Кыштымского завода Иван Селезень пешим ходом добрался до глухой лесной деревушки и только тут перевел дух. Он, озираясь, вошел в первую избу, со страхом огляделся и устало опустился на скамью. Хозяйка, испитая, больная женщина, с изумлением и тревогой разглядывала незваного гостя.

— Где твой хозяин?— хрипло выдавил Селезень.

— Ой, милый, без хозяина третий год маюсь!— унылым голосом отозвалась она.— Сгиб мой мужик на демидовских куренях, засек злодей-приказчик! Оставил

мне четырех сирот! Эва, гляди, мои бесприютные пташки!— скорбными глазами вдова показала на печку.

Беглец вздрогнул и растерянно сказал:

— Экое горе! Все бывало, но, может, и напраслину на Демидова возвели?

— То не напраслина, а горькая правда!— упорствовала на своем женщина и пытливо взглянула на гостя:— А ты кто такой будешь?

— Ведомо кто, заводской служитель. Ехал, да разбойники в лесу на перепутье напали. Коня отняли, хотели и душу вытряхнуть, да видят — беден человек, отпустили! Еле доплелся. Что только перед хозяевами говорить буду, не знаю. Тоже, поди, засекут!— пожаловался он.

— Кто знает, разбойники ли от тебя коня отобрали?— усомнилась вдова.— Ныне мужики господ безжалостно потрошат за старые обиды!

По сердцу Селезня пошел холодок. Отнекиваясь, он сказал крестьянке:

— Да нешто я господин какой? Я сам в господской неволе хожу. Что прикажут, то и роблю. Не исполнишь — башка долой!

Хозяйка осмелела и с ненавистью вымолвила:

— Но и то попомни: не только господин беды творит, а псы его приказчики похлеще мужицкое тело терзают. Эх, и злыдни они!

Селезень втянул голову в плечи, разговор принимал неприятный оборот.

«Чего доброго, побежит на село и мужиков наведет! Опознают, и быть тогда беде!»— со страхом подумал он.

Приказчик притих, тяжело опустил голову. После большой проминки хотелось поесть и отдохнуть.

— Тетушка, покорми меня,— умильно попросил он женщину.

— Рада бы, милый, да нечем. Коровенки нет, животинки во дворе никакой. Ребятишки — и те на постных щах маются!— пожаловалась вдова.

— Ну хоть кусок хлебушка дай!— не отставал Селезень, жалобно поглядывая на вдову.

Женщина с минуту поколебалась, сдалась на просьбу и полезла в сундук. Она извлекла из рядна коврижку черствого хлеба и отрезала скудный ломоть. Нацедила квасу и поставила перед гостем.

— Ты уж прости, хлебец у нас напополам с толченой корой,— пожаловалась она.— Пухнут от него мои ребятишки.

— Да, хлеб, вижу, тяжкий. Худо живешь!— нахмурился Селезень.

— Ой, как худо, милый! Так худо, что и умереть легче. Как только и держимся мы, один бог знает. Хоть бы до лучшего дотянуть. Может, теперь сиротинам да вдовам полегчает...

— А отчего же?— поднял голову приказчик.

Вдова огляделась и таинственно прошептала:

— Сказывают, будто сам батюшка государь идет на Камень расправу с заводчиками чинить.

Селезень еле сдержался. Он молча, с потемневшими глазами, как голодный волк, уминал хлеб, запивая квасом. Тревожные мысли обуревали его.

«Как быть! Поди, и на самом деле по дорогам бродят пугачевские ватаги. Попади им на глаза — конец!»— со страхом подумал он.

Демидовский управитель решил до ночи отсидеться в избе.

— Ты, баба, не бойся!— обратился он к хозяйке подобревшим голосом.— Я человек безобидный. Хоть и не богат, но при случае отслужу тебе за твое добро! Пусти меня на печку малость отлежаться!

— Мне не жалко, забирайся!— согласилась вдова.

Он поклонился ей:

— За хлеб-соль благодарствую! Бабонька, будь столь милостива, никому не говори, что у тебя постоялец. Боюсь разбойников!

— Да ты не бойся. Христос с тобой! Они, поди, и сами-то рады добыче. Взяли свое, и давай бог ноги!

Селезень залез на печь и улегся под рваный тулуп. Однако от волнения он не мог уснуть. Ворочался, думал. А думки были, как добраться до Нижнего Тагила.

— Хозяюшка!— ласково позвал он.

— Аюшки?— отозвалась вдова.

Приказчик пронзительно посмотрел на женщину и зашептал ей:

— Помоги, родная. Надо мне коньков в дорогу. Шибко хорошо уплачу за них. Где бы такого мужика сговорить?

Женщина задумалась, отошла к столу, села на скамью.

— Уж не знаю, как и быть!— после раздумья обронила она.— Мужики наши не дадут коней, да и разбрелись кто куда: одни под Катеринбурх, а кто под Челябу...

— А нет ли на селе мужичка покрепче, не шатучего?— спросил Селезень.

— А то как же, на каждом болоте есть свой зверь! Живет тут один, редкий жаднюга. Все в богатеи выбивается, Сидорка Копеечкин! За большие деньги он не только коня, но и родную бабу продаст. Жадюга, ох, и жадюга!..

Беглец повеселел.

— А как бы того Сидорку Копеечкина привести ко мне! Да неприметно для других!— искательно попросил Селезень и прикинулся овечкой:— Бабонька добрая моя, выручай. Век не забуду! Как только дела проверну в городе и повертаюсь, так добром тебе отслужу!

— Все вы добры, пока в беде!— недоверчиво сказала женщина и снова задумалась.— Уж не знаю, как и быть. Кто ты такой, не ведаю. А вдруг ворог наш?

— Что ты, матушка! Как тебе не совестно такое на меня клепать!— Он сполз с печки и вытащил из-за ворота рубашки крест.— Гляди, сердечная, христианин я и богом клянусь, что не супостат я крестьянский...

Он подошел к вдове и тихо сказал:

— Так и быть, по чистоте тебе одной признаюсь, кто я такой. Только никому ни словечка! Послан я государем Петром Федоровичем на один заводишко пушки добыть...

— Ох!— радостно схватилась рукой за сердце простодушная женщина.— Я так и чуяла, не прост ты человек! Для такого и порадеть не грех. А скажи-ка по совести, присоветуй. Наши бабы намыслили пойти на демидовские амбары за зерном. Тут на меленке мешки залежались, боятся вывозку делать. Да и приказчики разбежались. Ежели мы из тех амбаров для сирот позаимствуем, осерчает ли царь-батюшка?

— Что ты, баба!— принужденно весело отозвался Селезень.— Да берите, сколько душеньке угодно, на то и хлеб, чтобы его есть...

— Ну и обрадовал ты меня!— заулыбалась вдова.— Думала, уж совсем умирать мы будем с голодухи. Погляди, какие у меня живчики! Холодные, голодные, и хошь бы один на погост поспешил! Нет, не мрут. Вот

она, моя доля какая, прибрал бы господь, легче было бы сердцу!

Вдова засуетилась, накинула ветхую одежонку и вышла из избы. На пороге она обернулась и тихо обронила гостю:

— Ты не бойся, не выдам!

На самом деле, она привела кряжистого мужика с густой длинной бородищей. Лукавые глаза пройдохи блеснули, завидев Селезня. Он кивнул вдове:

— Ты на чуток выйди, нам потолковать по-хозяйски надо.

Хозяйка покорно вышла. Мужик заискивающе улыбнулся Селезню:

— Ты меня не упомнил, Иван Андреевич, а я тебя хорошо знаю! Не раз в Кыштыме бывал. Хозяин ты смелый, хотя и утеснительный!

— Молчи, черт!— озлобился вдруг Селезень.— Предать меня хочешь?

— Что ты, батюшка!— ухмыльнулся в бороду мужик.— Ворон ворону глаз не клюет! Сидор Копеечкин не такой человек, чтобы зазря сгубить человека. Верю я, батюшка, что богатеев не так легко стряхнуть... Чем могу послужить тебе, Иван Андреевич?

— Кони есть?

— Не то чтобы добрые, но прыткие!— ответил мужик.

— Продай их мне!— предложил приказчик.

— Что ж, можно и продать, только цена ныне высокая на коней!— почуяв добычу, ответил Копеечкин.

— Сколько хочешь?

— За пару тысячу рублев!— без зазрения совести отрезал мужик.

У Селезня глаза на лоб полезли: никак не ожидал он такой открытой наглости, редкого вымогательства.

— Ты с ума сошел!— сердито сорвалось у него с языка.

Копеечкин не обиделся и деловито объяснил:

— Суди сам, не в конях сейчас дело. Все в жизни человеческой! Что кому дороже? Одному деньги, а другому жизнь!

Он угодил в больное место. Селезень покорно опустил голову и глухо выдавил:

— Согласен. Но только коней приму, а уплачу за них в Нижнем Тагиле!

— Обманешь!— жадно блеснул глазами мужик.

— Слово мое верное!— твердо посулил Селезень.— Никогда не врал и врать не собираюсь. Твое дело: хочешь верь, хочешь нет! И без тебя обойдусь!

— Пёхом попрешь?

— Уж как доведется, свет не без добрых людей. Может, и довезут!— загадочно ответил приказчик.

Копеечкин в досаде почесал затылок:

— Эх, как и быть, не знаю...

— Ты хозяин своим коням, ты и решай!— сдержанно-равнодушно ответил беглец и отвернулся к окну. У ворот, под ветром, в стареньком шушуне стояла вдова, глаза ее слезились. Жалко выглядела ее истомленная, сутулая фигура.

«Горе да бедность не красят человека!— подумал Селезень и вдруг обозлился на крестьянку.— Сама — одна убогость, а на господское добро зарится! Ух, черт!»

Он сжал кулаки, шумно вздохнул:

— Никак темнеет. Ну что ж, Сидорка, выходит, не сладили!

— Будь по-твоему!— решил неожиданно мужик.— Только перед образом поклянись!

— Изволь!— охотно согласился Селезень, стал перед линючей иконой и трижды перекрестился, поклялся:— Лопни мои глаза, если не по справедливости разберусь!

— Путь дальний!— вымолвил мужик.

— Но и деньги не малые!

— Это верно,— согласился Копеечкин.— Едем! Сейчас совсем стемнеет, и коней подгоню!— Он вышел из избы.

С посиневшим от холода лицом вернулась вдова. Она зябко дула в ладошки:

— Ох, и студено ныне!

— Ветер сиверко идет, вот и студено. Хмурится наш Камень!— степенно ответил Селезень.— Ну, выбываю. Благодарю, милая. Век не забуду. Вскоре разочтемся.

— Спасибо, родимый. Мы теперь и так не сгибнем. Бабьей артелью на демидовскую меленку пойдем!

— Айдате! Бери зерно, все ваше!— весело сказал Селезень, и у женщины радостно заблестели глаза...

Спустилась ночь, скрипя полозьями, подкатили сани. Селезень поспешно вышел из хатенки.

— Я и тулуп захватил,— обрадовал его мужик.— Ехать нам и ехать!

Над полем и лесом простиралась тьма. Хмуро шумел лес. Демидовский прислужник тщательно завернулся в тулуп и завалился в солому.

— Пошли, веселые!— свистнул кнутом ямщик, и кони побежали.

Селезень то дремал, то просыпался. На дороге было тихо, и он тревожно думал: «Только бы до Екатеринбурга проскочить, там спокойнее будет! Там крепость и солдаты есть!»

Глухими дорогами, лесами Копеечкин увозил Селезня от беды. Из-за крутого шихана выкатился круглый месяц и все кругом позеленил своим мутным светом...

2

Между тем и в окрестностях Екатеринбурга уже бушевало пламя крестьянского восстания. К северу от города действовали отряды наиболее энергичного пугачевского полковника Белобородова. Окрестное заводское население и приписные крестьяне с охотой бежали к нему. В селениях оставались лишь престарелые и дети. Положение Екатеринбурга, оказавшегося вдруг в центре восстания горнозаводских крестьян, было плачевное.

Полковник Василий Бибиков, главный распорядитель обороны города, жаловался генералу Чичерину:

«Здесь в городе денежной казны имеется такая сумма, что с великим только сожалением сказать о том можно. Город вовсе не укреплен, и воинской команды в нем не более ста человек, рекрутов же хотя считается до семисот, но многие распущены по домам, да хотя бы и все были налицо, токмо пальбе нисколько не учены...»

Но и сам Бибиков только и думал о том, как бы поприличнее улизнуть в более безопасные места.

Белобородов же действовал умело. Во всех его распоряжениях чувствовалась твердая рука и воинский дух. Он постепенно занимал завод за заводом, усиливался людьми и вооружением. Население везде радостно встречало его отряды, охотно снабжало продовольствием. Там, где проходили войска Белобородова, они вылавливали ненавистных заводских правителей, приказчиков и других господских угодников и вешали их.

— Вишь, что робится!— загадочно смотрел на Селезня ямщик.— В большой риск я пустился. Выходит,

обмишурился! Мне две взять с тебя, а я по доброте сердца моего согласился на тысячу рублев! — сказал он, и глаза его воровски забегали.

Это вселяло тревогу. «Продаст при случае, нуда!» — с ужасом думал Селезень, холодея при мысли о предательстве. Но тут же он успокаивал себя: «Нет, невыгодно ему меня выдавать. Пугачевский полковник ничего не даст, да еще коней отберет!»

Скрывая свою внутреннюю тревогу, он строго сказал Копеечкину:

— Ну что ж, заверни к сатанинным детям и продай христианскую душу! Я так мыслю, обоих на релю[1] вознесут! Скажу, что и ты демидовский служка. Ась? — прищурив глаза, нахально спросил Селезень.

— Тьфу, черт, оборотнсь! — покачал головой Копеечкин...

Темной ночью ельниками, минуя заставы повстанцев, им удалось все же проскочить в город и устроиться на постоялом дворе. Совсем неузнаваем стал Екатеринбург. Приказчик долго ходил по улицам, присматривался и удивлялся невиданным доселе порядкам.

В городе царила паника, гарнизонная команда была до того распущена, что только для видимости несла свои воинские обязанности. Солдаты или спали, или бражничали. Рассказывали, что однажды ночью дежурный офицер, проверяя посты, забрал все ружья у солдат, несших караул при доме главного горного начальника. Караульщики преспокойно спали, и можно было все вывезти.

Горные власти потихоньку сбежали из Екатеринбурга, и пугачевские войска постепенно окружали город. Авангарды Белобородова разместились по селам и деревням, расположенным неподалеку от Екатеринбурга. Вскоре должно было прекратиться всякое сообщение с городом. Так как повстанцы не допускали туда обозов с продовольствием, цены на хлеб быстро возросли. Прицениваясь на базарах к зерну, Селезень ахал: бравшие ранее по восьми копеек за пуд купцы теперь требовали по семнадцать копеек и более...

«Ох, плохо, весьма плохо! — тревожился приказчик. — Как я только проскочу в Нижний Тагил!»

Обеспокоенный увиденным и услышанным, угрюмый Селезень поздно вечером вернулся на постоялый двор.

[1] Виселицу.

За окном синели ранние сумерки, кричало воронье, примащиваясь в соседней роще на ночлег. В большой темной избе за тесовым столом сидели ночлежники, потные бородатые мужики, и играли в зернь[1]. Слабое пламя лучины едва освещало возбужденные лица игроков, среди которых сидел брюхатый с толстым багровым носом шатучий монах. Широкоплечий, здоровенный, он весь был покрыт буйными волосами. Жесткие пучки их лезли из ноздрей, из ушей, покрывали толстые проворные пальцы, рыжим пламенем бушевали в огромной курчавой бороде. Из-под нависших косматых бровей инока лукаво глядели шустрые глаза. Подле него на столе стояла жестяная кружка для сбора пожертвований. Монах опускал в нее выигранные медяки и серебрухи. Потряхивая скарбницей, он басом провозглашал:

— Чада мои милые, кто еще?

Везло шатучему! Рядышком пристроился Сидорка Копеечкин и алчно смотрел на проворные руки монаха. Он восхищался проворством инока:

— А ну-ка, отец, кинь еще косточку!

Селезень неслышно подошел к столу и подсел к игрокам. Мужики хмуро выкладывали на стол медяки. По лицу Копеечкина растекался пот, борода была взъерошена.

Монах загремел костяшками, ухмыльнулся в бороду и снова провозгласил:

— Во имя отца и сына и духа святого! Начнем, милостивцы, новый кон!

Он невидимо ловко перебрасывал кости. Мужики-ротозеи очарованно смотрели на мелькавшие волосатые руки и не замечали шулерства. Копеечкин то проигрывал, то внезапно и ему перепадал медяк.

Пламя в светце потрескивало. На крепостной каланче пробили полночь, в избе стало душно, парно. Мужики, злые, с опустошенными карманами, один за другим покидали застолицу.

— Куда, милые?— с улыбочкой спросил инок.— Давай еще!

— Все подчистую!— признался проигравший и тут же в доказательство выворотил карман...

Селезень забрался на полати и вскоре заснул под завывание метели за окном.

---

[1] Игра в кости или в зерна.

Утром хозяин постоялого двора, схватившись за голову, заголосил на всю избу:

— Ой, загубили! Ой, зарезали!

Монах и мужики бросились к сараям. Ни гнедого, ни серого в хлеву не оказалось.

— Укатил черномазый дьявол!— выругался инок, и вдруг лицо его обмякло. Он с завистью подумал о Селезне: «Вот провора мужик!»

3

Иван Селезень в полночь примчал к Нижне-Тагильскому заводу. Падал густой мокрый снег, и все кругом потонуло в глубоком мраке. Где-то из-за снежного сугроба мелькнул и погас одинокий огонек. Кони испуганно всхрапнули и разом остановились перед невидимой преградой. Из тьмы внезапно вышли два здоровенных мужика в собачьих дохах, с рогатинами в руках.

— Стой, куда прешь, сатана!— раздались сильные и злые голоса.

— В Тагил тороплюсь! Дорогу!— рассерженно прикрикнул на них продрогший приказчик.

— Кто такой? Зачем?— грубо спросили мужики.

Селезень вдруг испугался. «А кто они сами? Ишь как неприветливы»,— подумал он и сразу попытался схитрить:

— По всему догадываюсь, кому вы привержены...

Мужики угрюмо молчали. Селезень беспокойно завертелся в санях и многозначительно продолжал:

— Посланец царев, вот кто! Еду принимать завод!

— Эх, вона что! Сам на рожон припер, сатана!— удивленно выругались охранники, и не успел приказчик опомниться, как его живо извлекли из саней и повалили в сугроб.

— Братцы, братцы!— завопил Селезень.— Да я пошутковал малость!

— Знаем таких!— озлобленно закричал бородатый страж.— Ну-ка, Гришка, вытряхивай его!

Они привычными руками быстро стащили с него тулуп, поддевку и заголили спину.

— Эй, ребята, сюда! Вора пымали!

Из тьмы вынырнули еще три егеря с плетями и начали полосовать Селезня.

— Ой, милые, да вы сдурели! Своего бьете!— заго-

лосил приказчик.— Да я с Кыштымского завода! Селезень я!

— Будет врать! Бей его, Гришка, и за селезня и за уточку!— подзадоривал егерей бородатый хват.

— Братцы, братцы, да из вас душу за меня вытряхнут! Остановись, ироды!

Но это только подлило масла в огонь. Молодцы изо всей силы полосовали Селезня, он не сдержался и от жгучей боли завопил:

— Ратуй-те-е!..

Круто досталось бы кыштымскому приказчику, да спасло его неожиданное появление управителя Нижне-Тагильского завода Якова Широкова. Он совершал объезд караулов, выставленных вокруг завода, и услышал крики.

«Ну, слава тебе господи, одного вора, видать, зацапали!»— обрадованно подумал он и с фонарем в руке потрусил на кобыленке на отчаянный крик.

Вот и рогатки. На ледяной наст повержен полуобнаженный пленник, и мужики истово полосуют его плетями.

— Постой, ребята!— глухо приказал Яков и, приблизившись к истязуемому, осветил лицо его фонарем.— С нами крестная сила!— вылупив в изумлении глаза, выкрикнул он.— Иван Селезень! Да как ты попал сюда?

Приказчик вырвался из рук истязателей и бросился к Широкову.

— Гляди, что твои головорезы робят! Своих бьют!— пожаловался он.

— Да, то не к месту! Зря поторопились!— смущенно потупил глаза управитель.— И какое лихо понесло тебя в темень! А ну, живо облачить гостя!

Недовольные, хмурые егеря неторопливо облачили Селезня.

— Эх ты, напасть какая!— почесал затылок бородач.— Что бы толком оповестить, а то режет — посланец государя!

Вся спина Селезня ныла от боли.

— Погоди, ироды, я еще напомню вам эту обиду!— пригрозил приказчик и сказал с едкой насмешкой Широкову:— Ничего у тебя встречают добрых людей!

Управитель обиженно промолчал. Сердито посапывая, Селезень завалился в пошевни и крикнул Широкову:

— Ну, Яков, веди к теплу да к огоньку. Изголодался и намаялся я изрядио!

Снdя в большой светлой комиате, приказчик морщился от болн, но от стыда молчал. Между тем хозяии распоряжался по дому:

— Эй, стряпухи, давай иа стол жириые щи, да пороси, да штоф! Да все чтобы погорячей!

Тяжелой походкой ои вошел в горницу.

— Выпьешь чарку?— обратился ои к Селезню.

— С дороги в самый раз!— обрадовался приказчик.

Оин сели за обильиый стол, закуснли. Наливая Селезню чару, Широков вымолвил:

— Эстафета иыие от хозяиииа дошла к иам. Принес ее одии мужик хитрющий, добрался-таки, подлец, через вражьн заставы.

— Ох, боюсь, худо мие от господииа будет!— со вздохом сказал Селезеиь.

— Известио, не похвалит Никита Акиифиевич,— согласился управитель.— Но и то иадо по совести рассудить, разве мы виноваты в этом великом иесчастии? Да ты послушай грамоту от господина!

Широков полез в ящик, добыл измятый пакет и водрузил очки иа длииный иос.

Нникита Акиифиевнч писал:

«Выжидаем от нижнетагильской конторы по случаю иесчастливых приключеиий доказать особливо свою добрую услугу. Ждем, что заведениое иами будет в точиости исполняться. Заводской конторе надлежит доставить к пристани железо и подготовить караван к сплаву, также обеспечить людей продовольствием, дабы они оставались при возможных своих спокойствиях».

— Вот что иаказывает Демидов!— Управитель поверх очков посмотрел иа Селезия.— А того ие ведает ои, у кого пристаиь. На Утку с боем идет Белобородов, злодей иаш! И как ее оборонять, один бог ведает!

— На Утку?— перехватило дыхаиие у приказчика.— Вон куда хватили! Во что бы ии стало оборонять иадо, а то погибнет все!— горячо заговорил Селезеиь.— Читай дальше!

Широков огорчеиио вздохнул.

— Не зиает господни всего, что тут делается! Опоздал с советами. И вот что еще приказывает Никита Акиифиевич. Слушай.— Управитель медлеииым голосом снова стал читать письмо Демидова.

«Предписую вам,— писал хозяин,— увещевать рабочих от участия в восстании и составить из них отряды для отпора повстанцам. Но главную же надежду возлагаем на военную силу. Кроме сего, надлежит, собрав всех заводских жителей, объявить и почасту делать справедливые увещевания, толкуя всем отнюдь не верить бунтовщицким обещаниям. Необходимо все к вооружению способности направить, как-то: вооружить людей для отпора, сделать новое оружие, устроить палисады и рогатки, расставить часовых и производить всевозможную недремлющую осторожность...»

— То сделано нами!— с горделивостью вымолвил Широков.— Мы упредили хозяина и на свой риск сробили это!

— Ты молодчага, расторопен!— похвалил Селезень нижнетагильского управителя. Тому стало лестно, и он, улыбаясь, сказал:

— Допекло-таки хозяина, видать, и он малость смалодушествовал и наказует приказчикам не своевольничать, и, что бы ты думал, господин ныне разрешил присылать к нему мирское справедливое изъяснение за общими подписями с жалобами работных на отягощения... Вот забота! — Широков лукаво улыбнулся в бороду и вдруг спросил Селезня: — Ну, что сейчас робить думаешь?

— Не бойся, нахлебником у тебя не буду!— решительно сказал приказчик.— Не все так пойдет, чуть полегчает — вернусь оборонять хозяйское добро! А пока тут найдешь дело! Пошли на Утку!

— Да там пахнет порохом!— пристально глядя в глаза Селезня, сказал управитель.— Не боишься?

— Волков бояться — в лес не ходить. Радение потребно показать господину, зачтется потом при награде!

— То верно,— согласился Широков, свернул грамоту Демидова и снова упрятал в ящик.

Селезень еще выпил чару, закусил. Слипались глаза. В курятнике на нашести прокричал петух.

— Ну, и отдыхать пора. Идем в горенку, отоспишься,— предложил гостю управитель и провел его к широкой постели. Селезень быстро разделся, кряхтя и морщась от боли, улегся в мягкую перину. Хозяин загасил свет, и вскоре послышалось ровное дыхание усиувшего приказчика...

Утром Селезень обошел Нижне-Тагильский завод. Его порадовала распорядительность Широкова. Вокруг завода подновили тын, накатали снежные валы, полили их на морозе водой, и они обледенели, а впереди валов наставили рогатки. На башенках сторожили часовые. За пригорком, неподалеку от барского дома, темнели пушки. Бравый капрал распоряжался подле них, обучая заводских людей обращенью с орудиями.

У конторы строились в колонну вооруженные работные. Селезень поспешил к ним.

— Куда, братцы?— спросил он.

— В Галашки, а там и на Утку!— нехотя ответили они. Угрюмыми глазами они провожали приказчика, который поднялся на крыльцо и прошагал в контору.

Там за столом сидел Широков и о чем-то толковал с высоким жилистым сержантом. Не раздумывая долго, Селезень попросил управителя:

— Яков, дай мне шустрого конька!

— Куда собрался?— уставился на него Широков.

— Пойду со всеми в Галашки!

— Ну и с богом!— согласился Широков.— А вот сержант Курлов, оборонитель демидовской Утки. Держись за него. Не выдаст!

Сержант поднял на Селезня строгие серые глаза и сказал:

— Что ж, видать — расторопный человек. Нашего полку прибыло!— Он скупо улыбнулся приказчику, но эта сдержанность и немногословность Курлова Селезню понравились...

4

Иван Селезень с отрядом нижнетагильцев прибыл в деревню Галашки. Здесь отряд расположился по крестьянским избам. Крестьяне и работные отказались идти дальше, требуя выяснения обстановки. Сколько ни ругался и ни грозил сержант Курлов, сколько ни уговаривал приказчик, заводские не хотели двигаться на Утку. За всех дружинников ответил черномазый угрюмый углежог:

— Припоздали мы в Утку, поди опередил нас полковник Белобородов. Быстр вояка! Опасно на рожон лезть!

По правде говоря, и сам Селезень струсил не на шутку. Он не ожидал, что пожар восстания так быстро

распространится. Прорвалась долго сдерживаемая неиависть народа против бар, заводчиков и приказчиков. Встречая среди крестьян и заводчиков большое сочувствие, Белобородов с быстро увеличивающимся отрядом прошел заводы, расположенные по реке Белой и под Кунгуром, и везде по-своему расправлялся с угнетателями. Куда только ни приходил он, немедленно сжигались конторские долговые книги. Народ ловил заводских приказчиков и беспощадно вешал их, а зачастую предавал мукам. Пылали хоромы заводчиков, управителей, не щадили иногда и заводские строеиия. Приписные крестьяне жгли заготовлеиный в лесах уголь, рушили плотины, спуская воду в прудах, и разбегались кто куда. Возмущение охватило огромный край.

Никакие уговоры не действовали иа работных и крестьян. Сейчас, даже находясь далеко от Урала, в Санкт-Петербурге, князь Вяземский мог убедиться в том, насколько призрачио было произведенное им «умиротворение» края. Руководитель обороны горнозаводского центра Екатериибурга Василий Бибиков в большой тревоге писал ему:

«Вот, ваше сиятельство, наши дела. Я было испытал счастье и посылал отсель партии поражать злодеев, человек по пятисот, но что же? Вместо боя от нерегуляриых вооруженных крестьян выходит с буитовщиками дружеский разговор, и только зовут один другого передаться на свою сторону. Многие же с нашей стороны при первом выстреле из пушек не только расстраиваются, но и бегают иазад и к злодеям, а удержать таковой беспорядок и зло нет возможности, потому что при такой команде состояние позволяет военных послать не больше как двух офицеров и человек тридцать солдат, которым должно или своих удерживать в порядке, или оберегать начальника и артиллерию.

Не последнее зло угнетает нас и то, что крестьяне хлеба и сена сюда не везут, о чем, однако ж, старание еще от меня продолжается, и ие знаю, успею ли что. К восстановлению же покоя и пресечению зла не оставил я испытать всех средств, то есть ласку, денежные вознаграждения, обнародование с увещаиием вестей о поражении где-либо чудовищ, привел всех, ие только мастеровых вновь, но и сельских крестьяи к присяге, по особо учиненной иа сей случай форме, а иаконец и са-

мую строгость и страх, но очень мало вижу от того желаемого успеха...»

В эти самые дии Белобородов захватил Шайтанский завод и, усилив свой отряд, двинулся на Уткинские заводы. Окольиыми путями об этом стало известно нижнетагильскому отряду.

Сержанту Курлову ничего иного не оставалось, как поспешить в Утку. За короткий срок солдаты и жители заводов приготовились к обороне. Завод окружили «городом»— обнесли тыиом, обледенелым валом, рогатками, завалами и установили пушки. Сержант рассылал по дорогам разведку, зорко следя за движением отряда Белобородова. Он даже пробовал наступать на отряды повстанцев, ио был оттеснен ими за укрепления.

Каждый день через Галашки торопились беглецы в ту и другую сторону, и нижнетагильцы жадно выслушивали их рассказы. От этих слухов еще тревожнее становилось на душе Селезня. Наконец от Курлова прискакал гоиец и потребовал от приказчика, чтобы он со всем отрядом шел к нему на помощь.

— Что ж, братец, такое случилось, что и про нас вспомнили?— сдержанио спросил гонца Селезень.

Гонец, бритоусый конник, сердито посмотрел на приказчика и сумрачно ответил:

— Выходит, так иадобио! Идет большое сражение, и злодеев огромное число подошло и настала крайняя опасность!

У приказчика засосало под ложечкой. Дружинники не вселяли к себе доверия. Чувствовал Селезень, что при первой тревоге они схватят его и перебегут к повстанцам.

— Сержаит Курлов — человек военный, храбрый и драться хорошо умеет!— ответил Селезень гонцу.— Что ему делать с иашими мужиками, не обученными ратиому делу? Боюсь одного, что ие дойдут мои вояки до Утки и разбегутся все. Что тогда делать?

Бритоусый конник усмехнулся:

— Известно что, драться надо!

— Вот я и решил драться,— угрюмо ответил Селезеиь.— Погляди сам вокруг, настоял я перед дружинииками на построении батарей и завалов. Место надежное. Вот только фузей иедостает да пороха. Прошу сержанта доставить мне фузеи, кремни к ним да тридцать рогатин!

— Да ты с ума сошел!— рассердился гоиец.— Идти надо сейчас же в Утку!

Селезень промолчал, подумал и ответил строго:

— Готов помочь, но на поход в Утку иадо соизволеиие инжиетагильской коиторы. Без приказа от иее ие тронусь нз Галашек!

Так ии с чем н возвратился гоиец в Утку. Между тем повстаицы подошли к самому заводу и пробовали взять его с хода. Курлов отразил первый натиск Белобородова. Сержант не упивался мимолетиым успехом и поэтому еще раз попытал счастья н послал гонца в Ннжний Тагил просить помощи. Управитель Широков оказался сговорчивее Селезия. По его распоряжеиию иемедлеиио погрузили порох и оружие для отряда, расположеииого в Галашках, н в двеиадцать часов иочи отправили гоица к Селезию с приказом, чтобы он взял половииу отряда и иаправился иа помощь Уткиискому заводу.

Но отряд демидовских заводских крестьян отказался выполиить и это приказаиие! Селезеиь разделил дружииу иа две части и объявил им о походе. Из рядов вышел зиакомый углежог и объявил приказчику:

— Готовы идти все, но нас мало и будем погублеиы!

Долго уговаривал нх Селезеиь идти в поход, а они упнрались. Приказчик и сам разделял их думы. Хотя ои и делал вид, что сердится, и грозился, ио в душе радовался, что, может быть, удастся отсидеть грозу в Галашках.

Перед иими выступил гоиец, свой, заводской, н с сердцем обмолвился:

— Ну ладно, оставайтесь, коли так! Но уж если до ваших семейств доберутся, то и мы не постоим за вас!

Это задело иижиетагнльцев. Работиые закричали:

— Идем иа Утку! Веди иас!

Волей-иеволей приказчику пришлось сесть на коня и вести отряд иа завод. Дорогу перевеяло бураиами, ноги увязали в глубоком сыпучем сиегу. Дул произнтельиый ветер, своим холодиым дыханием резал лица. Дружинннкн шли молча, со смутиой тревогой иа душе.

В полдеиь иа миг выгляиуло солнышко, скупо озарило лесистые горы и сиова укрылось за сиеговые тучи. Даже этот скудный золотой луч оживил людей, они зашагали бодрее. Глядя иа свое воииство, Селезеиь с укором думал:

«Гляди, чего доброго, до Уткн доберемся, а там

и начнется! Им-то ничего, в случае неудачи перебегут, а нам, приказчикам, ох, и худо будет!»

Словно в ответ на его мрачные думки из-за пелены снега выскочил конник. В нем приказчик узнал служителя Невьянского завода.

— Да куда вы на погибель идете! Утка сегодня окружена злодеями: ни проезду туда, ни проходу!— закричал он Селезню.

— Да ты-то сам в Утке был?— для очищения совести спросил приказчик.

— В том-то и дело, что не добрался до заводишка!— растерянно отозвался служитель.— Такая пальба кругом, не приведи господь! Еле ноги унес!

Приказчик стал совещаться с дружинниками.

— Братцы, идтить надо!— заговорил он тихим, вкрадчивым голосом.— Но и то иметь надо в виду, что вооружены мы плохо.

— За пушкой надо слать, тогда и дальше троимся!— согласились дружинники, надеясь на проволочку.

— Быть по-вашему!— сказал приказчик.— А пока, братцы, разжигай костры, обогревайся, да подкрепиться время!..

Под падающей пеленой густого снега жарким пламенем запылали костры. Посиневшие вояки отогревались, жевали черствый хлеб...

Прошел час-другой. На огонек набежал на бойком коньке верховой татарин.

— Ты куда, бритая башка, прешь?— сердито окрикнул его Селезень.

— Мой в Тагил скачет! Дело есть!— обнажая ряд красивых белых зубов, улыбаясь, ответил татарин.

— Небось из Утки убег! Что там, пугачевские взяли завод?— допытывался приказчик.

— Аллах! Кто сказал тебе это?— изумился татарин.— Белобородов мал-мало в сторону ушел, и в Утка дорога совсем свободна. Езжай прямо, ходи прямо, никто не тронет!

— Да что ты врешь!— рассердился Селезень.— Тут только человек сказывал другое. Эй, зови невьянца! Где он?

Кинулись искать первого вестника, а его и след простыл. Отогрелся, поел и втихомолку убрался восвояси.

— Вот леший! Вот старый пакостник!— разбушевался приказчик.— Наговорил страхов, а сам в бега!—

Теперь он примиреиио посмотрел иа татарина.— Скажи, милый, ты не врешь?

— Зачем врать! Мой честны человек! Аллах!

— Ну, коли так, братцы, надо идти! Ни там, ии тут, а в голом поле страшнее! Наскочат и порубят всех!

Селезень и в самом деле сейчас решил торопиться в Утку, чтобы отсидеться там за крепкими заплотами.

Поздио вечером, когда густо засииели сумерки, иижнетагильцы вошли в Утку, и Селезеиь поторопился к сержаиту Курлову.

Сержант встретил приказчика сдержанно. Холодным, суровым взглядом он пронзил Селезия и покачал головой:

— Что же это вы, демидовский подиачальиый — и так плохо радеете о заводе своего господина?

Приказчик молча сглотиул обиду и иичего не ответил Курлову.

— Ну, да что теперь, не до попреков!— строго сказал сержант.— Подходит супостат, и завтра, по всему видать, придется драться!

— Как драться?— побледнел Селезень.

— Известно, как драться, не на живот, а на смерть!— спокойно ответил Курлов.— Нас немного, поэтому, может, и придется лечь костьми. Такова наша солдатская доля!

От волиеиия во рту у Селезня пересохло: никак не ожидал он такой скорой развязки...

Глухой ночью в Утку возвратилась посланная Курловым разведка и доиесла, что дорога с Шайтаиского завода на Уткииский полиостью заията отрядами и пикетами Белобородова. И, что больше всего удивило разведчиков, у повстанцев оказалась артиллерия.

— Ну что ж, будем отбиваться,— спокойио ответил сержаит и приказал разведчикам:— Теперь, братцы, идите по местам. Пришло времечко, когда каждый человек дорог!

Он обрядился в полушубок, прицепил на ремень шпагу и поторопился к заплотам. Длиный, худой, с посеревшим от бессоииицы лицом, он, как журавль, вышагивал вдоль вала и подбодрял солдат. Перед рассветом он долго пробыл у пушек, сам внимательио проверил их, тихо наставляя бомбардиров.

Стояла глубокая предутреиняя тишииа, и Селезню так сладко спалось. Вдруг, иарушая безмолвие, в ближнем перелеске рявкиуло орудие, и просвистевшее

над заплотами ядро упало иа заводском дворе. От грохота приказчик просиулся, со страхом сорвался с постели и подбежал к окоицу. Что-то ослепительио яркое сиова разорвало тьму, озарило сииеватую пелеиу сиега, и опять где-то иеподалеку ударило. Миииуту спустя весь воздух заколебался от гула орудийиой пальбы.

«Вот когда иачалось!»— трусливо подумал Селезеиь, прислушиваясь к гомоиу и крикам за окиом, быстро оделся и побежал иа коиюшию. Ои ыриул в полураспахиутые ворота; в лицо ударил париой едкий запах стойла. Несмотря иа каиоиаду, его мохиатый башкирский коиек мерио хрупал сеио и время от времеии перебирал копытами. Ои кротко поглядел иа хозяииа. Селезеиь ласково огладил своего бегуика, с мииуту постоял подле иего в раздумье и полез в ясли. Из-под вороха слежалого сеиа приказчик вытащил рваиый зипуи и старую шапку и стал примерять их.

— Ты что же это, или сбежать вздумал?— раздался вдруг рядом иасмешливый голос.

Селезеиь вздрогиул, подиял глаза — перед иим стоял строгий, с потемиевшими глазами сержаит Курлов.

— Да иет!— поспешил отказаться приказчик.— Ну, с чего это ты взял? Примеряю справу. Хорошее жалко, в драке изорвешь!

— А, вот оио что!— протяжио сказал сержаит, и в голосе его послышалась иотка иедоверия. Ои положил руку иа плечо Селезия и сурово сказал:— Диковииный ты человек! Идет битва, как бы голове уцелеть, а ты о тряпье думаешь. Ну, брат, иди, торопись, веди своих к заплоту. Отбиваться иадо!— Ои круто повериулся и пошел из коиюшии.

«Вот леший, как иеслышио подобрался!»— выругался Селезеиь и иехотя пошел подиимать дружииииков.

Приказчик и ие догадывался, что сержаит приходил в коиюшию вовсе ие затем, чтобы уличить его в преступиых замыслах. Курлов выбрал быстрого иноходца и послал иа нем вериого гоица с письмом в Нижиий Тагил. «Мы теперь в огие,— писал иачальиик правительствеииого отряда, упрекая иижиетагильскую коитору в бездействии.— Что вы, батюшка, делаете, я ие зиаю, пожалуйте иародом подкрепите. Худо иаше дело...»

Весь деиь продолжались ожесточеиные схватки с противииком. Селезеиь как залег со своими дружииииками у заплотов, так и иос боялся высуиуть. Совсем

неподалеку вражье ядро с грохотом ударило в заплот, разнесло в щепы добрые толстые кряжи и как ветром сдуло трех мужиков.

Вытаращив от испуга черные глаза, Селезень присел на карачки и закрестился:

— Свят, свят, с нами крестная сила!

Ему казалось, что все кругом объято огнем и с грохотом рушится, а на самом деле, когда он поднял голову, то увидел в проломе широкое снежное поле. По нему быстро двигались солдатские ряды, впереди которых со шпагой в руке напористо шел сержант Курлов. Из солдатских глоток с рокотом неслось раскатистое «ура». Плохо вооруженные повстанцы попятились перед дерзким напором горстки храбрецов и стали отступать к лесу. Селезень осмелел, вскочил и весело закричал своим:

— Братцы, братцы, никак гонят злодеев! Айда за мной!— И он, ободренный удачей, поторопился следом за солдатскими рядами.

В течение дня Белобородов несколько раз водил свои отряды на приступ, но каждый раз отступал с уроном под огнем заводской картечи. Сержант Курлов успевал бывать всюду: то его видели впереди солдат, то он сказывался подле пушек.

Только в сумерки прекратились схватки. Потемневший, усталый Селезень добрался к сержанту и упросил его:

— Хочу дать весточку в Тагил. Худо будет, если нам не помогут!

— Пороха мало, в людях большая нехватка, фузей недостаточно. Пиши, проси! Гонца пошлю! — согласился сержант.

— Да как он проскочит?— озабоченно задумался Селезень.

— Есть в лесу тропинка одна, пока лиходеи не добрались до нее. В одиночку всегда можно проскочить!

— Счастье наше!— вздохнул приказчик и принялся писать письмо. «Перед светом неприятели со стороны от Курьи на Уткинский завод сделали нападение,— писал он,— и весь тот день даже до самых сумерек пребывал с нашими заводскими под командою сержанта в сражении. А пред самым вечером неприятели, видя в себе неустроенность и урон, отступили в первое место в Курье... Дайте руку помощи! Пришлите как скоро можно еще до пуда пороха. Злодеи учинили... свой под

заводом лагерь. А теперь наши пошли в наступление. Батюшки, помилуйте... теперь ума у меня больше нет!» — взывал Селезень и сам горько усмехнулся: «Начал о здравии, а кончил за упокой!»

Знал он, не скоро дойдет это письмо, а если и дойдет, то Яков Широков долго будет раздумывать над тем, посылать людей из Нижнего Тагила или нет. Между тем утром на другой день сражение за Утку возобновилось с новой силой. Повстанцы на этот раз пустились на хитрость. Оберегая людей, они вели перед собою вал из мелкой чащи и снега, постепенно приближаясь к заводу. Белобородов выделил лучших стрелков, и они начали оружейный огонь по заводским пушкарям, выбивая их из строя. Однако пушкари, подбадриваемые Курловым, не бросали орудий и все время били по врагу. Они картечью встретили пугачевскую конницу, которая, развернувшись лавой, пробовала пробиться в завод.

Стоя на ближайшем пригорке, Белобородов наблюдал за сражением. Ему донесли, что обороной руководит опытный сержант. Пугачевский полковник похвалил сержанта Курлова:

— Сам вижу, добрый он солдат. Только зря головы кладет. Такого бы мне!

К вечеру усталые стороны снова прекратили бой и отошли за валы.

Утром на пруд, несмотря на обстрел, выехал конный татарин и водрузил шест, а на нем трепетал на ветру лист. Татарин покричал, помахал малахаем и ускакал прочь. Тогда из завода подъехал солдат и схватил лист. Сержант не дал читать его. Он увел Селезня в избу и сказал ему:

— Это манифест самозванца! Читать его ни к чему. Вот перебели лист-манифест государыни и пошли на пруд!

Приказчик терпеливо переписал манифест Екатерины Алексеевны и выставил на пруду. Только отъехали от шеста заводские люди, как снова прискакал татарин и забрал лист. Через час он снова вернулся и оставил вторичный лист. Сержант и этот лист не огласил, а велел собрать народ и публично сжег его на заводской площади.

— Злодейские прелести нам читать не к лицу! — заявил он.

Старому опытному вояке сержанту Курлову дума-

лось, что Белобородов оттягивает этими переговорами время, а сам, наверное, думает о том, как удобнее ударить по осажденной крепости. Курлов был умный и способный человек и рассуждал так:

«Куда бросит свои войска враг? Первое, он непременно устремится с конницей на пруд и постарается вырваться к конторе. Второе, Белобородов не обойдет своим вниманием батареи и постарается ворваться на Вятскую улицу, чтобы перебить канониров. Третье, вероятно, ударит по городской башне. И четвертое, пойдет всей тяжестью на крепостные тыны».

Расчет оказался верным. Ранним утром Белобородов начал наступать так, как это предугадывалось Курловым, но везде встретил сопротивление. На пруде его конницу обратили в бег, а сержант Курлов так ударил по врагу, что тот не только заводской батареи не достиг, но и свои пушки оставил...

Солдаты молча, со злостью отбивались. Селезень со страхом взирал на схватку, и боязнь, как ржа, разъедала его душу. Он услышал, как бородатый углежог словно про себя обмолвился:

— Сегодня мы отбились, а завтра, гляди, поляжем! Их все больше и больше, а нас все меньше и меньше!

В пылу боя приказчик несколько раз бегал на конюшню. Он тайно вывел своего конька в овражек и поставил его среди сугробов, привязав к березке, одетой инеем.

Взволнованный, он вернулся к заплоту; кто-то закричал ему:

— Гляди-ко, что робится! Ай-яй-я!

В то время когда сержант Курлов храбро отбивал приступы врага, кто-то позади завода распахнул калитку, и через нее проникли повстанцы. Они, как вешняя вода, стали просачиваться всюду, и не прошло получаса, как толпа их с диким визгом и криками устремилась к батарее, которой командовал Курлов.

«Все кончено!»— с ужасом подумал Селезень и тайком подался к полуразрушенной избе. За ней начинался кустарник, он стал уходить в него...

А в это время сержант с десятком батарейцев не сдавался, дрался до последнего. Двое рослых повстанцев выбили у него из рук шпагу, тогда Курлов схватил банник и стал молотить направо-налево. Подъехавший на белом коне Белобородов залюбовался богатырским поединком сержанта.

— Детушки!— закричал пугачевскнй полковиик.— Живьем взять сукина сыиа! Ах, храбёр! Ах, и вояка! Уймись, дурень!— прикрикиул ои иа Курлова через толпу.— Службу дам! Офицером сделаю!

— Я тебе, злодею, покажу службу! Я воюю по присяге!— Он разъяреино размахивал банником, и ие одиа размозженная голова улеглась у его ног. Рассвнрепевшне повстанцы иабросились иа сержанта и саблями изрубилн его в куски...

Ннжиетагнльская дружнна покорио сложнла оружие и ждала решення Белобородова. Ои подъехал иа своем тоиконогом коне, пристально посмотрел на заводчииу и укоризиеиио покачал головой:

— Эх вы, за кого пошли драться? За своих кровопнйц!

Бородатый углежог упал иа колеии:

— Прости нас, батюшка, ие по своей охоте пришли сюда. Только н ждали случая, как перейтн к тебе. И воротцы наши открыли...

— Ну, коли так, прощаю!— мнлостнво сказал Белобородов и махнул рукой.— Идите с богом, а кто верстаться хочет, мнлости прошу к иам, в казаки!

Он улыбнулся приветливо и ласково, повернул и потихоиьку иа своем белогривом скакуие поехал к площадн.

— А где же иаш вояка?— вдруг спохватился углежог и предложил:— Айда, братцы, наверное у коией спрятался!

Всей толпой они бросились иа коиюшню, ио Селезия и след простыл. Тайной лесиой тропинкой, пользуясь быстро иаступившими сумерками, ои скрылся в лесной уреме...

Глава шестая

1

Разгромив демидовскую обороиу на Уткинском заводе, забрав там пятиадцать оруднй, Белобородов двииулся иа Сылвнискнй, затем иа Илимский заводы. Здесь работные охотио верстались в казачество. Атамаи забрал заводскую казиу, оставил гариизоиы и пошел иа Сысертскнй завод. Одиако здесь уже поджидали его. Заводчик Турчанинов загодя обнес завод рогатками и иадолбамн, иасыпал сиежный с хворостом вал

и полнл его водой. В наиболее опасных местах были поставлены батареи. Заводской попик привел мастеровых к прнсяге иа верность, и заводчик, раздав им оружие, обучнл первым воинскнм артикулам. Сам Турчаниинов и вел оборону. Три дня полковник Белобородов со своим тысячным отрядом много раз пытался прорваться в завод, но был с уроном отбит и отступнл.

К довершению неудачи положение за эти дни в Екатеринбурге круто нзменнлось. На помощь городу подоспелн правительственные войска и начали преследовать восставшнх. Бои шлн с переменным успехом, но там, где войска бралн верх, они жестоко расправлялись с работными, не щадя ни старых, ни малых. Так, отправленный по московской дороге с семьюстами солдатами секунд-майор Фишер ворвался в Шайтанскнй завод, разгромил повстанцев, отобрал у них пушки, многнх казннл лютой смертью, а завод зажег в шестн местах. Прн багровом зареве пожарнща он возвратнлся в Екатерннбург. Обрадованный полковник Василий Бнбнков — однофамнлец командующего — на другой же день оповестил горожан своим объявлением:

«Вот возмездне за нарушение покоя и измену. Но сне еще начало нх ожесточения. Никак и никогда ие могут возмутители себя ласкать благоденствием, продолжая зло...»

Полковник смелел, тем более что им была получена радостная весть о том, что к Екатерннбургу двигается снльный отряд майора Гагрина. На самом деле, отряд этот форсированным маршем подходил к Уткинскому заводу, на котором хозяйнничал пугачевский подполковник Паргачев.

Белобородов очень удачно подобрал себе расторопного и умного помощника Паргачева, который по своем назначении немедленно организовал защиту завода. По скату холма шел высокий сиежный вал, политый водой и хорошо оледеневший. Позади завод прикрывался обшнрным прудом с крутыми берегами. Далее за этими остроумными фортификациями шли рогатки, прнкованные друг к другу толстым полосовым железом, а за нимн былн поставлены большие туры, иабитые снегом. В снежный вал был вморожен частый ельник. При выходах нз этой своеобразной крепости устаиовили исправные пушки за рогатками.

Все было готово для встречи майора Гагрина. Но ои был так стремителен и быстр в решениях, что смешал

все замыслы защитников завода. Прямо с марша, под покровом темной зимней ночи, Гагрин бросился на штурм. Не ожидавшие такого решительного натиска в столь неурочное время повстанцы растерялись и упустили решительный момент. Солдаты майора Гагрина ворвались в крепость и стали крушить защитников...

Прискакавший из Утки конник привез полковнику Белобородову печальную весть. Атаман поспешил на помощь, но было поздно. Нисколько не смущаясь этим обстоятельством, Белобородов быстро продвинулся вперед и атаковал отряд майора. Много раз пугачевский атаман сам наводил пушки, бил противника без промаха, бросался во главе своих войск в атаку, но правительственные войска смяли наспех сколоченные воинские команды из работных и обратили их в бегство.

С остатками войск Белобородов устремился в Касли...

2

Над озером поспешно возводились снежные валы, водружались рогатки, рубились засеки — изо дня в день Каслинский завод опоясывался укреплениями. Из окрестных сел стекались крестьяне, и дружины Белобородова вновь возросли до тысячи человек.

Ранним мартовским утром в морозной мгле перед Каслями появились стройные колонны правительственных войск.

Майор Гагрин снова с марша бросился на штурм крепостных укреплений. Не считаясь с потерями, он гнал солдат на высокие оледенелые валы, на рогатки, навстречу огню орудий.

Седые ветераны в темно-зеленых мундирах, в истертых треуголках под трескучий барабанный бой лезли бесстрашно вперед, усердно работали штыками, прикладами. Стервенели от крови. Но и работные не уступали, бились до конца, рубили топорами, душили врага в смертной схватке.

К полудню над заводом поднялись черные клубы дыма. Отступавшие повстанцы подожгли заводские строения.

Атаман Белобородов со своей дружиной, отбиваясь, отступил в горы...

В этот самый день мастерко Голубок вышел на двор

и заметил стаи крикливых ворои, темиой тучей тянувших в сторону Каслей.

«К худу! К большой беде!»— подумал дедка и побежал к Перстню. Но у заводской коиторы уже грузился обоз, строились ратиые дружины. Сам Перстеиь был у домеи и торопил людей.

Работные открыли колошники: больше ие закидывались в пасть домеи уголь и руда. Над жерлом уже ие бушевало, как прежде, пламя. Потихоиьку смолкало привычное гудение в домиице. Мастерко почуял иеладиое, бросился под иавесы, и тут сердце его заныло.

— Ах, сукииы дети, что удумали! Загубят домиушки! Братцы, ребятки!..— закричал ои.— Да разве ж можио рушить родимое?

Литейщики расступились, допустили дедку к домиице. Мрачиые, лохматые, оии угрюмо продолжали свое дело.

— Что ж это, братцы? «Козла» удумали садить?— встревоженно прохрипел мастерко.

— «Козла»,— сурово отозвались мужики и потупили глаза.

— Бросай!— кииулся к ним старик, и глаза его заслезились от обиды.

— Не велеио! Перстеиь иаказал! Да и Демидову чтоб досадить. Хватит, иаробились на его чрево!— зло сплюиул кричный с запечеииым на вечном жару хмурым лицом.

Голубок с ужасом вглядывался в своих друзей, с которыми бок о бок работал миогие годы. Вот оии, зелеиолицые, беспрерывио кашляющие домеищики, обуглеииые, с опалеииыми ресницами, тут и литейщики в кожаиых фартуках-защитках. Они хмурились и опускали глаза перед укоряющим взором мастерка. Эти труженики всей душой иеиавидели Демидова, и в то же время им было до боли жалко губить домиу, с которой сжились и которую считали за близкое, живое существо.

— Не томи ты нашу душу, уйди Христа ради!— с горечью гиали оии старика.

Жалкий и растерянный, мастерко отыскал Перстия.

— Сынок, пошто губишь домиу?— с душевным волиением спросил он.

Перстень иахмурился и пошел прочь. По его решительному виду Голубок понял: не дошла до сердца про-

сьба. Все еще на что-то надеясь, он нагнал Перстня и бросился ему в ноги:

— Батюшка, родимый, да пощади, побереги домницы! Надобны они нам! Ой, как надобны! Да как же мы, работные, без них жить-то сможем! Батюшка, пощади!..

Митька обошел старика, стиснул зубы и ничего не сказал.

Мастерко поглядел вслед, укоризненно покачал головой:

— Эх ты, яловый!.. Забубенна голова...

Из Кыштыма со скрипом потянулся груженый обоз. Увозили кули с зерном, пушки, ядра. Перед обозом шли и ехали работные. Вел их Перстень на Челябу.

Ушли за обозом все сильные и молодые. Опустел завод. Мастерко Голубок долго уныло бродил у остывших домен. Тяжело было видеть разор и запустение. Погорели лари, вешняки и запоры у плотины, полноводный заводской пруд с шумом ушел в Кыштымку. Все еще дымились подожженные угольные клади.

В мартовский голубой денек мастерко обладил посошок, подговорил шестнадцатилетнюю внучку, бойкую Дуняшку, и вдвоем с ней пустился в горы.

Ярко светило солнце, темнели ельники в горах. Дедка оглянулся на заводы и пригрозил кому-то невидимому:

— Погоди, обо всем поведаю царю Петру Федоровичу...

Пахло мокрой талой хвоей. Вешний ветер упруго обдувал круглое румяное лицо Дуняши, покрывая его здоровым, крепким загаром. Шумели и трещали в кедровниках клесты. И все манило и привлекало к себе Дуняшку. Она потянулась и сказала мастерку жарко:

— Жить-то как хочется, дедко!

3

Верные люди донесли Селезню, что Кыштымский завод оставлен повстанцами. Он немедленно собрал для охраны двадцать конников и устремился в Кыштым. Всю дорогу он пребывал в большой тревоге, так как хотя Белобородов и ушел к югу, но весь Урал попрежнему бурлил. По селениям и поселкам непрерывно проходили и проезжали толпы приписных крестьян и работных, которые тянулись в пугачевский стан, под

Берду Опасно было нарваться иа озлобленную пугачевскую дружнну — без крови тогда не уйти! В душе управителя таилось еще беспокойство за свои сбережения, упрятанные на заводе.

В полдень Иван Селезень с конниками прибыл в Кыштым. В глубокое безмолвие был погружен завод. Улицы и площадь пустынны. Не вились дымки над домнами и трубамн, не слышалось привычных ритмичных звуков и шума падающей воды у плотнны. Словно покойник, завод был холоден, молчалив. Везде виднелись следы пожарнща. Горяча коня, управитель минул плотину и помчал к своему домику. Жилье уцелело, дверь была заколочена доскамн. Из-под крыльца выползла собака н с внзгом броснлась к хозяину. Но Селезню было не до пса, он прошел в хлевок, где среди железного хлама быстро отыскал лом, и поторопился к дому. Ловко оторвал доскн, распахнул дверь и остановился, пораженный, на пороге. Он просто не вернл свонм глазам: в его холостой квартнре все сохранилось в том виде, в каком покннул ее хозяин.

Управитель закрылся на крючок и, все еще не веря себе, бросился к окованному сундуку, отодвинул его в сторону н поднял половицу. В тайннке он нашарил тугой кожаный мешочек. Горячая радость прилила к сердцу Селезня.

«Батюшкн, уцелелн! Все уцелело!»— ликовал он от радости, разглядывая свой клад.

Он развязал мешочек, положил его на колени и долго любовался блеском золота. Руки его дрожали — всего захватила жадность.

Заслышав на улнце голоса, Селезень проворно вскочил, упрятал клад в тайник и снова задвинул сундук на старое место. Отбросив дверной крюк, ои стал разглядывать шкаф и сундуки. Все лежало нетронутым.

«Вот диво, ничего не утащили!»— изумился он.

Под шагами заскрипел мерзлый снег, и с веселым шумом в избу вошли заводскне стражннки. Управитель обрадованно закрестился:

— Свят, свят, откуда иабрели? Где укрывались от напасти?

— А мы по лесам да заимкам прятались!— признался щербатый стражник.— Только убегли возмутители, и мы тут как тут иагрянули! Похватали кое-кого!

— Добро!— похвалил управитель.— Ну, как с народом ноне? Беснуется?

— Опасио, батюшка! Волками все смотрят, того и гляди, готовы растерзать! Поостерегаться иадо, особливо от кнутобойства воздержись!

Селезеиь в сопровождеиии прнбывшей охраны отправился осматривать завод. В мрачиых пустынных цехах гулко отдавались шаги. Все покрылось нзморозью, пробирал холод; иа всем лежала печать заброшеииости и забвеиия. В остывших домиах серелн иоздреватые глыбы холодной лавы.

— «Козла» посадилн! Ах, разбойннки! Ах, аспиды! Погодн, я их заставлю зубамн выгрызть! — со злостью выкрикиул Селезеиь. — Где людн? Собрать всех в конторе, говорить буду!

Щербатый стражник поклоиился управителю:

— Уже послаиы гоицы сзывать иарод!

Раздосадованный Селезень прошел к барским хоромам. Глубокий пушнстый снег укрыл пепелище. На высокой трубе, торчавшей средн задымленных стен, сндела однноокая ворона и зловеще каркала.

«Давио ли здесь были уют и радости! И вот все сметеио!» — с грустью подумал управнтель.

На пути ои зашел в коитору. На прнступочках крыльца его встретил ветхий сторож дедка Векшии. При виде управителя ои засуетился, инзко поклоинлся ему и распахиул дверь. Селезень вошел в коитору. Шкафы открыты, в комиате пустыино.

— Где люди? Куда подевались бумаги?

— Эх, батюшка, кое-кто убег, страшась людского гнева, кое-кого порешнлн за прошлые пакостн, а кннгн все предали пламени! — глуховато заговорнл старнк.

— Как! — вспыхнул Селезеиь. — Выходнт, долгн пожглн!

— Угу, всё кабальиые в пепел обратили! — с плохо скрытой радостью вымолвнл сторож.

— Ты что ж, сатаиа, радуешься хозяйской беде? — вдруг вспылил управнтель н схватнл деда за сивую бороду.

Снльным движеннем старик вырвался от иего и замахиулся посохом.

— Не трожь! Ныие не то времечко! — пригрозил он.

Вид у деда был грозен, решителен. Селезня так н подмывало нзо всей снлы дать старнку затрещнну, но щербатый стражиик ухватил его за рукав.

— Будет, будет свару разводить!— сердито сказал он.— Дед ведь не жег книг, и что он мог сробить с бунташными людьми?

Стражник выразительно посмотрел на управителя, тот понял намек и притих.

У конторы собрался народ. Однако не слышалось обычного оживленного гомона, люди стояли тихо, угрюмо опустив головы. Селезень выглянул в окошко. Где же настоящая рабочая косточка, на которой и стояло заводское дело? Под окном конторы толпились только старики, женщины, малолетки да инвалиды.

— Куда подевались работяги наши?— обеспокоенно спросил управитель.

— Известен их путь-дорожка!— сдержанно ответил дед Векшин.— Которые из дальних приписных, те по домам разъехались, а коренная заводчина подалась в другие места!— Он не досказал куда, боясь назвать имя Пугачева, но все хорошо его поняли.

— Есть посаженные в заключение?— спросил Селезень у щербатого стражника.

— Трое. Два углежога да вдова.

— Отпустить и пусть поторопятся сюда!— строго приказал управитель.

Он вышел на крыльцо, скинул с головы лисий треух и весело крикнул толпе:

— Здорово, хлопотуны! Что приуныли? В грехах повинны и притихли. Ну, да бог вам судья, а я именем господина нашего Никиты Акинфиевича Демидова прощаю содеянное, если с добрым умыслом возьметесь за работу. Эвон, гляди, что с заводом нашим сотворили злодеи!— показал он на заснеженные домны.

— Да сможем ли мы поднять такую махину?— с нескрываемым сомнением сказал один из стариков работных.— Сильные да могутные работники ушли, а мы что? Отработались да износились давно. С нас и спрос мал!

— Ну, не гневи бога, отец! Сил у тебя хватит. А где силы не станет, там умением свое возьмешь!

— И то верно, батюшка!— согласился работный.

— Видел я ноне попорченные вододействующие колеса, а без них не робить заводу. В них главная сила! Есть ли среди вас плотинный или умелец сих дел?— пытливо оглядывая толпу, спросил Селезень.

— Плотиииый ушел и семью свел,— отозвались в толпе.— Хорошие руки да умиая башка везде потребны.

— Не может того быть!— гневаясь, запротестовал управитель.— Подумайте да отыщите умельца, а то сами рассудите: ие сработаешь, и хлеба ие дам!

Толпа угрюмо молчала. Кто-то выкрикнул:

— Говори за всех, дед! Дело такое!

Старик уиыло покачал головой.

— И так и этак выходит худо! На бар робить ие выходит в такую пору, а без дела иаши руки маются. От веку привычиы оии к работе!— Ои сурово взгляиул иа управителя и сказал:— Тут мальчоика одии есть. Осмьиадцатый годик ему, а толк в механизмах зиает. Одарил его господь талантом, да и плотиииый при себе держал и уму-разуму учил.

— Прислать ко мие!

В эту пору из толпы пробилась пожилая жеика в старом латаиом зипунишке. Увидев Селезия, она заголосила:

— Милый ты мой, аль ие узнал? Вдова я... Помнишь, Копеечкииа с коиями для тебя подыскала. Помог иам тогда, кормилец! Меленку бабы порушили, а меия вот за это грозили извести!

— Ты тишь-ко!— строго сказал ей управитель.— Как не помиить тебя, помию! Потому и освободил за содеяииое мие добро. О мелеике сейчас не к месту! Кто старое помяиет, тому глаз вои! Приставлю тебя, баба, к работе, и сыта будешь!— Повернувшись к толпе, Селезеиь по-хозяйски крикиул:— А иу, добрые люди, расходись да приииимайся за дело! Нарядчики укажут, кто к чему гож!..

В угрюмом молчании работиые расходились.

— И ты с иими отправляйся, баба!— прикрикиул Селезеиь иа вдову из лесиой деревушки.— Иди, иди, не будешь в обиде!

Ои повернулся и медлеииым шагом, обрев важиость, возвратился в коитору. Оставшись иаедиие со щербатым стражииком, ои сказал ему:

— Ты эту бабу, что грабила хозяйскую меленку, приметь! Как только оиа изробится и поутихиет гроза, отпусти ей триста плетей. Пусть помнит, окаяииица, как трогать чужое. От века и до скоичаиия света была, есть и будет иепоколебимая собствеииость, и трогать ее ве-

ликий грех! А сейчас пришли ко мне умельца механика...

Вскоре в контору явился беловолосый синеглазый паренек. Селезень с недоверием посмотрел на него и подумал: «Ну что разумеет этот несмышленыш?»

Однако он ласково спросил юнца:

— Видал, что с вододействующими колесами вышло?

— Видал. Механизмы повреждены,— тихо ответил парень.

— Можешь их исправить да пустить в ход?— спросил Селезень, пытливо рассматривая его.

— Как мир скажет. Благословит народ — все облажу!— уверенно ответил юноша.

— Не мир, а я хозяин тут!— не сдерживаясь, гневно выкрикнул управитель.

— Ты вот был, да сбег! И опять может такое выйти, а я в ответе перед людьми,— сдержанно ответил юноша.

— Замолчи! За такие речи язык вырву да руки обломаю!— пригрозил Селезень.

Умелец грустно посмотрел на управителя и ответил:

— Что ж, сробишь злодейство, и некому будет наладить вододействующие колеса.

— Вот черт!— выругался Селезень и, стараясь сдержать гнев, предложил:— Ну иди, приступай к делу. Нужны люди — отбери подходящих и укажи им, что робить!

Парень накинул шапку на льняные волосы и легкой походкой пошел к плотине.

С первого дня на заводе началась работа. Правда, глядя на нее, Селезень кисло морщился. Все подвигалось очень медленно, то одного, то другого не хватало, да и люди остались неумелые, слабые. Только синеглазый паренек веселил Селезня. Он спокойно и толково ладил механизмы. В руках у него работа спорилась. Вел себя юноша сдержанно, был разумен.

— Отколь у тебя такое?— удивился Селезень.

— От батюшки и матушки награжден,— с улыбкой отозвался умелец.

— Да ведь твои батька и матка холопы, крепостные! Где им, черни, знать такую великую премудрость!— с насмешкой сказал управитель.

Юноша горделиво посмотрел на Селезня, его синие глаза потемнели. Он спокойно, но твердо ответил:

— Премудрость в иароде хранится, хозяин! У него целые кладовые сих сокровищ, но только угиетены отцы наши и не могут во всей силе показать свое умельство!

— Ты, парень, лишнее болтаешь!— гневно прервал его управитель.

— А ты не обижайся, хозяин! Спросил, я и ответил!

— Ответил, да не так, как надо!

— Плохо знаешь нас, хозяин!— сказал парень и улыбнулся синими очами.— У простого человека думка свободиа от стяжательства!

Селезень промолчал, а паренек продолжал:

— Простой русский человек живет душою. Много у иего сердечности. А кто со светлым сердцем живет, тому и песия дается и мастерство! Тот, у кого душа торгашеская, изворотливая только иа обмаи да пакости, лишь и способен иа одну корысть. Никогда ему ие дано будет радости умельства! Разве только к чужому присосется и за свое выдаст!

Управителю ох как хотелось разойтись да лозой поучить смельчака, ио светлый разум и настойчивость юноши удержали его от произвола.

Завод медленно оживал. Потянулись жидкие дымки над трубами. В домнах с грохотом разбивали спекшиеся глыбы лавы, а в лесу под топорами лесорубов затрещали вековые лесины.

«Только бы грозу проиесло стороной!— со страхом думал управитель.— Тогда все будет хорошо!»

Он прислушивался к вестям. Невеселые слухи упорно донимали его: пугачевские войска продвигались к Уралу и грозили расправиться с заводчиками и их слугами — управляющими и приказчиками.

Глава седьмая

1

Ранним утром отряды атамаиа Грязнова вступили в Челябу. Под иизким небом все еще кружила и бесновалась метель, заметая дороги и улицы городка сугробами. Крепчал яиварский мороз. Городок словно вымер: куда ни взгляни — везде ворота на крепких запорах, везде плотно прикрытые ставни. Лавки и магазеи — под надежиыми тяжелыми замками. Купцы и служилые люди попрятались и притаились в домах, не

смея высунуть носа на улицу. Только посадские людишки и холопы сбежались к градским воротам, в которые вступало пугачевское войско.

Впереди всех на вороном гривастом коне ехал сам Грязнов, одетый в зеленую бархатную шубу и лисью шапку. Народ залюбовался конем и всадником. Атласный скакун, гарцуя, заносил боком, косил огнистые глаза, из пасти этого черного демона горячим облаком валил пар. Величаво упершись в бока, атаман приветлнво раскланивался с народом, в его заиндевелой бороде скользила улыбка. Время от временн он выкрикивал:

— Здорово, детушки!

Посадские мужики и бабы размахивали шапками, платкамн, криками радости встречалн пугачевского атамана. За атаманом на конях выступали ближние его есаулы и сотники, осененные воинскнми знаменами и хоругвями. Снежная дымка щедро серебрила широкие полотнища, волнами трепетавшие на упругом ветру.

На незначительном расстоянии от начальников шли рожечники и дудошники во главе со старым солдатом-барабанщиком. Этот служивый увязался за войском в Кундравинской. Есаулы не хотели брать седого инвалнда, но он дошел до атамана и упросил его.

— Я всю неметчину да туретчину со своим барабаном прошел. За старостью вышел в тутошний гарнизон. Дозвольте с вами Расею обшагать.

— Шагай, служивый!— сказал атаман, и солдат пошел за войском.

— Веселей, орлы! Любо-лихо, чтоб поджилки тряслись!— подзадоривал теперь старый барабанщик дудошников.— Айда, братцы, вперед!

Глухо гудел барабан, будя притихшие улицы, пронзительно визжали рожки и дудели дудки.

За дудошниками грозными рядами шло войско. И страшило оно не оружием, а своей угрюмой решительностью, которая читалась на лицах шагавших в рядах. Кого тут только не было! Шли в войске мужики из приписных к заводам, убого одетые в серые сермягн, в нагольные полушубки, и многие из них топали по скрипучему снегу в лыковых лаптях. Молчаливо двнгалнсь угрюмые углежоги, которые узнавались по чумазым лицам, изъеденным угольной пылью. Все эти воины были вооружены дубинками, рогатинами, топорами, пиками, и редко у кого виднелся самопал или са-

белька. Только заводские тащили за собой на санях пушки и мортиры; они казались грозной силой.

Позади пушек на маленьких бойких конях двигалась башкирская сотня, за нею нестройной толпой шли пешие толпы башкир, одетых в теплые малахаи. За плечами у них мотались холщовые колчаны, набитые красноперыми стрелами, в руках — тугие луки, готовые в любую минуту к бою. Гортанные выкрики башкир мешались с русской бойкой речью, вплетались в завыванья рожков и дудок, и все это вместе взятое наполнило городок необычным оживлением и тревогой.

Атаман Грязнов с любопытством разглядывал городок. Здесь все ему было знакомо, еще не так давно он прошагал через город одиноким шатучим бобылем, а сейчас вступал в крепостцу хозяином. Он беспокойно шарил по толпе; всюду встречались хотя радостные, но незнакомые лица. «Где же Наумка Невзоров, почему нет казака Уржумцева?»— озабоченно думал он.

Нахмурившись, Грязнов смотрел на прочно замкнутые купецкие дома.

«Попрятались шишиги! Испугались расплаты за содеянное»,— с ненавистью подумал он и закричал ближним есаулам:

— Пошто в колокола не звонят? Куда девались попы?

Посадский мужичонка, сорвав с головы треух, отозвался из толпы:

— Сбегли попы, батюшка! Вместях с воеводой сбегли.

— Савва!— крикнул атаман.— Ударь в колокол и вознеси молитву за наше воинство.

— Будет, батюшка!— откликнулся из свиты поп в нагольном тулупе. Спрыгнув с коня и передав повод пешему ратнику, Савва заторопился в храм.

— На звонницу, братцы!— оповестил он и полез на колокольню.

Минуту спустя над Челябой, утонувшей в сугробах, зазвучал благовест. В толпе поскидали шапки и закрестились.

— В добрый час шествуй, батюшка!— кричали в народе пугачевскому посланцу.

Между тем отряды и толпы пугачевцев разбрелись по городу и ломились на постой в купецкие хоромы. Загремели запоры, затрещали заплоты, оберегавшие торговое добро, остервенело залаяли псы, бросаясь на не-

званых гостей. Вооруженные вилами и топорами мужики не щадили купецкого добра. Ворвавшись во дворы, кололи откормленных свиней, хватали кур и, не обращая внимания на вой и причитания хозяек, стряпали сытное варево.

Ни пост, ни запугивания грехами — ничто не страшило мужиков. Они с жадностью поедали все, что попадалось под руку.

— Хватит, наголодовались, на вас работаючи!— отгоняли они прочь крикливых купецких женок.

На перекрестках улиц и на площадях задымились костры. В больших черных котлах башкиры варили конину. Густой белесоватый пар поднимался к сизому небу и таял. Город сразу ожил, по улицам засуетились люди, скакали конные, заскрипели возки, груженные дорогой кладью. То и дело гнали схваченных дворян и купчишек. На площади перед воеводской избой уже стучали топоры: плотники ставили из свежего теса глаголи. Со страхом взирали на это бредущие под караулом на допрос пленники.

Атаман Грязнов со своими ближними соратниками проследовал к воеводской избе. Там на крыльцо вынесли кресло, крытое зеленым штофом, и бросили под ноги пушистый бухарский ковер. Пугачевец уселся, возле него разместились есаулы. На площади сдержанно загудела толпа.

Начался допрос. Первыми подвели к пугачевцу дородных купцов-кержаков. Они степенно подошли, чинно стали рядком.

Из толпы крикнули купцам:

— Шапки долой! Не вишь, перед кем стоите?

Купчины неторопливо сняли лисьи треухи и поясно поклонились Грязнову. Тот пытливо вглядывался в их сытые бородатые лица. Волосы у всех были острижены в кружок, по-кержацки, взоры угрюмы.

— Вы что ж магазеи закрыли и хлеб упрятали от людишек?— строго спросил атаман.

— Исторговались совсем,— отозвался грузный, с густой проседью в бороде купец.— Сколько недель подвозу не было. Откуда хлеба напасешься!

По его бегающим, плутоватым глазам атаман понял: хитрит купец.

— Врешь!— закричал Грязнов.— Врешь, хапуга! Хлеб упрятали, дабы людишки голодовали. Видать, на глаголь захотели.

Седой дородный купец переглянулся с собратьями и, тряхнув головой, с легкой насмешкой сказал пугачевцу:

— Пошто грозишь нам глаголью? Известно нам, в большом обереженье у царя-батюшки Петра Федоровича люди древлей веры. Жалованы мы государем брадами, двуперстием и осьмиконечным крестом, а ты, батюшка, грозишь нам.

Грязнов насупился, поднял голову и оглядел гудевший на площади народ. Там были посадские женки и ребята, жавшиеся к матерям. Глядя на них, атаман крикнул:

— Женки честные, так ли они говорят? Сыты ли вы и довольны ли хлебом?

Словно ветер пробежал по людской волне, вспенил ее. Раздались крики:

— Упрятали хлеб из магазеев. И дети наши голодуют. Не верь им...

— Чуете?— оборотясь к раскольникам, кивнул в сторону толпы Грязнов.— Чуете, что говорят?

С минуту атаман помолчал, исподлобья поглядывая на купцов.

— Это верно!— снова заговорил торжественным голосом Грязнов.— Его императорское величество государь Петр Федорович столь милостив к людям древлей православной веры и даровал вам брады, и двуперстие, и осьмиконечный крест...

Староверы разом оживились и пододвинулись вперед. Но атаман движением руки остановил их.

— Стойте тут! Поведайте мне, где государем указано, что купцу допущено заворуйство? Говорю вам: носите с честью свои брады и креститесь двуперстием открыто, но наказую вам ныне открыть магазеи и отпустить хлеб бедным людишкам по сходной цене. Вот ты, борода, стань сюда!— указал он перстом в сторону своих есаулов и сказал им:— Возьмите его для залога! Будет ныне исполнено мое слово — даровать ему жизнь, а нет — завтра поутру на реле поднять его!

В толпе заревели купецкие женки, но плач их заглушили крики:

— Правильно судишь, батюшка! Правильно!

Дородный купец стоял ни жив ни мертв. Потупясь, стояли его сотоварищи, ожидая дальнейших указов пугачевца. Но Грязнов махнул рукой:

— Убрать их! Вести дворянишек!

Толпа расступилась, и казаки вытолкали к воеводскому крыльцу двух худощавых и дрожавших от холода чиновников и рыхлую простоволосую барыню со злющими, колючими глазами.

Чиновники были в потертых, прохудившихся на локтях мундирчиках, без шапок; они ежились и потирали посиневшие руки.

— Кто такие?— строго спросил их атаман.

— Стряпчие воеводской провинциальной избы,— трусливо отозвались оба.

— Так!— Грязнов огладил бороду и убежденно сказал:— Взяточники!

Стряпчие пали на колени.

— Был грех, сударь!— признались они.

Атаман с презрением оглядел их, поморщился.

— Каждому полста розог!— громко сказал он и обернулся к барыне в бархатном салопе.— А ты кто такая?

— Столбовая дворянка Прокофьева!— горделиво и зло отозвалась барыня.

— Заводчица?— переспросил Грязнов.

— Была ранее и заводчицей, а ныне вдова и живу от сбережений,— осмелев, сказала салопница.— Вин за собою не чую и перед хамом не в отчете!

— Кровопийца! На рели негодницу!— закричали в толпе.

— Чем согрешила она перед честным людом?— возвысил голос атаман.

— Душегубица она! Мучительница!.. Немало холопов перевела да покалечила!— снова закричали в толпе.

— Тишь-ко, не все разом! Кто свидетельствует против нее?— спросил пугачевец.

Из толпы на костылях вышла в рваном шушуне девка.

— Дозволь, батюшка,— поклонилась она Грязнову.
Атаман кивнул головой:

— Говори!

— Холопка я той душегубки,— начала жалобу девка.— Тиранство чинила она над нами, морила непомерной работой и голодом. Не управишься с уроком — била чем попало, поджигала волосы на голове, хватала за уши раскаленными шипцами, а то, озлобясь, хлестала кипятком в лицо.

— Врешь, сука!— не утерпела ответчица. Ее крупное лицо побурело от гнева, глаза сузились, как у разъяренной рыси.— Погоди, доберусь, хамка!..— пригрозила она.

Грязнов усмехнулся.

— Попалась волчица в капкан, да грозится. Молчи, пока в глотку тряпицу не сунули. Аль невтерпеж, правда глаза колет?— сказал он.

В народе прокатился гул. Атаман поднял руку:

— Тише, люди! Досказывай, девка. Не таи ничего.

Калека переступила на костылях, сморщнлась:

— Ноженьки мои искалечнла барыня. Бельишко не управнлась в срок перемыть, рассерчала и босой поставила меня на раскаленные уголья, потешилась моими муками. Калека ноне я, меж двор скнтаюсь...

— Люди, правду лн сказывает девка?— крикнул толпе Грязнов.

— Сущую правду!— закричали в народе.— Та подлюга Прокофьева головы бнла, от побоев у ее холопов червнем спины гнили. Стряпухе ребра поленом порушила, и та сгибла. На релн ее! На рели!..

— Не сметь трогать! Я госпожа!— с ненавистью крикнула заводчица.— И кто ты, вор, что судишь меня, столбовую дворянку? Я до царицы доберусь! Я...

Она задыхалась от гнева и ярости. Подбежав к пугачевцу, плюнула ему в ноги.

— Вор! Вор ты! Не смеешь дворян судить!— исступленно закричала она.

— Вндать сову по полету! — сдержнвая подступавшнй гнев, сказал Грязнов н укоризненно покачал головой.— Эх, и разошлась, матушка, поди от злобы упрела. А ну, детушки, подвесь ее для остуды на рели!..

Десятки рук протянулись к салопнице и, схватив, поволокли к виселнце.

— Батюшка!— вдруг взвыла заводчица.— За что же честную вдову наказуешь? Неужели за холопку, за рабу ленивую?..

Остервеневшая баба, как волчица, огрызалась, кусала руки людям, лягалась, выла и брызгала слюной, но ее подтащили под релн н накинули петлю...

По приказу атамана Грязнова казаки перекопали «назьмы» за валом, отыскали изувеченное замерзшее тело хорунжего Наума Невзорова, обмыли его и с почестью доставили в войсковую избу. Отыскали тело и казака Михаила Уржумцева. Уложив в гроб тела за-

мученных товарищей, пугачевцы торжественно отнесли их на кладбище и погребли. Сам Грязнов провожал своих ратных друзей до могилы. С городского вала ударили из пушек. И под пальбу из орудий, при глубоком людском молчании, опустили гробы в последнее убежище.

— Спите, братцы!— скорбно склонился Грязнов и утер набежавшую на глаза слезу...

2

В середине февраля в Челябу подошла помощь из Кыштыма. По глубоким снегам, пробираясь глухими лесами, перевалив горы, Митька Перстень привел в городок триста кыштымских и каслинских работных. Полсотни из них были конны и хорошо вооружены. У каждого сабля и пика, у многих за плечами ружьишки.

За конницей шла пехота, ощетинясь пиками. Люди двигались ладно, стройно; это больше всего обрадовало атамана Грязнова, поджидавшего отряд на крыльце воеводского дома.

За пехотой на дровнях везли пушки и лари с чугунными ядрами. Дальше тянулся обоз.

Стоявший на крыльце бомбардир Волков заликовал, сорвал с головы шапку и закричал:

— Ура, братцы, орудия идут! Матушки-голубушки мои!..

Впереди отряда на добром коне ехал Перстень, одетый в крытую сукном соболью шубу. На распахнутой груди тускло поблескивала кольчуга, на боку висел длинный меч, а за цветным поясом — два пистолета отменной работы.

Обрадованный подоспевшей помощью, Грязнов сбежал с крыльца. Митька, в свою очередь, несмотря на тяжелую шубу, проворно соскочил с коня и пошел навстречу атаману.

Оба на виду у всех крепко обнялись и расцеловались.

— Отколь такой убор раздобыл?— полюбопытствовал Грязнов, дотрагиваясь рукой до посеребренной кольчуги.

— Кольчуга-то демидовская! При первом Демиде попала на завод. Отобрал ее заводчик у пленного баш-

кирского батыря Султана. И шуба демидовская, и пистолеты его!— похвалился Перстень.

Обнявшись, они прошли до воеводского дома. На крыльце Грязнов опустился в кресло, а Перстень вновь чинно поклонился.

— Довожу до атамана, что прибыл на помощь и на ратные дела. Воинство как довелось, так и обрядили к бою.

Грязнов внимательно оглядел ряды и похвалил:

— Вижу, толково вооружил войско. Кони хороших статей, люди тоже в полной силе. Жалую тебе за воинскую расторопность, Дмитрий Иванович, царевым есаулом!

Перстень скинул шапку, склонил голову. Был он еще крепок, кряжист, курчавая борода, словно изморозью, тронута ранней сединой. Атаман взял Митьку за плечи и, пытливо глядя ему в глаза, спросил:

— Чаю, по-хорошему все обладил на заводе?

— Все как есть!— тряхнул головой Перстень.— Лари плотинные пожег, домницы погасил —«козлов» посадили.

Грязнов вдруг потемнел, опустил руки. Охрипшим голосом он выкрикнул:

— Что ж ты наробил? Кто дозволил?

Перстень, пропустив зловещие нотки в голосе атамана, беззаботно похвалился:

— Что надо, то и наробил и дозволенья не спрашивал. Демидовский пес приказчик сбег, а мы душу и на том отвели. Хватит, намытарились у домнушек!

— Разбойник!— не стерпев, вскочил Грязнов. Лицо его побагровело.— Как ты смел столь злодейское дело допустить? Да знаешь ли ты, что царю-батюшке литье потребно, в пушках нужда великая!

Перстень побледнел, растерянно развел руками.

— Да нешто я ведал...— смущенно сказал он.

— Ты что ж думал: ворога голыми руками возьмешь? Эх, наробил! Сечь тебя плетями за такое дело, да милую за доброе войско. Воин ты удалой, а хозяин плохой, не рачительный!

Митька надел шапку, топтался на крыльце, не зная, как улестить атамана...

3

Перфилька так и не ушел из Челябы. Он упрятался на сеновале и, пока воевода не выбрался из города, пребывал в тайнике. После отбытия барина холоп поселился в крохотной светелке в воеводском доме. Из узкого стрельчатого окошечка видны были заплоты и городской вал, укрытый глубоким снегом, влево в широкой лощине расстилалась скованная льдом река Миасс, на которой с утра до ночи возились ватажки посадских ребятишек. Из-за серых воинских бревенчатых магазеев выглядывала золоченая маковка церкви. Прямо на площади высились глаголи. На них раскачивались окоченевшие трупы людей.

Из своего окошечка он видел, как со скрипом распахивались дубовые ворота и на воеводский двор въезжали сани с колодниками. Были среди них офицеришки в заиндевелых паричках, посиневшие от холода дородные купцы.

Атаман выходил на крыльцо и судил народных супостатов. По одному только мановению его руки сермяжники подхватывали жертву и вели к виселице. Ни слезы, ни мольбы не могли разжалобить этого бородатого пугачевца. Но отчего тянулись к нему сердца простых людей? В долгую вьюжную ночь, когда в трубе стонал лихой ветер и за окном поскрипывали страшные рели, старику не спалось, и он подолгу раздумывал о Грязнове. Где-то в душе росло и крепло оправдание его суровым делам.

«А разве дворяне и заводчики жалели народ?— спрашивал он себя.— Не они ли породили эту жестокость? Кто льет кровь, сам должен поплатиться. Так по воле божией отлились волку овечьи слезы!..»

Простой и суровый человек неожиданно вошел в жизнь старика и покорил своей жестокой правдой его сердце. Совсем неожиданно Перфилька попал Грязнову на глаза.

— Ты что же не ушел со своим бояриным?— удивленно спросил атаман.

— Мне с ним не по дороге!— решительно ответил старик.— Куда весь народ, туда и я!

Атаман кивнул головой и удалился в свою горницу. Перфилька вернулся в светелку, но не находил себе места. «Видать, не верит мне!»— подумал он и решил поговорить с Грязновым по душам.

Глухой ночью, когда в доме угомонились люди, а в клети прокричали на нашести петухи-полуночники, он тихо пробрался в горницу, в которой почивал атаман. Громадный бородатый часовой, раскинув ноги, безмятежно храпел у порога. Старик бесшумной тенью промелькнул мимо него.

Грязнов лежал на скамье, подложив под голову свернутый кафтан. Закинув руки за голову, спокойно и ровно дышал. Перфилька невольно залюбовался детиной. Он был крепок, мускулист, с широкой грудью. На его лбу выступили мелкие капельки пота, на загорелом смуглом лице от колеблющегося светильника мелькали тени. Курчавая бородка делала лицо строгим и мужественным...

Атаман вдруг вздрогнул и открыл глаза. Завидя постороннего человека, он быстро вскочил и сел.

— Ты что тут делаешь?— закричал он, все еще обуреваемый сном.

— Пришел про думки свои рассказать!— душевно сказал старик.

— Про думки ли? Может быть, тебя подослали зарезать меня?

— Вот то-то и есть. Знал, что это скажешь!— с обидой вымолвил Перфилька.— Думаешь, холоп я, так и сердце у меня подлое! Нет, брат, шалишь! Я, может, много годов ожидал, чтобы отомстить за свои обиды! Гляди, что бары со мной делали!— с обидой в голосе сказал он и сбросил полушубок. Став к атаману спиной, старик завернул рубаху. На теле синели толстые рубцы, следы плетей.

— Вот видишь, как с нашим братом!— вздохнул Перфилька.— А за что? За то, что вступился за родимую сестру. Растлил ее барин...

Старик снова обрядился в полушубок, склонил голову.

— Верь мне, батюшка! Не соглядатаем я тут остался, а по велению своей совести!— с жаром сказал он, и голос его взволнованно дрогнул.

— Верю, отец! Иди и успокойся! Люб ты мне своей прямотой!

Перфилька поклонился Грязнову:

— Спасибо, родной, на добром слове!

Старик вышел на двор; падал мягкий снежок. Он шумно вздохнул и стал жадно глотать свежий воздух. На сердце стало покойнее...

4

Покинув Челябу, генерал Деколонг со своим войском и обозами исетской провинциальной канцелярии двинулся по Сибирской равнине на Шадринск и Далматов монастырь, намереваясь таким обходным и безопасным путем достигнуть Екатеринбурга. Никто из местных должностных лиц в дистриктах не знал об оставлении Челябы и движении генерала в глубь провинции. Он уже достиг Окуневской слободы, когда об этом стало известно шадринскому коменданту, секунд-майору Кениху. Тот не на шутку встревожился и, чтобы предупредить отступающих о грозящей опасности, послал нарочного с донесением.

17 февраля курьер достиг Окуневской слободы и вручил генералу Деколонгу письмо, в котором секунд-майор сообщал неприятную новость:

«Уведомился я, что ваше превосходительство изволите близ здешних мест обретаться,— писал Кених,— того ради не премину донести о здешних обстоятельствах, которые уже злодейским ядом наполнены: весь Далматов монастырь окружен, да и около здешнего города деревни, не далее верст десять, все неприятельской стороне предались, и так теперь проезду никакого нет...»

На другой день генерал получил депешу от главнокомандующего Александра Ильича Бибикова, который писал:

«Прошу вас сделать своими войсками движение к Оренбургу, показывая вид, что идете к Башкирии, дабы тем сделать диверсию злодею и в то же время транспортировать провиант и фураж для Оренбурга, употребив к тому всю возможность и старание. Сие содействие со стороны вашей крайне необходимо нужно, дабы отовсюду стеснять главную злодейскую толпу и чтобы наискорее освободить Оренбург и весь этот край очистить...»

Хорошо было об этом писать, сидя в Екатеринбурге, но каково было Деколонгу, попавшему по своей вине в ловушку! Оставление им Челябы дало возможность повстанческому движению перехлестнуть через Урал и быстро проникнуть в Сибирскую губернию.

На всем пути отступающие встречались с населением, которое с минуты на минуту ждало только подхода пугачевских отрядов.

Чтобы хоть немного разгрузиться, Деколонг решил исетскую провинциальную канцелярию со всеми обозами и приставшими челябинскими обывателями направить в город Исетск, а сам двинулся в Шадринск.

Волнение между тем принимало угрожающие размеры. Сибирский тракт между Екатеринбургом и Тюменью был пересечен заводскими крестьянами, которые заняли многие придорожные села и угрожали даже самой Тюмени. Каждый день в Шадринск приходили ужасающие для Деколонга вести. Управитель Ялуторовского дистрикта Бабановский доносил ему, что восстали крестьяне слобод Иковской, Белозерской и Марайской. В Ивановской же слободе капитан Смольянинов с командою резервных и отставных солдат долго защищался против повстанцев, но после потерь должен был сдаться.

Везде народ с радостью встречал пугачевцев, стоило только им появиться. В село Теченское, что неподалеку от Шадринска, прибыл пугачевский капрал Матвей Евсеев всего с шестью повстанцами и занял село. Священники вышли встречать его с иконами, ударили в колокола.

Деколонг отсиживался в Шадринске, не зная, на что решиться. Рядом находился в осаде Далматов-Успенский монастырь. Пугачевский полковник Прохор Нестеров с многочисленными толпами вооруженных крестьян занял все прилегающие к обители деревни, стремясь захватить самый монастырь. Каждый день под стенами происходили жаркие схватки, но обитель стойко отражала штурмы. Обнесенная толстой кирпичной стеной со шпицами и амбразурами в два ряда и бойницами для боя из мелкого оружья, она надолго задержала подле себя восставших крестьян.

Неподалеку от монастырских бастионов шумным табором расположился лагерь пугачевцев. Ночью, ярко освещая багровым заревом небо, горели сотни костров. Стоявшие на крепостных стенах монахи со страхом взирали на табор, освещенный потоками огня, чутко прислушивались к конскому ржанью, к людскому говору, к лязгу оружия.

Среди костров по табору расхаживал присланный атаманом Грязновым отец Савва, подбадривая восставших:

— На штурм, братие! И что мы среди зимы стоим в студеном поле? В пики, братие, монасей!

Однако и полковник Прохор Нестеров и сами монастырские мужики хоть и были злы на монахов, но отмалчивались. Знали они, что в Шадринск вступил с войсками генерал Деколонг. Боялся Нестеров, что при неудаче его ватажки разбегутся кто куда. То и дело повстанцы с тревогой вглядывались в дорогу, идущую на Шадринск, опасаясь нападения.

Между тем Деколонг распустил слух, что он с огромным войском действительно выступает в поход к Далматову монастырю.

В лагере повстанцев с ночи началась паника. Рассветало. Легкий туман волнистым пологом закрывал долину реки Исеть с многочисленными гаснущими кострами. Слышен был нарастающий шум, словно катился морской прибой.

В одиннадцатом часу пополудни, когда ветер понемногу развеял серую пелену тумана, стоявшие на стенах монастыря увидели, что вниз по Исети стелется густой дым — горели соломенные шалаши пугачевцев. По шадринской дороге к селу Никольскому бежали толпы возбужденного народа. Над оснеженными полями гудел благовест.

— Воры бегут! Господь шлет нам спасение!— кричали со стен монахи.

С пяти монастырских бастионов по толпе бегущих пугачевцев загремела пушечная и ружейная пальба. Монахи не жалели пороху и ядер. Руководивший обороной монастыря секунд-майор Заворотков воодушевил монашескую братию на вылазку. Поседлав коней, сорок монахов во главе с майором пустились в погоню. Настигнув лавину убегающих мужиков, они били их дубинами, секли мечами, арканили живьем.

Однако в становище поп Савва поднял народ к отпору. Окруженные возами и рогатками, повстанцы озлобленно отбивались. В их толпе всюду возникал высокий жилистый Савва, одетый в сермягу. Выворотив из саней крепкую оглоблю, он яростно крутил ею над головой и наседал на монахов.

— Круши супостатов! За мной, ребята!— взывал поп к мужикам, и, войдя в азарт, он размашисто бил монахов оглоблей по головам. Монахи выли, хмелели от ярости, но поселяне со своим предводителем стойко держались.

— Эк, молодчина! Силен поп!— похвалил секунд-майор богатыря и закричал монастырской братии:— Живьем, живьем брать сего окаянца!

В пылу схватки не заметил отец Савва, как жилистый сильный монах, проворно взобравшись на воз, ловким движением кинул вперед аркан. Змеей взвилось крепкое пеньковое вервие над удалым попом. Не успел он уклониться, как петля обвилась вокруг шеи. Савва взмахнул руками и распластался на земле.

— Наша взяла!— заревели монахи.— Низвергли поганого Голиафа! Круши, братия!..

Над местом схватки стоял непрерывный рев осатанелой от удачи монастырской братии. Перепрыгивая рогатки, перебираясь через возы, они, как табун одичавших коней, мчались напролом.

Видя пленение своего вожака, повстанцы потихоньку в одиночку стали выбираться из лагеря и уходить по теченской дороге.

Но разгневанные монахи гнались за ними, настигали и на ходу рубили.

Между тем монах, опрокинувший бунташного попа Савву на землю, навалился на него всем своим грузным телом.

— Опять попался-таки, смутьян! Подлая душа!..— ругался он, награждая его тумаками.— Как же ты, греховодник, против бога и монастыря руку поднял?

Побитые, рассеянные по всему полю, пугачевцы уходили по челябинской дороге...

Наступал вечер. Над разметанным табором кружилось воронье. Избитых пленных мужиков монахи погнали в обитель. Впереди всех шел измордованный, изрядно помятый Савва. Шел он спокойно, ровным привычным шагом, как пахарь по вспаханной ниве. Подойдя к воротам обители, над которыми теплилась лампада перед потемневшей от непогод иконкой, Савва смахнул треух и набожно перекрестился.

Тяжелые дубовые ворота, скрипя на ржавых петлях, медленно распахнулись перед толпой пленников. Словно чудовище, они поглотили их и снова грузно замкнулись. Савва тяжело вздохнул.

— Ну, теперь, кажись, отгулял свое!— сказал он и, оглядывая крепкие мшистые стены, подумал: «От сих конопатых да брюхатых блудодеев ни одна живая душа не вырвется, всех в подземелье сволокут! Пока в пекло угодишь, монаси потешатся...»

Спустя неделю генерал Деколонг со своим немногочисленным войском сделал вылазку из Шадринска и совершенно неожиданно для себя нанес повстанцам решительное поражение под Уксянской слободой. Взятые в плен повстанцы и те, которые были захвачены монахами Далматова монастыря, были преданы суду. Решение шадринской управительской канцелярии было конфирмовано генералом Деколонгом 18 марта 1774 года и немедленно приведено в исполнение.

В Шадринске, на базарной площади, при стечении народа двадцать шесть осужденных были повешены, сорок четыре повстанца публично жестоко наказаны кнутом. Не пощадили и священнослужителей. По указу святейшего синода пятнадцать священников и дьяконов Тобольской епархии, в их числе и священник Савва Васильев, извержены были из сана, отлучены от церкви, преданы проклятию и гражданскому суду...

Скованный буйташный поп был отвезен в Екатеринбург, где в ожидании своей участи томился в сыром склепе при горной тюрьме.

Глава восьмая

1

Отряд майора Гагрина осадил Челябу и не допускал подвоза продовольствия в крепость. Каждый день в город залетали ядра, крушили заплоты и калечили людей. Стиснув зубы, Грязнов прислушивался к орудийному грохоту. Хоть в крепости имелись добрые пушки, но отвечать не приходилось: все сильнее и сильнее давала себя знать недостача в огнестрельных припасах.

— Поберегите для трудного часа!— наказывал Грязнов.

Заводские пушкари неохотно подчинились приказу. Они сумрачно глядели на атамана, их изможденные лица были серы от недоедания и бессонных ночей.

— Никак не сдержать своего сердца!— жаловались они.— Да и что тут отсиживаться, схватиться бы в последний раз!

— Погодите, братцы, наступит час, покажем тогда супостату, только вот батюшка-государь подойдет на помощь!— посулил атаман.

У пушкарей теплели лица; они, как малые дети, верили, что подойдет Пугачев. Не ведали они, что в середине марта в крепость тайно пробрался башкирец и принес атаману страшную весть о поражении царя-батюшки под Сакмарским городком. Сохраняя спокойный вид, Грязнов утешал пушкарей, а сердце было в большой тревоге. И все-таки, несмотря на тяготы осады, в его душе тлела большая надежда на помощь.

«Не может того быть, чтобы сгиб царь-батюшка!— рассуждал он.— На войне счастье переменчиво. Сегодня они нас побили, а завтра мы их поколотим. Не таков Петр Федорович, чтобы от правды своей отступиться. Умчал, знать, в степи новое войско набирать».

Утром Грязнов обошел заплоты и валы, проверил их исправность. Тут его ждала неприятность: ночью с крепостного вала убежало полсотни крестьян, побросав пищали и рогатины. Только заводчина день и ночь крепко сторожила крепость.

Хмурый Перстень пристал к атаману:

— Ты мужичков выпусти: ненадежны больно, только хлеб задарма жрут, а его и так недохватка.

— Негожие речи ведешь,— недовольно перебил Грязнов.— Суди сам, что будет: разойдутся крестьяне по домам, и пойдет молва, что сгибло наше дело. Кто ж тогда подниметься после этого?

— Пожалуй, справедливо рассудил!— согласился Перстень.— Только за ними надо зорче теперь поглядывать!

— И это справедливо!— одобрил Грязнов.

Оба они, коренастые, ладные, нога в ногу обошли заплоты. На вид словно родные братья, но разной складки люди. Перстень подбадривал Грязнова на вылазку:

— Послухай ты меня, Никифорович, что скажу тебе. Не тем враг побит бывает, что он слаб. В драке бьют того, кто выжидает, а кто посмелее да понахальнее, тот морду и кровянит! Ударим-ка мы ночью на воинство Гагрина да вырвемся на простор! Не ждать нам тут царя-батюшку в опостылевших заплотах, а самим надо идти в горы.

— Молчи!— насупился атаман.— Куда пойдешь, когда вот-вот водополье нагрянет: ни пешему, ни конному пути не будет!

— Это им страшно, а нам привычно налегке!— не сдавался Перстень.

Он пытливо глядел в лицо Грязнова, ожидая решения. Наклонившись к нему, он вдруг прошептал:

— Не по душе мне, Никифорович, тут один писец — гусиное перо. Юлит что-то...

Писец Колесников и впрямь стал ненадежным. Он наглел с каждым днем. Усердно скрипя пером, канцелярист будто невзначай спросил пугачевца:

— А что, атаман, худо доводится нам? Сказывают, что царь-батюшка убег из-под Сакмарского городка, побросав войско. Расказнит нас теперь Гагрин.

Грязнов побледнел.

— Откуда ты прознал о том, гусиное перо?— сердито спросил он.

Трусливо опустив глаза, писец слукавил:

— Слыхано про беду от людей на торжке.

— Уж не ты ли сам разносишь эту молву?— пытливо посмотрел на него пугачевец.

Писец втянул утиную голову в узкие плечи, съежился в ожидании удара.

— Что ты, батюшка, как это можно! Да меня же первого повесит Гагрин. Смилуйся, отец родной!

Грязнов сгреб его за шиворот, со злостью отбросил в угол, брезгливо поморщился.

— Погоди, доберусь до тебя, тогда берегись!— пригрозил он.

В душе писца росла тревога, хотя внешне держался он тихо, покорно. Вел он себя осторожно, воровски. В темную ночь, когда в доме все уснули глубоким сном, Колесников неслышно выбрался во двор и скрылся в загуменье. Как тать, крался он вдоль бревенчатого заплота.

Не знал он, что зоркие глаза Перфильки напряженно следят за ним. Старик неслышно прошел в загуменье и притаился в темном углу.

Писец достал из-под стрехи тугой татарский лук и, навертев бумажку, пустил за тын стрелу.

«Ишь, гадина, что робит! Предает, пес!»— догадался старик. От негодования его колотил мелкий озноб.

Сделав свое дело, писец невидимой тенью убрался в дом. За ним неслышно юркнул Перфилька.

«Атаману все надо рассказать!»— решил он.

Все утро он поджидал Грязнова у дверей воеводской канцелярии.

— Допусти на пару слов. Дело есть тайное!— строго сказал он атаману.

Грязнов усмехнулся, повел плечом:

— С какой поры у тебя тайные дела завелись, дед?

— А ты не шути!— нахмурился Перфилька.— Тут что-то важное есть!

Однако не пришлось старику поговорить с атаманом. Наехали сотники и увлекли Грязнова на валы. Так до ночи и не вернулся он в свою избу.

Догадывался Перфилька, что воеводский писец затевает неладное, а что, никак не узнать. Со скучающим видом, точно от безделья, не привлекая внимания, старик обошел двор и прилегающие огороды. В зарослях быльника он отыскал знакомую открытую калиточку — отсюда тропка бежала прямо в степь...

Осада Челябы продолжалась. Все люди из воеводского дома уходили на валы, к тыну и там проводили все время. Так и не удалось Перфильке поговорить наедине с Грязновым. В один из дней атаман прислал старику каравай.

— Гляди, что творится!— обрадовался Перфилька.— Вспомнил о старике. Пожалел!— У него задрожали на ресницах слезы благодарности. Он решил во что бы ни стало добраться до Грязнова и рассказать ему о своих подозрениях.

Ночью городок задрожал от грохота пушек. Ядра падали неподалеку на площади перед воеводским домом. Одно из них угодило в амбарушку и вырвало угол.

«Началось!»— подумал Перфилька и прислушался. По канцелярии раздавались тяжелые шаги атамана. «В раздумье бродит!»— решил старик.

В коридоре шумно дышал часовой. Мертвая тишина снова застыла в обширном доме. Где-то за обветшалым сундуком в подполице скреблись крысы.

«Все у заплотов, а его покинули одного!»— встревоженно подумал Перфилька, и внезапный страх охватил его: «А что, если писец...»

Вправо за площадью в глухом переулке в крепостной стене были восточные ворота. Никто не охранял их, они выходили в глубокий заросший тальником овраг.

«А что, если он впустит их сюда?»— Жгучая догадка обожгла старика.

Он хотел кинуться в горницу, в которой расхаживал Грязнов, предупредить его, но в эту минуту за окнами затопало множество ног, раздались крики. Перфилька распахнул дверь в коридор. Часовой, трусливо взглянув на него, прохрипел:

— Никак чужаки в город ворвались!

Пятясь задом, он нырнул во двор, исчез в потемках.

Крики становились громче, тревожнее. Из гомона вырвался знакомый голос писца:

— Сюда!.. Сюда!— кричал он.— Бунтовщик тут!..

Вслед за этим раздались глухие удары в дверь. Перфилька ворвался в горницу и схватил атамана за руку.

— Измена! Беги! — бледный, трусящийся, закричал он.

— Да ты что, сдурел?

Но старик снова схватил его за рукав и настойчиво прошептал:

— Обошли кругом. Отрезаны! Иди за мной! Иди!..

Грязнов зло выругался, но покорно пошел за ним.

В конюшне он быстро взнуздал скакуна и проворно вывел его на загуменье. Перфилька открыл заветную калитку. Кругом все тонуло во мраке. Со степи дул свежий ветер. Старик потянулся, обнял и поцеловал атамана.

— Скачи, дорогой, еще не все пропало! Только тут и спасенье! Выберешься и помощь приведешь!

— Спасибо, отец!— крикнул Грязнов и юркнул на коне в калитку...

Когда Перфилька вернулся в свою каморку, писец с солдатами носился по дому, обыскивая все закоулки.

— Где возмутитель, собачья душа?— истошно кричал Колесников. Нарвавшись на Перфильку, он набросился на него:— Не видел?

— А хоть бы и видел, не скажу, иуда!— отрезал старик.

2

Всю ночь пушки били по Челябе. По дорогам сомкнутым строем двигались колонны. На заре ядро с превеликим грохотом ударило в крепостные ворота, поднялись столбы дыма, затрещало дерево. В образовавшуюся брешь, как вода в половодье, ворвался шумящий солдатский поток во главе с майором Гагриным.

— За мной, братцы! За мной!.. Коли супостатов!— закричал он солдатам, бежавшим мимо с ружьями наперевес.

Глухой гул человеческих голосов нарастал и плескался, как ревущая горная река. На валу у тына

началась паника. Напрасно кричали и грозили пугачевские сотники и есаулы, приписные мужики, оборонявшие заплоты, побросали дубины, рогатины, пики и в страхе разбегались по городу в поисках убежища. Иные хоронились в подполицах обывательских домов, другие, обезумев от страха, бросались в разлившийся Миасс и стремились вплавь добраться до Заречной слободки, упиравшейся в густой березовый лес, третьи сдавались на милость победителя. Но майор Гагрин не щадил повинную голову. Еще кипела схватка, а на площади перед воеводской избой на глаголях, где еще час тому назад висели окоченевшие трупы захваченных повстанцами дворян, уже корчились в предсмертных судорогах пленники правительственного войска.

Брезжил синий холодный рассвет. В тающем сумраке его ожесточенно дрались последние защитники крепостцы.

В углу крепости, на валу стояла пугачевская батарея, и старый инвалид-бомбардир Волков не хотел сдаваться. Он бил вдоль улиц города, нанося врагу большой урон.

— Порадейте, братцы!— уговаривал он пушкарей.— На последнее, хотя душу дай отвести! Все равно не пощадят царицыны собаки!

Заводские пушкари и сами понимали, что наступил решительный час. Лучше умереть в бою, чем сдаться на муки победителям!

Пороховой дым обволакивал вал, и казалось, что все кругом горело. Майор Гагрин долго всматривался в сторону пугачевской батареи и приказал перебить последних защитников. Прокрадываясь между домами и сугробами, стрелки вели частый ружейный огонь по батарейцам. То один, то другой падал, сраженный пулей. Однако никто не дрогнул. Кипучий, взволнованный бомбардир всюду успевал и для всех находил ласковое слово.

— Пока наши матушки-орудия рявкают, не видать им нас! Они наши защитники!— ласково поглядывал он на орудия.— Гляди, ловко-то как!— похвалил он наводчика, когда пушчонка ударила в самое скопление наседавшего врага.— Ай да матушка!..

Но тут старый солдат схватился за правую руку.

— Эх, черти, куда попали!— сердито выругался он, увидев кровь. Рука повисла плетью. Однако он пересилил боль и мужественно пошел к орудию.— А ну-ка,

огоньком!— прикрикнул он и левой рукой схватил за прицельные планки. Не успел старик навести орудие, как вторая пуля пронзила левое плечо. Он растерянно оглянулся вокруг, поморщился.— Вишь ты, какое дело!

К нему подбежала посадская женка и холстиной стала перевязывать раны. Она бережно перевела старика в затишье и сказала ему:

— Ты уж, батюшка, посиди тут!

— Э, нет, шалишь!— снова вскочил бомбардир и опять, ковыляя, пошел к своей пушке.

— Да ты куда?— набросилась на него баба.

— Известно куда! К орудию!

— Зачем?

— Добрая ты, а глупая, доченька!— сказал он ласково.— Да оно затоскует без меня. Кто его наводить станет? Оно ко мне привыкло, других не послухает!

Он по гребню вала пошел к батарее. Не успел старик добраться до своей пушки, его ранили в голову.

Но в эту минуту пушка загрохотала и ударила ядром в самую густую толпу наступавших. Лицо старика просияло.

— Гляди! Чувствует, что я тут... Спасибо, родная!— Он нашел силы дойти до пушки и головой припал к дулу.

— Батюшка, уйди!— не отставала от него баба, взглядывая на пушкарей, которые, забыв все на свете, слали ядро за ядром по врагу.

Бомбардир так и не отошел от орудия, пока четвертая пуля не попала ему в грудь. Глаза его заволоклись туманом. Собирая последние силы, старик приподнял голову и глазами подозвал к себе молодого канонира:

— Береги ее до последнего...

Он не договорил и навсегда угомонился. Заводской парень строго посмотрел на женку и прикрикнул:

— Айда отсюда! Сейчас выпустим последние припасы и взрываться будем!..

А в это время на другом конце Челябы шла тоже последняя схватка. Митька Перстень с полусотней конников врубился в неистово оравшую солдатскую лавину и прокладывал себе дорогу в поле. В толпе, в человеческом месиве слышались только стоны поверженных, храпели кони, вырывалось озлобленное слово да звенели удила и сабли.

Напрасно майор Гагрин бросался в самую кипень боя; его злой дончак, дыбясь среди груды тел, топтал

и своих и чужих, однако проворный и лихой рубака Перстень отбивал все удары врагов. Его маленький гиедой башкирский коиек юлой вертелся среди свалки и выносил хозяина изо всех бед.

От скрещивавшихся сабель сыпались искры, неистово ржали разъяренные кровью кони; много пало вояк в страшиой резне и давке, ио ватажка Перстия прорвалась-таки за городской тын и понеслась в дикое поле. Гагрии погиался было за пугачевцами, ио вовремя одумался. В степи полусотня отчаяниых рубак не устрашилась бы и сотни противников. Обескураженный майор вернулся в крепость. Здесь иа валу ои осадил коня и оглядел город.

Всходило солнце, первые отблески восхода заиграли на крестах церквей, озолотили свежий тес обновлениых заплотов и, добравшись до реки, озарили сияиием вешние воды. У валов и подле заплота валялись груды бездыханных тел, а вдали за валом в диком поле, припав к луке, словио стлались по земле темиые всадники,— быстро уходили от беды коиники Перстня...

Все утро майор Гагрин с нетерпением ожидал, когда приведут плеиного атамана Грязнова. Но посланные на розыски люди не возвращались.

«Должно быть, утоиул иа переправе через Миасс»,— с досадой подумал майор, расхаживая по опустевшей воеводской избе. В разбитое окно дул свежий апрельский ветер, пол был весь засореи рваными бумагами. «Мерзость запустения!»— с брезгливостью рассматривал Гагрин следы опустошения.

Майор решил пройти в жилые комнаты воеводского дома. Крепко сжав рукоять сабельки, ои решительно распахиул дверь в покои и на пороге иосом к иосу столкнулся с долговязым чиновником. Испуганый иеожидаииостью, Гагрии отступил.

— Кто ты?— иасупив брови, строго спросил он чиновника.

Человек в затертом муидирчике упал на колеии.

— Ваше высокоблагородие, не губите!— возопил ои.— Извольте выслушать!..

— Кто ты? Откуда взялся?— успокоившись, но сохраияя строгость иа лице, снова спросил майор.

— Канцелярист Колесников. Пленен ворами. Ваше высокоблагородие, будьте милостивы!— слезливо умолял чииовик и протяиул руки. По испитым щекам его текли слезы.

— Изменщик, предался вору!— сердито закричал Гагрин.— На глаголь захотел?

Канцелярист прополз на коленях вперед и ухватился за ноги майора. Прижав свое мокрое остроносое лицо к грязным сапогам офицера, взмолился:

— Пощадите! Это я наказал открыть вам восточные ворота. Это я...

— Молчать, чернильная душа!— не на шутку вдруг рассвирепел майор.— Где же вор? Куда сбежал?— Он схватил канцеляриста за шиворот и потряс.— Сказывай, где вор?

— Сбежал!— поник головой чиновник.— Сбежал в степь. Ваше высокоблагородие, тут есть один старикашка-слуга, так он переметнулся на сторону врага. Он и спас его!

— Притащить злодея!— выкрикнул офицер.— Эй, кто там?

Вошли два солдата, чиновник залебезил перед ними:

— За мной, братцы, за мной! Я покажу, где обретается злодей!

Перфильку притащили из светелки. Он не упирался, шел смело и перед столом допросчика держался с достоинством.

— Ты и есть тот самый злодей?— сердито спросил Гагрин.

— Я есть Перфилий Иванович Шерстобитов!— с гордостью ответил старик.

— Вору и самозванцу служил! На глаголь вздерну!— прикрикнул офицер.

— Врешь!— перебил его Перфилька, и глаза его блеснули.— Врешь, супостат! Не вору и самозванцу я служил, а царю Петру Федоровичу и простому народу!

— Вот как ты заговорил, собака!— гневно выкрикнул майор.— Убрать! Повесить супостата!

— Что, не по душе правда?— насмешливо сказал Перфилька и укоризненно покачал головой.— Эх, барин, барин, не кричи и не пугай! Не будет по-вашему. Меня изничтожишь, другого, а всю Расею не перебьешь!

— Повесить!— зло приказал майор, и рядом со стариком встали конвойные. Они схватили старика за руки:

— Пошли, дед!

Перфилька вырвался, прикрикнул:

— Не трожь, я сам до своей могилы дойду! Я не из трусливых!— Он вскинул голову, озорно блеснул глазами и вдруг на ходу запел:

Ты взойди-ка, взойди,
Солнце красное...

— Цыц!— прикрикнул, наливаясь яростью, Гагрин. Старик еще бойче запел:

Над дубравушкой, дубравушкой зеленой,
Обогрей, обсуши людей бедных...

Старика подвели к виселице. Он огляделся на просторы, перекрестился:

— Ну, шкуры, вешайте! Вам только со стариками и воевать!

Он стоял прямой, решительный. Из озорства палач выкрикнул:

— Повинись, старый! Гляди, помилуют!

— Все равно ту же песню спою! Не угомонится русский народ, пока всех своих захребетников не перебьет! Айда, делай, собака, свое дело!..

ЧАСТЬ 4

Глава первая

1

Вороико уиосил Грязнова в южноуральскую пустыню. Далеко позадн осталась Челяба, в туманиой дали на горизоите сииели горы, дыбились уральские камни-шихаиы. Впередн, как океаи, распахиулась безлюдная степь. Седогривый ковыль под вешним ветром бежал волиамн к далекому горизоиту. На редких курганах высились чериые камеиные идолы, грозиые и молчаливые стражи пустыии. Над кургаиами в снием иебе парили орлы. На перепутьях в пыли тлели кости, белели оскалеиные коискне черепа.

Вдали иа бархаиах, среди степиого марева, проиеслось легконогое стадо сайгаков, а за ними по следу, крадучись, бежал серый волк. Почуяв человека, зверь труслнво поджал хвост и юркнул в полыиь.

Велнкое множество сусликов, выбравшись из нор, оглашали пустыню свнстом. На встречиых озерах шумелн стан перелетных птиц. Шумиой тучей прн виде всадннка с водной глади подннмалнсь вариавы[1].

Степь! Степь!

Трн дия и три иочи атаман блуждал среди колышущихся седых воли ковыля. Раниим утром нз-за степных озер вставало солнце и зажигало самоцветы росы, уинзавшей травы, и паутинки, раскинутые среди хрупких былинок. Позднним вечером раскалеииое светило скры-

[1] Гнездящнеся по песчаным береговым норам красные уткн на Урале нменуются варнавами.

валось за курганами, смолкали тогда свист сусликов, клекот орлов, над пустыней загорались звезды, прилетал холодный ночной ветер.

Апрель в степи чудесен: и небо, и озера-ильмени, окаймленные камышами, и реки, набравшие силу от талых вод, отливают приятной для глаза голубизной. С наступлением сумерек на степь ложатся густые тени и наступает ничем не нарушаемая благостная тишина.

На четвертую ночь вспыхнули золотые огоньки. От края до края золотая корона охватила ночную землю — пылала степь.

Воронко взбежал на курган и тоскливо заржал. Грязнов поднялся в седле. Очарованный огоньками, он всматривался в ночную даль.

Над курганом во тьме с криком летели лебеди, прошумели утки. А небо было тихо, мигали звезды. Только один Воронко пугливо дрожал.

«В ильмени! Там спасенье!»— подумал атаман и, повернув коня, помчал к обширному мелководью. Сюда неслись стада сайгаков, не боясь человека и зверя.

Под звездным небом в тихой заводи застыли стада. Лишь вдали от берегов раздавался тихий плеск: встревоженно хлопали крыльями гуси...

Огоньки во тьме росли, торопились к небу. Словно кровью окрашивалась темь.

Воронко притих; вздрагивая ноздрями, нюхал воду; застыл изваянием. Утомленный долгим путем, всадник склонил голову, и сладкая полудрема охватила его. В сонных глазах мелькали золотые рои искр, они плыли к темному небу и гасли среди звезд. На смену им из мрака поднимались новые огоньки; они росли, окутывались синим дымком, а на водах ильменя от них заструилась багряная дорожка. И месяц, выглянувший из-за барханов, помутнел, стал угрюмо-багровым.

Была это явь или сон, беглый не помнил. Может, степная гарь, приносимая ветром, пламенеющее ночное небо и впрямь были морокой.

На предутренней прохладе, когда атаман пришел в себя, перед ним распростерлись прозрачные воды ильменя. Ни сайгаков, ни лебединых стай не было. За ильменями лежала черная, обугленная земля.

Грязнов выехал из тихой заводи, добрался до оврага и здесь подле родника увидел зеленеющий мысок, над которым сизой струйкой вился дымок. В песчаном

обрыве оврага он заметил лачужку. Подле очага сидела растрепанная старуха.

Она не встрепенулась, не поднялась, когда Грязнов спрыгнул с коня и подошел к ней. Белесые глаза старухи уставились на атамана. «Колдунья!— с суеверным страхом подумал он.— Ишь как наворожила: и огонь кругом обежал, и зверье не тронуло!..» Он подсел к огоньку и строго спросил:

— Ты откуда, баушка?

— Божий человек я, сынок!— безучастно отозвалась старуха.

— Казачка, стало быть, баушка?

— Кто — не знаю, не ведаю, сынок. Былиночка в поле. Занесло ветром, ровно перекати-поле, издалека. Ох, издалека,— ровным голосом ответила она и озабоченно заглянула в котелок.— Ох, горе-горюшко какое, нечем угостить тебя. Не будешь ведь есть мои корешки степные?

Атаман с любопытством разглядывал старуху. Была она древняя-предревняя. Руки ее, похожие на курьи лапки, покрытые желтоватой чешуей, дрожали. Что-то знакомое, давным-давно забытое мелькнуло в лице бабки.

— Недавно сюда прибрела, миленький, из станицы. Шла я в прошлом году из Троицкого, да ноженьки отказались служить, вот и приютили казачьи женки: которую травами попользую, с которой душевно потолкую, докуку отведу, от них и сыта была. А как солнышко пригрело, потянуло на волюшку, выбралась я, миленький, на степь. Гляди, какой пал горячий прошел, да уберег меня господь!— Она кивнула на простиравшуюся черную степь.— А кто же ты, родненький? Не разбойничек ли? Так у меня ничегошеньки не припасено...

— Что ты, баушка, какой же я разбойник! Заблудился тут в степи!

Старуха пытливо осмотрела его и, устремив взор в огонь, задумчиво сказала:

— Кто тебя знает! Много ныне тут по степи кружит людей, стерегут молодца...

Опять что-то знакомое мелькнуло в лице старухи. Грязнов вспомнил и вскочил от изумления.

— Бабка Олена!— признал он наконец старуху.— Да как ты сюда попала?

Старуха покачала головой:

— Ошибся, касатик, не Олена я...

— Да ты вглядись в меня, старая!— Ивашка приблизил к ней лицо.— Аль не узнаешь меня? Да я ж демидовский беглый Грязнов!

— Нет, касатик. Имечко свое я стеряла, давно стеряла!

— Да ты вспомни, баушка!— упрямо продолжал атаман.— Под Кыштымом в лесу, на еланке, ты выходила меня. Давно это было, давненько! И как ты, старая, свои косточки сберегла и каким ветром тебя сюда в степь закинуло?

Он ласково глядел в глаза старухи, и голос его дрожал. Старуха не утерпела и вдруг залилась слезами.

— Ласковый ты мой, сынок!— неожиданно прошептала она.— Неужто из родимых мест примчал? Ах, ты... ах, ты!..

Из черного котелка пахнуло вкусным паром, и беглый проглотил слюну.

Зорким оком старуха приметила голодный блеск в его глазах и предложила:

— Подсаживайся тут, на вот ложку. Хлебай, голубь!.. Уж прости, без хлебушка живу...

— Хлеб есть, баушка. Спасибо за ласку!— сказал казак, скинул шапку и уселся к котелку. От дразнящего пара затрепетали ноздри. Он вынул из переметной сумы кусок черствого хлеба и принялся жадно хлебать степное варево.

Старуха хлопотливо вертелась подле него.

— Давненько ушла я из Кыштыма, сынок! — пожаловалась она.— С той поры, как злой Демид срыл мою избенку... Вот и убрела я в Челябу, побиралась меж простого народа, а потом до Троицкого пришла. И там добрые люди не дали с голоду умереть. А в прошлогодье услыхала я, что идет степью гроза великая, сам царь-батюшка поднялся против богатеев, вот и пошла я старыми ноженьками правду искать, задумала предстать пред светлые очи его и пожаловаться на Демидов! Да не довелось, видно тут и помру. А сердце тоскует, ой, как тоскует по родной сторонушке...

Помолчав, старуха вдруг придвинулась к беглому и пытливо спросила его:

— А тебя, милый, тож каким ветром сюда занесло? Ай сайгаков бьешь?

Грязнов утер бороду, прищурился на огонек. Серый пепел подернул пленкой жаркие угли. Было сытно, хорошо.

Над нльменямн всходило солнце, только земля лежала черной, молчалнвой да вдалн на кургане высился безглавый каменный ндол.

— Я, баушка, след ищу!— многозначительно сказал атаман и выжидающе посмотрел на старуху.

Она не смутилась н сама спросила:

— Ты скажи, сынок, с доброй мыслей бродншь тут аль на послухе у кого?

Грязнов прнзнался:

— Царя-батюшку нщу. А где сыскать, не знаю. Степь широка, дорог много, а где он — н не знаю.

— На что он тебе сдался?— спроснла старуха.

— Ох, баушка,— вздохнул атаман,— сказывалн людн, напал на него Голицын-собака. Кого побнл, а кого н пленнл. Болит мое сердце: что с ннм?

Старуха задумчнво посмотрела на огонек.

— Не знаю, что и сказать тебе, миленький. Была я в станице, в степной балочке притулнлась она, набежал туда казак один из его воинства и оповестил, что сняли осаду, н войско батюшки из Берды разошлось, н пушек-де нет.

Ивашка внимательно посмотрел на старуху н подумал: «Ветхая, слабая, а многое, подн, знает!» Он вздохнул н вымолвил вслух:

— Вещует мне сердце, что жнв он...

— Жив!— уверенно сказала Олена, н глаза ее ожнвилнсь. Своей курьей лапкой схватила она за руку беглого.— Жив он, царь-батюшка, наше прибежнще!— со страстью выговорила старуха.— Чую, земля дышит нм! Коли служить ему идешь,— торопись!..

— А где же путь-дорога?— спросил атаман.

— А ты слушай, что поведаю!— сказала старуха. Придвинувшись к огню н подобрав под себя ногн, она тихо продолжала:— Подле Узяна есть завод, а там речка течет... Речка бурная, многоводная, каменья бьет, швыркает, такая силища! И был там, слышь-ко, царь-батюшка, пушчонки лил, в поход целил. А за ним по следу псы-стервятникн, стравить, заарканить удумалн красно солнышко. Но он то прознал, пушчонки — на колеса, заводишко предал огню н снялся с места, пошел...

Олена перевела дух, закашлялась в долгом удушье.

— Куда пошел, поведай!— с нетерпеннем вопрошал беглый.— Где тот след?

— А ты не перебивай, слухай,— тихо сказала ведунья.— Пошел царь-батюшка, а за ним псы — царицыны слуги. И тогда осерчали горы, и воды, и леса на ворогов наших, слышь-ко! В ту пору, как тронулся царь-батюшка в поход, дрогнула вся земелька, поднялась речка и ушла под землю, чтобы не могли из нее напиться людишки, настигающие батюшку. Сплелися леса, загородили им путь, и встали крутые горы... Иди ты на Кухтур-реку, дитятко! Как увидишь каменья сухие на речном безводье, тут и путь начинается. Иди следом, с камня на камень! Дойдешь до того места, где земля опять расступилась и исторгнула из себя воды. И тогда по струйке иди-бреди. И придешь на заводишко... А там царь-батюшка...

— То байка, старая!— обиделся Грязнов.— Да и откуда тебе знать все: тут по оврагу только зайчишки бегают да серый волк прокрадется.

— Ой, дитятко, торопись в Белорецк! Седай на коня и гони! Быть грому и молонье на степи. Быть!..

Старуха вскочила, лицо ее преобразилось, глаза горели молодым жарким огнем.

— И не только волки серые бывают тут, но и ветерведун весточки приносит. Пробираются тут степью и беглые и казачишки, а за ними слух идет. Люб ты моему сердцу, ставлю тебя на верную дорожку. Скачи, миленький. Сама бы пошла, да отходилась, видать, насовсем!

Голос бабки звучал искренне. Атаман поднялся, поклонился старухе:

— Спасибо на том, баушка!

Он вскочил в седло и выехал из оврага. Все исчезло за яром: и земляная берлога, и огонек, и ведунья. Только синий дымок чуть приметной струйкой поднимался над черной землей. И нельзя было разобрать: то ли тлеет догорающее степное пожарище, то ли струится нагретый солнцем воздух.

Впереди лежала черная пустыня. Сторожили ее на курганах каменные идолы.

Атаман свернул от ильменей и поехал прямо на запад, где на далеком окоеме темной громадой вставали Камень-горы.

2

За минувшие осень и зиму в Оренбургских степях произошли большие события. С тех пор, когда 17 сентября 1773 года Пугачев во главе отряда, состоявшего из семидесяти вооруженных казаков и калмыков, с распущенными по ветру знаменами выступил из Толкачевых хуторов, минуло много кровавых сеч и побед. Достаточно оказалось только одной искры, чтобы пламя восстания разгорелось и охватило огромную часть Российской империи. Доведенные нищетой и угнетением до крайнего отчаяния, крестьяне, казаки, заводские люди и башкиры давно представляли готовый горючий материал для крестьянской войны. На другой день после своего выступления, 18 сентября пополудни, Емельян Пугачев остановился в пяти верстах от Яицка. Только за сутки отряд его возрос в три раза. Навстречу Пугачеву из городка была выслана казачья конница и пехота с пушками. Однако и те и другие, сблизившись, не решались вступать в бой. Догадываясь о колебании казаков, Пугачев послал к ним манифест. Командир яицкого отряда Наумов и старшина Окутин отказались зачитать этот манифест казакам. Все просьбы казаков оказались бесполезными, и тогда полусотня конников, подговоренная своими вожаками, отделилась от команды и ускакала в степь к Пугачеву. Это сразу ободрило его, и он решил идти прямо в городок. Тем временем число перебежчиков прибывало с каждым часом. Они и сообщили, что на Чаганском мосту выставлены пушки и защитники городка готовят встречу. Пугачев с воинством повернул влево и решил перейти реку Чаган вброд. Но и Наумов не дремал, он выслал для защиты брода сотню казаков под командой старшины Витошникова. Последний этого только и ждал: вместе с казачьей сотней он перешел на сторону Пугачева. Никем не задерживаемые повстанческие войска подошли к Яицку и остановились на виду городка. Наумов сжег мост и убрался в Яицк.

Всю ночь из городка, как вода, сочились перебежчики, усиливая отряд Пугачева, и к утру у него уже насчитывалось четыреста бойцов. Однако у Пугачева не было пушек, и это заставило его задуматься. Яицкий гарнизон состоял из девятисот регулярных солдат, располагавших артиллерией. Не желая терять людей, Пугачев утром обошел городок и направился вверх по

Яику. Пройдя двадцать верст по степи, отряд остановился на озере Чистые берега, и здесь Пугачев предложил своему войску принять присягу. Все примкнувшие к нему единодушно закричали:

— Готовы тебе, надежа-государь, служить верою и правдою!

Отсюда и пошел все больше и больше разгораться огонь восстания. Широкое народное сочувствие и поддержка Пугачева рядовым яицким казачеством сразу сделали его могучим и уверенным. С озера Чистые берега Пугачев прошел на форпосты Генварцевский, Кирсановский и Иртецкий. Форпостные казаки присоединились к повстанцам и захватили с собой пушки. У Пугачева появилась артиллерия.

На вечерней заре 20 сентября Пугачев со своим отрядом появился в семи верстах от Илецкого городка. Ночью верный казак доставил в городок манифест «царя Петра Федоровича». Этого было вполне достаточно, чтобы поднять казачество. На другой день утром Пугачев под колокольный звон вступил в Илецкий городок, где на его сторону перешли триста илецких казаков.

Пугачевский отряд вырос в грозную силу. Захватив в Илецком городке пушки, порох, ядра и казну, Пугачев устремился к крепостям Нижнеяицкой дистанции.

Одна за другой сдавались крепости, не выдержав стремительных ударов повстанцев. 24 сентября Пугачев взял крепость Рассыпную, 26-го — Нижнеозерную, 27-го — после упорного сопротивления разгромил Татищеву крепость, которая являлась опорной базой всей укрепленной линии и имела богатые интендантские склады. В Татищевой крепости на сторону Пугачева перешли шестьсот казаков; кроме того, он захватил здесь исправную артиллерию и много добра: военной амуниции, провианта, соли, вина и снарядов для пушек. Вместе с пушками к Пугачеву перешли и служители, умевшие знатно стрелять из орудий.

Выросла грозная сила, которая сметала все на пути. В конце сентября повстанцы взяли крепость Чернореченскую, от которой до Оренбурга оставалось всего двадцать восемь верст. Если бы Пугачев проявил и дальше такую дерзость и пошел бы прямо на Оренбург, он овладел бы им. Административный центр огромного края был не подготовлен к обороне. Городские валы находились в таком состоянии, что во многих

местах на них можно было въезжать без затруднения верхом на лошади.

Но Пугачев предпочел продолжить поход на Каргалу, где его встретили очень торжественно. И только 2 октября из Каргалы повстанческие войска повернули на Оренбург...

Вечером 5 октября 1773 года началась продолжительная оренбургская осада, которая отняла много сил у Пугачева, и здесь он понапрасну потерял драгоценное время.

В деревне Берда, названной Пугачевым Новой Москвой, обосновалась огромная армия, которая увеличивалась с каждым днем, и уже к середине ноября у Пугачева насчитывалось пятнадцать тысяч повстанцев, которые расположились пестрым табором около Маячной горы и вокруг самой Берды. Кого только здесь не было! Тут в походных кибитках разместились башкиры и калмыки, в наскоро устроенных шалашах жили беглые помещичьи крестьяне и заводские работные, прибежавшие с Каменного Пояса.

3

Между тем, несмотря на зимнюю стужу и бураны, в степи разыгрались решительные схватки, имевшие огромное влияние на судьбу повстанческого движения.

28 февраля 1774 года из Бугуруслана прямой дорогой на степные яицкие городки и крепости двинулся многочисленный хорошо вооруженный корпус князя Голицына. Кругом расстилалась безмолвная белая равнина, сверкавшая плотным серебристым настом. Дул холодный, пронзительный ветер. Жестокий мороз пробирал до костей. По степи задувала пурга. В белесой мути солнце казалось тусклым, как бы обледеневшим. Ветры и метели замедляли движение солдат. Ночью в снежной пустыне выли волки. Мрак, словно деготь, наполнял степь. Не мелькали в ней заманчивые огоньки, какие встречаешь в зимнюю пору на Руси среди полей, в затерянной деревушке.

Ночами войско останавливалось табором под прикрытием кибиток среди бушующей степи. Во тьме еще заунывнее и озлобленнее плясала метель.

По балкам и овражине таились занесенные снегом уметы и деревушки, занятые повстанцами. Ватажки их рыскали по зимним дорогам, таились в березовых окол-

ках. Но чуялось приближение главных сил противника. Невзирая на опасности, отряд майора Елагина быстрым маршем и беспрепятственно минул деревни Гаевицкую и Яшкину и спокойно расположился на ночлег в Пронкиной.

Никто не знал, где кружит сейчас Пугачев. В избушку, где приютился на ночлег майор, прибрел странник.

— Никак ночью со степи?— удивленно спросил офицер, оглядывая странного гостя.

Крепкий обветренный старик, одетый в полушубок, спокойно отозвался:

— Со степи. Это нам в привычку.

Густой иней охватил бороду странника, его ресницы, косматую шерсть полушубка. Старик с кряхтеньем стал сволакивать с себя одежду.

— Тихо в степи?— не выдавая своего волнения, спросил офицер.

— В такую-то погодку не всякий в дорогу тронется. Домой меня сильно потянуло. Кто сейчас будет разгуливать по степи?— поеживаясь, ответил старик.

— Известно кто!— многозначительно сказал офицер.— Добрая душа на печи сидит, а перекати-поле и днем и ночью не знает покоя.

— То верно, батюшка!— согласился старик.— Только в такую ночку и былинка под снегом спит. Может, кто и бродит, да далеко-далеченько, и благовеста о том не слышно.

Добродушно бормоча себе под нос, старик полез на печку.

— Ты куда?— строго окрикнул его майор.

— Как куда? Прыгает петух на свою насесть, а тут я свойский,— спокойно отозвался дед и накрылся с головой полушубком.

Офицер нахмурил брови, сильно клонило ко сну. За дверью псом скулила метель, царапалась в окно. На столе тоскливо потрескивала сальная свеча. Невозмутимая тишина стояла на селе, солдатский говор угас.

«Разместились на ночлег,— сквозь дремоту соображал майор.— А как заставы?..»

Он недодумал, сон поборол его. Погружаясь в приятное забытье, он раскинул локти и склонил на них голову в грязном паричке...

Словно вихрем распахнуло дверь избушки, серым клубком в горницу вкатился морозный воздух. В мути

плыли темные тени, о чем-то кричали. Всполошно бил набат.

«То сон!..»— подумал в дреме офицер, поджимая ноги.

Но сполох не умолкал. В запечье зашуршало, косматый старик выкатился из мути, окрысился.

— Леший!.. Леший!..— закричал в дреме майор и съежился от холода...

— Очнитесь, ваше благородие! Беда!— раздался над ухом отрезвляющий голос.

Елагин открыл глаза, в изумлении огляделся. Перед ним, вытянувшись в струнку, стоял сержант.

— Беда!— дрожащим голосом повторил он.— Воры тут!..

— Как воры! Не может того быть!— прикрикнул майор, и сон мгновенно отлетел.

Офицер бросился к печке: странник исчез, словно ветром его сдуло.

— Куда ж этот пес девался?— недоуменно спросил майор.

Сержант изумленно уставился на командира, не понимая, о ком речь.

— Пикеты, ваше благородие, сшибли! К орудиям пробиваются.

Как встревоженные птицы, в окно бились призывы набата. Офицер торопливо накинул на плечи плащ, надел треуголку и бросился на улицу. В клубах метели суетились черные тени. Совсем неподалеку, на площади, шла штыковая схватка, с вала, где стояла батарея, ветер приносил неясный гул.

«Ах, проклятый старик!— почему-то вдруг вспомнил майор.— Как же так? Откуда взялись воры?»

Он никак не мог себе представить, что собравшиеся под покровом ночи и бурана пугачевцы, пребывавшие в селении Сорочинском, быстро проделали форсированный переход в тридцать семь верст и внезапно атаковали отряд.

Майор взбежал на вал и остановился пораженный. Подле завьюженных орудий молоденький поручик с горстью людей геройски отбивался сабельками от наседавшей толпы. Странно было видеть, как из мрака рождались все новые и новые бородатые лица с разинутыми ртами... Только теперь понял майор, что нападающие и обороняющиеся орут в воинском исступлении, но вой бурана глушит эти крики.

«К резерву!»— было первой мыслью Елагина. Ветер рвал и развевал полы плаща, острый, колкий снег хлестал лицо. Но офицер упрямо и быстро двигался в белесой мути к избе, где, по его догадкам, разместилась рота.

Солдаты уже были под ружьем, когда он прибежал к избе.

— Вперед, братцы!— крикнул Елагин и повел их за собою на выручку.

Впереди кружилась и выла белогривая метель. Из нее, как из пенистого морского прибоя, рождались черные ревущие тени. Густой непоборимой стеной вставали пугачевские отряды с пиками и копьями наперевес. Справа и слева шумел тот же прибой. Очутившийся рядом седоусый сержант схватил майора за полу плаща и закричал в ухо:

— Поберегитесь, ваше благородие! Дозвольте нам...

Но кругом вместе с метелью бушевали разъяренные люди.

— В штыки, братцы!— стараясь перекричать вой бури, взывал голос Елагина.

В эту минуту перед глазами взвился столбом белый бурун метели. Из снежной свистопляски вынырнуло знакомое бородатое лицо деда; оно ехидно улыбнулось.

— Сюда, братцы, тут он!— закричал охваченный инеем старик. Из ночного мрака, ощетинясь пиками, лезли грузные озверевшие люди.

— Не трожь!— закричал сержант, выбежал вперед и заслонил грудью офицера.

Налетевший порыв ветра сорвал с его головы треуголку, сержант упал. Орущая толпа набросилась на майора. Отступая, он молчаливо отбивался. Впереди среди копий снова мелькнуло знакомое до ужаса лицо старика.

— Это он, братцы! Бей его!— бесновался старик.

Десятки копий пронзили тело Елагина и подняли над ревущей толпой...

Набат смолк, но крики стали громче и ожесточенней. Оставшийся старшим в отряде секунд-майор Пушкин собрал разбежавшихся солдат и бросил их в контратаку, а сам спокойно уселся на барабане у разложенного костра и стал выжидать событий. Он чутко прислушивался к вою ветра и гулу голосов.

— К орудиям!— командовал майор.— Отбить пушки!

Пламя костра все ярче и ярче освещало дорогу, по которой метались люди. Когда гул голосов стал стихать, он улыбнулся.

«Побежала сволочь! Испугалась штыка!»— удовлетворенно подумал секунд-майор, вынул из кармана кисет и набил трубку. Подхватил из костра жаркий уголек, ласково щурясь, долго перебрасывал его на ладони, потом прикурил и гаснущий уголек отбросил прочь. Сладко затянулся дымком.

— Коня мне!— приказал секунд-майор.

Ему подвели поджарого гнедого.

— Ну, братцы, теперь рубить воров!— сказал он, вскочил в седло и поскакал к эскадрону.

Пурга зализывала багряные пятна на снегу, запорашивала выбоины. Ночь все еще была темна, но конники гнали убегающих мужиков по степи и поражали их на скаку палашами, рубя с плеча...

Когда взошло солнце и улеглась метель, по белоснежному степному насту всюду чернели порубленные тела. На валу у пушечек лежал исколотый молодой батареец-поручик и тяжко стонал.

— Не трогайте, братцы, дайте спокойно умереть,— просил он. Кругом, склонив головы, в молчании стояли солдаты.

Секунд-майор не вошел в избу, уселся среди улицы на барабане и, потирая руки, поеживался у костра. К нему привели схваченного деда в заиндевелой шубе.

— Это ты привел сюда воров?— строго спросил майор.

— А хошь бы и я!— спокойно отозвался старик.

— Повесить!— сказал офицер и отвернулся от заиндевелого деда.

Солдаты, подталкивая в спину, погнали старика вдоль сельской улицы. Под их крепкими шагами поскрипывал морозный снег, а вслед тонким сизым язычком тянулся дымок от костра. Секунд-майор привычным движением нашарил в кармане кисет с табаком и стал прилаживаться закурить.

4

Уведомленный о неудачном сближении войск с неприятелем, князь Голицын начал решительное наступление. Быстрым маршем он достиг деревни Про-

нкиной, в которой погиб майор Елагин. Угрожающими действиями он заставил повстанцев очистить селение Сорочинское и Тоцкую крепость. Отступая перед сильным корпусом Голицына, избегая расправы, повстанцы жгли селения, уничтожали скот и хлебные запасы. Казаки и поселяне укладывали на возы свой жалкий скарб и, боясь мести, уходили вместе с повстанцами в глубь степи.

17 марта 1774 года корпус Голицына, усиленный отрядом генерал-майора Мансурова, занял Ново-Сергиевскую крепость. Отсюда он доносил главнокомандующему Бибикову:

«За чрезвычайною бурею и снегом принужден остановиться, отчего часть большая подвижного магазина еще не пришла. Злодеи не успели также сжечь здешнюю крепость, от наступления корпуса обывателей часть большую с собой гнали к Илецкой крепости. По всем известиям, что я получил, видно, будто имеют намерение зад корпуса тревожить от Илецкой крепости, а из Берды берут свое злодейское войско к Татищевой...»

Командующий корпусом князь Голицын не ошибался. Пугачев стягивал свои войска к крепости Татищевой, намереваясь дать решающее сражение. Он прекрасно понимал важное стратегическое значение этой степной крепости, являвшейся ключом для вторжения в глубь казачьей степи. Стоя на крутом берегу реки Камыш-Самары, при впадении ее в Яик, крепость своими бастионами прикрывала узел дорог, уходивших отсюда на Оренбург, на Илецк и Яицкий городок. Пугачев решил удержать крепость за собой.

Сколько умения и понимания обстановки проявил он! Откуда что и взялось! Решительным маршем он перебросил все свободные силы из Берды. Своему ближайшему атаману Шигаеву Пугачев строго наказал продолжать осаду Оренбурга, атаману Овчинникову приказал спешить к Илецкой крепости, чтобы тем самым сковать часть сил Голицына, заставив его нервничать и оглядываться на свои тылы. Сам Пугачев в сопровождении полусотни верховых казаков ранним утром прибыл в Татищеву. Не отдохнув, он обследовал крепостные валы и стены. От недавних схваток крепость изрядно пострадала: осели старые бревенчатые стены, местами они зияли проломами. Отсюда, с валов, далеко виднелась плоская степь с редкими буграми.

В тот же день все население и гарнизон крепости приступили к укреплению полуразрушенных стен. К высокому бревенчатому тыну дружно и споро присыпали снеговые валы, бабы с коромыслами на плечах бесконечной вереницей весь день и ночь таскали воду, поливая умятый снег. За одну морозную ночь валы обледенели и стали недоступными для противника. С большим знанием дела Емельян Иванович обошел и выбрал места для батарей. Сам же он отобрал из пленных канониров и солдат добрых артиллеристов. Вместе с ними обошел окрестную степь, отметил кольями хорошо поражаемые из орудий места. К вечеру все пушки угрюмо смотрели жерлами на запад, откуда поджидались войска князя Голицына.

Весь день хлопотал Пугачев; его можно было встретить у бастионов, в городке, на речке, откуда бабы брали воду. До всего он доходил сам, ничего не упуская своим зорким глазом. За ним бегали толпы народа, стараясь заглянуть ему в лицо. Сидя на высоком поджаром дончаке, Пугачев запросто раскланивался с народом. Его слегка косоватые глаза сияли. Поглаживая черную, с сильной проседью бороду, он кричал толпе:

— Порадейте, детушки! Послужите мне, государю, своей храбростью, а я не забуду вас вольностями и жалованием.

Народ радостно размахивал шапками:

— От души порадеем, государь! Все за тебя выступим! Веди нас!..

На душе Пугачева было спокойно. Понимал он: силен его противник. Но неутомимый народ, всюду радостно встречавший его криками, вселял уверенность в свои силы. Объехав в последний раз валы и крепость, он вызвал Ивана Почиталина, своего секретаря, и продиктовал ему приказ:

«В тот день, когда наш ворог пойдет на Татищеву,— блюсти совершенную тишину и чтобы люди всячески скрылись, дабы не видно было никого, и до тех пор к пушкам и каждому к своей должности не приступать, покуда князя Голицына корпус не подойдет на пушечный выстрел ядром».

Приказ этот прочитали во всех сотнях и населению. В крепости водворилась тишина. Люди держались поособенному, торжественно, понимая, что близится решительный час.

Трудно было обмануть князя Голицына этой маленькой хитростью, но все же он долго не мог узнать о силах повстанцев. Заняв Переволоцкую крепость, Голицын на следующий день — 21 марта — сам отправился на поиски к Татищевой. Стояла еще утренняя темь. Рассыпавшиеся по оснеженной степи разъезды близко подобрались к крепости. Чуть-чуть засинело на востоке, кругом простиралось пустынное молчаливое поле, тишина стояла и в темнеющем городке. В сизом зимнем рассвете слышны были только петушиные переклички, даже ранние дымки не курились над хижинами. Походило на то, что крепость и впрямь была оставлена повстанцами без боя.

Однако князь Голицын не довольствовался поисками своих разведчиков. С рассветом он незаметно проехал на отдаленный холм и весь день терпеливо наблюдал за крепостью. И как ни притих городок, все же в конце концов улавливалось в нем скрытое движение. На ярком солнце отчетливо сияли возведенные снежные валы. Голицын пришел в изумление.

«Сколь много воинского умения! Понимающий человек!..»— похвалил он Пугачева. Для Голицына стало ясно: в крепости таятся повстанцы, но сколько их — оставалось загадкой. «Хитер, хитер, лиса!»— покачал он головой и про себя решил на другой день атаковать противника.

5

На рассвете 22 марта из Переволоцкой крепости выступил авангард под командой полковника Юрия Бибикова. Кругом простиралось безмолвие, нарушаемое только ржанием коней да позвякиванием удил. Спустя два часа в синем рассвете в речной излучине встали неясные очертания крепостных валов. Приблизившись на близкое расстояние, полковник выслал к Татищевой казачий разъезд. Держась настороже, конники быстро доскакали до самой крепости. Из-за дальних оснеженных бугров в морозном тумане поднималось солнце, освещая тихий, словно вымерший городок.

— А что, братцы, и впрямь крепость брошена злодеями!— сказал старшой, чубатый, с серьгой в ухе казак.

Разведчики переглянулись. Тишина казалась им коварной. Словно чуяло их сердце, что в эту самую минуту, когда они на рысях подъезжали к городскому валу, за ними внимательно следили десятки глаз притаившихся за тыном людей. Сам Пугачев, прислонясь к щели в заплоте, зорко разглядывал казаков.

Между тем осмелевшие разведчики решили подскакать к самым крепостным воротам. Только что они тронулись вперед, как в это мгновение ворота чуть-чуть приоткрылись. Из крепости навстречу казакам вышла статная румяная казачка в теплом шушуне. В руках, на расшитом полотенце, она держала хлеб с солью.

Молодка степенно поклонилась казакам.

— Милости просим, дорогие гостюшки!— сказала она певучим голосом, и лукавые глаза ее пытливо забегали по казачьим лицам.

«Хороша баба!»— единодушно похвалили казаки молодку.

— Скажи, милая, сколько злодеев в крепости?— спросил старшой.

— Что ты, милый! Были вечор, да сбегли, как прослышали про князя Голицына. Ждем пресветлого князя к себе. Вступайте, казачки, в крепость без всякого опасения!

Осмелевший старшой принял от бабы хлеб-соль, махнул своим рукой:

— Айда, ребятушки, заглянем, что за воротами творится!

Молодка пугливо оглянулась и отбежала с дороги. Казаки смело подскакали к воротам.

— Ох, братцы!— крикнул старшой и разом осадил коня.

В крепости за валами колыхались пики, теснились ряды готовых в битву.

— Обманула, подлая!— заорал чубатый казак и, взмахнув плетью, бросился за бабой.

Ворота с шумом распахнулись, и пять пугачевцев на добрых степных конях бросились на разведчиков. Двое из казаков, быстро повернув коней, ускакали. Третий — старшой — неожиданно оказался перед самим Пугачевым.

Разгоряченный дончак ударился грудью о грудь казачьей лошади и рассвирепел. Конское злобное ржанье огласило снежную равнину. Казак схватился за клинок, но Пугачев опередил его, пронзив пикой. Конник, охнув,

схватился рукой за гриву коня и стал медленно сползать на землю. Его гнедой остановился словно вкопанный и, склонив голову, стал обнюхивать сбитого хозяина. Прибежавшие из крепости мужики подхватили казака и уволокли его в городок. Там вернувшийся из погони Пугачев пытался допросить его, но казак изнемогал от раны. Ослабевшим голосом он прошептал, угрожая:

— Берегись, вор!..

— Сколько войска привел князь?— в упор разглядывая казака, спросил Пугачев.

— Ты кто такой?— глухо спросил умирающий.

— Я государь Петр Федорович. Как ты смел поднять руку на меня?

Собрав последние силы, казак приподнялся и жадно впился в лицо Пугачева.

— Прост больно,— в раздумье сказал он, ни к кому не обращаясь.— Видать, все же добрый вояка, с маху ссадил меня!.. Эх...

Две мутные слезы выкатились из-за полузакрытых ресниц. Казак прошептал:

— Так и быть, тебе скажу... Пришли сюда тыщ пять пехоты да пушек семьдесят. Чуешь?

Голос его упал до шепота, он хотел что-то сказать, но поник головой, и мелкая дрожь побежала по его телу.

— Отходит!— спокойно сказал Пугачев и истово перекрестился.— Отпеть по-христиански...

6

Тем временем весть, принесенная прискакавшими казаками, дошла до Голицына. Князь сдержанно выслушал доклад, радуясь в душе своей догадке. Он сел на поданного коня и поехал вперед по степной дороге. Пехота быстрым маршем подходила к затерявшейся в снеговых просторах крепости. Лыжники и егеря заняли окрестные высоты и ждали только приказа. Орудия за буграми казались невидимыми для крепости. Довольный осмотром, князь думал о противнике.

«Сказывали, воры и бродяги, как завидят коронное войско, так и бегут. Где мужику и холопу тягаться с дворянами! На деле не так прост донской казак Емелька, как о том писали. А может, то и не казак? Отколь столько воинских знаний у сего человека?»—

спрашивал он себя, и тут воинский азарт его разгорелся пуще. Интересно было скрестить мечи с достойным противником, разумеющим толк в воинском деле.

Опытным взглядом командира он еще раз окинул поле предстоящей битвы и остался доволен осмотром. Войска продвигались к намеченным исходным местам. В крепости по-прежнему царила тишина. На блестевших под зимним солнцем валах не темнело и пятнышка. Впереди перед князем лежала глубокая падь, в которую, словно весенний поток, пробираясь талым снегом, бесшумно стекало наступающее войско. Командующий пустился следом. Хорошо подкованный конь легко сбежал по крутому откосу и остановился на дне.

«Вот почему не стреляют из крепости!— сообразил Голицын.— Все равно тут ядрами не достанешь».

Он опять удивился воинскому искусству Пугачева. Взор его невольно стал шарить по прилегающим высотам. И тут он обратил внимание, что две из них, весьма выгодные к обороне, не заняты повстанцами.

«На сей раз оплошал Емелька»,— обрадовался Голицын и приказал немедленно поставить на них батареи.

Между тем войска в овраге строились в боевой порядок. Пехота придвинулась к выходу из оврага, глубину его заняла кавалерия, ожидавшая часа атаки...

В полдень по степи раскатилось эхо: батареи князя Голицина открыли учащенный огонь по крепости. В ответ им загремели тридцать крепостных орудий. Пушки били редко, но точно, поражая подходы к крепости. Князь с волнением наблюдал за пальбой. Ядра ложились на валы крепости, рвались над городком, но ожидаемого опустошения не производили. От ледяных валов, сверкая на солнце, сыпались брызги ледяных искр, в городке вспыхивали пожары, но быстро гасились. Было ясно, что канонадой нельзя было выбить противника из крепости. Обычных в таких случаях суеты, беготни, переполоха в крепости не наблюдалось. По-прежнему она казалась пустынной, только пушки с валов озлобленно огрызались.

«Нет, этим их не возьмешь!— решил Голицын.— Штурм, только штурм...»

Вправо уходила широкая степная дорога; по ней и решил генерал нанести удар по крепости. Батальоны генерал-майора Фреймана получили приказ атаковать противника по этой дороге в правый фланг. Но едва

Фрейман появился на дороге, как ворота в крепости распахнулись, из них с барабанным боем выступили стройные колонны войска. В то же время на пригорок быстрым аллюром побежали кони, везя пушки. Пугачевские канониры быстро установили их. Не успел генерал опомниться, как убийственный огонь встретил наступающие колонны.

Сближаясь с правительственными войсками, повстанцы исступленно кричали солдатам:

— Братцы, что вы делаете! Против кого идете? Знаете ли вы, что с нами в крепости сам государь Петр Федорович!

Пехота медленно надвигалась вперед, а крики становились громче. Многие из солдат, приостанавливаясь, пытливо оглядывались на офицеров.

— Вперед, вперед, ребята!— подзадоривали командиры.— Помните присягу государыне! Коли их!..

Но батальоны, словно змейка, вились по дороге, постепенно рассыпаясь на отдельные нестройные толпы отставших. Огонь из прямо установленных пушек и без того крушил ряды. Видя замешательство, князь вскочил на коня и, встав во главе подкрепления, сам кинулся в битву.

Непрерывный гул стоял над степью. Все новые и новые толпы повстанцев шумным потоком вырывались из крепостных ворот и вступали в бой.

На равнине перед крепостью началась ожесточенная резня. Кони топтали людей, грызлись. Ядра падали в гущу разъяренных толп, производя опустошения. Но пугачевские копейщики дрались отчаянно. Падая изранеными, схватывались в последнем смертном объятии с врагом. Пугачев на своем красномастном дончаке вел в атаку конницу. Размахивая саблей, он взывал к повстанцам:

— Смелее, детушки! Вперед, соколы!..

Князь Голицын с высоты наблюдал, как лихой конник в алом кафтане бесстрашно врубался в ряды наседавших солдат. Конь, вставая в ярости на дыбы, подминал и топтал людей.

Командующий находился на холме, то вглядываясь в расстроенные боевые линии батальонов, то хватаясь за саблю. Он хорошо понимал: наступал последний решительный момент схватки, когда неожиданный удар решит исход всего сражения. С холма было видно, как конник в алом кафтане вырвался из гущи сражающих-

ся и, отъехав к крепостным валам, стал наблюдать за битвой.

«Неужели еще выбросят войска из крепости? Сколько же их там?»— с тревогою подумал князь. Внезапная мысль осенила его. Он крикнул:

— Бибикова ко мне!

— Я здесь, ваше сиятельство!— отозвался на зов полковник.— Пора мне вступить в дело!

— Пора!— подтвердил Голицын.— Берите егерей и лыжников, бейте во фланг вору. Коня!..

Несмотря на тучность, он легко вскочил на коня и поскакал под гору, туда, где развевались знамена батальонов Фреймана. Завидя скачущего командующего, сухой высокий генерал-майор, выхватив из рук знаменосца древко, устремился вперед.

— За матушку-государыню!..— закричал он истошно.— За мной, братцы!..

Нагнав передовой батальон, князь соскочил с коня, бросив повод адъютанту. С обнаженной шпагой, по пояс в глубоком снегу, он пошел впереди батальона.

— Неужто, братцы, посрамите меня?— кричал он солдатам, увлекая их вперед.

Завидя командующего, солдаты приободрились.

— В штыки их, братцы!— кричал князь.

Лыжники и егеря стали огибать городок и крепость. От вала все это хорошо было видно Пугачеву. Он с тревогой оглянулся на свиту.

Из толпы выдвинулся атаман Овчинников.

— Видишь, батюшка, что князек затеял!— сказал он простуженным, хрипловатым голосом Пугачеву, показывая на поднимающих снежную пыль лыжников.— Обойдут, поди! Уезжай ты, батюшка, пока дорожка свободна, а то поздно будет. Ужотка мы как-нибудь отобьемся без тебя! Береженого и бог бережет.

Пугачев насупил брови. Молчал. Ветер донес усиливающийся гул ревущей толпы.

— Видать, помощь к ним подоспела. Скачи, батюшка, ишь, торопятся, окаянные!— опять заговорил Овчинников.

Хотя его загорелое лицо, обрамленное бородкой, и казалось спокойным, но беспокойно бегающие глаза выдавали его страх. Пугачев встряхнулся, словно очнулся от сна.

— Хорошо!— воскликнул он.— Будь по-твоему, я поеду. Но приказываю тебе и другим, коли можно бу-

дет стоять, так постойте до последнего, а коли горячо доведется и надежды сгаснут, так и вы бегите. Без вас не соберу я нового войска.

Пугачев быстро повернул коня и незаметно скрылся среди серых низких хибар крепости. Спустя несколько минут атаман Овчинников увидел, как из южных ворот крепости выехал на дончаке знакомый всадник. За ним налегке скакали четыре конника. Заметя поскакавшего из крепости беглеца, десяток егерей помчались за ним. Но высокий дончак Пугачева, не меняя бега, быстро и легко стлался по степи. Словно легкая птица, плавно и красиво уносил он своего хозяина от беды. Спутники его не отставали и вместе с ним постепенно растаяли в молочной дали. Притомленные егеря уныло возвратились назад...

Навстречу им неслось раскатистое «ура». Серые толпы повстанцев беспорядочно бежали к крепости, а следом за ними с торжествующим криком торопились пехотинцы. Стоявшая доселе в бездействии кавалерия прорвалась через ворота в город. Истошные крики и вой огласили узкие кривые улочки крепости. Обозленные конники, не разбирая, рубили всех подвернувшихся под руку. Поле, городок и дороги устлались телами. На валах, заваленных порубленными, поколотыми артиллеристами, сиротливо темнели брошенные пушки.

Наступал вечер. Солнце красным, раскаленным ядром закатилось за холмы. По насту побежали синие сумеречные тени. Откуда-то появившиеся стаи крикливых ворон неугомонно закружились над степью.

Пользуясь тьмою, лесами и оврагами, без дорог спасалось рассеянное пугачевское ополчение...

Беспощадно стегая коня, атаман Овчинников со своей ватагой прямо по степи убегал к Переволоцкой крепости.

7

Над степным простором высыпали частые звезды, когда вдали замелькали долгожданные огоньки Берды. Почуяв отдых, кони ожили и вновь понеслись вперед. Пугачев скакал впереди; немного поотстав, мчалась свита. За всю дорогу он не обмолвился ни словом. Мрачный и решительный, он подозрительно вглядывался в лица своих приближенных. Тревожные мысли

цепко овладели его душой. «Неужто все кончено, изменило счастье?» — с горечью спрашивал он себя.

Позвякивали удила, огни в слободке становились ярче. Правее громоздились тени крепостных стен: в густом мраке лежал молчаливый осажденный Оренбург.

Среди дороги внезапно выросли рогатки.

— Стой, кто едет?— окрикнули караульные конную ватажку.

Пугачев не отозвался. Молча, неторопливо проехал мимо стоявших на карауле сермяжников. Завидя его, они оторопело посмотрели вслед:

— Сам царь-батюшка в этакую пору со степи прискакал. Уж не к лиху ли то?..

По заставленной возами слободской улице толкались и шумели толпы сермяжников. На площади у костра куражились двое пьяных. В приземистой хибарке гудели сопелки, шла хмельная гульба. Прислушиваясь к нестройному гулу голосов в лагере, Пугачев хмуро подумал: «Гулящие беспутники! Им и горя мало, что беда нагрянула. Поди, разбегутся, как узнают...»

Пугачев в сопровождении Почиталина проехал к войсковой избе, устало слез с коня. Тяжело переставляя ноги, он поднялся на заснеженное крылечко. Однако Иван Почиталин опередил его и распахнул угодливо дверь.

— Жалуй, батюшка!— тихо сказал он.

В избе было темно. Пугачева приятно охватило теплом.

— Огня!— хриплым голосом выкрикнул он.

Кто-то в темноте соскочил с печи и босыми пятками протопал по горнице. В загнетке усиленно стали раздувать угли. Вскоре вспыхнуло румяное зарево и осветило заспанное лицо красивой молодки. Еще мгновение — родился синий язычок пламени и с легким треском побежал по лучине. Изба осветилась слабым, неверным светом.

— Прости, государь-батюшка, не ждали к такому времени,— в полуиспуге сказала молодая женщина и стала проворно накрывать на стол. В трепетном свете лучины белыми пятнами мелькали ее круглые полные локти.

Она бережно поставила перед Пугачевым простое глиняное блюдо с пахучей рыбной щербой и чесноком, жбан квасу и флягу водки.

— Закуси, государь, с дороги,— сказала она ласково и пододвииула к нему пахучий каравай.

Пугачев налил водки, жадио выпил.

— Добро!— поеживаясь, сказал ои.— Ии тепло по нутру пошло. Испей и ты!— пододвииул он чару Почиталииу.

Наклонясь над блюдом, Пугачев стал с аппетитом есть рыбную щербу; запах чеснока иаполиил избу. Почиталии подсел поближе к столу, ио к еде ие притронулся: выжидал, когда насытится Пугачев.

Лучина то меркла, то, сбросив нагарный уголек, вспыхивала, ярко освещая гориицу. Скрестив руки под тяжелой грудью, молодка спииой прижалась к горячей печке и из полутьмы следила за Пугачевым.

Лицо его было печально, он ссутулился, казался постаревшим. В бороде, схваченной проседью, запутались крошки; он не смахнул их, еду запил квасом и задумался. Все его молодечество как ветром сдуло. Женщине стало его жалко: утомленный, придавлеииый тяжелыми мыслями, он казался ей ближе, родней. Оиа выступила из полутьмы и по-бабьи жалостливо сказала:

— Истомился, государь-батюшка, прилег бы, отдохнул...

— Не до того, хозяйка. Почиталин!— вдруг обратился Пугачев к секретарю.— Вели в караулах мужиков сменить казаками!— Ои пристальио посмотрел ему в глаза, и тот понял. Когда захлопиулась дверь, молодка подошла поближе и поклоиилась Пугачеву:

— Отдохни, батюшка! Всех дел не переделаешь...

Пугачев усмехиулся в бороду.

— Будет, отоспался на пуховиках. В поход идем!— сказал ои решительным голосом и поднялся из-за стола...

По хозяйским дворам жидко перекликнулись уцелевшие петухи; их голоса далеко разносились в утренней тишиие. Со степи подуло долгождаиным теплым ветром. Одиа за другой погасли тихие звезды. Кое-где заскрипели журавли у колодцев, иад слободскими хибарами засинели дымки, вдоль улицы потяиуло острым запахом горелого кизяка. На площади догорал костер, сиин его еле приметной струйкой плыла и колебалась по ветру.

Между тем во дворах и на улицах происходило заметное движение. Приподнявшись в стременах, Пугачев внимательно разглядывал свое воинство.

Не ожидая, пока соберется все ополчение, он выехал вперед. За ним поскакали яицкие казаки. Более двух тысяч их потянулось из Берды по степной дороге.

Рассвело. Из-за мглистого окоема поднялось солнце. Что-то неуловимое, зловещее повисло над слободой. Улицы стали пустынны, тихи. Ворота пугачевского дома стояли распахнутыми настежь. Первыми почуяли эту внезапную тревожную перемену станичные женки.

— Ох, лихонько, беда! Царь-батюшка покинул нас!..— истошно заголосили женщины.

В эти минуты тысячи горожан высыпали на крепостной вал.

Над крепостью и городом, над степью вскоре загудел благовест: по указу губернатора звонили во все колокола в городском соборе на радости, что окончилась осада...

По талой дороге в крепость из Берды тянулся обоз; везли хлеб, сало, мясо. Гнали гурт скота, отары овец. За обозом шли станичницы с малыми ребятами, брели с повинной казаки, отставшие от своего войска...

А Пугачев в это время с отборными сотнями мчался по степи. Но куда ни кидался он, везде встречал засады, занявшие все дороги и станицы. Казалось, вся степь наводнилась войсками, все пути-переправы были перехвачены.

Однако в глухую мартовскую ночь опытный вожак со своими сотнями прорвался сквозь вражье окружение и устремился к Сакмарскому городку.

Но и тут его поджидали.

Гусары князя Голицына, столь стремительно преследовавшие всю дорогу пугачевское воинство, на его плечах ворвались в городок.

Схватка была жестокая и решительная, повстанцы не выдержали и устремились в степь...

Глава вторая

1

Никто не знал, что сталось с Пугачевым после побоища под Сакмарским городком. Носились слухи, что он погиб в бою, а если и сбежал, то непременно затерялся

в горах, где среди непроходимых трущоб имелось много тайных пристанищ. По одним вестям царь-батюшка со своими верными конниками ушел за Урал-Камень в привольную сибирскую сторону, по другим — престарелый генерал-поручик Деколонг оповещал Челябу, что возмутитель кружит по степи подле Усть-Уйска. Между тем коменданты степных крепостей считали восстание подавленным, оттого осмелели и стали проявлять жестокость к степнякам. В марте близ Карагайской в степи задержали мирного башкира и доставили к коменданту Фоку. Он круто расправился с безобидным пленником: башкиру отрезали нос, уши и все пальцы на правой руке. В обезображенном виде башкира отпустили в степь для устрашения. Так же поступил со своим пленником башкиром и комендант Верхне-Яицкой крепости полковник Ступишин. В своем воззвании к башкирам он похвалялся:

«Сего числа около Верхне-Яицкой пойман башкирец Зеутфундинка Мусин с воровскими татарскими письмами от злодеев, и ко мне оный башкирец приведен, и хотя он немой, однако ж теми имеющимися у него воровскими письмами довольно приличается, и того ради я велел оные письма при народном собрании сжечь, и они сожжены от профоса, а тому вору башкиру велел я отрезать нос и уши и к вам, ворам, с сим письмом посылаю...»

Полковник угрожал башкирам и давал им срок для раскаяния:

«Думайте! Срок башкирцам, живущим близ крепостей,— три, а прочим — семь дней, иначе я буду с вами по-своему распоряжаться, как долг мой велит мне...»

Хотя после этих угроз в Верхне-Яицк и явились с повинной триста башкирских семей, кочевавших поблизости, но самоуправство комендантов вновь воспламенило потухавший было пожар. С быстротой ветра по башкирским улусам разнеслась весть о бессмысленных жестокостях, и снова проснулась исконная ненависть к царским чиновникам. В горах опять зашевелились конные башкирские ватажки Салавата Юлаева. Угасавшее пламя восстания вспыхнуло с большей силой. Истомленные тяжким гнетом люди выжидали только теплых дней.

Наконец в марте пришла долгожданная пора. По степным балкам зашумели талые воды, весна быстро

и шумно двигалась на север, в уральские горные теснины. День и ночь над седым Камнем кричали стаи перелетных птиц: на дикий скалистый север летели журавли, наполняя горы веселыми трубными кликами, белоснежными облачками над кремнистыми вершинами проплывали легкие лебяжьи стайки. Утиные косяки зашумели на тихих лесных озерах. В эту пору в глухой башкирский улус на добрых конях примчались лихие конники. Башкиры узнали среди них вождя восстания. Верили ли они, что прибывший гость является действительно царем Петром Федоровичем, или нет, трудно было угадать по их замкнутым лицам. Много позже один из башкирских историков писал:

«Он (Пугачев) говорит, что башкирам даст свободу: пусть они сами управляют своей страной, где они по своему желанию могут летать подобно птице и плавать подобно рыбе... Является ли Пугачев царем или нет,— это нас не интересует. Пугачев против русских чиновников, генералов и бояр,— для нас этого достаточно...»

Так было и на самом деле. Башкиры радовались появлению в их краях Пугачева и готовно кричали:

— Бачка, бачка, веди нас!

Слишком большое озлобление накипело у них на сердце против притеснителей. Они поэтому охотно верстались в пугачевскую конницу. И снова под знаменами Пугачева появились новые сотни приверженцев. В половине апреля Емельян Иванович с большим отрядом появился на Вознесенском заводе. Заводчина примкнула к повстанцам. Выбрал из них Пугачев весьма способного заводского человека Григория Туманова, умевшего говорить и писать по-башкирски, и сделал его своим повытчиком. Бойкого казака Ивана Шундеева назначил своим секретарем. Оба они написали от имени царя Петра Федоровича указы к башкирскому населению и к уральским работным. Указы, предназначенные для башкир, Григорий Туманов перевел на их родной язык.

Полетели из новой ставки гонцы по уральским селениям. Требовал «государь», чтобы готовили фураж и печеный хлеб для «персонального шествия его величества с армией». Население охотно стало готовиться к встрече Пугачева.

Пробыв на Вознесенском заводе двое суток, повстанцы стали собираться в поход. Над падью сумерничало, над косматым лесом зажглись первые звезды.

Толпа башкир и заводчины попросила Пугачева выйти на площадь, и тут подвели ему белоснежного коня в доброй сбруе. Пугачев глазам не верил, словно во сне творилось чудо дивное. Конь отливал серебристой шерстью; словно лебедь, спустился он на зеленую елань со звездного неба.

На поляне толпились плотные, крепкие мужики. И они чинно поклонились Емельяну.

— Отец наш, веди на дворян да на заводчиков! На слом их!

Пугачев поднял голову, величаво оглядел и крикнул своему воинству:

— Завтра, детушки, в поход трогаемся! Накормить моего лебедя, отточить пики острее!

Ночь простерлась над заводом; среди чащобы шла невидимая, неслышная суетня: пугачевцы готовились к выступлению.

2

Над крутыми высями Иремеля плыли синие тучи, гремели первые грозы; шумные водопады низвергались с кремнистых скал в зеленые долины. Еще не отшумели ранние воды, с гор бежали с ревом потоки, бились о камни и, пенясь, в ярости кидались на скалистые берега. В эту пору в солнечный апрельский день через буреломы и дремучие чащобы, преодолевая половодье, на Малиновую гору вышло неведомое войско. Демидовский Авзянский завод лежал в пади, согретый благостным солнцем, умытый вешними водами. Серебром сверкало зеркало заводского пруда, золотом горела маковка церквушки. На просохшей паперти толпились работные. Легкий ветерок колыхал пламя свечей в руках богомольцев.

Из пади на Малиновую гору доносилось стройное песнопение. И когда на горе заколыхался стяг, в толпе молящихся ахнули:

— Отцы родные, никак батюшка-царь пожаловал!

Сразу все оживилось, хромоножка-пономарь мигом взбежал на колоколенку и ударил в набат. Над степью понеслись призывные звуки колокола. Народ взволнованно следил за Пугачевым. Плечистый бородатый всадник сдерживал горячего коня.

— Ой, то сам батюшка-царь!— пронеслось в толпе.— Кличь попа! Выходи, честные, навстречу!

Солнце щедро озаряло землю. Старые, согбенные трудами и невзгодами литейщики и молодая заводчина зашумели, колыхнулись навстречу Пугачеву.

Между тем Пугачев сошел с коня и спокойным шагом стал спускаться с горы. За ним степенно выступали казаки. Большая крестная хоругвь развевалась над Пугачевым, высоко нес ее дюжий детина. Емельян Иванович был одет в красный бархатный кафтан, который при блеске солнца переливался жаром. Навстречу Пугачеву медленно поплыли золотые огоньки восковых свечей: богомольцы торжественно шли на поклон к царю. Мужиковатый поп в холщовой рясе с крестом в руках выступал впереди.

Не доходя десяток шагов, Пугачев остановился и крикнул:

— Здорово, детушки!

Словно искра побежала по толпе — сразу заговорили сотни людей:

— Шествуй, наша надежда, царь-батюшка! Заждались мы тебя!

Народ окружил Пугачева; кидали вверх шапки. Раскатистое «ура» загремело над падью. Священник трясущимися руками благословил Емельяна Ивановича. Пугачев степенно огладил бороду, глаза его засняли доброжелательством.

Он торжественно прошел через толпу к паперти. Сюда ему вынесли кресло, он осанисто уселся. Казаки в цветных чекменях тесной стеной стали позади. Пугачев склонился вперед, зорко оглядывая толпу. Все притихли.

— Кто тут ныне на заводе старшой?— деловито осведомился Пугачев.

— Здесь он, батюшка-царь!— загомонили в толпе.— Эвон человече наш!..

Из толпы выпихнули тщедушного старика. Он упал перед Пугачевым на колени.

— Управитель?— строго спросил Емельян Иванович.

Голубок бесстрашно посмотрел на Пугачева и ответил:

— Ныне стал управителем на здешнем заводишке, когда демидовский пес-приказчик сбег в леса от народной кары!

— Царь-батюшка, это знатный пушкарь из Кыштыма прибег тебе послужить,— раздалось в толпе.

Лицо Емельяна Ивановича прояснилось, глаза стали приветливыми.

— Встань!— сказал он.— Пушки лить будешь своему государю!

Голубок поднялся с колен и добродушно ответил Пугачеву:

— Прислан я по приказу Хлопуши. Уже изготовили три единорога секретных. От сердца поведаю, государь, что николи так радостно не работалось, как сейчас. Только и ждали тебя!

— Отколь знал, что я могу сюда пожаловать?— удивился Пугачев.

— Дело подсказало, что не минуешь наш завод!— поклонился мастерко.

— Молодец, жалую тебя кафтаном!— весело промолвил Пугачев.— Только три пушки маловато. Дедушка, и вы, добрые люди, пособите мне в трудный час и спроворьте орудиев побольше! А кто желает в войско, того жалую казачеством и жалованием!

Мастерко, склонившись, подошел к кресту, облобызал полу пугачевского кафтана. Столпившиеся работные пообещали охотно:

— Отольем, государь, скорострельные пушки. Отольем, еще какие!..

На Малиновой горе забелели палатки. Взглянув туда, Пугачев сказал:

— Люди наши изголодались в дальнем пути. Хлебом ссудите, кто чем богат!

— Все будет, батюшка! Жалуй, государь, под кровлю, не побрезгуй хлебом-солью!— наперебой предлагали авзянцы.

Набежавший с гор ветер один за другим потушил огоньки свечей, смолк колокольный звон. Хромоногий звонарь давно спустился с колоколенки и затерялся в толпе.

Сопровождаемый ближними своими и авзянцами, Пугачев проследовал в заводской дом, где суетливые бабы быстро накрывали на стол.

— Теперь благовещенье, и по божьему завету даже птаха гнезда не вьет, но дело такое приспело, что и бог простит,— обратился Пугачев к мастерку.— Пушки ныне же приступи отливать!

Старик поклонился и вышел из избы. В ней остались только приближенные да бабы-стряпухи. Пугачев улыбнулся, обнажив крепкие белые зубы.

— А вы, бабоньки,— сказал он им,— добро покормите меня да моих генералов!

Стряпухи стали разливать варево в большие миски. Теплый пар клубами поплыл по избе. Чинно переговариваясь, казаки стали рассаживаться за столом.

— Ну, господа генералы,— обратился к ним Пугачев,— утолим чрево — и за дело. Мешкать нам нельзя! Вода потихоньку убывает в реках да и в ильменях: конному и пешему наступает добрая дорога. Народ верстать в казаки да поспешно лить пушки и ядра.

Темные глаза Пугачева обежали соратников. Ближний его — Чумаков — встрепенулся и сказал:

— По всему видать, государь, народ поджидает наше воинство. Всколыхнулись опять по всей степи и в горах...

Казаки за столом оживились и загомонили разом. Осмелевший Чумаков, заглядывая в глаза Пугачеву, попросил его:

— Ваше величество, разрешите нам осушить малу чару?

Пугачев покосился на стряпух и спросил:

— А что, бабоньки, нет ли чего хмельного?

Остроглазая девица с тонким станом отозвалась певучим голосом:

— Отчего ж, царь-батюшка, нет? Для тебя враз все разыщут!

— Ишь ты!— подмигнул ей Пугачев.— Постарайся, милая.

Только теперь среди суетливых старых баб заметил он эту пригожую девку. До чего ж она была хороша и сдобна! Брови густые, глаза веселые, озорные, а сама статна.

— Сколько годков тебе, хозяюшка, как звать?— спросил повеселевший Пугачев.

— Семнадцать, царь-батюшка. А звать Дуней,— смело отозвалась она и взглянула на Пугачева.

— Мужняя аль девица?

Дуняша закраснелась и потупилась.

— Женихи заглядывали, да дедко не уговорчив,— тихо промолвила она, подошла к столу и осторожно поставила дымящуюся миску с варевом.— Кушайте на здоровье,— сказала Дуня приятным певучим голосом и поклонилась.

Стряпухи спроворили на стол хмельное. Казаки принялись пить. После утомительного перехода по го-

рам все жадно елн. Пугачев поднял чару и словио ненароком взглянул на Дуню, которая вознлась у печи. Наклонившись к челу печкн, она ухватом нзвлекала оттуда грузный закопченный котел. Стаи ее, как былника, нзогнулся. Раскрасневшнсь от натугн, девушка опять украдкой быстро взглянула на Пугачева. Взволнованный ласковым взглядом Дуняшн, ои встал н шагнул к девке.

— Ой, не трожь меня!— вскрнкнула Дуня, н лнцо ее зарделось стыдлнвым румянцем.

Пугачеву почему-то вдруг стало жалко ее. Усмехнувшнсь, он сказал стряпухе:

— Чего удумала? Да я тебе в отцы гожусь. Ну, не бойсь!

Она робко вернулась к печн, и мннуту спустя лнцо ее вновь озарнлось улыбкой. Эта чнстая улыбка еще глубже задела Пугачева за сердце. Пощипывая свою бороду с проседью, он горько подумал: «Эх, отлетела младость! Не для меня создана эта краса!..»Он опустнл на грудь голову. Глаза его сталн скорбны, в углах рта легли горькне складкн. Больше он не притронулся к чаре. Казаки, сдержанно пошумев, выпнв до дна хмельное, разбрелнсь по хоромам. Пугачев встал из-за стола последним. Опечаленный, он покннул горнннцу.

— К ночи вернусь!— сказал он иа ходу стряпухам.

У ворот ему подали коня. Легко и молодо вспрыгиув, ои потрепал скакуна по холке н поскакал к Малиновой горе.

Поздно вечером, когда сумеркн скрыли белые шатры на горе, Пугачев вернулся в завод. Он подъехал к ннзенькому закопченному строенню лнтейной н, сойдя с коня, прошел в мастерские. Там, облнваясь потом, сутнлнсь работные. Снопы брызжущнх нскр освещалн помещение. Старый мастерко проворно распоряжался лнтьем. Завндя Пугачева, он н глазом не моргнул, не броснл дело, верной рукой направляя жндкий чугун в формовочную канавку.

— Бог в помощь, детушкн!— сказал Пугачев лнтейщнкам и, оборотясь к старику, похвалнл его:— Добро! Гляди, дедко, пушку отлей отменную!

— Сробнм, государь!— поклонился Пугачеву Голубок.

Раскаленная чугунная жнжа сверкала бесчислениымн золотыми звездамн. Онн нскрнлись, трепетали, вздрагивалн, н каждая из них чаровала глаза невндан-

ной красотой. Пугачев засмотрелся на игру ослепительного сияния. Старик опасливо заслонил трепещущие искры собою и предупредил его:

— Нельзя, государь, зреть подолгу: взор померкнет.

Освещенное багровым отсветом лицо Пугачева дышало довольством.

— Вижу, детушки, стараетесь,— сказал он и, постояв малое время, вышел из литейной.

— Хозяин! Хошь царь, а прост больно!— посмотрев ему вслед, промолвил заводской.

Не торопясь, задумчиво Пугачев пошел к заводскому дому. Ночной степной ветер приятно обвевал разгоряченное лицо. Покорный конь брел за хозяином, толкая его мордой в плечо. В избе было темно. Пугачев распахнул дверь и вошел в избу. Полусонная растрепанная баба вздула огонек и засветила лучину.

— Может, поесть, батюшка, хочешь? Наш-то дедко на заводишке робит, не до сна ему!— участливо сказала она.

Пугачев отказался, попросил проводить до постели. Хозяйка уложила его в мягкие перины. Глубокий здоровый сон мгновенно охватил Емельяна Ивановича.

3

Неделю пробыл Пугачев в Авзяне. Работные отлили пушки и сотню ядер. Каждый день из лесов в завод возвращались беглые и верстались в войско. Сорок авзянских работных вызвались быть при пушках.

«Пора в поход!»— решил Пугачев и на заре в теплое утро выступил из Авзяна.

Пугачевские войска двинулись по гребню горы Веселый Машак. В лесу не просохла земля, колеса телег, груженных тяжелой кладью, вязли по ступицу. Кони надрывались; зацепившись копытом за корневище, споткнулся коренник и не поднялся больше, пал. Авзянцы сгрузили пушки, пристроили жерди и на себе потащили их. С камня на камень, с шихана на шихан, обливаясь потом, они тащили пушки. На шеях мужиков от напряжения вздулись жилы, но они с усердием волокли тяжелый груз.

Пугачев сошел с коня и криком подбадривал людей:

— Не робей, детушки! Дружней возьмем!.. А ну, пошли!

Еле приметная тропа вилась по самому гребню Камня. По обе стороны внизу шумели свежей зеленью леса, кричали птицы, на востоке в синей дали простиралась степь. Высоко в небе над равниной кружили орлы. Где-то внизу в глубокой пади гремела и плескалась неистовая горная река Белая. Через буреломы, дремучие чащобы, набирая воды от многочисленных безыменных ручьев, она рвалась в глубокую долину, в которой среди гор притаился Белорецк.

Внизу у гор расстилалось синее марево. Указывая на него, Пугачев обещал:

— Погуляем там, детушки, на воле!

На другой день на лесную дорогу выехали дровни, влекомые волами. Погонщики упали перед Пугачевым на колени.

— Посланы мы подсобить тебе, царь-батюшка. Прослышали, что с пушчонками идешь, да в лесах тяжко доводится,— сказали они.

— Ох, добро, ко времени подоспели!— обрадовался Пугачев и приказал перегрузить пушки.

Медлительные волы без натуги поволокли тяжелый груз. Погонщики засмеялись:

— Вот она, бычья дорожка!

Прошло еще два дня. Кругом все вздымались горы, рядом шумела и бесновалась Белая. Лесные чащобы сильнее сжимали тропу. На третий день скалы расступились, и в широкой долине показались курчавые дымки завода.

— Вот и Белорецк!— показал на дымки Пугачев и погнал коня в понизь.

Глава третья

1

Позади остались ордынские степи. Воронко, пофыркивая, бежал по лесной дороге-тропе. В чащобе струилась утренняя прохлада. Мачтовые сосны стояли неподвижно, распластав над тропой широкие пышные лапы ветвей, отбрасывая на елань бледно-синие тени. В торжественном лесном безмолвии слышался только мерный топот коня да треск сухого валежника. Изредка из-под самых ног Воронка с шумом срывался глухарь;

ои столбом взвивался иад деревьями и исчезал в глухом ельиике.

Грязнов прислушивался, ио густая тишииа таилась в гориых дебрях. Тропка круто взбегала иа перевал, впереди сияло голубое иебо. Постепенио редели сосны, коиь прибавил шагу и иакоиец выиес всадника иа просторную елань. Грязнов подиялся в стременах и глянул вперед. Внизу в глубокой пади вилась река, курчавились дымки завода.

И только огляделся, как из лесу на елаиь одии за другим выбежали угрюмые мужики с рогатинами и дубинами и окружили его.

— Стой, куда едешь? Кто таков?— дерзко закричал одии из иих.

— Государев атаман, а еду я к батюшке в Белорецк!— оглядев лесную ватагу, спокойно ответил Грязнов.

Мужики уважительно посторонились:

— Коли так, езжай с миром! И мы к иему торопимся.

Чем ближе атаман подъезжал к заводу, тем чаще обгоиял толпы, бредущие по дороге. Из гор, из лесов выходили все иовые и иовые крестьянские ватаги, заводские мужики, иа низкорослых коньках выезжали башкиры. Все устремлялись в Белорецк...

Там на заводской площади стоял высокий полотняиый шатер, и пребывал в нем сам государь-батюшка. Сердце Грязнова сильиее забилось при виде шатра.

«Вот коли придется свидеться с могутным человеком!»— радостно подумал он.

Однако не так-то легко было добраться до шатра. Широкоплечий, кряжистый станичник Чумаков — ближний Пугачева — крепко оберегал его. После долгой беседы с Грязиовым и пытливого осмотра он сдался и пообещал доложить государю.

В окрестных домах было шумно, теснились коииики, пешие дружииники. Звеиело железо в походных кузницах: черномазые кузнецы калили железо для копий, ковали казачьих коией, ладили башкирам железные наконечники для стрел. Ничто не ускользало от сметливого взора Грязиова. И чем внимательиее он вглядывался в окружавшую суетню, тем явственней проступал во всех делах порядок и воииский дух.

«В добрых руках войско!»— похвалил ои про себя Пугачева.

Перед шатром толпились атаманы, сотники, прибывшие башкирские старшины. Все поджидали царского выхода. С гор продувал теплый вешний ветер, колыхал знамена и полотно шатра. Чумаков вынес низкую скамью, поставил на пестром ковре.

Тут распахнулись полы шатра, и на яркое солнышко выступил добрый статный казак с веселыми карими глазами; был он слегка скуласт, смугл, борода густа, курчава, с легкой проседью. На казаке — парчовая бекеша, красные сафьяновые сапоги, шапка с алым бархатным верхом.

— Здравствуйте, детушки!— вскричал Пугачев.

Все сразу опустились на колени, дружно отозвались:

— Здравия желаем, ваше царское величество!

— Спасибо, детушки! Встаньте!— сказал он ласково и уселся на скамеечку, крытую зеленым шелком. Подбоченился, устремил свои пронзительные глаза на башкир.

— Ведомо мне, что по чистосердечности вы пришли сюда!— раздельно, властным голосом сказал он башкирским старшинам.— Ваша службишка мне, государю российскому, будет оплачена вам вольностью. Освобожу я вас от всяких утеснений и поборов. А брату моему младшему, Салавату Юлаю, передайте поклон и дар.

Пугачев повел карим глазом на Чумакова; тот быстро нырнул в шатер и вновь вышел, держа в руке кривую сабельку в драгоценной оправе. На горячем солнышке цветами радуги засияли кровавые лалы, золотистые яхонты, зеленые, как молодая травка, смарагды.

Чумаков поднес саблю Пугачеву. Тот внимательно оглядел ее и протянул седобородому старшине. Башкир тотчас упал на колени.

— Бачка, бачка, государь!— залепетал он, и глаза его впились в саблю.

Он бережно принял ее, поцеловал протянутую Пугачевым руку.

Не утерпел старый кривоногий конник и, отойдя на шаг, выхватил из ножен клинок. Все ахнули. Грязнов прижал руку к сердцу, не мог оторвать своих очарованных глаз от клинка. Синеватая ручьистая сталь струилась огоньками, будто из глуби металла всплывали и гасли золотые искорки.

Изумленный башкир защелкал языком.

— Хорош! Ой, хорош клинок!— похвалил он.

Пугачев довольно огладил темную бороду, сказал:

— А еще поведай моему брату, Салавату Юлаю, что вороги у нас одни. Пусть сим клинком беспощадно рубит вражьи головы! Но то разумейте: заводишек наших не рушить, оберегайте их от огня, от злой руки и порухи. Потребны нам будут сии заводишки, когда тронемся на Москву...

Грязнов залюбовался Пугачевым. Сила, молодечество, умная речь пленили его. Атаман сразу уверовал в него. «Умен! Шибко умен! И видать, человек рассудительный, воин добрый. Голова! Ему и вести нас. Много годков поджидали такого!»— думал он.

От этих мыслей его оторвал окрик:

— А ты кто? Откуда, молодец?

Грязнов упал на колени, подполз и поцеловал руку Пугачева.

— Государь-батюшка, верный слуга твой атаман Грязнов, повоевавший генерала Деколонга. Из Челябы прибег.

— Знаю! Наслышан о тебе, казак!— Пугачев внимательно оглядел Грязнова, оживился.— За воинские доблести жалую полковником. Чумаков!— снова покосился он на проворного казака. Тот опять нырнул за полог шатра и вынес суконный кафтан, золотые полковничьи знаки.

— Подойди ближе!— Пугачев поднял пытливые глаза на Грязнова.— Узакониваю тебя полковником яицкого полка, и ныне быть тебе ближним моим охранителем. Служи честно, а я, государь, тебя не забуду...

К Пугачеву подходили другие; для всякого он находил умное и твердое слово. Отпустив всех, он поднялся и, построжав, крикнул окружавшим его сподвижникам и башкирским старшинам:

— В поход, детушки! В поход!..

Чумаков откинул полы шатра, и Пугачев, слегка качнув головой атаманам, скрылся за белым пологом.

На душе у Грязнова стало бодро, легко, словно хмельная кровь переливалась по жилам, ободряющее слово Пугачева, будто живой росой, освежило его. Он взглянул на горы, на сияющие под солнцем леса, на синее небо и потянулся до хруста в костях: «Эх, скорей бы переведаться с супостатами!..»

И мнились ему старые дороги через степь, через камни-шиханы, через чащобы на знакомую Челябу, на

Кыштымский завод. «Погоди, еще погуляем по знакомым местам!»— бодрясь, подумал он.

2

В горячем зыбком мареве колеблется бескрайняя степь. В чистом небе чертят плавные круги остроглазые орлы, высматривая добычу. Но пустынно, безмолвно кругом. Напрасен орлиный дозор: ни овечьих отар в степи, ни конских косяков — откочевали ордынцы в глубь ковыльных просторов, следом за стадами ушли волки. В сизом мареве по степи с полудня на полуночь редкими городищами сереют деревянные крохотные крепостцы Верхне-Яицкой дистанции: Магнитная, Карагайская, Кизильская, Петропавловская, Степная. Во всех этих крепостцах еле-еле набиралось до тысячи ратных людей да десятка три орудий. Только над старым Яиком-рекой, при устье Урляды, стоит хоть деревянная, но крепкая своими валами, заплотами и сильным гарнизоном Верхне-Яицкая крепость.

Пугачев решил умно: «Первая неудача обернется бедой, а маленький успех окрылит людей».

Решил он миновать Верхне-Яицкую крепость и ударить на Магнитную. Двигаясь по станицам и селениям, забирая годных коней, скот, запасы хлеба, пятитысячное войско Пугачева прошло мимо Верхне-Яицка.

Комендант крепости этой станицы полковник Ступишин, столь храбрый с одинокими башкирами, при виде пугачевского войска изрядно струсил и пустился на воинские хитрости. По его наказу за валами наставили обряженные чучела, за тыном выставили обожженные шесты, издалека схожие с пиками. Звонили в колокола в крепостном соборе, где хоть и теплились перед образами лампады, но было пусто. Весь народ, и стар и мал, производил в городе шумы, изображая большой воинский лагерь...

Пугачев на тонконогом белом коне остановился на Извоз-горе. Внизу у ног, за синей лентой Яика, лежала крепость. Емельян Иванович долго всматривался в серые деревянные заплоты, в улочки города; насмешливая улыбка блуждала по его лицу.

Грязнов не стерпел, на Воронке быстрым махом пустился к реке. Редкие пульки провизжали мимо, но полковник даже ухом не повел; подъехав поближе, выглядел немудрые хитрости коменданта.

Смех подмывал его.

«Плохи дела, коли головешки для устрашения выставил»,— подумал он и во всю прыть помчал в гору. Еле сдерживая радость, указывая на заплоты, Грязнов крикнул Пугачеву:

— Батюшка-государь, схитрил старый плут Ступишин! За тыном головешек натыкал.

— Тишь-ко!— сверкнул злыми глазами Пугачев.— Сам вижу.

Лицо его стало сурово, замкнуто. Он властной рукой тронул повод, конь послушно повернулся и пошел под гору. За ним затрусил Воронко. За горой быстро скрылся крепостной городок. Набежавший ветерок шевельнул конские гривы. Пугачев оглянулся на атамана и сказал в глубоком раздумье:

— После рассудим, кто кого обхитрил...

Воинство, обтекая гору и Каменные сопки, что синели на юге от Верхне-Яицка, обошло крепость и на другой день, словно выхлестнутое сизым маревом, встало шумным кольцом под Магнитной.

Люди горячились, рвались в битву. Пугачев на полном скаку подъезжал к крепостным воротам.

— Детушки, детушки!— закричал он.— Против кого идете? Аль не признали меня, государя вашего?

Из-за крепостного вала выглянул седоусый капитан.

— Я тебе, сукину сыну, покажу сейчас!— погрозил он кулаком и скомандовал притаившимся стрелкам:— По вору — огонь!

В степной тишине прозвенели редкие выстрелы. Грязнов кинулся вперед, ухватил пугачевского коня за повод:

— Остерегись, государь!

— Уйди прочь!— закричал Пугачев.— Знай свое дело!

Он оглянулся на бегущие толпы и закричал им:

— За мной, детушки!..

Но из крепости дружно отстреливались. Не добежав до заплотов полусотни шагов, порастеряв раненых, толпы повернули назад. Они увлекли Пугачева. Белый конь широким махом вынес его вперед. На полном скаку он остановил коня, крепко взнуздав, повернул обратно, вздыбил его и врезался в людскую гущу. Давя людей, широко размахивая плетью, Пугачев стал хлестать их.

— Куда ж вы? Чего спугались, лукавые? Назад, назад!— кричал он и гнал толпы на крепость.

Из-за тына раздавались частые дружные залпы... Грязнов выскочил вперед, прикрыл собою Пугачева.

— Прочь!— озлился Емельян Иванович.— Доколь глаза будешь мозолить?— Смуглое лицо его в злобе перекосилось. Ощерив крепкие зубы, Пугачев схватился за клинок.

В эту минуту вражья пуля ударила Воронка. Конь заржал и опрокинулся, загребая копытами землю. Грязнов вскочил. Пугачев, сжав скулы, обхватил правой рукой левую и отъехал прочь. На парчовой бекеше его заалела кровь...

«Пропал конь!.. Государя изувечили!»— с горестью подумал Грязнов и следом за Пугачевым побрел прочь от крепости...

Рука Пугачева вспухла, посинела. Сильный жар одолевал тело. Он валялся на войлоке в палатке и горько жаловался:

— Николи того не было! На царей пули еще не отливались. Эта, видать, наговорная! Колдун офицеришка!..

Ночь темным пологом накрыла степь. Нарушая тишину, за дальним ильменем провыл одинокий волк. Пугачев вышел из палатки, взглянул на звездное небо, тихо обронил:

— К полуночи месяц взойдет... Коня!— властно сказал он Чумакову.

Емельяну Ивановичу подвели белого скакуна. Поддерживаемый близкими, он, морщась от боли, взобрался в седло.

В эту пору по овражкам, рытвинам к заплотам крепости, как черные неслышные тени, крались охотники. Загремела пальба, за валами тревожно забил барабан, но было поздно,— под ударами топоров трещали ветхие, иссохшие от степных ветров бревна, рушились тыны.

И тогда Пугачев на своем скакуне выехал вперед; с толпами разъяренных дневной неудачей людей он устремился в пролом. С развевающейся гривой его конь носился по крепостной улочке и давил потрясенных ужасом защитников...

Из-за холмов выплыл багряный месяц, осветил степь. У темных крепостных ворот кричали обозленные пугачевцы:

— На перекладину их!..

Мужики вешали усатого коменданта крепости и его жену.

За гарнизонной избой занималось пламя. Багровые отсветы озарили темное степное небо. Прилетевший ветер пахнул в лицо гарью.

3

Над широким Яиком тянулись горькие дымы; дотлевали бревенчатые домишки Магнитной. Кругом пепел и запустение. На пожарище копошились бездомные одинокие псы.

По ковылю, по дорогам ветер-гулена славу разнес. Днем и ночью в пугачевский стан прибывали конные башкиры, ордынцы, заводчина. Животворной водой оросилась степь, ожила, зашумела. Под звездами на глухих дорогах заскрипели телеги, ржали кони; горы и степь изобильно рождали недовольных, и спешили они теперь под Магнитную. Росло пугачевское воинство и, как вешний поток, выходило из берегов.

В стане над Яиком белел большой шатер, а в нем на войлоках метался батюшка; все тело его горело и томилось от боли. Ивашка Грязнов склонился над ним:

— Дозволь, государь, привести лекарку. Знаю тут одну в степи.

Пугачев покривился от боли.

— Зови, дай облегченье...— обронил он, устало опустив голову.

Ивашка вскочил на коня и поскакал к ильменю, к знакомой балочке. Вот и воды блеснули, и низинка распахнулась! Как и в прошлый раз, подле родника вился дымок, у костра сидела старуха. Приложив дрожащую ладонь к глазам, она пристально вглядывалась в подъезжавшего конника.

— Заждалась тебя, родимый!— низко поклонилась она казаку.

— Ой, что ты?— Грязнов суеверно покосился на старуху.— Отколь тебе, бабка Олена, было ведомо, что наеду сюда?..

— Сердце вещее подсказало, что не миновать тебе и в третий раз меня, старую...

Она смолкла, помешала в чугунке.

— Ты что ж, полудневать собралась?— спросил казак и заглянул в котелок. В нем кипела-пузырилась чистая водица.

— Отполудничала и отужинала, сынок!— скорбно отозвалась ведунья.— Поприела все. Годы мои вышли, и собралась я, крестничек, в дальнюю дорожку. Вот и лапоточки надела...

И впрямь, на ногах старухи белели липовые лапоточки. В чистом сарафане празднично и торжественно выглядела бабка.

— Никак на Кыштым собралась?— воззрился на старуху Ивашка.

— Нет, сыночек, не добрести мне до родной земельки. Услышала я вчерась гром дальний и подумала — идет государь-батюшка! Несет он расплату нашим притеснителям. Ох, хоть бы в очи его поглядеть!

Казак подсел к огоньку и молча выслушал старуху. Из глаз ее выкатилась жаркая слезинка.

— Хоть одним глазком взглянуть на ясного сокола, да силушки уж нет. Уходилась...

— Садись, баушка, на моего коня, да поедем мы к нему! Поранили его наши супостаты. Добудь травку такую, чтобы боль ту унять.

— Есть такая травинка. Ой, есть! Приложишь к ранке, отойдет боль, а на десятый день возвратится здоровьице...

Старуха заползла в свою лачугу, добыла ладанку, подала ее казаку. Вручив травку, она присела у костра и огорченно сказала:

— И то старая подумала, да можно ли соваться ему на глаза? До меня ли ему! Нет, нет!— Она грустно покачала головой.— Езжай один! И так мне радостно, что хоть капельку доброго могу для него сробить. Ну, сынок, торопись!

Ивашка согласился со старухой. Быстро вскочил на коня и понесся в степь, а на пригорке долго темнел силуэт маленькой старушки. Степное марево постепенно укрыло его...

В ночь полегчало Пугачеву от Олениной травы, опухоль стала спадать. Наказал он сбираться в поход. Утром заиграли трубы, загремели бубны: конники выступили вперед. Клонился долу ковыль, разбегались неведомые тропы, поднялись птицы над степью. Станичники запели песню:

Ах ты степь ли, степь наша родная,
Ты неси коней глаже скатерти...
Мы задумали дело правое,
Дело правое, думу честную...

Ветер развевал конские гривы, звенели удила. Осененный знаменами, в голове ехал Пугачев. Впереди неслись птицы, позади кралось зверье...

Неподалеку от Верхне-Яицка из-за горы выплыло пыльное облако — показалась рать.

«Быть драке!»— решил Пугачев и стал выглядывать места. Но в эту минуту его острый глаз заметил вестника. На сером коне широким махом скакал казак. Навстречу ему Пугачев выслал Грязнова.

Рати остановились, разделенные холмами, и стали выжидать. Улеглась пыль, смолкли голоса, только кузнечики в ковыле неутомимо завели свое надоедливое цырканье. Подбоченясь, сидел Пугачев на белом коне.

Вот Грязнов оторвался от вестника и поскакал прочь. Пугачев облегченно вздохнул. На скаку Грязнов махал шапкой и кричал:

— Свои!.. Свои!..

Подъехав к Пугачеву, он вытянулся в седле и молвил радостно:

— Ваше величество, полковник Белобородов помощь ведет!

Емельян Иванович махнул рукой. Снова заиграли рожки, забили в бубны, взвилась песня:

Коль придется покориться нам,
Сложим головы непокорные.
Под катов топор, под страшный удар
Сложим буйные, эх, да головушки...

С кургана в падь навстречу Пугачеву на добром коне спускался высокий плечистый всадник. Не доезжая, он соскочил с коня и пошел неспешным, чинным шагом. Было в его движениях что-то уверенное, хозяйское. Держался он прямо, строго.

Пугачев сам сошел с белогривого и двинулся навстречу. Они сошлись на степном перепутье, обнялись и трижды поцеловались.

Конь о конь повели они войско мимо Верхне-Яицкой крепости. Через ордынцев дознался Пугачев: сидит за валами и тынами крепости прибывший с дружинами генерал Деколонг. Сжигая мосты, разрушая паромы, пугачевское войско свернуло на Карагайскую. В крепости за полусгнившим заплотом притаились в обороне старые да дряхлые инвалиды. Завидев на курганах повстанцев, смотритель, прапорщик Вавилов, закрыл ворота. Тишина легла на степь. Жарко пригревало солнце, блестели под ним солончаки да струилось марево.

«Господи боже, да будет воля твоя!» — взмолился старый прапорщик, снял треуголку и перекрестился. В эту минуту из-под парика выглянуло простое мужицкое лицо, загорелое, с рябинами. На башкирском коне к заплоту подъехал Белобородов. Солдаты не стреляли в него.

— Эй! — закричал атаман.— Отзовись, добрая душа! Отворяй ворота!..

— Слышь-ко! — отозвался из-за тына прапорщик.— Чего орешь? Тут не кабак, а крепость! Фортеции с бою берут!

— Не перечь, служивый! — выкрикнул полковник.— У нас пушечки, ядрышки и конников тьма! Идет сюда сам государь Петр Федорович!..

— Слышь-ко! — опять откликнулся смотритель.— Дай-ко помыслить!..

За тыном пререкались солдаты. Заплот был ветхий, прогнил, ворота пошатнулись, под дырявым скатом их поблескивал медный крест. Тут послышался тихий голос прапорщика:

— Слушай, кто ты? Коли старшой, то знай: рассудили мы выйти в поле, сдать фортеции под уговор: не рушить нашу воинскую честь, отпустить с барабаном!

— Слово даю! — посулил атаман и поманил своих.

Прапорщик распахнул ворота и вывел десяток старых солдат. Развернулось знамя, ударил барабан.

— К сдаче готовы! — закричал прапорщик казакам.

Крепость заняли, годные пушки забрали, порох положили на телеги, а тын и домишки предали огню. К небу взвился дымок, затрещало сухое обветшалое дерево.

На дороге поставили барабан, и на него уселся Пугачев. К нему подвели прапорщика. Старик в изношенном мундирчике, в помятой треуголке отсалютовал сабелькой и вытянулся в струнку.

— Желаешь нам, государю, служить? — спросил Пугачев.

— Рад стараться, ваше величество! — четко, раздельно отозвался прапорщик.

— Коли так, верстаю казаком! — сказал Пугачев и махнул рукой: — Эй, обрядить по-нашенски!

Прапорщика подвели к колоде.

— Ну, клади голову на плаху! Клади сейчас же, некогда вожжаться с тобой! — закричал бородатый кержак и ухватился за топор.

Прапорщик задрожал.

— Батюшка, да за что же?— взмолился старик.— Фортеции ведь я по доброй воле сдал...

— Молчи!— прикрикнул мужик и схватил его за косичку.

Старик придвинулся к колоде и рухнул перед ней на колени.

— Ну, будь здрав! — усмехнулся кержак и, уложив косичку на колодину, жихнул по ней топором.— Вот и ты отныне казак, Тит Иванович!..

— Ух!— шумно выдохнул старик.— А я-то думал...

Догорели заплоты, ветер развеял дымок. Была и не стало степной крепостцы. Взвились знамена, поднялась пыль. Быстрым маршем войско тронулось на Петропавловскую.

Запылали пожары, задымилась гарь; горели крепости Петропавловская и Степная, пылали редуты Подгорный и Синарский. На ранней заре перед шумным воинством блеснули воды Увельки. В глубокой пади, у слияния двух рек, заблестели крестами церковки; тонкими белоснежными минаретами встали далекие мечети,— открывался богатый городок и крепость Троицкая...

4

19 мая Пугачев овладел Троицком. Победители жестоко расправились с непокорными: коменданта Фейервара и четырех гарнизонных офицеров повесили. Не пожелавших принять присягу солдат и жителей перебили и перекололи. Дотемна длилось побоище.

К этому часу Пугачев в сопровождении Грязнова объехал окрестные холмы и выбрал место для стана. Высланные дозоры сообщили: стремится его нагнать генерал Деколонг и дать бой.

Все шло ладно: по курганам расставили пушки, к дорогам стянули пеших, конницу упрятали по лощинкам.

На высоком каменистом яру Уя отыскалась пещерка; тут накидали кошмы, пестрый ковер и подушки. Пугачев улегся отдыхать над рекой. Вновь открылась рана, жар растекался по крови, ломило кости. Емельян Иванович распахнул ворот рубахи, подставил горячее лицо ветру.

Атаман Грязнов сидел на камне, перед ним расстилалась глубокая падь. Город, белый каменный собор и минареты уходили во мрак. Только воды Уя отсвечивали последним гаснущим бликом заката. На окрестных холмах рогатыми чудищами стояли ветряные мельницы, а вокруг дымились костры огромного стана. В больших черных котлах кочевники варили конину, казаки — жирный кулеш. Ревели под ножом бараны, ржали кони, голоса сливались в неясный гул... Синие облака на закате подернулись пеплом. Опускалась темная степная ночь...

Между тем генерал Деколонг в самом деле торопился к Троицку. Минуя разоренные крепости, оставив в стороне сожженные мосты, он повернул на Уйскую и через Синарский редут напрямик двинулся на Пугачева. Не жалея ни коней, ни людей, генерал 21 мая ранним утром настиг Пугачева и ударил по его воинству.

На холмах заговорили пушки. Белобородов, отменный отставной артиллерист, сам был за наводчика. Ядра, посланные им, врывались в густые колонны, производя страшное опустошение. Но солдаты смыкались вновь и шли напролом.

Сидя на крутом яру, Пугачев зорко следил за движениями толп. Его злили конные башкиры. Они, как волчья стая, с пронзительными криками неслись на солдат, но, отброшенные стойкими ветеранами, разбегались и рассеивались по степи. Необученные, необстрелянные толпы крестьян и ордынцев бились кучно, неумело.

Пугачев вскочил, глаза его пылали гневом.

— Лапотники! На шалости горазды, а в драке вялы!— злобясь, кричал он. Взглянув на Грязнова, он повелел:— Коня!

Тут же подвели белогривого любимца, но Пугачев не смог сам забраться в седло. Прикусив губы от боли, он прижал искалеченную руку к груди и, опираясь на казака, сел в седло.

— Ваше величество, куда вы?— встревоженно спросил Грязнов.— Глядите, бегут!

И впрямь, в подъем по пыльной дороге на ошалелых конях мчались ордынцы.

— Куда вас черт несет?— кинулся им наперерез Пугачев и взмахнул саблей.

Разбитые ордыицы лавой проиеслись мимо. Из оврагов, из ковыля поднималнсь пешне толпы и торопнлнсь прочь...

Пугачев пришпорнл коня и понесся иавстречу. Ивашка едва иастиг белогрнвого, схватнл уднла.

— Поздио, государь!— закричал ои.— Слышь-ко, тишина какая?..

У пушек шла свалка. А бегущне толпы, как взбаламученный поток, залнвалн дорогн. Пугачев поинк головой. Он свернул в сторону н поехал к реке.

На ковыле еще блестела роса, степь дымилась прохладой, ио все было кончено.

Грязнов сиова иастнг Пугачева, схватил за удила коня и увлек прочь. Впереди шумелн березовые рощн, вздымала песчаную главу Золотая сопка, за ией крылся овражек.

— За миой, государь!— крнкнул Ивашка и помаиил Пугачева.— Места тут мне знакомые. Айдате от беды!..

Почуяв дорогу, конн встрепенулнсь и шнрокнм махом поиеслнсь по степн...

По дорогам валялнсь посеченные тела, черные конскне тушн, поломаиные телегн с добром. Полдиевиый зной раскалил землю, нз-под белого облака иа ратиое поле с клекотом спускались орлы.

Нигде геиерал ие мог отыскать Пугачева, так и ие иастиглн его лихие драгуны. Прыткий белогривый скакун унес Емельяна Иваиовнча от беды, а степные балки укрыли его, ветры замелн след.

Старый генерал призадумался; зиал ои: порубаиы части, ио спаслась пугачевская голова, ие сегодия-завтра как нз-под землн вырастут новые пугачевские сотии...

Предчувствие не обмануло Деколоига: рассеяииые под Троицком, пугачевцы опять собрались и по челябинской дороге двииулись иа Ннжие-Усольскую. Не задержнваясь, Пугачев проскакал через Кичигиискую крепостцу, в которой к нему присоединилась полусотия казаков...

От стана к стану, от перепутья к перепутью росло воинство. Сиова воспряиул духом Емельяи Иванович. Рядом скакал Грязнов, подбадрнвая его:

— На заводы, государь, путь держн! Там вериая опора будет!

Засниелн горы, зашумелн леса, пошли большие дороги на заводы, иа Каму-реку, на Казань. Пугачев ски-

нул шапку с малиновым верхом, поклонился далеким горам и сказал весело:

— Здравствуй, Урал-батюшка!..

Плыли над Камнем хмурые тучи, над кедровником летали стаи птиц, дороги врезались в чащобы; в горах гремела кайла рудокопа, будила тайгу; копоть стояла над заводами. Выходили навстречу Пугачеву жигари, литейщики, рудокопы, кузнецы — горемычной доли люди.

— Здравствуй, Урал-векун!— светлой улыбкой встретил Ивашка знакомые, родные края и, наклонясь к Пугачеву, уверенно сказал:

— Отсель, государь, недалече и до Москвы...

Глава четвертая

1

По горам, по кочевьям Башкирии рыскал отряд подполковника Михельсона, приводил возмутившихся башкир в покорность. Отменный вояка, черствый, сухой, всегда чистый и опрятный, он неутомимо гонялся по лесам за прославленными конниками Салавата. Но башкиры дрались с великим бешенством, предпочитая смерть уходу из родных гор. Вся Башкирия озарилась пламенем, каждый камень тут взывал о мести. Ужасаясь упорству башкир, подполковник Михельсон жаловался начальству:

«Живых злодеев я едва мог получить два человека, из забежавших в озеро. Каждый из сих варваров кричал, что лучше хочет умереть, нежели сдаться. Я не могу понять причины жестокосердия сих народов. Злодей Пугачев оных хотя и уверил, что будут все переведены [1], чтоб им доказать противное, я не токмо каждого, который мне попадался, оставлял без всякого наказания, но давал им несколько денег и отпущал оных с манифестами и увещеваниями в их жилища».

Не знал подполковник, что врученные им листы башкиры рвали, а деньги кидали в болото. Уходя, пленники от стыда плакали. Каждая из последних жен соседа будет тыкать пальцем и кричать детям:

[1] Истреблены.

— Глядите, вот идет продажный! Плюйте в его след!..

Пройдя горами со своим отрядом, Михельсон добрался до Кундравинской слободы и, прошагав двадцать верст глухой дорогой, стал выходить из леса. Михельсон не верил своим глазам. На широкой поляне подле деревни Лягушиной дымились сотни костров, пестрел большой воинский стан.

«Кто же это?— изумился подполковник.— Не может быть Пугачев! Пропал след Емельки! Стало быть, тут Деколонг!»— Он подозвал вестового и наказал выслать разъезды — узнать, что за табор впереди.

Осторожный и предусмотрительный Михельсон, не теряя ни минуты, выбрав удобное место, построил войско к бою...

Но и Пугачев не дремал. Станичники бросились на вражьи разъезды и порубили их. Грязнов с конниками понесся на отряд, огибая его левое крыло. Еле успел Михельсон перестроить свои колонны и принял весь удар на себя. Несмотря на частый огонь, пугачевцы сблизились с войском и ударили в копья...

Михельсон во главе изюмских гусар кинулся в атаку. Разъяренные кони врывались в толпу, мяли, топтали убегавших людей. С бешеного хода безжалостно, с плеча, рубили им головы озлобленные гусары.

Белогривый конь едва вынес своего хозяина из кровавой резни. Густая пыль и дымы растоптанных костров стлались над ратным полем и заволакивали побоище...

Тем временем Пугачев быстро уходил от погони. За ним на свежих конях убегали Чумаков и Белобородов. Серой пеленой тянулась пыль по волнистой дороге, часто стучали копыта коней. Навстречу беглецам летели стаи крикливых ворон; стороной, голодно озираясь, мелькнул одичалый пес. На миг Пугачев оглянулся; тревожно сжалось его сердце. Позади, на пыльном перепутье, четверо гусар рубились с Грязновым. Его серый конь вздымался вихрем, кружил в толпе. Раза два ослепительно сверкнули на солнце клинки...

— Эх!— сжал рукоять плети Пугачев и огорченно огрел белогривого.

Конь встряхнул гривой и, храпя, понесся стрелой. Справа тянулись крутые горы, слева распростерлась холмистая степь. Вот и лесные чащобы. Скоро, скоро они укроют беглецов.

На перелесье Пугачев не утерпел, еще раз оглянулся.

Позади скакали гусары. На перепутье, где только что рубились они, было пусто. Только одинокий серый конь уныло кружил без всадника.

«Эх, срубили головушку Ивашке!.. Добрый казак был!»— с болью подумал Пугачев.

Он еще раз огрел плетью коня и нырнул в молчаливую гущу леса. За его плечами, не отставая, храпели атаманские кони.

«Ну, теперь еще поживем!»— повеселел Пугачев и свернул коня на крутую тропку.

Неумолчным морским прибоем шумел хмурый горный лес. Густой ельник хлестал всадников по лицу. Без конца-краю потянулись леса, горы...

Разом оборвалась и без того еле уловимая тропка. Ехали целиной, едва продираясь меж деревьев и выворотней. Словно в каменном безмолвном храме, стояла торжественная тишина. Кони ступали осторожно. Из-под самых копыт вдруг срывался тетерев и, хлопая крыльями, скрывался в чащобу. Круче и круче вздымались горы. Вдруг распахнулась широкая елань, а над ней отвесно уходили в небо шиханы. Рядом начиналась каменистая россыпь. Пугачев взглянул вверх.

— Вот и ночлег нам! Орлино Гнездышко!— устало сказал он и сошел с коня.

На вечернем солнце величаво пылали кремнистые вершины недоступного Таганая...

2

Томительные часы провел Пугачев в Таганайских сопках. Подобно пустыннику, он целый день сидел в подоблачном Орлином Гнезде. Перед ним, как застывшее бурное море, развертывались скалистые гребни Каменного Пояса. Уходили они на юг в лиловую даль. На востоке распахнулась беспредельная степь с тысячами озер, сиявших на солнце. Внизу под Таганаем темнели угрюмые ущелья, курились туманы в теснинах. Леса пересекались светлыми реками; вот быстрый Келиим и рядом Тесьма несут пенистые воды. Над недоступными кручами парят орлы да проносятся легкие пухлые облака.

Атаманы разъехались за вестями. Верный Чумаков ушел в Златоуст. «Как он там? Приветят ли заводские люди?..»

Тихо в горах, вннзу в лесных зарослях посвистнт вспорхнувший рябчнк, постучит в дупло дятел, да огоньком мелькнет с ветки иа ветку рыжеиькая белка. Вои полукруглая ложбнна между гребнями гор — Переклнкной лог, череи как пасть чудовнща. Если крикнуть, то в горах раздастся великий и страшный гром и многажды раз прогрохочет эхо. И кажется, то не горное эхо, а ревет чуднще, обнтающее в подобных камеиных высях.

Солнце клоинлось долу, в инзниах побежали синие теин. Близнлся вечер.

Прошумел ветер, прниес голоса. Из лесу на елань выехалн всадникн, а за нними толпа пешнх.

«Прншлн!»— обрадовался Пугачев и крикнул с камня:

— Здорово, детушки!

Десяток выборных-златоустовцев Чумаков допустил в Орлнное Гнездо. Он подводил каждого по очередн к «государевой руке».

Пугачев скупился иа слова, держался замкнуто.

Над горамн забрезжнлн первые звезды. Оживали лесные чащобы: заухал фнлии, завылн волкн, под тяжелым шагом зверя затрещал валежннк. Над скаламн взвнлся дымок. Пугачев повеселел, прнятный запах варева ободрнл его...

На заре прншлн радостные вести: дал о себе зиать атаман Белобородов. За рекой Ай ои собрал снова две тысячн ратннков н повел нх на Сатку. Там и иадеялся он встретнть государя.

Пылал костер, кнпели котлы, ходила круговая чара. Пугачев хмелел от сытостн, от зелена внна.

— Лихие у меня полковники!— похвалнлся он.— Не царицыным чета! Пройдут там, где и волк ие проскочнт. Из камня войска поиаделают, да н бьют сверху, что орлы мелкую пташку!

— У кого ж и быть орлам-полковникам, как ие у тебя, государь!— весело отозвалнсь златоустовцы.

Прошла иочь. Заннмался жаркий день, но в гориых теснинах сочилась прохлада. Пугачев с небольшой толпой спустился с Таганайскнх сопок. Внизу зеленелн еланн, снялн рекн, расступилнсь леса, показалнсь дорогн. Из башкнрских улусов выходнлн толпы и приставали к Пугачеву:

— К Аю!.. К Аю-реке!..

Все сбылось так, как донесли выборные. На берегу реки поджидал Белобородов. Были у него пушки и порох, пешие и конные воины...

Пугачев выслал разъезд на Сатку и повел войско окольными дорогами. Кружил, хитрил. Перейдя Чулкову гору, он пошел вверх по реке Уструть, малому притоку Ая. К полудню он круто повернул на восток широким логом к хребту Сулея. Перевалив этот высокий лесистый гребень, Пугачев остановился на Валесовой горе, на берегу Большой Сатки. Отсюда рукой подать до завода.

До вечера простояли тут среди тихих лесов. С заречья вернулись дозоры и донесли: пуст завод! Михельсон покинул Сатку и пустился в погоню за башкирами Салавата.

— Ну, детушки, в дорожку!— весело крикнул Пугачев атаманам, сел на коня и пустился к речному броду.

3

Жарко грело солнце. На еланн над цветеньем летали мохнатые бабочки, жужжали пчелы. Пахло смолами, лесным настоем. Дорога сразу выбежала из чащи и покатилась к синей реке. А на ней Саткинский завод.

Опять повернулось счастье к Емельяну Ивановичу: позади его шумело конное воинство, под тысячами копыт дрожала каменистая земля. Впереди булатным клинком блестела речная излучина, плыл веселый звон. У заводской околицы работные поджидали с хлебом-солью.

— Здравствуй, детушки! Здорово, хлопотуны!— крикнул заводчине Пугачев.

— Жалуй, царь-батюшка!— приветствовали в ответ сотни крепких голосов.

В новом парчовом кафтане, туго перетянутый поясом, лихо подбоченившись, Пугачев выступал на своем белогривом коне. Все теснились к нему, с нескрываемым любопытством разглядывали веселое смуглое лицо. Благообразный седой старик поднес ему на деревянном блюде хлеб-соль. Пугачев скинул шапку, бережно принял дар и, наклонясь, с благоговением поцеловал пахучий каравай. Добрая улыбка озарила его лицо:

— Спасибо, дедушка!

Старик стоял без шапки, ветер перебирал седину. Дед изумленно разглядывал Пугачева.

— Впервое, батюшка, государя зрю! — умиленно молвил он, слезы сверкнули на его глазах.

Возле церкви сколотили виселицы. Из поповского дома вынесли кресло, поставили на ковре. Пугачев сошел с коня и уселся в кресло. Вокруг стояли ближние: Белобородов, Чумаков, атаманы.

Начался суд.

Работные влекли на площадь приказчиков, заводских лиходеев: катов, стражников, нарядчиков...

— А это что за люди?— Пугачев ткнул пальцем в сторону заводских служащих.

Они покорно опустились на колени. Пугачев наклонился вперед, ветерок шевельнул его темную курчавую бороду. Он весело крикнул:

— Бог с вами, детушки, прощаю вас! Служите мне, государю вашему, честно и радиво!

4

Кругом рыскали башкирские ватажники Салавата Юлаева. Где-то рядом тревожил он войска карателя Михельсона. Никто не знал истинных замыслов Пугачева. Оставив в Сатках Белобородова, он на другой день с конниками помчал по дороге на Златоуст. Дойдя до берега Ая и горы Дележной, подле деревеньки Медведевой он раскинул стан. На изумрудном лужке, над прозрачными речными водами поставили государев шатер. Кудрявая береза склонилась над ним...

В это же время подполковник Михельсон по дороге в Сатку подошел к быстрому Аю. На реке догорали паромы, по воде стлался дымок. Напротив, на яру, шумели башкиры.

Салават Юлаев на горячем коне носился над рекой, разглядывал солдат. По мановению его руки из-за камней сыпались сотни оперенных стрел.

Подполковник подозвал солдата.

— На мушку его!— сказал он, указывая солдату на батыря.

Над шиханами догорал закат. На высоком камне, темнея на золотом фоне вечерней зари, маячил всадник. Стрелок метил верно, надежно, но пуля миновала храбреца.

— Наговориый!— сплюиул солдат.— С иими, чертями, разве управишься?

Вороной конь повернулся на камие и тихо ушел прочь. Сизые сумерки укрыли его. Было и пропало видение...

На рассвете Михельсои сел на коиька и поехал вдоль реки, отыскал брод. В этом месте солдаты срыли берег, выставили пушки. И только солице выгляиуло из-за окоема, подполковиик иа коие бросился в реку: за ним устремились солдаты.

Под стрелами, осыпаемые камиями, пехотиицы перешли Ай и стали окапываться. За иими вплавь добралась конница, свернула в лес и сгииула.

Высоки горы, иесокрушим камеиь, храбры башкиры. Но лезли солдаты на горы, одолевали камеиь, бросались врукопашную. Схватившись в смертиой схватке, враги кидались в реку. И под водой душили друг друга, по реке рябь шла, пузырилась глубь, бились, резались насмерть.

Позади башкир застучали частые копыта коией.

Поиял Салават Юлаев: идет беда; крикиул ои, схватил удила, поднялся черный коиь, взметиул гривой и с маху кииулся со страшиой кручи в темиый речной омут. За ним с визгом бросились башкиры...

И когда подполковник Михельсои выбрался на камень, увидел только: выбираются иа берег прыткие башкирские кони, отряхиваются и уходят в лес...

Потерялся след Салавата Юлаева. Укрыли его леса, горы. Над рекой, над шиханами кружили орлы, поджидали, когда с ратного поля уйдет человек...

И тут иа перепутье иеждаиио-иегадаиио встретились Пугачев и Салават Юлаев.

Мчались башкиры на прытких конях по хмурому лесу. На широкую елань из темиого кедровиика вдруг выехал иа белом скакуие широкоплечий, могучий удалец. Глянул Салават на смуглое лицо, на черную бороду и узиал Пугачева. Мигом он соскочил с коия и, склоиив голову, пошел иавстречу, прижимая руку к сердцу:

— Бачка-осударь! Бачка!

Пугачев слез с коия, обиял молодого иизкорослого джигита.

— Будь здрав, брат Салаватушка!— радостио сказал ои.— Ко времеии встретились.

Они сели на коней, поехали рядком. Позади потяиулось войско.

— Спасибо, якши-ма, батырь!— снова промолвил Пугачев и испытующе поглядел на Салавата.— Не ждал я башкирцев так скоро под свою высокую руку. Сколь привел?

Глаза Салавата заблестели. Он смущенно смотрел на Пугачева. Пьянела молодая голова от ласки. Русский царь батырем назвал. Шел батырю девятнадцатый год, тело его было гибко, кости крепки и звонок голос. Как зарница, зажглась его юность. Спел бы он царю песню, да нельзя! Не к лицу. Стрельнул бы из лука — не выходит! Хвастуном обзовет.

— Что ж молчишь?— опять спросил Пугачев.

— Вся Башкир будет!— уверенно отозвался тот.— А сейчас, видишь, встретились с Михельсон, неудача была...

— Как? Куда ушел сей супостат?— удивился Пугачев.— Ой, ко времени подоспел ты! Вот коли переведаемся с ним...

— На Kига пошел!— сказал Салават и, взглянув в темные глаза Пугачева, улыбнулся.— Куда ты, туда моя!..

Гудел лес, бежали добрые кони. Замолчали станичники, притихли башкиры: «Пусть думу думает государь-батюшка, куда повести...»

5

Под Kигами изнуренный горными походами отряд Михельсона внезапно окружили пугачевские конники.

На ранней зорьке, когда над понизью клубился седой туман, из векового бора на опушку выплеснулось неожиданное воинство. Казалось, то не туман колеблется над лугами, а набегают и плещутся беззвучные волны. Из них, будто из таинственной озерной глуби, рождались человечьи головы, и плечи плывущих людей, и туловища диковинных коней с сидящими на них всадниками.

Страх сковал старого барабанщика. Еле сбросив оцепенение, он забил тревогу.

Тысяча башкирских удальцов, приведенных Салаватом, с воем и визгом налетела на воинский стан. Никак не ждал подполковник лихой напасти. Однако его бывалые солдаты не дрогнули: полуодетые, похватав ружья, они не стали ждать противника, а кинулись навстречу. Шли крепким сомкнутым строем, под ногами

гудела земля. Сотни стрел осыпали их, кони с храпом мчали, грозя раздавить копытами.

В сыром тумане схватились враги. Ржали израненные, остервенелые кони, звенели клинки. Молча, зло отбивались оборванные, исхудавшие в походах солдаты. С яростью они били прикладами, с исступленным ревом крушили все на пути. Устрашившись их железной стойкости, башкиры смешались, бросились врассыпную. Михельсон, покинув часть отряда, с конниками пустился в погоню. И когда за холмами улеглась пыль от скачущей конницы, угасли крики, тогда на воинский стан, укрепленный возами, оберегаемый пушками, из лесу лавиной ринулись пешие ватаги Пугачева.

И на этот раз не сдало солдатское мужество, храбро бились седые ветераны, не допуская пугачевцев до пушек.

Пугачев на коне следил за схваткой. Глаза его были сумрачны.

«Эх, медведищи вы мои, медведищи!..»— с горькой усмешкой думал он, разглядывая свое неповоротливое, плохо обученное войско.

Хлестнув по коню, он вырвался вперед:

— Вперед, детушки, вперед!..

Но воинство разбегалось по лесу.

Понурив голову, Пугачев шажком поехал к саткинской дороге. На распутье его настиг Чумаков. Он укоризненно глядел в глаза Емельяну Ивановичу. Пугачев встрепенулся.

— Ништо, атаман!— спокойно сказал он.— Не он и не мы; значит, скоро одолеем!

На перепутье в пыли валялись тела зарубленных башкирами солдат. Один из них, громадный, загорелый, раскинув руки, лежал на спине, устремив неподвижный взор в небо.

— Эх, и добр вояка!— вздохнул Пугачев.— Мне бы тыщу таких, ох, запел бы я тогда песенку!..

Он величаво поднял голову и жестко сказал Чумакову:

— Собери по лесу беглецов да веди в Сатку.

Свистнул, стегнул коня и поскакал по дороге...

Вечером Михельсон поднял остатки своего вконец изнуренного, оборванного и голодного воинства, по лесной дороге бесшумно отступил на Уфу...

6

На рассвете в избе зашумели атаманы, Пугачев поднялся из-за стола и решительио повелел:

— На Златоуст, детушки! На коней!..

По дороге, колыхаясь и пыля, двииулись вереницы пугачевского воииства. Красиая пора пришла в Урал-горы. Реки вошли в свои берега, в чащобах и перелесках распевали птицы, иа еланях пышно зацвели травы.

На вечерней заре в речной пади реки Ай засияла золотая маковка церкви Иоаниа Златоуста, вдали блеснул раздольный пруд.

Навстречу Пугачеву босоиогий белоголовый мальчонка-поводырь вел старца, белого как лунь. Одетый в чистые порты и рубаху, дедка неторопливо передвигал ноги. В руках ои держал деревянную чашку, а в ией побрякивали медные грошики. Старец протяжио пел:

Голубая степь, реки чистые,
Леса темиые, горы крепкие...

— Стой, дедушка, куда бредешь?— остановил перед иим коня Пугачев.

Старец стих, поднял свои иезрячие глаза.

— Со святой Руси бреду, правду ищу!— тихо молвил ои.— Подайте, нищелюбцы, бедному, иемощиому...

— Дедушка, а где добыть правду?— снова и настойчиво спросил Пугачев.

Старик прислушался к стуку копыт, коискому ржанью, иасторожился.

— И сам не знаю, не ведаю! Много годов бреду, немало дорог прошел, а правды не зрел!— отозвался ои. Голос его прозвучал тихо. Ои горестно склонил голову, прислушался к бряцанию удил, звякиул медяками, запросил:— Подай, христолюбец! Видать, воин...

Пугачев достал ладанку, высыпал золотые в чашку. Заслышав чистый звон, старец удивленно поднял бельмы.

— О, щедрая рука!— просиял ои.— Зиать, то сам царь-батюшка!— промолвил ои радостно и опустился на колени в дорожную пыль.

— Угадал, дедка!— повеселел Пугачев и спросил:— Будет удача?

— Пошли тебе, господи, удачу и добрую долю! Заждались мы твоего прихода, государь-батюшка! Только

ие иди иа Косотур. Ой, ие ходи туда!.. Сказывали, идут туда твои супостаты, царицыио войско.

Пугачев помрачиел, иа крутом лбу собрались морщинки. Одиако он не растерялся и бодро кинул старцу:

— Спасибо, дедка, за добрый совет...

Пугачев круто свернул на юг, на лесную дорогу.

Пугачевское войско вышло иа берег Большой Сатки. Отвесные скалы преграждали путь вперед. Пугачев сошел с коия, скликнул народ:

— Пробить дорогу, детушки!

Тысячи рук взялись за работу и над высоким обрывистым берегом проложили тропу.

Простояв станом дневку на светлом озере Зюрак-Куль, в темную иочь Пугачев перевалил каменистую лесистую Уреиьгу и пошел на север.

Над лесным миром поднялась черная туча, погасила звезды; 'пахнуло вихрем. Загремел гром, блеснули молнии.

В горах и чащобах началась гроза. От громкого гула содрогались скалы, буря крушила леса, зеленым заревом озарялись бездны. Чудилось, не буря гремит, не горные падуны ревут в тесиинах,— рокочет, плещется и содрогает седой Урал-Камеиь великий народный гнев.

Глава пятая

1

Пугачеву снова довелось встретиться с Михельсоном.

С каждым часом росли повстанческие отряды. Собрав силы, Пугачев устремился к Кунгуру. Прознав об этом, Михельсон выступил из Уфы и пошел ему наперерез. Отважио перевалив горы, перебравшись вплавь через реки, Михельсои торопился встретиться с противником. Ои шел с пушками, и, чтобы не строить мостов, подполковник приказал перетаскивать орудия на канатах по дну быстрых горных рек. Жадно перехватывая каждый слух о Пугачеве, Михельсои в одио утро увидел за лесом стройное многочисленное войско. Он поразился, иедоумевая, откуда могли появиться правительствеиные войска.

Пугачев тоже заметил врага и не терял понапрасну времени. Он решил предупредить противника. Емельян Иванович приказал конникам спешиться и сам повел их на Михельсона. На легком серебристо-белом коне Пугачев первым бросился в атаку.

— За мной, детушки, за мной!— взывал он.

Неустрашимость вождя увлекла повстанцев, и они бросились врукопашную. Противников охватило озлобление. На бешеном скаку Пугачев врубился в солдатские ряды, опрокинул защитников и захватил пушки. Левый фланг противника был смят и расстроен. Но и Михельсон не растерялся, он быстро перестроил колонны и бесстрашно повел их в контратаку. Снова пушки были отбиты, и пугачевское воинство, расстроенное и не умеющее маневрировать, стало разбегаться под ударами. Через два часа все было покончено.

С немногими уцелевшими атаманами Пугачев пустился по лесной дороге.

— Ох, и вояки! Гляди-ка, вчистую меня разбили!— не унывая, сказал он Чумакову.— Погоди, придет времечко, и мы свое войско обучим!

Огромную и неукротимую силу Пугачев черпал в народе. Прошло всего несколько дней, и опять вокруг него, как молодой дубняк, шумели конница и дружины. С ними и устремился он на Осу. Три раза в дороге он снова схватывался с Михельсоном, изнурил его. Три раза Михельсон рассеивал противника, и снова, точно из земли, у Пугачева вырастали новые силы. Не было у него пушек, но за этим дело не стало. Подойдя к Осе, он упрятал отряды в засаде, а башкир послал тревожить город. Из Осы выслали команду с пушками в погоню за башкирами. Кочевники заманили их в глубь лесов, и Пугачев внезапно напал на незадачливое воинство, отобрал орудия и теперь с артиллерией подошел к городу. Не мешкая, он послал коменданту крепости Скрипицыну предложение сдаться на милость победителя. Комендант отказался, и тогда Оса была взята и выжжена. Дело оставалось за крепостью. Скрипицын колебался. Стоя на стене, он вглядывался в окрестности, поджидая появления Михельсона. Однако тот медлил с помощью.

А между тем Пугачев, не теряя дорогого времени, приказал подкатить к крепости полсотни возов с сеном и поджечь деревянные крепостные стены. Заметя угрозу, из крепости закричали:

— Сдаднмся, батюшка, только до утра потерпи!

Пугачев согласнлся ждать до утра. На рассвете из крепости выслали древиего сержаита, который должен был удостовериться, действнтельно лн под стенамн крепости появился государь Петр Федоровнч. Пугачев по глазам догадался, что тот не верит в него. Однако умный солдат слукавил и уклоичиво сказал:

— Как будто вы, батюшка-государь, н будто ие вы! Миого воды утекло с той поры, когда мне довелось бывать в Пнтере! Ох, миого, миого годочков мииуло!

Сержаит вериулся в крепость, н на другой деиь крепостиые ворота распахиулись перед Пугачевым. Комеидаит Скрнпицыи встретил победителя на коленях с хлебом-солью. Духовеиство вышло с нконами н хоругвями, в церкви торжествеиио заблаговестнли колокола. Пугачев милостиво простил комеиданта, оставнл при ием шпагу, а крепость все же приказал сжечь.

Когда Михельсои подошел к Осе, иад рекой тяиулись сизые дымки. Городок лежал в грудах пепла.

Никто ие зиал о думках Пугачева. Ему предстояло решнться на смелый шаг — пора было ндтн на Москву, ио ои медлнл, колебался. Емельян Иваиович поимал, что невозможно будет осилить хорошо оснащенную правнтельствеиную армию.

Однако ннкто не ожидал, что пламя восстаиия в ближайшие дин разольется по многим н многим российским губериням. Стоило только Пугачеву перебраться иа правый берег Волги, как крестьянская войиа разразнлась с иебывалой до этого силой и остротой. Татары, чувашн, марийцы, мордва, крепостные крестьяие, прозиав о подходе Пугачева, осмелелн н огромными толпамн шли ему навстречу, усиливая его войска. Город за городом сдавались Пугачеву. День н ночь пугачевские повытчикн строчилн указы и маинфесты, деятельио рассылая их по городам н селам, тем самым все больше и больше разжигая пламя крестьяиской войиы. Крепостные хваталн своих вековечиых прнтесиителей дворян-помещиков, вешали нх и сжнгали поместья. Вскоре пала Казаиь, за ией Алатырь, Саранск, Пеиза и, иакоиец, Саратов. Пугачев быстро двигался к Царнцыну. Победнтель стремился иа Дон, мечтал ои поднять доиское казачество, среди которого было миого иедо-

вольных царским правительством. После этого Пугачев думал повернуть на Москву.

Видя, что предводитель ведет войска на юг, минуя древнюю русскую столицу, представители восставшего крестьянства уговаривали Пугачева:

— Ваше величество, помилуйте, долго ли нам странствовать по волостям и уездам? Время вам идти в Москву и принять престол!

Пугачев решительно ответил:

— Нет, детушки, сейчас нельзя! Потерпите! Не пришло еще мое время! Когда оно будет, так я и сам без вашего зова пойду. А теперь я намерен идти на Дон — меня там примут с радостью!

Между тем в Москве час от часу нарастала тревога. Взятие и сожжение Пугачевым Казани заставило правительство поторопиться закончить войну с Турцией...

2

Семья Никиты Демидова в эти дни пребывала в Санкт-Петербурге, а сам он в ожидании перелома событий находился в Москве, чтобы при удобном случае отправиться на Урал. Угрюмый и молчаливый заводчик ходил по огромным московским хоромам, прислушиваясь к беседам холопов. У него не выходило из головы найденное письмо Андрейки Воробышкина, призывавшее крепостных восстать против своих господ. В доме царила гнетущая тишина, и это еще больше усиливало недоверие Демидова к старым слугам. По глазам и скрытному поведению их он чувствовал, что крепостная дворня и все простые люди втайне ожидали восстания. Москва с часу на час ждала появления Пугачева. Московский главнокомандующий князь Волконский слал царице реляцию за реляцией, уверяя ее в том, что «здесь все обстоит благополучно»: «Здесь, всемилостивейшая государыня, все тихо...», «Здесь, слава богу, все благополучно...» Демидов знал об этих официальных сообщениях князя и про себя горько иронизировал: они нисколько не отражали истинного положения вещей. Настроение простого народа в Москве было таково, что и сам умный и сдержанный главнокомандующий потерял голову. Он распустил по Москве слух, что Пугачев якобы разбит. А между тем курьеры и бежавшие из приволжских губерний дворяне-помещики сообщали

страшные вести. После этого никто больше не верил Волконскому.

Каждый день на базарах, в кабаках, на торжках и перевозах полицейщики схватывали все новых дерзких возмутителей. Все московские тюрьмы переполнились арестованными, но возмущение народа не прекращалось. Не помогали и меры, предпринятые главнокомандующим. На площади перед своим домом он установил орудия, усилил разъезды по городу, а полиции наказал зорко следить за всеми сборищами и немедленно разгонять их. Для обороны столицы от возможного восстания князь Волконский разбил Москву на части, во главе каждой из них поставил сенатора и придал им вооруженных дворян для поддержания тишины и порядка. Тщетно! Подметные манифесты и письма Пугачева доходили в Москву. Слухи об успехах «третьего императора» заметно волновали простолюдинов. Все это сильно беспокоило Демидова, но его мрачное настроение усилилось после того, когда на время прервалась всякая связь с Уралом. Так как реки и речные перевозы внушали большие опасения, то многие паромы через Москву и Оку упразднили, а по уездным границам установили кордоны из крепостных крестьян, вооруженных топорами, рогатинами и просто дубинками. Всякого, кто пытался проникнуть в Москву из простого народа, задерживали и допрашивали.

В один из дней с оказией из Тулы прибыл в Москву демидовский приказчик и оповестил хозяина, что и там настали тревожные времена. Широкоплечий бородатый туляк сидел в кабинете Никиты и рассказывал ему крепким басовитым голосом:

— Наладили купечество и оружейники разъезды и караулы, но то удивительно, что никакие заставы не сдерживают слухов и возмутителей, проникающих от самого...— Он поперхнулся, побоялся назвать имя Пугачева.

Демидов промолчал, выжидательно уставясь в приказчика.

— Совсем недавно, на первого спаса, утречком у питейного дома, что при Тульском оружейном заводе, появился неведомый человек. Народищу возле него собралось — тьма! Известное дело, всем не терпится узнать правду. И проходимец тот похвалялся перед народом, что он привез от самого Петра Федоровича два указа: один к генералу Жукову, а другой в провинци-

альную канцелярию. Но что не сегодня-завтра придет-де государь освобождать мастеровых от тягот.

— И заведомому пугачевскому злодею дали говорить непотребное!— возмутился Никита.

— Что ты, батюшка!— успокоил Демидова приказчик.— Только почал он несуразицу плести, как его схватили и доставили к допросу. И там он назвался крепостным Шапочниковым, а когда крепко посекли его, то признался, что он беглый капрал из московского батальона Данила Медведчиков. Вот каково, господин мой!

— Да, невесело!— согласился Демидов и, злобясь, выкрикнул:— Мало секли, такого истерзать надо!

— Просили о том, чтобы Медведчикова не отсылать на Москву, а на Туле к примеру наказать.

— То разумно! И учинить ему наказание по всем слободам и улицам Тулы, чтобы подлый народ, а тем паче пьяницы и озорники не последовали впредь подобному беспокойству!— со страстью вымолвил Никита.

Он долго и внимательно расспрашивал приказчика о делах на заводе и только тогда успокоился, когда узнал, что оружейники ведут себя сдержанно.

— На Тулу прислан большой заказ, многие тысячи ружей изготовить потребно, и наша государыня надеется на казаков!— спокойно сказал туляк.

— Ну, слава тебе господи, хоть с этой стороны не дует сиверкой!— перекрестился Демидов.— Ты пойди, отдохни с пути, а после снова поговорим о делах.

Однако на другой день не пришлось Никите Акинфиевичу заняться тульским приказчиком. Из приволжской Фокинской вотчины пришел измученный дальним переходом и прочими передрягами мужичонка и вручил Демидову весть от управителя. Фокинские крепостные стали весьма ненадежны, осаждают контору и требуют возвращения с заводов отосланных туда для работы крестьян. К тому же местные власти потребовали дать людей и вооружить их для отпора повстанцам. Это бы еще полгоря, но то, что сообщил вестник от себя, более всего встревожило Никиту.

Осповатый мужичонка юлил глазами, избегая встретиться взглядом с барином. Говорил глухо, с неприязнью. Демидов вплотную подошел к нему и пригрозил:

— Ты не верти очами! Гляди прямо и говори по совести, что там вокруг моих вотчин робится.

Вестник присмирел, вздохнул тяжко и вымолвил неторопливо:

— По совести, у вотчин ваших, господин, появился государев полковник Аристов...

— Как ты смеешь!— вскричал с негодованием Демидов.— Известно ли тебе, что у нас на престоле пребывает государыня, а не государь! Именующий себя Петром Федоровичем есть вор, каторжник, беглый казак Емелька Пугачев!— Все большое рыхлое тело Никиты всколыхнулось от злобы. Он перевел дух, немного успокоился и прикрикнул:— Сказывай дальше!

— А дальше, господин, известное,— спокойно продолжал мужичонка.— Аристов тот пришел в сельцо Воротынец графа Головина, занял полотняный завод; мужики его встретили хлебом-солью, а управителя на воротине повесили!

— Ух ты!— поморщился от вести Демидов.— Воротынец-то совсем рядом с нашей вотчиной! Час от часу не легче! Иди-ка в людскую да жди, понесешь обратно ответ мой и наставления.

Мужичонка поклонился и убрался в людскую. Демидов долго взволнованно ходил по кабинету. Затем присел к столу и написал предписание в фокинскую контору; в нем он сообщал управителю:

«Небезызвестно мне, что злодейские изверги Пугачева партии показываются близ нижегородских моих вотчин и ложными своими увещеваниями многих крестьян склоняют на свою сторону. Наказываю тех подговорщиков ловить и передавать их воинским командам...»

На другой день письмо было вручено вестнику, и он отправился в обратную дорогу.

Встревоженный Демидов метался по хоромам, хватал себя за голову и стонал:

— Эх, кабы мир заключили с Турцией! Мир — вот что потребно дворянству и заводчикам сейчас, да войско перебросить на смутьянщика и потрясателя основ царства!

Подошел сентябрь, и вести стали веселее. Никита воспрянул духом. Гроза прогремела, минуя Москву. Из Фокинской вотчины донесли хозяину, что повстанческий полковник Аристов схвачен и сдан воинской команде.

— Ну, теперь поганцу оттяпать голову, и делу конец!— обрадовался Никита и поспешил оповестить фокинского управителя:

«Главного поимщика того злодея Аристова отпустить на полную волю, а остальных избавляю на три года от несения оброка. О сей моей милости священникам и приказчикам оповестить на всех крестьянских сходах с разъяснением самозванства Пугачева и указать, что он с его дьявольскими помощниками не иное что, как отчаянная слепота, а не самомалейшая вероятность...»

Вслед за этим Демидов направил свое указание уральским заводам о пересмотре оплаты поденным работным людям. Отныне дровосеки должны были получать по семь копеек в день, а подростки по шесть копеек. Женщины в оплате приравнивались к подросткам.

Демидовский приказ о новой оплате труда никаких восторгов среди уральских работных не вызвал.

Наступил солнечный сентябрь. Никита Акинфиевич понемногу успокоился, приободрился. Однажды за окнами появилось много экипажей, куда-то торопившихся. Демидов полюбопытствовал:

— Что случилось, холоп?

Одевавший его слуга вдруг сморщился, на глазах блеснули слезы.

— Да как вам сказать, господин,— тихо вымолвил он.— Сказывают, его разбили под Царицыном-городом.

— Экая радостная весть, а ты плачешь, разбойник!— закричал Никита и оттолкнул слугу.

— Не знаю, отчего плачу, господин. Видать, от великой радости,— боясь кары, слукавил слуга.

— Врешь, шишига!— прикрикнул на него Демидов.— По глазам вижу, что врешь! Иди, поторопи кучера!..

Никита Акинфиевич поехал к дому Волконского. Там уже суетилось много дворян, которые спешили узнать новости...

3

Вести подтвердились. Повстанческая армия Пугачева на самом деле потерпела непоправимое поражение под Царицыном. Стало известно, что Пугачев бежал за Волгу и там с несколькими сотнями казаков скитается по займищам между Яиком и Волгою.

Видя неудачу своего вожака, казацкие старшины решили предать его и тем спасти свои головы. В Узенях, в глухом селении, они внезапно напали на своего пред-

водителя и после короткой и неравной борьбы связали его и повезли в Яицк.

После предварительных допросов Пугачева посадили в крепкую клетку, водрузили ее на двуколку и, скованного по рукам и ногам, повезли в далекий Симбирск. Впереди и позади телеги двигались конники, гремели три пушчонки, конвойный офицер ехал на саврасой лошадке. Он то кружил полем, то подъезжал к двуколке и трусил рядом.

«Подумать только, какую птицу везем! Мужик, а ум военный!» — взволнованно думал он и поглядывал на узника. Как степной беркут, Пугачев сидел, устало закрыв глаза, и дремал...

Ночью впереди поезда двигались конники с пылающими факелами, багровым светом озаряя глухую дорогу.

В попутных селах и деревнях на дорогу выбегали угрюмые мужики и сострадательные женки и ребятишки. Народ скорбными взглядами провожал узника, многие тайком утирали слезы...

4

Зарево пожарищ все еще обагряло ночное небо в правобережных уездах Поволжья, крепостные все еще жгли, разоряли имения и губили ненавистных помещиков, однако с поимкою Пугачева восстание догорало и быстро шло на убыль. Разосланные по селам и дорогам восточных губерний правительственные отряды вступали в бой с плохо организованными ватагами повстанцев, громили их, предавали лютой казни, а зачинщиков брали в плен и доставляли в Тайную экспедицию. По грязным осенним дорогам частенько журавлиной стайкой тянулись плененные пугачевцы, конвоируемые двумя-тремя гарнизонными солдатами...

Скованного Пугачева на простой телеге наконец доставили в Симбирск. По приказанию главнокомандующего графа Панина его вывели на городскую площадь и показывали толпе. Народ, однако, не изъявлял радости. Простое любопытство и жалость читались на лицах людей, разглядывавших кандальника. Когда граф Панин, подойдя к узнику, нанес ему несколько пощечин, в толпе пронесся ропот.

Пугачева увезли в каземат, где его цепью приковали к стене. Ключ от цепного замка хранился в ладанке на

груди у капитана караульной роты. Над заключенным установили строжайший контроль, исключавший всякую попытку к бегству. Было настрого наказано кормить узника пищей, «подлым человеком употребляемою». Его обрядили в рваную сермягу, порты и рубаху.

В Симбирске Пугачева пожелал увидеть Михельсон. Он неожиданно в блестящей парадной форме явился в темницу к узнику.

— Емельян, узнаешь ли ты меня?— спросил он.

Пугачев, неподвижно сидя у стены, неохотно поднял глаза, прищурился.

— А кто ваша милость? Что-то не упомню, много тут у меня всяких генералов перебывало!

— Я Михельсон!— гордо поднял голову пришедший.

Пугачев побледнел, опустил голову. Минуту спустя он вздохнул и словно про себя пожаловался:

— Ах, проклятый Чумаков, погубил ты меня!..

Конвойный кортеж медленно двигался к Москве. Осмелевшее дворянство постаралось хоть чем-нибудь выместить свою ненависть к Пугачеву. Глумления и издевательства, а также истязания, которым он подвергался во время длительных допросов, подорвали физические силы Пугачева. Всю дорогу он находился в мрачном состоянии духа, а под Арзамасом в груди вдруг появились сильные колики. Конвойные офицеры испугались за состояние здоровья пленника и напоили его тремя чашками пунша, сделанного из крепкого горячего чая и французской водки. Пугачев с охотой выпил, хорошо пропотел и вскоре уснул крепким сном. К утру колики утихли, пленник ободрился и стал веселее.

Третьего сентября клетка с Пугачевым остановилась на последний ночлег в селе Ивановском, в десяти верстах от Москвы. Князь Волконский выслал навстречу тридцать шесть гусар. Утром печальный кортеж двинулся дальше.

В Москве уже давно с нетерпением поджидали Пугачева. Никита Акинфиевич ранним утром поспешил к Охотному ряду. Там, в Монетном дворе, превращенном в тюрьму, предполагали заключить пленника. Серый, сумеречный день медленно занялся над Белокаменной, когда среди толпы пошел говор:

— Гляди! Гляди!

Сквозь пелену медленно падавшего снега приближалась клетка с человеком, сидящим в ней. Демидов вспыхнул от радости: «Наконец-то!»

— А, что, зверюга, попался!— закричал он заключенному.— В клетку посадили серого волка!

— Сам ты волк и зверюга!— выкрикнул кто-то в толпе Демидову.

Никита оглянулся: кругом него столпились неприязненные, хмурые простолюдины. Поди отыщи в толпе, кто дерзил!

Между тем двуколка медленно приблизилась к Монетному двору и тут перед острожными воротами остановилась. Дежурный офицер подошел к клетке и открыл замки. Пугачев медленно вылез, отряхнулся от снега. Искоса поглядывая на бар, смотревших на него, он, звеня кандалами, пошел среди конвоя в распахнутые настежь ворота острожного двора.

— Эх, батюшка, на муку привезли!— тяжело вздохнул стоявший в толпе старичок. В стареньком тулупе, в заячьем треухе, с котомкой за плечами, он долго смотрел вслед узнику, утирая невольные слезы. Ворота острога захлопнулись, а толпа все не расходилась.

Ожидали люди, Пугачев подойдет к окошку темницы и пошлет прощальный взгляд. Однако, прикованный толстой короткой цепью к стене камеры, он не смог этого сделать. Все гуще и гуще падал снег; расстроенные увиденным, люди медленно расходились.

Уселся в сани и Демидов. Запахнувшись в теплую доху, он удовлетворенно подумал: «Вот когда кончилась тревога! Теперь не избежит кары. Кнутобоец Шешковский, поди, натешится вволю! Никогда ему не доводилось вести такого большого розыска!»

В то самое время, когда Пугачев томился по казематам, на Каменном Поясе по горам и лесам еще бродили башкирские ватажники Салавата. Они нападали на заводы, жгли их и били приказчиков.

Заводчики упросили графа Панина поторопиться восстановить на рудниках, шахтах и домнах тишину и порядок. Башкирские баи повинились перед царским генералом, изъявили полную покорность. Обнадеженный этим, генерал отобрал заложника из наиболее видных башкирских старшин и отослал его для изъявления раскаяния в Санкт-Петербург, к самой государыне Екатерине Алексеевне.

Несмотря на умиротворение башкирских старшин, Салават Юлаев не сдался на увещевания и с конным отрядом удальцов все еще продолжал неравную борьбу.

Среди лесов дотлевали пожарища разоренных заводов. Остановились домны, опустели шахты, но, прослышав о пленении Пугачева, заводские приказчики осмелели. Столковавшись с баями, они завели по улусам лазутчиков, и те зорко следили за путями Салавата.

Глубокой осенью храброго башкира настигли в горах конники и после жаркой схватки пленили его. Скованного Салавата возили по уральским заводам и для устрашения непокорных шельмовали при большом стечении народа. Во всех местах, где поднимал он людей к восстанию, били Салавата плетями. После совершения экзекуций на заводах пленнику вырезали ноздри, выжгли раскаленным клеймом позорный знак «вор и убийца» и отправили на каторжную работу в Рогервик...

Глава шестая

1

Невьянский завод Демидова уцелел. Прокофий ликовал. В пароконной упряжке он объезжал московские храмы и требовал, чтобы звонили во все колокола.

— Пусть первопрестольная знает: сей смерд и злодей пальцем не осмелился коснуться моего достояния!

8 января 1775 года Прокофий Акинфиевич написал письмо Михельсону:

«Покорнейшую мою благодарность приношу столь справедливо прославившемуся храбростью и неутомимостью своею господину Михельсону... А за то благодарю, что с малым, но храбрым корпусом непобедимым ее императорского величества оружием не устрашился нападать на множественную толпу разбойничьего государственного бунтовщика Пугачева, и не препятствовали тебе недостатки в пище и лошадях, и не удерживала медленность от вспоможения живущих. Вы, государь мой, следовали по пятам его более 5 000 верст по местам пустым и почти непроходимым и многие ему, вору, с большим уроном делали нападения. Всего того удивительнее: уже Пугачев, пришедши в город Казань,

грабил и разорял и огню предавал, но помощию божией вы, государь мой, радением и усердием своим с тем же небольшим храбрым корпусом конец его ускорили, и Казанское царство от совершенного разорения сохранили, и многих пленных благородных от мучительной смерти избавили, и тут со всею его поганою толпой разбили, и паче всего, что тем разбитием отвратили его намерение прийти в царство Московское, к чему прозорливостью, примерным к отечеству усердием и благоразумными наставлениями великого в наши времена мужа графа Петра Ивановича Панина совсем его, вора, искоренили, за что, милостивый государь, приношу наивящую мою с презентом благодарность и покорно прошу принять в знак моего усердия, что дал мне жизнь и прочим московским мещанам от убиения собственных наших людей, которые, слышав его злодейские прелести, многие прихода его ожидали и жадно разорять, убивать и грабить домы господ своих желали. И за таковые ко всему обществу усердные и радетельные поступки должны обще — все вашему высокородию всегда благодарность приносить и бога молить. И остаюсь вашего милостивого государя моего усердным слугою».

Письмо это с радужными ассигнациями, вложенными в пакет, в тот же день было доставлено Михельсону.

2

Никита Акинфиевич Демидов с большим удовлетворением прочел объявление московского обер-полицмейстера Архарова, в котором население первопрестольной оповещалось о предстоящей казни пугачевцев:

«10 февраля, в 11 часов утра, на Болоте главные преступники будут наказаны смертью, а прочие по мере преступления наказаны. На другой же день, то есть 11 числа сего месяца, в 10 часов пополуночи, на Ивановской площади, перед Красным крыльцом, будет объявлено всемилостивейшее ее императорского величества помилование тем преступникам, кои добровольно явились с повинною, а некоторые из них предали и самого злодея законному правосудию».

Демидов от великой радости размашисто перекрестился: «Слава тебе господи! Пожар потушен, и можно вновь поднимать заводы!»

Хотя работные на заводах и шахтах притихли, но за труд брались неохотно. Приписные крестьяне глухо

волновались. По лесам и горам гуляли неспокойные башкирские ватажки, которые нередко нападали на уцелевшие заводишки и разоряли их. Многие укрывались в бегах по лесным трущобам, другие чего-то выжидали. Писали приказчики Демидову, что не верят заводские в гибель Пугачева.

Одно из таких писем привез Никите уральский дедка Голубок, пешком добравшийся до Москвы. Мастерко стал седой как лунь, лицо его изрезали глубокие морщины. Демидов подивился ему:

— Что погнало тебя, дед, с далекого Камня?

— Нужда великая привела сюда!— с жаром отозвался старик, и на глазах его засверкали слезы.— Такое горе у людей!

— Радоваться, дед, надобно!— весело перебил его Никита.— Слышал ли ты, отец, Пугач ныне пойман?

— Как не слыхать, слыхивал, батюшка. Только то пустой слух! Не может того быть!— спокойно отозвался раскольник.

Старик глядел упрямо. Демидов вспылил:

— Как так? Пойман он! В железа закован и на Москву доставлен.

— А ты, слышь-ко, не радуйся загодя,— уверенно сказал старик.— Ты послухай лучше. Ходил на Камне меж двор один благочестивый странник,— вполголоса, таинственно повел речь дед.— Баял он, что не Емельяна схватили, а схожего с ним. А Пугачев-батюшка спасся. Бежали его ватажки от царских войск, рассыпались по горам, по непроходимым чащобам. Тут бы им и конец от жажды и притомленности, да господь, слышь-ко, спас: набрели беглые на озеро в горах, укрытое лесом. В озере том неисчислимо рыбы, в лесу богатимо дичи. Пугачев-батюшка на горе стоял, возрадовался. Рядом с ним телохранитель его, башкир-лучник, как увидел светлые озерные воды, так и крикнул на весь лес: «Турго-як! Стоп, стоп нога, бачка!» Остался Емельянушка со всей ватажкой на том пресветлом озере...

— Байка то!— перебил старика Демидов. Тот угрюмо посмотрел на заводчика.

— А ты слышь-ко дале и прикинь что к чему!— строго сказал Голубок.

Никита притих.

— Каждое утро, на ранней зорьке, когда травы еще в росе,— продолжал дед,— Емельян-батюшка умывает

коня в светлом озере. Набираются они вместях сил для ратоборства. Освежатся, пришпорит тогда атаман вороного и поскачет, слышь-ко, в леса дремучие, в горы высокие. Скачет конь, земля дрожит, из ноздрей огонь палит, из-под копыт искры летят... Мчал одно утречко Емельянушка, а навстречу ему странник. Идет скорбный, лик угрюм, в черной печали человек. Увидел Емельянушка странника и спрашивает его: «По виду ты, слышь-ко, молод, а по кручине — старец! Ай, ты скажи, молодец, пошто закручинился? Пошто буйну голову повесил?» Отвечает странник: «Как мне, милой, не горевать да буйной головы не вешать? Весь свет я объехал, счастья-доли искал, но не сыскал. Много людей я видел, да все живут в голытьбе, да в нужде, да в великих страданиях. В поте лица робят, а с голоду мрут. Мелькнуло-поманило счастьице. Поднял народишко наш Емельян Иванович... Да вот, сказывают, пленили его бояры-купцы, заковали в железа. Как теперь быть, скажи, батюшка, как голытьбе помочь?..»

Глаза Голубка уставились пытливо на Демидова. Никита слушал, затаив дыхание. Старик досказал заветное:

— Встрепенулся тут атаман, говорит молодцу: «Не журись, не кручинься, удалой, воспрянь духом и скачи в сельбище, мчись по дорогам, весть дай: жив Емельян Иванович, силен он и даст о себе еще знать! А на прощанье на вот тебе меч-кладенец, чтобы сечь бояр-ворогов. Гляди, не теряй его! Иди, поднимай народ!..»

Мастерко огладил бородку, смолк. Демидову не по душе сказ пришелся. Он вспылил и сказал старому пушкарю:

— Пришел смертный час Пугачеву, вот что, отец. И где ты только такого странника видел?

— Уж я его видел, как сам-друг!— Глаза старика блеснули хитринкой.— Брел я с внучкой из-под Косотура и встретил.

— Может, и Пугача в той поре видел?— нахмурился Демидов.

— А кто ж его знает, может и видал!— простовато отозвался дедка, но заводчик понял — лукавит он.

«Ишь ты, смутьянщик!— недовольно подумал Никита.— Ну, да откуковала ныне кукушечка!..»

3

Еще с ночи вся Москва всколыхнулась. Ночь выдалась ясная, звездная, от жестокого мороза захватывало в груди дыхание. Несмотря на стужу, со всех концов Белокаменной затемно на Болото устремился народ. С Земляного Вала, с Пресни и Самотеков, с Яузы торопились старые и малые посмотреть на казнь.

Над Болотом еще вился сизый предутренний туман, в Замоскворечье перекликались ранние петухи, а вокруг эшафота уже волновалось людское море.

Демидов выехал в крытых санях, когда над Москвой заалело. Из-за дальних кремлевских палат выглянуло солнце, разом вспыхнули и засияли кресты на многочисленных московских соборах и церквушках. Силен морозище! Уминая снег, прошли на Болото войска с барабанным боем. За ними плотным потоком по дороге двигались кареты, рыдваны, сани.

У Каменного моста демидовская колымага въехала в густую толпу, и затертые народом кони остановились. Напрасно голосисто кричал форейтор:

— Пади, пади! Расступись!

Народ шумел. Дальше некуда было податься. Форейтор соскочил с коня и пробрался к рыдвану. Демидов опустил окошечко, людской гомон стал гулче, плескался рядом. Что-то неуловимо грозное слышалось в неспокойном человеческом прибое. Демидов вылез из рыдвана. Отяжелевший, в дорогой собольей шубе, он важно выступал среди раздавшегося народа.

Какой-то мужик в лапоточках, с ершистой бороденкой, пробирался вперед. Несмотря на жгучий мороз, он шел с непокрытой головой. Никиту раздражал степенный вид тихого мужика, он сильным движением локтя отбросил его в сторону. Тот охнул, укоряюще посмотрел на заводчика.

— Ну как, мужик, расказнят ныне Пугача?— Никита весело оскалил зубы.

Старичок быстро вскинул голову, пронзительно посмотрел на Демидова:

— Для тебя Пугач, а для нас царь-батюшка, Петр Федорович!

— Ах ты, пес!— обозлился Никита и во всю глотку заорал:— Вяжи, держи смутьяна!..

Словно шалый ветер взбурлил море: зашумел народ,

раздался в стороны и поглотил мужика с котомкой, будто волной его смыло...

Форейтор и холопы насилу проложили Демидову дорогу к Болоту. Вдали виднелся высокий эшафот из свежего теса. Вокруг него виселицы с раскачивающимися петлями. На помосте было пусто, посредине его стоял столб с воздетым на него колесом, а на конце столба в утренних лучах солнца поблескивало железное острие.

Войска окружали лобное место. Никто из простого народа не допускался за щетину штыков.

— Везут! Везут!..— закричали в народе.

По улице среди двух волнующихся людских стен двигались дроги с высоким помостом. На скамье в старом тулупе сидел сутулый исхудалый человек с черной курчавой бородой.

— Он!.. Он!..— прошел по толпе тихий говор.

Все устремили взоры на осужденного. В больших жилистых руках Пугачев держал две толстые восковые свечи. Ярый воск оплывал от ветра и залеплял ему пальцы. Емельян Иванович все время степенно кланялся на обе стороны народу.

Против Пугачева сидел священник в ризе, с крестом в руках. Рядом с духовником пристроился чиновник из Тайной экспедиции.

Чиновник дрожал от холода, взор его то пугливо блуждал по толпе, то мимоходом останавливался на осужденном.

Никита Демидов не мог оторвать глаз от пленного Пугачева, который и закованный страшил его. Заводчик тревожно оглянулся вокруг; словно штормовой прибой, угрожающе гудел народ.

— Эй, эй, сторонись!— кричали конные рейтары, раздвигая толпу.

Позади дровней с обреченным двигались сани, в которых восседали чиновники, ехали конные драгуны.

Демидов поторопился к лобному месту. Оберегаемый холопами, он пробрался за воинский фрунт, где толпилось много дворян. Подле эшафота верхом на коне застыл обер-полицмейстер Архаров с покрасневшим от стужи лицом.

Дровни с осужденным приблизились к помосту. Коренастые палачи подхватили Пугачева под руки и быстро взвели на эшафот. За ними взошли военные,

судьи и священник с крестом. У плах наготове ждали палачи, на дубовых колодах поблескивали на солнце отточенные топоры.

Вперед, к краю помоста, вышел сенатский чиновник, стал читать сенатское определение.

Площадь затихла. Громогласное чтение далеко разносилось в морозном воздухе.

Будучи выше многих ростом, Никита Акинфиевич внимательно обозревал площадь. Притихший народ пугал его; он перевел взгляд на сутулого человека, одетого в нагольный овчинный тулуп.

Пугачев держался с достоинством, вглядывался в народ, изредка кланялся. В его черных жгучих глазах виделась несломленная сила. «Пожалуй, отыскивает единомышленников,— с раздражением подумал Демидов, и мурашки побежали по спине от внезапно вспыхнувшей мысли,— да ведь чернядь, поди, вся за него! И как только нам смирить эту силу!»

С невозмутимым серым лицом сенатский чиновник продолжал чтение приговора. Из его тонких уст вился парок в морозном воздухе, чуть приметно дрожали озябшие руки.

В эту пору, когда шло чтение приговора, вокруг эшафота бесшумно готовили к казни сообщников Пугачева. Палачи надевали им на головы тюрики [1] и взводили на приставленные к виселицам лесенки. Осужденные должны были умереть одновременно с Пугачевым.

Сенатский чиновник окончил чтение. В могильной тишине раздался хриплый бас обер-полицмейстера. Поднявшись в стременах, Архаров окрикнул осужденного:

— Ты ли донской казак Емелька Пугачев?

— Так, сударь,— твердо отозвался тот и склонил голову.

Священник осенил его крестом и, волнуясь, еле внятно обронил несколько напутственных слов. Совершив положенное, батюшка заторопился с эшафота.

Пользуясь минутной паузой, Пугачев перекрестился на блиставшие вдали кресты кремлевских соборов и торопливо стал кланяться народу:

---

[1] Холщовые мешки, которые надевались на приговоренных к смертной казни.

— Прости, народ православный... Отпусти, в чем согрубил перед тобой...

Экзекутор дал знак.

Забили барабаны; в народе зашумели, где-то завыла и мгновенно смолкла баба.

Бородатый палач подошел к Пугачеву и стянул с него белый бараний тулуп. Сильным рывком он разодрал рукав полукафтанья.

Пугачев всплеснул руками, опрокинулся навзничь на плаху... Миг — и над помостом повисла окровавленная голова с вытаращенными глазами.

— Ах ты, сукин сын, что ты сделал?— осипшим голосом зашипел на палача сенатский чиновник.— Руби руки и ноги...

По толпе покатился гул. Словно одной грудью охнула вся площадь. Над эшафотом палач поднял обрубок руки.

Капля крови росинкой упала на чистый снежок. Демидов еще раз взглянул на эшафот. Там на колесе уже лежал искромсанный труп, а наверху на острие торчала страшная голова Пугачева. Подле эшафота на глаголях раскачивались в последних судорогах его сообщники.

Солнце поднималось к полудню; холодно глядело оно с невеселого зимнего неба.

Народ расходился, и среди простолюдинов, мещан и нищебродов мелькнул мастерко Голубок. Тут, на Болоте, он выглядел хилым, горбатеньким. К спине его плотно прильнула котомочка, в руках — посох. Заячий треух глубоко нахлобучен на голову старика. Никита заслонил деду дорогу.

— Ну что, видал, как голову ему оттяпали?— окрикнул он Голубка.— Вот тебе и Турго-як! Ку-ку! Откуковался варнак! Каково?

Мастерко нахмурился, потоптался на месте.

— Ничегошеньки не видел, родимый мой, глаза мои плохо зрят от древности. Темная вода застилает их.— Он поднял сухощавое лицо и посмотрел на Демидова.— Дай дороженьку немощному человеку,— сказал он и затерялся в толпе нищебродов.

«Упрямый народ: мертвого живым сробят. Да и то верно, голову-то отрубили, а его думки в народе остались. Чего доброго, и другие, подобные Пугачу, найдутся»,— хмуро подумал заводчик и пошел к поджидавшей его колымаге.

4

Разбитые толпы повстанцев разбрелись по лесам и степи, укрываясь от мести. Всюду рыскали карательные отряды, хватали правого и виноватого, секли лозой, а больше вешали. Многим резали уши и языки: на всю жизнь ходи изуродованным в устрашение другим!

Израненный Ивашка Грязнов долго отлеживался в раскольничьих скитах. Выходили его старцы, уговаривали уйти из мира, но слишком неугомонен был пугачевский атаман, слишком любил жизнь, чтобы заживо похоронить себя в скитской келье. С приходом весны зажили раны, вернулась сила, и снова потянуло беглого на простор. Ушел он в степи, кругом ковыль да небо. Но летом 1775 года и в степи не было покоя; дотлевало великое народное пожарище. Вытесненные из родных гор, отдельные башкирские отряды бродили по яицким степям, и время от времени на широком пустынном просторе вспыхивали последние кровавые сечи; бились башкиры с настигающими карателями насмерть. И долго потом над местом битвы кружили с клекотом степные беркуты да в густом ковыле по ночам тоскливо выли волки.

В ту пору из Башкирии через степь шли две боевые ватажки; держали они путь в далекие пустыни. Передовую ватажку вел салаватовский батырь Мухамет Кулуев. Следом шли всадники, которых вела крепкая плечистая наездница Анис-Кизым.

Цвела степь из края в край, в горячем мареве перед путниками вставали миражи: далекие причудливые минареты, серебристые озера, рощи. На высоких круглых курганах маячили древние могильники. Нередко с обветренных погребальных камней срывался и взмывал кверху потревоженный орел и долго кружил над ватагами. По ночам две ватаги вместе становились табором на ночлег. Огней не жгли, сидели под звездами. И, как птица, плыла над степью песня. Пел ее Мухамет Кулуев, а башкиры, устремив глаза на звезды, слушали. Голос, полный горечи, будил просторы:

Пусть ноздри мои вырвут,
Пусть уши и язык отрежут,
Пускай очи мои выколют стрелой,—
Ветер твой сладок будет и рваным ноздрям
Юрузень!

Искалеченные ушн услышат плеск твонх вод,
Юрузень!
Язык мой не сможет славить тебя,
Но н мертвые глаза запомнят красу твою,
Юрузень...

Из-за степного окоема серебряной ладьей выплыл ущербленный месяц, под ним заструился голубой ковыль. А ночь простерлась теплая, как ласковая мать над колыбелью сына. И когда смолкла песня, седой старик башкир с рваными ноздрями утер слезу и сказал:

— Хорошо ты поешь, Мухамет Кулуев, глубока твоя любовь к родной земле, но что ты сделал, чтоб не стонала она от мук? Ты послушай, что завещал наш великий батырь Салават...

Все притихли. Храбрая Анис-Кизым склонила голову на плечо достойного мужа.

— Двенадцать лун прокатилось над горами Башкирии с той поры, как подбили царские охотники доброго воителя-уруса, поднявшего народ.— Голос старика звучал торжественно среди зелено-мглистой ночи.— Двенадцать раз наливалась огнем и гасла багряная луна с того часа, как в страшной битве сразили неустрашимого батыря Салавата. Истекая кровью, он уполз в горы и, чувствуя смерть, снял с себя саблю и железные сарыки. Батырь выкопал глубокую яму, поцеловал клинок и положил крепкую клятву: «Тот башкирин, ноги которого так крепки, что смогут носить мои тяжелые сарыки, и рука которого так сильна, чтобы поднять мою саблю, пусть выроет их из земли и встанет на защиту башкирского народа...»

Носил великий батырь сарыки, выкованные из железа, выложенные мягким мехом внутри. Уложил Салават их в глубокую яму, а сверху саблю и зарыл землей. И ни ржа и ни время не возьмут их, потому что скованы они из доброй стали, омыты кровью...

Уходим мы сейчас от врага в далекие пустыни, в чужие земли. И где тот батырь, который выроет из земли саблю великого Салавата? Или она тяжела для ваших рук, башкиры?— Глаза старика светились огнем. Он смолк, но пытливым и пронизывающим взором окинул каждого.

Мухамету Кулуеву стало не по себе, он отодвинулся от Анис-Кизым, встал и сказал друзьям по оружию:

— Многие дни за нами, как голодные шакалы, идут конники генерала. Им не угнаться за нами, и мы можем уйти. Но позор на наши головы и проклято будет наше имя в потомстве, если мы не постоим за Башкирию. Старый воин, слушай верное мое слово: я поднимаю саблю Салавата на врагов наших! Завтра я и Анис-Кизым поведем вас в бой!..

— Да будет так!— приложил руку к сердцу старый башкир.— Лучше умереть у родных гор, чем страдать на чужбине!..

Тишина стала глубже, шорохи стихли. Только серебряная ладья месяца начала погружаться в синие волны ковыля, а за курганом, осыпанным сверкающей росой, заржали стреноженные кобылицы...

Утром, когда травы лежали еще влажными и на востоке заалела заря, в степи началась сеча. Тысячи воинов окружили ватажки башкир и рубились с ними весь день.

Только двоих живыми взял в плен царский генерал: Мухамета Кулуева и Анис-Кизым. Повязали им руки и ноги, бросили на коней и под рев медных труб увезли на казнь...

К вечеру на место сечи прибрел бездомный бродяга. За курганом опускала синий полог степная ночь. Трусливый шакал, поджав хвост, выбежал из ковыля и потрусил в темный камыш.

Только царственный беркут неподвижно сидел на камне могильника, на круглом кургане, сторожил покой мертвых...

Словно уголек, раскалилась тоска в сердце беглого. Он молча обошел побоище. В дремучем седом ковыле, раскинув руки, почивали вечным безмятежным сном богатыри.

«Свои!— с мукой подумал он.— Пали в горячем бою. Никто не придет на безвестную могилу, даже дожди в сухой пустыне не умоют их кости. Только горячая пыль да перекати-поле пронесутся над печальным долом и никому не расскажут о последней битве...»

Весна еще не отошла, еще дышала теплом, ароматами горьких степных трав; пустынная река до краев была полна воды, горячие суховеи, жаркие пески и солнце не успели ее испить. Обросший волосами, обожженный ветрами и жаром пустыни человек молча-

ливо смотрел на воды. Они текли, текли, как время течет в бесконечность. Что-то подсказало душе бродяги идти следом. Может быть, ему до конца хотелось испить горечь чужого и своего горя. Утром он поднялся и пошел на восток: туда затейливым узором тянулись следы конских подков.

В степи при слиянии двух рек, Увельки и Уя, стоит осыпанный песками, овеянный ветрами полупустынный Троицк-городок. Сюда царский генерал привел пленников, тут судил их скоро и жестоко. По улицам крепостцы ходили профосы и кричали народу:

— На казнь!.. На казнь!..

На берегу Увельки-реки поставили два столба, сложили вокруг них два костра. Накрепко привязали палачи к столбам последних башкирских ратников Мухамета Кулуева и Анис-Кизым и подожгли костры.

Из всех сел и казачьих станиц, из киргизских становищ съехались люди, но солдаты не допускали их близко. Среди народа притаился и степной бродяга — утром пришел сюда.

Молва принесла весть: был у Мухамета и у Кизым сын, мальчуган семи лет — Мингарей. В час злой сечи старый башкирин кинул его на коня и крикнул:

— Скачи в горы!..

Умчался Мингарей...

И вот пылают костры, вьется черный дым, пахнет жженым телом, но Мухамет и Анис-Кизым не плачут, не стонут, слова не обронят.

Когда пламя добралось до груди, раскаленным языком лизнуло лицо, Мухамет повернулся в степь, набрался сил и разом так засвистел, что травы степные склонились, у солдат ружья выпали из рук, а народ на колени повалился.

И на крепкий свист, на отцовский зов из-за реки в степи показался вороной жеребец, а на нем Мухаметов малец — Мингарей.

Увидал Мингарей отца и мать, остановил жеребца и горько заплакал.

Царский генерал отдал приказ солдатам:

— Стреляйте!

А у служивых руки трясутся, не слушаются, и ружья не стреляют.

Мать и отец крикнули сыну по-башкирски. Мухамет

снова свистнул, гикнул на весь простор, и вороной жеребец ветром умчал Мингарея в степь. И только тогда у Мухамета показалась слеза. Опустил он на грудь голову, да так до смерти и не поднял. А жена его, Анис-Кизым, повернула голову к народу и вдруг заговорила по-русски:

— Братики, нет ли среди вас кого из дальних уральских сел?

Оторопел народ, испугались мужики. Степной бродяга вздрогнул, будто горючая слеза упала на сердце и прожгла всего. Узнал он голос, растолкал народ:

— Аниска! Моя любая!.. Это я тут, Иванушка твой.

Заговорила тогда жена Мухамета — огонь ей уже до сердца дошел:

— Радость моя, милый ты мой!.. Вот где довелось видеться!.. Узнал-таки! Спасибо!.. Будешь жив — иди на Камень и скажи там народу, что отдала жизнь я, Аниска, за доброе дело. Прощай!— Тут она склонила голову и умерла.

Опомнился генерал, осердился, затопал ногами, закричал и велел народ разогнать.

С тем мужики и станичники по домам разбрелись. Только слышали они в пути от башкир, что давным-давно привез из набега девку Аниску к себе в улус молодой тогда Мухамет Кулуев, и с той поры она с ним жила...

А малец Мингарей как в воду канул. Укрыли его непроходимые горы да леса Башкирии. Видать, пригрел родной народ горемыку-сиротину...

Глава седьмая

1

Еще по зиме, когда над Уралом и по волжским просторам гремели последние раскаты пугачевской грозы, Демидов стал собираться на Каменный Пояс.

В 1775 году, с наступлением вешних дней, Никита Акинфиевич тронулся в далекий путь.

Стояли теплые влажные дни, живительные грозы омыли гарь в опустошенных селениях Поволжья, до отказа напоили тучные черноземы. По истоптанным, незасеянным полям буйно зазеленели сорные травы — пыреи, чертополохи. Одичали сады в барских поместь-

ях. Сильно обезлюдели городки и селения: повинные в восстании укрывались по лесам, глухим займищам, а многие вовсе сошли в дикие отдаленные места.

«Из сего надобно извлечь себе прибыток,— хозяйственно прикидывал Демидов.— Непременно людишки ринутся в Сибирский край, в Орду, а мы их перехватим и на Каменном Поясе. Что?.. Отбиваться? Хо-хо!.. Умел беду робить, умей ныне и ответ держать! Не хочешь подобру-поздорову Демидову служить, так по нужде будешь! Взляпаем на ноги претолстые колодки — да в рудники металлы копать!..»

Не радовали сердце заводчика опустошенные поля. «Хлеб вздорожился, чем работных людишек кормить будем?— рассуждал он.— Худо!.. Худо!..»

Под Казанью Никита выбрался на сибирский тракт.

Места пошли глуше. В городишки кое-где понемногу возвращались сбежавшие воеводы, коменданты и служилые люди. В полуразоренных церквах священники служили панихиды по убиенным и без вести пропавшим. Потихоньку, с опаской, возвращалось дворянство в сожженные родовые гнезда.

Минуя одно барское поместье, Демидов вздрогнул, острый неприятный холодок побежал по спине. На придорожных воротах раскачивалось изрядно истлевшее тело барина. Никита перекрестился и двинул кулаком в спину ямщика.

— Гони отсюда!— испуганно крикнул он, и в воображении его встала страшная картина расправы ожесточенных крестьян со своим владельцем.

— Это, сударь, ништо!— словоохотливо отозвался ямщик.— Привыкать надо. Тут пойдут места пострашнее!— Он тряхнул головой и вдруг запел разудалую песню:

Нас пугали Пугачом,
А нам было нипочем...

— Ты что ж это, орясина, завел? Замолчи!— заревел Никита и пригрозил ямщику.— В острог душа запросилась?

— Эва, сударь, глядите!— прервал песню мужик и протянул кнутовище.— Сколь народищу покрушили! Ну и ну!..— покрутил он головой, и глаза его помрачнели.

Подле дороги тянулось унылое серое пепелище. На

тропах и среди обгорелых бревен валялись обезображенные, полусгнившие трупы людей. Одичавшие, разжиревшие от мертвечины псы рылись в золе... Крикливая воронья стая снялась с шумом с черных, опаленных огнем берез и понеслась над пустынным полем.

С тревожным сердцем Никита взирал на запустение и разорение.

«Неужели и на Каменном Поясе то же самое?— подумал он, и на его широком лбу выступил холодный пот.— Добро сделал, что в свое время убрался подальше от сих мест!»— похвалил он свою предусмотрительность.

На пятые сутки после волжской переправы перед Демидовым засинели знакомые гребни Уральских гор. Немного полегчало на сердце. Великая тишина лежала тут по лесам и увалам. Обугленными остатками чернели разоренные заводы и деревни русских поселеников.

«Трудное дело, трудное будет дело, дабы воскресить все порушенное...»— озабоченно подумал Демидов и тронулся дальше.

И чем больше он углублялся в горы, тем тяжелее становилось на сердце.

В умете, где удалось Никите Акинфиевичу пристроиться на ночлег, встретились ему заводские приказчики, ехавшие к хозяевам с донесениями о разорениях.

Правитель Архангельского завода, владельца Твердышева, скорбно пожаловался Демидову:

— Людишки заводские скопом передались пугачевскому полковнику, а я еле свою душу уберег, скитаючись в горах. Добро, раскольничьи старцы сокрыли в молельне. В Петров день в прошлом годе на заводишко налетели башкиришки и пожгли все: и крестьянские строения и плотину, остались печи, и те покалечены разором...

— Знаю ваш заводишко,— откликнулся Никита и ободряюще оглядел приказчика.— Строен он немного ранее моего Кыштымского. Бывал я на речхе Аксынке, добрый заводишко!

Твердышевский приказчик в долгополом азяме весьма походил на раскольничьего начетчика.

«Видать, силен духом мужик. Строг!»— определил Никита и спросил:

— Куда путь держишь?

— Сперва к хозяину, а потом в леса подамся, ловить беглых надо да приставлять к делу. Будет, отгуляли свое!

— Добро удумал!— похвалил приказчика Никита.— Только, гляди, под злую руку моих шатунов не загреби! Сам доберусь до них!

— Ни-ни, сударь!— степенно поклонился мужик.— Мы в чужое добро нос не суем.

— Всяко бывает!— усмехнулся Никита и возвысил голос:— Помни, радетель, и другим приказчикам поведай, указ есть! Утайщикам беглых заводских крестьян объявлено, что с ними будет поступлено как с держателями людишек, пребывающих в нетях.

Приказчик зевнул, истово перекрестился.

— Помилуй бог нас переступить закон!— смиренно отозвался он и стал прилаживаться на отдых.

За окном темнело, в заводи на реке погасли последние блики заката. Отходя ко сну, Никита Акинфиевич спросил твердышевского приказчика:

— А на Кагинском что?..

— И не узнать, где какое строение находилось. Все предали пламени!— сонно отозвался приказчик.

— Ишь ты, заворуи!— вздохнул Никита.— А на Вознесенском как?

— Башкиры пожгли!— сомкнул глаза приказчик и смолк.

— Что наделали! Что наделали!— заохал Демидов.

В избе сгустилась тьма, раздавался могучий храп, а Никита Акинфиевич все ворочался на своем жестком ложе, не мог уснуть. Нетерпение его гнало дальше, к себе домой, в Кыштым...

На зорьке он покинул умет и продолжал путь. Над рекой колебался редкий туман, где-то в заводи перекликались лебеди. Из-за синего ельника брызнули первые лучи солнца, и на травах, на листве придорожного кустарника робкими манящими огоньками заиграли голубоватые капли росы.

В полдень в туманном мареве жаркого дня встал двуглавый Таганай, а через несколько часов пути перед глазами Никиты поднялся ощетинившийся хвойными лесами Косотур.

«Там, на реке Ае, годов более двадцати тому назад Мосолов ставил заводишко!— вспомнил Демидов.—

Ныне отошел он заводчику Лариону Лугинину. Жаль, упустил я тогда прибрать его!»

Все казалось близким, рукой подать, но ехать пришлось долго. Путь горный, каменистый, и обманчиво близки горы. Только к вечеру добрался Никита Акинфиевич до Златоустовского завода. Тонкой змейкой извивались воды обмелевшего Ая. Впереди лежала черная падь, зажатая каменистыми горами, илистый опустевший пруд.

Демидов ахнул:

— Варнаки, разбойники! Лари да стояки плотинные пожгли, пруд изошел водою!..

Златоустовский завод лежал в грудах развалин. Все строения истребил всесокрушающий огонь. Плотина покрылась пеплом. Старые доменные печи развалились. Никита ходил по заводу в сопровождении уставщика, одетого в поношенный жалованный кафтан. Подслеповатыми глазами он пристально вглядывался в Демидова и печалился:

— Хозяин далеко, приказчика удушили заводские людишки, один тут я! Два года уже, как стал завод. Как его поднять?..

Над Косотуром клубился сизый туман. Не шелохнувшись, стояли на склонах гор сосны, окрашенные в грустный брусничный цвет. А под ними в долине поблескивала струйка Ая.

Никита в раздумье разглядывал развороченные камни, успевшие порасти диким малинником. Над ними кружились большие мохнатые медуницы, собирая дань. Крупная перезрелая малина падала в каменистую россыпь при легком дуновении ветерка. Все возвращалось к своему исходу, все надо было начинать сначала.

Словно угадывая мысль Демидова, уставщик покручинился:

— По лесам да по взлобкам гор подоспели грибы, ягоды, а собирать некому...

При виде опустошения Никите стало невыносимо тоскливо, он повернулся и быстро пошел к своей тележке.

— Да куда ж вы, сударь?— засуетился уставщик.— Вы бы переночевали, а там и в дорогу.

— Неколи, дело не терпит!— угрюмо отозвался Демидов и минуту спустя выехал из одичавшего завода.

Отъехав версты три, он приказал остановить коней и в лесу, под маячными соснами, готовить ночлег. Ям-

щик разложил костер и пристроил на жердочке котелок с водой. Из-за Уреньгинских гор величественно выплывала луна, мертвенно-бледные блики легли на землю и леса.

— Отчего, сударь, не изволили в Косотуре заночевать?— удивленно допытывался у хозяина ямщик.

Никита задумчиво посмотрел на синее пламя костра и отозвался тихо:

— Запустение томит, вот и сбежал!

На огонек в глухую пору с гор спустились огневщики[1]. Бородатые нелюдимые мужики, несмотря на летнюю пору одетые в лохматые овчины, без приглашения уселись к огню и с любопытством разглядывали Демидова. С ними прибрели отощавшие псы-волкодавы и легли поодаль, зорко следя своими желтыми огнистыми зрачками за людьми. Никита многозначительно переглянулся с ямщиком. Вихрастый, почерневший от сажи и грязи мужик усмехнулся в бороду.

— Ты, хозяин, не трусь! Мы не разбойники!— успокоил он Никиту.— Мы огневщики!

Демидов осмелел, спокойным голосом отозвался:

— Я и то вижу. Какого беса вы лес бережете от огневой напасти, когда тут пожарище людей корежило?

— А мы и не сходим отсюда!— мирно отозвался мужик.— Емельяновы войска стороной прошли, меж гор. Не пришлось смануться, а теперь уж поздно,— признался он.

— Угадали, тем и спаслись!— утробно засмеялся заводчик.— Пугачу головушку оттяпали топором да на острый кол насадили. Вот тебе и царствие! И тех, кто против законных владетелей шел, того под кнут положат да ноздри урвут.

Огневщики сидели не шелохнувшись. В костре плясал веселый пламень, румянил их угрюмые обросшие лица. Демидов самодовольно подбоченился и, наклонясь к вихрастому мужику, сказал весело:

— Кончено, навек кончено с великой порухой! Не выйти ныне речке из берегов, не смыть плотину, возведенную мудрым хозяином...

— Эх-хе-хе!— тяжко вздохнул чумазый огневщик и перебил Никиту:— Не так все гладко бывает, как думают, сударь. Трудно держать воду в плотине. Разные

---

[1] Так называли охранителей лесов от пожаров. Огневщиков обычно селили на вершинах высоких гор.

поры приходят. Вешняя вода камень рвет, сударь. Хочешь, ваша милость, одну притчу тебе поведаю? Ась?

Демидов совсем ожил, ободрился. Пригляделся к лохматым полунощникам — не так страшны стали, сказал им подобревшим голосом:

— Страсть люблю побаски! Сказывай, человече!

Мужик перемигнулся с товарищами, скинул с лохматой головы баранью шапку, почесался и, глядя в синеватый огонь, начал свою притчу:

— В некотором царстве, в некотором государстве жил-был человечина один. С виду невзрачный, ростом незавидный, умом нетороватый, а просто так: пузо с картузом...

— Ловко!— поддакнул Никита и хитро прищурил глаза.

— А в том царстве-государстве текла река,— торжественно, размеренной речью продолжал огневщик.— Издали текла она, за тридевять земель, из тридесятого царства. Разлилась вода в речке, спокойная, тихая. Медленно и мирно течет она, поля да луга питает. Посмотрел тот человечина на речку и думает: «И чего это она течет? И куда она течет? Зачем она течет? Сем-ка, запружу я ее да заставлю на себя робить!..»

«У-ха-ха!»— заухал в лесной чащобе филин. Псы вскочили, насторожились. Мужики не шелохнулись. Прошла минута-другая напряженной тишины, рассказчик досадливо махнул рукой.

— Пустое! Полунощник беса тешит. Слухай, сударь, дале!— обратился он к Демидову и снова, как тонкую пряжу, потянул рассказ:— Сказано — сделано! Навалил тот человечина камней в реку, хворостом реку-быстрину переплел, землей-глиной обмазал. Запрудил реку. Такую он хитрую плотину возвел, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стоит человечина на плотине, глядит, как вода возмущается, да и говорит: «Ничего, обойдешься!..» И гуляет по плотине пузо с картузом, брюхо свое нагуленное поглаживает, картуз на маковку заложил...

— А ты скажи, путевый, кто сей человек-пузо?— не утерпел и спросил сказочника кучер. Глаза его плутовски забегали по лицу хозяина.

— Ты не перебивай, супостат-заноза!— насупил

густые брови мужик.— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается!

Медленно течет вода в речке, а еще того медленней прибывает она у плотины. Одначе прибывает. Набухает русло водой, собирается у плотины воды больше да выше. Стала вода напор на плотину давать. А плотина стоит, хоть бы что...

— Знать, крепко сроблена,— вставил слово Демидов.

Огневщик ухом не повел.

— А той порой набежало воды в речке богато. И в добрый час ее собралось столь, что невмоготу ей стало мыкаться у плотины. Задыхается она в запруде. Бьется о плотину. Как живая стонет.

Прошли денечки-часочки, видит вода: нету ей жизни. Стала она тогда выхода искать. Стала всей своей силой на плотину нажимать, то туда, то сюда. И вот нашла в плотине слабое место и прососала ее.

Видит человечина, что делу туго!— Тут рассказчик завращал белками глаз, заторопил свой сказ.— Живей давай латать плотину. То камней подбросит, то хворосту наворочает, то земли поднавалит. Эх-ма, ничего не помогает! В одном месте заделает, а вода в другом прососала. Бегает человечина по плотине, кричит, суетится.

А вода в речке поднимается. Всей своей силушкой давит на плотину... Ветер с верховьев налетел, буря разгулялась, забурлила вода, волны захлестали. Э-эх!.. Скоро-скоро прорвет вода плотину. Сметет она с лица земли и человечину-пузо и всю его хитрую выдумку... А ты смекай, хозяин, что тут и к чему!

Лохматый мужик, словно леший, ощеря белые как кипень зубы, захохотал.

Демидов опустил плечи.

— Не пойму, что к чему сказано, невдомек мне,— схитрил Никита.

— А ты, слышь-ко, хозяин, покормил бы добрых людей! Небось в дорожной укладке есть чем утробу насытить,— настойчиво попросил огневщик.— Мы не варнаки, не тати, не грабим, не режем дорожных, милостыню просим.

Хмурые мужики оживились, в ожидании разглядывали заводчика. Никита поежился, однако пересохшим голосом бросил кучеру:

— Выворачивай, что припасено. Накорми их!— Демидов встал от костра и круто пошел к тележке. Пока кучер выкладывал перед полунощниками припасы, хозяин завернулся в дорожный кафтан и закрыл глаза...

Месяц высоко поднялся над Уреньгинскими горами, плыл к Таганаю, вздымавшему к темному звездному небу свою высокую главу. Ветер шебаршил в чащобе, псы подползли к огневщикам и просяще глядели в их глаза, угодливо виляя хвостами. Изголодавшиеся в лесу мужики алчно пожирали демидовские припасы.

Под утро месяц укрылся за окоемом. Как туман, растаяла колдовская лунная муть. И вместе с ней, словно и не были, исчезли лесные мужики.

Разбудив хозяина, кучер загадочно посмотрел ему в глаза и перекрестился:

— Ну, хозяин, славь господа! Великая беда нас миновала.

— Как так?— удивился Демидов.

— А так, сударь, не признали варнаки тебя, а кабы знали да ведали...

Ямщик осекся под грозным взглядом Никиты.

— Поехали дале!— сухо сказал он и велел запрягать коня.

Снова пошла-завиляла среди леса и гор дальняя дорога. Миновали Миасс-озеро, оставили влево Ильменские гребни. Нигде не дымили заводы. Глубокое молчание простиралось кругом. Нарушали его изредка конные воинские команды, спешившие в городки. Под самым Кыштымом Никита нагнал толпу горемычных кандальников. Брели они устало, но в ногу, в тяжкий шаг, под звон железа уныло тянули песню. Демидов насторожил ухо, велел придержать коней и, следуя поодаль, прислушался к грубым голосам. Кандальники пели:

У Демидова в заводе
Работушка тяжела,
Ах, работушка тяжела...

Более всего не по нутру было заводчику то, что старый капрал с пыльной косичкой и гарнизонные инвалиды — казенная стража — с усердием подпевали кандальникам:

...Уж вы, горы, да горы высокие,
Уж леса на горах, да дремучие,
Вы укройте работничков бедных,
Ах, людей, да от Демидовых...

— Ах, разбойники! Ах, каторжные, сколь великий позор на меня разносят по земле!— в огорчении вскричал Никита.— Гони!..

Заклубилась пыль под колесами, кони с храпом рванулись вперед и живо нагнали ватагу. Демидов поднялся в телеге и крикнул капралу:

— Почему орешь, пес, воровские песни? Кто ты? Царский солдат? Кого оборонять должон? Рачителей государства: дворян, заводчиков. А ты?..

— Батюшка!— вытянулся старенький капрал, но Никита перебил его.

— Молчать!— заревел он.— Ныне же генералу будет доведено о твоем заворуйстве!

Пыльные старики инвалиды утирали пот, лица их обгорели на солнце, казались медными. Грязные мокрые парички у многих съехали набок, треуголки изношены. Демидов спросил строго:

— Куда гонишь беглых?

— В Кыштым, батюшка! В Кыштым, к Демиду...

Никита кашлянул, махнул рукой:

— Коли так, гони с богом! Хозяин, чай, рад будет!

— Известное дело, батюшка, каждой живой твари ноне обрадуешься...

Заводчик не дослушал капрала, погнал коней. Стихло на дороге, повеяло прохладой. Почуяв ее, кони резвей понесли, обогнули сумрачную гору и вынесли на простор. Впереди блеснуло раздольное озеро.

— Кыштым!— возрадовался Никита.— Вот он, долгожданный Кыштым!

2

Завод безмолвствовал. Черное пожарище простиралось там, где недавно клокотала жизнь. Работный поселок сгорел весь до основания. От заводских зданий остались задымленные, грязные стены с провалами изуродованных окон и дверей. Заплоты растасканы, сожжены. Мост через Кыштымку как ветром сдуло. Река обмелела, хозяин переехал ее вброд. Тут и встретил его с радостным восклицанием старший приказчик Иван Селезень.

— Батюшка, приехали! А мы-то давно поджидали!— всплеснул он руками и бросился к хозяйскому возку, стал ссаживать Никиту.

Демидов обнял приказчика и по-старинке трижды облобызался с ним. Он внимательно вгляделся в его сухое лицо. Постарел, сильно постарел Селезень. Густые пряди седых волос серебрились в его поблекшей черной бороде, лицо вытянулось, его избороздили морщины. И все тело когда-то бравого цыганского мужика подсохло, походил он теперь на поджарого голодного зимогора-волка.

— Что, укатали сивку крутые горки?— соболезнующе спросил Никита, разглядывая холопа.

— Укатали,— покорно согласился Селезень.— Насилу сбег, все искали на расправу. В Нижнем Тагиле пребывал, Уткинский завод ваш оберегал...

Хозяин угрюмо посмотрел на приказчика.

— Плохо уберег, коли огню предали строения на Утке.

— Что ж поделаешь, Никита Акинфиевич, на то божья воля,— развел руками Селезень.— Отслужу еще я вам, батюшка. Раньше силой брал, теперь, вижу, нам доведется жить хитростью и лукавством. Больно злы заводские...

«Проныра-льстец!»— похвалил про себя Демидов холопа и спросил:

— Ну, как завод? Как людишки? Чую, наладил дело?

— Худо,— протяжно вздохнул Селезень.— Ой, худо, хозяин! Сами видели: камень да стены, вода и та утекла. Людишек помалу сыскиваю, к работе ставлю. С народом ныне приходится осторожно...

— Н-да! — закручинясь, процедил сквозь зубы Никита и кивнул: — Веди да сказывай!..

От брода они прошли на плотинный вал. Все деревянное было восстановлено. Демидов удивленно посмотрел на приказчика.

— Да отколе ты отыскал мастерка, чтобы вододействующие колеса пустить?— изумленно спросил он.

Селезень стоял перед господином без шапки, склонив голову. Знал он, что обрадовал хозяина.

— Нашелся паренек один, талант-простолюдин, и все обладил!— потеплевшим голосом вымолвил он.

— Ох, и добро! Покажи мне этого молодца,— похвалил Никита.

У ног хозяина серебристой лентой медленно лилась струйка. За валом, в косогоре, словно барсучьи норы, темнели землянки.

— Работное жилье!— кивнул в их сторону приказчик.

Мрачный, молчаливый Никита в сопровождении Селезня обошел завод. Развалины, укрытые густой полынью, успевшей уже овладеть пожарищем, кругом железный лом, битый кирпич, горы пепла, остатки угольных запасов. С гор сорвался шалый ветер и поднял тучи золы. Демидову стало не по себе: зола лезла в глаза, в уши, хрустела на зубах. Он тихо побрел к домнам. И тут ждало горькое разочарование. Хоть с виду и уцелели доменные печи, но они надолго выбыли из строя.

Все видел, все прикидывал в своем уме рачительный Никита. Ставить новый завод легче, чем поднимать из пепла старый. Новое дело веселит своим будущим, а старые раны вызывают боль. Пораженный разорением, заводчик присел на камень, сгорбился в глубоком раздумье. Приказчик, разглядывая сутулую спину хозяина, его большой сухой нос, с грустью подумал: «Да и ты, Никита Акинфиевич, изрядно-таки подсох да постарел! Отлетался орел-хват!..»

Демидов поднял голову и спросил:

— А на куренях как?

— Жигари все побросали и разбрелись кто куда. А перед разбродом пожгли уголь.

Заводчик еще ниже склонил голову. Мыслил-прикидывал Никита: «Для пуска завода потребны руда, флюсы, уголь. А где они? Уголь сгиб при пожаре вместе с заводом. А добыть топливо — надо рубить лес, выжигать уголек, возить его на завод. А для того нужны люди, кони, время. Эх!..»— вздохнул хозяин и вдруг ожил, стукнул кулаком себя по коленке:

— Что ж, робить так робить. Оживим завод, Селезень?

— Оживим! Раз вы тут, оживим!— уверенно отозвался приказчик.

Расставив людей на заводе, на руднике и на куренях, Демидов дал наказ приказчику сделать опись убытков, а сам уехал на Тагильский завод.

К северу от Кыштыма дороги пошли веселее, кое-где

к небу тянулись дымки: работали уцелевшие заводишки. Башкирские ватажки доходили сюда редко и ненадолго, а войска Белобородова оберегали заводы от большой порухи. Повстанческие отряды не дошли до Нижне-Тагильского завода на шестьдесят — семьдесят верст, и он уцелел. Завод всего на два месяца приостановил работу, люди были брошены на возведение валов, заплотов, рубили и ставили крепкие ворота. Тагил изо всех сил готовился к обороне. К счастью для Демидовых, гроза прошла мимо, не тронув ни людишек, ни домен...

На заводе по-прежнему хозяйствовал управитель Яков Широков; шел ему седьмой десяток, но он не сдавался; стан был прям, зубы крепки, серебро седины слегка тронуло чернь бороды. Дела на заводе шли добро, веселили. И встреча хозяина была радостная. Демидов умилился рачительству Широкова: назубок знал он все царские указы и предписания Горной канцелярии. Пермское горное начальство предписывало сотникам, старостам и десятским повсюду разыскивать заводских людей и высылать их с семьями на работу. Широков перехватывал на пути своих и чужих беглых и кабалил.

— Ежели тут не укроем,— успокаивал он Никиту,— то на кыштымские курени загоним, там и леший их не отыщет!

Не успел Никита Акинфиевич помыться в баньке с дороги, отоспаться, как управитель преподнес ему опись убытков. Демидов ахнул: он и сам не ожидал такой наглой бесцеремонности от управителя.

Яков Широков составил рапорт в Екатеринбургскую горную канцелярию: «За отлучением мастеровых и работных людей,— писал он,— и от остановки фабрик и за неприготовлением угля железо недодано и впредь от недостатка угля и остановок недоделается, и оттого недополучится 63 447 рублей $^1/_4$ копейки... С заводов, кроме сего, во время сражения со злодеями убито людей 10 человек, по 250 рублей каждый,— на 2 500 рублей...»

— Господи помилуй!— удивился Демидов.— Какое тут сражение, когда ни один злодей и духом не бывал на заводе?

— Э, батюшка, все сие известно вам да мне!— уверенно заговорил старик.— Сначала как будто и все яс-

но, как божий день, а пойдет эта бумага гулять по канцеляриям да департаментам, да как почнут чернильные души да ясные пуговицы, чиновные крючкотворы, писать отписки,— все мигом мохом обрастет, и начнутся такие дебри, что поди разберись, где тут чистая правда, а где выдумка! А после того мы и сами поверим, что все то было, как писано. А нам это и надо: пожалуйте, сударь, пособие от казны за убытки! Вот оно как!

Никита сидел с раскрытым ртом, не шелохнувшись, глядя на Широкова.

Приказчик вздохнул:

— Что же поделаешь, батюшка, ежели ныне правда держится на гусином пере да на посуле?

«Дотошлив, ой, как дотошлив!— похвалил в душе хозяин.— Из ничего выгоду получит!»

Две недели отдыхал Демидов в Нижнем Тагиле; гулял-куролесил хозяин, только гул катился по тагильским хоромам. Управитель из сил выбивался, угождая хозяину. В конце концов Никита Акинфиевич одумался.

— Пора в Кыштым! Закладывай карету!— приказал он.

Хозяина с великой почестью усадили в коляску и при колокольном звоне проводили из Тагила. Отъезжая от крыльца, Никита пригрозил управителю:

— Гляди, не воруй, не растаскивай хозяйское добро! Теперь я чаще на заводишко наезжать буду! Не пощажу!

В Кыштыме Демидова поджидал приказчик Селезень. Он привел в порядок хозяйские хоромы. Было странно видеть среди обгоревшего здания обновленное крыльцо, несколько восстановленных комнат.

«Ничего, к осени и весь дом облажу»,— успокоил себя Никита.

Приказчик положил перед ним приготовленную роспись потерь.

— Гоже!— засиял Демидов.— Любо! Все от казны стребуем. Она повинна в наших убытках.

Хозяин углубился в чтение росписи:

«Истреблено долговых листов на 54 671 рубль...»

«Ловко!— улыбнулся хозяин.— Поди сунься, проверь!..»

Дальше шел перечень сожженного добра и хозяйст-

венных предметов. Среди прочего значилось: «Изничтожено 20 пар дверных крючков и петель — 20 рублев. Погибли две клюки (кочерги) — 1 рубль. Утеряна вьюшка одна чугунная, 6 сковород, а всего за них 1 рубль 60 копеек...»

Приказчик стоял рядом, переминался с ноги на ногу. Никита поднял глаза на него:

— Все, поди, записал, не упустил?

Селезень поклонился, спокойно ответил:

— А то как же! Известно, все!..

— А нет тут того, что небо с изъяном ныне стало, прокопчено пожаром! Не вписать ли и то в убыток?— ухмыляясь, спросил хозяин.

— Помилуй, Никита Акинфиевич, небо никак не выходит трогать, там сам господь бог наводит порядки и счет ведет,— совершенно серьезно ответил приказчик.

Никита повеселел; знал он: казна оплатит все. В стране только что отгремела изнурительная, долгая война с Турцией. Заводы на Каменном Поясе были потрясены войсками Пугачева, разорены башкирами. А кто давал пушки, ядра, клинки, как не уральские заводы! Оставить их в запустении было опасно для государства, окруженного сильными врагами.

«Станут воскрешать наши заводы и домны! Глядишь, и мы не в обиде будем!»— правильно рассуждал Демидов.

Помощь уральским заводчикам со стороны государства не замедлила: Никита Акинфиевич получил большие ссуды на восстановление Кыштыма.

3

Снова задымил демидовский завод. Никита Акинфиевич был доволен. Он ходил по Кыштыму, осматривал пущенные в действие домны. Шел он неторопливо, гордо закинув голову, властно поглядывал на работных.

— Что, отгулялись, заворуи? — спросил он кузнецов.

Лохматый черномазый коваль поднял голову, с ненавистью посмотрел на хозяина. Дыхание работного стало шумным, глаза налились кровью. Вот-вот вспыхнет яростью и сорвется с места плечистый коваль, занеся над головой тяжелую кувалду.

Демидов вздрогнул и замолчал. Сохраияя прежний иедоступиый вид, вышел он из кузницы. Перед его глазами все еще маячило злобное лицо работного. На заводском дворе, под ярким солнцем, хозяин снял шляпу, отер иа лбу обильиый пот.

— Распустили народец-то! Надо будет покрепче поприжать, дабы чувствовали хозяйскую руку!— Никита с сокрушеиием вздохнул и, показывая глазами иа кузницу, пригрозил приказчику:— Ты гляди в оба! Ежели иерадивость аль заворуйство уследишь, бить плетьми в проводку! Доправлять варнаков до разумства так, что и праху их не помянется.

Селезеиь испуганно оглянулся.

— Опасливо, батюшка!— понизив голос, пожаловался ои.— Хошь Пугачу и скрутили голову, а иарод-то до сей поры ие угомонился.

— Угомоию!— увереиио отозвался хозяин.— Пожар притушили и пепел разметем!

Демидов шел по двору, заложив руки за спину. Был ои еще в цветущей поре и силе человек. Одетый в бархатиый кафтаи вишиевого цвета, в кружевах, в шелковых чулках на толстых икрах, он держался вельможей. За иим плелся приказчик в темной суконной поддевке. Склонившись к хозяину, он вкрадчиво шептал:

— Все так, хозяин... Но как бы масла в огонь не подлить! Тут по лесам да по горам заворуи еще шастают, Митька Перстень с буянами по дорогам бродит...

— Пустое!— с досадой прервал приказчика хозяин.— Отгулял добрый молодец. Изловим!

Никита Акинфиевич круто повернулся и пошел к хоромам. После обеда хозяин отдохнул в прохладной спаленке, а когда свалил полдневный зной, велел запрячь тройку рысистых коней и собрался иа соседний рудник.

— Сколько человек в охрану прикажете?— тревожно спросил Селезень.

— Никого ие надо. Я да кучер едем, вот и все тут!— упрямо сказал Демидов. Держался ои смело, спокойно. По-хозяйски оглядел тройку, похлопал кучера по широкой спине и, довольный, уселся в коляску.

— Пошли!— крикнул он кучеру.

Кони встряхиули гривами, легко и весело поиесли

коляску. Приказчик пожал плечами, помялся среди двора и, махнув рукой, пошел к заводу.

«Храбер больно, как бы не напоролся на беду!» — тревожно подумал Селезень.

Демидов мчался лесом. Темные густые ельники стеной тянулись мимо, сосновые боры обдавали смолистым духом, в чащобах стояла тишина, только изредка кричала вспугнутая зверем птица, храпели кони да кучер, любуясь конями, от избытка сил самодовольно покрикивал:

— Гей, гей, серые!..

Солнце раскаленным ядром закатилось за темные горы, и, как парок над бадьей, над понизями засинел легкий теплый туман. Смолкли птицы. Никита ощущал на душе покой, уверенность. Полузакрыв глаза, он неодобрительно подумал про Селезня: «Запугать вздумал, бездельник!»

Вдруг кони испуганно шарахнулись в сторону и, пробежав ложбину, остановились. На уздечке повис крепкий бородатый мужик.

— Стой, ирод! — заорал он ямщику. — Кого везешь?

Демидов вскочил с сиденья, схватился за плечи кучера.

— Прочь с дороги! — закричал он на мужика. — Прочь, каторжный!

Но в эту минуту из придорожных кустов, шумя, выбежали молодцы с дубьем.

— Хватай барина! — заорал бородатый дядька и крепче вцепился в удила.

Но и Никита не дремал: он вырвал из рук ямщика вожжи, локтем с маху скинул его с облучка и, дернув изо всей силы ремни, заорал на весь лес:

— Гр-ра-абят!..

Кони разом взвились на дыбы. Мужик повис на удилах. Демидов со свистом ожег серых кнутовьем, они вздрогнули, рванулись и понесли. Коренник, могучий конь, взмахнув гривой, как котенка стряхнул уцепившегося мужика.

— Эге-гей! — ликующе заорал Демидов и снова хлестнул по коням.

Словно звери, мчались они по лесной дороге. Как морской прибой, навстречу им несся шум елей; синь вечера охватила просторы над понизью...

Посреди дороги из пыли поднялся помятый мужик и погрозил тяжелым кулаком вслед тройке:

— Погодь, ирод, все равно поймаем!..

Затемно приехал Никита Демидов в свой лесной курень и никому не сказал ни слова о дорожной беде. Все поразились одному: хозяин прибыл без ямщика. «Неужто по злу уложил ямщика в дороге?» — в страшной догадке взволновались они.

Однако утром прибрел в курень и ямщик. Потный, грязный, с подбитыми глазами, он молча подошел к тройке и стал ее холить. Хозяин и словом не обмолвился с холопом, а жигари подумали: «Поозоровал Демид, сбросил ямщика с облучка и умчал один!»

Только отдохнув и успокоившись, хозяин вышел к рысакам.

— Ну, что там за чертушки были? — с легкой насмешкой в голове спросил он кучера.

— То Митька Перстень повстречал нас! — холодно отозвался ямщик. — Добры кони, а то погибать бы тебе, хозяин...

— Ишь ты как! — не унимался Никита. — Ну, ништо, мы еще с ним встретимся!

Демидов истребовал из Екатеринбурга воинскую команду и обложил кыштымские леса и горы дозорами и разъездами. Солдаты скитались по лесным дорогам, глухим тропам и теснили ватагу Перстня. Шумно и весело гулял Митька, да недолго. Много перевешал он на придорожных березах судейских повытчиков, немало пообчистил купцов, но тут ему конец пришел. В сумрачный осенний день солдаты выследили буйную ватагу в горах, загнали в скалы и покололи. Остался Перстень с пятнадцатью молодцами, долго он бился не на жизнь, а на смерть. Однако одолели удальца, схватили его живьем. Сбылось желание Демидова: встретился он с Митькой, закованным в кандалы. Посадили молодца на короткую цепь, а на шею надели тяжелую рогатку. Рубаха и порты были на пленнике рваные, в прорехи виднелось крепкое жилистое тело. Перстень и не взглянул на своего врага, когда тот спустился в подвал. Демидов уселся против узника на скамью, помолчал.

— Хочешь жить? — вдруг коварно спросил заводчик.

— Еще как! — с неожиданным жаром отозвался Перстень.

— А для чего жить?— вкрадчиво снова спросил Демидов.

— Не отгулял свое!— смело ответил Митька.— Не всем кровопийцам покрушил башки! Ты ведь первый все еще палачествуешь.

— Сатана!— скрипнул зубами Никита.— Видать, до сих пор не угомонился!

Перстень промолчал. Демидов огляделся, вздохнул:

— Хорош!.. Дерзок!.. Хочешь, я с тебя кандалье сниму?

— Не снимешь! Издеваешься все надо мной!— недовольно повел плечами Перстень, лязгнули цепи.

— А вот сниму, ей-богу, сниму! Только уговор один. Сказывают, богатств много ты схоронил в лесах. Скажи, где упрятал, тут тебе и воля!..

Узник вдруг ожил, загремел кандалами:

— Уйди, дьявол! Зубами загрызу!..

— Ты что? Шальной стал?— отшатнулся заводчик.

— Загрызу!— сверкнул глазами Перстень.— Никаких кладов не имею. Все раздал народу.

— Врешь!— крикнул Демидов, озлобясь.— Врешь, заворуй!

— Я не заворуй, не разбойник. Я каратель твоего племени!— отрезал Перстень и замолчал.

— Погоди, я тебе башку сейчас оттяпаю!— пригрозил хозяин. Но Митька, опустив голову, стерпел. Так Никита и не добился от него ответа.

Неделю спустя Митьку Перстня отвезли в Екатеринбург, там его судили. Пугачевца заклеймили каленым железом, вырвали ноздри и сослали в Сибирь на каторгу...

С той поры в народе пошел слух: оставил Перстень после себя несметные сокровища, бочки золота и серебра. Ходила молва: когда солдаты окружили ватажку Перстня и не было ей спасенья, тогда собрал атаман всех своих дружков в круг и сказал им по душе, искренне:

— Плохие, видно, братцы, наши дела! Отгуляли, удалые! Что теперь делать будем, куда подадимся?

Ответили товарищи:

— Тебе, атаман, виднее. Умирать нам не страшно. Погуляли!

— Не смерть страшна!— согласился атаман.— В бою и смерть красна. Жаль казны, братцы! Кому она достанется? В землю зарывать часу-времени не хватит. А зароешь, царские шпыни, как псы, вынюхают, добудут. Вот и гадайте, ребятушки, да живее, как быть?

Кругом простирались леса, синели горы, а рядом лежало привольное светлое озеро.

И сказал тут один из молодцов своему атаману:

— Через золото опять много слез будет. А чтобы не досталось оно никому, схороним его глубоко, на дно озерное...

Так и сделали.

Втянули бочки на Лысую гору, а оттуда стали катать их. Тяжелые бочки с золотом в разгон пустили под угорье да в озеро. Вспенилось, взбушевалось оно. Захлестнулось от ярости, словно золоту недовольно. Тогда пустили бочки с серебром; укатились они и нырнули вглубь. Вода понемногу улеглась и засеребрилась. Успокоилось озеро...

С тех пор стали называть его Серебряным.

Сказывали старые люди, что после увоза Перстня на каторгу по наказу Демидова в Серебряное озеро крепкий невод закидывали. Пытался хозяин добыть пугачевский клад, бочки с золотом, да разве добудешь его. Светлое озеро крепко хранит золотой клад от нечистых рук...

Глава восьмая

1

Прокофий Демидов возвращался с медвежьей охоты из-под Мурома. В ожидании смены лошадей обогревался на почтовой станции. В надымленной горенке станционного смотрителя волнами колебался сизый дым; под низким окошечком сидел неведомый мелкопоместный дворянчик и, брезгливо поджимая губы, курил из длинного черешневого чубука. На скамье валялась скинутая с плеч дорожная шуба, порядком облезлая и потертая. Да и кафтанишко на дворянчике был изрядно засален. Хоть на безымянном пальце проезжего. и сверкал бирюзовый перстень, но руки не отличались чистотой.

При входе Демидова дворянчик поднял голову и, увидев на нем дорожную волчью шубу, спросил:

— Купец пожаловал?

Прокофию стало не по себе, но он сдержался и, поклонясь, отозвался:

— Нет, не купец, а заводчик я...

Дворянчик нахмурился, пустил клуб табачного дыма и больше не обмолвился с Демидовым ни единым словом. Так просидели они молча довольно долго. Тишина наполняла горенку, только за печкой шуршали пригретые тараканы да у темного от копоти чела неслышно возилась опрятная старушонка.

Издалека возникли, стали расти и, наконец, на дороге за окном зазвенели громкие колокольцы. Все насторожились; по всему слышно было — из Москвы скакал важный курьер. Еще в сенях раздался его простуженный бас:

— Немедля коней!

Распахнув дверь, вместе с клубами морозного воздуха в горницу вошел рослый, осыпанный снегом фельдъегерь. Не глядя на проезжих, он закричал на всю избу:

— Водки мне!

Молчаливый дворянчик мгновенно ожил и, льстиво заглядывая в глаза курьера, спросил:

— Что за вести из Белокаменной?

— Добры вести, сударь!— загрохотал басом курьер.— Башку злодею оттяпали!

— Милый ты мой!— ахнул дворянчик и бросился обнимать курьера.— Ты что ж, старая?— накинулся он на бабку.— Что не кланяешься господину за добрую весть?

Старушонка обернулась, на глазах ее блестели слезы.

— Грех сказать, на него не жалуемся! Проходил он тут с войсками, а нам зла не сделал. Помяни, господи, его душу!..

Она набожно перекрестилась.

Дворянчик, замахнувшись чубуком, прикрикнул:

— За кого молитву творишь? За разбойника!

— И, батюшка, господь сам за разбойника отцу своему всевышнему молился!— невозмутимо сказала старушка.

— Ты кто?— заорал дворянчик.— Холопка?.. Крепостная?..

— Крепостная, батюшка,— смиренно поклонилась бабка.

— На конюшню! Кнутом за такие слова!— вышел из себя дворянчик, брызгая слюной.

Курьер подсел к столу. Он потешался зрелищем. Но тут Демидов вскочил и заслонил собою бабу:

— Не трожь!

— Как ты смеешь?— истошно взвизгнул проезжий.— Да знаешь, кто я? Столбовой дворянин!

— Эка, удивил!— улыбнулся Демидов.— Я сам столбовой дворянин.

— Позвольте!..— не унимался проезжий...— Я весь гербовник знаю. Кто вы, сударь?

Прокофий налился румянцем, его задело за живое. Не сдерживаясь больше, он крикнул:

— Я — Демидов! Может, слышали обо мне?

Захудалый дворянишка вдруг разразился желчным смехом.

— Ха-ха!.. Тож дворянин выискался! С кувшинным рылом да в дворянский ряд лезет. Поравнялся! Дворянство-то твое жалованное, а мы потомственные. Мы...

Дворянчик не окончил. Демидов схватил большую кожаную рукавицу и стал бить его по лицу, приговаривая:

— Так!.. Этак!..

Отколотив дворянчика, он отбросил рукавицу и удовлетворенно сказал:

— Рук не хочу марать об это убожество!

Разгоряченный злобой, он вышел из горницы, сердито хлопнув дверью.

Вскоре перепрягли коней, и проезжие отбыли по своим путям-дорогам. В муромских лесах лежал глубокий снег. Заснеженные сосны гнулись под его тяжестью. В тишине время от времени раздавался треск: взметнув серебристую пыль, ломались и падали сухие ветки...

Белизна снега, затаенное молчание векового бора, поскрипывание санных полозьев убаюкивали, навевали покой. Но Демидов не мог целиком отдаться покою. Злые думы одолевали его. «Кто же мы такие, Демидовы? Сермяжники или дворяне?— думал он о себе.—

Кажись, богаты, знатны, а все чтут нас за черную кость! Каждый борзятник себя выше мнит... Погоди, я еще вам покажу, не раз взмолитесь перед мужицкой костью!»— пригрозил он невидимому врагу, покрепче запахнулся в волчью шубу и поглубже уселся в теплый уголок кибитки.

Скрипели полозья, ранний вечер синим пологом укутал уснувший лес. На елани из-под копыт резвой тройки выскочил вспугнутый зайчишка и, ковыляя в рыхлом снегу, заторопился под елочку.

Меж величавых сосен в темных прозорах зажглись первые звезды.

А дорожная дрема все не приходила к Демидову, встревоженная неприязнь к борзятникам горячила мысли...

2

Дворянство повсеместно радовалось поимке и казни Пугачева. Государыня Екатерина Алексеевна решила посетить первопрестольную. Прослышав об этом, со всех российских губерний съезжались в Москву дворяне, чтобы представиться царице.

Вся Москва убралась, принукрасилась к приему высокой гостьи. Правда, Кремль к этому времени сильно обветшал, пришлось выбрать три больших дома, принадлежавших Голицыным и Долгоруким, и, соединив их деревянными галереями, устроить подобие дворца, в котором и разместилась государыня с придворными.

Каждый день давались балы, концерты, маскарады. Придворные умели повеселиться, а в эти дни, пережив страшную пугачевщину, особенно хотелось забыться в бездумном веселье. Прокофий Акинфиевич не отставал от знати. Среди придворного блеска и шума Демидов нисколько не терялся, держа себя с достоинством, не допускал в присутствии императрицы никаких чудачеств. Придворных льстецов и петербургскую знать поражали роскошь и богатство Демидовых. Многие заискивали перед Прокофием Акинфиевичем, но сквозь льстивые улыбки и раболепство улавливал он неприязнь и отчужденность. Неуловимое презрение чувствовалось в речи и в жестах обращавшихся к нему екатерининских вельмож из старинных княжеских родов.

Он все дни думал об одном: как бы досадить титу-

лованному дворянству. Эта злая мысль не оставляла его ни на минуту. Как маньяк, он много часов не сводил глаз с той или иной персоны, поджидая случая, чтобы сделать каверзу. Между тем случай сам подвернулся.

При государыне Екатерине Алексеевне кавалерственно держалась пожилая, но весьма жеманная графиня Румянцева. В свое время она состояла первой статс-дамой при императрице Елизавете Петровне. Сейчас, пребывая на торжествах в Москве, графиня изрядно поистратилась. Чтобы выйти из затруднительного положения, ей нужны были пять тысяч рублей. Несколько дней подряд она объезжала родных и знакомых, пытаясь занять деньги. Увы! Помещики, приехавшие из поволжских губерний, были разорены крестьянским восстанием. Оставалось одно: обратиться с просьбой к Демидовым. «Но к которому из них?»— раздумывала графиня. Приехавший с Урала Никита Акинфиевич был щедр на посулы, но скуп на деле. Волей-неволей оставалось просить Прокофия Акинфиевича.

Она приехала в демидовский дворец. Прокофий принял ее учтиво, но чрезвычайно сухо. Терпеливо выслушав кавалерственную даму, он встал и поклонился ей.

— Простите, ваша светлость, я не могу исполнить вашей просьбы!— строго сказал он.

— Но почему же? Вы так сказочно богаты!— изумленно воскликнула графиня.

Демидов нахмурился. Глядя в глаза просительницы, отрезал:

— Ваше сиятельство, у меня нет денег для женщин вашего звания, потому что где я найду на вас управу, если вы не заплатите долга к сроку?

Демидов снова сел за стол и загляделся на статс-даму. Когда-то она, несомненно, была красива, об этом говорили ее глубокие и выразительные глаза, еще до сих пор не потерявшие блеска, нежный овал исхудавшего лица, тонкие плечики — все напоминало собою тихое увядание в золотую осень. Он вздохнул, и графиня, весьма чуткая до душевных переживаний, уловила его минутную слабость и повторила свою просьбу.

— Нет, ваше сиятельство, не могу! Выбросить на ветер пять тысяч рублей не шутка.

Лицо и шея графини мгновенно вспыхнули, она закусила губы. Еле сдерживая слезы горькой обиды, она встала с кресла, но Прокофий удержал ее.

— Обождите, ваше сиятельство,— смягчился он,— я дам вам денег, но с одним условием. Вы дадите мне расписочку, какую я захочу.

— Я согласна,— не чувствуя коварства, склонила голову гостья.

— А коли так, извольте!— сказал Демидов. Он подошел к бюро, достал бумагу, гусиное перо и быстро настрочил расписку.— Вот извольте! Подпишите!— протянул он листик.

Графиня уселась к столу, чтобы расписаться. Но то, что она прочла, заставило ее вскочить в негодовании. В расписке значилось:

«Я, нижеподписавшаяся графиня Румянцева, обязуюсь заплатить Прокофию Акинфиевичу Демидову через месяц 5 000 рублей, полученные мною от него. Если же этого не исполню, то позволю ему объявить всем, кому он заблагорассудит, что я распутная женщина».

— Я знала, что вы чудак,— возмущенно сказала графиня,— но никогда не думала, что вы допустите подобное в отношении женщины!

Она с негодованием бросила расписку.

— Как хотите,— равнодушно сказал Демидов.— Иначе я не могу ссудить вам денег.

Гостья боязливо рассматривала хозяина. Желтолицый, лысоватенький, с блуждающими черными глазами, он напоминал сумасшедшего. Страшно было находиться с ним наедине. «А между тем мне нужны деньги!— с тоской думала Румянцева.— Что же делать? Но если я уплачу ему долг в срок, расписка не будет оглашена!.. Ну что ж, пусть почудит»,— раздумывала она и потянулась за пером.

Демидов отсчитал ей деньги и учтиво проводил до двери.

— Не забудьте о нашем условии. Я ведь неуступчив бываю в честном слове,— сказал он, целуя ее нежную надушенную ручку.

Празднества шли своим чередом. Стареющая статсдама забыла о данном обещании, а между тем деньги уплыли и сроки истекли. Демидов предвкушал удо-

вольствие. Как иельзя кстати, подоспел бал в дворянском собрании. Съехалась вся саиовитая Москва. Двусветиые залы блистали позолотой; дробясь в хрустальиых подвесках, из люстр струился мягкий согревающий свет. Ои теплым потоком иизвергался иа пышиые округленные дамские плечи, сверкающие молочиой белизиой, играл цветами радуги в самоцветах, украшавших придвориых прелестииц, зажигал своим сверкаиием позолоту пышиых мундиров и струился иа регалиях и ордеиах.

То и дело к подъезду подкатывали кареты с фамильиыми гербами, и ливрейиые лакеи бросались открывать дверцы. Все иовые и иовые потоки геиералов, саиовников, неуклюжих провиициальиых дворяи с их миогочислеииыми семьями вливались в обшириые покои собраиия.

На хорах за широкими белыми колоииами оркестр торжествеиио заиграл марш «Славься сим, Екатериia...».

Одетая в малииовый шелковый роброи, императрица вошла в зал. Прокофий Акиифиевич ие сводил восхищеииых глаз с царицы.

Она гордо взирала иа склоиеииые головы своих поддаииых. Два пажа в бархатиых алых кафтаичиках и завитых паричках, похожие иа пастушков из пасторали, бережио иесли тяжелый шлейф платья государыии. Позади двигалась свита.

Среди иих Демидов заметил зиакомую графиию; его сердце вспыхиуло. Веселый бес заиграл в его крови. Он покорио склоиил голову под взглядом шествующей государыии, а мысли были об одиом...

После торжествеиного приема все разбрелись по залам. Молодые петиметры, а за иими приезжие из дальиих губерийй дворяиские байбаки потяиулись за Демидовым. Собрав их в круглом зальце, ои выиул записку графиии Румяицевой и, гримасиичая, громко прочитал ее молодежи.

Раздался дружиый хохот...

Екатериia Алексеевиa изумлеиио взгляиула иа камергера:

— Узиайте, кто умеет так счастливо веселиться?

Учтивый царедворец, растерянно поглядывая иа статс-даму, сообщил о демидовской проделке. Царица иахмурилась и строго приказала камергеру:

— Скажите, чтобы он немедленно удалился из собрания!

Прокофий Акинфиевич молча вышел из дворца и уехал домой. На другой день московский обер-полицмейстер уплатил Демидову пять тысяч рублей и отобрал у него расписку графини.

3

Неслыханная дерзость не могла пройти безнаказанно. На этот раз государыня Екатерина Алексеевна повелела Прокофию Акинфиевичу оставить Москву.

Братец Никитушка не замедлил прислать эстафету со скороходом:

«Чаю, милый и дорогой мой, не скоро теперь встретимся. Весьма огорчен великой опалой...»

Дальше Прокофий Акинфиевич не мог читать. Он, как безумец, носился по горницам. Его черные беспокойные глаза были дики, пронзительны. Без счета отпускал он пощечины и пинки подвернувшимся дворовым. А мысль о том, что братец Никитушка злорадствует, наполняла его желчью.

«Что же делать?— горячечно думал он.— Как сбыть беду?»

Взлохмаченный, в неряшливом кафтане, он подбежал к зеркалу и от изумления широко раскрыл глаза. Чужое, незнакомое лицо с глазами безумца глядело на него. Он высунул язык своему отражению и спросил зло:

— Что, переиграл, старый дурак?

Вихляясь и пришлепывая стоптанными мягкими туфлями, он с приплясской пошел по комнатам, повторяя обидное для себя слово:

— Дурак!.. Дурак!..

Верный слуга Охломон, украдкой наблюдавший за своим господином в приоткрытую дверь, ужаснулся и торопливо стал креститься:

— Господи Исусе, никак окончательно свихнулся!..

Счастливая мысль пришла к Демидову ночью. Он проснулся среди мертвой тишины. Все спали. Где-то потрескивало сухое дерево: рассыхался старый шкаф. А может, это сверлил древнюю рухлядь неугомонный, всесокрушающий червь? Впервые представилось Де-

мидову, как много годов им уже прожито и как мало осталось до могилы. Он ужаснулся, стало невыносимо жаль покидать Москву.

«Надо пойти и пасть к ногам государыни, повиниться во всех своих озорствах!»

С первыми петухами Демидов был уже на ногах, и Охломон тщательно обрядил его во французский шелковый кафтан. Дворовый парикмахер водрузил на его маленькую лысеющую голову пышный парик, осыпанный серебристой пудрой. На ногах сияли бриллиантовыми пряжками отменные башмаки.

Разряженный и сразу посерьезневший, Прокофий Акинфиевич подошел к зеркалу. На этот раз перед ним стоял вельможа в пышных, блистающих одеждах. Но из волнистых густых локонов парика на него глядело жалкое остроносое лицо. И, бог мой, как пусты и холодны были глаза, устремленные на Демидова!

Он сел в карету, запряженную шестеркой, и отправился во дворец. Императрица долго протомила его в приемной, но все же сжалилась и допустила к себе.

Прокофий упал на колени.

— Царица-матушка!— взмолился Демидов.— Прости меня, беспутного! А я тебе такое дело сделаю, что всем царствам-государствам в удивление будет...

Государыня смягчилась. Сидела она в большой комнате под окном, мягкий свет падал на ее полное румяное лицо. Одетая в простое платье, она в это утро походила на обыкновенную помещицу. Положив маленькую руку на плечо склоненного Прокофия, царица тихо промолвила:

— Встань, Демидов, и расскажи, какое ты задумал дело?

— Надумал я, матушка-государыня, соорудить воспитательный дом, где бы тысячи покинутых и осиротевших детей нашли тепло и ласку.

— Дорого же это обойдется и тебе, Демидов, не под силу будет,— ласково возразила Екатерина Алексеевна.

— Матушка-государыня!— со слезой в голосе сказал Прокофий.— Во что бы ни обошлось, а разреши мне доброе дело. И прости меня...

— Ну, коли так, делать нечего. Прощаю тебя, Демидов!

Прокофий Акинфиевич в тот же год приступил к выполнению задуманного: на берегу реки Москвы, там, где от древних китайгородских стен сбегает пологий спуск к тихим водам, он заложил невиданное по размерам здание.

4

С того времени, когда Прокофий Акинфиевич похоронил супругу Матрену Антиповну, он долгие годы ощущал в доме пустоту, не перед кем было привередничать. Он часто просыпался среди ночи и, как призрак, бродил по комнате. Дочка Настенька одиноко росла среди нянюшек, была своенравна и упряма. В последнем она не уступала отцу. В томительные ночные часы особенно чувствовалось горькое одиночество.

Втайне надумал Демидов обрести себе подругу жизни.

«Но где найти молодую, достойную, а главное, покорную супругу?»— раскидывал он мыслями.

В праздничные дни он приказывал закладывать экипаж и отправлялся на прогулку по Москве. Неторопливой рысцой кони везли его по Петровке, по Кузнецкому мосту. В модных французских магазинах толкались дородные московские барыни с румяными дочками — девицами на выданье. Нередко, пыхтя как самовар, мимо проплывала мясистая купчиха.

Иногда Демидов заезжал к ранней обедне в крохотные древние церковки, мирно и уютно притаившиеся в зелени в тихих тупичках. Желтенькие огоньки восковых свечей еле трепетали в дневном свете, в полумраке храма молчаливые богомольцы сливались с тьмой. Все здесь было просто, сурово. Стареющий Прокофий Акинфиевич умилялся благостной тишине и уходил из церкви, обретя на время душевный покой.

Однажды в церковке Николы на Курьих ножках он заметил высокую стройную девушку. Неторопливо отмолившись, она легкой поступью, словно лебедушка, выплыла на паперть. В этот день ярко светило солнце, золотистый свет струился с ее русых кос. Она мимоходом взглянула на Демидова. Глаза ее были сини, как небо в летний безоблачный полдень. Девушка улыбнулась неизвестно чему: может быть, теплому солнышку, а может, своей молодости. Прокофий поймал этот лучистый взгляд и весь замер.

«Она! Быть ей женой Демидова!»— решил он.

Долго и пристально смотрел он девушке вслед. Выбрался на паперть и спросил церковного сторожа:

— Поведай, голубь, чьих родителей вон та юница?

— И, батюшка!— захлопал руками о полы кафтана старенький сторож.— Так это Грушенька, отецкая дочь из нашего прихода. Вот тут рядышком живут...

Прокофий Акинфиевич помчался на Кузнецкий мост и там у знакомого ювелира отобрал чудесный подарок. Не мешкая, из магазина он поспешил по адресу. Он не видел родителей, не обмолвился ни словечком с избранной, но твердо решил про себя, что будет так, как жаждет его сердце.

«Разве кто устоит перед могуществом золота?»— подумал он.

Он был уверен, что красавица с радостью примет его предложение. Со счастливыми мыслями Демидов подъехал к низенькому деревянному домику, утонувшему в зелени. В кустах шумно кричали невидимые воробьи. В оконца, полузакрытые белыми занавесочками, выглядывала герань. От калитки бежала усыпанная песком дорожка. Все здесь говорило об опрятной, тщательно скрываемой бедности.

Демидов взялся за кольцо, постучал в дверь.

Навстречу ему вышел благообразный старик с бородой библейского пророка. На широком лбу сверкали очки в медной оправе. Суровые, но умные глаза хозяина удивленно разглядывали необычного гостя. Ни о чем не спрашивая, он провел Демидова в прохладную горницу. И здесь все также говорило о заботливой и бережливой руке.

— Уж извините, батюшка, за простоту нашу,— скромно потупился старик.— Вдов я, а дочурке моей со всем одной не управиться.

На столе лежала раскрытая толстая книга, Прокофий догадался: он оторвал хозяина от чтения.

— Вот,— сказал Демидов и положил перед собой футляр,— я привез подарок твоей дочке.

Он раскрыл коробку, из нее брызнуло сияние.

— Помилуйте! Это что же?— взволновался старик.— Когда же она успела познакомиться с вами, сударь?— Руки его задрожали, в глазах мелькнула обида обманутого отца.

— Нет, я с ней не знаком и видел ее всего только раз, час тому назад,— сказал Прокофий.

— Тогда я не понимаю вас, сударь,— сразу оживился старик. Он вдруг спохватился, насупился:— Может быть, вы ошиблись? Моя дочурка не из таких...

— Ах, напротив!— вскричал Демидов.— Знаю, все знаю о ее благонравном характере. Я приехал с достойным предложением. Прошу ее руки...

Старик широко раскрытыми глазами рассматривал странного гостя.

— Но позвольте,— смущенно пробормотал он,— как же так, сударь? Притом взгляните на себя: вы уже старик, а она дите...

Демидов вскочил как ужаленный.

— Как смеешь так говорить мне!— закричал он.— Я — Демидов! Слыхал, сударь?

Старик поднялся, проницательно посмотрел гостю в глаза. Потом в раздумье молвил ему:

— Слухом о вас, сударь, вся Москва полнится. Но не в знатности и богатстве счастье, ваша милость. Каждый родитель хочет доброй жизни своему чаду. Спросим у Грушеньки, как она?..

Старик вышел в соседнюю горницу, и настороженный Демидов услышал ровный, спокойный говорок:

— Ну, выйди, выйди, ягодка, к этому чудаку. Что тебе от этого станется?..

Она вышла к нему с непокрытой головой, с золотыми косами, закинутыми на еле приметную девичью грудь. В затрапезном голубеньком платьице она казалась еще милей.

— Грушенька!— позвал Демидов и, не отрывая жадных глаз, пододвинул к ней футляр с подарком.

Она стояла, прижавшись худеньким плечом к косяку.

— Грушенька!..— повторил Демидов.— Тебе сказывал батюшка мою просьбу?

Лицо девушки залилось румянцем, глаза ее озорно засмеялись.

— Что ж, сказывал!— отозвалась она.— Но что из того? У меня уже есть свой батюшка, а другого мне не надо.

Во рту Демидова пересохло.

— Как?..— вспыхнул он гневом.

— А так,— спокойно сказала девушка.— У меня уже есть и жених, сударь.

— Бедняк, наверно!— вскричал Прокофий.

— Известно! Какова голубка, таков и голубь,— певучим голосом промолвила она.

— Ты что?.. Коли не пойдешь за меня, разорю вас!— пригрозил Демидов, и его змеиные глаза впились в красавицу.

Она нисколько не испугалась угрозы, отозвалась весело:

— А ведомо вам, сударь, с милым и в шалаше рай! Батюшка, батюшка!..— позвала она.— Подите, провожайте гостя, он торопится к дому.

Она, как птичка, чуть слышно запела и упорхнула из горницы...

Глава девятая

1

Прокофий Акинфиевич все дни ходил хмурым и злым: одолевали старческие немощи, ничто больше не тешило, не рвалась душа на озорство, как в былые годы. Он закрывался в своем московском доме, как в крепости. Никого больше не принимал. С утра неумытый, бродил по дому в грязном халате и бумажном колпаке да в шлепанцах на босу ногу. Эта неряшливость старика отталкивала от него даже родных.

Брюзжание и жалобы Демидова еще больше усилились с того времени, когда царица Екатерина Алексеевна пожелала заступиться за детей заводчика, служивших в гвардии. Молодые офицеры просили у отца приличного содержания, подобающего их рангу. Прокофий Акинфиевич взвыл, обиде его не было предела. Однако под давлением государыни и после долгих колебаний и размышлений он отписал в доход всем троим сынкам — Акакию, Льву, Аммосу — подмосковную деревеньку с тридцатью душами крепостных. Однако эта деревенька была разорена и убога, половина душ пребывала в нетях. От приписанного имения демидовским отпрыскам перепадали крохи. Обиженные сынки, подстрекаемые женами, пожаловались на отца государыне.

Царица вошла в положение жалобщиков и настрого

повелела Прокофию Акинфиевичу выделить детям часть имущества, достаточную для содержания сыновей дворянского рода.

Демидов терпеливо снес и эту обиду. Он купил сыновьям по тысяче душ, но вместе с тем запретил им показываться на глаза.

— Погоди, супостаты!— пригрозил он наследникам.— Умру вскоре, так после своей смерти постараюсь вам оставить одни стены...

Прокофий сдержал свое слово. Решив наказать сыновей, он надумал продать заводы и рудники на Каменном Поясе винному откупщику Савве Собакину. Не лежала душа Прокофия Акинфиевича к горным делам, не манили его суровые лесистые горы. Да к тому же устрашался он новых смут на Урале. Хотя пугачевское движение было погашено, но все еще тлели искорки недовольства. В недавней поре получил Демидов из Невьянска письмо. Писал приказчик Серебряков «всемилостивейшему благодетелю»:

«Оные башкирцы ежедень лес и степу пожигают, пускают по ветру нетушимые огни. От которых огней не только какую оборону или защиту дроводелам, также на куренях готовому углю иметь, но и самих построенных заводов и фабрик с обывательскими домами едва можно остерегать и отстаивать. Отчего и все заводские мастеровые и работные люди от всех беспрестанных пожаров, от всегдашних набегов и караулов пришли в изнеможение. Потому, что оные злодеи башкирцы теми учиненными пожарами вымышленно на заводы, и рудники, и дроводелы наводят волшебные дымы, от коих беспрестанно стоит самый смертельный воздух. Чего ради весьма при оных заводах почесть до единого человека находятся в хворости, из коих немалое число людей померло. Да и ныне весьма множество смертельно хворают, а именно болезнь главоболие, и оттого дневныя пищи лишаются и умирают. А некоторые, обнесением от того воздуха голов, вне ума падают и долго без всякого чувства лежат. Которые неблагополучные наемные работные люди, видя здесь в народе ежедневный смертельный упадок, причитая за язву, бежали с заводов и рудников с 400 человек... А как приказано нам еженедельно по куреням и дроводелам объезжать: народ так недоволен, непокоен, и волшебные башкирские дымы быть нам там не дозволяют...»

Это и решило судьбу заводов.

Никита Акинфиевич, сломив гордыню, приехал отговаривать брата от затеи. Никак не мог он примириться с потерею Невьянска, с которого и началось могущество Демидовых. Упорство брата Никиты, его просьбы еще больше раззадорили Прокофия: он дешево продал все заводы с прилегающими обширными лесами, землями, рудниками. Новый владелец их Савва Собакин не замедлил перебраться в невьянские хоромы Демидовых.

Узнав об этом, Никита Акинфиевич сказался больным и написал укоряющее письмо брату. Оно возымело обратное действие. Прокофий хвалился всем:

— На этот раз, кажись, изрядно досадил братцу! Ох, как мечталось ему воссесть в дедовском гнезде, в Невьянске!

Никита Акинфиевич решил увезти из Невьянска портрет деда. С этим намерением он и прибыл на старый демидовский завод. Савва Собакин, дородный купец с окладистой курчавой бородой, встретил Демидова весьма гостеприимно. Он охотно повел гостя по заводу и хоромам. У Никиты Акинфиевича болезненно сжалось сердце при виде родных мест и знакомых вещей. Купчина с веселым, самодовольным видом хвалился перед внуком Демидова:

— Одна слава, что заводишко! Ноне мы тут кадило по-настоящему раздуем, покажем, как надо ставить промысел.

Он повел гостя в знакомый полутемный кабинет, где все выглядело по-старому. Массивная дубовая мебель пережила своих первых хозяев. Старинные кресла с высокими спинками тянулись вдоль стен, перед узкими стрельчатыми окнами стоял все тот же стол. На вошедшего внука из темной рамы угрюмо и, казалось, укоряюще смотрел Никита Демидов.

Никита Акинфиевич с достоинством поклонился хозяину и открыл ему причину своего приезда.

— За недосугом ни я, ни брат мой до сей поры не собрались побывать здесь. Хочу ныне забрать портрет покойного деда,— сказал он и шагнул к портрету. Однако заводчик остановил его строгим голосом:

— То есть как это изволите толковать? Персона сия нами куплена с хоромами, рухлядью и прочим имуществом. Притом она тут к месту. Нет уж, сударь, не трудитесь! Была она тут, здесь ей и оставаться.

Никита Акинфиевич вспыхнул. Уязвленный купцом, он предложил:

— Извольте, я уплачу вам.

— Нет нужды в том, сударь. Пусть висит: лестно нам иметь портрет умного человека!— спокойно отозвался купец и пригласил Демидова к столу.

В старинном дедовском доме суетились старые демидовские слуги, которые почтительно разглядывали былого хозяина. Никите Акинфиевичу стало не по себе, он отказался от обеда и с щемящей тоской уехал из своего родового гнезда, чтобы никогда больше не возвращаться в него.

2

Все постепенно отошли от Прокофия Демидова; остался он доживать дни бирюком в молчаливом московском доме. При отце скучала хилая Настенька, давно заневестившаяся. Прокофий терпеть не мог обедневших дворянчиков, засылавших свах с льстивыми предложениями.

«Не за дочку дворянин сватается, а о моем капитале помышляет»,— рассуждал он, выпроваживая свах. Настенька увядала, лила слезы.

— Ну чего вы, батюшка, выжидаете, сами видите: кому я вскоре нужна буду?— жаловалась она отцу.

— Жениха статейного подыскиваю!— признался он.— Нам с руки купчина, человек крепкий, в дородстве. Такой не позарится на твое добро.

— Папенька, увольте!— бросилась в ноги отцу Настенька и залилась слезами.

— Будет по-моему!— холодно отрезал Прокофий и, шлепая туфлями, удалился в свои покои.

Подавленная, обессилевшая Настенька забилась в свои светелки и не выходила к столу.

— Пусть постничает тогда!— решил отец и запретил слугам относить блюда в девичьи светелки.

Но на второй день в девушке со всей силой заговорил крутой демидовский нрав. В обеденный час, когда Прокофий Акинфиевич сидел за столом и с умилением предавался чревоугодию, в столовую ворвалась рассерженная Настенька.

— Ты что взбеленилась? Аль опять о женихах?—

удивленно уставился в нее отец.— Купца пока не отыскал. Погоди чуток!..

Дочь, не сдерживаясь, затопала на отца.

— Не пойду за купца-хама! Не пойду!— закричала она исступленно, а у самой из глаз горохом покатились крупные слезы.— Лучше пусть будет первый встречный дворянин, нежели бородатый хам!— не унималась Настенька.

Прокофий утер губы, умильно разглядывал дочку.

— Эк! расходилась! Сразу видать демидовское семя!— Он улыбнулся и встал из-за стола.— Ну, коли так, будет по-твоему! Пусть первый встречный дворянишка и будет моим зятем.

— Батюшка!— кинулась к отцу девушка, но он отстранил ее и твердо пообещал:— Завтра будет тебе женишок!

На другой день по приказу Прокофия Акинфиевича на воротах московского дома слуги вывесили приглашение:

«В сем доме проживает дворянка Анастасия Прокофьевна Демидова. Не желает ли кто из дворян сочетаться с ней законным браком».

Москва только что пробуждалась от сна: поднимая густую пыль, дворники подметали пустынные кривые улицы, грохоча сапогами, по деревянным мосткам брели редкие торговки и мужики.

В восьмом часу на улице показался молодой чиновник. Одетый в поношенный мундирчик, он прижимал под мышкой изрядно потертый портфель, набитый бумагами. Это был, очевидно, департаментский писец.

Хотя молодой человек спешил к месту службы, глаза его оживленно бегали по окнам — не мелькнет ли там, часом, лукавое лицо девушки.

Поравнявшись с домом Демидова, чиновник внезапно замедлил шаг. Его внимание привлекло извещение, вывешенное на воротах. Сколько раз проходил он мимо хором знатного и чудаковатого заводчика в надежде увидеть его дочь, порой тоскливо глазевшую из окна. На этот раз счастье само лезло ему в руки. Он взволнованно прочитал удивительное обращение. Москва издавна полнилась слухами о чудачествах Прокофия Акинфиевича, но это очень озадачило чиновника.

«Нет ли в сем деле очередного демидовского озорст-

ва?— со страхом подумал он.— Пригласит гостем к столу, а сам посмеется, скличет холопов и отдерет как сидорову козу. От сумасбродного миллионщика все станет».

Но тут в сердце молодца закралась тревога, и он невольно вопросил себя: «А что, если опередили?»

Разжигаемый заманчивой приманкой, он быстро вынул носовой платок, смахнул им пыль с башмаков и робко постучал в ворота.

Перед ним тотчас распахнулась калитка. Стоявший у ворот Охломон низко поклонился гостю.

— Пожалуйте, сударь, ежели дворянин!— приветливо пригласил он чиновника следовать за собой.

— Дворянин!— ответил гость, вскинул голову и с независимым видом прошел следом за слугой в хоромы...

Демидов встретил неожиданного жениха в кабинете.

— Стой тут!— крикнул хозяин переступившему порог чиновнику и указал место посреди горницы.

Небрежно одетый, шлепая туфлями, Прокофий неторопливо обошел вокруг молодого человека. Глаза Демидова словно околдовали чиновника, его пронял жуткий холодок.

Осмотр был длительный, молчаливый. Наконец хозяин прервал молчание.

— Дворянин?— спросил он.

— Имею честь им состоять!— с учтивым поклоном ответил ранний гость.

— Холост?— не спуская пронзительных глаз, Демидов пытал чиновника.

— Точно так!— подтвердил тот.

— На смотрины пришел?— опять спросил Демидов, и по его тонким губам мелькнула усмешка.

— Имел счастье прочитать ваше извещение,— с трепетом признался жених.

— А коли так, кланяйся, чернильная душа, да в ноги! Проси!..— сразу вспылил Прокофий и, схватив со стола костыль, огрел им по спине гостя.— Усердней проси!— кричал он.— Ну?..

— Век буду благодарен. Помилосердствуйте!..— ежась от ударов, лепетал насмерть перепуганный чиновник.— Осчастливьте рукой вашей дочери.

Прокофий еще раз огрел костылем молодца по хребту.

— Каков! Костист, бестия!..— скривил в лукавстве губы Демидов.— Терпелив!..

Он приблизил свое морщинистое скопческое лицо к глазам гостя и ехидно спросил:

— Ты, сударь, может, образумишься? Каково будет, если испытанное только что обхождение от богоданного батюшки частенько повторится?

Не вставая с колен, молодец бухнулся в ноги Прокофию:

— Ваша светлость, век готов претерпевать от вас муки, только сделайте человеком!

Покорность и выносливость жениха обезоружили Демидова. Он наклонился к поверженному и схватил его за рукав.

— Ну, хватит! Вставай, что ли! Идем к невесте!— Хозяин довольно захихикал, захлопал в ладоши.

Из сеней прибежал Охломон и вытянулся в струнку у притолоки.

— Светильник сему дурню, пожелавшему обрядиться в семейный хомут!— указал он перстом на молодца.

Слуга принес взятую от икон лампаду и вручил ее гостю. Бледное пламя затрепетало в голубом сосуде и матовым светом озарило лицо молодого человека.

— Се жених грядет во полунощи!— засмеялся Демидов и поманил молодца пальцем.— Следуй за мной, чернильная душа!

Настенька еще почивала в постели, когда веселый крик сумасбродного отца разбудил ее.

— Вставай, живей вставай, ленивица!— истошно закричал отец.— Глянь, какого женишка обрел тебе!

По горло укрывшись атласным одеялом, невеста испуганно зашептала:

— Папенька! Батюшка, побойтесь вы бога! Стыд какой...

Благовоспитанный молодой писец стоял у порога, скромно потупив глаза. Девушка быстрым взглядом окинула его и заметила высокий чистый лоб и широкие плечи. Свежее румяное лицо молодого человека, его скромность тронули слабое сердце Настеньки. Она метнула на него ободряющий взгляд.

Демидов захихикал.

— Ну как, добра невеста?— спросил он игриво, и его сумасшедшие глаза загорелись шальным веселым огнем.

Жених склонил голову.

— Ну, коли так — быть свадьбе!— приплясывая, выкрикнул Прокофий.— Ой люли-люлешеньки!..

Глядя на кривлянье бесноватого хозяина, гость мысленно ограждал себя крестным знамением. «Да воскреснет бог и расточатся врази его!..»— про себя шептал жених, ограждаясь от чертовщины. Но тут заводчик стал строг, нахмурился.

— Только помни, чернильная твоя душа,— пригрозил он пальцем жениху:— Приданое за сей девой ох как невелико!..

— Папенька, постыдитесь!— закричала из-под одеяла невеста.

— Молчи, поперечница! Демидовы — прямой народ и все сразу выкладывают начистоту!— пригрозил отец и вытолкал жениха за дверь.— Иди, иди, хватит смущать благородную девицу!..

3

Так и повенчал свадебкой-скороспелкой Прокофий Акинфиевич свою дочку со случайным женихом. Однако молодой департаментский писец из обедневших дворян Сергей Кириллович Станиславский держался в отношении своего тестя человеком почтительным, скромным. Брак, вопреки ожиданиям, оказался счастливым. Настенька была довольна своим мужем.

Но Демидов никак не мог угомониться. С выдачей замуж последней дочери в его хоромах меркла жизнь. Не находилось у хозяина больше сил на озорство. Все же он решил допечь тихого и покорного зятя. Он составил на детей завещание, по которому дочери Настеньке назначал приданого денег лишь 99 рублей $99^8/_9$ копейки.

Сергей Кириллович и тут не отступился от влюбленной в него Настеньки. Он терпеливо ждал от «богом данного» батюшки других подарков.

Но вместо них отец прислал дочери наставление, в котором поучал ее благонравию и скромности.

«Настасья Прокофьевна,— обращался Прокофий к дочери.— Прошу тебя, живи весело, не кручинься.

Благодари господа за все. Не проси его ни о чем. Он устроил и устроит все полезное. А только всечасно проси, дабы не лишил милости своей. От кручины умножа-

ются разные болезни, помешательства разума, прекращение жизни и всякое неустройство.

Не будь спесива, самолюбива и жадна.

От спеси люди от тебя отстанут, от самолюбия потакать тебе будут, что тебе приятно будет, и введут тебя во всякое дурачество и неистовство. Не сердись, кто о неисправностях твоих встречно говорить будет. От жадности все потеряешь.

Не перенимай нынешних роскошей.

Живи умеренно, не скупо, да и не чванливо. Роскошь столько льстива, как бы в зеркало поглядеться, а после будет печально. Помни, как я живу. Вместо роскоши помогай недостаточным, а других ласково довольствуй. Не гнушайся, не пересмехивай и не переговаривай. Бедных или щеголей, которые потеряли свой хлеб, рассказов их потакай с сожалением, дабы не расклевить кого, а от них не перенимай. Кто бы тебе о щегольствах представлял, поблагодари, да что лишнее не исполняй, а ежели вдругорядь осудит, скажи: батюшка не велел.

Кто тебе полезное и благопристойное к жизни учить будет, таковых люби, благодари и почитай их со всякой искренностью, и тако привыкнешь и добра будешь. Помни, что господь сотворитель всего глобуса и движения есть. Не перенимай, будто господа нет и будто все натура да летучий разум хранит, да не исполняет наши дураческие и спесивые неблагодарности.

Желаю благополучия и с мужем, от меня ему поклонись. Отец твой приписует божию милость и благословение, ежели сего наставления не погнушаешься. *Прокофий Демидов*».

Но и тут Сергей Кириллович — тихий и покорный зять Прокофия — смирился. Друзья и сослуживцы его посмеялись над ним:

— Надул-таки тестек! Сбыл товарец — да в сторону!

— Терпение и труд преуспевают всегда! — не сдавался муж Настеньки.

Глубоко затаив обиду на Прокофия Акинфиевича, зять решил все же излить горечь, для чего и пригласил тестя на семейный завтрак. Он не пожалел своих сбережений, чтобы на славу угостить Демидова. В огромной пустынной кухне внезапно пробудилась жизнь. Повара, поваренки и слуги, нанятые всего на один день,

сбились с ног. На плитах кипели большие чугуны, тяжелые медные кастрюли, начищенные и пылающие жаром. На дворе носились тучи нежного белого пуха: бабы ощипывали свежую дичь. Ничего не пожалел Сергей Кириллович, чтобы с честью угостить Прокофия Акинфиевича. Все уже было готово к приему дорогого тестюшки, гости расселись за столами, но никто не притрагивался к расставленным закускам в ожидании Демидова.

Однако знатный гость поленился обряжаться и вместо себя послал на пир поросенка.

Гости, приглашенные к столу, захихикали, стали перешептываться. Настенька, сморщив носик, посмеялась подарку:

— Припоздал папенька с поросенком. Немного ранее подослал бы, глядишь, угодил бы на блюдо!

Молодой хозяин хоть и был оскорблен, но и виду в том не подал. Подсказывало ему сердце, что неспроста подослал Демидов ему поросенка. Хорошо знал зятек причудливый характер Прокофия Акинфиевича. Не успели гости и глазом моргнуть, как Сергей Кириллович выбежал на крылечко и стал почтительно кланяться визгливому поросенку.

— Сюда, сюда, батюшка!— учтиво гнулся он перед скотиной и звал в застолицу.

Гости недоуменно переглянулись, но смолчали. Не смущаясь этим, хозяин усадил боровка на почетное место и, пододвинув блюдо, попросил:

— Отведайте на здоровье, батюшка!

Пораженный необычайной обстановкой, поросенок пугливо хрюкал. Однако, почуяв аппетитное, он ринулся к блюду и с громким чавканьем принялся уминать поднесенное. Сергей Кириллович учтиво стоял перед жрущим животным и сам менял блюда.

Наевшись до отвала, поросенок сомкнул глаза и тут же зачесался. Хозяин облегчил труд: почесал скотине за ухом, брюшко, бочка.

Он чесал и приветливо приговаривал:

— Не беспокою, батюшка?.. Хорошо ли, сударь?..

Гости, уткнув носы в блюда, брезгливо морщились и недоумевали. Только страх перед Демидовым понуждал их перенести неприятное соседство.

У дверей стояли в почтительной позе два здоровен-

ных демидовских гайдука, зорко доглядывавших за поросенком.

Натешив его вволю, зятек предупредительно погладил его по щетинке и приказал подать наемную карету.

Визгунка с почетом усадили в экипаж, и он в сопровождении двух гайдуков отбыл к Прокофию Акинфиевичу. Хозяин же долго стоял на крыльце и кланялся удаляющемуся экипажу:

— Добрый путь, батюшка!..

Прием, оказанный поросенку, возымел действие на Демидова. Весьма довольный поведением зятя, он приказал зарезать поросенка. Высушенную и сшитую поросячью шкуру он самолично набил золотыми лобанчиками и драгоценными камнями и отправил в подарок зятю...

Терпение Сергея Кирилловича в конце концов победило.

4

Прошло несколько лет. На покров в 1788 году Прокофий Акинфиевич жестоко простудился. Старику шел семьдесят девятый годок, он сильно одряхлел, и все надежды на его выздоровление были тщетны. Почуяв приближение смерти родителя, дети приехали к отцу и со слезами на глазах увещевали старика отойти сердцем и переделать духовное завещание, столь обидное для них.

Демидов остался непреклонен:

— Не будет сего!

Не добившись уступки, дочь Настенька вызвала лекаря и умоляла его облегчить страдания отца. Лекарь выписал лекарства и уехал.

Оставшись наедине, Прокофий Акинфиевич с озлоблением разбил склянки с лекарствами.

«Чего доброго, скорее отправят меня на тот свет!» — с опаской подумал он.

Но дни его были сочтены. После сильного удушья в сумерки четвертого ноября Прокофий Акинфиевич почил непробудным сном.

Московская снежная зима стояла во всей красе, когда хоронили престарелого чудака. Последнее свое пристанище Демидов нашел за алтарем Сретенской церкви Донского монастыря...

После смерти его сыновья получили огромное на-

следство, более трех миллионов рублей. Они вышли в отставку и стали заполнять жизнь светскими удовольствиями...

Когда на Каменный Пояс дошла весть о смерти Прокофия Демидова, никто не пожалел его, все безразлично отнеслись к покойному.

Старый горщик, помнивший своего былого хозяина, сумрачно сказал вестнику:

— Малоумный и суматошный человек был! От крепкого и сильного корня да вдруг выродок вышел. Дед Никита Демидов кряж был, ума — палата, хоть и жесток, а внучек — недоносок, юродивый, одно слово пузырь!

— Отчего так?— удивился молодой рудокоп.

— Известно отчего!— спокойно и твердо ответил горщик.— Закон правды таков: честный труд поднимает человека, и разум его в работе крепнет. Бездельника и паразита ржа ест!— Старик взглянул на горы, на дремучие леса и сказал многозначительно:— Эх, и парит как ноне! Гляди, придет час и ударит гроза с громом и молнией! Ой, парень, пройдет ливень и навсегда смоет всякую нечисть с народного тела!

И, как бы в ответ на его чаяния, вдали над синими горными хребтами показалась темная туча и загрохотал отдаленный гром...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Литературно-художественное издание

Федоров Евгений Александрович

КАМЕННЫЙ ПОЯС

В ТРЕХ КНИГАХ

●

Книга вторая

НАСЛЕДНИКИ

Ответственный за выпуск *Б. В. Никанович*
Художник *С. П. Савич*
Художественный редактор *В. Н. Валентович*
Технический редактор *И. П. Тихонова*
Корректоры *Т. М. Рутковская, Л. А. Еркович*

ИБ № 2695

Сдано в набор 15.06.87. Подписано в печать 16.06.88. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,72. Уч.-изд. л. 29,08. Тираж 1 500 000 экз. (4-й завод 550 001—850 000 экз.; 3-й завод 450 001—550 000 экз.— изд. «Полымя»). Зак. 1579. Цена 2 р. 70 к.

Издательство «Вышэйшая школа» Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220048, Минск, проспект Машерова, 11.

Фотонабор и верстка выполнены с использованием автоматизированной системы обработки текстовой информации АККОРД, разработанной в УНИИПП, г. Львов.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005. Минск, ул. Красная, 23.

2 р. 70 к.